

Чарльз Диккенс
Крошка Доррит. Книга первая

ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДВАДЦАТЫЙ

КРОШКА ДОРРИТ

Роман

Книга первая

Перевод с английского

Е. НАЛАШНИКОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Предисловие автора

Я работал над этой книгой в течение двух лет, отдавая ей много времени и труда. И если ее достоинства и недостатки не говорят сами за себя при чтении, значит моя работа пошла впустую.

Если бы я мог выступить с оправданиями того неумеренного вымысла, каким являются Полипы и Министерство Волокиты, я стал бы искать этих оправданий в повседневной жизни рядового англичанина, не говоря уже о том незначительном обстоятельстве, что столь бесцеремонное нарушение приличий было допущено мною в дни войны с Россией и судебного разбирательства в Челси.¹ Если бы я решился отстаивать право на существование столь экстравагантного персонажа, как мистер Мердл, я бы намекнул, что он был задуман после эпопеи с железнодорожными акциями, в пору деятельности некоего Ирландского банка и еще одного-двух столь же почтенных учреждений.² Если бы

¹ ...в дни войны с Россией и судебного разбирательства в Челси. – В ходе Крымской войны Англии, Франции, Турции и Сардинии с Россией (1853–1856) обнаружилась техническая и тактическая неподготовленность английских войск, явившаяся следствием хищений командования и дезорганизации государственного и военного управления. «Механизм управления был так хорошо налажен, – писал Энгельс в 1855 году в статье „Разоблачения следственной комиссии“, – что, как только он вступал в силу, никто не знал, где его власть начинается, где она кончается и куда надо обращаться». Весной 1855 года английский парламент вынужден был начать следственное разбирательство злоупотреблений, связанных с крымской экспедицией.

² ...после эпопеи с железнодорожными акциями, в пору деятельности некоего Ирландского банка и еще одного-двух столь же почтенных учреждений. – В пятидесятые годы XIX века в Англии прошла серия процессов, связанных с разоблачением многочисленных дутых акционерных предприятий. В числе обвиняемых, представших перед судом, были члены правления Бирмингемской и Шрюсберийской железных дорог, нажившиеся на фиктивных акциях; дутый акционерный банк в Типперери был основан аферистом ирландцем Джоном Сэдлером, который, боясь разоблачений, покончил

мне понадобились смягчающие обстоятельства для фантастического утверждения, будто дурной замысел иногда прикидывается замыслом добрым и сугубо благочестивым, я сослался бы на ту любопытную случайность, что это утверждение, выраженное в крайней форме на страницах данной книги, совпало по времени с публичным допросом директоров Королевского британского банка.³ Но я готов, если потребуется, подчиниться заочному приговору по всем этим пунктам, и признать мнение авторитетов, что ничего подобного никогда не имело места в нашей стране.

Некоторые из моих читателей, быть может, пожелают узнать, сохранилась ли тюрьма Маршалси, хотя бы частью, до нашего времени. Я сам этого не знал, пока писал свою книгу, и только когда работа уже близилась к концу, отправился взглянуть. Я увидел, что на месте наружного дворика, так часто упоминающегося на этих страницах, красуется бакалейная лавка; и это заставило меня предположить, что от старой тюрьмы камня на камне не осталось. Однако, бродя по одной из близлежащих улиц, обозначенной как «Энджел-Корт, ведущая к Бермондси», я вдруг очутился на «Маршалси-Плейс» и не только признал в стоящих там домах большую часть строений старой тюрьмы, но даже убедился, что целы те помещения, которые я мысленно видел перед собой, когда работал над жизнеописанием Крошки Доррит. Какой-то неправдоподобно крошечный мальчуган, державший на руках неправдоподобно громадного младенца, с почти сверхъестественной точностью рассказал мне о прошлом этих мест. Откуда у этого юного Ньютона (ибо я считаю его вполне достойным такого наименования) подобная осведомленность – мне неизвестно; чтобы почерпнуть ее из личного опыта, он должен был родиться на четверть века раньше. Указав на окно комнаты, где появилась на свет Крошка Доррит и где столько лет прожил ее отец, я спросил, кто там живет теперь. Мой собеседник ответил: «Том Питик». Я спросил, кто такой Том Питик, и услышал в ответ: «Джека Питика дядя».

Пройдя немного дальше, я обнаружил ту старую и не столь высокую стену, что шла вокруг тесной внутренней тюрьмы, куда никого никогда не запирали, разве что в особо торжественных случаях. Всякий, кто в наши дни попадет на Маршалси-Плейс, пройдя через Энджел-Корт, ведущую к Бермондси, будет ступать по тем самым каменным плитам, по которым некогда ступали узники Маршалси; направо и налево от него протянется узкий тюремный двор, почти не изменившийся, если не считать того, что верхнюю часть стен снесли, когда это место перестало быть тюрьмой; к нему будут обращены окна комнат, где томились неисправные должники; и скорбные тени прошлого обступят его толпой.

Книга первая «БЕДНОСТЬ»

Глава I Солнце и тень

Однажды в августовский полдень, тридцать лет тому назад, Марсель изнывал под палящими лучами солнца.

Палящий зной в середине августа был не редкостью для юга Франции в то время, как и во все прочие времена. Раскаленное небо сверкало над городом, а в городе и в его окрестностях тоже все сверкало, отражая солнечный свет. Сверкали белые стены домов, сверкали белые улицы, сверкали белые ограды, сверкали истрескавшиеся от зноя ленты дорог, сверкали холмы, где вся зелень была выжжена солнцем, и от этого повсеместного сверканья одурь брала случайного прохожего. Только лозы, отягченные спелыми гроздьями, нарушали сверкающую неподвижность, едва заметно подраги-

с собой. Содержание важнейших процессов составило пухлый том документов «Факты, провалы, мошенничества», вышедший в 1859 году в Лондоне.

³ ...совпало по времени с публичным допросом директоров Королевского британского банка. – На одном из упомянутой серии процессов были осуждены директора – основатели акционерного Королевского британского банка, который существовал до 1856 года, когда внезапно было объявлено о его неплатежеспособности. Сумма долга директоров акционерам составила более пятисот тысяч фунтов.

вая, когда горячий воздух шевелил их поникшие листки.

Даже легкий ветерок не рябил тусклую воду гавани и прекрасную гладь открытого моря. Черные и синие воды не смешивались, и граница между ними была ясно видна; но сейчас море было так же неподвижно, как и мутная лужа, от которой оно всегда оберегало свою чистоту. Лодки, не защищенные тентами, накалились так, что нельзя было прикоснуться к бортам; на обшивке кораблей пузырями вздулась краска; камни набережной уже несколько месяцев не остывали ни ночью, ни днем. Жители Индии, русские, китайцы, испанцы, португальцы, англичане, французы, неаполитанцы, генуэзцы, венецианцы, греки, турки, потомки всех строителей Вавилонской башни,⁴ прибывшие в Марсель торговать, одинаково искали тени, готовы были спрятаться куда угодно, лишь бы спастись от слепящей синевы моря и от огненных лучей исполинского алмаза, направленного в небесный пурпур.

Разлитое кругом сверкание резало глаза. Правда, там, где на горизонте угадывались очертания итальянского берега, сверкающая даль была подернута легкой дымкой испарений, медленно поднимавшихся с моря; но это было только в одной стороне. Белые от пыли дороги сверкали по склонам гор, сверкали в глубине долин, сверкали на бесконечной шири равнины. Белые придорожные домики были увиты пыльными лозами, длинные ряды иссушенных солнцем деревьев тянулись вдоль дорог, не давая тени, и все кругом никло, истомленное сверкающим зноем, который шел от неба и от земли. Истомлены были лошади, тянувшие в глубь страны вереницы повозок под дремотное позвякиванье колокольцев; истомлены были возницы, клевавшие носом на козлах; истомлены были землепашцы в полях. Все живое, все растущее страдало от зноя – кроме разве ящерицы, что проворно сновала вдоль каменных оград, да цикады, стрекотавшей, точно тоненькая трещотка. Даже пыль словно запеклась на жару, и самый воздух дрожал, как будто и он задыхался от зноя.

Шторы, занавеси, ставни, жалюзи – все было спущено и плотно закрыто, чтобы преградить доступ сверкающему зною. Но стоило ему найти где-нибудь щель или замочную скважину, и он вонзался в нее, как добела раскаленная стрела. Всего надежней были защищены от него церкви. Там сонно мерцали лампы в сумеречной мгле, сонно раскачивались безобразные тени стариков богомольцев и нищих, и выйти из тихого полумрака колонн и сводов было все равно, что броситься в огненную реку, когда только и остается, что плыть изо всех сил к ближайшему островку тени. Город, где не видно людей, потому что каждый, разморясь от жары, рад укрыться в тени и лежать неподвижно, где почти не слышно гомона голосов и собачьего лая, где только нестройный колокольный звон или сбивчивая дробь барабана нарушает порой тишину – таков был в этот день Марсель, жарившийся в лучах августовского солнца.

Существовала в то время в Марселе тюрьма, мерзости невообразимой. В одной из ее камер, до того отвратительной, что даже сверкающий день гнушался ею и просачивался туда лишь в виде скудных выжимков отраженного света, помещалось двое узников. Приколоченная к стене скамья, вся в зарубках и трещинах, с грубо вырезанными на ней подобием шашечной доски, шашки, сделанные из старых пуговиц и суповых костей, домино, два соломенных тюфяка и несколько винных бутылок – вот и все, что находилось в камере, если не считать крыс и разной невидимой глазу нечисти, кроме нечисти видимой – самих узников.

Скудный свет, о котором говорилось выше, проникал в камеру через довольно большое, забранное железной решеткой окно, выходившее на мрачную лестницу, откуда таким образом можно было во всякое время наблюдать за обитателями камеры. Выступ в кладке стены, у нижнего края решетки, образовал широкий каменный подоконник на высоте трех или четырех футов от полу. Сейчас на этом подоконнике, полусидя, полулежа, устроился один из узников; колени он подобрал, а спиной и ступнями ног упирался в боковые стенки оконного проема. Переplet решетки был настолько редкий, что не мешал ему просунуть руку меж двух прутьев и облокотиться на поперечину, что придавало его позе непринужденность.

Все здесь было отмечено печатью тюрьмы. Тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели – на всем сказывалось пагубное действие заключения. Лица людей по-

⁴ ...потомки всех строителей Вавилонской башни... – В библейской легенде о вавилонском столпотворении рассказывается о том, как люди после потопа пытались построить башню «высотой до небес». Разгневанный бог смешал их языки. Строители, перестав понимать друг друга, рассеялись по земле. Так библия объясняет происхождение языков.

бледнели и осунулись, железо заржавело, камень покрылся слизью, дерево сгнило, воздух был спертый, свет – мутный. Как колодец, как подземелье, как склеп, тюрма не знала сияния дня, и даже среди пряных ароматов где-нибудь на островах Индийского океана сохранила бы в неприкосновенности свою зловонную атмосферу.

Человека, полулежавшего на каменном подоконнике, пробрал даже холод. Нетерпеливым движением плеча он плотней запахнул свой широкий плащ и проворчал: «Черт возьми это проклятое солнце, хоть бы раз заглянуло сюда».

Он ждал, когда его придут кормить, тесно прижавшись к решетке, старался высмотреть что-то внизу, куда уходила лестница, и выражением своего лица напоминал голодного зверя. Но во взгляде слишком близко посаженных глаз не было ничего от царственной гордости львиного взора; то был взгляд пронзительный, но неяркий, – словно нацеленное острие клинка, которое почти не видно, если смотреть на него в упор. Эти глаза не имели глубины, лишены были разнообразия выражений; они просто открывались и закрывались, а иногда блестели, как у кошки. Искусный ремесленник мог бы изготовить лучшую пару глаз – если не говорить о службе, которую они служили своему обладателю. Нос был довольно красив, из тех, которые называют орлиными, но переносица чересчур высока, оттого и расстояние между глазами казалось чересчур малым. Что до остального, то это был человек рослый, видный, с тонкогубым ртом, прятавшимся под густыми усами, и шапкой жестких всклокоченных волос неопределенного пыльного цвета, кой-где, впрочем, отливавших рыжиной. Рука, просунутая между прутьев решетки (вся покрытая свежими, едва зажившими царапинами), была невелика, удивляла своей женственной пухлостью и, верно, удивляла бы также белизной, если бы смыть с нее тюремную грязь.

Второй узник лежал на каменном полу, укрывшись курткой грубого темного сукна.

– Вставай, скотина! – зарычал первый. – Не смей спать, когда я голоден!

– Можно и встать, патрон, – покорно и даже весело согласился тот, кого называли скотиной. – Мне ведь все равно, что спать, что бодрствовать. Разница невелика.

С этими словами он встал, отряхнулся, почесал себе спину, накиннул на плечи куртку, которой только что укрывался, завязал рукава под подбородком и, зевая, уселся на пол у стены напротив окна. – Скажи, который час, – буркнул первый узник. – Полдень пробьет через... через сорок минут. – Запинка была вызвана тем, что он обежал глазами камеру, точно мог прочесть где-то ответ на заданный ему вопрос.

– С тобой не нужно часов. Как это ты всегда узнаешь время?

– Сам не знаю как. Я всегда могу сказать, который час и где я нахожусь. Меня привезли сюда ночью, на лодке, но я отлично знаю, где я. Вот, смотрите! Здесь Марсельская гавань, – привстав на колени, он начал чертить смуглым пальцем по каменному полу. – Здесь Тулон (и тулонская каторга), вот с этой стороны Испания; а вон с той – Алжир. Там, налево, Ницца. А теперь вдоль Корниша сюда, и вот вам Генуя. Генуэзский мол и гавань. Карантин. А вот и самый город: поднимающиеся уступами сады, где цветет белладонна. Так, поехали дальше. Порто Фино. Возьмем курс на Ливорно. А теперь на Чивита-Веккиа. Отсюда прямая дорога в... эх ты! Для Неаполя места не хватило! – Палец его уже уперся в стену. – Но все равно: Неаполь вот тут!

Он стоял на коленях, поглядывая на своего сотоварища не по-тюремному веселыми глазами. Небольшой загорелый человек, живой и юркий, несмотря на плотное телосложение. Серьги в коричневых от загара ушах, белые зубы, освещающие плутовскую физиономию, черные как смоль волосы, курчавящиеся над коричневым лбом, рваная красная рубашка, распахнутая на коричневой груди. Широкие, как у моряка, штаны, еще крепкие башмаки, красный колпак, сбитый набок; красный кушак, а за кушаком нож.

– Теперь смотрите, не собьюсь ли я с пути, возвращаясь. Следите, патрон! Чивита-Веккиа, Ливорно, Порто Фино, Генуя, Ницца (вот здесь, за Корнишем), Марсель и мы с вами. Вот тут, где приходится мой большой палец, – каморка тюремщика и его ключи, а здесь, у моего запястья, футляр, где хранится государственная бритва – гильотина; ее ведь тоже держат под замком.

Первый узник вдруг яростно сплюнул на пол и заскрежетал зубами.

И тотчас же словно в ответ заскрежетал внизу ключ в замочной скважине, затем хлопнула дверь. Послышались медленные, тяжелые шаги по лестнице, а вперемежку с ними детский щебечущий голосок; еще мгновение – и в окне показался тюремщик с маленькой девочкой лет трех или че-

тырех, прижимавшейся к его плечу; в руке у него была корзина.

– Как поживаете нынче, господа? Моя дочурка тоже пришла со мной, поглядеть на отцовских птичек. Ну, что же ты? Вот они, птички, моя куколка, вот, гляди на них.

Поднеся ребенка поближе к решетке, он и сам зорко приглядывался к своим птичкам, особенно к той, что поменьше – ее живость явно внушала ему недоверие.

– Я вам принес ваш хлеб, синьор Жан-Батист, – сказал он (все трое говорили по-французски, но смуглый человек был итальянец). – И я хотел бы посоветовать вам: не играйте...

– А почему вы не советуете того же моему патрону? – спросил Жан-Батист, ухмыляясь и показывая свои белые зубы.

– Так ведь ваш патрон всегда выигрывает, – возразил тюремщик, недружелюбно покосившись на того, о ком шла речь, – а вы проигрываете. Это совсем другое дело. Вам потом приходится есть один черствый хлеб, запивая его какой-то кислятиной, а он лакомится лионской колбасой, заливным из телячьих ножек, белым хлебом, сыром и отборными винами. Что же ты не смотришь на птичек, моя куколка?

– Бедные птички, – сказала малютка.

Святое сострадание озаряло хорошенькое личико ребенка, глядевшее сквозь решетку. Повинуясь невольному побуждению, Жан-Батист встал и подошел ближе. Второй узник оставался в прежней позе, только жадно посматривал на корзину.

– Погодите-ка, – сказал тюремщик, ставя девочку на выступ по ту сторону решетки, – она сама покормит птичек. Вот этот каравай хлеба – для синьора Жан-Батиста. Мы его разломим пополам, иначе его не просунуть в клетку. Смотри, какая славная птичка, даже поцеловала тебе ручонку. Колбаса, завернутая в виноградные листья, что для господина Риго. И вкусное заливное из телячьих ножек тоже для господина Риго. И эти три белые булочки тоже для господина Риго. И сыр тоже – и вино тоже – и табак тоже – все для господина Риго. Счастливая эта птичка!

Девочка послушно передавала все названное в мягкие, нежные, изящной формы руки за решеткой, но делала это с явным страхом, иной раз даже спешила отдернуть свою ручку и, нахмутив лобик, смотрела не то испуганно, не то сердито. А между тем она так доверчиво положила черствый хлеб на заскорузлую, шершавую ладонь Жан-Батиста (на всех десяти пальцах которого не набралось бы достаточно ногтя для одного лишь мизинца господина Риго), а когда он поцеловал ее ручку, ласково погладила его по щеке. Но господин Риго не обратил на это ни малейшего внимания; желая добрить отца, он улыбался и кивал дочке, а когда все припасы были ему переданы и удобно разложены на подоконнике, принялся истреблять их с завидным аппетитом.

Когда господин Риго смеялся, в лице его происходила перемена, скорее занятная, нежели приятная. Его усы вздергивались кверху, а кончик носа загибался книзу, придавая ему зловещее и хищное выражение.

– Вот! – сказал тюремщик и, перевернув корзину, вытряхнул со дна крошки. – Деньги ваши я потратил все. Вот вам счетец, и дело с концом. Как я и предполагал, господин Риго, председатель будет иметь удовольствие встретиться с вами нынче в час пополудни.

– Чтобы судить меня, да? – спросил Риго, застыв с ножом в руке и с куском во рту.

– Угадали. Чтобы вас судить.

– А насчет меня ничего нет нового? – спросил Жан-Батист, благодушно принявшийся было за свой черствый хлеб.

Тюремщик молча пожал плечами.

– Матерь божия! Что же, я до конца своих дней буду сидеть тут?

– А мне откуда знать? – воскликнул тюремщик, обернувшись к нему с живостью истинного южанина и так яростно жестикулируя обеими руками и всеми десятью пальцами, как будто намеревался разорвать его в клочки. – Вздумал тоже, спрашивать у меня, сколько он будет здесь сидеть! Ну, откуда мне знать это, Жан-Батист Кавалетто? Разрази меня бог! Иные арестанты вовсе не так рвутся поскорей попасть к судье в руки.

При этих словах он искоса глянул в сторону господина Риго, но господин Риго уже снова принялся закусывать, хоть и не с таким аппетитом, как прежде.

– До свиданья, птички! – подсказал тюремщик своей дочурке, взяв ее на руки и целуя.

– До свиданья, птички, – повторила малютка. Тюремщик медленно стал спускаться с лестницы,

напевая куплет из детской песенки:

Кто там шагает в поздний час?
Кавалер де ла Мажолэн!
Кто там шагает в поздний час?
Нет его веселей!

и таким милым было невинное личико, выглядывавшее поверх отцовского плеча, что Жан-Батист счел своим долгом подтянуть из-за решетки верным, хотя и сипловатым голосом:

Придворных рыцарей краса,
Кавалер де ла Мажолэн!
Придворных рыцарей краса,
Нет его веселей!

Это заставило тюремщика остановиться, пройдя несколько ступенек, чтобы девочка могла дослушать песню и повторить припев, пока она и певец еще видели друг друга. Но вот ее головка скрылась из виду, исчезла и голова тюремщика, и только детский голосок слышался до тех пор, пока не хлопнула внизу дверь.

Жан-Батист еще постоял у решетки, прислушиваясь к медленно угасавшему эхо – в тюрьме даже эхо звучало глуше и словно отставало в изнеможении; но он мешал господину Риго, и тот пинком ноги отогнал его на прежнее место в темный угол камеры. Маленький итальянец как ни в чем не бывало уселся снова на каменный пол (видно было, что ему не привыкать стать к этому) и, разложив перед собой три ломтя черствого хлеба, принялся грызть четвертый с таким азартом, как будто побился об заклад, что расправится с ними в самое короткое время.

Быть может, и текли у него слюнки при взгляде на лионскую колбасу и на заливное из телячьих ножек, но эти пышные яства недолго щекотали его аппетит своим видом. Мысли о председателе и о суде не помешали господину Риго умять все дочиста, после чего он тщательно обсосал пальцы и вытер их виноградным листом. Допивая из бутылки вино, он оглянулся на своего собрата по заключению, и усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

– Как твой хлеб, хорош ли на вкус?

– Суховат немного, да приправа выручает, – отвечал Жан-Батист, подняв свой нож.

– Какая такая приправа?

– А я, видите ли, умею по-разному резать хлеб. Вот так – будто дыню. Или вот так – будто жареную рыбу. Или так – будто яичницу. Или еще так – будто лионскую колбасу. – При этих словах Жан-Батист ловко орудовал ножом, не забывая в то же время работать челюстями.

– Держи! – крикнул ему господин Риго. – Пей! Допивай до конца!

То был не слишком щедрый дар – вина в бутылке осталось лишь на доньшке – но синьор Кавалетто принял его с благодарностью; проворно вскочив на ноги, он подхватил бутылку, опрокинул ее себе в рот и причмокнул губами от удовольствия.

– Поставь бутылку туда, где стоят остальные, – сказал Риго.

Маленький итальянец исполнил приказание, а потом с зажженной спичкой наготове встал возле Риго, который свертывал себе папиросы из нарезанной квадратиками бумаги, доставленной ему вместе с табаком.

– Вот тебе! Можешь выкурить одну!

– Тысяча благодарностей, патрон! – отозвался Жан-Батист на языке своей родины и со всей горячностью, свойственной ее сынам.

Господин Риго закурил, спрятал остальной запас курева в нагрудный карман, лег на скамью и вытянулся во весь рост. Кавалетто сидел на полу и мирно попыхивал папиросой, обхватив руками колени. Какая-то непонятная сила, казалось, притягивала взгляд господина Риго к тому местечку на полу, где Кавалетто, чертя план, останавливал свой большой палец. Итальянец, подметивший это, несколько озадаченно следил за направлением его взгляда.

– Что за гнусная дыра! – сказал господин Риго, прерывая затянувшееся молчание. – Ничего не

видно даже при свете дня. Впрочем, разве это свет дня? Это свет прошлой недели, прошлого месяца, прошлого года! Взгляни, какой он слабый, тусклый!

Дневной свет попадал в камеру как бы процеженным через квадратную воронку окна на лестнице – окна, в которое нельзя было увидеть ни кусочка неба, да и ничего другого тоже.

– Кавалетто! – сказал господин Риго, отводя глаза от этой воронки, к которой они оба невольно обратили взгляд после его слов. – Кавалетто, ведь ты знаешь, что я – джентльмен?

– Как не знать.

– Сколько времени мы находимся здесь?

– Я – завтра в полночь будет одиннадцать недель. Вы – нынче в пять пополудни будет девять недель и три дня.

– Видел ли ты хоть раз, чтобы я утруждал себя какой-нибудь работой? Подмел бы пол, или разостлал тюфяки, или свернул тюфяки, или подобрал рассыпавшиеся шашки, или сложил домино, или вообще палец о палец ударил?

– Ни разу!

– А пришло ли тебе хоть раз в голову, что мне бы следовало взяться за какую-нибудь работу?

Жан-Батист энергично замахал указательным пальцем правой руки, что является самой сильной формой отрицания в итальянской речи.

– Нет! Стало быть, ты, как только увидел меня здесь, сразу же понял, что перед тобой джентльмен?

– Altro! – воскликнул Жан-Батист, закрыв глаза и энергично тряхнув головой. Слово это в устах генуэзца может означать подтверждение, возражение, одобрение, порицание, насмешку, упрек, похвалу и еще полсотни других вещей; в данном случае оно примерно соответствовало нашему «Еще бы!», но только учетверенному по силе выражения.

– Ха-ха! Что ж, ты прав! Джентльменом я был, джентльменом остался и джентльменом умру. Это мое ремесло – быть джентльменом. Это мой козырь в игре, и, громы и молнии, я намерен ходить с него до самого конца.

Он сел и воскликнул с победоносным видом:

– Вот я каков! Слепая прихоть судьбы забросила меня в одну камеру с ничтожным контрабандистом, с жалким беспаспортным оборванцем, которого полиция сцапала за то, что он дал свою лодку другим таким же беспаспортным оборванцам, собиравшимся удрать на ней за границу. И что же, – он тотчас чутьем угадал во мне джентльмена, даже здесь, в этой гнусной дыре, при этом гнусном освещении. Здорово! Черт возьми, мои козыри остаются козырями при любой игре.

Снова его усы вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

– Который теперь час? – спросил он, облизнув пересохшие губы, и бледность его лица не вязалась с деланным весельем тона.

– Скоро половина первого.

– Отлично! Осталось совсем немного до назначенного свидания джентльмена с председателем суда. Слушай! Хочешь, я расскажу тебе, в чем меня обвиняют? Другого случая не будет, потому что я сюда уже не вернусь. Одно из двух: меня либо выпустят на свободу, либо отправят бриться. Ты знаешь, где у них спрятана бритва.

Синьор Кавалетто вынул папиросу изо рта, и на миг обнаружил большее волнение, чем можно было ожидать.

– Так вот, – начал господин Риго, встав и выпрямившись во весь рост. – Я – джентльмен-космополит. У меня нет родины. Отец мой был швейцарец из кантона Во.⁵ Мать – француженка по крови, англичанка по рождению. Родился я в Бельгии. Я гражданин мира.⁶

Он стоял в картинной позе, упиравшись одной рукой в бедро под свободно падавшими складками плаща, и говорил, не глядя на слушателя, а словно бы обращаясь к противоположной стене; все это

⁵ ...швейцарец из кантона Во. – Кантон Во – пограничная с Францией область Швейцарии.

⁶ Я гражданин мира... – слова, цитируемые обычно по Байрону; заимствованы им из названия серии эссе английского писателя О. Гольдсмита (1730–1774) «Гражданин мира», вышедшей в 1760–1762 годах.

наводило на мысль, что он скорее репетирует свои ответы суду, нежели заботится об осведомлении такой ничтожной особы, как Жан-Батист Кавалетто.

– Можете считать, что мне сейчас тридцать пять лет от роду. Я повидал свет. Жил везде понемногу, и всегда жил джентльменом. Как джентльмена меня встречали повсюду, и как джентльмену оказывали мне уважение. А если вы вздумаете изобличать меня в том, что я обманом и хитростью добывал себе средства к существованию, я спрошу вас: а как живут ваши адвокаты, ваши политики, ваши спекуляторы, ваши биржевые дельцы?

Он то и дело выбрасывал вперед свою небольшую изящную руку, словно наглядное доказательство его благородного происхождения, уже не раз сослужившее ему службу.

– Два года назад я приехал в Марсель. Перед тем я долго болел, и кошелек мой, не стану скрывать, был пуст. А разве у ваших адвокатов, ваших политиков, ваших спекуляторов, ваших биржевых дельцов болезнь не скажется на состоянии кошелька – если только они не успели раньше обзавестись капиталом? Остановился я в гостинице «Золотого Креста», содержатель которого, господин Лнри Баронно, был мужчина преклонных лет и весьма слабого здоровья. На четвертый месяц моего пребывания там господин Баронно имел несчастье скончаться, что может случиться со всяким. Немало людей каждый день переселяется в лучший мир без моей помощи.

Жан-Батист докурил свою папиросу до самых кончиков пальцев, и господин Риго в порыве великодушия бросил ему еще одну. Прикурив от тлеющего окурка, итальянец продолжал пускать дым, исподлобья глядя на своего товарища, который почти не замечал его, поглощенный рассказом.

– У господина Баронно осталась вдова. Ей было двадцать два года. Она считалась красавицей и в самом деле была красива (что не одно и то же). Я продолжал жить в «Золотом Кресте». Я женился на госпоже Баронно. Не мне говорить о том, равный ли это был брак, но взгляните на меня: хотя два с лишком месяца тюрьмы не могли пройти бесследно, не сдается ли вам, что я был ей более под стать, нежели ее покойный супруг?

У него были замашки красавца и светского человека, хотя он не был ни тем, ни другим; он брал лишь бахвальством и самоуверенностью, но у половины рода людского в таких случаях, как и во многих других, апломб легко сходит за доказательство истины.

– Как бы там ни было, госпоже Баронно я пришелся по сердцу. Надеюсь, это не может быть поставлено мне в вину?

Задав этот вопрос, он невзначай глянул на Жан-Батиста, и маленький итальянец энергично замотал головой, для большей убедительности без передышки твердя: «*Altro, altro, altro, altro!*».

– Вскоре у нас пошли нелады. Я горд. Не стану утверждать, что это похвально, но таково уж мое природное свойство. Кроме того, я властолюбив. Подчиняться я не умею; у меня потребность властвовать. На беду капитал госпожи Риго находился в ее личном распоряжении. Этот старый дурак, ее покойный муж, закрепил его за нею. В довершение беды у нее оказалась большая родня. Когда родственники жены начинают вмешиваться в семейную жизнь, это ставит под угрозу мир в семье, особенно, если муж – джентльмен, если он горд и если у него потребность властвовать. Нашелся и еще источник раздоров. У госпожи Риго, к несчастью, были несколько вульгарные манеры. Я попытался улучшить их, давая ей наставления по части хорошего тона; она (опять-таки не без поддержки со стороны родственников) обижалась на это. Мы стали ссориться, а родственники госпожи Риго распускали всякие сплетни и клевету, преувеличивая наши нелады и делая их предметом соседских пересудов. Стали говорить, будто я жестоко обращаюсь с госпожой Риго. А между тем самое большее, что могли видеть, это как я разок-другой ударю ее по лицу. К тому же рука у меня легкая, и если мне когда-либо и случалось поучить госпожу Риго таким образом, то это скорей была шутка.

Если шутки господина Риго хоть отчасти напоминали то, что выражала усмешка, искривившая при этих словах его губы, родственники злосчастной госпожи Риго имели все основания предпочитать, чтобы он поучал ее не в шутку, а всерьез.

– Я самолюбив и отважен. Не хочу ставить это себе в заслугу, но таковы мои природные свойства. Если бы родственники госпожи Риго пошли против меня в открытую, я бы знал, как мне с ними быть. Но они, понимая это, плели свои интриги тайно и лишь способствовали тому, что столкновения между мною и госпожой Риго все учащались и усиливались. Даже когда мне требовалась небольшая сумма денег на мои личные расходы, я не мог получить ее без столкновения – и это я, чье природное свойство – властвовать! Однажды вечером мы с госпожой Риго, как добрые друзья, или еще лучше

сказать, как влюбленная парочка, гуляли по обрыву над самым морем. Какой-то злой дух подстрекнул госпожу Риго завести речь о своих родственниках. Я стал укорять ее, доказывая, что добрая и любящая жена не должна поддаваться коварным наущениям родственников, имеющим целью посеять в ней вражду к мужу. Госпожа Риго возражала; я тоже возражал. Госпожа Риго рассердилась; я тоже рассердился и наговорил лишнего. Я это признаю. Откровенность – мое природное свойство. И вот госпожа Риго в припадке ярости (никогда не прощу себе, что довел ее до этого) набросилась на меня с дикими воплями – их-то, должно быть, и слышали проходившие по дороге, – стала рвать мне волосы, царапать руки, изодрала мое платье, истоптала всю землю кругом, а в конце концов прыгнула с обрыва и насмерть разбилась о прибрежные скалы. Вот те события, которые людская злоба извратила, представив дело так, будто я старался принудить госпожу Риго отказаться от своих имущественных прав в мою пользу и, не добившись успеха, – убил ее.

Он шагнул к окну, на котором еще лежали разбросанные виноградные листья, взял два или три листка и, стоя спиной к свету, стал вытирать ими руки.

– Ну? – спросил он после некоторого молчания. – Что ты на все это скажешь?

– Скверное дело, – ответил маленький итальянец; он уже встал и, держась одной рукой за стену, чистил свой нож о подошву башмака.

– Это что значит?

Жан-Батист молча начищал нож.

– Уж не намекаешь ли ты, что я рассказал не так, как оно было?

– Altro! – воскликнул Жан-Батист. На этот раз это прозвучало как извинение и должно было означать: «Что вы, помилуйте!»

– Как же понять твое замечание?

– Суды и судьи так пристрастны.

– Хорошо же! – вскричал рассказчик и, прибавив ругательство, судорожным движением забросил край плаща на плечо. – Пусть выносят самый худший приговор!

– Так они, верно, и сделают, – пробормотал себе под нос Жан-Батист, низко наклонив голову и засовывая нож за кушак.

Больше ни с той, ни с другой стороны не было сказано ни слова, хотя оба узника принялись расхаживать по камере взад и вперед и пути их всякий раз скрещивались на середине. Несколько раз господин Риго, казалось, вот-вот готов был остановиться, желая то ли сообщить еще что-то о своем деле, то ли просто отвести душу злобным восклицанием; но синьор Кавалетто, не поднимая глаз, рысцой трусил дальше, и господин Риго волей-неволей продолжал свою прогулку, так и не раскрыв рта.

Но вот где-то загремел в замке ключ, заставив обоих остановиться и прислушаться. Донесся разноголосый говор, топот шагов. Потом хлопнула дверь, шаги и голоса стали приближаться, и по лестнице, тяжело ступая, поднялся тюремщик в сопровождении небольшого отряда солдат.

– Ну, господин Риго, – сказал тюремщик, подойдя к решетке с ключами в руке. – Прошу вас, выходите.

– Я вижу, меня решили доставить с почестями!

– Это необходимо, – возразил тюремщик, – иначе вас, пожалуй, разорвут на столько частей, что потом и не соберешь. Внизу теснится толпа горожан, господин Риго, и она настроена не слишком дружелюбно.

Он отошел от окна; стало слышно, как он возится с замками и засовами. Минуту спустя отворилась низенькая дверь в углу камеры и тюремщик показался на пороге.

– Итак, прошу вас, – повторил он, обращаясь к узнику.

Среди всех оттенков белого цвета на земле нет такого, которым можно было бы обозначить бледность, разлившуюся по лицу господина Риго. И среди всех выражений, свойственных человеческим чертам, не найти ничего похожего на выражение этого лица в миг, когда, казалось, в каждой крохотной его жилке бился страх, сжимавший сердце. Говорят обычно: «Бледен, как мертвец, страшен, как мертвец», но сравнение это неверно, ибо нет и не может быть сходства между завершенной борьбой и отчаянным напряжением решающей схватки.

Он вставил в рот новую папиросу и, прикурил у своего товарища по заключению, крепко стиснул ее в зубах; потом надел шляпу с мягкими, низко свисающими полями, снова перебросил через

плечо край плаща и вышел в дверь, даже не оглянувшись на синьора Кавалетто. Впрочем, и тому было сейчас не до него; все внимание маленького итальянца сосредоточилось на одном: как бы подойти поближе к двери и выглянуть наружу. Точно зверь, подкравшийся к отворенной дверце клетки, за которой – свобода, он жадно вглядывался в темноту узкой галереи, куда выходила дверь камеры, пока эта дверь не захлопнулась перед ним.

Конвоем командовал офицер, флегматичный толстяк с обнаженной шпагой в руке и дымящейся сигарой во рту. Он коротко приказал своим солдатам построиться вокруг господина Ригго, с невозмутимым хладнокровием занял место во главе отряда, скомандовал «Марш!» – и процессия под бряцанье оружия тронулась вниз по лестнице. Хлопнула дверь – повернулся ключ в замке – и от ворвавшейся было в тюрьму струи непривычного воздуха и света остался лишь медленно таявший синеватый дымок офицерской сигары.

Второй узник, оставшись один, с проворством обезьяны или медвежонка, которого раздражили, взобрался на подоконник, чтобы не упустить ничего из церемонии отбытия. Он все еще стоял, сжимая решетку руками, как вдруг до его слуха донесся громкий шум – крики, брань, вопли, угрозы, проклятия сливались в сплошной яростный гул, похожий на рев бури.

Узник торопливо спрыгнул с окна и заметался по камере, в своем беспокойстве еще более похожий на дикого зверя в клетке; потом он снова вскочил на окно, вцепился в решетку и стал трясти ее обеими руками, снова спрыгнул и заметался из угла в угол, снова вскочил на окно и прислушался, и так он не мог найти себе покоя до тех пор, пока шум не замер в отдалении. А сколько узников с душой куда более благородной вот так же исходят тоской в неволе, и никто не задумывается об этом, даже любимые ими существа далеки от истины; а великие мира сего, те, что обрекли их на заточение, в это время гарцуют в лучах солнца под приветственные клики толпы; когда же пробьет их смертный час, спокойно отходят в вечность на собственной постели, напутствуемые восхвалениями и пышными речами; и учтивая история, более раболепная, чем любой клевет, услужливо бальзамирует трупы!

Наконец Жан-Батист, который волен был теперь выбирать в этих стенах любое место для проверки своей способности засыпать когда вздумается, лег на скамью, подложив под голову скрещенные руки, закрыл глаза и через мгновение уже спал. В своей беспечности, в своей покладистости, в своем добродушии, в коротких вспышках гнева, в том, как легко приходил к нему сон, в том, как легко он довольствовался черствым хлебом и жестким ложем, в быстрой смене горя и веселья – во всем этом он был истинным сыном своей родины.

Меж тем сверкание, разлитое кругом, стало меркнуть и мало-помалу угасло; в ореоле алых, зеленых, золотистых лучей закатилось солнце; звезды высыпали на небе, а на земле, подражая им, засияли светлячки, – так добрые дела, совершаемые людьми, служат лишь жалким подобием высшего добра; на пыльные дороги и на бескрайнюю равнину лег покой; глубокая тишина воцарилась над морем, и даже волны не шептались о том далеком дне, когда им придется возвращать своих мертвых.

Глава II *Дорожные спутники*

– Сегодня, кажется, уже не орут, как орали вчера – верно, сэръ?

– Не слышно, во всяком случае.

– Стало быть, не орут. Эти люди, когда открывают рот, так уж заботятся о том, чтобы их было слышно.

– Вполне естественная забота.

– Да, но ведь они орут постоянно. Им без этого жизнь не в жизнь.

– Вы говорите о марсельцах?

– Я говорю о французах. Все они любители поорать.

А что до Марселя, так мы знаем, что такое Марсель. Город, откуда пошла гулять по свету самая возмутительная бунтовская песня⁷ из всех, когда-либо сочиненных на Земле. Который просто не мог

⁷ *Город, откуда пошла гулять по свету самая возмутительная бунтовская песня...* – Имеется в виду французская революционная песня «Гимн Марсельцев» («Марсельеза»), принесенная в Париж марсельцами-волонтерами. Автором слов

бы существовать без этих своих *аллон-маршон* – все равно куда, хоть к победе, хоть к смерти, хоть к черту, на худой конец.

Произнесший эту тираду – с самым, впрочем, забавно-добродушным видом – перегнулся через парапет и обвел Марсель взглядом, исполненным величайшего презрения; а затем принял независимую позу, заложив руки в карманы и брэнча там монетами, и подкрепил этот взгляд уничтожительным смешком.

– *Аллон-маршон*, скажите на милость! Лучше бы дали порядочным людям *аллон-маршон* по их надобностям, а не запирали их в какой-то дурацкий карантин!

– Да, обстоятельство предосадное, – согласился второй собеседник. – Но сегодня нас обещают выпустить.

– Обещают выпустить! – воскликнул первый. – Да это, если хотите, еще большее безобразие. Выпустить! А с какой стати нас здесь вообще держат?

– Действительных причин нет, согласен. Но поскольку мы прибыли с Востока, а Восток – пристанище чумы...

– Чумы! – подхватил первый. – Вот в этом все дело. Недолго и очуметь от того, что с нами здесь происходит. Я словно человек в здравом уме и твердой памяти, которого засадили в дом для умалишенных – просто не могу перенести, что меня подозревают в чем-либо подобном. Мое здоровье не оставляло желать лучшего, когда мы сюда приехали; но от одного подозрения, что я могу быть зачумлен, я совсем очумел. Да, да, они правы: у меня чума.

– Вы ее отлично переносите, мистер Миглз, – с улыбкой отозвался его собеседник.

– Ошибаетесь. Знай вы всю правду обо мне, вы бы так не говорили. Уж сколько времени я просыпаюсь по ночам и твержу себе: вот я заболеваю, вот я уже заболел, вот теперь я умру, и эти негодяи воспользуются моей смертью, чтобы оправдать свои предосторожности. Да я предпочел бы, чтобы меня сразу проткнули булавкой и накололи на картон, точно какую-нибудь букашку в коллекции насекомых, чем терпеть те муки, которые я здесь терплю.

– Полно тебе, мистер Миглз, что уж теперь говорить об этом, когда все позади, – послышался жизнерадостный женский голос.

– Позади! – подхватил мистер Миглз, который (вопреки своему природному добродушию) находился, видимо, в таком расположении духа, когда всякая попытка со стороны прекратить спор лишь подливает масла в огонь. – А хотя бы даже и позади, почему же мне не говорить об этом?

Женский голос принадлежал миссис Миглз, а миссис Миглз походила на мистера Миглза – у нее было такое же приветливое, румяное лицо, одно из тех славных английских лиц, на которых запечатлелся отблеск камелька и домашнего уюта, озаряющего их пять или шесть десятков лет.

– Ну, ну, уймись, папочка, уймись, – сказала миссис Миглз. – Вот погляди на Бэби себе в утешение.

– На Бэби! – все еще ворчливо повторил мистер Миглз, но в это время сама Бэби, стоявшая тут же, положила руку на отцовское плечо, и мистер Миглз немедленно и от глубины души простил Марселю все обиды.

Бэби можно было дать лет двадцать. Это была красивая девушка с густыми каштановыми волосами, самой природой завитыми в крупные локоны. Особенно хороши были у нее глаза – такие большие, такие ясные, такие блестящие, так чудесно озарявшие ее открытое доброе лицо. Пухленькая, свеженькая, вся в ямочках, она была немилосердно избалована и отличалась той робкой беспомощностью, которая составляет самый очаровательный недостаток на свете; ей он придавал дополнительную прелесть, без чего, впрочем, столь милая и хорошенькая девушка могла бы и обойтись.

– Прошу вас, скажите мне, – проникновенно и доверительно произнес мистер Миглз, отступив на шаг назад и подтолкнув дочь на шаг вперед для большей наглядности, – скажите мне откровенно, как джентльмен джентльмену, можно ли было придумать большую нелепицу, нежели посадить Бэби в карантин?

– Эта нелепица даже карантин сделала приятным.

и музыки является офицер Руже де Лиль (1760–1836), Впоследствии «Марсельеза» стала государственным гимном Франции.

– А ведь верно! – воскликнул мистер Миглз. – Обстоятельство немаловажное! Благодарю вас за то, что вы на него указали. А теперь, Бэби, радость моя, пора вам с мамочкой собираться в дорогу. Сейчас сюда явится инспектор врачебного надзора и еще целая ватага бездельников в треуголках, чтобы выпустить нас, бедных арестантов, из темницы, и прежде чем мы разлетимся кто куда, надо на прощанье еще хоть раз позавтракать всем вместе по-христиански. Тэттикорэм, от барышни ни на шаг!

Последнее относилось к хорошенькой, опрятно одетой девице с блестящими черными глазами и волосами, которая шла за миссис Миглз и Бэби и лишь слегка присела на ходу в ответ на полученное приказание. Все втроем они прошли по сожженной солнцем террасе и исчезли под сверкающей белизной аркой входа. Собеседник мистера Миглза, мужчина лет сорока, со смуглым, немного печальным лицом, смотрел им вслед до тех пор, пока мистер Миглз не хлопнул его легонько по плечу.

– Ах, простите! – встрепнулся он.

– Ничего, ничего, – успокоил его мистер Миглз.

Они молча прошлись взад и вперед под тенью стены, наслаждаясь той каплей прохлады, которую ветерок с моря еще доносил в этот ранний утренний час к высоко расположенным карантинным баракам.

Разговор возобновил собеседник мистера Миглза.

– Скажите, пожалуйста, – начал он, – как зовут...

– Тэттикорэм? – перебил мистер Миглз. – Не имею ни малейшего представления.

– Мне казалось, – продолжал собеседник, – что...

– Тэттикорэм? – снова подсказал мистер Миглз.

– Благодарю вас... что ее так и зовут – Тэттикорэм, и я не раз дивился этому странному имени.

– Видите ли, – ответил мистер Миглз, – все дело в том, что мы с миссис Миглз – люди практические.

– Это я уже не раз слышал во время тех приятных и интересных бесед, которые мы с вами вели, прогуливаясь по этим каменным плитам, – отозвался собеседник, и легкая улыбка пробилась сквозь тень печали, лежавшую на его лице.

– Да, мы люди практические. Однажды, тому лет пять или шесть, мы повели Бэби в церковь при Воспитательном доме – слышали вы о лондонском Воспитательном доме? Такое же заведение, как приют для найденышей в Париже.

– Я бывал там.

– Так вот, однажды мы повели Бэби в эту церковь послушать музыку – как люди практические, мы считаем одним из главных дел своей жизни знакомить ее со всем, что на наш взгляд могло бы ей понравиться; и вдруг во время музыки мамочка (так я обычно зову миссис Миглз) расплакалась, и до того безудержно, что пришлось вывести ее из церкви. «Что с тобой, мамочка? – спрашиваю я ее, когда она немного пришла в себя. – Посмотри, ведь ты же Бэби напугала». – «Да, ты прав, папочка, – говорит она, – но ведь не люби я так нашу Бэби, мне наверно не пришла бы в голову эта мысль». – «Какая такая мысль, мамочка?» – «Ах, господи, господи! – воскликнула она, и снова в слезы. – Как увидела я этих детишек, выстроенных тут ряд над рядом, да услышала, как они, никогда не знавшие земных отцов, взывают ко всеобщему нашему отцу небесному, так и подумала: а ведь может статься, какая-нибудь несчастная мать тоже приходит сюда, глядит на детские личики и гадает – где же тут то бедное дитя, которое ей обязано своим появлением на этот грешный свет и которому никогда не суждено узнать ни ласки ее, ни любви, ни лица, ни голоса, ни даже имени». Вот что значит женщина практическая! Я так ей тогда и сказал: «Мамочка, говорю, в тебе сразу видно женщину практическую».

Слушатель мистера Миглза, невольно растроганный, кивнул головой.

– А назавтра я сказал ей: «Мамочка, я кое-что надумал, что тебе, должно быть, придется по душе. Давай возьмем одну из вчерашних девочек к нам в дом и пусть она ходит за нашей Бэби. Мы с тобой люди практические, и если бы потом оказалось, что у нашей маленькой служанки не слишком кроткий нрав и не во всем она поступает по-нашему, мы будем помнить те обстоятельства, которые тут надобно принять во внимание. Будем помнить, что в отличие от нас девочка с колыбели была лишена всего, что так благотворно влияет на человеческую душу – не было у нее ни отца с матерью, ни братишек или сестренки, ни домашнего очага, ни хрустальных башмачков, ни крестной-

волшебницы». Вот так и появилась у нас в доме Тэттикорэм.

– Но самое имя?..

– Ах ты господи! – вскричал мистер Миглз. – Об имени-то я и позабыл. Видите ли, в Воспитательном она звалась Гарриэт Бидл – имя, разумеется, случайное. Мы и сделали из Гарриэт Гэтти, а из Гэтти – Тэтти. Понимаете, как люди практические, мы решили, что ей приятнее будет отзываться на такое славное веселенькое имя, и что это даже может способствовать смягчению ее нрава. Ну, а уж о фамилии Бидл понятно не могло быть и речи.⁸ Зло с которым нельзя мириться ни при каких условиях, воплощение чиновничьей тупости и наглости, допотопная фигура, чей сюртук, жилет и длинная трость символизируют упрямство, с которым мы, англичане, держимся за бессмыслицу, когда все уже поняли, что это бессмыслица – вот что такое бидл. Давно вы не встречали живого бидла?

– Давно – ведь я двадцать с лишком лет провел в Китае.

– Ну так мой вам совет, – с большим воодушевлением сказал мистер Миглз, приставив указательный палец к груди собеседника, – старайтесь не встречать и впредь. Если мне в воскресный день попадается на улице процессия приютских ребятишек, во главе которой шествует бидл в полном параде, я тотчас же спешу свернуть с дороги – уж очень хочется накостылять ему шею. Одним словом, о фамилии Бидл не могло быть и речи, и, вспомнив, что основателем заведения для бедных найденьшей был некий Корэм, мы решили присвоить маленькой служанке Бэби фамилию этого добросердечного джентльмена. Так ее и стали звать – то Тэтти, то Корэм, в конце же концов оба имени слились в одно, и теперь уж ее всегда Зовут Тэттикорэм.

Они еще раз молча прошлись взад и вперед, а затем постояли немного у парапета, глядя на море.

– Насколько мне известно, – вернулся к разговору собеседник мистера Миглза, когда они вновь зашагали по террасе, – ваша дочь – единственный ваш ребенок. Позвольте спросить вас – не сочтите это нескромным любопытством, мой вопрос вызван лишь тем, что я испытал много удовольствия от вашего общества и, опасаясь, что в сутолоке этого мира нам, может быть, и не придется продлить знакомство, желал бы сохранить возможно более полное представление о вас и о вашей семье – позвольте спросить, правильно ли я заключил из слов вашей достойной супруги, что у вас были еще дети?

– Нет, нет, – сказал мистер Миглз. – Это не совсем точно. Не дети, а ребенок.

– Простите, я, кажется, невзначай затронул болезненное место.

– Ничего, не смущайтесь, – сказал мистер Миглз. – Хоть это и грустное воспоминание, но не тяжелое. Оно заставляет меня на мгновение притихнуть, однако не причиняет мне боли. У Бэби была сестра-близнец; она умерла, когда ее глазки, – точно такие же, как у Бэби, – только-только стали виднеться над столом, если она привставала, на цыпочки.

– О-о!

– А поскольку мы с миссис Миглз люди практические, то мало-помалу у нас сложилась привычка, которая вам может быть покажется странной – а может быть и нет. Бэби и ее сестра были настолько похожи друг на друга, настолько словно бы составляли одно целое, что у нас в мыслях они навсегда остались нераздельными. Напрасно было бы напоминать нам о том, что наша вторая дочка умерла совсем малюткой. Для нас она росла и развивалась наравне с той, которую богу угодно было сохранить нам и с которой мы всегда неразлучны. Бэби становилась старше, и сестра ее тоже становилась старше; Бэби умнела и хорошела, и сестра ее умнела и хорошела вместе с нею. Я убежден, что если завтра мне суждено перейти в лучший мир, я найду там дочку, в точности такую же, как Бэби сейчас, и разуверить меня в этом так же трудно, как в том, что живая Бэби здесь, рядом со мною.

– Я понимаю вас, – тихо молвил его слушатель.

– Что до самой Бэби, – продолжал мистер Миглз, – то внезапная потеря сестры, бывшей ее живым портретом и подружкой всех ее игр, а с другой стороны, преждевременное приобщение к великому таинству, которое всех нас ожидает, но которое не так уж часто поражает нежное детское воображение, – все это не могло, разумеется, пройти для нее бесследно. К тому же мы с ее матерью

⁸ ...о фамилии Бидл понятно не могло быть и речи. – Найденьшу была присвоена фамилия «Бидл». Так называлось должностное лицо, осуществлявшее полицейский надзор в работном доме, в церкви и часто в пределах прихода.

поженились, будучи уже в годах, и сколько бы мы ни старались приноровиться к возрасту Бэби, ей всегда приходилось вести при нас чересчур, так сказать, взрослое существование. Случалось ей прихворнуть, и врачи не раз говорили нам, что для нее весьма полезна как можно более частая перемена климата и воздуха, особенно в нынешнюю пору ее жизни – а также советовали заботиться о том, чтобы она не скучала. Вот мы и колесим по всему свету, благо я уже теперь не должен с утра до вечера стоять за конторкой в банке (хотя молодые мои годы прошли в бедности, иначе, смею вас уверить, я женился бы на миссис Миглз гораздо раньше). По этой причине вы имели возможность встретить нас в Египте, где мы исправно обозревали пирамиды, сфинксов, пустыню и все, что еще полагается; и по этой же причине Тэттикорэм суждено со временем превзойти по части путешествий самого капитана Кука.⁹

– Я вам от души признателен за доверие, которое вы мне оказали своим рассказом, – сказал его слушатель.

– Не стоит благодарности, – возразил мистер Миглз, – мне это и самому было приятно. А теперь, мистер Кленнэм, позвольте в свою очередь задать вам вопрос: решили вы, наконец, куда направитесь отсюда?

– Правду сказать, нет. Такому перекаати-поле, как я, все равно куда ни понесет его ветер.

– Не взыщите за непрошеное вмешательство, но почему бы вам не поехать прямо в Лондон, – сказал мистер Миглз тоном доверенного советчика.

– Возможно, так оно и случится.

– Вы говорите, словно это не зависит от вашей воли.

– А у меня нет воли – точнее сказать, – он слегка покраснел, – нет того, что могло бы сейчас определять мои поступки. Я с детства привык чувствовать над собою деспотическую власть; получил воспитание, которое не сделало меня гибким, а попросту сломило; потом меня заковали в цепи долга, который был навязан мне извне и который навсегда остался мне чуждым; в двадцать лет, прежде чем я получил право располагать собой, меня услали на другой конец света и держали там в изгнании вплоть до кончины моего отца, что произошло год тому назад; всю жизнь я тянул лямку, которая мне была ненавистна – так чего же от меня ждать теперь, когда молодость уже осталась позади? Воля, надежда, цель... Все эти огни погасли для меня раньше, нежели я научился произносить их названия.

– Так зажгите их снова, – сказал мистер Миглз.

– А! Легко сказать! Мои родители, мистер Миглз, были очень суровые люди. Отец и мать, чьим единственным сыном я был, привыкли все взвешивать, измерять и оценивать на деньги; и то, что нельзя было взвесить, измерить и оценить, для них попросту не существовало. Таких людей принято именовать благочестивыми, но мрачная религия, ими исповедуемая, сводится, в сущности, к угрюмой сделке с небом: они приносят в жертву вкусы и склонности, которыми никогда не обладали, и рассчитывают получить взамен гарантию сохранности своих земных благ. Строгие лица, железные правила, наказания в этом мире и угроза возмездия в будущем, ничего светлого, радостного вокруг и щемящая пустота внутри – вот мое детство, если можно злоупотребить этим словом для обозначения столь унылого начала жизни.

– Неужто в самом деле? – отозвался мистер Миглз, чье воображение весьма тягостно поразила развернутая перед ним картина. – Начало неутешительное, что и говорить. Но полно об этом. Будьте человеком практическим, мистер Кленнэм, и постарайтесь воспользоваться всем тем хорошим, что еще у вас впереди.

– Если бы те, кого принято именовать людьми практическими, соответствовали вашему представлению о них...

– А они и соответствуют, – сказал мистер Миглз.

– Вы в этом уверены?

– А разве может быть иначе? – возразил мистер Миглз в некотором раздумье. – Люди практические – это люди практические, и мы с миссис Миглз именно таковы.

– В таком случае, – сказал Кленнэм с обычной своей печальной улыбкой, – мое будущее обе-

⁹ ...суждено... превзойти по части путешествий самого капитана Кука... – Джеймс Кук (1728–1779) – известный английский мореплаватель, совершивший три кругосветных путешествия.

щает сложиться легче и приятнее, чем я мог бы ожидать. Но кончим этот разговор. Вон и катер подходит.

Катер был битком набит теми самыми треуголками, к которым, в силу национального предубеждения, столь неприязненно относился мистер Миглз. Обладатели голов, на которых сидели упомянутые треуголки, сошли на берег и по крутым ступеням поднялись к бараку, где уже толпились истомившиеся ожиданием пленники. Началось хлопотливое выправление бумаг, выкликались имена, скрипели перья, стучали печати, шелестели марки, лились чернила, шуршал песок, и в качестве плода всей этой деятельности являлось на свет нечто размазанное, шероховатое и неудобочитаемое. В конце концов положенные формальности были исполнены и путешественников отпустили на все четыре стороны.

В своем наслаждении вновь обретенной свободой они не обращали внимания на сверкающий зной. Разноцветные шлюпки помчали их по водам гавани, и вскоре они вновь собрались все вместе в большом отеле, где закрытые жалюзи преграждали доступ солнцу, а каменные плиты, которыми были вымощены полы, высокие потолочные своды и длинные гулкие коридоры умеряли нестерпимую жару. Там в парадной зале накрыт был парадный стол, поражавший глаз изобилием и великолепием; и все невзгоды карантина показались вскорости далекими и ничтожными среди изысканных закусок, прохладных напитков, заморских фруктов, цветов из Генуи, снега с горных вершин и радужных переливов света в зеркалах.

– Я, кажется, уже без всякой злобы вспоминаю эти унылые стены, – заявил мистер Миглз. – Когда уезжаешь, всегда начинаешь относиться снисходительно к местам, которые ты покинул. Подозреваю, что даже арестант, освободившись из заключения, перестает ненавидеть тюремную камеру.

За столом сидело человек тридцать и все оживленно беседовали, причем естественно, что разговор шел по преимуществу между ближайшими соседями. Супруги Миглз и их дочь, сидевшая между ними, занимали крайние места по одну сторону стола; их визави были мистер Кленнэм, высокий француз с бородой и волосами цвета воронова крыла, в чьем облике было нечто мрачное и устрашающее, даже демоническое (впрочем, на поверку он оказался кротчайшим из людей), и красивая молодая дама, англичанка, от надменного взгляда которой, казалось, ничто не могло укрыться; она путешествовала в одиночестве и то ли намеренно сторонилась других пассажиров, то ли другие пассажиры сторонились ее – никто не мог бы сказать с уверенностью, кроме разве ее самой. Прочее общество являло собой обычную в таких случаях смесь. Путешествующие по деловым надобностям и путешествующие для удовольствия; военные из Индии, едущие в отпуск; негоцианты из Греции и Турции; англиканский священник в одежде, похожей на смиренную рубашку, совершающий свадебное путешествие с молодой женой; семейство английских патрициев, состоящее из величественных папеньки с маменькой и трех недозрелых дочек, которые ведут путевой дневник на пагубу ближним; еще одна английская мамаша, старая и тугоухая, но неутомимая путешественница, а при ней вполне, даже чересчур зрелая дочка, прилежно срисовывающая в свой альбом пейзажи всех пяти частей света в надежде когда-нибудь дорисоваться до замужества.

Замкнутая англичанка подхватила последнее замечание мистера Миглза.

– Так, по-вашему, для арестанта возможно забыть свою тюрьму? – спросила она веско и с расстановкой.

– Это лишь мое предположение, мисс Уэйд. Не могу утверждать, что мне во всех тонкостях знакомы чувства арестанта. Я, признаться, попал под арест впервые в жизни.

– Мадемуазель сомневается, что забывать так легко? – вставил француз на своем родном языке.

– Сомневаюсь.

Бэби пришлось перевести сказанное мистеру Миглзу, который никогда и ни при каких обстоятельствах не усваивал ни единого слова из языка страны, по которой путешествовал.

– Вот как! – сказал он. – Ай-я-яй! Это очень жаль!

– Что я не легковерна? – спросила мисс Уэйд.

– Нет, не то. Вы меня неправильно поняли. Жаль, когда человек не верит, что зло можно забыть.

– Жизненный опыт, – спокойно возразила мисс Уэйд, – поправил некоторые мои представления, основанные на вере. Говорят, это в природе человека – с годами становиться умнее.

– Ну, ну! А быть злопамятным – тоже в природе человека? – добродушно осведомился мистер

Миглз.

– Я знаю одно: если бы мне пришлось томиться и страдать в неволе, я на всю жизнь возненавидела бы место своего заточения, мне хотелось бы сжечь его, снести с лица земли.

– Крепко сказано, сэр? – заметил мистер Миглз французу; кроме всего прочего, мистер Миглз имел обыкновение обращаться к лицам любой национальности на английском языке, в блаженной уверенности, что все они обязаны каким-то таинственным образом понимать его. – Наша прекрасная спутница довольно решительна в своих стремлениях, вы не находите?

Француз вежливо откликнулся: «Plait il?»¹⁰ – что мистер Миглз счел вполне удовлетворительным ответом и заключил, очень довольный:

– Вот именно. Я того же мнения.

Завтрак явно затягивался, и мистер Миглз обратился к присутствующим с речью. Для застольной речи она была довольно краткой, разумной и задушевной. Ее содержание сводилось к тому, что, дескать, случай свел их всех вместе, и прожили они дружно и весело, а теперь им предстоит разъехаться в разные стороны и едва ли когда-нибудь они еще соберутся все вместе, а потому не пора ли им пожелать друг другу счастливого пути и всем столом выпить за это шампанского на прощанье? Так и было сделано, и после долгих перекрестных рукопожатий вчерашние спутники расстались навсегда.

Одинокая дама за все время не сказала больше ни слова. Она встала из-за стола вместе со всеми, но тут же отошла в дальний угол залы и, усевшись на диванчик в оконной нише, как будто залюбовалась игрой серебряных отсветов воды на планках жалюзи. Она сидела спиной ко всем прочим в зале, словно хотела подчеркнуть свое намеренное и гордое уединение. Но, как всегда, трудно было бы с уверенностью сказать, она ли избегает других или другие ее избегают.

От того, что она сидела в тени, лицо ее было словно окутано темной вуалью, и это как нельзя более шло к характеру ее красоты. Изогнутые черные брови оттеняли лоб, обрамленный черными волосами, и каждому, кто глядел на это холодное и презрительное лицо, невольно хотелось представить его себе с иным, изменившимся выражением. Казалось почти невозможным, чтобы на нем вдруг появилась добрая, ласковая улыбка. Казалось, оно лишь может нахмуриться гневно или вызывающе, и почему-то именно такой перемены ждал каждый внимательный наблюдатель. Деланные, искусственные выражения были чужды этому лицу. Его нельзя было назвать открытым, но и фальши в нем не было. «Я верю только в себя и полагаюсь только на себя; ваше мнение для меня ничего не значит; вы меня не интересуете, не трогаете, я смотрю на вас и слушаю вас с полным равнодушием», – вот что совершенно явственно читалось на этом лице. Это говорили гордые глаза, вырезные ноздри, красивый, но плотно сжатый и почти жестокий рот. Пусть любые две из этих черт были бы скрыты от наблюдения – третья достаточно ясно сказала бы то же самое. Пусть бы все лицо спряталось под маской – по одному повороту головы можно было бы угадать неукротимую натуру этой женщины.

К оконной нише подошла Бэби (Миглзы и мистер Кленнэм были последними, кто еще оставался в зале, и разговор у них только что шел именно об одинокой путешественнице).

– Мисс Уэйд... – та вскинула на нее глаза, и смутившаяся Бэби с трудом пролепетала свой вопрос: – Вы кого-нибудь... кто-нибудь должен вас встретить?

– Меня? Нет.

– Мой отец сейчас посылает на почту, за письмами до востребования. Угодно ли вам, чтобы он наказал посланному справиться, нет ли писем на ваше имя?

– Поблагодарите вашего отца, но я не жду никаких писем.

– Мы боимся, – с застенчивым участием сказала и, присаживаясь рядом, – не будет ли вам тоскливо тут одной, когда мы все разъедемся.

– Вы очень любезны.

– То есть, разумеется, – поправилась Бэби, чувствуя себя неловко под взглядом мисс Уэйд, – не такое уж мы интересное для вас общество, и не так уж часто вы бывали в нашем обществе, и не так уж мы были уверены, что оно вам приятно.

– Я никогда не давала повода думать, что мне приятно ваше общество.

¹⁰ Что вы сказали? (франц.)

– Да, да. Разумеется. Но – одним словом, – сказала Бэби, робко дотрагиваясь до руки мисс Уэйд, неподвижно лежавшей на диванчике, – может быть, вы все-таки позволите моему отцу чем-нибудь помочь вам? Он будет очень рад.

– Очень рад, – подтвердил мистер Миглз, подходя к ним вместе со своей женой и Кленнэмом. – Готов с наслаждением оказать вам любую услугу, если только при этом не потребуется говорить по-французски.

– Весьма признательна, – отвечала мисс Уэйд, – но мои распоряжения уже сделаны, и я предпочитаю во всем полагаться на себя и ни от кого не зависеть.

«Скажите пожалуйста! – мысленно удивился мистер Миглз, внимательно глядя на нее. – Вот это женщина с характером».

– Я не слишком привыкла к обществу молодых дам и боюсь, что не сумею оценить его должным образом. Счастливого вам пути. До свидания.

Она, видимо, собиралась ограничиться словесным прощанием, но мистер Миглз столь решительно протянул ей руку, что не заметить этого нельзя было. Ее рука легла на его ладонь и осталась лежать там так же неподвижно, как до того лежала на диване.

– До свидания, – сказал мистер Миглз. – Ну, теперь все прощанья окончены: мистеру Кленнэму мы с мамочкой уже пожелали счастливого пути, и теперь ему только осталось сказать «до свидания») Бэби. Всего наилучшего! Кто знает, приведется ли когда-нибудь встретиться.

– Кому суждено с нами встретиться в жизни, с теми мы непременно встретимся, какими бы сложными и далекими путями ни шли они, – был сдержанный ответ, – и как нам назначено поступить с ними или им с нами, так все и совершится.

Слова ее неприятно поразили слух Бэби. Тон, которым они были произнесены, словно предвещал, что совершиться должно непременно что-то дурное. «Ох, папочка!» – испуганным шепотком сказала девушка и совсем по-ребячьи попятилась ближе к отцу. Это не укрылось от глаз мисс Уэйд.

– Вашу хорошенькую дочку, – сказала она, – бросает в дрожь от подобной мысли. А между тем, – и она вперила в Бэби глубокий, пристальный взгляд, – где-то есть люди, которым назначено вмешаться в вашу жизнь, и они уже готовятся выполнить свое назначение. Можете не сомневаться, что они его выполняют. Быть может, эти люди еще далеко, за сотни и тысячи миль морского пути; быть может, они уже совсем близко; быть может, они обретаются среди самых жалких подонков этого города, куда мы попали проездом, – вам этого не узнать и не изменить.

Она более чем холодно распрощалась со всеми, и с тем усталым выражением, от которого ее красота казалась блекнувшей, хотя и находилась в самом расцвете, покинула залу.

Для того, чтобы из этой части обширного помещения гостиницы попасть в отведенную ей комнату, мисс Уэйд нужно было пройти целый лабиринт лестниц и коридоров. Под самый конец этого сложного перехода, когда она уже очутилась в галерее, куда выходила ее комната, внимание ее вдруг привлекли чьи-то сердитые выкрики и рыдания. Одна из дверей была приотворена, и, проходя мимо, она увидела служанку семейства, с которым только что рассталась, – обладательницу столь странного имени.

Мисс Уэйд остановилась, с интересом наблюдая за девушкой. Строптивая и горячая, сразу видно! Густые черные волосы в беспорядке рассыпались у нее по плечам, лицо горело, губы распухли от слез и от того, что захлебываясь яростью, она поминутно дергала их беспощадной рукой.

– Черствые, бессердечные люди! – приговаривала девушка, задыхаясь и всхлипывая после каждого слова. – Бросили меня тут и думать забыли. Я умираю от голода, от жажды, от усталости, а им и горя мало! Изверги! Чудовища! Звери!

– Что с вами, бедняжка?

Она подняла свои красные заплаканные глаза, и ее руки повисли в воздухе, не дотянувшись до шеи, усеянной сине-багровыми пятнами от щипков, которыми она себя щедро награждала.

– А вам какое дело, что со мной? Никого это не касается!

– Почему вы так думаете? Мне очень неприятно видеть вас в слезах.

– Вовсе вам это не неприятно, – сказала девушка. – Вы даже рады этому. Да, рады. Со мной такое было только два раза в карантинном бараке; и оба раза вы меня заставляли врасплох. Я вас боюсь.

– Боитесь?

– Да, боюсь. Вы всегда являетесь, как будто я вас накликала своим гневом, своей злостью, сво-

ей – не знаю как это назвать. А плачу я, потому что со мной дурно обращаются, да, дурно, дурно, дурно! – Тут рыдания возобновились, слезы полились обильнее, а руки принялись за свое прерванное занятие.

Свидетельница этой сцены созерцала ее со странной многозначительной усмешкой. И в самом деле, любопытно было наблюдать, как девушка, раздираемая яростной борьбой страстей, корчится и истязает себя, словно в нее, как бывало встарь, вселились бесы.

– Я двумя или тремя годами моложе ее, а между тем я должна ходить за ней, как старая нянька, а ее все ласкают, милуют, зовут деточкой! Ненавижу все эти ласковые прозвища! И ее ненавижу тоже! Они из нее дурочку делают своим баловством. Она думает только о себе, больше ни о ком; я для нее все равно что стул или стол! – Казалось, жалобам не будет конца.

– Нужно смириться.

– А я не хочу смиряться!

– Если ваши хозяева заботятся лишь о себе, пренебрегая вашими нуждами, вы не должны роптать на это.

– А я хочу роптать!

– Тсс! Будьте благоразумны. Вы забываете о своем зависимом положении.

– А мне все равно. Я убегу. Я натворю бед. Я не буду больше терпеть, не буду! Я умру, если попробую потерпеть еще.



Свидетельница, приложив руку к груди, смотрела на девушку с тем острым любопытством, с которым человек, пораженный тяжелой болезнью, следил бы за вскрытием и препарированием мертвеца, умершего от той же болезни.

А девушка еще долго металась и бушевала со всем пылом молодости и неизрасходованных

жизненных сил; но мало-помалу ее страстные вопли уступили место прерывистым жалобным стонам, словно от боли. Она упала в кресло, потом соскользнула на колени и, наконец, повалилась на пол у кровати, стащив с нее покрывало, то ли, чтобы спрятать в его складках пылающее от стыда лицо и мокрые волосы, то ли из потребности хоть что-нибудь прижать к стесненной раскаянием груди.

– Уходите! Уходите! Когда на меня такое накатит, я теряю рассудок. Я знаю, что могу сдержать себя, если соберу все силы; иногда я стараюсь, и мне это удается, а иногда не хочу стараться. Что я тут наговорила? Ведь я отлично знала, что говорю неправду. Они уверены, что обо мне позаботились и у меня есть все, что мне нужно. Ничего кроме добра я от них в жизни не видела. Я люблю их всем сердцем; они сделали для меня больше, чем заслужила такая неблагодарная тварь, как я. Уходите, оставьте меня, я вас боюсь. Я боюсь себя, когда чувствую, что готова впасть в бешенство и точно так же боюсь вас. Уходите, дайте мне поплакать и помолиться, и мне станет легче.

День подошел к концу, снова иссяк палящий зной, и душная ночь спустилась над Марселем; утренний караван разбрелся, и каждый в одиночку продолжал назначенный ему путь. Вот так и все мы, путники, не знающие покоя, свершаем свое земное странствие, изо дня в день, из ночи в ночь, при солнце и при звездах, взбираемся на горы и устало бредем по долинам, встречаемся и расходимся и сталкиваемся вновь в неисповедимом скрещении судеб.

Глава III

Дома

Был лондонский воскресный вечер – унылый, тягостный и душный. В оглушительной какофонии церковных колоколов сталкивались мажор и минор, дребезжание и гул, залихватый трезвон и мерные удары, и, подхваченное каменным эхо домов, все это нестерпимо резало уши. Меланхолическое зрелище улиц в траурных балахонах из сажи надрывало душу людям, обреченным на жестокую необходимость созерцать это зрелище из окна. В каждом проезде, в каждом тупике, на каждом перекрестке дрожал, стонал, бился в воздухе скорбный звон, словно город был во власти чумы и по улицам тянулись повозки с трупами. Все то, на чем изнуренный работой человек мог бы хоть сколько-нибудь отвести душу, было тщательно и надежно заперто на замок. Ни картин, ни диковинных животных, ни редких цветов или растений, ни природных или искусственных чудес древнего мира – на все это просвещенный разум наложил табу, нерушимой твердости которого могли бы позавидовать безобразные божки диких племен в Британском музее.¹¹ Не на что кинуть взгляд, кроме улиц, улиц, улиц. Негде подышать воздухом, кроме улиц, улиц, улиц. Нечем разогнать тоску и неоткуда набраться бодрости. Только и остается усталому труженику, что сравнивать унылое однообразие седьмого дня недели с унылым однообразием шести остальных, размышлять о своей горькой жизни и утешаться этим – или огорчаться, что более вероятно.

В этот приятный вечер, столь полезительный для укрепления религии и нравственности, мистер Артур Кленнэм, только что прибывший из Марселя через Дувр, откуда его доставил дуврский дилижанс, так называемая «Синеокая красotka», сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилл. Вокруг него было десять тысяч респектабельных домов, так хмуро глядевших на улицы, их обтекавшие, словно в каждом из них проживали те десять юношей из «Тысячи и одной ночи», которые по ночам вымазывали себе лица грязью и в горестных воплях оплакивали свои невзгоды. Вокруг него было пятьдесят тысяч жалких лачуг, где люди жили в такой тесноте и грязи, что чистая вода, в субботу вечером налитая в кувшин, в воскресенье утром уже не годилась к употреблению; хотя его милость, депутат от их округа, удивлялся, отчего это им не спится среди запахов лежалой говядины и баранины. На целые мили к северу, к югу, к западу, к востоку тянулись дома, похожие на колодцы или шахты, дома, обитатели которых всегда задыхались от недостатка воздуха. Через весь город, вместо красивой, прохладной реки, катила свои мутные воды сточная канава. Какие же мирские желания могли в день седьмой волновать миллион с лишним человеческих существ, шесть дней гнувших спину среди всех

¹¹ *Британский музей* – один из крупнейших в мире музеев, коллекции которого пополняются с 1700 года. В Британском музее находится богатейшее собрание памятников искусства и материальной культуры стран Древнего Востока, Греции и Рима.

этих аркадских радостей, от сладостного постоянства которых им некуда было спастись с колыбели до гроба? Недремлющее око полиции – вот, разумеется, и все, что им требовалось.

Мистер Артур Кленнэм сидел у окна в кофейне на Ладгет-Хилле, прислушиваясь к звону ближайшего колокола, машинально подбирая ему в такт слова и припевы, и думал: сколько найдется за год слабых здоровьем людей, чью кончину ускорит это испытание? По мере того как приближался час начала церковной службы, колокол все чаще менял свой голос и от этого все неотвязней лез в уши. Когда осталось четверть часа, он забил с оживленно-мертвящей настойчивостью, торопя население в *божий храм, в божий храм, в божий храм*. Когда осталось десять минут, он увидел, что прихожане собираются туго, и, приуныв, стал глухо взывать: *ждем вас, ждем вас, ждем вас*. Когда осталось только пять минут, он потерял всякую надежду, и все триста секунд сотрясал окрестные дома мрачными ударами, по одному в секунду, похожими на стон отчаяния.

– Слава богу! – сказал Кленнэм, когда время истекло и колокол умолк.

Но под этот звон ожили в его памяти многие печальные воскресенья прошлого, и мрачная вереница воспоминаний продолжала тянуться перед его мысленным взором даже и после того, как наступила тишина.

– Господи, прости меня, – сказал он, – и тех, кто был моими воспитателями, тоже. Как я ненавидел всегда этот день!

Вот мрачное воскресенье из его детства: он сидит, отупев от страха, над чудовищным трактатом, который еще в заглавии огорошивал несчастного ребенка вопросом, почему он идет к гибели (каковую любознательность существо в штанишках и курточке не в силах было удовлетворить), а в самом тексте, в качестве особого развлечения для младенческого ума, содержал через каждые две строки икающую ссылку в скобках, вроде: 2 посл, к Фесс., гл. III, ст. 6 и 7. Вот унылое воскресенье из его отрочества: трижды в день, под конвоем учителей, точно дезертир, он марширует в церковь, скованный с другим таким же мальчиком невидимыми наручниками нравственного долга; и думает о том, как охотно обменял бы две порции неудобоваримой церковной проповеди на лишний кусочек тощей баранины, предназначенной для насыщения его плоти за обедом. Вот бесконечное воскресенье из его юности: мать его, женщина суровая лицом и непреклонная душой, целый день сидит, загораясь большой библией, облеченной, как и ее представления о ней, в твердый, негнувшийся, точно деревянный переплет, без всяких украшений, если не считать одной-единственной завитушки в углу, похожей на звено цепи, да зловеще багрового обреза; словно эта – именно эта! – книга должна была служить оплотом против всяких изъявлений ласки, душевного тепла и попыток дружеской беседы. Вот тягостное воскресенье из более поздних лет: угрюмый и мрачный, он не знает, как скоротать затянувшийся день, и в сердце у него горькое чувство обиды, а душеспасительная сущность Нового завета так же далека от него, как если бы он вырос среди идолопоклонников. Много, много воскресений медленно проплывали перед мысленным взором Кленнэма, и все это были дни неумемной тоски и неизгладимого унижения.

– Прошу прощенья, сэр, – прервал его мысли шустрый слуга, смахивая крошки со столика. – Желаете посмотреть номер?

– Да. Я как раз об этом думал.

– Коридорная! – закричал слуга. – Седьмой стол желают посмотреть номер.

– Нет, нет! – воскликнул Кленнэм, опомнясь. – Я ответил машинально, не сознавая, что говорю. Я не собираюсь ночевать здесь. Я пойду домой.

– Слушаю, сэр. Коридорная! Седьмой стол не желают смотреть номер. Пойдут домой.

День угасал, а он все еще сидел на том же месте, смотрел на хмурые фасады домов по другую сторону улицы и думал: если бестелесные ныне души прежних обитателей смотрят сюда с высоты, как им должно быть грустно, что вся их земная жизнь прошла в этих мрачных узилищах. Порой где-нибудь за мутным оконным стеклом появлялось человеческое лицо и тут же вновь исчезало во мраке, как будто достаточно насмотрелось на жизнь и спешило уйти от нее. Вдруг косые полосы дождя исчертили пространство, отделявшее Кленнэма от этих домов, застигнутые врасплох пешеходы спешили укрыться в соседних подворотнях и сокрушенно поглядывали оттуда на небо, видя, что дождь льет все сильнее и сильнее. Появились мокрые зонтики, заляпанные подолы, потеки грязи. Непонятно было, откуда вдруг вылезла вся эта грязь, где она пряталась раньше. Казалось, она собралась мгновенно, как собирается уличная толпа, и в какие-нибудь пять минут забрызгала всех сынов и до-

черей Адамовых. Фонарщик уже совершал свой обход, и язычки пламени, вспыхивавшие от его прикосновения, словно удивлялись, как это им позволили расцвести яркими пятнами столь неприглядную картину.

Мистер Артур Кленнэм надел шляпу, застегнулся на все пуговицы и вышел. В деревне воздух после дождя наполнился бы благоуханной свежестью и на каждую упавшую каплю земля откликнулась бы новым и прекрасным проявлением жизни. В городе дождь только усиливал дурные, тошнотворные запахи да переполнял водостоки мутной, тепловатой, жирной от грязи водой.

У собора св. Павла¹² Кленнэм перешел на другую сторону и обходным путем стал спускаться к реке через целый лабиринт крутых, извилистых улочек (в те годы еще более извилистых и тесных), между набережной и Чипсайдом.¹³ Он проходил то мимо покрытых плесенью стен, за которыми в старину собиралось какое-нибудь благочестивое общество, то мимо освещенного фасада церкви без прихожан, словно ожидающей, когда какой-нибудь предприимчивый Бельцони¹⁴ откопает ее и ее историю; он шел, минуя наглухо запертые ворота причалов и складов, пересекая узкие переулки, где порой на сырой стене плакал жалкий, намокший лоскут объявления со словами: «Найдено тело утопленника...» – и, наконец, очутился у того дома, который ему был нужен. Это был старый, закоптелый почти до черноты кирпичный особняк, одиноко стоявший в глубине двора. Перед ним был квадратный палисадник – два-три куста и полоска газона, настолько же заросшая сорной травой, насколько железная ограда вокруг была покрыта ржавчиной (а значит – довольно основательно); за ним уходило вдаль нагромождение городских крыш. Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами в массивных рамах. Много лет назад он обнаружил намерение свалиться набок; его спешно подперли, чтобы этого не случилось, и так он и стоял с тех пор, опираясь на полдюжины гигантских костылей, однако теперь вид этого сооружения – излюбленного пристанища соседских кошек, – подгнившего от дождей, замшелого от времени и почерневшего от дыма, не внушал особого доверия.

– Все по-старому, – сказал путешественник, остановившись и глядя на дом. – Так же мрачно и так же уныло. И матушкино окно освещено, словно в нем и не гасили света с той поры, как я, бывало, дважды в год возвращался на каникулы домой и проходил здесь, волоча свой сундучок по тротуару. Так, так, так...

Он подошел к двери, над которой был навес, украшенный резьбой в виде развешанных полотенец и детских головок со всеми признаками водянки мозга – очень модный в свое время узор; подошел и постучал. Послышались шаркающие шаги по каменным плитам пола, дверь отворилась, и на пороге показался старик со свечой в руке, сухой и сгорбленный, но с острыми, пронзительными глазами.

Он поднял свечу повыше, вглядываясь этими пронзительными глазами в посетителя.

– А, мистер Артур, – сказал он, без всякого волнения. – Приехали наконец? Входите.

Мистер Артур вошел и закрыл за собой дверь.

– Вы пополнели, раздались в плечах, – заметил старик, оглядывая его при свете той же свечи и медленно качая головой, – но все-таки далеко вам до вашего отца. И до матушки тоже.

– А как матушкино здоровье?

– Так же, как и все эти годы. Когда она не прикована к постели болями, то просто сидит у себя в комнате. За пятнадцать лет она едва ли пятнадцать раз ступила за порог этой комнаты, Артур. – Они вошли в неприятную, скудно обставленную столовую. Старик поставил подсвечник на стол, подпер правый локоть левой рукой и, поглаживая свой пергаментный подбородок, внимательно уставился на гостя. Гость протянул ему руку. Старик дотронулся до нее без особого пыла; собственный подбородок явно был ему куда приятнее, и при первой возможности он предпочел ухватиться за

¹² *Собор св. Павла* – один из самых значительных архитектурных памятников Лондона; возведен в 1675–1710 годах по проекту известного архитектора Кристофера Ренна (1642–1728).

¹³ *Чипсайд* – одна из центральных магистралей в Сити – деловом районе Лондона, где расположены банки, коммерческие предприятия, органы городского управления.

¹⁴ *Бельцони Джованни Баттиста* (1778–1823) – итальянский путешественник и археолог, производивший большие раскопки в Египте.

него снова.

– Не знаю, Артур, понравится ли вашей матушке, что вы для своего возвращения выбрали день воскресный, – с сомнением сказал он, покачивая головой.

– Что же, вам угодно, чтобы я ушел?

– Кому, мне? Мне? Я здесь не хозяин. Что угодно *мне*, никакого значения не имеет. Много лет я становился между вашей матерью и вашим отцом, ослабляя столкновения между ними. Но я не намерен теперь становиться между вашей матерью и вами.

– Пожалуйста, скажите матушке, что я вернулся.

– Сейчас, Артур, сейчас. Ну как же! Сию минуту пойду и доложу ей о вашем возвращении. А вы пока подождите здесь, в столовой. Здесь, как видите, ничего не изменилось. – Он достал из буфета другую свечу, зажег ее и, оставив подсвечник на столе, пошел исполнять поручение.

Старик был небольшого роста, с плешью во всю голову; на нем был черный сюртук с высокими плечами, черный жилет, темно-серые панталоны и такие же темно-серые гетры. По платью его можно было принять то ли за слугу, то ли за конторщика; да он и соединял в своем лице долгие годы то и другое. Единственным украшением его особы служили часы, опущенные в недра специального кармашка на ветхой, черной тесемке; потускневший от времени медный ключик, прицепленный к той же тесемке, указывал место погружения. Голову он постоянно держал набок, и весь он был какой-то кривой, скособоченный, как будто фундамент у него осел на одну сторону тогда же, когда это случилось с домом, и тоже нуждался в подпорках.

– Слабый же я человек, – сказал себе Артур Кленнэм после его ухода, – если подобный прием мог вызвать у меня слезы. – Разве когда-нибудь я встречал здесь иной прием? Разве я мог ожидать иного?

Но слезы и в самом деле навернулись у него на глаза. Сказалась на мгновение натура человека, который с самой зари жизни привык терпеть разочарования, но все же не утратил окончательно способности надеяться. Но Артур подавил в себе это движение души, взял свечу и принялся осматривать комнату. Та же старая мебель стояла на тех же местах. На стенах, в рамках под стеклом висели гравюры, изображавшие «Казни египетские»,¹⁵ в которых трудно было что-нибудь разобрать по причине казней лондонских – копоты и мух. В углу стоял знакомый поставец со свинцовой прокладкой внутри, пустой, как всегда, похожий на гроб с перегородками; а рядом был знакомый темный чулан, тоже пустой; в свое время Артура не раз запирали сюда в наказание за какую-нибудь провинность, и в такие дни чулан казался ему преддверием того места, куда он спешил со всех ног по мнению упомянутого выше трактата. На буфете по-прежнему красовались большие, каменнолицые часы; они как будто злорадно подмигивали ему из-под своих нарисованных бровей, если он не успевал вовремя приготовить уроки, а когда раз в неделю их заводили железным ключом, они издавали свирепое рычание, словно предвкушая все невзгоды, которые им предстояло возвестить. Но тут в столовую вернулся старик и сказал:

– Идемте, Артур; я пойду вперед и посвечу вам. Следуя за ним, Артур поднялся по лестнице, вдоль которой тянулась панель, разделенная на квадраты, отличавшиеся большим сходством с мраморными плитами, и вошел в полуосвещенную спальню, пол которой настолько осел и покосился, что камин оказался как бы в низине. В этой же низине стоял черный, похожий на катафалк, диван, и на нем, прислонясь к большому твердому черному валику, точному подобию плахи, на которой в доброе старое время совершались публичные казни, сидела его мать в траурной вдовьей одежде.

Сколько он себя помнил, между отцом и матерью всегда шли нелады. Самое мирное времяпровождение его раннего детства состояло в том, что он молча сидел в комнате, где царила напряженная тишина, и со страхом переводил взгляд с одного отвернувшегося в сторону лица на другое. Мать коснулась его лба ледяным поцелуем и протянула четыре негнущихся пальца в шерстяной митенке. Когда с этим нежным приветствием было покончено, Артур уселся против нее за маленький столик, стоявший перед диваном. В камине горел огонь, как горел днем и ночью уже пятнадцать лет. На огне стоял чайник, как стоял днем и ночью уже пятнадцать лет. Поверх угля высился маленький холмик

¹⁵ ...висели гравюры, изображавшие «Казни египетские»... – В библейском сказании говорится о десяти бедствиях (казнях), на которые были обречены богом египтяне, отказавшиеся отпустить евреев из плена.

мокрой золы, и другой такой же холмик виднелся внизу, под решеткой, как бывало днем и ночью уже пятнадцать лет. В комнате, лишенной доступа свежего воздуха, пахло разогревшейся черной краской, как пахло от вдовьего крепа уже пятнадцать месяцев и от катафалкоподобного дивана уже пятнадцать лет.

– Я привык вас видеть более живой и деятельной, матушка.

– Мир для меня замкнулся в этих четырех стенах, Артур, – ответила она, обводя глазами комнату. – Хорошо, что его суэта и тщеславие никогда не были близки моей душе.

Ее взгляд, знакомый звук сурового, властного голоса так подействовали на сына, что он вновь, как в детстве, ощутил непреодолимую робость и желание сжаться в комок.

– Значит, вы никогда не покидаете этой комнаты, матушка?

– Мой ревматизм и сопутствующий ему упадок сил или нервное расстройство – не в названии дело – привели к тому, что я перестала владеть ногами. Да, я никогда не покидаю этой комнаты. Я не переступала ее порога уже... скажи ему, сколько, – бросила она кому-то через плечо.

– О рождестве будет двенадцать лет, – отозвался из темного угла слабый, надтреснутый голос.

– Неужели это Эффери? – спросил Артур, оглядываясь на звук.

Надтреснутый голос подтвердил, что это действительно Эффери, и вслед за тем в освещенное, вернее полусвещенное пространство перед диваном вышла старая женщина; она приветствовала Артура, приложив кончики пальцев к губам и тотчас же снова отступила в темноту.

– Благодарение богу, – сказала миссис Кленнэм, слегка поведя рукой в сторону кресла на колесах, стоявшего перед высоким бюро с наглухо запертой крышкой, – благодарение богу, я все же могу заниматься делами. Это большое счастье. Но не будем говорить о делах в воскресенье. Что, погода дурная?

– Да, матушка.

– Идет снег?

– Снег, матушка? Да ведь еще только сентябрь на дворе.

– Для меня все времена года одинаковы, – ответила она с оттенком какого-то мрачного самодовольства. – Сидя здесь, в четырех стенах, я не знаю ни зимы, ни лета. Богу было угодно сделать так, чтобы все это меня не касалось.

Холодный взгляд ее серых глаз, холодная седина волос, неподвижность черт, таких же застывших, как каменные складки на оборке чепца, – все это внушало мысль, что ей, не ведающей смены простых человеческих чувств, естественно было не замечать смены времен года.

На столике перед нею лежали две или три книги, носовой платок, только что снятые очки в стальной оправе и старомодные золотые часы в массивном двойном футляре. На этот последний предмет были теперь устремлены глаза и матери и сына.

– Я вижу, матушка, что посылка, которую я вам отправил после смерти отца, благополучно дошла по назначению.

– Как видишь.

– Отец очень беспокоился о том, чтобы эти часы были незамедлительно отосланы вам. Мне никогда прежде не случалось видеть, чтобы он так беспокоился о чем-либо.

– Я храню их здесь на память о твоём отце.

– Он высказал мне свое пожелание уже в самые последние минуты. Когда он только и мог, что положить на эти часы руку и невнятно пролепетать: «Твоей матери». Минутой раньше мне казалось, что он бредит – за время своей недолгой болезни он часто впадал в беспамятство и, должно быть, благодаря этому не чувствовал боли, – но тут я вдруг увидел, что он повернулся на бок и силится открыть крышку часов.

– Значит, по-твоему, отец не бредил, когда пытался открыть крышку часов?

– Нет. На этот раз он был в здравом уме и твердой памяти.

Миссис Кленнэм покачала головой; в осуждение ли покойному, или в знак несогласия с мнением сына – осталось не вполне ясным.

– После его смерти я открыл эти часы, надеясь найти там какую-нибудь записку, какое-нибудь распоряжение. Однако, как вы и сами знаете, матушка, ничего подобного там не оказалось, только между крышками лежала: старенькая шелковая прокладка, вышитая бисером, которую я не стал вынимать; верно, она и теперь лежит на своем месте.

Миссис Кленнэм движением головы подтвердила это; затем она сказала:

– Довольно разговоров о делах в воскресный день, – и добавила: – Эффери, девять часов.

Услышав это, старуха торопливо убрала все со столика перед диваном, затем вышла из комнаты и тотчас же воротилась, неся поднос с тарелкой сухариков и точно отмеренной порцией масла в виде аккуратного, белого, прохладного на вид комочка. Старик, во все время этой беседы неподвижно стоявший у двери, устремив на мать тот же испытующий взгляд, которым недавно смотрел на сына, в свою очередь, вышел из комнаты и после несколько более продолжительного отсутствия также воротился с подносом, на котором была початая бутылка портвейну (судя по тому, как он отдувался, ему пришлось спускаться за ней в погреб), лимон, сахарница и ящичек с пряностями. Из всего этого, с прибавлением воды, кипевшей в чайнике, он приготовил горячую ароматную смесь, с аптекарской тщательностью отмеряя в стакан ее составные части. Миссис Кленнэм съела несколько сухариков, макая их в эту смесь; а остальные сухарики старуха намазала маслом, чтобы она могла съесть их отдельно. Когда, наконец, больная доела последний сухарик и допила остаток смеси из стакана, оба подноса с посудой были убраны, а книга, свеча, носовой платок, часы и очки – вновь водворены на столик. После этого миссис Кленнэм вооружилась очками и стала читать вслух из толстой книги, с силой и яростью выражая пожелания, чтобы ее враги (голос и тон не оставляли сомнений в том, что это именно ее личные враги) были преданы огню и мечу, поражены чумой и проказой, чтобы кости их рассыпались в прах и прах был развеян по ветру. Сын слушал ее, и казалось, все прожитые годы отлетели от него как сон и он снова был ребенком, каждый вечер обреченным выслушивать это мрачное напутствие.

Она захлопнула книгу и некоторое время сидела молча, прикрыв глаза рукой. Старик, все в той же позе стоявший у двери, также поднес руку к глазам; то же, должно быть, сделала и старуха в своем темном углу. На этом вечерние приготовления больной закончились.

– Спокойной ночи, Артур. Эффери позаботится о постели для тебя. Только не жми мне руку; ей очень легко причинить боль.

Он осторожно дотронулся до шерстяной митенки, скрывавшей ее ладонь; но что шерсть! даже медный панцирь не мог бы сделать эту мать более неприступной, чем она была для сына, – и, выйдя из комнаты вслед за стариком и старухой, стал спускаться вниз.

Когда они остались вдвоем в столовой, стены которой тонули в густом мраке, старуха спросила, не желает ли он поужинать.

– Нет, Эффери, никакого ужина не надо.

– А то смотрите, – сказала Эффери. – В кладовой есть куропатка, купленная для нее на завтра – это первая в нынешнем году; скажите только слово, я вам ее мигом изжарю.

Нет, он недавно пообедал и ему не хочется есть.

– Ну, выпейте чего-нибудь, – настаивала Эффери – Хотите ее портвейну? Я скажу Иеремии, что вы мне приказали подать бутылку.

Нет, пить он тоже не станет.

– Послушайте, Артур, – шепотом сказала старуха, наклонясь к нему поближе: – пусть я их боюсь до смерти, но ведь вам-то нечего бояться. Ведь половина-то состояния вам принадлежит, верно?

– Верно, верно.

– Ну вот, видите. И умом вас тоже бог не обидел, верно?

Она так явно ждала утвердительного ответа, что ему пришлось кивнуть головой.

– Вот вы и не поддавайтесь им! Она-то до того умна, что у кого ума нет, тот при ней лучше и рта не раскрывай. Ну, а ему ума не занимать стать, это уж будьте покойны! Он когда захочет, так и ее отделает за милую душу!

– Кто, ваш муж?

– А то кто же? Я другой раз услышу, как он ее отделяет, так прямо затрясусь вся с ног до головы. Да, мой муж, Иеремия Флинтвинч, может даже над вашей матерью верх взять. Так не будь у него ума, разве ж бы его хватило на это?

Шаркающие шаги раздались на лестнице, и, заслышав их, она тотчас отбежала в угол. Рослая, угловатая, кряжистая старуха, которая в молодости свободно могла бы записаться в гренадерский полк, не опасаясь разоблачения, она вся съезживалась перед этим похожим на краба человечком с пронзительными глазами.

– Эффери, старуха, о чем ты думаешь? – сказал он. – Неужели до сих пор не могла принести мистеру Артуру чего-нибудь подкрепиться?

Мистер Артур поспешил вновь заявить о том, что не испытывает никакого желания подкрепляться.

– Ну что ж, тогда готовь ему постель, – сказал на это старик. – Да пошевеливайся.

Шея у него была до того искривлена, что концы белого галстука болтались обычно где-то под ухом; в нем непрестанно шла борьба между природной резкостью и живостью и привычкой сдерживать себя, превратившейся во вторую натуру, от чего он то и дело надувался и синел; и все это вместе придавало ему сходство с удавленником, которого кто-то успел вовремя срезать с крюка и который с тех пор так и ходит по свету с петлей и обрывком веревки на шее.

– Завтра вам предстоит неприятное объяснение, Артур, – сказал Иеремия, – я имею в виду объяснение с вашей матушкой. Мы не говорили ей о том, что после смерти отца вы решили выйти из дела, – хотели дождаться вашего приезда; но она догадывается, и это вам так легко не пройдет.

– Я от всего в жизни отказывался ради этого дела, а теперь пришла пора мне отказаться от него самого.

– Очень хорошо! – воскликнул Иеремия, что явно должно было означать «очень плохо!». – Очень хорошо! Но не надейтесь, что я буду становиться между вашей матушкой и вами, Артур. Я постоянно становился между нею и вашим отцом, отводил одни удары, смягчал другие, и это довольно чувствительно отзывалось на моей шкуре; хватит, больше не желаю.

– Я вас никогда и не попрошу об этом, Иеремия.

– Очень хорошо! Рад слышать; потому что, если б и попросили, я бы не согласился. Но, как говорит ваша матушка, довольно толковать о делах в день воскресный – можно сказать предовольно. Эффери, старуха, ты все нашла, что тебе нужно?

Эффери, которая в это время возилась у шкафа, отбирая простыни и одеяла, поспешно сгребла все в охапку и ответила:

– Да, Иеремия.

Артур Клоннэм пожелал старику приятного сна и, взяв у Эффери из рук ее ношу, стал следом за ней подниматься в верхний этаж.

Поднимались они долго, вдыхая затхлый запах старого и почти нежилого дома, пока, наконец, не достигли просторного помещения под самой крышей, предназначенного служить спальней. Обставленное убого и скудно, как и все остальные комнаты в доме, оно выглядело еще непригляднее прочих, так как являлось местом ссылки отслужившей свой век мебели. Здесь были безобразные старые стулья с продавленными сиденьями и безобразнее старые стулья вовсе без сидений, ветхий ковер со стершимся узором, хромоногий стол, увечный гардероб, плохонький каминный прибор, состоявший, казалось, из скелетов каких-то давно скончавшихся каминных принадлежностей, умывальник, на котором засохли следы грязной мыльной пены, явно вековой давности, и кровать с четырьмя обглоданными столбиками, такими острыми на концах, что можно было усмотреть в этом проявление некоей зловещей предупредительности на тот случай, если бы кто-нибудь из жильцов вдруг возымел желание посадить самого себя на кол. Артур отворил широкое низкое окно и увидел все тот же знакомый лес черных от копоти дымовых труб и все то же знакомое красноватое зарево в небе; когда-то, в давно прошедшие времена, он принимал его за ночные отсветы геенны огненной, образ которой преследовал его всюду, куда бы он ни устремлял свое детское воображение.

Он отошел от окна, сел на стул у кровати и стал смотреть, как Эффери Флинтвинч готовится ему постель.

– Эффери, когда я уезжал, вы, кажется, не были замужем.

Она отрицательно покачала головой и принялась надевать наволочку на подушку.

– Как же это вышло?

– Да все Иеремия, понятное дело, – сказала Эффери, зажав уголок наволочки в зубах.

– То есть, я понимаю – он сделал вам предложение; но как все-таки это произошло? Признаться, я никогда не представлял себе, что он вдруг женится, или вы выйдете замуж, и уж меньше всего думал, что вы с ним можете пожениться.

– Я и сама не думала, – сказала миссис Флинтвинч, энергично запихивая подушку в наволочку.

– Ну вот, видите. Когда же вам это впервые пришло в голову?

– А мне это никогда и не приходило в голову, – сказала миссис Флинтвинч.

Кладя подушку на место, в изголовье постели, она увидела, что Артур смотрит на нее по-прежнему вопросительно, словно ждет дальнейших разъяснений, и, наградив подушку заключительным пинком, она спросила в свою очередь:

– Как же я могла помешать ему?

– Как вы могли помешать ему жениться на вас?

– Вот именно, – сказала миссис Флинтвинч. – Не моя это была затея. Я об этом и не думала. Слава богу, хватало у меня забот и без того, чтобы мне еще думать о чем-то. Когда она была на ногах (а в ту пору она еще была на ногах), она уж следила за тем, чтобы я не прохлаждалась зря – да и он не отставал от нее.

– И что же?

– Что же? – точно эхо отозвалась миссис Флинтвинч. – Вот это самое я себе тогда и сказала. Что же! Тут гадать нечего. Если они, двое умников, на том порешили, что я-то могу поделаться? Ровно ничего.

– Так, значит, эта мысль принадлежала моей матери?

– Господи помилуй, Артур, – и да простит он мне, что я поминаю его имя всеу! – воскликнула Эффери, все еще полупшепотом. – Да ведь не сойдишь они на том оба, разве бы из этого что-нибудь вышло? Иеремия не стал заниматься ухаживаниями; где уж тут, когда столько лет прожили в доме вместе и он всегда командовал мной. Просто в один прекрасный день он мне вдруг и говорит: «Эффери, говорит, я имею вам кое-что сообщить. Скажите, нравится ли вам фамилия Флинтвинч?» – «Нравится ли мне эта фамилия?» – спрашиваю я. «Да, говорит; потому что это теперь будет и ваша фамилия». – «Моя фамилия?» – спрашиваю я. «Иеремии-и-я!» Да, уж это умник так умник.

И миссис Флинтвинч, видимо считая, что рассказ окончен, принялась опять за постель – разостлала сверху другую простыню, накрыла ее одеялом, а поверх положила еще одно одеяло – стеганое.

– И что же? – снова спросил Артур.

– Что же? – снова отозвалась миссис Флинтвинч. – А как я могла помешать ему? Он приходит ко мне и говорит: «Эффери, мы с вами должны пожениться, и вот почему. Она становится слаба здоровьем, и скоро ей нужен будет постоянный уход, и нам придется много времени находиться при ней, в ее комнате, а когда мы не будем находиться при ней, то мы с вами будем в целом доме одни, и потому, говорит, удобнее, если мы поженемся. Она тоже так считает. Так что потрудитесь в понедельник к восьми часам утра надеть шляпку, и мы пойдем и покончим с этим делом».

Миссис Флинтвинч подоткнула края одеяла.

– И что же?

– Что же? – повторила миссис Флинтвинч. – А как вы думаете? Села я и говорю это самое: «Что же!» А Иеремия мне в ответ: «Кстати, как раз в это воскресенье состоится в третий раз оглашение (я его заказал две недели тому назад), потому-то я и назначаю на понедельник. Она сегодня сама будет с вами говорить, так вот, теперь вы, значит, подготовлены». И в самом деле, в тот же день она со мной завела разговор. «Эффери, говорит, я слышала, что вы с Иеремией собираетесь пожениться. Я очень рада этому, и вы, разумеется, тоже. Это очень хорошо для вас, и при данных обстоятельствах очень желательно для меня. Иеремия – человек здравомыслящий, человек положительный, человек твердый, человек благочестивый». Что мне тут оставалось сказать, если уж дошло до дела? Да если б меня не к алтарю собирались вести, а на эшаФот (миссис Флинтвинч стоило не малых трудов подобрать это живописное сравнение), мне и то нечего было бы возразить, раз они, умники, оба так порешили.

– Честное слово, я думаю, что вы правы.

– Уж можете не сомневаться, Артур.

– Эффери, а что это за девушка была там, в матушкиной комнате?

– Девушка? – неожиданно громким голосом переспросила миссис Флинтвинч.

– Ну да, рядом с вами, я ее разглядел, хоть она и пряталась в темном углу.

– Ах, это! Крошка Доррит? Да это так, никто. Ее причуда. – Эффери Флинтвинч отличалась одной особенностью: говоря о миссис Кленнэм она никогда не называла ее по имени. – А вот бывают на свете другие девушки. Помните вы свою старую зазнобу? Наверно, давным-давно позабыли.

– Трудно было бы забыть, после того как я столько выстрадал, когда матушка разлучила нас. Пет, я ее очень хорошо помню.

– И другой не завели за это время?

– Нет.

– Ну так вот вам приятная новость. Она теперь богата и к тому же вдова. Так что, если хотите, можете на ней жениться.

– А откуда вам все это известно, Эффери?

– Они, умники, говорили между собой об этом... Иеремия! Я слышу его шаги на лестнице! – И в одно мгновение она исчезла.

Миссис Флинтвинч вплела последнюю недостававшую нить в тот сложный узор, который его воображение ткало на станке памяти. Когда-то даже в этот унылый дом сумел пробраться безрассудный дух юношеской любви, и ее безнадежность причинила Артуру не меньше страданий, чем если бы дело происходило в каком-нибудь романтическом замке. Хорошенькое личико девушки, с которой он не без сожаления расстался в Марселе всего лишь неделю назад, пробудило в нем непривычный интерес и даже волнение своим подлинным или мнимым сходством с тем лицом, что некогда впервые озарило его беспросветную жизнь ярким сиянием фантазии. Артур оперся ладонями о длинный низкий подоконник и, глядя на лес труб, черневший за окном, погрузился в мечты. Ибо так уж сложилась вся жизнь этого человека – слишком мало было в ней такого, что могло бы дать пищу для размышлений, слишком много такого, о чем думать не хотелось и не стоило; и в конце концов он привык искать прибежища в грезах.

Глава IV

Миссис Флинтвинч видит сон

В отличие от сына своей старой госпожи, миссис Флинтвинч, если уж ей случалось грезить, грезила обычно с закрытыми глазами. В ту ночь, спустя лишь несколько часов после того как она ушла от сына своей старой госпожи, ей пригрезился удивительно яркий сон. Строго говоря, это даже не было похоже на сон, до того все в нем выглядело естественно и правдоподобно. Вот как это произошло.

Комната, служившая спальней супругам Флинтвинч, находилась в нескольких шагах от той, которую так давно уже не покидала миссис Кленнэм. Она не была на том же этаже, так как помещалась в пристройке и к ней вели несколько крутых ступенек, отделявшихся от главной лестницы почти насупротив дверей миссис Кленнэм. Неверно было бы также сказать, что она находится «на расстоянии оклика»: массивные стены, двери, дубовые панели глушили всякий звук; но все же она находилась достаточно близко, чтобы можно было, не тратя времени на одеванье, попасть из одной комнаты в другую в любой час и при любой температуре. У изголовья супружеской кровати, не дальше фута от уха миссис Флинтвинч, был колокольчик, шнурок которого висел под рукой у миссис Кленнэм. Стоило этому колокольчику зазвонить, как Эффери срывалась с постели и оказывалась в комнате у больной раньше, чем успевала окончательно проснуться.

Миссис Флинтвинч уложила свою госпожу в постель, засветила ей ночник, пожелала спокойной ночи и затем сама, как обычно, отправилась на покой, не дождавшись, правда, появления супруга и повелителя. Однако вопреки ученым авторитетам, утверждающим, что нам снится последнее, о чем мы думали на ночь, именно он, супруг и повелитель, оказался героем сновидения миссис Флинтвинч.

Привиделось ей, будто она проснулась среди ночи и обнаружила, что Иеремия так и не ложился. Будто она взглянула на свечу, которую перед сном не погасила и, увидев, что от нее остался лишь маленький огарок, умозаклучила, подобно королю Альфреду Великому, всегда измерявшему таким способом время,¹⁶ что проспала довольно долго. Будто после этого она встала, накинула капот, надела ночные туфли и вышла на главную лестницу, недоумевая, где может быть Иеремия.

Лестница была твердая и осязаемая, совсем как наяву, и Эффери спустилась вниз без всяких

¹⁶ ...подобно Альфреду Великому, всегда измерявшему таким способом время... – По преданию, король англосаксов Альфред Уэссекский (Великий) (849–900), определял время с помощью пометок на горячей свече.

блужданий вопреки тому, как это бывает во сне. Она не парила над ней, а спускалась медленно, ступенька за ступенькой, держась за перила, потому что свеча ее очень скоро догорела.

В одном углу сеней, за парадной дверью, была отгорожена тесная, точно колодец, каморка с длинным, узким, похожим на прореху окном. Из этой каморки, которая никогда не была обитаемой, шел свет.

Миссис Флинтвинч прошла через сени, ощущая под ногами холод каменных плит, и заглянула в щель между ржавыми петлями неплотно притворенной двери. Она ожидала, что увидит Иеремию крепко спящим или, может быть, в обмороке; а между тем он сидел в кресле здоровехонький и бодрствовал. Но что это?.. Господи спаси и помилуй!.. Миссис Флинтвинч тихо ахнула и почувствовала, что голова у нее идет кругом.

Ибо мистер Флинтвинч бодрствующий сидел и смотрел на мистера Флинтвинча спящего. Его пристальный взгляд был устремлен на него самого, который помешался напротив, за маленьким столиком, и храпел, уронив подбородок на грудь. Бодрствующий Флинтвинч сидел лицом к своей жене; спящий Флинтвинч был повернут к ней в профиль. Бодрствующий Флинтвинч был хорошо знаком ей оригиналом; спящий Флинтвинч был копией. Хоть и кружилась у Эффери голова, но она уловила эту разницу, так же как сумела бы отличить подлинный предмет от его отражения в зеркале.

Впрочем, если бы у нее возникло сомнение на счет того, который из двух – ее любезный супруг, оно тотчас же было бы развеяно его поведением. Он нетерпеливо оглянулся в поисках оружия, схватил щипцы и, прежде чем снять нарощую на свече шапку нагара, пырнул ими спящего, точно хотел проткнуть его насквозь.

– Кто это? Что случилось? – закричал тот спросонья.

Мистер Флинтвинч сделал такой жест, как будто собирался заставить гостя замолчать, всадив ему щипцы в глотку. Гость между тем уже очнулся и тер глаза, бормоча:

– Я забыл, где я.

– Ты спишь уже два часа, – прорычал Иеремия, сверившись со своим хронометром, – А просил только дать тебе вздремнуть для подкрепления сил.

– Я и вздремнул, – отозвался Двойник.

– Третий час утра, – вполголоса произнес Иеремия. – Где твоя шляпа? Где твои пальто? Где шкатулка?

– Все здесь, – сказал Двойник, с сонной медлительностью укутывая шарфом горло. – Постой, постой. Ну вот, теперь помоги мне надеть пальто – нет, сперва тот рукав, потом этот. Эх, годы, годы! – Мистер Флинтвинч энергичным усилием втиснул его в пальто. – А ты помнишь, что обещал мне еще стаканчик, после того как я вздремну?

– На! Пей и убирайся, – чуть было не сказал: пей и подавись! – Говоря это, Иеремия достал знакомую бутылку портвейна и налил вина в стакан.

– Ее портвейн, надо думать? – заметил Двойник, пробуя вино на вкус с досужим видом человека, которому некуда торопиться. – Так за ее здоровье!

Он отпил глоток.

– За твое здоровье! Еще глоток.

– За его здоровье! Третий глоток.

– И за всю округу святого Павла! – Произнеся этот старинный тост, он допил свой стакан и поставил его на стол, после чего взялся за шкатулку. Это был плоский железный ящик примерно в два квадратных фута величиной, который без особого труда можно было унести под мышкой. Иеремия ревнивым взглядом следил за всеми движениями Двойника, подергал шкатулку, желая проверить, достаточно ли крепко тот ее держит, долго заклинал его соблюдать всяческую осторожность и, наконец, на цыпочках вышел, чтобы отворить дверь и выпустить его. Эффери, в предвидении этого, успела отбежать к лестнице. Дальше все происходило совершенно как наяву, настолько, что она даже услышала скрип отворяющейся двери, почувствовала ночную прохладу, увидела звезды на небе.

Но тут наступило самое удивительное в этом странном сие. Страх перед мужем словно парализовал миссис Флинтвинч, и вместо того чтобы поспешить назад в свою комнату (на это вполне хватило бы времени, покуда он возился с дверными засовами), она застыла неподвижно на ступеньке, на которой стояла. А потому, когда Иеремия, со свечой в руке, стал подниматься по лестнице наверх, он сразу же натолкнулся на нее. Его лицо выразило удивление, но он не произнес ни слова. Устремив на

нее пристальный взгляд, он шаг за шагом продолжал подвигаться вперед; а она, замороженная силой этого взгляда, шаг за шагом пятилась назад. Таким образом, он, наступая, а она, отступая перед ним, дошли они до своей супружеской спальни. И не успела дверь затвориться за ними, как мистер Флинтвинч схватил жену за горло и принялся трясти ее так, что вся кровь бросилась ей в голову.

– Эффери, старуха! Эй, Эффери! Что тебе примерещилось? Да очнись же наконец! Что с тобой?

– Со... со мной, Иеремия? – прохрипела миссис Флинтвинч, выпучив глаза.

– Эффери, старуха, – эй, Эффери! Что это ты, милая, вздумала вставать во сне? Я сам нечаянно уснул внизу, а потом прихожу сюда, чтобы лечь в постель, и застаю тебя на ногах, в капоте, мечущуюся в кошмаре. Эффери, старуха, – продолжал мистер Флинтвинч с ласковой усмешечкой на своем выразительном лице, – если еще раз повторится с тобой нечто подобное, придется заключить, что ты нуждаешься в лечении. И я тебя полечу, голубушка моя – уж я тебя полечу!

Миссис Флинтвинч поблагодарила его и тихонько легла в постель.

Глава V **Дела семейные**

В понедельник утром, едва на городских часах пробило девять, мистер Иеремия Флинтвинч, с обычным своим видом срезанного с веревки удавленника, подкатил кресло миссис Кленнэм к высокому бюро, стоявшему у стены. Дождавшись, пока она его отперла, откинула крышку и расположилась перед ним поудобнее, Иеремия удалился – быть может, пошел повеситься более прочно, – и в комнату вошел Артур Кленнэм.

– Как вы себя сегодня чувствуете, матушка? Лучше вам?

Она покачала головой с тем же оттенком зловещего удовлетворения, с которым накануне говорила о погоде.

– Мне никогда уже не будет лучше, Артур. К счастью, я это знаю и умею мириться с этим.

Когда она сидела так перед своим высоким бюро, положив обе руки на откинутую крышку, казалось, будто она играет, на беззвучном церковном органе. Эта мысль не рад приходила на ум ее сыну; подумал он об этом и сейчас, садясь в кресло, стоявшее рядом.

Миссис Кленнэм выдвинула один ящик, потом другой; достала какие-то документы, просмотрела их и спрятала снова. Ни разу на ее суровом лице не мелькнуло просвета, который мог бы служить путеводной нитью тому, кто пожелал бы проникнуть в темный лабиринт ее раздумий.

– Мне хотелось бы побеседовать с вами о наших делах, матушка. Угодно ли вам вести деловой разговор?

– Угодно ли мне, Артур? Скорей следовало бы тебя спросить об этом. Прошло уже больше года с тех пор, как умер твой отец. Все это время я к твоим услугам и жду, когда ты согласишься сюда пожаловать.

– Я не мог уехать, пока не уладил и не привел в порядок некоторые дела. А потом я предпринял небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и рассеяться.

Она повернула к нему лицо, словно не дослышала или не поняла.

– Отдохнуть и рассеяться?

Она оглянулась по сторонам, и по движению ее губ можно было догадаться, что она повторяет про себя эти слова, будто, призывая комнату подтвердить, как мало было доступно и то и другое в ее сумрачных стенах.

– А кроме того, матушка, ведь вы по завещанию единственная душеприказчица, и поскольку все управление имуществом находится в ваших руках, мне почти ничего, или вовсе ничего не оставалось делать, как только ждать, когда вы распорядитесь всем по своему желанию и усмотрению.

– Счета все в порядке, – ответила миссис Кленнэм. – Вот они здесь. Оправдательные документы налицо и проверены должным образом. Можешь ознакомиться с ними, когда захочешь – хотя бы сию минуту.

– Раз вы говорите, что все в порядке, матушка, мне этого совершенно достаточно. А теперь, угодно ли вам меня выслушать?

– Говори, – сказала она обычным своим ледяным тоном.

Чарльз Диккенс «Крошка Доррит. Книга первая»

– Матушка, за последнее время наша фирма из года в год уменьшала свои обороты, и дела ее все больше и больше приходили в упадок. Мы не слишком много доверия оказывали другим и не слишком пользовались доверием сами. Мы не приобрели постоянных клиентов; мы никогда не старались идти в ногу со временем и в конце концов крайне отстали. Мне незачем говорить вам об этом подробнее, матушка. Вам и без меня все известно.

– Да, я понимаю тебя, – отозвалась она несколько мягче.

– Даже этот старый дом, где мы с вами сидим сейчас, – продолжал ее сын, – может служить примером, подтверждающим мои слова. Когда-то, при моем отце, и еще раньше, при его дяде, это было место, где делались дела – центр и средоточие деятельности фирмы. Но теперь он стоит в этом квартале устарелым и бесполезным пережитком, его существование уже никому не нужно и ничем не оправдано. Все наши торговые операции давным-давно ведутся через посредство комиссионной конторы Ровингемов; правда, вы, в качестве управляющей состоянием моего отца, постоянно держите их под своим бдительным и неутомимым надзором, но разве вы не могли бы точно так же плодотворно служить нашим деловым интересам, живя в другом месте?

– Так, значит, Артур, – произнесла она, оставляя его прямой вопрос без ответа, – значит, по-твоему, этот дом стоит здесь без пользы, если он служит пристанищем твоей недужной и страждущей – недужной в воздаяние за грехи и страждущей по заслугам – матери?

– Я имел в виду лишь деловую пользу.

– Но к чему ты клонишь?

– Сейчас все объясню.



– Я чувствую, – сказала она, впери в него пристальный взгляд. – я чувствую, о чем пойдет речь. Но господь даст мне силы безропотно стерпеть испытание, как бы тяжело оно ни было. За грехи свои я достойна великой кары и готова понести ее.

– Матушка, мне грустно слышать от вас такие слова, хоть я и опасался, что вы...

– Ты знал это. Знал, потому что знаешь меня, – перебила она.

Сын замолк на мгновение. Он высек огонь из камня и сам был поражен этим.

– Что ж, продолжай, – сказала она, возвращаясь к прежнему тону. – Говори, что хотел, я слушаю.

– Вы уже догадались, матушка, что я принял для себя решение выйти из дела. Решение это бесповоротно. Не беру на себя смелости давать вам советы; вы, как я понимаю, намерены вести дело дальше. Я знаю, что я обманул ваши надежды; но если б я хоть сколько-нибудь мог рассчитывать на свое влияние, я постарался бы убедить вас не слишком строго судить меня за это и напомнил бы вам, что я прожил добрую половину человеческого века – и ни разу еще не пытался выйти из вашей воли. Не стану утверждать, что сумел подчиниться душой и разумом тем правилам, в которых вы меня воспитали: не стану утверждать, что сорок лет моей жизни были прожиты с пользой и удовольствием для меня и для кого-нибудь другого; но я всегда был покорным сыном и только прошу теперь, чтобы вы не забывали этого.

Горе просителю, который когда-либо с трепетом вглядывался в это непроницаемое лицо, чая прочесть на нем смягчение своей участи! Горе неплательщику, вынужденному предстать пред судом этих беспощадных глаз! Как нужна была этой суровой женщине ее мистическая религия, окутанная зловещим мраком с молниями проклятий, возмездий и разрушений, прорезывающими порой черные тучи. «Отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим» – эта молитва была чересчур смиренна для миссис Кленнэм. Разрази моих должников, господи, сокруши их и уничтожь, поступи с ними, как я бы поступила, и я поклонюсь тебе – вот та вавилонская башня, которую она кощунственно пыталась воздвигнута.

– Ты кончил, Артур, или хочешь сказать мне еще что-нибудь? Впрочем, едва ли. Твоя речь была краткой, но содержательной.

– Матушка, я не все сказал. Есть одна мысль, которая давно уже ни днем, ни ночью не идет у меня из головы. Этот разговор для меня не в пример труднее всего, о чем уже было говорено сегодня. То касалось только меня; это касается нас всех.

– Нас всех! Кого это нас всех?

– Вас, меня, покойного отца.

Она сняла руки с бюро, сложила их на коленях и, оборотясь к огню, застыла с непроницаемым выражением древней египетской статуи.

– Вы знали моего отца несравненно лучше, чем знал его я, и с вами ему никогда не удавалось сохранить такую выдержку, как со мной. Вы были сильнее, и вы руководили его поступками. Уже в детские годы я понимал это не хуже, чем понимаю теперь. Я знал, что это вы, пользуясь своей властью над ним, настояли на том, чтобы он уехал в Китай заниматься делами фирмы, тогда как вы продолжали заниматься ими здесь (хотя до сегодняшнего дня я не уверен, таковы ли именно были добровольные условия вашей разлуки); и что согласно вашему желанию я до двадцатилетнего возраста оставался при вас, а затем отправился к нему. Вы не сердитесь, что я припоминаю все это теперь, двадцать лет спустя?

– Мне покуда непонятно, к чему ты все это припоминаешь.

Он понизил голос и произнес с видимым усилием и как бы против воли:

– Скажите мне, матушка, не являлось ли у вас когда-нибудь подозрение...

При слове «подозрение» она метнула на сына короткий взгляд из-под насупленных бровей – и тотчас же снова устремила глаза на огонь; но брови остались сдвинутыми, как будто древний египетский ваятель, высекавший из гранита эти суровые черты, хотел навеки придать им хмурое, мрачное выражение.

– ...что какая-то тайна тяготит душу отца, омрачает его совесть? Не случалось ли вам замечать за ним чего-либо, что могло навести на такую мысль, или говорить с ним об этом, или даже слышать от него какой-либо отдаленный намек?

– Не понимаю, о какой такой мучительной тайне ты говоришь, – возразила она после некоторого молчания. – Твои слова звучат загадочно.

– Возможно ли, матушка, – голос его упал до шепота, он весь подался вперед, чтобы она могла его расслышать, и в волнении положил руку на край бюро, – возможно ли, матушка, что он имел несчастье причинить кому-то зло и не исправил этого впоследствии?

Устремив на сына гневный взгляд, она откинулась на спинку, чтоб быть от него как можно

дальше, но не произнесла ни слова.

– Я очень хорошо понимаю, матушка, что если у вас никогда не мелькало подобной догадки, в моих устах, хотя бы и высказанная с глазу на глаз, она должна показаться жестокой и противной природе. Но я не могу отделаться от этой мысли. Ни время, ни новые впечатления (я пробовал все, прежде чем решиться на разговор с вами), – ничто не в силах ее изгладить. Поймите, ведь я присутствовал при последних минутах отца. Я видел его лицо, когда он вручал мне часы, стараясь объяснить, что я должен передать их вам в качестве напоминания, смысл которого вы поймете сами. Я видел, как он последним усилием пытался написать какое-то слово, предназначенное для вас, но карандаш уже не повиновался его слабеющей руке. Чем более смутным и таинственным кажется жестокое подозрение, преследующее меня, тем мне важней узнать обстоятельства, которые могли бы его подтвердить. Во имя создателя постараемся доискаться до истины и, если в самом деле было совершено в прошлом какое-то зло, которое нам поручено исправить, исполним это как свой священный долг. Никто, кроме вас, матушка, не может помочь мне в этом.

От того, что она всей своей тяжестью налегла на спинку кресла, оно потихоньку, маленькими толчками, откатывалось назад, и это придавало ей сходство с ускользающим призраком. Она подняла левую руку к лицу, ладонью наружу, словно заслоняясь от сына, и молча глядела на него пристальным взглядом.

– Быть может, в погоне за деньгами, в настойчивых поисках выгодных сделок – раз уж я начал этот разговор, матушка, приходится говорить начистоту – кого-нибудь безжалостно обманули, обидели, разорили... Вы еще до моего рождения были душой и мозгом фирмы, вам, как натуре более сильной, подчинена была на протяжении четырех десятков лет вся деятельность моего отца. И я уверен, что в вашей власти разрешить мои тревоги и сомнения, если только вы не откажетесь помочь мне установить истину. Не откажетесь, матушка?

Он остановился в надежде услышать что-либо в ответ. Но плотно сомкнутые губы его матери были так же неподвижны, как гладкие бандо седых волос под чепцом.

– Если можно загладить вину перед кем-то, исправить причиненное кому-то зло, разберемся в этом и сделаем это. Или с вашего позволения, матушка, я сделаю, если только у меня хватит средств. Так редко случалось мне видеть, чтобы деньги приносили счастье – так мало покоя дали они, насколько я знаю, этому дому и всем его обитателям, что я меньше, чем кто-либо, склонен дорожить ими. Все, что эти деньги могут дать мне, будет для меня лишь источником горьких укоров совести, пока меня преследует мысль, что из-за них был омрачен тяжким раскаянием последний час отца и что они приобретены нечестным путем и достались мне не по праву.

В двух или трех шагах от бюро на дубовой панели стены висела сонетка. Внезапным резким толчком миссис Кленнэм направила туда свое кресло и сильно дернула за сонетку правой рукой – в то время как левой она по-прежнему заслоняла лицо, точно ожидая удара и готовясь отвести его.

Вбежала перепуганная девушка.

– Флинтвинча ко мне!

Девушка исчезла, и почти в то же мгновение в дверях показалась фигура старика.

– Ага! Уже на ножах! – сказал он, хладнокровно поглаживая себя по щеке. – Впрочем, этого я и ожидал. Я знал, что так будет.

– Флинтвинч! – сказала мать. – Посмотрите на него! Посмотрите на моего сына!

– Да я и то на него смотрю. – отозвался Флинтвинч.

Она простерла вперед руку, которую прежде держала как щит, и, указывая на виновника своего гнева, продолжала:

– Едва переступив порог родного дома, не просушив еще башмаков от дорожной грязи, он является к матери с клеветой, оскверняющей память отца! Призывает мать вместе с ним разворошить всю жизнь отца, рыться по-шпионски в его делах, что-то в них выискивая. Ему, видите ли, пришло в голову, что все наше достояние, которое мы копили из года в год неустанным трудом и заботами, не щадя сил и отказывая себе во всем, есть не что иное, как разбойничья добыча; и он желает знать, кому именно следует отдать все это во искупление зла и в возмещение убытков!

Хотя гнев клокотал в ней, она говорила ровным, сдержанным голосом, звучавшим даже тише обычного. Но каждое ее слово было словно отчеканено.

– Искупление! – повторила она. – Да уж, поистине! Легко говорить об искуплении тому, кто

только что вернулся после праздной жизни в чужих краях, полной утех и веселья. Но пусть он взглянет на меня, проводящую свои дни в оковах, в заточении. А ведь я безропотно сношу все это, ибо так назначено мне свыше во искупление моих грехов. Искупление! Да к чему же еще сводится моя жизнь в этой комнате? Чем иным были все эти пятнадцать лет?

Так она постоянно сводила свои счета с небесным владыкою, все что можно записывая в кредит, аккуратно выводя сальдо и не забывая взыскивать причитающееся. Но если и отличалась она тут чем-либо от других, то лишь той силой и страстностью, которую вкладывала в это занятие. Тысячи и миллионы делают то же самое изо дня в день, каждый по-своему.

– Флнитвинч, подайте мне книгу!

Старик взял со стола требуемое и подал своей госпоже. Она заложила два пальца между страниц книги и с угрозой потрясла ею у сына перед глазами.

– В те далекие времена, о которых говорится в этой книге, Артур, жили среди людей праведники, возлюбленные господом, которые и за меньшую провинность с проклятием изгнали бы своих сыновей из отчего дома – и если бы заступился за грешного сына народ, то целый народ был бы проклят от бога и людей и осужден на погибель весь до грудных младенцев. Ты же запомни одно: если когда-нибудь тебе вздумается вновь начать этот разговор, я отрекусь от тебя, я запру перед тобой свою дверь и сделаю так, что ты пожалеешь, зачем не лишился матери еще в колыбели. Никогда больше я не взгляну на тебя и не произнесу твоего имени. И если в конце концов тебе доведется войти в эту комнату, когда я буду лежать в ней мертвая, пусть мое бездыханное тело истечет кровью при твоём приближении.

От неистовой силы этих угроз, а еще и оттого (страшно сказать!), что ей смутно казалось, будто она совершает какой-то религиозный обряд, миссис Клейнам почувствовала некоторое облегчение. Она отдала книгу старику и умолкла.

– Ну-с, начал Иеремия, – условимся заранее, что я не буду становиться между вами: но все таки, раз уж меня позвали в свидетели, нельзя ли узнать, в чем тут у нас дело?

Это пусть вам объяснит моя мать. – сказал Артур, видя, что от него ждут ответа. – За нею слово. А то, что говорил ей я, не предназначалось для посторонних ушей.

– Ах вот как? – возразил старик. – Ваша мать? Я должен просить объяснений у вашей матери? Отлично! Но наша мать упомянула, будто бы вы подозреваете и чем-то своего отца. Почтительный сын так не поступает, мистер Артур. Кто же тогда свободен от ваших подозрений?

– Довольно. – сказала миссис Кленнэм, на миг повернувшись так, что ее лицо было видно только Флнтвинчу. – Больше ни слова обо всем этом.

– Нет, погодите, погодите, – настаивал старик. – Как же все-таки обстоят дела? Сказали вы мистеру Артуру, что ему негоже пятнать подозрениями память своего отца? Что он не имеет на то права? Что у него нет к тому оснований?

– Я ему это говорю сейчас.

– Ага! Превосходно, – сказал старик. – Вы ему это говорите сейчас. Еще не говорили, но говорите сейчас. Да, да! Очень хорошо! Я так привык становиться между вами и его отцом, что сейчас мне кажется, будто смерть ничего не изменила и мои обязанности остались прежними. Ну что ж, я не отказываюсь их выполнять, пусть только не остается никаких неясностей и двусмысленностей. Итак, Артур, вам было сказано, что вы не вправе подозревать в чем-то своего отца и не имеете к тому никаких оснований.

Он взялся обеими руками за спинку кресла своей госпожи и, бормоча себе под нос, медленно покати́л его обратно к бюро.

– А теперь, – продолжал он, оставшись стоять за креслом, – чтобы мне не уходить, покончив лишь с половиной дела, и вам не пришлось бы звать меня еще раз, когда вы доберетесь до второй половины и снова выйдете из себя, позвольте спросить, сообщил ли вам Артур свое решение относительно участия в делах фирмы?

– Он от него отказывается.

– В чью-нибудь пользу?

Миссис Кленнэм оглянулась на сына, который стоял прислонившись к косяку окна. Он поймал ее взгляд и ответил:

– В пользу матушки, разумеется. Пусть распоряжается по своему усмотрению.

– Что ж, произнесла миссис Кленнэм после короткой паузы, – я надеялась, что мой сын, достигнув расцвета лет, станет во главе фирмы и притоком свежих, молодых сил превратит ее в поистине доходное и могущественное предприятие: но если моим надеждам не суждено было сбыться, мне остается одно лишь утешение – возвысить старого и преданного слугу. Иеремия! Капитан покидает судно, но мы с вами остаемся и либо выплывем, либо пойдем ко дну с ним вместе.

Глаза у Иеремии заблестели, словно при виде денег: он метнул на сына своей госпожи быстрый взгляд, означавший: «Вы-то не рассчитывайте на мою благодарность! Вам я тут ничем не обязан!» – а затем обратился к его матери и стал говорить о том, как он ей благодарен и как Эффери ей благодарна, и что он никогда ее не покинет и что Эффери никогда ее не покинет. В заключение он извлек из недр свои часы и сказал:

– Одиннадцать. Вам пора есть устрицы! – И, переменяв таким образом тему разговора, что, однако, не повлекло за собой перемену тона или манеры, дернул за сонетку.

Но миссис Кленнэм, после того как было высказано предположение, будто ей незнакомы испуительные жертвы, решила быть к себе еще строже и принесенные устрицы есть отказалась. Как ни соблазнительно выглядели эти восемь устриц, уложенные в кружок на белой тарелке, стоявшей на покрытом белой салфеткой подносе рядом с ломтиком французской булки, намазанной маслом, и стаканчиком разбавленного вина для освежения, – миссис Кленнэм осталась непреклонной к уговорам и отослала все назад, не преминув, без сомнения, внести этот нравственный подвиг в соответствующую графу своей книги расчетов с небом.

Поднос с устрицами подавала и убирала не Эффери, а молодая девушка, прибежавшая раньше на звонок миссис Кленнэм, – та самая, которую Артур еще накануне заметил, но не мог разглядеть хорошенько в скудном освещении комнаты. Сейчас, при дневном свете, он увидел, что она много старше, нежели кажется благодаря своей хрупкой фигурке, мелким чертам лица и сшитому в обрез платью. Издали ее легко было принять за девочку лет двенадцати, на самом же деле ей, вероятно, было не меньше двадцати двух. Правда, лицо у нее было вовсе не детское; напротив, на нем лежал отпечаток забот и печалей, несвойственных даже ее настоящим летам; но такая она была маленькая и легкая, такая тихая и застенчивая, так явно чувствовала себя не на месте в обществе этих трех суровых пожилых людей, что казалась среди них беспомощным ребенком.

Миссис Кленнэм проявляла к этой своей подопечной некое суровое и переменчивое участие, которое колебалось от покровительства до унижения, и в своем действии походило то на опрыскивание живительной влагой, то на давление гидравлического пресса. Даже в ту минуту, когда девушка вбежала на резкий звонок, в глазах матери, движением руки оборонявшейся от сына, мелькнуло какое-то особенное выражение, которое только это существо, по-видимому, способно было вызвать. Подобно тому как даже закаленный металл бывает разных степеней закалки и даже в черном цвете есть разные оттенки черноты, так и отношение миссис Кленнэм к Крошке Доррит было чуть-чуть поиному суровым, нежели ее отношение ко всему остальному человечеству.

Крошка Доррит была швеей. За умеренную – или скорей неумеренную по своей ничтожности – плату Крошка Доррит работала поденно, от восьми утра до восьми вечера. Минута в минуту Крошка Доррит появлялась, минута в минуту Крошка Доррит исчезала. Что происходило с Крошкой Доррит от восьми вечера до восьми утра, оставалось тайной.

Была у Крошки Доррит еще одна странность. Кроме денег, в дневную плату за ее труд входили и харчи. Но она почему-то ужасно не любила обедать вместе с другими и старалась уклониться от этого под любым предлогом: то ей требовалось спешно окончить какую-то работу, то необходимо было столь же спешно начать новую; словом, она шла на всякие уловки и измышления – не слишком, верно, хитрые, ибо они никого не могли обмануть, – только бы поесть в одиночестве. И если ей удавалось совершить свою трапезу где-нибудь в стороне, примостив тарелку у себя на коленях, или на ящике, или на полу, или даже, как подозревали иногда, стоя на цыпочках перед каминной доской, она бывала счастлива и довольна до конца дня.

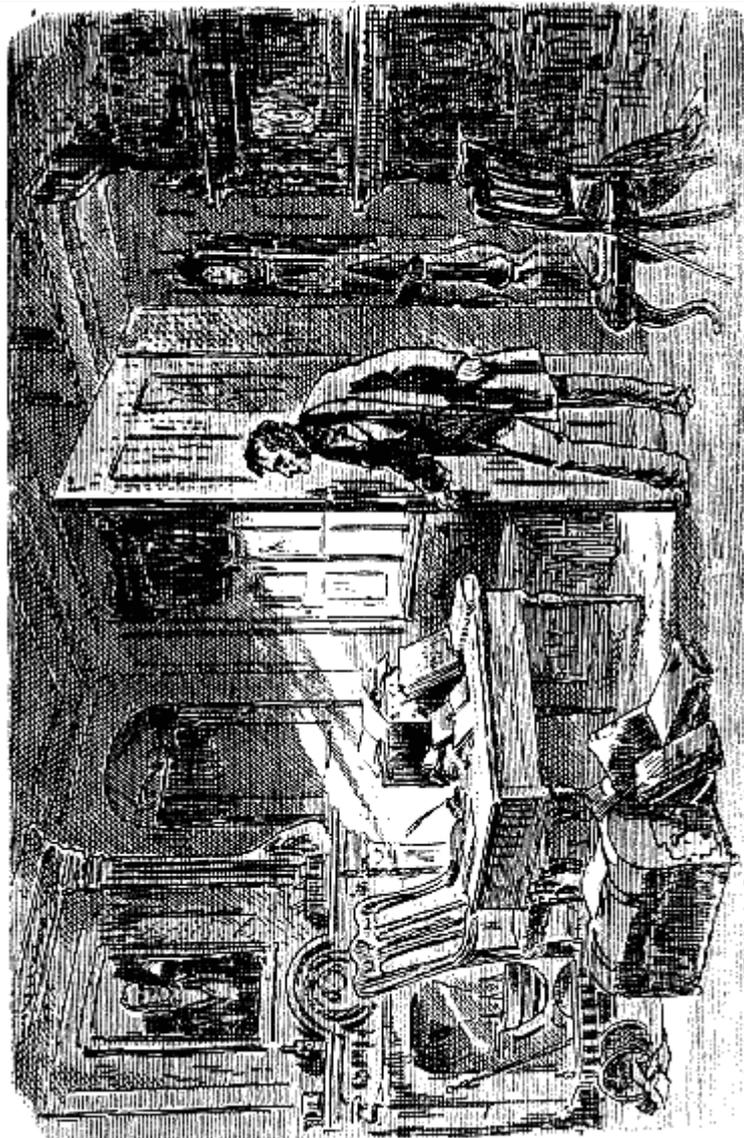
Черты лица Крошки Доррит нелегко было разглядеть; скромная и застенчивая, она всегда забивалась с работой в самые отдаленные уголки, а повстречавшись с кем-нибудь на лестнице, в испуге спешила прочь. Оставалась в памяти прозрачная бледность этого лица и живое, подвижное выражение; красотой оно не отличалось, хороши были только бархатные карие глаза. Слегка склоненная голова, тоненькая фигурка, пара проворных неутомимых рук и поношенное платьице – верно, уж очень

поношенное, если даже удивительная его опрятность не могла этого скрыть, – такова была Крошка Доррит за работой.

Всеми этими общими и частными сведениями о Крошке Доррит мистер Артур обогатился в течение дня как благодаря своим личным наблюдениям, так и благодаря языку миссис Эффери. Если бы миссис Эффери обладала собственной волей и собственным мнением, и то и другое было бы наверно неблагоприятным для Крошки Доррит. Но поскольку «те двое умников», на которых постоянно ссылалась миссис Эффери и в которых без остатка растворилась ее личность, принимали Крошку Доррит, как часть естественного порядка вещей, ей тоже ничего другого не оставалось. Точно так же, если бы те двое умников сговорились убить Крошку Доррит ночью при свечах и попросили миссис Эффери подержать подсвечник, она, несомненно, выполнила бы эту обязанность.

Свою часть упомянутых выше сведений миссис Эффери сообщила Артуру вперемежку с поджариванием куропатки для больной и изготовлением мясного пудинга для здоровых, причем она то и дело высовывала голову из кухонной двери, прятала ее и тотчас же высовывала снова, побуждаемая жаждой отпора тем двум умникам. Сделать единственного сына хозяйки дома достойным их противником – таково было, по-видимому, страстное желание миссис Флинтвинч.

Большую часть дня Артур бродил по всему дому. Унылым и мрачным показался ему этот дом. Угрюмые комнаты, долгие годы пустовавшие, словно погрузились в тяжелый мертвый сон, который ничто уже не могло разогнать. Мебели было мало, но в то же время она загромождала помещение, и казалось, что все эти вещи забрели сюда, чтобы спрятаться, а не для того, чтобы служить обстановкой комнат. Глаз поражало отсутствие красок; мимолетные лучи солнца давным-давно похитили все краски этого дома – быть может, чтобы наделить ими цветы, бабочек, оперение птиц, драгоценные камни или еще что-нибудь. От подвала до чердака не нашлось бы ни одного ровного пола; потолки были покрыты такими фантастическими наростами копоти и грязи, что старухи могли бы гадать на них лучше, чем на кофейной гуще. Смертельный холод сковал камин, и единственным признаком того, что когда-то в них пылал огонь, были кучи саж, насыпавшиеся из дымохода и черными облачками начинавшие кружиться по комнате, как только отворяли дверь. В зале, где когда-то принимали гостей, можно было увидеть два тусклых зеркала в рамах, по которым двигались траурные процессии черных человечков с гирляндами из черных цветов; впрочем, у многих участников этого погребального шествия не хватало голов или ног; один похожий на факельщика Купидон перевернулся и висел головой вниз, а другой и вовсе отвалился. Комната, служившая кабинетом покойному отцу Кленнэма, осталась совершенно такой, как она с детства запомнилась сыну; легко было вообразить, что он до сих пор незримо обитает здесь, как его вполне зримая вдова до сих пор обитает в своей комнате наверху и что Иеремия Флинтвинч по-прежнему ходит парламентаром от одного к другому. С темного и мрачного портрета, висевшего на стене, в сосредоточенном безмолвии смотрело лицо мистера Кленнэма-старшего, и его взгляд, такой же настойчивый, как в час, когда последняя искра жизни догорала в нем, казалось, грозно напоминал сыну о взятом им на себя долге; но Артур уже отчаялся добиться чего-либо от матери; что же до других способов разрешить терзавшие его сомнения, то в них он отчаялся еще задолго до того. Подвалы дома, как и жилые комнаты, были полны вещей, знакомых Артуру с детства; все это изменилось и попортилось от времени, но все стояло на старых местах вплоть до порожних бочек из-под пива, окутанных паутиной, и пустых винных бутылок с тугим ошейником плесени вокруг горлышка. Здесь же среди ненужных бутылочных стоек, испещренных полосами бледного света, проникавшего сверху, со двора, была кладовая, заваленная старыми счетными книгами, и оттуда шел такой запах гнили и разложения, как будто целая армия престарелых конторщиков вставала каждую ночь из могилы и до рассвета занималась поверкою этих книг.



В два часа пополудни Артур отобедал в обществе мистера Флинтвинча, нового компаньона фирмы, уже известным нам мясным пудингом, который был сервирован с душевспасительной скромностью на уголке стола, накрытом мятой скатертью. Мистер Флинтвинч заверил его в том, что душевное равновесие миссис Кленнэм уже восстановилось и что он может не опасаться с ее стороны смены вроде давешней.

– Но не вздумайте снова чернить подозрениями память вашего отца, мистер Артур, – добавил Иеремия. – Раз и навсегда забудьте об этом. А теперь можно счесть вопрос исчерпанным.

Мистер Флинтвинч уже с утра хлопотал в своей маленькой конторке, чистя и прибирая ее соответственно своему новому высокому положению. К этому занятию он и вернулся, как только покончил с мясным пудингом, тщательно подобрал с тарелки соус при помощи ножа и основательно приложился к бочонку со светлым пивом, стоявшему в буфетной. Подкрепив таким образом свои силы, он засучил рукава, чтобы снова приняться за работу; и мистер Артур, провожая его глазами, подумал о том, что ждать каких-либо разъяснений от этого старика все равно что обращаться за ними к отцовскому портрету или к отцовской могиле.

– Эффери, старуха! – сказал мистер Флинтвинч, повстречав в сенях свою супругу. – Ты, оказываясь, до сих пор не убрала постель мистера Артура. Поторапливайся. Ну!

Но мистеру Артуру было слишком не по себе в пустом и мрачном доме; к тому же он не имел ни малейшего желания снова услышать пламенные призывы всяких бедствий в этой жизни и проклятий в будущей на головы врагов своей матери (к которым, весьма возможно, был причислен и он сам); а потому объявил, что намерен ночевать в номерах, где остались его вещи. Поскольку мистер

Флинтвинч рад был от него избавиться, а миссис Кленнэм редко вмешивалась в то, что происходило за стенами ее комнаты – если только речь не шла об экономии домашних расходов, – Артур мог осуществить свое намерение, не вызвав нового семейного скандала. Было уговорено, что он будет приходить каждый день в известные часы, чтобы вместе с матерью и мистером Флинтвинчем заниматься необходимой проверкой счетов и документов, – и он с тяжелым сердцем покинул родной дом, возвращение в который не принесло ему ничего хорошего.

А Крошка Доррит?

Для деловых занятий отведено было время с десяти утра до шести пополудни; в перерывы, необходимые для того, чтобы больная могла соблюдать свой устрично-куропаточный режим, Кленнэм обычно шел прогуляться. Так продолжалось около двух недель. Иногда Артур заставал Крошку Доррит склонившейся над шитьем, иногда ее вовсе не было видно, иногда она являлась в дом в качестве скромной гостьи – как было, вероятно, и в вечер его приезда. И чем больше он смотрел на нее, думал о ней, замечал ее присутствие или отсутствие, тем настойчивее становилось то любопытство, которое она пробудила в нем с первой встречи. И так как мысль его постоянно возвращалась к одному и тому же, он даже стал задавать себе вопрос, не может ли быть, что Крошка Доррит каким-то образом связана с мучившей его тайной. В конце концов он решил проследить за нею и побольше узнать о ее жизни.

Глава VI ***Отец Маршалси***

Лет тридцать тому назад стояла в Саутворке по соседству с церковью св. Георгия¹⁷ и слева от дороги, если идти к югу, долговая тюрьма Маршалси. Она стояла там много лет до описываемых событий и еще несколько лет после; теперь ее уже нет, и мир немного потерял с ее исчезновением.

Это был длинный ряд обветшалых строений казарменного вида, поставленных тыл к тылу, так что все окна в них выходили на фасад; а вокруг тянулся узкий двор, обнесенный высокой стеной, по краю которой, как полагается, шла решетка с железными остриями вверху. Внутри этой тесной и мрачной тюрьмы, предназначенной для несостоятельных должников, находилась другая, еще более тесная и мрачная тюрьма, предназначенная для контрабандистов. Считалось, что нарушители закона о государственных сборах и неплательщики акцизов или пошлин, присужденные к штрафу, который они не могли внести, содержатся в строгой изоляции за окованной железом дверью этой второй тюрьмы, состоящей из двух или трех камер с особо надежными перегородками и глухого тупика ярда в полтора шириной, – таинственной границы крошечного кегельбана, где несостоятельные должники гоняли шары, чтобы разогнать свою тоску.

Мы говорим: считалось – ибо на самом деле надежные перегородки и глухие тупики успели уже выйти из моды. Практика тут решительно разошлась с теорией, что бывает и в наше время, когда дело касается перегородок, которые вовсе не надежны, и тупиков, из которых действительно нет выхода. А потому контрабандисты находились в постоянном общении с должниками (которые встречали их с распростертыми объятиями), за вычетом тех заранее определенных дней, когда откуда-то должен был явиться кто-то для официального надзора за чем-то, о чем ни он и никто другой не имел ни малейшего представления. Во время этой сугубо английской процедуры все наличные контрабандисты прятались куда-то, где им положено было находиться, и притворялись, что не могут оттуда выйти, покуда упомянутый кто-то делал вид, что выполняет какие-то свои обязанности; а как только невыполнение упомянутых обязанностей заканчивалось, они переставали притворяться и выходили. Все это являло собой отличный образчик системы управления, которая широко применяется в общественной жизни нашего миленького маленького островка.

Задолго до того дня, когда вставшее над Марселем солнце озарило своими жаркими лучами начало настоящего повествования, в тюрьму Маршалси был заключен несостоятельный должник,

¹⁷ ...стояла в Саутворке, по соседству с церковью св. Георгия... – Долговая тюрьма Маршалси находилась на Хай-стрит в районе Саутворк с 1811 по 1849 год. В настоящее время от тюрьмы сохранилась одна стена – та, что в эпохе Диккенса отделяла тюрьму от церкви св. Георгия.

имеющий некоторое касательство к предмету данного повествования.

В ту пору это был весьма милый и весьма беспомощный джентльмен средних лет, нисколько не сомневавшийся, что его пребывание в тюрьме не затянется. Что было в порядке вещей, ибо среди всех несостоятельных должников, за которыми когда-либо захлопывались тюремные ворота, не находилось ни одного, кто бы в этом сомневался. При нем был саквояж, но он не знал, стоит ли распаковывать его, поскольку он совершенно убежден (все совершенно убеждены, заметил привратник), что его пребывание здесь не затянется.

Это был тихий, застенчивый человек довольно приятной, хотя и несколько женоподобной наружности, с кудрявыми волосами и нежным голосом, с мягкими безвольными руками – в ту пору еще украшенными кольцами, – которые он то и дело подносил к дрожащим губам; за первые полчаса своего знакомства с тюрьмой он повторил это нервное движение не менее сотни раз. Больше всего его беспокоила мысль о жене.

– Как вы думаете, сэр, – спрашивал он тюремного сторожа, – не слишком ли для нее будет тяжелым переживанием, если она завтра утром подойдет к воротам?

Тюремный сторож, опираясь на свой солидный опыт, объявил, что некоторые переживают, а некоторые нет. Чаще бывает, что нет.

– А какого она нрава, ваша-то? – глубокомысленно осведомился он. – Тут ведь в этом вся загвоздка.

– Она очень нежное, очень неопытное существо.

– Вот видите, – сказал тюремный сторож. – Тем хуже для нее.

– Она настолько не привыкла выходить одна, – сказал должник, – что я просто даже не знаю, как она найдет сюда дорогу.

– Может, она извозчика возьмет, – заметил тюремный сторож.

– Может быть, – безвольные пальцы потянулись к дрожащим губам. – Хорошо бы она взяла извозчика. Но боюсь, что не догадается.

– А то, может, – продолжал тюремный сторож, с высоты своего табурета, отполированного долгим употреблением, высказывавший все эти утешительные домыслы, точно перед ним был беспомощный младенец, которого нельзя не пожалеть, – а то, может, она попросит кого-нибудь проводить ее – брата или сестру.

– У нее нет ни братьев, ни сестер.

– Ну племянницу, тетку, служанку, подружку какую-нибудь, приказчика из зеленой лавки, черт побери! Уж кто-нибудь да найдется, – сказал сторож, заранее предупреждая все возможные возражения.

– А скажите, это... это не будет против правил, если она приведет с собой детей?

– Детей? – переспросил сторож. – Против правил? Господи твоя воля, да у нас тут целый детский приют, можно сказать. Детей! Да тут от них деваться некуда. Сколько их у вас?

– Двое, – ответил должник, снова поднося беспокойную руку к губам, и, повернувшись, побрел по тюремному двору.

Сторож проводил его взглядом.

– Ты и сам-то не лучше ребенка, – пробормотал он себе под нос. – Значит, трое, и ставлю крону, что твоя женушка тебе под стать. А это уже четверо. И ставлю полкроны, что в скором времени будет еще один. А это уже пятеро. И не пожалею еще полкроны за то, чтобы мне сказали, кто из вас больший несмысленш: еще не родившийся младенец или ты сам!

Все его догадки подтвердились. Жена пришла на следующий день, ведя за руку трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку, а что до остального, то сторож тоже оказался прав.

– Вы никак наняли комнату? – спросил этот сторож должника неделю-другую спустя.

– Да, я нанял очень хорошую комнату.

– И мебелишка найдется, чтобы обставить ее? – продолжал сторож.

– Сегодня после обеда мне должны доставить кое-какие необходимые предметы обстановки.

– И хозяйка с ребятишками переедет, чтобы вам не было скучно одному?

– Да, знаете, мы решили, что не стоит нам жить врозь, даже этот месяц или два.

– Даже месяц или два – ну да, конечно, – отозвался сторож. И снова он проводил должника взглядом и семь раз задумчиво покачал головой, когда тот скрылся из виду.

Злоключения этого человека начались с того, что он вступил компаньоном в предприятие, о котором знал только, что туда вложены его деньги; потом пошла юридическая путаница с составлением и оформлением каких-то купчих и дарственных, с актами о передаче имущества в одних случаях и отчуждения в других; потом его стали подозревать то в предоставлении незаконных льгот каким-то кредиторам, то в присвоении каких-то загадочно исчезнувших ценностей; а так как сам он меньше всех на свете способен был дать вразумительное объяснение хотя бы по одному из сомнительных пунктов, то разобраться в его деле оказалось совершенно невыполнимым. Сколько ни пытались выспрашивать у него подробности, чтобы связать концы с концами в его ответах, сколько ни бились с ним опытные счетоводы и прожженные законники, знавшие все ходы и выходы в делах о банкротстве и несостоятельности – от этого дело лишь еще больше запутывалось, принося щедрые проценты неразберихи. Безвольные пальцы все чаще и чаще теребили дрожащую губу, и в конце концов даже наипрожженнейшие законники отказались от надежды добиться у него толку.

– Ему выйти отсюда? – говаривал тюремный сторож. – Да он никогда отсюда не выйдет, разве только сами кредиторы вытолкают его взащей.

Шел уже пятый или шестой месяц его пребывания в тюрьме, когда он однажды под вечер прибежал к сторожу, бледный и запыхавшийся, и сказал, что его жена занемогла.

– Как и следовало ожидать, – заметил сторож.

– Мы рассчитывали, что она переберется к одним добрым людям, которые живут за городом, – жалобно возразил должник, – но только завтра. Что же теперь делать? Господи боже мой, что же теперь делать?

– Не терять времени на ломание рук и кусание пальцев, – сказал сторож, человек здравомыслящий, взяв его за локоть. – Идемте.

Тот покорно побрел за ним, дрожа всем телом и повторяя между всхлипываниями: «Что делать, что делать!» – в то время как его безвольные пальцы размазывали по лицу слезы. Они взошли на самый верх одной из неприглядных тюремных лестниц, остановились у двери, ведущей в мансарду, и сторож постучал в эту дверь ключом.

– Входите! – отозвался изнутри чей-то голос.

Сторож толкнул дверь, и они очутились в убогой, смрадной комнатенке, посреди которой две сиплые, опухшие красноносые личности играли за колченогим столом в карты, курили трубки и пили джин.

– Доктор, – сказал сторож, – вот у этого джентльмена жена нуждается в ваших услугах и нельзя терять ни минуты!

Чтобы описать докторского приятеля, достаточно было взять в положительной степени эпитеты сиплый, одутловатый, красноносый, грязный, азартный, пропахший табаком и джином. Но для самого доктора уже потребовалась бы сравнительная, ибо он был еще сиплее, еще одутловатей, с еще более красным носом, еще азартнее, еще грязнее и еще сильнее пропах табаком и джином. Одет он был в какую-то невыполнимую рвань – штопанный-перештопанный штормовой бушлат с продранными локтями и без единой пуговицы (в свое время этот человек был искусным корабельным врачом), грязнящие панталоны, которые лишь при очень богатом воображении можно было представить себе белыми, и ковровые шлепанцы; никаких признаков белья не наблюдалось.

– Роды? – спросил доктор. – Моя специальность!

Он взял с каминной полки гребешок и при помощи этого орудия поднял свои волосы дыбом, – что, по-видимому, означало у него умывание, – затем из шкафа, где хранились чашки и блюда, а также уголь для топки, достал засаленную сумку с инструментами, обмотал шею и подбородок грязным шарфом и превратился в какое-то зловещее медицинское пугало.

Доктор и должник бегом спустились с лестницы (расставшись со сторожем, который вернулся на свое место у ворот) и направились к жилищу должника. Все тюремные дамы успели проведать о готовящемся событии и толпились перед домом, где оно должно было произойти. Одна уже вела обоих детей, чтобы приютить их у себя, пока все не будет кончено; другие явились со скромными гостинцами, выкроенными из собственных скудных запасов; третьи просто шумно выражали участие. Мужская часть населения тюрьмы, чувствуя себя оттесненной на второй план, разошлась, или даже, вернее сказать, попряталась по своим комнатам и следила за ходом дел, выглядывая из окон; кто-то, завидя шедшего по двору доктора, подсвистывал ему в знак приветствия, другие, не смущаясь

расстоянием в несколько этажей, обменивались язвительными намеками по поводу волнения, охватившего всю тюрьму.

День был летний, жаркий, и тюремные помещения, опоясанные высокими стенами, пеклись на солнце. В тесной комнатке, где лежала жена должника, хлопотала некая миссис Бэнгем, которая некогда сама содержалась в Маршалси в заключении, а ныне ходила туда на поденную работу и исполняла разные поручения обитателей тюрьмы, через нее поддерживавших связь с внешним миром. Эта достойная особа предложила свои услуги по истреблению мух и всяческому уходу за больной. Стены и потолок комнаты были черным-черны от мух, и миссис Бэнгем, со свойственной ей неистощимой изобретательностью, одной рукой обмахивала свою пациентку капустным листом, а другой готовила и разливала по банкам из-под помады убийственную смесь уксуса с сахаром, на соблазн и погибель мушиному роду, сопровождая все это приличествующими случаю утешительными и ободряющими речами.

– Что, моя душенька, мухи докучают? – говорила миссис Бэнгем. – Ничего, они зато отвлекут ваши мысли, а это к лучшему. Очень уж тут, в Маршалси, мухи жирны, да оно и не мудрено: с одной стороны кладбище, с другой – бакалейная торговля, а рядом конюшня и лавки, где продают требуху. Кто знает, если рассудить, так, может, и мухи нам посланы в утешение. Ну как вы себя чувствуете, моя душенька? Не лучше? Впрочем, теперь на это надеяться не приходится; сначала будет хуже и хуже, а уж только потом лучше, вы ведь и сами знаете. Да, дела, дела! Подумать только, такой хорошенький маленький ангелочек должен появиться на свет за тюремной решеткой! Разве ж это не радость? Разве ж от этого не становится легче на душе? Да я и не упомяну у нас в тюрьме такого случая. Ну-ну, зачем же плакать, – продолжала миссис Бэнгем, неукоснительно заботясь о поднятии духа пациентки. – Вы ведь теперь прославитесь на всю округу! А мухи так и валяются в наши банки. И вообще все идет хорошо! А вот, наконец, – сказала миссис Бэнгем, оглянувшись на скрипнувшую дверь, – а вот, наконец, и ваш дорогой муженек и с ним доктор Хэггедж. Ну теперь, можно сказать, все в полном порядке!

Фигура доктора явно была не из тех, которые способны внушить пациенту уверенность, что все в полном порядке; но поскольку доктор сразу заявил: «Мы совсем молодцом, миссис Бэнгем, раз-два, и все будет кончено», и поскольку они с миссис Бэнгем тут же принялись верховодить четой беспомощных горемык, как ими всегда и все верховодили, то эта помощь, оказавшаяся под руками, сгодились не хуже всякой другой. Во врачебных методах доктора Хэггеджа не было ничего примечательного, кроме разве его заботы о том, чтобы миссис Бэнгем все время оставалась на высоте своего положения. Вот образчик этой заботы.

– Миссис Бэнгем, – сказал доктор, не просидев у больной и двадцати минут, – ступайте принесите бутылочку джину, а то, я боюсь, вам не выдержать.

– Спасибо, сэр. Только вы не беспокойтесь, у меня нервы крепкие, – отвечала миссис Бэнгем.

– Миссис Бэнгем, – возразил доктор, – я нахожусь при исполнении своего врачебного долга и не потерплю, чтобы мне противоречили. Ступайте и принесите джину, а то я уже вижу, что силы вам изменяют.

– Не смею ослушаться, сэр, – сказала миссис Бэнгем, вставая. – Да вам и самому не мешало бы, пожалуй, глотнуть капельку, что-то у вас вид неважный, как я погляжу.

– Миссис Бэнгем, – возразил доктор, – если я должен интересоваться вашим здоровьем, это еще не означает, что вы вправе интересоваться моим. Потрудитесь не вмешиваться. Ваше дело – исполнять мои распоряжения, а потому ступайте и принесите то, что вам ведено.

Миссис Бэнгем повиновалась, и доктор, отмерив ей ее порцию, выпил затем и сам. Эту лечебную процедуру он повторял каждый час, с неизменной настойчивостью. Так прошло три или четыре часа; мухи сотнями падали в расставленные им ловушки; и вот, наконец, среди этого множества мелких смертей затрепетала крошечная новая жизнь, едва ли многим крепче мушиной.

– Девочка, и прехорошенькая, – объявил доктор. – Невелика, правда, но сложена отлично. Что с вами, миссис Бэнгем? На вас лица нет! Немедленно ступайте и принесите еще джину, сударыня, а то как бы с вами не сделался нервный припадок.

Еще задолго до этого вечера кольца стали осыпаться с безвольных пальцев должника, как осыпаются листья с деревьев, когда зима близка. И ни одного уже не было у него на руке, когда он положил на грязную ладонь доктора что-то звякнувшее металлом. Перед тем миссис Бэнгем была по-

слана с поручением в расположенное неподалеку заведение с тремя золотыми шарами на вывеске,¹⁸ где ее очень хорошо знали.

– Благодарю, – сказал доктор, – благодарю. Супруга ваша уже совсем успокоилась. Самочувствие отличное.

– Очень вам признателен и очень рад это слышать, – сказал должник, – Хоть никогда я не думал, что...

– Что у вас родится ребенок в таком месте? – перебил доктор. – Полноте, сэръ! Не все ли равно! В конце концов чего нам здесь не хватает? Немножко простора – и только. Живем спокойно; никто нас не донимает, нет дверных молотков, которыми кредиторы дубасят в дверь с таким грохотом, так что у вас душа уходит в пятки. Никто не спрашивает, дома ли вы, и не обещает простоять у порога как вкопанный, пока вы не придете. Никто не пишет вам угрожающих писем с требованием денег. Да ведь это свобода, сэръ, самая настоящая свобода! Мне случалось оказывать врачебную помощь такого рода, как нынче, и в Англии, и за границей, и в походе, и на борту корабля, и должен вам сказать, что ни разу это не происходило при столь благоприятных обстоятельствах, как сегодня. Повсюду люди суетятся, нервничают, мечутся, обеспокоены то одним, то другим. Здесь ничего подобного не бывает. Мы прошли через все испытания судьбы и нас больше ничем не поразишь; мы на самом дне, откуда уже нельзя упасть – и что же мы нашли здесь? Покой, сэръ. Вот слово, которым все сказано. Покой. – Произнеся этот символ веры тюремного старожилы, доктор, вдохновленный усиленными возлияниями и непривычным звоном денег в кармане, вернулся к своему дружку и собрату, такому же сиплому, красноносому, одутловатому и грязному любителю карт, табака и спиртного.

Должник, надо сказать, был человеком совсем иного склада, нежели доктор; однако он уже начал движение по кругу, которое, хотя и с другой стороны, должно было привести его к той же точке. Свое заключение в тюрьму он воспринимал вначале как тяжкий удар судьбы; но прошло немного времени, и он стал находить в этом какое-то смутное облегчение. Его посадили за решетку, но решетка, преграждавшая ему путь к свободе, в то же время ограждала его от многих житейских бед. Будь он человеком душевно сильным, из тех, что умеют смотреть в лицо беде и бороться с нею, он, быть может, разбил бы свои оковы или разбился бы сам; но он таким не был и потому безвольно скользил по наклонной плоскости вниз, не делая никаких усилий, чтобы подняться.

После того как с десятков поверенных один за другим отказались от попытки распутать его дела, не сумев найти в них ни начала, ни середины, ни конца, его жалкое прибежище показалось ему не таким жалким. Саквояж свой он давно уже распаковал; старшие его дети целыми днями играли на дворе, а малютку, родившуюся в тюрьме, знали все тюремные обитатели и все считали ее до некоторой степени своей.

– А ведь я начинаю гордиться вами, – сказал ему однажды его приятель сторож. – Вы теперь, почитай, самый старый наш жилец. Без вас и вашего семейства уже и Маршалси не Маршалси.

И сторож в самом деле им гордился. За глаза он всячески выхвалял его арестантам-новичкам:

– Заметили вы того человека, что только что вышел из караульни? – спрашивал он.

Ответ чаще всего был утвердительным.

– Ну вот, знайте, что это джентльмен самого тонкого воспитания. Уж чего-чего, а денег на учителей для него, видно, не жалели. Когда смотритель тюрьмы купил новые фортепьяна, так его приглашали испробовать, хороши ли. И он на них играл, говорят – все отдай да мало. Опять же языки – каких только он не знает! Был тут у нас француз, так, по-моему, он говорил по-французски лучше этого французца. Был итальянец, так он его в два счета переитальянил. Конечно, и в других тюрьмах попадаются стоящие люди, не буду спорить; но если вы по части образования интересуетесь, это уж пожалуйста к нам, в Маршалси.

Когда младшей девочке исполнилось восемь лет, жена должника, которая давно уже хирела и чахла (по природной слабости здоровья, а не потому, чтобы она больше своего мужа страдала от пребывания в тюрьме) отправилась погостить к своей бывшей нянюшке, жившей за городом – бедному, но верному другу, – и там заболела и умерла. Муж ее после этого несчастья две недели не вы-

¹⁸ ...заведение с тремя золотыми шарами на вывеске... – Три позолоченных шара – традиционная эмблема лавки ростовщика. Первоначально – герб семьи флорентийских банкиров Медичи.

ходил из своей комнаты; один помощник адвоката, тоже угодивший в Маршалси как несостоятельный должник, составил адрес с выражением соболезнования, слог которого сильно напоминал арендный договор, и все обитатели тюрьмы под ним подписались. Когда вдовец вышел в первый раз, все увидели, что в его волосах прибавилось седины (сесть он начал рано), и по наблюдениям сторожа у него вновь появилась старая привычка то и дело подносить руки к дрожащим губам. Но прошел месяц или два, и он вполне оправился; дети по-прежнему целыми днями играли на тюремном дворе, только одетые в черное.

Тем временем миссис Бэнгем, многолетняя и неутомимая посредница между узниками и внешним миром, стала слабеть здоровьем, и ее чаще прежнего находили в бесчувственном состоянии на тротуаре, причем вокруг валялись высыпавшиеся из корзины покупки, а в кошельке недоставало девяти пенсов сдачи. Мало помалу ее обязанности перешли к сыну должника, который отлично справлялся со всеми поручениями, чувствуя себя и в тюрьме и на улице как дома.

Шли годы, и тюремный сторож тоже начал сдавать. Водянка раздула его тело, ноги отказывались служить, и дышал он с трудом. Табурет, отполированный долгим употреблением, был уже, как он грустно признавался, «не по нем». Он теперь сидел в кресле с подушкой, и порой, когда вставал, чтобы отворить ворота, припадок удушья мешал ему повернуть ключ в замке. Не раз во время таких припадков должник приходил ему на помощь и поворачивал ключ вместо него.

– Вы да я, больше таких старожиллов и нет, – сказал как-то тюремный сторож; дело было зимним вечером, шел снег и в жарко натопленной караульне собралось большое общество. – Я сам попал сюда лет за семь до вас. Теперь мне недолго осталось. А когда я покину тюрьму окончательно и навсегда, вы можете получить звание Отца Маршалси.

Он покинул нашу земную тюрьму день спустя. Его слова запомнились многими и стали передаваться из поколения в поколение (срок одного поколения в Маршалси примерно равен трем месяцам); так постепенно сложилась традиция, по которой седой должник в поношенном платье и с мягкими манерами стал почитаться Отцом Маршалси.

И он гордился своим званием. Если бы отыскался вдруг другой, самозванный претендент на эту честь, старик заплакал бы от обиды при одной мысли, что его хотят лишить законных прав. Он даже не прочь был подчас преувеличить число лет, проведенных в тюрьме; и все уже знали, что с названной им цифры следует делать некоторую скидку. В быстрой смене тюремных поколений за ним утвердилась слава честолюбца.

Все новички должны были ему представляться. За соблюдением заведенного порядка он следил с неукоснительной требовательностью. Находились шутники, выполнявшие эту церемонию с явно преувеличенной помпой. Но не так легко было придумать тут что-нибудь такое, что в глазах старика показалось бы чересчур торжественным для данного случая. Представляющиеся являлись в его убогое жилище (знакомство во дворе он отвергал, считая это чересчур неофициальным и пригодным разве что для рядовых обитателей тюрьмы), и он принимал их, исполненный скромного, но величавого достоинства. Добро пожаловать в Маршалси, говорил он. Да, он тот, кого называют Отцом Маршалси. Здешним – кхм – пансионерам угодно было наградить его таким званием; и если более чем двадцатилетнее пребывание здесь является заслугой, то эта честь им заслужена. На первый взгляд тут может показаться тесновато, но недостаток простора искупается приятным обществом – хотя и несколько смешанным, по необходимости, – а также превосходным воздухом.

Постепенно вошло в обычай подсовывать под дверь старика письма со вложением то полукроны, то двух полукрон, а изредка даже и полусоверена. «Прощальный привет Отцу Маршалси от выбывающего пансионера». Он принимал эти дары, как дань уважения выдающемуся общественному деятелю от его поклонников. Иногда под запиской стояло вымышленное шутливое имя – Пузан, Головешка, Козюля, Шалтай-Болтай, Франт, Вырвиглаз, Собачья-Радость; но отец Маршалси считал это проявлением дурного вкуса и всегда в таких случаях чувствовал себя слегка обиженным.

Однако с течением времени этот обычай стал нарушаться; возможно, что в суматохе сборов у выбывающих пансионеров не всегда находилось время для писания писем, – и тогда старик завел привычку самолично провожать наиболее достойных до тюремных ворот и там обмениваться с ними прощальными рукопожатиями. Отмеченный этим знаком внимания пансионер, уже шагнув за ворота, спохватываясь, поспешно завертывал что-то в бумажку и возвращался, крича: «Эй, постойте!»

Старик удивленно оглядывался.

– Вы меня? – спрашивал он с улыбкой. И дождавшись, когда пансионер поравняется с ним, добавлял отечески ласково: – Вы что-нибудь забыли? Я могу чем-нибудь помочь вам?

– Я забыл передать вот это Отцу Маршалси, – следовал обычно ответ.

– Дорогой сэр, – в свою очередь отвечал тот, – Отец Маршалси бесконечно признателен за вашу любезность. – Но, опустив деньги в карман, он не вынимал оттуда своей по-прежнему безвольной руки, прежде чем успевал сделать два-три круга по двору и таким образом отвести глаза остальному населению тюрьмы.

Однажды случилось так, что довольно большое число арестантов выходило на волю в одно и то же время. Покончив с проводами и напутствиями, старик неспешным шагом возвращался домой, как вдруг ему повстречался еще один пансионер – бедняк рабочий, который попал в Маршалси неделей раньше за неуплату какой-то ничтожной суммы, ухитрился, наконец, «расквитаться» и теперь тоже выходил на волю. Человек этот был простой штукатур; он так и шел в своей рабочей блузе, в руке у него болтался узелок с пожитками, а рядом шла его жена. Видно было, что бедняга не помнит себя от радости.

– Благослови вас бог, сэр, – сказал он, поравнявшись с Отцом Маршалси.

– И вас также, – великодушно отвечал тот.

Они уже разошлись на довольно большое расстояние, как вдруг старик услышал, что его окликают, и, оглянувшись, увидел бегущего за ним штукатур.

– Вот, примите, – сказал штукатур, догнав его и суя ему в руку горсть мелких монет, – тут немного, но зато от чистого сердца.

Никогда еще Отцу Маршалси не приходилось получать дань медяками. Правда, люди дарили порой какую-нибудь мелочь его детям, и эти дары с его ведома и согласия шли на пополнение семейной кассы, а потому не раз то, что он ел и пил, было оплачено такими же медяками; но чтобы блузник, перепачканный известкой, открыто, не таясь, предложил ему столь жалкую подачку – подобное с ним случалось впервые.

– Как вы смеете! – прошептал он, и слезы обиды потекли по его щекам.

Штукатур легонько взял его за плечи и повернул к стене, чтобы никто не увидел его слез. Столько деликатности обнаружилось в этом поступке, и так чистосердечно было раскаяние штукатур и его извинения, что старику ничего не оставалось, как только сказать ему:

– Я верю в доброту ваших побуждений. Не будем больше говорить об этом.

– Видит бог, вы не ошибаетесь, сэр, – отозвался штукатур. – И в доказательство я сделаю то, чего никто еще не делал.

– Что же именно? – спросил старик.

– Я приду навестить вас, когда буду уже на воле.

– Отдайте мне эти деньги! – взволнованно воскликнул старик. – Я сохраню их на память и никогда не стану тратить. Благодарю вас, благодарю всей душой. Вы в самом деле ко мне придете?

– Не позже, чем через неделю, если буду жив.

Они пожали друг другу руки и расстались. В этот вечер Отец Маршалси удивил своих братьев, сошедшихся скоротать время в дружной компании: один бродил он до глубокой ночи по темному двору, и видно было, что нелегкие мысли гнетут его.

Глава VII ***Дитя Маршалси***

Малютка, чей первый глоток воздуха был смешан с винным перегаром, исходившим от доктора Хэггеджа, стала частью тюремной легенды, и поколения арестантов передавали ее друг другу вместе с рассказом об их общем отце. Пока речь идет о первых порах ее жизни, выражение «передавали друг другу» следует понимать в прямом и буквальном смысле, ибо так уж было заведено, что каждый новичок, только что переступивший тюремный порог, должен был подержать на руках дитя, рожденное в тюремных стенах.

– А ведь по правде сказать, – заметил сторож, когда ему в первый раз показали девочку, – я ей вроде крестного отца.

Должник на минуту задумался, а потом нерешительно сказал:

– Может быть, вы и в самом деле не откажетесь быть ее крестным отцом?

– Почему ж бы мне отказаться, – отвечал сторож. – Если вы на это согласны, то я и подавно.

Вот как вышло, что крестины состоялись в ближайший воскресный день, когда тюремный сторож сменился с дежурства у ворот, и что именно он стоял у купели в церкви св. Георгия и давал за свою крестницу все положенные ответы «как порядочный» – если воспользоваться выражением, которое он сам употребил, рассказывая об этом по возвращении домой.

После этого тюремный сторож как бы приобрел особые права на девочку, сверх тех, которые давало ему его официальное положение. По мере того как она подрастала, училась ходить и говорить, он все больше привязывался к ней; купил нарочно для нее маленькое креслице и поставил его у высокой решетки, ограждающей очаг в караульне, любил, чтобы в часы его дежурства она находилась при нем, забавляя его своим лепетом, и всегда держал наготове какую-нибудь приманку в виде дешевой игрушки или лакомства. Вскоре и малютка настолько привязалась к своему крестному отцу, что прибегала уже без зова, и в любое время дня можно было увидеть, как она карабкается по ступенькам караульни. Когда ей случалось заснуть в креслице у огня, сторож заботливо укрывал ее своим носовым платком; а когда она просто сидела там, одевая и раздевая свою куклу (которая очень скоро перестала напоминать кукол свободного мира и приобрела отталкивающее фамильное сходство с миссис Бэнгем), он смотрел на нее со своего высокого табурета и неизъяснимая ласка светила в его взгляде. Не раз арестанты, свидетели такой сцены, шутили, что тюремный сторож обманул природу, оставшись холостяком, тогда как был создан ею для роли отца семейства. На что, впрочем, он неизменно отвечал: «Нет уж, покорно благодарю; довольно мне того, что я вижу здесь чужих ребятшек».

Никто не мог бы с точностью определить, когда, в какую именно пору своего детства, крестница тюремного сторожа начала понимать, что не все люди на свете живут взаперти в узких дворах, окруженных высокой стеной с железными остриями наверху. Но еще совсем, совсем крошечной девочкой она каким-то образом сумела подметить, что отцовская рука всегда разжималась и выпускала ее ручонку, как только они подходили к воротам, отпиравшимся ключом ее крестного, и что отец никогда не делал шага дальше этой границы, которую ее легкие ножки перебежали без всяких помех. И, может быть, именно это открытие впервые заставило ее взглянуть на него с жалостью и состраданием.

Дитя Маршалси и дитя Отца Маршалси, она полна была жалости и сострадания ко всем, кто в этом нуждался; но лишь когда она смотрела на отца, во взгляде ее появлялось еще что-то, похожее на заботу. Сидела ли она в караульне у своего друга и крестного, возилась ли в комнате, где жила вместе со всей семьей, бродила ли по тюремному двору – выражение жалости и сострадания не покидало ее лица. С жалостью и состраданием смотрела она на свою капризницу-сестру, на бездельника-брата, на высокие голые стены, на невзрачных узников этих стен, на тюремных ребятшек, которые с шумом носились по двору, гоня обручи или играя в прятки, причем «домом» в этой игре служила железная решетка внутренних ворот тюрьмы.

Иной раз в теплый летний день она вдруг глубоко задумывалась, устремив взгляд на небо, синевшее за переплетом окна караульни, и так долго и пристально смотрела туда, что, когда, наконец, отводила глаза, перед ними по-прежнему маячил переплет, только светлый, и лицо ее друга-сторожа улыбалось ей словно из-за решетки.

– О чем задумалась, малышка? – спросил ее сторож в одну из таких минут. – Верно, о полях?

– А где это поля? – в свою очередь спросила она.

– Да, пожалуй, вон там... – сказал сторож, довольно неопределенно указывая куда-то своим ключом. – В той стороне.

– А есть там человек, который открывает и закрывает ворота? Поля тоже запираются на ключ, да?

Сторож пришел в замешательство.

– Гм! – промолвил он. – Не всегда.

– А там красиво, Боб? – Она звала его Бобом по собственному его настоянию.

– Очень красиво. Полно цветов – и лютики, и маргаритки, и эти, как их... – сторож запнулся, будучи не слишком силен в ботанической номенклатуре, – и одуванчики, и всякая всячина.

- Должно быть, приятно гулять в полях, да, Боб?
- Еще бы!
- А мой отец когда-нибудь был там?
- Кхе-кхе! – закашлялся сторож. – Ну, как же! Разумеется – и не раз.
- А ему очень грустно, что он не может опять туда пойти?
- Н-нет – не очень.

– И другим тоже не грустно? – допытывалась она, поглядывая в окошко на арестантов, уныло слоняющихся по двору. – Ты это наверно знаешь, Боб?

Однако Боб предпочел оставить щекотливый вопрос без ответа и, чтобы переменить тему, предложил вниманию собеседницы карамельку – спасительное средство, к которому он прибегал всякий раз, когда его маленькая приятельница заставляла его ступить на слишком зыбкую почву политических, социальных или богословских проблем. Но именно этот разговор положил начало воскресным прогулкам друзей. Каждое второе воскресенье эта странная пара выходила, держась за руку, из тюремных ворот и с весьма важным видом направлялась к какой-нибудь зеленеющей лужайке или полянке по заранее обдуманному сторожем маршруту; там малютка бегала по траве и рвала цветы, чтобы принести домой красивый букет, а сторож сидел и курил свою трубку. На обратном пути заходили в увеселительный сад, пили эль, лакомились креветками и другими деликатесами; и, наконец, возвращались домой, бодро шагая рядом – за исключением тех случаев, когда девочка, утомившись более обычного, засыпала у своего друга на плече.

В те далекие дни впервые возник перед сторожем один сложный вопрос, разрешение которого потребовало от него стольких умственных усилий, что он так и умер, не разрешив этого вопроса. Дело в том, что он хотел завещать крестнице свои скромные сбережения, но не знал, как закрепить за ней это наследство, чтобы никто другой не мог им воспользоваться. По своему опыту сторожа долговой тюрьмы он слишком хорошо знал, до чего трудно «закрепить» деньги в чьих-нибудь руках и до чего легко они из рук уплывают, а потому на протяжении всех этих лет искал ответа на беспокоивший его вопрос у каждого нового представителя юридического сословия, который являлся в тюрьму в качестве поверенного того или иного из арестантов.

– Предположим, – начинал он, для большей убедительности упершись ключом в жилет поверенного, – предположим, какой-то человек желает оставить свое имущество молодой особе женского пола, и притом не желает, чтобы кто-нибудь, кроме нее, мог запустить лапу в мешок; как бы вы тут посоветовали поступить?

– Составить завещание на ее имя, – с готовностью отвечал поверенный.

– Да так-то оно так, – упорствовал сторож, – но предположим, у нее есть брат, или там отец, или муж, и он наверняка попытается запустить лапу в мешок, как только она его получит – вот как тут быть?

– Если деньги по завещанию оставлены ей, никто не имеет права дотронуться до этих денег, – следовал обоснованный ответ.

– Нет, погодите, – не унимался сторож. – А предположим, у нее доброе сердце и ее уговорят? Есть такой закон, чтобы помешать этому?

Но даже самый глубокий знаток предмета не мог извлечь из глубины своих знаний закон, который рассеял бы сомнения сторожа. А потому он промучился этими сомнениями несколько лет и в конце концов умер без завещания.

Впрочем, это произошло много позднее, когда его крестнице шел уже семнадцатый год. А когда ей только что сравнялось восемь, отец ее остался вдовцом. И если до тех пор чувство заботы лишь скользило, мешаясь с жалостью и состраданием, во взгляде ее широко открытых глаз, то теперь оно должно было воплотиться в дела и поступки. Так дитя Маршалси стадо играть по отношению к Отцу Маршалси новую роль.

Сперва она просто старалась не оставлять его одного и просиживала дома все дни и вечера, отказавшись от своего уютного местечка у очага караульни – самое большее, что могла сделать такая маленькая девочка. Но мало-помалу он настолько привык к ее присутствию, что уже не мог без него обходиться, и если ее не было рядом с ним, ему словно чего-то недоставало. Через эту маленькую калитку она шагнула из детства в мир, полный забот.

Что в те ранние годы мог подметить ее сострадательный взгляд в отце, в сестре, в брате, в про-

чих обитателях тюрьмы; насколько богу угодно было раскрыть перед нею печальную истину – все это остается тайной, сокрытой среди многих других тайн. Довольно, если мы знаем, что призвание влекло ее жить не так, как живут другие, трудиться и отдавать все силы, в отличие от других и ради других. Призвание? Да, именно так. Ведь мы говорим о призвании поэта или священника, почему же нам не употребить это слово, говоря о душе, которая во имя любви и преданности свершает скромный и незаметный подвиг на своем скромном и незаметном жизненном пути?

Так, без друзей или хотя бы знакомых, если не считать уже известной нам странной дружбы; без знания привычек и нравов, составляющих житейский обиход незапертой в тюрьмы части свободного человечества; рожденная и выросшая в положении более двусмысленном, чем самое двусмысленное из общественных положений по ту сторону тюремной стены; привыкшая с младенчества пить из колодца, вода которого была нечистой на вид и несвежей на вкус – девочка, прозванная «дитя Маршалси», начала свою женскую жизнь.

Кто знает, сколько выпало на ее долю ошибок и разочарований, как много пришлось выслушать насмешек (пусть беззлых, но все же болезненных) по поводу ее небольших лет и крошечного роста, как тяжело было ей самой сознавать себя беспомощным и слабым ребенком, хотя бы когда приходилось что-нибудь поднимать или нести, как часто она изнемогала и падала духом и плакала втихомолку – и все же, не сдаваясь, продолжала свое, пока те, ради кого она старалась, не увидели, что ее старания полезны и даже нужны им. Такой час настал. Она заняла место старшей среди троих детей, во всем, кроме привилегий старшинства; сделалась главой этой поверженной семьи и приняла на свои хрупкие плечи все бремя ее позора и неудач.

В тринадцать лет она знала грамоту и умела вести счета – иначе говоря, могла записать названия и цены всех необходимых домашних припасов и подсчитать, какой суммы не хватает на их покупку. Эти полезные знания она приобрела в вечерней школе, которую посещала урывками, не дольше двух-трех недель кряду, тогда как ее брат и сестра были отданы с ее помощью в дневные школы, где и проучились, хоть тоже не слишком регулярно, около трех или четырех лет. Дома их ничему не учили; но ведь она знала – кому еще было знать это так хорошо! – что человек, опустившийся до положения Отца Маршалси, уже не мог быть отцом своим собственным детям.

К этим скудным источникам образования она добавила еще один, до которого додумалась сама. Случилось так, что в пеструю толпу обитателей тюрьмы затесался однажды учитель танцев. Ее старшая сестра обладала природной склонностью к танцам и давно уже мечтала поучиться этому искусству. И вот дитя Маршалси, достигшее в ту пору тринадцати лет, предстало перед учителем танцев с маленькой сумочкой в руке и приступило к изложению своей смиренной просьбы.

– Прошу прошенья, сэр, я, видите ли, родилась здесь.

– А, так вы та самая молодая девица! – сказал учитель танцев, с интересом разглядывая маленькую фигурку и просительно поднятое к нему личико.

– Та самая, сэр.

– Чем же я могу служить вам? – спросил учитель танцев.

– Мне самой ничего не нужно, сэр, благодарю вас, – Заторопилась она, развязывая свою сумочку, – но вот если бы вы согласились, куда вы здесь, за недорогую плату давать уроки моей сестре...

– Дитя мое, я буду давать ей уроки бесплатно, – перебил учитель и, взяв сумочку у нее из рук, решительно затянул шнурки. Из всех учителей танцев, когда-либо доплясавшихся до долговой тюрьмы, это был, несомненно, самый добросердечный, и он сдержал свое слово. Ученье пошло на редкость успешно, как благодаря способностям ученицы, так и потому, что у наставника было сколько угодно свободного времени, которое он мог посвящать занятиям (ему понадобилось больше трех месяцев, чтобы обойти вокруг своих кредиторов, сделать пируэт в сторону поручителей и с поклоном возвратиться на место, которое он занимал до того, как с ним приключилась беда). Гордясь достигнутыми успехами, учитель танцев возымел желание напоследок похвастать ими перед избранным обществом пансионеров, которых он удостоил своей дружбой; и вот в одно прекрасное утро, часов около шести, на тюремном дворе (ибо ни в одной из комнат не нашлось бы достаточно места) состоялся балетный дивертисмент, причем пространство, отведенное для исполнителей, было так велико, и каждый ярд его использован с такой добросовестностью, что учитель танцев, который сверх всего еще должен был играть на скрипке, запыхался вконец.

Учитель был настолько доволен своей ученицей, что не прекратил уроков и после того, как вышел из тюрьмы, и младшая сестра, ободренная успехом, решила попытать счастья еще раз. Только теперь ей нужна была швея. Наконец, после долгих месяцев ожидания, до нее дошел слух, что среди тюремных обитателей появилась женщина, занимавшаяся ремеслом модистики, и она тотчас же отправилась хлопотать – на этот раз о себе.

– Прошу прощенья, сударыня, – робко обратилась она к модистке, которую застала в постели и в слезах. – Я, видите ли, родилась здесь.

Должно быть, ее история становилась известна каждому еще на пороге тюрьмы, – по крайней мере модистка, услышав это, тотчас же села на постели, утерла глаза и спросила, точь-в-точь как учитель танцев.

– А, так ты – та самая девочка?

– Та самая, сударыня.

– Увы, я ничего не могу дать тебе, у меня нет ни пенни, – сказала модистка, сокрушенно качая головой.

– Мне не нужно денег, сударыня. Но я бы очень хотела научиться шить. Не согласитесь ли вы поучить меня?

– Зачем тебе? – спросила модистка. – Как видишь, меня это занятие не довело до добра.

– Видно, нет таких занятий, которые доводили бы до добра, если судить по тем, кто сюда попадает, – простодушно ответила девочка. – Но все-таки я хочу научиться шить.

– Уж очень ты слабенькая, как я погляжу, – колебалась модистка.

– У меня сил больше, чем кажется, сударыня.

– И потом уж очень-очень ты маленькая, как я погляжу, – продолжала колебаться модистка.

– Да, вот ростом я, правда, не вышла, – прошептала девочка и вдруг залилась слезами, оплакивая злополучный недостаток, так часто становившийся на ее пути. Модистку (женщину отнюдь не злую или черствую, но просто не успевшую еще примириться со своим новым положением) тронули эти слезы; она охотно согласилась на просьбу девочки, нашла в ее лице самую терпеливую и усердную из учениц, и в сравнительно небольшой срок сделала из нее искусную мастерицу.

А в это время – именно в это самое время – в характере Отца Маршалси появилась новая черта. Чем больше он входил в свою роль и чем больше зависел от тех подношений, которые делали Отцу его многочисленные дети, тем чувствительней становился он ко всему, что считал несовместимым со своим достоинством бывшего джентльмена. Он спокойно зажимал в руке полкроны, полученные от какого-нибудь сердобольного пансионера, а спустя полчаса этой же рукой утирал слезы, лившиеся у него из глаз при первом намеке на то, что его дочери трудятся ради куска хлеба. А потому дитя Маршалси сверх всех своих прочих забот должно было еще заботиться о поддержании иллюзии, будто вся семья живет в праздности, как это приличествует всякому нищему из благородных.

Старшая сестра сделалась танцовщицей. Был у них бедняк дядя, разорившийся по вине своего брата, Отца Маршалси; как и почему это произошло, он понимал не лучше самого виновника несчастья, но покорно примирился с очевидностью. Его-то защите и вверилась племянница. Это был тихий, молчаливый человек; когда он узнал, что разорен, то ничем не выказал своих чувств по поводу постигшей его беды, кроме того, что перестал умываться и уже никогда больше не разрешал себе этой роскоши. Когда-то, в дни благополучия, он был посредственным музыкантом-любителем и после того, как банкротство брата унесло все его сбережения, стал зарабатывать свой хлеб игрой на кларнете (таком же грязном, как он сам) в оркестре одного маленького театрчика. Это был тот самый театр, где теперь его племяннице удалось получить место фигурантки в кордебалете, и к тому времени, когда она заняла это более чем скромное положение, он уже успел сделаться, там одним из ветеранов. Обязанности спутника и охранителя молодой девушки он принял покорно и безропотно, как принял бы болезнь, наследство, приглашение на пир, необходимость голодать – все что угодно, кроме предложения употреблять мыло. Чтобы старшая сестра получила возможность зарабатывать эти несколько шиллингов в неделю, младшей пришлось пуститься в дипломатию.

– Фанни на время от нас переедет, отец. Она будет приходить к нам каждый день, но жить станет в городе, у дядюшки.

– Ты меня удивляешь, Эми. Зачем это?

– Нужно подумать о дядюшке, отец. Он так одинок, у него нет никого, кто бы помогал ему, за-

ботился о нем.

– Одинок? Да он чуть не все свое время проводит здесь, с нами. И никогда твоя сестра не будет помогать ему и заботиться о нем так, как это делаешь ты. Просто все вы только и смотрите, как бы уйти из дому – да, да, только и смотрите!

Эти слова должны были свидетельствовать, что ему якобы ничего не известно про то, куда именно уходит каждый день из дому Эми.

– Зато вы знаете, как нам всегда приятно возвращаться домой. А что касается Фанни, то, кроме заботы о дядюшке, я думаю, ей самой будет полезно, если она некоторое время поживет не здесь. Ведь она не родилась в Маршалси, как я.

– Хорошо, Эми, хорошо. Мне не вполне понятна твоя мысль, но в конце концов нет ничего неестественного в том, что Фанни любит бывать в городе, и не только Фанни, но даже и ты, моя девочка. Словом, уж если вы с дядей так решили, пусть так и будет. Да, да, пожалуйста. Обо мне не беспокойтесь; я вмешиваться не стану.

Но самое трудное было устроить судьбу брата – оторвать его от тюрьмы, от общества арестантов, у которых он был на побегушках, с успехом заменив в этой должности миссис Бэнгем, от тюремного жаргона, принятого в этом более чем сомнительном обществе. В восемнадцать лет он уже привык жить из кулака в рот, от подачи до подачи, и будь на то его воля, прожил бы так до восьмидесяти. Ни разу не попался среди его тюремных друзей человек, который бы научил его чему-нибудь путному, и в поисках покровителя для него сестре пришлось обратиться все к тому же своему старому другу и крестному отцу.

– Милый Боб! – сказала она ему. – Что же будет с нашим бедным Типом?

Брата звали Эдвард, но обычное уменьшительное Тед в тюрьме превратилось в «Тип».

У сторожа имелось вполне определенное мнение насчет будущего бедного Типа, и, не желая, чтобы это мнение оказалось пророческим, он даже пробовал заводить с бедным Типом разговор о том, какая заманчивая перспектива для молодого человека уйти от тягот повседневной жизни и стать в ряды защитников отечества. Но Тип поблагодарил и сказал, что отечество и без него обойдется.

– Надо бы его пристроить к какому-нибудь делу, – сказал сторож. – Знаешь что, малышка, попробую-ка я подыскать ему местечко по адвокатской части.

– Ах, Боб, какой вы добрый! Так у сторожа появилась еще одна задача, которую требовалось представить на разрешение навещавшим тюрьму джентльменам из юридического сословия. И тут он проявил такую настойчивость, что спустя немного времени к услугам Типа оказался табурет и двенадцать шиллингов в неделю в одной из адвокатских контор почтенного государственного палладиума, именуемого Пэлейс-Корт,¹⁹ который в ту пору значился в солидном списке нерушимых оплотов величия и безопасности Альбиона, ныне давно уже отошедших в область преданий.

Тип промаялся в Клиффордс-Инн²⁰ полгода, по прошествии какого-то времени вновь предстал в один прекрасный вечер перед сестрой и с небрежным видом, не вынимая рук из карманов, сообщил, что больше в свою контору не вернется.

– Как не вернешься? – испуганно спросила бедная девочка. Среди всех ее житейских забот тревоги и надежды, касающиеся Типа, неизменно занимали первое место.

– Меня очень утомило переписыванье бумаг, и я его бросил, – объявил Тип.

Типа утомляло решительно все. Его маленькая вторая мать с помощью своего верного друга-сторожа находила ему все новые и новые места. С перерывами, которые заполнялись шатаньем по тюремному двору и отправление обязанностей миссис Бэнгем, он за короткое время побывал в качестве подручного у пивовара, у огородника, у хмелевода, еще у одного адвоката, у аукциониста, у

¹⁹ ...в одной из адвокатских контор почтенного государственного палладиума, именуемого Пэлейс-Корт... – Палладиум (латинское: «защита», «оплот») – древнегреческий храм богини Афины-Паллады, охранявшей, по представлениям древних греков, безопасность города. Диккенс саркастически называет «палладиумом» судебное учреждение, существовавшее в Лондоне до 1849 года, – Пэлейс-Корт, которое было подчинено главному камергеру и рассматривало уголовные и гражданские дела. Полномочия Пэлейс-Корт были ограничены радиусом в 12 миль вокруг королевской резиденции.

²⁰ Клиффордс-Инн – старейшая корпорация адвокатов. Тринадцати судебным «иннам», основанным еще в XIII веке, принадлежало во времена Диккенса и принадлежит теперь монопольное право подготовки полноправных юристов.

биржевого маклера, еще у одного адвоката, в конторе пассажирских карет, в конторе грузовых фугонов, еще у одного адвоката, у жестянщика, у винокура, еще у одного адвоката, в суконной лавке, в галантерейной лавке, у торговца рыбой, у торговца заморскими фруктами, на товарном складе и в доках. Но к какому бы делу ни пристраивали Типа, он очень быстро утомлялся и бросал его. Казалось, этот злополучный Тип всюду берет с собою тюремные стены, и расставив их вокруг себя, превращает любое заведение или предприятие в некое подобие тюремного двора, по которому и слоняется, заложив руки в карманы и лениво шаркая подошвами, до тех пор пока настоящие, несдвигаемые стены Маршалси своим таинственным влиянием не притянут его обратно.

И все-таки решение спасти брата так твердо укоренилось в этом мужественном сердечке, что в то время как он одну за другой хоронил все ее спасительные попытки, она ухитрилась трудами и лишениями сколотить ему денег на проезд до Канады. Когда уже и безделье настолько утомило Типа, что ему захотелось бросить бездельничать, он милостиво согласился ехать в Канаду. И дитя Маршалси, горюя о предстоящей разлуке, в то же время радовалось, веря, что наконец-то удалось вывести брата на правильную дорогу.

– Благослови тебя господь, милый Тип! Смотри только не загордись и не позабудь нас, когда разбогатеешь.

– Да уж ладно, – сказал Тип и отбыл в Канаду.

Впрочем, до Канады он, не добравшись; путешествие его окончилось в Ливерпуле. Прибыв из Лондона в вышепоименованный порт, он почувствовал такое настоятельное желание бросить паром, доставивший его туда, что решил воротиться назад хотя бы пешком. Этот замысел он не замедлил привести в исполнение и по прошествии месяца вновь предстал перед сестрой, в лохмотьях, без башмаков, и утомленный более чем когда бы то ни было.

Наконец, после очередного возвращения к обязанностям миссис Бэнгем, он сам приискал себе занятие; о чем и поспешил торжественно возвестить:

– Эми, я получил место.

– Неужто в самом деле, Тип?

– Можешь не сомневаться. Теперь я устроен. Больше тебе нечего обо мне беспокоиться, сестренка.

– А что за место, Тип?

– Ты ведь знаешь Слинга – хотя бы в лицо?

– Это тот, которого зовут Торгашом?

– Он самый. Так вот, в понедельник он выходит на волю и берет меня к себе.

– Чем именно он торгует, Тип?

– Лошадьми. Одним словом, теперь я устроен, Эми. Можешь не сомневаться.

После этого он исчез надолго, и за несколько месяцев она только раз получила от него весточку. По тюрьме ползли слухи, будто бы его видели в Мурфилдсе, где какие-то мошенники продавали с аукциона всякую посеребренную дребедень под видом чистого серебра, а он, изображая покупателя, щедро наддавал цену и время от времени расплачивался новенькими кредитными билетами; но до нее эти слухи не доходили. Однажды вечером она шила у себя в комнате – стоя у окна, чтобы воспользоваться последними лучами солнца, еще медлившего над тюремной стеной. Вдруг дверь отворилась и вошел Тип.

Она обняла его, не спрашивая ни о чем – ей было страшно задавать вопросы. От него не укрылась ее безмолвная тревога, и тень раскаяния мелькнула на его лице.

– Боюсь, на этот раз ты на меня рассердишься, Эми, уж я чувствую, что рассердишься.

– Мне это очень грустно слышать, Тип. Ты, значит, совсем вернулся?

– Д-да, совсем.

– Мне и не верилось, что на этот раз ты в самом деле нашел для себя что-то подходящее, Тип. Поэтому я не так удивлена и огорчена, как можно было ожидать.

– Но это еще не самое худшее, Эми...

– Не самое худшее?

– Только не смотри на меня такими испуганными глазами. Да, не самое худшее. Я, видишь ли, вернулся... Ах, да не смотри ты на меня такими глазами! – я вернулся вроде как бы на другом положении. Раньше я был, так сказать, волонтером. Ну, а теперь перешел на действительную:

– Господи, Тип! Только не говори, что ты арестован! Нет-нет! Не говори этого!

– Я и не хотел говорить, – угрюмо пробурчал он. – Но что же мне делать, если ты иначе никак не понимаешь? Я задолжал сорок с лишним фунтов, и меня посадили.

Впервые за все эти годы тяжесть ее бремени сокрушила ее. Она заломила руки над головой и с воплем «Отец не переживет!» упала без чувств к ногам драгоценного брата.

Легче оказалось Типу привести ее в сознание, чем ей – довести до сознания Типа, что весть об его аресте будет тяжким ударом для Отца Маршалси. Это попросту не укладывалось у Типа в голове, казалось ему пустой и нелепой причудой. И лишь в виде уступки причуде он, наконец, согласился внять мольбам Эми, которым вторили дядя и старшая сестра. Не потребовалось каких-либо хитростей, чтобы объяснить возвращение Типа в тюрьму; старику просто сказали, что он бросил свое занятие, как это бывало уже не раз, и обитатели тюрьмы с чуткостью, которой не нашлось у сына, добросовестно поддерживали перед отцом этот благородный обман.

Такова была история и такова была жизнь той, кого звали Дитя Маршалси. Ко времени нашего рассказа ей исполнилось двадцать два года. Она не знала другого дома, кроме тюрьмы, и потому жалкий двор и тесный ряд тюремных строений оставались дороги ее сердцу; но теперь, став взрослой, она по-женски стеснялась того, что ее показывают всем как местную достопримечательность, и, уходя или возвращаясь, норовила проскользнуть незамеченной. С тех пор как она стала ходить на поденную работу, она сочла за благо скрывать свое место жительства и старалась тайком проделывать весь путь между городом свободных людей и высокими стенами, вне которых ей еще ни разу в жизни не случилось ночевать. Робкая по природе, она робела еще больше от этой вынужденной таинственности, и казалось, ее маленькая фигурка готова сжаться в комочек, когда легкие ножки несут ее по людным и шумным улицам.

Умудренная опытом в жестокостях борьбы за убогое, нищенское существование, она была невинна во всем остальном. Сквозь дымку этой невинности она смотрела и на отца, и на тюремные стены, и на мутный людской поток, бежавший сквозь тюрьму, постоянно обновляясь.

Такова была история и такова была жизнь Крошки Доррит вплоть до того унылого сентябрьского вечера, когда она торопилась домой, не подозревая, что Артур Кленнэм издали следует за нею. Такова была история и такова была жизнь той самой Крошки Доррит, что, дойдя до конца Лондонского моста, вдруг повернула назад, снова перешла мост, направилась в сторону церкви св. Георгия, круто свернула еще один раз и, скользнув в незапертые ворота, скрылась в наружном дворике Маршалси.

Глава VIII **За решеткой**

Артур Кленнэм в замешательстве стоял посреди улицы. Он решил остановить какого-нибудь прохожего и спросить, что помещается за этими воротами, но уже несколько человек прошли мимо, а он все медлил, потому что их лица как-то не располагали к расспросам. Вдруг из-за угла вышел небольшого роста старичок и направился прямо к воротам.

Седой и сгорбленный, он плелся не спеша, с рассеянным видом, что, несомненно, было для него чревато опасностями при путешествии по более оживленным кварталам Лондона. Одет он был бедно и грязно: ветхий, некогда синий сюртук, чуть не до пят длиной, был застегнут наглухо и у самого подбородка скрывался под бренными останками бархатного воротника. Полоса красного коленкора, служившая покойнику опорой при жизни, теперь вылезла наружу и торчала дыбом, вместе с краями порыжелого галстука ероша всклокоченные седые лохмы на затылке носителя этого одеяния и ежеминутно грозя сбить с него шляпу. Под стать была и шляпа – засаленная, вытертая до блеска, с мятыми, обвисшими полями, из-под которых торчал кончик рваного носового платка. Старик переступал, волоча ноги, как слон; но была ли его походка такой от природы, или же ее затрудняли огромные, неуклюжие башмаки и чересчур длинные, мешковатые панталоны – этого никто не мог бы сказать с определенностью. Под мышкой он нес продавленный вытертый футляр с каким-то духовым инструментом, а в руке у него был крошечный бумажный фунтик с нюхательным табаком, и как раз в ту минуту, когда его заметил Артур Кленнэм, он неторопливо, стараясь, видимо, растянуть удо-

вольствие, подносил понюшку табаку к своему жалкому сизому стариковскому носу.

К этому-то старику и обратился с вопросом Артур, дотронувшись до его плеча, когда он уже входил в ворота. Старик оглянулся и уставился на Артура подслеповатыми серыми глазами с растерянным выражением человека, мысли которого блуждали где-то очень далеко и который к тому же туговат на ухо. Артур повторил вопрос:

– Не будете ли вы добры сказать мне, сэр, что здесь помещается?

– А? Что здесь помещается? – переспросил тот, указывая через плечо пальцами, в которых была зажата понюшка табаку, не успевшая дойти по назначению. – Это Маршалси, сэр.

– Долговая тюрьма?

– Гм, – сказал старичок, явно не одобряя столь настойчивого стремления к точности. – Да, сэр, долговая тюрьма.

И он повернулся, намереваясь продолжать свой путь.

– Прошу извинить мою назойливость, – сказал Артур, заступая ему дорогу, – позвольте задать вам еще один вопрос. Сюда каждый может войти?

– *Войти* может каждый, – ответил старик с ударением, за которым явно слышалось: «но не каждый может отсюда выйти».

– Еще раз прошу извинить. Вы часто бываете здесь?

– Гм, – сказал старик, крепче стиснув фунтик с табаком в руке и взглядом давая понять, что считает подобное любопытство неуместным. – Да, сэр, часто.

– Не обессудьте на слове. Мною руководит не праздное любопытство, но самые добрые побуждения. Не приходилось ли вам слышать здесь фамилию Доррит?

– Моя фамилия Доррит, сэр, – был неожиданный ответ.

Артур снял шляпу и поклонился.

– Не откажите выслушать несколько слов объяснения. Я никак не предполагал того, что мне сейчас сообщили; надеюсь, вы поверите, что в противном случае я не взял бы на себя смелость обратиться к вам. Я только что воротился в Англию после многолетнего отсутствия. В доме моей матери, миссис Кленнэм, я встретил молодую девушку, швею, которую и в глаза и за глаза зовут не иначе, как Крошка Доррит. Эта девушка возбудила во мне живейший интерес, и мне очень хотелось бы разузнать о ней поподробнее. За несколько минут до нашей с вами встречи я видел, как она вошла в эти ворота.

Старик внимательно посмотрел на Артура.

– Вы моряк, сэр? – спросил он и, казалось, был несколько разочарован, когда Артур в ответ отрицательно покачал головой. – Нет? По вашему загорелому лицу вас можно принять за моряка. А вы со мной не шутите, сэр?

– Уверю вас, я говорю совершенно серьезно, и очень прошу вас не сомневаться в моих словах.

– Я мало знаю жизнь, сэр, – сказал старик своим слабым дребезжащим голосом. – Я прохожу по ней, как тень по циферблату солнечных часов. Обмануть меня не велика заслуга; слишком это легко, и хвалиться тут было бы нечем. Молодая девушка, о которой вы говорите, – дочь моего брата. Мой брат – Уильям Доррит, а я – Фредерик. Вы говорите, что встретили мою племянницу в доме вашей матери (я знаю, что ваша мать оказывает ей покровительство), почувствовали к ней интерес и хотите знать, что она делает здесь, в Маршалси. Пойдемте со мной, и вы увидите.

Он повернулся и вошел во внутренний дворик; Артур последовал за ним.

– Мой брат, – сказал старик, снова остановившись и медленно оглядываясь через плечо, – уже много лет живет здесь; и по соображениям, о которых мне незачем распространяться, мы не посвящаем его во все подробности жизни за этими стенами, даже если эти подробности касаются нас самих. Прошу вас, не заговаривайте о том, что моя племянница ходит по домам шить. Прошу вас, не заговаривайте вообще ни о чем, кроме тех предметов, о которых станем говорить мы. Соблюдая эту предосторожность, вы не рискуете сделать промах. А теперь – пойдете.

Артур последовал за ним вдоль узкого прохода, в конце которого была массивная дверь. Загремел в замке ключ, и дверь медленно отворилась. Они очутились в помещении, служившем, по видимому, чем-то вроде привратничкой или караульни; в глубине была другая дверь, а дальше решетка, за которой начиналась тюрьма. Старик по-прежнему брел впереди, и когда они проходили мимо дежурного сторожа, медленно повернулся к нему всем своим понуро сгорбленным, окостенев-

шим телом, как бы безмолвно представляя своего спутника. Сторож кивнул головой, и спутник прошел за решетку, не будучи даже спрошен, к кому направляется.

Вечер был темный, и ни фонари, зажженные на тюремном дворе, ни огоньки, мерцавшие в окнах тюремных строений за убогими занавесками и ветхими шторами, не в силах были разогнать тьму. Кой-где еще маячили человеческие фигуры, но большинство обитателей тюрьмы, как видно, сидело в этот час дома. Старик, очутившись во дворе, сразу взял вправо, и дойдя до третьей или четвертой двери, вошел и стал подниматься по лестнице.

– Темновато здесь, сэр, – сказал он Артуру, – но на дороге ничего нет, так что идите смело.

Они остановились на площадке второго этажа, и старик помешкал перед одной из дверей. Наконец он повернул ручку, дверь отворилась – и в то же мгновение Артуру Кленнэму стало ясно, отчего Крошка Доррит всегда старалась пообедать вдали от чужих глаз.

Тот кусок мяса, который ей полагалось съесть за обедом, она нетронутым принесла домой и теперь подогревала на ужин отцу, сидевшему за столом в поношенном сером халате и черной ермолке. Стол был накрыт чистой белой скатертью; нож, вилка, ложка, солонка, перечница, стакан и оловянная кружка с пивом – все находилось на своих местах; не были забыты даже особые приправы для возбуждения аппетита – кайеннский перец в маленькой скляночке и на пенни пикулей в фарфоровом блюде.

Девушка вздрогнула, залилась краской, потом побледнела. Но гость поспешным легким движением руки и взглядом, еще более красноречивым, чем это движение, просил ее успокоиться и не бояться его.

– Уильям, этот джентльмен – мистер Кленнэм, сын хорошей знакомой Эми, – начал дядя. – Я встретил его у наружных ворот; оказавшись поблизости, он хотел, засвидетельствовать тебе свое почтение, но не знал, удобно ли это. Мой брат Уильям, сэр.

– Сэр, – сказал Артур, хорошенько не зная, что говорить, – надеюсь, глубокое уважение, которое я питаю к вашей дочери, объяснит и оправдает в ваших глазах мое желание быть вам представленным.

– Мистер Кленнэм, это большая честь для меня, – возразил хозяин дома, встав из-за стола и приподняв свою ермолку над головой. – Добро пожаловать, сэр, – тут был отвешен поклон. – Фредерик, кресло гостю! Прошу садиться, мистер Кленнэм.

Он водрузил ермолку на положенное ей место и снова уселся за стол. Вся эта церемония была проделана с курьезной смесью величия и благосклонности. Так он привык принимать пансионеров.

– Добро пожаловать в Маршалси, дорогой сэр. Многих, многих джентльменов приходилось мне приветствовать в этих стенах. Вам, может быть, известно – хотя бы со слов моей дочери Эми – что меня называют Отцом Маршалси?

– Я – да, я слышал об этом, – наобум подтвердил Артур.

– Вероятно, вы также знаете, что моя дочь Эми родилась здесь. Добрая дочь, сэр, примерная дочь; она давно уже служит мне поддержкой и утешением. Эми, дитя мое, ты можешь подавать ужин; мистер Кленнэм поймет, что обстоятельства вынуждают нас здесь к известной простоте нравов и не взыщет. Осмелюсь спросить, сэр, не окажете ли вы мне честь...

– Нет, нет, благодарю вас, – перебил Артур. – Ни в коем случае.

Он был совсем сбит с толку курьезными ужимками старика и все больше изумлялся, видя, насколько тот далек от мысли, что дочь предпочла сохранить в тайне печальную историю семьи.

Она тем временем наполнила его стакан, пододвинула поближе все предметы, которые ему могли понадобиться за едой, и, поставив перед ним тарелку с жареным мясом, сама села рядом. Должно быть для того, чтобы не нарушать заведенного обычая, она и себе поставила тарелку, на которую положила кусок хлеба, и раз или два пригубила из отцовского стакана; но Артур видел, что она глотка не может сделать от волнения. В ее взгляде, устремленном на отца, восхищение и гордость смешивались со стыдом, но больше всего было в нем преданности и любви, и этот взгляд невольно хватал Артура за душу.

Отец Маршалси относился к своему брату с некоторой снисходительностью, как к доброму, благонамеренному человеку, который, однако же, не сумел достигнуть положения в обществе и вынужден довольствоваться скромными рамками частной жизни.

– Фредерик, – сказал он, – я знаю, что вы с Фанни сегодня обедаете у себя. Но где она, Фанни,

куда ты ее девал?

– Она гуляет по двору с Типом.

– Тип – это мой сын, как вы, может быть, слышали, мистер Кленнэм. Немного ветреный юноша, и его не так легко было поставить на ноги, но ведь и обстоятельства, при которых ему пришлось вступать в жизнь, были... – он пожал плечами и с легким вздохом обвел глазами комнату, – не слишком благоприятны. Вы здесь впервые, сэр?

– Впервые.

– Впрочем, что же я спрашиваю! Вы едва ли могли хоть раз побывать здесь так, чтобы я об этом не знал – разве что в детском возрасте. Обычно всякий, кто попадает сюда, если только он вправе претендовать – хотя бы претендовать! – на звание джентльмена, тотчас же является мне представиться.

– Бывали дни, когда моему брату представлялось по сорок – пятьдесят человек, – не без гордости вставил Фредерик.

– Совершенно верно, – подтвердил Отец Маршалси. – И даже более пятидесяти. Если вы зайдете к нам в погожий воскресный день во время сессии суда, вам покажется, что вы попали на дворцовый прием – да, да, на дворцовый прием. Эми! дитя мое, я сегодня с утра стараюсь припомнить фамилию джентльмена из Кэмбервелла,²¹ которого под рождество представил мне тот милейший торговец углем, что был дополнительно осужден на шесть месяцев.

– Я не запомнила фамилию, отец.

– Фредерик, быть может, ты запомнил?

Но Фредерик выразил сомнение в том, что он вообще когда-нибудь эту фамилию слышал. Совершенно очевидно было, что Фредерик – последний человек на свете, от которого можно надеяться получить исчерпывающие сведения подобного рода.

– Ну как же, – настаивал его брат, – еще он обнаружил такую деликатность при совершении своего благородного поступка. Ах, бог мой! Вот выскочила из головы фамилия и все тут. Мистер Кленнэм, вас, верно, интересует, что это за деликатный и благородный поступок, о котором я сейчас упомянул?

– Весьма интересует, – сказал Артур, отводя взгляд от поникшей головки и бледного личика, по которому скользнула тень новой тревоги.

– Поступок этот был столь прекрасен и свидетельствовал о таких высоких качествах души, что я поистине считаю своим долгом о нем рассказать. Я и тогда заявил, что буду рассказывать о нем при каждом подходящем случае, не щадя собственных чувств. Дело в том – кха-кхм, – а впрочем, что скрывать правду! – дело в том, мистер Кленнэм, что иногда у посетителей этих мест является мысль преподнести небольшой – кхм – знак внимания тому, кого называют Отцом Маршалси.

Грустно, ах, как грустно было видеть маленькую ручку, в немой мольбе легшую на его рукав, хрупкую фигурку, отвернувшуюся в сторону; словно еще сжавшись от смущения.

– Эти знаки внимания, – продолжал старик негромким взволнованным голосом, то и дело откашливаясь, чтобы прочистить горло, – эти знаки внимания – кхм – бывают разными; но чаще всего это – кха – деньги. И я не могу не признаться, что в большинстве случаев они – кхм – оказываются кстати. Джентльмен, о котором идет речь, мистер Кленнэм, был мне представлен в весьма лестной для меня форме, и в беседе со мной обнаружил не только отменную учтивость, но и отменную – кхм – образованность. – Произнося эти слова, он все время беспокойно водил ножом и вилкой по тарелке, словно не замечая, что там давно уже ничего нет. – за разговором выяснилось, что у этого джентльмена есть сад – о чем он по своей деликатности не сразу упомянул, зная, что мне – кхм – недоступны прогулки по саду. Речь об этом зашла, когда я выразил свое восхищение прелестным – поистине прелестным – кустом герани, который он принес с собой и который, как оказалось, был выращен в его оранжерее. Когда я похвалил удивительно яркую окраску лепестков, он обратил мое внимание на опоясывавшую цветочный горшок бумажную ленту, на которой было написано: «Отцу Маршалси», и мне оставалось только поблагодарить его за подарок. Но это – кхм – еще не все. На прощанье он попросил меня снять ленту через полчаса после его ухода. Я – кха – исполнил его просьбу; и под бума-

²¹ *Кэмбервелл* – пригород к югу от Лондона, на правом берегу Темзы; в настоящее время вошел в черту города.

гой обнаружил две гиней. Поверьте, мистер Кленнэм, мне приходилось получать – кхм – знаки внимания в различной форме и различные по своим размерам, и всегда они, увы, оказывались к месту; но ни разу я не был растроган так, как растрогал меня этот – кхм – знак внимания.

Артур еще не успел сказать то небольшое, что только и можно было сказать по такому случаю, как раздался звон колокола, и почти тотчас же за дверью послышались шаги. Хорошенькая девушка, более сформировавшаяся и грациозная, чем Крошка Доррит, хотя и моложе ее на вид, распахнула дверь и остановилась на пороге, завидя чужого; следовавший за ней молодой человек остановился тоже.

– Это мистер Кленнэм, Фанни. Мистер Кленнэм, позвольте представить вам мою старшую дочь и моего сына. Колокол, который вы слышали, означает, что посетителям пора уходить, вот они и пришли попрощаться; но вы не беспокойтесь, времени еще много. Девочки, если вам нужно уладить какие-нибудь дела по хозяйству, мистер Кленнэм извинит вас. Ему, я полагаю, известно, что у меня здесь всего одна комната.

– Я только хочу взять свое платье, которое Эми мне выстирала, – сказала вновь пришедшая.

– А я – свое белье, – сказал Тип.

Эми подошла к обветшалому деревянному сооружению, нижняя часть которого представляла собою кровать, а верхняя – нечто вроде комода, выдвинула один из ящичков и, достав два небольших узелка, вручила их сестре и брату. «Все зашила и починила?» – услышал Кленнэм торопливый шепот сестры. И затем ответ Эми: «Да». Кленнэм уже встал, готовясь распрощаться, и воспользовался этим, чтобы оглядеть комнату. Голые стены были выкрашены в зеленый цвет, как видно не слишком умелой рукой; несколько литографий составляли все их жалкое украшение. На окнах висели занавески, пол был прикрыт ковриком; полка здесь, крючок там, разные мелкие приспособления говорили о том, что хозяйева этой комнаты обитают в ней уже много лет. Комната была небольшая, тесная, скудно обставленная; должно быть, еще и камин в ней дымил – иначе к чему бы жестянка, которой было прикрыто отверстие дымохода; но постоянной заботой и старанием удалось придать ей опрятный вид и даже черты своеобразного уюта.

Колокол меж тем не унимался, и дядюшка заспешил уходить.

– Скорей, Фанни, скорей! – говорил он, прихватывая под мышку обшарпанный футляр с кларнетом. – Идем, дитя мое, сейчас запрут ворота!

Фанни пожелала отцу спокойной ночи и порхнула в дверь. Тип еще раньше с грохотом сбежал по лестнице вниз.

– Поторопитесь, мистер Кленнэм, – сказал Фредерик, зашлепавший им вслед, оглядываясь на ходу. – Ворота, сэръ, ворота!

Но у мистера Кленнэма было еще два дела, которые он должен был сделать, прежде чем уйти: во-первых, преподнести знак внимания Отцу Маршалси так, чтобы не обидеть дочь; во-вторых, хотя бы в двух словах объяснить этой дочери, что привело его сегодня в тюрьму.

– Позвольте мне проводить вас, – сказал хозяин дома.

Эми вышла за остальными, и они теперь были одни в комнате.

– Нет, нет, что вы, – торопливо возразил гость. – А вот позвольте мне... – и что-то зазвенело в руке хозяина.

– Мистер Кленнэм, – сказал тот, – я глубоко, глубоко... – но гость сжал в кулак его руку, чтобы в ней перестало звенеть, а сам бегом пустился вниз по лестнице.

Крошки Доррит нигде не было видно, ни на лестнице, ни во дворе. Последние запоздалые посетители торопились к воротам, и он решил последовать их примеру. Но когда он поравнялся с крайним домом, там в дверях вдруг мелькнула знакомая фигурка. Он поспешно кинулся к ней.

– Простите, что я обращаюсь к вам в таком неподходящем месте, – сказал он, – простите, что я вообще сюда явился! Я сегодня выследил, где вы живете. Меня побудило к этому горячее желание быть чем-нибудь полезным вам и вашим родным. Для вас не секрет мои отношения с матерью и вам не покажется странным, что я никогда не делал попытки познакомиться с вами ближе в ее доме – я опасался вызвать в ней ревность или обиду, или чего доброго повредить вам в ее мнении. То, чему я был здесь свидетелем за этот короткий срок, заставляет меня еще настойчивей добиваться вашего доверия. Если бы я имел надежду стать вашим другом, это вознаградило бы меня за многие испытанные мной разочарования.

В первую минуту она испугалась; но пока он говорил, успела уже овладеть собой.

– Вы очень добры, сэр. И я чувствую, что ваши слова искренни. Но – но лучше бы вы не следили за мной.

Он понял, что волнение, звучавшее в ее голосе, вызвано болью за отца; и он почтительно промолчал в ответ.

– Я очень многим обязана миссис Кленнэм. Не знаю, что случилось бы с нами, если бы не работа, которую она мне дает. И мне кажется, что было бы нехорошо с моей стороны заводить от нее секреты. Ничего больше я вам сегодня не могу сказать, сэр. Не сомневаюсь, что вы нам желаете добра. Благодарю вас, благодарю от души.

– Позвольте на прощанье задать вам один вопрос. Давно вы знаете мою мать?

– Года два, сэр.

– Колокол перестал звонить!

– А как вы познакомились с ней? Она разыскала вас здесь?

– Нет. Она даже не знает, где я живу. У нас с отцом есть один друг – бедняк, простой рабочий, но лучшего друга не найти. Я написала объявления, что ищу швейной работы поденно и дала его адрес. Он вывесил мои объявления в таких местах, где за это не нужно платить; по одному из них миссис Кленнэм разыскала меня... Сейчас запрут ворота, сэр!

Она вся дрожала от волнения, а он, глубоко растроганный и в то же время живо заинтересованный ее историей, в которую ему впервые удалось заглянуть, медлил и не мог заставить себя уйти. Но умолкнувший колокол и тишина, воцарившаяся в тюрьме, напоминали, что нужно уходить; и наспех пробормотав несколько добрых слов, он отпустил ее к отцу.

Он, однако, слишком долго медлил. Внутренние ворота были уже на запоре, и караульня закрыта. Он попробовал постучаться, но скоро убедился, что все попытки бесплодны и ему предстоит провести ночь в тюрьме. Раздумывая над этой не слишком приятной перспективой, он вдруг услышал чей-то голос у себя за спиной.

– Что, попались? – сказал этот голос. – Придется теперь сидеть тут до утра... Ба! Да это вы, мистер Кленнэм!

Голос принадлежал Типу. Они стояли, глядя друг на друга, посреди тюремного двора; между тем начал накрапывать дождик.

– Сами виноваты, – заметил Тип, – другой раз будете попроворнее.

– Да ведь и вы не можете выйти, – сказал Артур.

– Еще бы! – насмешливо воскликнул Тип. – Уж это наверняка! Но только вы себя со мной не равняйте. Я ведь теперь кадровый; только моя сестрица забрала себе в голову, что наш старик не должен знать об этом. Хотя почему, не знаю.

– Можно тут где-нибудь приютиться на ночь? – спросил Артур. – Что вы мне посоветуете?

– Прежде всего нужно поймать Эми, – сказал Тип, привыкший перекидывать все трудности на плечи сестры.

– Нет, нет, не нужно ее беспокоить. Лучше я проведу ночь, разгуливая по двору; самое простое.

– В этом нет надобности, если только вы готовы заплатить за ночлег. Если вы готовы заплатить, вам устроят постель на столе в Клубе – раз уж так вышло. Пойдемте, я вас сведу с кем нужно.

Проходя мимо знакомого уже дома, Артур поднял голову. В одном окне горел свет.

– Да, сэр, – сказал Тип, перехватив его взгляд. – Это у нашего старика. Она еще часок посидит с ним – почитает ему вчерашнюю газету или расскажет что-нибудь, а потом выскользнет без всякого шума и исчезнет, точно маленькое привидение.

– Я вас не понимаю.

– Старик спит в той комнате, где вы были, а Эми нанимает каморку у одного из тюремных сторожей. Вон там, в крайнем доме, – Тип указал туда, где Кленнэм недавно увидел Крошку Доррит. – В крайнем доме, под самой крышей. В городе можно было бы нанять комнату вдвое лучше и вдвое дешевле. Но она, добрая душа, хочет быть поближе к старику и днем и ночью.

За разговором они дошли до конца тюремного двора, где в нижнем этаже одного из домов находилось заведение, служившее пансионерам местом вечерних сборищ. Это и был так называемый Клуб, и оттуда только что разошлись посетители. Председательское кресло во главе стола, пивные кружки, стаканы, трубки, кучки пепла – все было еще в таком виде, как оно осталось после коротав-

шей здесь вечер веселой компании; даже дух ее не успел выветриться. Что касается духа, то тут можно было сказать, что Клуб удовлетворял первым двум из трех требований, которые принято считать обязательными при изготовлении грога для дам – погорячей, покрепче и побольше; хуже обстояло дело с третьим, ибо комната была невелика и тесновата.

Случайному посетителю «с воли» естественно было предположить, что все здесь, от содержателя заведения до судомойки, принадлежат к числу арестантов. Так ли это, нет ли, разобрать было трудно, но, во всяком случае, вид у них у всех был довольно отоцалый. Хозяин мелочной лавочки, помещавшейся тут же, который держал и жильцов, вызвался помочь в устройстве постели для Артура Кленнэма. При этом он не преминул сообщить, что в свое время был портным и имел собственный выезд. Он мнил себя блюстителем законных интересов местного населения и у него имелись кое-какие неопределенные и неопределимые соображения насчет того, что будто бы смотритель тюрьмы присваивает некую субсидию, предназначенную для пансионеров. Ему самому нравилось верить в это, и он никогда не упускал случая пожаловаться на мифические злоупотребления новичкам и посторонним; хотя даже под страхом смерти не мог бы объяснить, о какой такой субсидии речь и откуда все это взбрело ему в голову. Но так или иначе он был непоколебимо убежден, что на его лично долю должно было приходиться из упомянутой субсидии три шиллинга и девять пенсов в неделю; на какую сумму его, как одного из пансионеров, и обворовывал каждый понедельник смотритель тюрьмы. По всей вероятности, он оттого и предложил свои услуги по части устройства постели, что усмотрел тут случай лишней раз произнести свою обвинительную речь. Облегчив таким образом душу и пообещав написать в газеты и вывести смотрителя на чистую воду (обещание, как видно, давалось не раз, но дальше обещания дело не шло), он примкнул к общему разговору. Разговор касался самых различных предметов, но по всему его тону видно было, что обитатели Маршалси привыкли считать неплатежеспособность нормальным состоянием человека, а уплату долгов – чем-то вроде случайного приступа болезни.

Странная обстановка, странные, призрачные существа, роившиеся вокруг, – все это было похоже на сон, и как во сне смотрел Артур Кленнэм на приготовления, которые делались к его ночлегу. А между тем Тип, давно уже свой человек здесь, с противоестественной гордостью показывал ему хозяйство Клуба, средства для которого добывались по подписке среди пансионеров: большой кухонный очаг, котел для горячей воды и другие усовершенствования, наводившие на мысль, что если хочешь быть здоров, счастлив и богат, то самый верный способ для этого – поселиться в Маршалси.

Наконец из двух столов, сдвинутых вместе, в дальнем углу комнаты было сооружено довольно сносное ложе, и все разошлись, предоставив случайному постояльцу наслаждаться видом резных стульев, плевательниц и лучины для разжигания трубок, запахом мокрых опилок и пива, обществом председательского кресла и покоем. Последний, впрочем, наступил очень, очень не скоро. Неожиданность этого ночлега в непривычном месте, неприятное сознание, что находишься за решеткой, воспоминание о комнате во втором этаже, о двух братьях, пуще же всего о хрупкой полудетской фигурке и бледном личике, в котором Кленнэм ясно разглядел теперь следы многолетнего если не голода, то недоедания, еще долго тревожили его и не давали ему уснуть.

Потом в утомленном бессонницей мозгу закружились подобно кошмару другие мысли, но все они были связаны с тюрьмой, хотя и самым причудливым образом. Есть ли в тюрьме запас гробов на случай, если кто-нибудь из арестантов умрет? Где хранятся эти гробы и как они хранятся? Где хоронят тех, кто умирает в тюрьмах, как их выносят, какие при этом соблюдаются обряды? Может ли какой-нибудь неумолимый кредитор задержать мертвеца? Возможен ли побег из тюрьмы, как его осуществить? Можно ли взобраться на стену при помощи веревки и крюка? А как спуститься с другой стороны? – может быть, соскочить на крышу соседнего дома, прокрасться по лестнице и, выйдя в дверь, затеряться в толпе? А что, если в тюрьме вспыхнет пожар? Вдруг это случится именно сегодня, когда он ночует здесь?

Но все эти произвольные взлеты воображения лишь служили фоном, на котором четко выступали все те же три фигуры. Его отец на смертном одре с пристальным, напряженным взглядом, который предвидение художника запечатлело на портрете; его мать, поднятой рукой отстраняющая подозрения сына; Крошка Доррит, удерживающая отцовскую руку, со стыдом отвернувшаяся в сторону.

Что, если у его матери есть какая-то давнишняя тайна, побуждающая ее быть ласковой с этой

бедной девушкой? Что, если тот узник, что с божьей помощью сейчас мирно спит у себя в комнате, в день Страшного суда укажет на миссис Кленнэм, как на виновницу своего падения? Что, если она и ее муж были хотя бы отдаленно причастны к беде, что пригнула так низко седые головы этих двух братьев?

Неожиданная мысль вдруг прорезала мозг Артура. Это многолетнее заточение в тюремных стенах – многолетнее затворничество его матери в стенах собственной комнаты – может ли быть, что она видит тут возможность сбалансировать некий жизненный счет? «Признаю, что была соучастницей зла, причиненного этому человеку. Но ведь я искупила вину не меньшими страданиями. Он исчез в своей тюрьме; я – в своей. Мы квиты».

Эта мысль не давала ему покоя и после того, как все другие мысли уже потускнели и расплылись. Он уснул – и тотчас же мать явилась перед ним в своем кресле на колесах, заслоняясь от него теми же словами оправдания. Он внезапно проснулся, охваченный безотчетным страхом – и эти слова стояли в ушах, как будто голос матери произнес их у его изголовья, разгоняя сон: «Он томится в своей тюрьме, я томлюсь в своей. Грозное правосудие совершилось, и мой долг уплачен сполна».

Глава IX

Маленькая маменька

Рассвет не слишком торопился переползти через тюремную стену и заглянуть в окна Клуба; а когда это, наконец, случилось, он, к сожалению, явился не один, а с проливным дождем. Бури равноденствия свирепствовали на море, и юго-западный ветер без разбора налетал на все, что попадалось по пути, не гнушаясь даже теснотой Маршалси. С ревом врвался он на колокольню церкви св. Георгия, вертел колпаками печных труб на окрестных крышах, с маху кидался вниз, гоня на тюрьму дым со всей округи и нырял в дымоходы, грозя задушить тех немногих пансионеров, которые уже встали и разводили огонь у себя в комнате.

Артур Кленнэм не склонен был долго нежиться в постели, даже если бы эта постель находилась в более покойном месте, где ему не пришлось бы слушать, как выгребают вчерашнюю золу, раскладывают огонь под клубным котлом, наполняют водой эту спартанскую чашу пансионеров, подметают и посыпают опилками пол – словом, готовятся к наступающему дню. Почти не отдохнув за ночь, он все же от души порадовался, что эта ночь миновала, и едва рассвело настолько, что можно было различить окружающие предметы, поспешил одеться и выйти, и еще добрых два часа мерил шагами двор в ожидании, когда откроются ворота.

Расстояние между тюремными стенами было так невелико, а тучи неслись над ними с такой неистовой быстротой, что, глядя на этот узкий просвет бурного неба, Артур испытывал нечто похожее на приступ морской болезни. Ветер гнал наискось потоки дождя, заливая до черноты стену дома, где Артур провел вчерашний вечер; но с подветренной стороны оставалась маленькая полоска сухой земли; по ней и расхаживал Артур взад и вперед, среди обрывков бумаги и всякого сметья, пучков соломы, лужиц, натекших от колодца, и вчерашних кухонных отбросов. Жизнь представляла здесь в самом своем неприглядном виде.

Появление той, ради кого он стремился сюда, могло бы скрасить эту неприглядность; но знакомой маленькой фигурки нигде не было видно. Быть может, она проскользнула из двери в дверь у него за спиной, когда он шагал в противоположную сторону. Для ее брата час был слишком ранний; не требовалось долгого знакомства с ним, чтобы заключить, что он едва ли спешит по утрам покинуть свое ложе, каким бы жалким это ложе ни было; и потому, расхаживая вдоль стены, Артур Кленнэм думал о начатых им расследованиях не столько в настоящем, сколько в будущем времени.

Наконец дверь караульни повернулась на петлях и тюремный сторож, расчесывая гребенкой спутавшиеся за ночь волосы, выразил готовность выпустить на волю случайного узника. С радостным чувством освобождения Артур прошел через караульню и очутился в том самом наружном дворе, где накануне состоялось его знакомство с Дорритом-братом.

Навстречу уже тянулась вереница потрепанных личностей, в которых нетрудно было угадать поставщиков, посредников и посыльных тюремного населения. Некоторые успели вымокнуть под дождем, дожидаясь, когда откроются ворота; другие, сумев точнее рассчитать время, только сейчас

подходили с покупателями – хлебом, молоком, разным бакалейным товаром в отсыревших серых бумажных кульках, маслом, яйцами и тому подобное. Диковинное зрелище являли собой эти бедняки на побегушках у бедноты, неимущие прислужники неимущих хозяев. Таких поношенных сюртуков и панталон, таких старомодных, допотопных, потрепанных платьев и шалей, таких продавленных шляп и шляпок, таких башмаков, зонтиков и тростей не встретишь и в ветошном ряду. Одетые в обноски с чужого плеча, все эти люди были словно составлены и сшиты из лоскутков чужих существований и ничего своего нельзя было усмотреть в их обличье. Ходили и двигались они по-особому, как существа некоей особой породы. У них всегда был такой вид, словно они торопятся проشمыгнуть незамеченными за угол, где находится закладная лавка. Если случалось кому-нибудь из них кашлянуть, то это был кашель человека, привыкшего дрогнуть на ветру или переминаясь перед захлопнутой дверью, дожидаясь ответа на прошение, написанное водянистыми чернилами и способное вызвать в получателе лишь чувство недоумения и досады. Если они смотрели на незнакомого человека, то смотрели голодным, испытующим взглядом, точно прикидывая, нельзя ли вытянуть у него денег, и достаточно ли он сердоболен, чтобы расщедриться на сколько-нибудь приличную сумму. Закоренелое нищенство втягивало им голову в плечи, сгибало их трясущиеся колени, застегивало, закалывало, подвязывало, подштопывало их одежду, обтрепывало края петель, лезло наружу грязными обрывками тесемок, винным перегаром дышало изо рта.

Заметив Артура Кленнэма, в нерешительности медлившего у ворот, один из этих людей подошел к нему и предложил свои услуги; и тут только у Артура явилась мысль, не поговорить ли еще раз с Крошкой Доррит до ухода. Вероятно, ее смятение уже улеглось и она будет чувствовать себя свободнее. Он взглянул на неопределенную личность, стоявшую перед ним с двумя копчеными селедками в руке и с хлебцем и сапожной щеткой под мышкой, и спросил, нет ли поблизости места, где можно выпить чашку кофе. Личность радостно закивала в ответ и повела Артура в кофейню, находившуюся в двух шагах от тюрьмы.

– Не знаете ли вы мисс Доррит? – спросил новый клиент.

Личность знала двух мисс Доррит: одна родилась в тюрьме... Вот, вот, эта самая. Ах, эта самая? Ну, как же, личность знает ее много лет. А есть еще другая мисс Доррит, так та живет у своего дяди в том же доме, что и личность.

Последнее сведение заставило клиента изменить сложившийся у него было план – дожидаться в кофейне, пока личность не даст ему знать, что Крошка Доррит вышла из ворот. Вместо того он поручил личности передать ей конфиденциально, что вчерашний гость ее отца хотел бы сказать ей несколько слов на квартире у ее дяди; расспросил, как найти упомянутую квартиру (оказалось, что это совсем близко); снарядил своего посланного в путь, дав ему полкроны, а затем, наспех проглотив чашку кофе, отправился по указанному адресу.

В доме, где квартировал кларнетист, жильцов было очень много – судя по тому, что дверной косяк был утыкан ручками звонков, как церковный орган клапанами. Пока Артур мешкал перед дверью, стараясь отгадать, который же тут клапан кларнета, из одного окна вылетел волан²² и упал ему на шляпу. Он поднял голову и увидел в первом этаже окно, до половины закрытое ставнем, на котором было выведено краской: «АКАДЕМИЯ КРИППЛЗА», и чуть пониже: «ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ», а из-за ставня выглядывала бледная рожица мальчугана, державшего в одной руке кусок хлеба с маслом, а в другой – ракетку для игры в волан. Артур вернул волан владельцу, что нетрудно было сделать, так как окно находилось на уровне человеческого роста, и заодно попросил ответа на интересовавший его вопрос.

– Доррит? – переспросил мальчуган с бледной рожицей (это был не кто иной, как мистер Крипплз-младший). – *Мистер* Доррит? Третий звонок слева и раз стукнуть молотком.

Парадная дверь была густо исписана карандашом – как видно, ученики мистера Крипплза пользовались ею вместо тетради. Особенно часто повторялись надписи «Старый хрыч Доррит» и «Дик-Грязнуха», что свидетельствовало о склонности учеников мистера Крипплза к выпадам личного характера. На все эти умозаключения у Артура вполне хватило времени до того, как дверь, наконец,

²² *Волан* – закругленная с одного конца пробка с венчиком из перьев; заменяла мяч в старинной игре, напоминающей теннис.

отворилась. Отворил ее сам старик.

– А-а, – сказал он, лишь после некоторого усилия припомнив Артура. – Вам, стало быть, пришлось заночевать там?

– Да, мистер Доррит. А сейчас я попросил вашу племянницу прийти сюда: мне нужно поговорить с нею.

– А-а! – сказал он, поразмыслив. – Так, чтобы мой брат не слышал? Это правильно. Не угодно ли подняться ко мне и там подождать?

– Благодарю вас.

Старик повернулся, с той же медлительностью, с какой он обдумывал каждое свое или чужое слово, и по узкой лестнице повел Артура в верхний этаж. Дом был старый, тесный, весь пропитанный зловонием. Лестничные окошечки выходили на задворки других таких же зловонных домов, из окон которых протянулись веревки и жерди и на них болталось неприглядное тряпье – словно обитатели забрасывали тут удочки в надежде поймать что-нибудь из белья, но ловилась все такая дрянь, что не стоило даже труда отцеплять ее. В убогой мансарде окнами во двор стоял колченогий стол, а на нем два прибора и остатки завтрака, состоявшего из кофе и поджаренного хлеба – все в большом беспорядке, словно брошенное впопыхах. У стены виднелась кровать, на день превращавшаяся в диван; это превращение, по-видимому, было совершено только что и в такой спешке, что одеяла как бы перекипали через край, не давая закрыться крышке.

В мансарде никого не оказалось. Старик после некоторого размышления пробормотал, что Фанни, видно, убежала, и сунулся было за ней в соседнюю комнату. Но как только он попытался отворить дверь, ее тотчас же захлопнули с криком: «Нельзя, дурень!», при этом мелькнули спущенные чулки и фланелевые нижние юбки, и Кленнэм сделал вывод, что племянница кларнетиста еще и дезабилье. Дядя же никаких выводов не сделал, а попросту отошел, шаркая ногами, от двери, уселся на свое место и машинально принялся греть у огня руки – хотя в комнате вовсе не было холодно. Мало-помалу это обстоятельство дошло до его сознания; он отнял руки от огня, потянулся к каминной полке и достал футляр с кларнетом.

– Что вы думаете о моем брате, сэр? – спросил он гостя.

– Меня очень порадовало, – ответил Артур растерявшись, так как думал в эту минуту не столько о его брате, сколько о нем самом, – меня очень порадовало, что он бодр и здоров.

– У-гу! – пробормотал старик. – Да, да, да, да!

Артур смотрел на него с любопытством, недоумевая, зачем ему вдруг понадобился кларнет. И в самом деле кларнет ему вовсе не был нужен. По прошествии некоторого времени он разобрал, что это не фунтик с табаком (который тоже лежал на каминной полке), положил футляр на место, взял фунтик и угостился понюшкой табаку. Нюхал табак он так же, как и делал все остальное – медлительно, робко и неуверенно, но все же какая-то тень удовольствия вдруг заиграла в глубоких старческих морщинах, окружавших углы его губ и глаз.

– А Эми, мистер Кленнэм? Что вы думаете об Эми?

– Я глубоко тронут всем тем, что я видел и что я узнал о ней, мистер Доррит.

– Мой брат совсем пропал бы без Эми, – сказал старик. – Мы все без нее пропали бы. Хорошая она девочка, Эми. Всегда помнит свой долг.

В этих одобрительных словах Артуру почудился тот же оттенок равнодушия, который накануне уловил он в тоне отца Эми и который вызвал в нем глубокий внутренний протест и возмущение. Не то чтобы они скупались на похвалы или не замечали того, что девушка для них делала; но по своей душевной лени они принимали ее заботы как нечто привычное и естественное – так же, как принимали все прочее в жизни. Казалось, хотя перед глазами у них было достаточно примеров для сравнения, они не видели никакой разницы между нею и другими, в том числе и собою; ее положение в семье представлялось им чем-то неотъемлемо ей присущим, как ее имя или возраст. Казалось, они вовсе не смотрели на нее как на существо, сумевшее подняться над атмосферой тюрьмы, но, напротив, считали, что она частица этой атмосферы, что она именно то, чем ей положено быть, и ничего больше.

Старик, позабыв о госте, вернулся к своему недоконченному завтраку, но только что он стал жевать размоченный в кофе гренок, как третий звонок слева возвестил о новом посетителе. «Вот это Эми», – сказал дядя и пошел отворять племяннице дверь; а гость смотрел на пустое кресло, словно

по-прежнему видел перед собой старика – так ярко запечатлелись в его мозгу эти грязные руки, это лицо, в морщины которого въелась копать, это дряхлое, сгорбленное тело.

Эми вошла в комнату вслед за дядей, в обычном своем простеньком платье, с обычным робким и застенчивым выражением лица. Только губы были слегка приоткрыты, как будто сердце у нее билось сильнее обычного.

– Тут мистер Кленнэм, Эми, – сказал дядя, – он тебя дожидается.

– Я взял на себя смелость послать вам записку.

– Я ее получила, сэр.

– Вы сегодня не идете к моей матери? Как видно, нет, потому что в это время вы уже обычно бываете там.

– Сегодня нет, сэр. Сегодня я там не нужна.

– Позвольте мне проводить вас туда, куда вы направляетесь. Я бы тогда поговорил с вами дорогой, не задерживая вас и не злоупотребляя гостеприимством вашего дядюшки.

Она явно смутилась, но ответила: «Как вам угодно». Он сделал вид, что никак не найдет свою трость, давая ей время привести в порядок кровать, ответить сестре, нетерпеливо стучавшей в стену, шепнуть какие-то ласковые слова дяде. Затем трость нашлась, и Кленнэм, пропустив Эми вперед, стал вместе с нею спускаться по лестнице; а дядюшка стоял на площадке у своей двери и, по всей вероятности, позабыл об их существовании прежде, чем они добрались до нижнего этажа.

Зрелище гостя, выходящего от Дика-Грязнухи, до такой степени поразило учеников Крипплза, собиравшихся в это время на занятия, что они уставились на него во все глаза, бросив даже колотить друг друга ранцами и учебниками, что составляло их обычную утреннюю разминку. Сперва они ограничились безмолвным созерцанием чуда; но как только таинственный посетитель отошел на безопасное для них расстояние, вслед ему полетел град камней и насмешек, сопровождаемых вызывающими плясками; одним словом, трубка мира была зарыта с таким неукоснительным соблюдением дикарского ритуала, что, будь мистер Крипплз раскрашенным в цвета войны пождем племени Крипплаваров, это сделало бы честь его наставническому искусству.

Под эти напутственные возгласы мистер Артур Кленнэм предложил руку Крошке Доррит и Крошка Доррит оперлась на его руку. «Пойдемте через Железный мост,²³ – предложил он. – Там мы будем дальше от уличного шума». Крошка Доррит ответила: «Как вам угодно», и затем отважилась попросить своего спутника «не обижаться» на учеников мистера Крипплза, в вечерних классах которого она сама приобрела все свои скромные познания. Артур горячо заверил ее, что прощает учеников мистера Крипплза от всей души. Таким образом, Крипплз, сам того не зная, способствовал их более близкому знакомству и сделал это лучше, чем мог бы сделать даже Красавец Нэш,²⁴ если бы они жили в те золотые времена и если бы он нарочно приехал для этого из Бата в своей карете шестерней.

По-прежнему дул ветер и на улицах было мокро и грязно, но дождь ни разу не настиг их, покуда они шли к Железному мосту. Маленькая спутница Артура казалась ему совсем юной, и он порой ловил себя на том, что мысленно – если не вслух – разговаривает с ней как с ребенком. Может быть, он со своей стороны казался ей стариком.

– Я только что узнала, сэр, что вам пришлось провести ночь в тюрьме. Как это неприятно!

Но он возразил, что это совершенные пустяки. Его отлично устроили на ночь.

– Да, да! – живо подхватила она. – Говорят, в кофейне превосходные постели.

Он почувствовал, что кофейня Маршалси в ее глазах – роскошный отель, славой которого она дорожит и гордится.

– Там только очень дорого, – продолжала Крошка Доррит. – Но мне отец говорил, что там можно великолепно пообедать. И даже с вином, – робко добавила она.

– А вы бывали там?

²³ *Железный мост* – арочный мост, перестроенный в 1821 году и с этого времени называемый Саутворкским.

²⁴ *Красавец Нэш*. – Ричард Нэш (1674–1762) был известным игроком и законодателем мод, занимался филантропической деятельностью. Беллетризованная биография Нэша написана О. Гольдсмитом.

– Нет, что вы! Я только захожу иногда на кухню за кипятком.

В ее годы все еще испытывать благоговейный восторг перед роскошью такого заведения, как тюремная кофейня!

– Вчера я спрашивал вас, как вы познакомились с моей матерью, – сказал Артур. – Вы когда-нибудь слышали ее фамилию прежде, до того, как попали к ней в дом?

– Нет, сэр.

– А ваш отец – не показалась ли ему эта фамилия знакомой?

– Нет, сэр.

На мгновение он поймал ее взгляд (она тотчас же испуганно опустила глаза), и в этом взгляде было написано такое изумление, что он счел необходимым добавить:

– Мне трудно сейчас объяснить причины, побуждающие меня задавать эти вопросы, но, во всяком случае, уверяю вас, тут нет ни малейшего повода для какого-нибудь беспокойства или опасения с вашей стороны. Скорее напротив. Так вы думаете, ваш отец никогда, ни в какую пору своей жизни не слышал фамилии Кленнэм?

– Нет, сэр.

По звуку ее голоса он догадался, что она снова глядит на него, полукрыв губы от волнения; и он замолчал, устремив глаза вперед, не желая смущать ее дальнейшими расспросами.

Так они вышли на Железный мост, где после уличной суеты было пусто, как в поле. Непогода усиливалась, бурными порывами налетал ветер, сдувал воду с поверхности луж на мостовой и тротуарах и дождем брызг рассыпал ее над рекой. Тучи бешено неслись по свинцово-серому небу; туман и дым стлались им вдогонку; и река мчала в ту же сторону свои суровые темные воды. Казалось, из всех божьих созданий Крошка Доррит – самое маленькое, тихое и слабое.

– Позвольте мне нанять для вас экипаж, – сказал Кленнэм, едва удержавшись, чтобы не добавить «бедное дитя».

Она поспешила отказаться, уверяя, что ей все равно, дождь на дворе или солнце: она привыкла выходить в любую погоду. Он это знал и сам, и сердце его дрогнуло от жалости, когда он представил себе, как эта маленькая фигурка бредет вечером по темным, сырým, кишашим всяким людом улицам, пробираясь к своему убогому пристанищу.

– Вы вчера так участливо говорили со мной, сэр, и, как я узнала потом, столько великодушия выказали моему отцу, что я не могла не отозваться на вашу записку, хотя бы для того, чтобы сказать, как я вам благодарна – тем более, что мне очень хотелось попросить вас... – голос ее задрожал и осекся, слезы набежали на глаза, но не потекли.

– Просить – о чем же?

– Будьте снисходительны к моему отцу, сэр. Не судите его так, как судят тех, кто живет на воле. Он уже столько лет в Маршалси! Я не знаю, каков он был до того, как попал туда, но наверно, он во многом изменился за это время.

– Могу вас заверить, что я далек от каких-либо жестоких или несправедливых мыслей о нем.

– Это вовсе не значит, что ему есть чего стыдиться, – сказала она с внезапной ноткой гордости, как видно испугавшись, не показалось ли собеседнику, будто она отступает от отца. – Или что я должна стыдиться за него. Его только нужно понять. Нужно только помнить о том, как у него сложилась жизнь. Все, что вы слышали от него, – чистая правда. Все именно так и есть, как он вам рассказывал. Его очень уважают в Маршалси. Каждый, кто попадает туда, за честь считает с ним познакомиться. Его обществом дорожат больше, чем чьим бы то ни было. Даже смотритель не пользуется таким авторитетом.

Если гордость может быть простительной, то вдвойне простительна была гордость Крошки Доррит, выхваляющей заслуги своего отца.

– Про него часто говорят, что у него манеры настоящего джентльмена, так что даже смотреть приятно. Я ни у кого в Маршалси не видела таких манер – да, впрочем, все признают, что другим у нас далеко до него. Потому ему и делают подарки, а не только из сочувствия к его нужде. А что он терпит нужду, бедненький, так разве он в этом виноват? Четверть века прожив в тюрьме, трудно разбогатеть.

Сколько любви в каждом ее слове, сколько сострадания в ее сдерживаемых слезах, сколько величия в ее нежной душе, как яркое солнце подлинный свет, что ложным сиянием окружает голову ее от-

ца!

– Если я скрываю, где мы с отцом живем, то вовсе не потому, что стыжусь его. Сохрани бог! Я не вижу причин стыдиться и самой тюрьмы. Напрасно думать, будто туда попадают только дурные люди. Я знаю очень много хороших, честных, трудолюбивых людей, которые очутились там по несчастью. И с каким сочувствием почти все они относятся друг к другу! Было бы попросту неблагодарно с моей стороны забыть о том, сколько мирных, беззаботных часов провела я в тюремных стенах; о том, какой чудесный друг нашелся у меня там в мои детские годы и как он любил меня и баловал; о том, что там я училась, там трудилась, там засыпала по вечерам спокойным сном. Только трусливое и бессердечное существо могло бы, помня все это, не питать хотя бы небольшой привязанности к этим стенам.

Излив таким образом переполнявшие ее чувства, она доверчиво подняла глаза на своего нового друга и скромно добавила:

– Я не собиралась говорить так много, да и вообще мне до сих пор никогда не случалось вести подобные разговоры – кроме одного раза. Но мне кажется, так будет лучше. Я вчера высказала сожаление, сэр, что вы выследили, где я живу. Сегодня я уже меньше жалею об этом – даже совсем не жалею, вот только, если я очень путано говорила и вы – и вы меня не поняли. Этого я больше всего боюсь.

Он горячо и искренне заверил, что она может этого не бояться, и стал перед нею, стараясь сколько можно загородить ее от ветра и начавшегося дождя.

– Теперь, – сказал он, – вы, надеюсь, позволите мне задать еще кое-какие вопросы, касающиеся вашего отца. У него много кредиторов?

– Да, очень много.

– Я имею в виду кредиторов, которые держат его в тюрьме.

– Да, да, очень много.

– Можете ли вы сказать мне (если нет, не беспокойтесь, я добуду эти сведения другим путем) – можете ли вы сказать, кто из них наиболее влиятельный?

Крошка Доррит подумала с минуту, затем ответила, что в детстве ей часто приходилось слышать фамилию мистера Тита Полипа, о котором говорили как о человеке весьма могущественном. Он был какой-то важный чиновник, член совета по управлению или опеке над кем-то или чем-то. Жил он, помнится, на Гровенор-сквер²⁵ или где-то поблизости, и занимал высокий, очень высокий пост в Министерстве Волокиты. Казалось, она с юных лет была так подавлена мыслью о могуществе этого грозного мистера Тита Полипа из Министерства Волокиты, живущего на Гровенор-сквер или где-то поблизости, что один звук его имени и сейчас повергал ее в трепет.

«Попробую повидать этого мистера Тита Полипа, – решил про себя Артур, – это не помешает».

Но Крошка Доррит словно перехватила его мысль.

– Ах! – воскликнула она, качая головой с отчаянием, притупившимся от времени. – Сколько людей пыталось уже освободить моего отца из тюрьмы! Увы, это безнадежно.

Она даже позабыла свою робость, честно стремясь предостеречь его от бесплодных попыток поднять со дна затонувшие обломки крушения; но ее взгляд, устремленный на него, ее кроткое лицо, хрупкая фигурка в плохоньком платье, и ветер и дождь – все это лишь укрепило его желание помочь ей.

– Но пусть бы даже его освободили – хоть я знаю, что этого не может быть, – продолжала она, – куда бы он пошел, где и как стал бы жить? Я часто думаю, что сейчас такая перемена в его судьбе сослужила бы ему плохую службу. Быть может, на воле к нему относились бы хуже, чем относятся здесь. Быть может, его не щадили бы так, как здесь щадят. Быть может, жизнь на воле оказалась бы теперь не по нем.

Тут в первый раз она не смогла удержать слез, и ее худенькие ручки, в которых так спорилась работа, судорожно сжались.

– А как бы он огорчился, узнав, что я понемножку тружусь ради заработка, и Фанни тоже. Он ведь так тревожится о нас, сознавая беспомощность своего положения. Он такой добрый, такой хо-

²⁵ Гровенор-сквер – площадь в аристократическом районе Лондона Вест-Энд.

роший отец!

Артур помолчал, ожидая, когда уляжется эта вспышка горя. Ждать пришлось недолго. Крошка Доррит не привыкла много думать о себе и не привыкла беспокоить других своими печальями. Он лишь успел обежать взглядом нагромождение крыш и труб, над которым клубились тяжелые облака дыма, и лес мачт на реке, и лес колоколен на берегу, чьи очертания смешивались во мгле непогоды – и когда он вновь повернулся к ней, это была снова та тихая и спокойная Крошка Доррит, которую он привык видеть за шитьем в комнате своей матери.

– Вы были бы рады, если б вашего брата выпустили из тюрьмы?

– О сэр, я была бы счастлива!

– Ну что ж, может быть, с ним будет не так трудно. Вчера в разговоре вы упомянули о каком-то друге.

Крошка Доррит назвала фамилию этого друга: Плорниш.

А где он живет, Плорниш? В Подворье Кровоточащего Сердца. Он простой каменщик, поторопилась объяснить Крошка Доррит, как бы для того, чтобы Артур не строил себе иллюзий относительно общественного положения Плорниша. Он живет в крайнем доме Подворья Кровоточащего Сердца, там над дверью есть дощечка с его именем.

Артур записал адрес и дал Крошке Доррит свой. Больше ему пока не о чем было с ней говорить, но, расставаясь, он хотел быть уверенным, что она готова положиться на него, и услышать от нее что-нибудь в подтверждение этого.

– Ну вот, – сказал он, пряча записную книжку в карман. – А теперь я провожу вас обратно – ведь вам нужно вернуться, правда?

– Да, сэр, я сейчас прямо домой!

– Я провожу вас обратно, – слово «домой» резало ему слух, – и на прощанье попрошу вас считать, что отныне у вас есть еще один друг. Я не люблю пышных фраз и больше ничего не скажу.

– Больше ничего и не надо говорить, сэр. Вы очень добры ко мне, и я вам верю.

Они пошли обратно по грязным, неприглядным улицам, мимо жалких нищенских лавчонок, пробираясь в пестрой толпе разносчиков и торговков, которыми всегда кишат кварталы бедноты. Не на чем было тут отдохнуть хотя бы одному из пяти человеческих чувств. Но для Кленнэма, бережно ведшего под руку свою легкую, тоненькую спутницу, это не было обыкновенное путешествие под дождем, по уличной грязи и в уличном шуме. Казалась ли она ему девочкой, а он ей – стариком; оставались ли они тайной друг для друга, идя навстречу предначертанному переплетению своих судеб, – не в этом дело. Он думал о том, что она родилась и выросла среди подобных жизненных картин и поныне продолжает робко существовать в этом мире, таком привычном ей и в то же время таком чуждом; о том, как рано ей пришлось изведать неприглядные тяготы жизни и как она еще невинна; об ее постоянной заботливости к другим; об ее юных годах и детском облике.

Только что они свернули на Хай-стриг, где помещалась тюрьма, как чей-то голос закричал сзади: «Маменька, маменька!» Крошка Доррит оглянулась, и в ту же минуту какая-то странная фигура с корзиной в руке налетела на них впопыхах (все с тем же криком «маменька»), споткнулась, упала и рассыпала в грязь картофель из корзины.

– Ах, Мэгги, – сказала Крошка Доррит, – ну что ты за неловкое дитя!

Как видно, Мэгги не ушиблась, потому что она тотчас же вскочила и принялась подбирать картофель, в чем ей помогли и Крошка Доррит и Артур Кленнэм. Мэгги подобрала больше грязи, чем картофелин; но в конце концов все было собрано и уложено в корзину. После этого Мэгги вытерла шалью свое измазанное лицо и представила его взгляду Кленнэма в качестве образца чистоты.

Это была женщина лет двадцати восьми, с большой головой, с большим лицом, с большими руками и ногами, с большими глазами и совершенно без волос. Глаза, светлые, почти белесые, смотрели как-то неестественно неподвижно, как будто зрачки их были почти нечувствительны к свету. Выражение лица казалось напряженно внимательным, как бывает у слепых; но она не была слепа, так как один глаз у нее видел довольно сносно. Ее нельзя было назвать безобразной, хотя спасала ее только улыбка – добродушная улыбка, привлекательная, но в то же время жалкая, должно быть, от того, что она никогда не сходила с лица. Отсутствие волос на голове должен был скрыть огромный белый чепец с густой оборкой, которая так топорщилась во все стороны, что старенькая черная шляпка не могла удержаться на голове и, свалившись, висела у Мэгги за плечами наподобие того, как

Чарльз Диккенс «Крошка Доррит. Книга первая»

носят своих детей цыганки. Чтобы определить, из чего состоит ее убогое одеяние, понадобился бы консилиум старьевщиков; неопытному же глазу оно больше всего напоминало пучок водорослей, в которых кое-где запутались огромные чайные листья. Ее шаль особенно сильно смахивала на чайный лист, долго мокнувший в кипятке. Артур Кленнэм посмотрел на Крошку Доррит взглядом, в котором ясно читался вопрос: «Кто это?». Крошка Доррит, не отнимая у Мэгги своей руки, которую та любовно гладила, ответила вслух (они в это время стояли к подворотне, куда закатилась большая часть картофеля).

– Это Мэгги, сэр.

– Мэгги, сэр, – повторила, точно эхо, представляемая особа. – Маменька!

– Она – внучка... – продолжала Крошка Доррит.

– Внучка, – повторила Мэгги.

– ...моей старой няни, которая давно умерла. Мэгги, сколько тебе лет?

– Десять, маменька, – сказала Мэгги.

– Если б вы знали, сэр, какая она добрая, – сказала Крошка Доррит с невыразимой нежностью.

– Какая *она* добрая, – повторила Мэгги, выразительно подчеркивая местоимение и тем самым относя его к своей маленькой «маменьке».

– А какая умница, – продолжала Крошка Доррит. – Она справляется с любыми поручениями. – Мэгги засмеялась. – И надежна, как Английский банк.²⁶ – Мэгги засмеялась. – Она сама зарабатывает себе на хлеб. Сама, сэр! – сказала Крошка Доррит с гордостью, слегка понизив голос. – Честное слово.

²⁶ *Английский банк* – во времена Диккенса акционерный банк, осуществлявший выпуск бумажных денег и казначейские функции; надежность Английского банка вошла в Англии в поговорку.



– Расскажите мне ее историю, – попросил Кленнэм.

– Подумай только, Мэгги! – воскликнула Крошка Доррит и, взяв ее большие руки в свои, хлопала ими в ладоши. – Джентльмен, который объехал чуть не весь свет, интересуется твоей историей!

– *Моей* историей? – воскликнула Мэгги. – Маменька!

– Это она меня так называет, – смущенно пояснила Крошка Доррит, – она ко мне очень привязана. Ее бабушка не всегда была ласкова с ней – верно, Мэгги?

Мэгги затрясла головой, сложила левую руку трубочкой, сделала вид, что пьет, и сказала: «Джин!» Потом прибила воображаемого ребенка и добавила: «Метла и кочерга!»

– Когда Мэгги было десять лет, сэр, она перенесла тяжелую горячку, – сказала Крошка Доррит, следя за выражением ее лица, – и с тех пор она не становится старше.

– Десять лет, – утвердительно кивнула головой Мэгги. – До чего ж там славно, в больнице! Вот уж где хорошо, так хорошо! Прямо как в раю.

– Ей никогда прежде не приходилось жить спокойно, – сказала Крошка Доррит, оглянувшись на Артура и понизив голос, – вот она и не может забыть эту больницу.

– Какие там постельки! – не унималась Мэгги. – Какой лимонад! Какие апельсины! А бульон какой, а вино! А курятина какая! Век бы не уходила оттуда!

– Вот Мэгги и оставалась там сколько можно было, – продолжала Крошка Доррит тоном, предназначенным для ушей Мэгги, словно рассказывая детскую сказку, – а когда уж больше нельзя было там оставаться, она оттуда вышла. Но с тех пор ей лет не прибавляется, так и осталось десять на всю жизнь...

– На всю жизнь, – повторила Мэгги.

– А кроме того, она тогда очень ослабела, так ослабела, что, если, например, ей случалось засмеяться, она никак не могла перестать, и это было очень нехорошо...

(Мэгги сразу нахмурилась.)

– Бабушка не знала, что с ней делать, и оттого была с ней очень строга. Но прошло несколько лет, и Мэгги захотелось исправиться; она очень старалась, и мало-помалу послушанием и прилежанием добилась того, что ей уже разрешили уходить и возвращаться когда угодно, и она стала сама зарабатывать себе на хлеб и теперь зарабатывает достаточно, чтобы ни от кого не зависеть. Вот, – сказала Крошка Доррит, снова ударяя одной ее ладонью о другую, – вот вам и вся история Мэгги, которую она сама может подтвердить!

Но Артуру Кленнэму нетрудно было угадать, что осталось недосказанным в этой истории – даже если бы он не слышал слова «маменька», даже если бы не видел ласкового поглаживания хрупкой маленькой руки большой шершавой ладонью; даже если бы от его глаз укрылись слезы, выступившие на выпученных глазах; даже если бы до его ушей не долетело короткое всхлипывание, оборвавшее нелепый смех. И сколько не вспоминал он потом эту темную подворотню, исхлестанную дождем и ветром, эту корзинку залепленного грязью картофеля, дожидавшегося, чтобы его снова вывалили в грязь, все это никогда не казалось ему таким обыденным и неприглядным, как оно было на самом деле. Никогда, никогда!

Они были уже почти у цели, когда произошла эта встреча, и теперь, выйдя из подворотни, хотели было направиться прямо к воротам тюрьмы. Но им пришлось остановиться по дороге у бакалейной лавки в угоду Мэгги, непременно желавшей выказать перед ними свои познания. Она с грехом пополам умела читать и довольно бойко разбиралась в жирных цифрах, проставленных на ярлыках с обозначением цен. Ей даже удалось, храбро выпутываясь из ошибок, одолеть афишки, на которых настойчивые человеколюбивые увещания: «Пробуйте нашу Леденцовую Смесь, Пробуйте нашу Семейную Ваксу, Пробуйте наш Ароматный Черный Чай „Померанцевый букет“, Лучший из Существующих Сортах Цветочного Чая» – перемешивались с не менее настойчивыми призывами остерегаться подделок и подражаний. И, видя, как лицо Крошки Доррит розовеет от удовольствия при каждой новой удаче Мэгги, Артур Кленнэм готов был без конца изучать свод премудростей бакалейной витрины, состязаясь в упорстве с дождем и ветром.

Наконец они все же очутились в наружном двореке тюрьмы, и там он распрощался с Крошкой Доррит. Никогда еще не казалась она ему такой крошечной, как в ту минуту, когда входила в ворота вместе с Мэгги – маленькая маменька и ее большое дитя.

Дверца отворилась, птичка, выросшая в неволе, покорно впорхнула в свою клетку, и дверца затворилась снова; Артур проводил ее глазами и пошел домой.

Глава X, закрывающая в себе всю науку управления

Министерство Волокиты (как известно каждому и без пояснений) всегда было самым важным учреждением в государстве. Ни одно общественное предприятие не может осуществиться, не будучи одобрено Министерством Волокиты. Оно – всюду, где только запахнет жареным, что бы ни жарилось, огромный общественный гусь или малюсенькая общественная куропатка. Нельзя ни совершить заведомо справедливый поступок, ни исправить Заведомую несправедливость, не получив на то особого разрешения Министерства Волокиты. Если бы возник в наши дни новый Пороховой заговор²⁷ и был раскрыт за полчаса до взрыва, кто осмелился бы спасти парламент, не дожидаясь, пока Министерство Волокиты назначит полдюжины комиссий, составит полбушеля²⁸ протоколов, разошлет не-

²⁷ Если бы возник в наши дни новый Пороховой заговор... – Заговор католиков против короля Якова I, преследовавшего католичество, был раскрыт в 1605 году за день до намеченного заговорщиками взрыва парламента во время тронной речи короля. 5 ноября – день, когда были обнаружены бочки с порохом, – отмечается в Англии ежегодным праздником. Во время гуляний, сопровождаемых фейерверком, по улицам носят чучело Гая Фокса – одного из казненных главарей восстания, которому было поручено взорвать порох в парламентских подвалах.

²⁸ Полбушеля – мера объема сыпучих и жидких тел. До 1826 года бушель был равен приблизительно 35 литрам; современный английский бушель – немного больше 36 литров.

сколько мешков циркуляров и накопит такое количество не слишком грамотной переписки, которым можно бы забить целый фамильный склеп.

Это славное учреждение появилось на свет тогда, когда государственные мужи открыли один великий и непревзойденный принцип, исчерпывающий все трудное искусство управления страной. Оно первым сумело усвоить этот благодетельный принцип и с успехом стало руководствоваться им в своей официальной деятельности. Как только выяснялось, что нужно что-то сделать, Министерство Волокиты раньше всех других государственных учреждений изыскивало способ *не делать того, что нужно*.

Тонкое чутье, при этом проявленное, такт, с которым неизменно улавливалась самая суть вышеупомянутого принципа, и несравненное умение применять его на деле привело к тому, что Министерство Волокиты стало играть главную роль в нашей общественной жизни, а наша общественная жизнь – стала тем, что она есть.

Правда, вопрос, *как не делать того, что нужно*, обстоятельно изучался и разрабатывался также всеми другими государственными учреждениями и политическими деятелями. Правда, каждый новый премьер-министр и каждое новое правительство, придя к власти благодаря обещанию сделать то-то и то-то, сейчас же употребляли все усилия на то, чтобы этого не делать. Правда, те самые избранные народа, которые во время избирательной кампании метали громы и молнии из-за того, что то-то и то-то не было сделано, и грозно требовали у сторонников кандидата противной партии ответа, почему то-то и то-то не было сделано, и громогласно утверждали, что оно должно быть сделано, и торжественно ручались, что оно будет сделано, – назавтра после всеобщих выборов уже ломали голову над тем, как устроить, чтобы оно не было сделано. Правда, сущность дебатов обеих палат с начала и до конца сессии сводилась к пространному обсуждению вопроса, *как не делать того, что нужно*. Правда, тронная речь при открытии сессии гласила примерно следующее: Лорды и джентльмены, вам нужно сделать многое, а потому приглашаю вас разойтись по своим палатам и приступить к изысканию способа не делать того, что нужно. Правда, тронная речь при закрытии сессии гласила примерно следующее: Лорды и джентльмены, вы славно потрудились в течение нескольких месяцев, блюдя свой верноподданнический и патриотический долг; вы ревностно старались не делать того, что нужно, и вам это удалось; а потому, призвав благословение божие на урожай этого года (я говорю о хлебе, а не о политике), приглашаю вас разъехаться по домам. Все это правда, но Министерство Волокиты пошло еще дальше.

Ибо в Министерстве Волокиты постоянно, безостановочно, изо дня в день работал этот чудодейственный универсальный двигатель государственного управления: *не делать того, что нужно*. И если вдруг оказывалось, что какой-то недогадливый чиновник намеревается что-то сделать, и возникало малейшее опасение, как бы непредвиденный случай чего доброго не помог ему в этом, Министерство Волокиты всегда умело с помощью циркуляра, отношения или предписания вовремя погасить его пыл. Именно дух общественной пользы, столь сильный в Министерстве Волокиты, побуждал его вмешиваться решительно во все. Механики, натуралисты, солдаты, моряки, составители прошений, авторы мемуаров, жалобщики, ответчики по жалобам, разбиратели жалоб, барышники, жертвы барышников, те, кому не удалось получить заслуженной награды, и те, кому удалось не понести заслуженного наказания, – все без разбора оказывались погребенными в бумажных недрах Министерства Волокиты.

Множество народу пропало без вести в Министерстве Волокиты. Какой-нибудь неудачник, обремененный горестями, или составитель проекта всеобщего благосостояния (что в Англии является верным средством нажать себе горести, если их не имеешь) долго мыкается по различным государственным учреждениям – в одном его запугивают, в другом обманывают, в третьем водят за нос, но вот, наконец, благополучно выбравшись, он попадает в Министерство Волокиты, и больше ему уже никогда не увидеть света божьего. Заседают комиссии, бормочут докладчики, строчат протоколы секретари, множатся выписки, справки, акты, копии, и глядишь – человека не стало. Коротко говоря, все дела, вершащиеся в стране, проходят через Министерство Волокиты, за исключением тех, которые застревают в нем, а имя таким легион.

Порой Министерство Волокиты подвергалось нападкам со стороны смутьянов. Порой жалкие

демагоги, полагавшие в своем невежестве, что истинной заботой правителей должно быть, как делать то, что нужно, выступали в парламенте с запросами или даже предложениями по этому поводу. И тогда благородный лорд или уважаемый джентльмен, по ведомству которого числилось ограждение интересов Министерства Волокиты, клал в карман апельсин и кидался в бой. Стукнув по столу кулаком, он обрушивался на уважаемого, сочлена, осмелившегося высказать крамольную точку зрения. Он считал долгом заметить уважаемому сочлену, что Министерство Волокиты не только не заслуживает критики в данном вопросе, но что оно достойно одобрения в данном вопросе – что оно выше всяких похвал в данном вопросе. Он также считал своим долгом заметить уважаемому сочлену, что хотя Министерство Волокиты всегда и во всем бывает право, но никогда еще оно не было до такой степени право, как в данном вопросе. Он также считал своим долгом заметить уважаемому сочлену, что, если б у него было больше уважения к самому себе, больше такта, больше вкуса, больше здравого смысла и больше разных других качеств, для перечисления которых понадобился бы целый толстый лексикон общих мест, он вообще не касался бы деятельности Министерства Волокиты, особенно в данном вопросе. Затем, скосив глаза на представителя Министерства Волокиты, призванного служить ему поддержкой и опорой, он обещал полностью разбить уважаемого сочлена изложением аргументов Министерства Волокиты по данному вопросу. При этом обычно происходило одно из двух: либо у Министерства Волокиты вовсе не оказывалось аргументов, либо благородный лорд или уважаемый джентльмен ухитрялся половину таковых позабыть, а другую перепутать – впрочем, и в том и в другом случае деятельность Министерства Волокиты подавляющим большинством голосов признавалась безупречной.

Все это с течением времени настолько упрочило славу Министерства Волокиты как питомника государственных мужей, что иной величественный лорд приобретал репутацию гениального правителя лишь тем, что некоторое время упражнялся в искусстве не делать того, что нужно, возглавляя названное учреждение. Что же до более мелких жрецов и служителей этого культа, то все они, вплоть до последнего мальчишки-рассыльного, делились на два лагеря: одни свято верили в божественную природу Министерства Волокиты и непререкаемость его права вершить дела по-своему, другие же, ударившись в безбожие, считали его существование бесполезным и даже вредным.

Уже не первый год в руководстве Министерством Волокиты большое участие принимало семейство Полипов. В частности, та его ветвь, к которой принадлежал мистер Тит Полип, была убеждена, что эта руководящая роль принадлежит ей по праву, и встречала в штыки любую попытку со стороны какого-нибудь другого семейства подвергнуть это сомнению. Род Полипов был весьма знаменитым и весьма разветвленным. Его отпрыски имелись во всех государственных учреждениях и занимали всевозможные государственные должности. То ли Англия была многим и многим обязана Полипам, то ли Полипы были многим и многим обязаны Англии – на этот счет существовали две разные точки зрения: у Полипов своя, у Англии своя.

Мистер Тит Полип, на котором в описываемое время лежала обязанность подпирать и поддерживать официального главу Министерства Волокиты, когда сей благородный и уважаемый государственный муж начинал съезжать с седла вследствие злого выпада какого-либо газетного писаки, скорее мог похвалиться происхождением, чем состоянием. Как истинный Полип, он был пристроен к месту, и надо сказать, это было весьма уютное и теплое местечко; как истинный Полип, он, разумеется, уже пристроил туда же своего сынка, Полипа-младшего. Но на беду он сочетался браком с представительницей семейства Чваннингов, у которой также дело обстояло благополучнее по части древности рода, чем по части движимого и недвижимого имущества. От этого союза произошли Полип-младший и три прелестные девы. А так как и Полип-младший, и прелестные девы, и миссис Тит Полип, не²⁹ Чваннинг, и сам мистер Тит Полип привержены были к аристократическому образу жизни, то срок от жалованья до жалованья всегда казался мистеру Титу Полипу чрезмерно растянутым, что давало ему повод обвинять государство в скудости.

В один прекрасный день Артур Кленнэм пятый раз явился в Министерство Волокиты, желая переговорить с мистером Титом Полипом. При первом посещении ему пришлось дожидаться в сенях, при втором – в какой-то стеклянной клетке, при третьем – в приемной, при четвертом – в огнеупор-

²⁹ урожденная (франц.)

ной галерее, где, по-видимому, хранился весь местный запас сквозняков. На этот раз, в отличие от предыдущих, мистер Тит Полип не был занят с очередным титулованным гением, возглавлявшим Министерство, но попросту отсутствовал. Артура утешили сообщением, что на министерском небосводе еще сияет другое, меньшее светило – Полип-младший.

Артур выразил желание переговорить с Полипом-младшим, и его провели в кабинет, где назначенный молодой джентльмен поджаривал себе икры у родительского камина, опираясь позвончиком о каминную доску. Кабинет, просторный и удобный, был обставлен в лучшем бюрократическом вкусе: толстый ковер на полу, обитая кожей конторка для работы сидя, обитая кожей конторка для работы стоя, кресло устрашающих размеров, экран и коврик перед камином, обрывки бумаг, папки дел, из которых торчали бумажные ярлыки, придавая им сходство с аптекарскими склянками или чучелами птиц, стойкий запах кожи и красного дерева – все в этой комнате, своим бутафорским видом словно говорившей о том, как не делать того, что нужно, было проникнуто величественным духом отсутствующего Полипа.

Полип присутствующий, который в данную минуту держал в руке карточку Артура Кленнэма, обладал совсем ребяческой физиономией, украшенной преуморительными бакенбардами. Реденький пушок, прикрывавший его круглый подбородок, делал его похожим, на неоперившегося птенца; сердобольный человек, пожалуй, порадовался бы, видя, как он поджаривает себе икры у камина: иначе бедняжка, того и гляди, погиб бы от холода. На шее у Полипа-младшего болтался щегольской монокль, но, к несчастью, глазницы у него были так неглубоки, а веки – так слабы, что стеклышко не держалось в глазу и всякий раз выскакивало, щелкая о жилетную пуговицу, к немалому огорчению его носителя.

– Э-э! Послушайте! Моего отца нет и сегодня, не будет, – сказал Полип-младший. – Может быть, я могу его заменить?

(Щелк! Монокль выскочил. Полип-младший в панике обшаривает себя со всех сторон, но не может его найти.)

– Благодарю вас за любезность, – сказал Артур Кленнэм, – но мне все-таки хотелось бы увидеть мистера Полипа.

– Э-э! Послушайте! Так ведь вам же не назначен прием, – сказал Полип-младший.

(Монокль тем временем обнаружен и снова вставлен в глаз.)

– Нет, – согласился Артур. – Но я как раз и добиваюсь приема.

– Э-э! Послушайте! А вы по какому делу, по государственному? – спросил Полип-младший.

(Клик! Монокль выскочил снова. Полип-младший настолько поглощен погоней за ним, что мистер Кленнэм решает повременить с ответом.)

– Это не насчет судебных сборов? – спросил Полип-младший, только что заметив бронзовый цвет лица посетителя.

(В ожидании ответа он пальцами раскрывает правый глаз и с такой силой втыкает монокль, что глаз начинает отчаянно слезиться.)

– Нет, – сказал Артур. – Это не насчет судебных сборов.

– Так послушайте. Вы, значит, по частному делу?

– Право, не знаю как сказать. Дело это касается некоего мистера Доррит.

– Послушайте, тогда вот что. Самое лучшее, зайдите к нам домой. Мьюз-стрит, Гровенор-сквер, номер двадцать четыре. У отца легкий приступ подагры, так что вы его застанете дома.

(Злосчастный юный Полип уже совсем ослеп на один глаз, но не решается разрушить то, что он с таким трудом создал.)

– Благодарю вас. Я тотчас же отправлюсь туда. До свидания.

Юный Полип был явно разочарован, как будто не ожидал, что его советом воспользуются.

– Послушайте! – окликнул он Кленнэма, когда тот был уже у двери; юному Полипу очень не хотелось расстаться с осенившей его блистательной деловой идеей. – А вы вполне уверены, что это не касается судебных сборов?

– Вполне уверен.

С этими словами мистер Кленнэм отправился продолжать свои поиски, мысленно гадая, – а что было бы, если бы он в самом деле пришел сюда насчет судебных сборов?

Мьюз-стрит или Конюшенный переулок находился не то чтобы на Гровенор-сквер, но совсем

рядом. Это был узкий загаженный тупичок, где попеременно с брандмауэрами теснились конюшни и каретники, а на чердаках над каретниками обитали извозчицы семейства, одержимые страстью сушить белье и украшать подоконники миниатюрными шлагбаумами. Главный трубочист этого аристократического квартала проживал в глухом конце тупичка, а напротив помещалось заведение, где на рассвете и в сумерки шла бойкая торговля винными бутылками и кухонными отбросами. Здесь часто можно было видеть прислоненную к брандмауэру ширму бродячих кукольников – а сами кукольники в это время обедали где-нибудь по соседству; здесь же происходили дружеские сборища всех окрестных собак. Но в том конце Мьюз-стрит, который был ближе к Гровенор-сквер, стояло два или три тесных, неудобных дома, которые сдавались за непомерную цену благодаря своему положению жалких прихвостней большого света; и когда какой-нибудь из этих дрянных курятников пустовал (что случалось редко, так как охотников на них всегда было хоть отбавляй), то в объявлениях агента по найму домов он фигурировал как барский особняк в самой фешенебельной части города, населенной исключительно сливками beau monde'a.³⁰

Если бы аристократизм рода Полипов не обязывал представителя beau monde'a жить именно в барском особняке, отвечающем этим жестким требованиям, он мог бы выбирать по меньшей мере из десятка тысяч домов втрое дешевле и в пятьдесят раз удобнее. Но мистер Тит Полип был лишен такой возможности, и, страдая от отчаянных неудобств и отчаянной дороговизны своего барского особняка, он, как государственный чиновник, винил во всем государство и его скупость.

Разыскав, наконец, номер двадцать четвертый по Мьюз-стрит, Гровенор-сквер, Артур Кленнэм увидел перед собой сплюснутый фасад с покосившимся парадным крыльцом, немывтыми тусклыми оконцами и темным двориком, похожим на оттопыренный жилетный карман. Если говорить о запахах, то дом был точно бутылка с крепким настоем навоза, и лакей, отворивший Артуру дверь, словно вышиб из бутылки пробку.

Лакей по сравнению с гровенорскими лакеями представлял собой то же, что дом по сравнению с гровенорскими домами. Он был по-своему великолепен, но то было великолепие задворок и черных лестниц. Его ливрея блестела чем угодно, кроме чистоты, а цвет лица и расторопность весьма пострадали от пребывания в душной лакейской. Довольно желтой и расслабленной выглядела личность, которая откупорила бутылку и поднесла ее к самому носу Кленнэма.

– Будьте добры, передайте мистеру Титу Полипу мою карточку и скажите, что я только что беседовал с мистером Полипом-младшим и пришел сюда по его совету.

Лакей (он был украшен таким количеством карманов, застегнутых на большие пуговицы с гербом Полипов, что можно было предположить, будто он служит хранилищем фамильного серебра и драгоценностей и для верности носит их всегда при себе) взял карточку, подумал над ней немного и затем сказал: «Пожалуйте».

Нужна была немалая осмотрительность, чтобы, последовав этому приглашению, не стукнуться в темноте лбом о внутреннюю дверь, и со страху и слезу не покатиться тут же по лестнице, ведущей в подвал. Но посетитель счастливо избежал этой опасности и благополучно ступил на коврик прихожей.

Услышав вторичное «пожалуйте», посетитель двинулся за лакеем дальше. Распахнулась еще одна дверь – вылетела пробка еще из одной бутылки. Новый сосуд содержал, по-видимому, экстракт кухонных помоев. Затем произошло небольшое замешательство, вызванное тем, что лакей необдуманно отворил дверь мрачной столовой, неожиданно обнаружил там кого-то и немедленно попятился назад, наступая посетителю на ноги. Наконец посетитель был загнан в маленькую тесную гостиную в конце узкого коридора, где, дожидаясь, пока о нем доложат, он мог вдыхать освежающий аромат из обеих бутылок сразу, любоваться видом на заднюю стену соседнего дома, торчавшую в трех футах от окна, и размышлять о том, много ли на свете семейств Полипов, которые из тщеславия селятся по доброй воле в таких труппах.

Мистер Полип готов принять его. Угодно ему подняться наверх? Ему было угодно, и он поднялся; и вот, в своей парадной гостиной, сидя в кресле и вытянув на стул большую ногу, предстал перед ним сам мистер Полип, символ и воплощение великого принципа: не делать того, что нужно.

³⁰ высший свет (франц.)

Мистер Полип помнил лучшие времена, когда государство было не столь скупое, а враги Министерства Волокиты не столь придирчивы. Шея мистера Полипа была обмотана белым платком так же туго, как он обматывал шею государства канцелярской писаниной. У него были внушительные манжеты и воротничок, внушительный голос и внушительные манеры. Его украшала массивная часовая цепочка со связкой печаток, застегнутый до последней возможности сюртук, застегнутый до последней возможности жилет, панталоны без единой морщинки и негнущиеся сапоги. Он был великолепен, строг, солиден и неприступен. Казалось, он всю свою жизнь позировал для портрета сэру Томасу Лоуренсу.³¹

– Мистер Кленнэм, если не ошибаюсь? – сказал мистер Полип. – Прошу садиться.

Мистер Кленнэм исполнил просьбу.

– Вы как будто заходили ко мне в Министерство Волокиты, – сказал мистер Полип, произнося последнее слово так, словно в нем было по меньшей мере двадцать пять слогов.

– Да, я взял на себя такую смелость.

Мистер Полип величественно наклонил голову, как бы говоря: это безусловно была смелость с вашей стороны, но раз уж так случилось, вы можете взять на себя дополнительную смелость изложить мне свое дело.

– Считаю долгом предупредить вас, что я довольно долго жил в Китае, чувствую себя почти чужим на родине и не имею никакой личной или корыстной заинтересованности в том деле, которое меня к вам привело.

Мистер Полип слегка побарабанил пальцами по столу с таким видом, словно собирался позировать новому, незнакомому художнику и хотел сказать ему: «Вы меня очень обяжете, воспроизведя на портрете то возвышенное выражение, которое вы сейчас наблюдаете на моем лице».

– Я познакомился в тюрьме Маршалси с несостоятельным должником по фамилии Доррит, который провел там почти половину жизни. Я хотел бы разобраться в положении его дел, представляющемся мне весьма запуганным, и узнать, нельзя ли сейчас, после стольких лет, хотя бы немного облегчить его участь. Когда я пытался выяснить, кто является наиболее влиятельным среди кредиторов, мне назвали имя мистера Полипа. Это соответствует истине?

Одно из основных правил Министерства Волокиты – никогда, ни при каких обстоятельствах не давать прямого ответа, и потому мистер Полип сказал:

– Возможно.

– А позвольте спросить, вы выступаете как представитель государства или как частное лицо?

– Министерство Волокиты, сэр, – ответил мистер Полип, – я не утверждаю, я только допускаю возможность, – Министерство Волокиты, возможно, способствовало вчинению иска против некоего обанкротившегося предприятия, или фирмы, или товарищества, к которому принадлежало упомянутое вами лицо. Вопрос мог быть в ходе официального делопроизводства направлен на рассмотрение Министерства Волокиты. Министерство могло издать или санкционировать предписание о вчинении такого иска.

– Очевидно, следует предположить, что так оно и было?

– Министерство Волокиты, – сказал мистер Полип, – не несет ответственности за предположения частных лиц.

– А где бы я мог навести официальную справку о состоянии этого дела?

– Любому из – публики, – сказал мистер Полип, с неохотой выговаривая название неопределенного сообщества, в котором он явно видел своего природного врага, – предоставлено право обращаться с запросами в Министерство Волокиты. Разъяснения относительно соблюдения необходимых формальностей даются в соответствующем департаменте Министерства.

– А в каком именно?

– Для получения ответа на этот вопрос соблаговолите обратиться непосредственно в Министерство, – сказал мистер Полип и позвонил.

– Прошу извинить, но...

³¹ Позировал для портрета сэру Томасу Лоуренсу... – Т. Лоуренс (1769–1830) – известный английский живописец, автор портретов крупнейших государственных деятелей и представителей аристократии.

– Министерство вполне доступно для – для Публики (мистера Полипа неизменно шокировал дерзкий смысл, заключенный в этом слове), если она, Публика, обращается к нему в официально установленном порядке; если же она, Публика, обращается не в официально установленном порядке, то это ее, Публики, вина.

Мистер Полип отвесил Кленнэму сдержанный поклон, в котором оскорбленное достоинство отца семейства соединилось с оскорбленным достоинством должностного лица и с оскорбленным достоинством жителя великосветского квартала; Кленнэм в свою очередь отвесил поклон мистеру Полипу, после чего расслабленный слуга выпроводил его на Мьюз-стрит.

Пораздумав немного, он решил, что хотя бы ради испытания своего упорства еще раз пойдет в Министерство Волокиты и попробует добиться там какого ни на есть толку. И спустя короткое время он снова вступил под своды Министерства Волокиты и снова отправил свою карточку Полипу-младшему через рассыльного, который весьма неодобрительно отнесся ко вторичному появлению назойливого посетителя, тем более, что должен был из-за него оторваться от картофеля с мясной подливкой, которым в это время лакомился за перегородкой у камина.

Полип-младший по-прежнему томился в отцовском кабинете, в ожидании, когда стрелка часов доползет до четырех; только теперь он поджаривал не икры, а колени.

– Э-э... Послушайте! Какого черта вы к нам привязались, – сказал Полип-младший, оглянувшись через плечо.

– Я хотел бы узнать...

– Э-?! Черт побери! Это, знаете, не годится – чтобы каждый ходил сюда и говорил, что он, знаете, хотел бы узнать, – сердито сказал Полип-младший, повернувшись лицом к посетителю и вставив монокль в глаз.

– Я хотел бы узнать, – повторил Артур Кленнэм, решивший изложить свою надобность в нескольких словах и не отступать, пока не добьется ответа, – каковы претензии, предъявленные государством к несостоятельному должнику по фамилии Доррит.

– Э-э! Послушайте! Вы что-то уж очень торопитесь. Ведь вам, знаете, даже не назначен прием, – сказал Полип-младший, обеспокоенный тем, что дело словно бы принимает серьезный оборот.

– Я хотел бы узнать, – снова начал Артур. И повторил свою формулу.

Полип-младший вытаращил на просителя глаза так, что монокль сразу же выпал; он его поймал, вставил, снова вытаращил глаза, и монокль снова выпал.

– Но так же нельзя, не полагается, – запротестовал он в крайней растерянности. – Послушайте! Что это вообще все значит? Ведь вы мне сказали, что не знаете, государственное это дело или нет.

– А теперь я выяснил, что это дело государственное, – возразил Артур, – и я хотел бы узнать... – последовало повторение той же формулы.

В ответ на что юный Полип беспомощно повторил:

– Э-э! Не годится, черт побери, чтобы каждый ходил сюда и говорил, что он, знаете, хотел бы узнать! – В ответ на что Артур Кленнэм повторил свой вопрос тем же тоном и теми же словами. В ответ на что юный Полип явил собою законченный образец полнейшей растерянности и недоумения.

– Послушайте, я вам вот что скажу. Лучше всего обратитесь в канцелярию к секретарю, – вымолвил он наконец и бочком потянулся к колокольчику. – Дженкинсон! – сказал он вошедшему на звонок любителю картофеля с подливкой. – К мистеру Уобблеру!

Решив, что раз уж он собрался взять приступом Министерство Волокиты, отступать нельзя, Артур последовал за рассыльным на другой этаж министерского здания, и там сей почтенный деятель указал ему помещение, где занимался мистер Уобблер. Артур толкнул указанную дверь и очутился в комнате, посреди которой стоял большой стол, а за ним, друг против друга, удобно расположились два джентльмена; один из них протирал носовым платком ствол охотничьего ружья, а другой намазывал варенье на хлеб с помощью ножа для разрезания бумаги.

– Мистер Уобблер? – осведомился проситель. Оба джентльмена оглянулись на него, видимо удивленные подобной дерзостью.

– Поехал он, стало быть, поездом в имение к своему двоюродному брату, – обстоятельно и неторопливо возобновил прерванный рассказ джентльмен с ружейным стволом, – а собаку взял с собой. Золото, а не собака, доложу я вам. Когда ее сажали в собачий вагон, она укусила носильщика, а как стали выпускать, вцепилась в ляжку кондуктору. Ну вот, по приезде, он, стало быть, собрал в сарай

человек пять-шесть, напустил туда побольше крыс и устроил собаке проверку. А уж когда убедился, что она их ловит, не успеешь глазом моргнуть, – назначил состязание и сам поставил на нее кучу денег. И представьте себе, сэръ, перед самым состязанием какие-то негодяи подкупили сторожа, тот подпоил собаку, и хозяин ее остался без гроша.

– Мистер Уобблер? – осведомился проситель. Джентльмен, намазывавший варенье, спросил, не поднимая глаз:

– А какую он дал собаке кличку?

– Кличка – «Красотка», – ответил рассказчик. – Он уверял, что собака как две капли воды похожа на старую тетку, от которой он ждал наследства. Особенно когда ее подпоили.

– Мистер Уобблер? – повторил проситель.

Оба джентльмена надолго закатились смехом. Потом тот, который начищал ружейный ствол, нашел, что блестит достаточно, спросил мнения своего визави и, удовлетворившись полученным ответом, убрал ствол в стоявший перед ним ящик; после чего достал из ящика ложе и, негромко насвистывая, принялся начищать его.

– Мистер Уобблер? – повторил проситель.

– В чем дело? – отозвался, наконец, мистер Уобблер, с набитым ртом.

– Я хотел бы узнать, – и Артур Кленнэм механически повторил снова, что он хотел узнать.

– Ничего об этом не знаю, – пробурчал мистер Уобблер, обращаясь, по-видимому, к своему завтраку. – Никогда не слыхал об этом. Не имею к этому никакого отношения. Попробуйте справиться у мистера Клайва, вторая комната налево по соседнему коридору.

– А не услышу ли я и от него тот же ответ?

– Весьма возможно. Ничего не могу вам сказать по этому поводу, – пробурчал мистер Уобблер.

Проситель повернулся и вышел из комнаты, но тут вдруг джентльмен с ружьем окликнул его:

– Эй, мистер!

Проситель воротился назад.

– Затворяйте за собой дверь. Черт знает какой сквозняк устроили!

Потребовалось немного времени, чтобы дойти до второй комнаты слева по соседнему коридору. В комнате сидели три джентльмена: номер первый был занят тем, что ничего не делал, номер второй был занят тем, что ничего не делал, номер третий был занят тем, что ничего не делал. Но они, надо полагать, имели самое непосредственное касательство к плодотворному осуществлению великого принципа министерской деятельности: в глубине комнаты находилась массивная двойная дверь, за которой, видимо, заседал Совет Мудрейших министерства, ибо туда стремился нескончаемый поток входящих бумаг, а оттуда стремился нескончаемый поток исходящих, и всем этим ловко управлял джентльмен номер четвертый.

– Я хотел бы узнать, – начал Артур Кленнэм и с монотонностью шарманки изложил свою надобность. Поскольку номер первый направил его к номеру второму, а номер второй направил его к номеру третьему, он имел случай изложить ее три раза. После чего он был направлен к номеру четвертому, коему изложил ее еще раз.

Номер четвертый был молодой человек приятной наружности, щеголеватый, бойкий и обходительный – тоже из рода Полипов, но из менее чопорной его ветви. Выслушав Кленнэма, он сказал почти весело.

– Ну что вам понапрасну время терять!

– Как понапрасну время терять?

– Да вот так. Я лично вам этого не советую. Это была настолько новая и оригинальная точка зрения, что Артур Кленнэм даже опешил от неожиданности.

– Как хотите, конечно. Могу выдать вам бланки установленного образца. У нас их много. Заполните хоть целую дюжину. Но только ничего у вас не получится, – сказал номер четвертый.

– Неужели это настолько безнадежно? Вы меня извините: я почти чужестранец в Англии.

– Я не говорил, что это безнадежно, – возразил номер четвертый с ясной улыбкой. – Речь сейчас идет не об этом. Речь идет о вас. У вас, по моему мнению, ничего не получится. Но вы, разумеется, вольны поступать, как вам угодно. Ваш протеже, верно, не выполнил условий по какому-нибудь договору?

– Я, право, не знаю.

– Ну что ж, это вы можете выяснить. Затем вам нужно будет выяснить, в ведении какого департамента числится указанный договор, а там уж вам дадут все справки.

– Извините великодушно, но как же мне выяснить все то, о чем вы говорите?

– О, очень просто – ходить и спрашивать до тех пор, пока не получите ответа. Затем вы подадите прошение в тот департамент о том, чтобы вам разрешили подать прошение в этот департамент (предварительно вам придется выяснить, в какой форме оно должно быть составлено). Получив соответствующее разрешение (если вы его в конце концов получите), вы направите свое прошение в тот департамент, откуда оно будет переслано для регистрации в этот департамент, затем возвращено для подписи в тот департамент, затем снова передано для засвидетельствования в этот департамент, и тогда уже официально принято к рассмотрению тем департаментом. Справки о прохождении дела в каждой из этих инстанций вы будете наводить в обоих департаментах тем же способом – ходить и спрашивать, пока не получите ответа.

– Но, помилуйте, ведь так же нельзя делать дела! – воскликнул, не удержавшись, Артур Кленнэм.

Сей бодрый молодой Полип очень развеселился мыслью, что есть простачки, воображающие, будто так можно делать дела. Сей шустрый молодой Полип превосходно знал, что так нельзя делать дела. Сей дошлый молодой Полип пристроился в министерство на секретарскую должность, надеясь поживиться малым, пока не пришло время для большого, и отлично понимал, что министерство есть лишь хитроумное приспособление для того, чтобы разными политическими и дипломатическими уловками помогать жирным обороняться против тощих. Словом, сей прыткий молодой Полип обещал в недалеком будущем сделаться государственным мужем и преуспеть на этом поприще.

– Когда ваше дело будет официально принято к рассмотрению тем департаментом, – продолжал сей блистательный молодой Полип, – вам надлежит время от времени наводить о нем справки в том департаменте. Затем, когда оно будет официально передано на рассмотрение в этот департамент, вы должны будете время от времени наводить о нем справки в этом департаменте. Мы станем пересылать его для согласования туда и сюда, и вам придется запрашивать о нем там и здесь. Когда оно снова попадет к нам, вам придется запрашивать о нем у нас. Если оно вдруг застрянет где-нибудь, вам придется проталкивать его. Если вы напишете о нем в этот департамент или в какой-нибудь другой и не получите удовлетворительного ответа, вам останется только одно – писать еще.

Артур Кленнэм видимо колебался.

– Как бы то ни было, – сказал он, – я должен поблагодарить вас за вашу любезность.

– Не стоит благодарности, – возразил сей обворожительный молодой Полип. – Вы все-таки попробуйте, может быть, вам понравится это занятие. А если не понравится, в вашей воле прекратить его в любую минуту. Право, захватили бы десяток-другой бланков на всякий случай. Выдайте джентльмену стопку бланков! – Отдав это распоряжение номеру второму, сей жизнерадостный молодой Полип принял очередной ворох бумаг из рук номера первого и номера третьего и поспешил с ними в капище, чтобы возложить их на алтарь верховных идолов Министерства Волокиты.

Артур Кленнэм хмуро сунул бланки в карман и побрел по длинному каменному коридору и длинной каменной лестнице к выходу. У самой двери какие-то двое, оказавшись впереди, загородили ему дорогу, и он остановился вился, нетерпеливо дожидаясь, когда они пройдут. Вдруг он услышал голос, который ему показался знакомым; он взглянул на говорившего и узнал мистера Миглза. Мистер Миглз, весь красный – едва ли он приобрел такой цвет лица в путешествии – тащил за шиворот коренастого человека вполне безобидной наружности, приговаривая при этом: «Идем, идем, мошенник!» Наконец он яростным толчком распахнул дверь и чуть ли не вывалился на улицу вместе с коренастым, которого по-прежнему держал за шиворот.

При виде столь необычного зрелища, Артур так и застыл на месте и только обменивался удивленными взглядами со швейцаром. Впрочем, он тут же пришел в себя, выбежал на улицу и увидел мистера Миглза, мирно удалявшегося бок о бок со своим недругом. Быстро нагнав их, Артур тронул мистера Миглза за плечо. Тот сердито обернулся, но, узнав недавнего дорожного спутника, сразу просиял.

– Здравствуйте, здравствуйте, – говорил мистер Миглз, с чувством пожимая ему руку. – Как поживаете? А я только что снова вернулся из-за границы. Душевно рад вас видеть!

– А я счастлив видеть вас.

– Ну спасибо на добром слове.

– Миссис Миглз и ваша дочь...

– Здоровы и благополучны, – сказал мистер Миглз. – Только лучше бы нам повстречаться позже, когда я немножечко остыну.

Хотя день был далеко не жаркий, мистер Миглз находился в столь разгоряченном состоянии, что даже привлекал к себе взгляды прохожих, особенно когда прислонился к железной решетке, снял шляпу, развязал галстук и в полном пренебрежении к общественному мнению принялся вытирать распаренное лицо и лысину, красные уши и красную шею.

– Уфф! – сказал он, снова приведя в порядок свой туалет. – Ну вот, теперь я поостыл и мне легче.

– Вы чем-то раздражены, мистер Миглз. Что случилось?

– А вот погодите, я вам расскажу. Есть у вас немного свободного времени?

– Сколько угодно.

– Так давайте пройдемся по парку. Да, да, смотрите на него, смотрите! – Мистер Миглз перехватил взгляд, брошенный Артуром на преступника, которого он так гневно тащил за шиворот несколько минут тому назад. – На него стоит посмотреть.

Но ничего примечательного нельзя было усмотреть в этом человеке, ни ростом, ни одеждой не выделявшемся из толпы. Он был невысок и коренаст, с деловитой повадкой, волосы его были сильно тронуты сединой, а на лбу и щеках раздумье проложило глубокие складки, словно резанные по твердому дереву. На нем было приличное черное платье, чуть порыжевшее на швах, и по всему виду его можно было принять за умельца-мастерового. Слушая аттестацию, которую ему давал мистер Миглз, он все время вертел в руках футляр от очков, делая это с тем особым движением большого пальца, которое свойственно лишь руке, привыкшей держать инструмент.

– И вы тоже ступайте с нами, – сказал мистер Миглз грозно. – Я вас сейчас представлю. Ну, марш!

Всю дорогу, пока они шли к парку, Кленнэм пытался угадать, чем мог провиниться этот неизвестный, так кротко повиновавшийся мистеру Миглзу. Глядя на него, трудно было заподозрить, что он уличен в покушении на носовой платок мистера Миглза; на скандалиста или хулигана он тоже не походил. Он казался спокойным, тихим, уравновешенным человеком, не пытался сбежать, и хоть явно был чем-то огорчен, никаких признаков стыда или раскаяния не обнаруживал. Если он и в самом деле совершил преступление, значит, он – непревзойденный притворщик; если он преступления не совершал, почему мистер Миглз тащил его за шиворот из Министерства Волокиты? Артур успел подметить, что человек этот занимает не только его мысли, но и мысли мистера Миглза тоже. На коротком пути от Министерства до парка разговор у них явно не клеился, и о чем бы ни заводил речь мистер Миглз, взгляд его постоянно возвращался к их спутнику.

Наконец, когда они уже очутились среди зелени, мистер Миглз остановился и сказал:

– Мистер Кленнэм, сделайте мне одолжение, посмотрите хорошенько на этого человека. Его зовут Дойс, Дэниел Дойс. Вы, верно, не подумали бы, что этот человек – отъявленный мошенник?

– Разумеется, нет.

Было очень неловко отвечать на такой вопрос в присутствии того, кого он касался.

– Ага! Разумеется, нет. Я так и предполагал. И вы, верно, не подумали бы, что он – преступник?

– Нет.

– Ах, нет? Вот и напрасно. Перед вами самый настоящий преступник. В чем же его преступление? Кто он – убийца, поджигатель, вор, взломщик, грабитель с большой дороги, поддельватель подписей, плут, вымогатель? Как вам кажется?

– Мне кажется, – возразил Артур Кленнэм, уловив тень улыбки на лице Дэниела Дойса, – что ни одно из этих обозначений к нему не подходит.

– Да, тут вы правы, – сказал мистер Миглз. – Но природа наделила его изобретательским даром, и он вздумал употребить этот дар на благо общества. А это, несомненно, тяжкое преступление, сэр.

Артур снова взглянул на Дойса, но тот лишь покачал головой.

– Дойс – слесарь и механик, – продолжал мистер Миглз. – Крупными делами он не занимается, однако как изобретатель весьма известен. Лет двенадцать тому назад он успешно закончил одно изобретение, которое может иметь большое значение для Англии и для человечества. Уж не буду го-

ворить, сколько денег ему это стоило и сколько лет он трудился над своим изобретением, но закончил он его лет двенадцать тому назад. Верно я говорю? – спросил мистер Миглз у Дойса. – Знайте, это самый несносный человек на свете: он никогда не жалуется!

– Да, двенадцать. Или лучше сказать, двенадцать с половиной.

– Лучше сказать! – подхватил мистер Миглз. – По-моему, это не лучше, а еще хуже. Так слушайте же, мистер Кленнэм. Кончив свое дело, он обратился с ним к правительству. И с той минуты, как он обратился к правительству, он стал преступником! Да, сэръ! – вскричал мистер Миглз, рискуя снова разгорячиться сверх меры. – Он уже не добропорядочный гражданин своей страны, он – преступник. С ним обходятся как с человеком, совершившим злодеяние. Его можно шпынять, третировать, изводить оттяжками и проволочками, без конца гонять – от одного молокососа или старца благородного происхождения к другому молокососу или старцу благородного происхождения; он не имеет права распоряжаться ни своим временем, ни своим достоинством; он – изгой, от которого позволительно отделяться любыми средствами.

После перипетий нынешнего утра Кленнэму совсем не трудно было в это поверить.

– Дойс, да оставьте вы в покое свой футляр для очков, – воскликнул мистер Миглз. – Лучше скажите мистеру Кленнэму то, в чем вы признавались мне.

– Да мне в конце концов и самому стало казаться, что я повинен в каком-то злодеянии, – сказал изобретатель. – Ведь всюду, куда бы я ни толкнулся, меня встречали как злодея. И я не раз должен был напоминать себе, что не совершил ничего такого, за что мое имя следовало бы поместить в Ньюгетский Альманах,³² а лишь заботился о всеобщей пользе и экономии средств.

– Вот вам, пожалуйста! – сказал мистер Миглз. – Судите сами, преувеличил ли я. Теперь вы не будете сомневаться в истине того, что мне еще осталось вам рассказать.

Сделав это замечание, мистер Миглз вновь обратился к истории Дойса. То была старая история, обычная история, всем хорошо известная и всем уже успевшая надоесть. О том, как после бесконечной канцелярской возни и переписки, после бесчисленных оскорблений, грубостей и глупостей высокочтимые лорды издали постановление за номером три тысячи четыреста семьдесят два, коим преступнику дозволялось произвести некоторые испытания своего изобретения за собственный счет. Как означенные испытания были произведены в присутствии комиссии из шести членов, из которых двое были подслеповаты и ничего не разглядели, двое глуховаты и ничего не расслышали, пятый хромал на обе ноги и не мог подойти близко, а шестой был набитый дурак и ничего не понял. Как шли годы и продолжались оскорбления, грубости и глупости. Как, наконец, высокочтимые лорды издали постановление за номером пять тысяч сто три, по которому все дело передавалось в ведение Министерства Волокиты. Как Министерство Волокиты, по истечении некоторого срока, взялось за это дело так, словно оно возникло только вчера и никому ничего о нем не известно; и как оно тут же принялось его темнить, усложнять и запутывать. Как оскорбления, грубости и глупости стали множиться по таблице умножения. Как изобретение было послано на заключение трем Полипам и одному Чваннингу, которые ровно ничего в нем не разобрали, ровно ничего не способны были в нем разобрать и, не желая обременять свои мозги размышлениями о нем, доложили по начальству, что осуществить его невозможно. Как Министерство Волокиты в постановлении за номером восемь тысяч семьсот сорок объявило, что «не видит оснований к пересмотру решения, вынесенного высокочтимыми лордами». Как потом оказалось, что высокочтимые лорды никакого решения не выносили, и тогда Министерство Волокиты положило дело под сукно. Как, наконец, сегодня утром состоялся решительный разговор с главой Министерства Волокиты и как эта Медная Башка изрекла, что, в общем и целом, принимая во внимание все обстоятельства и учитывая различные точки зрения, приходится констатировать, что тут возможны два решения – либо покончить с этим делом и никогда больше к нему не возвращаться, либо начать его вновь с самого начала.

– А тогда, – продолжал мистер Миглз, – я, как человек практический, тут же ухватил Дойса за шиворот и объявил, что таким, как он, бессовестным наглецам и нарушителям общественного спокойствия, здесь делать нечего; да так и выволок его за шиворот из Министерства; чтобы даже швейцару ясно было, что я человек практический и разделяю официальную точку зрения на подобных

³² *Ньюгетский Альманах* – многотомная хроника уголовных преступлений, издававшаяся с 1700 года.

субъектов. Вот вам и все!

Случись здесь давешний шустрый молодой Полип, он, пожалуй, откровенно объяснил бы им, что Министерство Волокиты поступило так, как ему и надлежит поступать. Дело полипов – присасываться к государственному кораблю и держаться за него как можно крепче. Чтобы навести на корабле чистоту и порядок и облегчить его ход, надо было бы прежде всего оторвать от него полипов; но оторвать их раз и навсегда не так-то легко; а если корабль, облепленный полипами, пойдет ко дну, так это уж его забота, а не их.

– Ну вот, – сказал мистер Миглз. – Теперь вам все известно о Дойсе. Могу только прибавить, как это для меня ни огорчительно, что даже сейчас вы едва ли услышите от него хоть слово жалобы.

– У вас, как видно, большой запас терпения, – заметил Кленнэм, не без любопытства глядя на Дойса. – терпения и кротости.

– Отнюдь нет, – отвечал изобретатель. – Не больше, чем у всякого другого.

– Черт возьми, во всяком случае больше, чем у меня! – вскричал мистер Миглз.

Дойс усмехнулся и сказал Кленнэму:

– Видите ли, для меня во всем этом нет ничего нового. В жизни то и дело приходится сталкиваться с подобными вещами. Моя участь – не исключение. Со мной обошлись не хуже, чем со многими другими при подобных обстоятельствах – верней сказать, не хуже, чем со всеми другими.

– Откровенно говоря, не думаю, что на вашем месте я находил бы в этом утешение; но если вы находите – рад за вас.

– Поймите меня правильно, – возразил Дойс все тем же ровным, сдержанным тоном, устремив взгляд в пространство, словно для того, чтобы измерить его глубину. – Я вовсе не хочу сказать, что таков законный итог всех человеческих трудов и надежд; но как-то легче от того, что это не явилось неожиданностью.

Он говорил вполголоса, неторопливо и обдуманно, как часто говорят люди, имеющие дело с машинами и привыкшие все точно рассчитывать и измерять. Эта манера разговора была также присуща ему, как гибкость большого пальца, или привычка то и дело сдвигать на затылок шляпу, словно рассматривая какое-то недоконченное творение своих рук и размышляя над его завершением.

– Обидно? – продолжал он, шагая по тенистой аллее между мистером Миглзом и Артуром Кленнэмом. – Да, разумеется, мне обидно. Горько? Да, разумеется, и горько тоже. Иначе и быть не могло. Но когда я говорю, что и с другими в таких случаях обходятся не лучше...

– В Англии, – вставил мистер Миглз.

– Ну, конечно же, речь идет об Англии. Когда предлагаешь свое изобретение чужой стране, все складывается совсем по-другому. Оттого-то так много изобретателей уезжает за границу.

Мистер Миглз тем временем снова раскалился.

– Я хочу сказать вот что: не знаю почему, но так уж заведено у нашего правительства. Слыхали вы, чтобы автор какого-нибудь проекта или изобретения, обратясь в правительство, не натолкнулся бы на непреступную стену, чтобы ему не чинили препятствий и затруднений?

– Пожалуй, не слыхал.

– А видели вы, чтобы правительство помогло какому-нибудь полезному делу, сделало бы почин в каком-нибудь полезном предприятии?

– На этот вопрос я отвечу, – вмешался мистер Миглз. – Я дольше прожил на свете, чем мой друг, и могу вам сказать: никогда!

– Но зато каждый из нас, – продолжал изобретатель, – не раз мог убедиться, сколь оно усердно в своих стараниях как можно дольше и как можно больше отставать от жизни, и с каким упорством защищает то, что давно уже устарело и давно уже вытеснено из обихода новым и более совершенным.

Тут все трое оказались единодушны.

– А поэтому, – со вздохом заключил Дойс, – так же, как я наперед знаю, что произойдет с таким-то металлом при такой-то температуре и с таким-то веществом при таком-то давлении, я мог бы предвидеть, как поступят все эти высокочтимые лорды и джентльмены в случае, подобном моему. Имея память и соображение, вправе ли я удивляться тому, что судьба всех моих предшественников постигла и меня? Не надо бы мне вовсе начинать это дело. Предостережений было достаточно.

Он спрягал свой футляр в карман и добавил, обращаясь к Артуру:

– Но если я не умею жаловаться, мистер Кленнэм, я зато умею быть благодарным, и поверьте, я до глубины души благодарен нашему общему другу. Сколько раз, не щадя ни времени, ни средств, он оказывал мне поддержку!

– Вздор и чепуха! – объявил мистер Миглз.

Последовала пауза, и Артур воспользовался ею, чтобы повнимательней приглядеться к Дэниелу Дойсу. Хотя этот человек слишком уважал себя и свое дело, чтобы роптать на неудачу, да и не в натуре его было плакаться по-пустому, нетрудно было заметить, что долгие годы испытаний стоили ему немало сил, здоровья и средств. Невольно Артуру пришла в голову мысль: какое счастье было бы для Дойса, если б он сумел взять за образец тех господ, которые милостиво приняли на себя труд управления страной, и перенял бы у них искусство не делать того, что нужно.

Минут пять мистер Миглз обливался потом и пребывал в унынии, затем понемногу остыл и воспрянул духом.

– Ладно, чего там! – сказал он. – Не будем вешать нос, этим делу не поможешь. Вы сейчас куда, Дэн?

– К себе на завод.

– Ну и мы с вами, – во всяком случае, мы вас проводим, – весело отозвался мистер Миглз. – Мистера Кленнэма не смутит, что это – в Подворье Кровоточащего Сердца.

– В Подворье Кровоточащего Сердца? – повторил Кленнэм. – А мне как раз туда нужно.

– Тем лучше! – воскликнул мистер Миглз. – В путь!

Когда они выходили из парка, то один из троих (а быть может, не только один) подумал о том, что Подворье Кровоточащего Сердца – самое подходящее место для человека, испытавшего на себе прелести официального общения с лордами и с Полипами; и, быть может, и душе у него шевельнулось опасение: не пришлось бы в один злосчастный день самой Англии искать приюта в Подворье Кровоточащего Сердца, если она даст слишком много воли Министерству Волокиты.

Глава XI

Выпустили на волю!

Ненастная, хмурая осенняя ночь спускалась над рекой Соной. Как в тусклом зеркале отражались в реке клубящиеся облака, и невысокий берег кое-где нависал над водой, будто с опаской и с любопытством вглядывался и свое смутное изображение. Шалонская равнина протянулась длинной прямой полосой, лишь сленга зазубренной с краю там, где на грозном пурпуре заката чернела силуэты тополей. Сыро, тоскливо, мрачно было на берегах реки Соны; а ночь надвигалась быстро.

Единственной человеческой фигурой среди этого пустынного ландшафта был путник, медленно бредущий к Шалону. Каин, одинокий и отверженный людьми, походил, должно быть, на этого человека. Лохматый, обросший, с ветхой котомкой за плечами, с узловатым посохом, вырезанным где-нибудь по дороге, в намокшей одежде, в жалких опорках, едва державшихся на грязных, до крови сбитых ногах, тащился он, прихрамывая от боли и усталости, и казалось, это от него убегают облака в небе, о нем гневно воеет ветер и шепчется потревоженная трава, на него жалуются речные волны, с тихим плеском омывая берег, он – причина зловещего непокоя этой осенней ночи.

Угрюмо, исподлобья поглядывал он то в одну сторону, то в другую; порой останавливался и озирался кругом; потом плелся дальше, морщась от боли и приговаривая:

– Черт бы взял эту равнину, которой нет конца! Черт бы взял эти камни, острые, как ножи! Черт бы взял этот мрак и холод, пробирающий человека до костей! Ненавижу вас!

И если бы ненависть могла жечь, его злобный взгляд испепелил бы все вокруг. Он проковылял еще несколько шагов и снова остановился, всматриваясь вдаль.

– Я измучен, я голоден, я умираю от жажды! А вы, олухи, сидите в теплых, светлых домах, едите, пьете, греетесь у огня! Эх, привелось бы мне повластвовать в вашем городе! Уж мы бы у меня поплясали, голубчики!

Но сколько ни грозил он кулаком, сколько ни скрежетал зубами со злости, расстояние до города этим не уменьшалось, и когда он ступил, наконец, на булыжник шадонской мостовой, он совсем изнемогал от голода, жажды и усталости.

Из распахнутой двери гостиницы вкусно пахло стряпней; в кофейне с ярко освещенными окнами слышался стук домино; на крыльце у красильщика висели полосы красного сукна, служившие вывеской; в окне золотых дел мастера красовались кольца, серьги и украшения для алтаря; у табачной лавки веселой гурьбой толпились солдаты с трубками в зубах; в воздухе тянуло зловонием города, шел дождь, и по сточным канавам плыли отбросы; тускло светили фонари, подвешенные над мостовой, готовился к отправлению дилижанс с горой клади на крыше, запряженный шестеркой буланых с подвязанными хвостами. Но нигде не было видно кабачка, в котором мог бы отдохнуть небогатый путник; и в поисках такого пристанища ему пришлось свернуть в темный переулок, где грудами валялся капустный лист, истоптанный ногами женщин, приходивших брать воду из колодца. Здесь, в глубине переулочка, виднелась вывеска: «Утренняя Заря». Плотные занавеси на окнах скрывали свет этой утренней зари, но от нее веяло теплом и уютом, а на вывеске, украшенной для наглядности изображением кия и бильярдного шара, было четко обозначено, что в «Утренней Заре» можно сыграть партию на бильярде, что любой путешественник, конный или пеший, найдет там ужин и ночлег; а также, что имеется отличный выбор вин, коньяков и прочих напитков. Прочтя это, наш путник повернул ручку двери и вошел.

Приподняв свою выцветшую, с обвисшими полями шляпу, он приветствовал посетителей, находившихся в комнате. Их было немного: двое играли за маленьким столиком в домино; еще трое или четверо расположились у огня и мирно беседовали, попыхивая трубками. Бильярд занимал середину комнаты, но желающих играть сейчас, как видно, не нашлось. За невысокой стойкой, уставленной бутылками с различными сиропами и корзиночками с печеньем, у оловянной мойки для стаканов сидела с шитьем в руках хозяйка «Утренней Зари».

Вновь пришедший направился к свободному столику в углу за печкой, скинул котомку с плеч и положил ее на пол вместе с плащом. Выпрямившись, он поднял голову и увидел перед собой хозяйку.

– Я хотел бы заночевать у вас, сударыня.

– Милости просим! – приветливо сказала хозяйка высоким, певучим голосом.

– Отлично. А прежде всего я хотел бы пообедать – или поужинать, называйте как хотите.

– Милости просим! – повторила хозяйка.

– Так распорядитесь насчет ужина, сударыня. Что-нибудь поесть и вина, только как можно скорее. Я падаю от усталости.

– Погода очень скверная, сударь, – заметила хозяйка.

– Будь проклята эта погода!

– И дорога, видно, была у вас нелегкая.

– Будь проклята эта дорога.

Его хриплый голос сорвался, он опустил голову на руки и сидел так, пока ему не принесли вина. Он сразу выпил подряд два стаканчика, потом отломил горбушку от караваея, который поставили перед ним на покрытый скатертью стол вместе с тарелкой, солонкой, перечницей и бутылочкой масла, прислонился головой к стене, вытянул ноги и стал жевать хлеб в ожидании ужина.

С приходом нового гостя разговор у печки оборвался, и внимание собеседников отвлеклось в сторону, как бывает всегда, когда в дружной компании вдруг появится чужой. Но замешательство скоро прошло, на незнакомца перестали оглядываться, и беседа возобновилась.

– Вот потому и говорят, – сказал один из собеседников, доканчивая прерванный рассказ, – потому и говорят, что там выпустили на волю дьявола.

Рассказчик, рослый швейцарец, был членом церковного совета и высказывал свои суждения с авторитетностью духовной особы – тем более, что речь шла о дьяволе.

Хозяйка отдала необходимые распоряжения своему мужу, исправлявшему в «Утренней Заре» обязанности повара, и, вернувшись на место, снова принялась за шитье. Это была бойкая, смышленная маленькая толстушка в чепце необыкновенной величины и в чулках необыкновенной расцветки; она то и дело вступала в разговор, оживленно кивая головой, но не поднимая глаз от работы.

– Ах ты боже мой! – сказала она. – Когда с лионским пароходом пришло известие, что в Марселе выпустили на волю дьявола, нашлись простофили, которые только ушами хлопали. Но я не из таких! Нет, нет!

– Сударыня, вы всегда правы, – подхватил высокий швейцарец. – Видно, этот человек вас силь-

но прогневал, сударыня?

– Еще бы! – вскричала хозяйка; на этот раз она оторвалась от своего шитья и откинув голову набок, широко раскрытыми глазами уставилась на говорившего. – Ничего нет удивительного.

– Это дурной человек.

– Это гнусный негодяй, – сказала хозяйка, – и очень жаль, что ему посчастливилось избежать участи, которая его ожидала. Он ее вполне заслуживал.

– Пойдите, сударыня! Давайте разберемся, – возразил швейцарец, глубокомысленно жуя кончик сигары. – Может быть, во всем виновата злая судьба этого человека. Может быть, он сделался жертвой обстоятельств. Весьма вероятно, что в нем заложены добрые основы, и мы просто не умеем их обнаружить. Философическая филантропия учит...

Это устрашающее выражение было встречено в кружке у печки ропотом недовольства. Даже игроки в домино подняли головы, словно протестуя против того, чтобы философическая филантропия хотя бы на словах внедрялась в «Утреннюю Зарю».

– А да ну вас с вашей филантропией, – вскричала бойкая хозяйка и с удвоенной энергией закивала головой. – Лучше послушайте меня. Я всего только женщина. И ничего я знать не знаю о вашей философической филантропии. Но я кой-чего повидала на своем веку, и то, что мне пришлось видеть собственными глазами, я знаю хорошо. И позвольте сказать вам, друг мой, есть на свете люди (не только мужчины, но и женщины, к сожалению), в которых никаких добрых основ нет. Есть люди, которые ничего, кроме гнева и ненависти, не заслуживают.

Есть люди, с которыми нужно поступать как с врагами рода человеческого. Есть люди, у которых нет сердца, и потому их нужно истреблять, как диких зверей, чтобы не мешали жить другим. Таких людей, я надеюсь, не много, но они есть, и я сама на своем веку встречала их, даже здесь, в нашей маленькой «Утренней Заре». И я твердо знаю: этот человек – как бишь его, я забыла имя, – он тоже из их числа.

Горячая речь хозяйки была принята в «Утренней Заре» с полным сочувствием; а между тем где-нибудь поближе к Англии у людей, вызвавших ее неразумный гнев, нашлось бы немало сердобольных защитников, которым эта речь понравилась бы несравненно меньше.

– И знаете что? – продолжала хозяйка, отложив работу и встав, чтобы взять тарелку с супом из рук мужа, показавшегося на пороге кухни, – если ваша философическая филантропия готова отдать нас на милость подобных людей, потворствуя им на словах или на деле, не нужна она нам тут, потому что грош ей цена.

В то время как она ставила тарелку перед успевшим уже переменить позу гостем, он пристально взглянул ей в лицо, и усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу.

– Ну, хорошо, – сказал швейцарец, – оставим это и вернемся к нашему разговору. Так вот, господа, когда этому человеку был вынесен оправдательный приговор, в Марселе и стали говорить, что дьявола выпустили на волю. Вот откуда пошло это выражение, и ничего другого оно не означает.

– Как же его фамилия? – спросила хозяйка. – Биро, что ли?

– Риго, сударыня, – поправил ее высокий швейцарец.

– Вот, вот! Риго.

За супом последовало мясное блюдо, а потом овощи. Путник съел все, что было подано на стол, допил вино из бутылки и спросил еще стакан рому; а когда принесли кофе, закурил папиросу. Подкрепив свои силы, он приосанился и начал вставлять замечания в общую беседу, причем делал это с покровительственным видом, словно был куда более важной особой, чем казался.

То ли посетители кабачка вспомнили, что их ждут другие дела, то ли почувствовали себя недостойными столь высокого общества – но в короткое время все они разошлись, и так как никто не явился на смену, «Утренняя Заря» осталась в полном распоряжении своего новоявленного покровителя. Хозяин гремел посудой на кухне, хозяйка мирно занималась шитьем, а путник курил в одиночестве, протянув к огню израненные ноги.

– Скажите, пожалуйста, сударыня, этот Биро...

– Риго, сударь.

– Да, простите, Риго. Любопытно узнать, чем он навлек на себя ваше недовольство?

Тут опять его усы вздернулись кверху, а нос загнулся книзу, и хозяйка, которая все никак не могла решить, красавец он или урод, сразу склонилась к последнему мнению. Этот Злодей, Риго,

убил свою жену, пояснила она.

– Неужели? Громы и молнии, вот уж истинно злодей! Но откуда вам это известно?

– Это всем известно, сударь.

– О! И тем не менее он избежал законной кары?

– Суд не нашел достаточно улик, чтобы доказать его преступление. Так было сказано на суде. Но все равно, люди знают, что он убийца. Люди настолько уверены в этом, что едва не растерзали его на части.

– Ну еще бы, ведь все эти люди так дружно живут со своими женами! – сказал посетитель. – Ха-ха!

Хозяйка «Утренней Зари» взглянула на него и почти утвердилась в своем мнении. Однако руки у него были красивы, и он умел сделать так, чтобы это бросалось в глаза. Все-таки уродливым его, пожалуй, не назовешь, подумала она.

– И что же случилось с этим Риго потом, сударыня? Кажется, вы или кто-то из ваших собеседников упоминали о его судьбе?

Хозяйка покачала головой – впервые за все это время; до сих пор она только выразительно кивала ей в такт своим словам. В газетах, говорят, писали, будто его пришлось снова запереть в тюрьму, ради его собственной безопасности, сказала она. Но как бы там ни было, он не получил по заслугам, и это очень жаль.

Гость пристально смотрел на нее, докуривая свою последнюю папиросу, и если бы она видела его лицо в эту минуту, все ее сомнения относительно его внешности были бы разрешены. Но она сидела, склонившись над работой, а когда, наконец, подняла голову, лицо это было уже совсем другим. Белая рука приглаживала топорщившиеся усы.

– Соблаговолите указать мне мою комнату, сударыня.

– Сию минуту, сударь. Эй, муженек!

Сейчас муженек проводит его наверх. Там уже спит один путешественник, он очень устал и залег спозаранку; но комната большая, в ней две кровати, а места хватило бы и для двадцати. Все это хозяйка «Утренней Зари» прошептала вперемежку с возгласами «Эй, муженек!», обращенными к кухонной двери.

Наконец в ответ послышалось: «Иду, женушка!»; путник захватил свой плащ и котомку, пожелал хозяйке покойной ночи, изъявив удовольствие по поводу того, что завтра снова увидится с нею, и муженек, вынырнувший из кухни в поварском колпаке и со свечой в руках, повел его по крутой и узкой лестнице наверх. Комната, предназначенная для ночлега гостей, и в самом деле была велика, с неструганым дощатым полом и неоштукатуренным потолком. По сторонам стояли две кровати. Муженек поставил свечу на стол, искоса оглядел гостя, наклонившегося над своей котомкой, и, буркнув: «Ваша – направо!» – удалился. Хорошим ли, плохим ли физиономистом был хозяин, но только физиономия гостя ему явно не понравилась.

Гость презрительно поморщился при виде чистых, но грубого холста простынь на постели, сел на плетеный стул рядом и, вытащив из кармана все свои деньги, принялся пересчитывать их на ладони.

– Без еды обойтись нельзя, – пробормотал он, кончив это занятие, – но, черт побери, нужно, чтобы с завтрашнего дня за мою еду платили другие!

Так он сидел в раздумье, машинально взвешивая деньги на ладони, но вот, наконец, мерное всхрапывание соседа, занимавшего вторую кровать, привлекло его внимание и заставило его оглянуться. Спящий завернулся в одеяло и опустил полог у изголовья, так что его можно было только слышать, но не видеть. Но это мерное глубокое всхрапывание все время напоминало о нем новому гостю, покуда тот сбрасывал свои стоптанные башмаки, снимал сюртук и развязывал галстук, и в конце концов любопытство его было настолько возбуждено, что ему захотелось взглянуть на соседа.

Он подкрался поближе, потом еще поближе и еще поближе и, наконец, очутился у самой кровати. Но лица спящего он все же не мог разглядеть, мешало одеяло, натянутое на голову. Спящий храпел, все так же мерно; тогда бодрствующий протянул руку (эта гладкая, белая рука! каким предательским движением скользнула она к изголовью) и тихонько приподнял одеяло.

– Громы и молнии! – прошептал он, попятившись. – Кавалетто!

Должно быть, маленький итальянец смутно почувствовал сквозь сон, что кто-то стоит у кроватки.

ти; он перестал храпеть, шумно перевел дыхание и открыл глаза. Но он еще спал, хоть и с открытыми глазами. Несколько секунд он бессмысленно смотрел на своего бывшего товарища по заключению, потом вдруг с криком испуга и удивления вскочил с кровати.

– Тсс! Тише! Это я! Ты что, не узнал меня? – зашипел на него ночной гость.

Но Жан-Батист, испуганно тараща глаза и бормоча какие-то заклинания и восклицания, забился в угол за кроватью, дрожащими руками натянул панталоны, накинул куртку и завязал рукава под подбородком, а затем попытался шмыгнуть в дверь, не обнаруживая ни малейшего желания возобновлять знакомство. Однако бывший товарищ по заключению предупредил его, загородив собою дверь.

– Кавалетто! Проснись, друг! Протри глаза и посмотри хорошенько! Ведь это же я – только не зови меня так, как раньше звал, – мое имя теперь Ланье, слышишь, Ланье!

Жан-Батист, у которого глаза уже выкатились чуть не на лоб, судорожно мотал в воздухе указательным пальцем правой руки, точно наперед отрицая все, что этот старый знакомец еще когда-нибудь мог сказать ему в своей жизни.

– Давай руку, Кавалетто. Ведь ты же знаешь джентльмена Ланье? Вот рука джентльмена, пожми ее.

Ноги у Жан-Батиста все еще подгибались от страха, но, услышав знакомый снисходительно-властный голос, он покорно шагнул вперед и протянул руку. Господин Ланье захохотал, сжал его руку, сильно тряхнул и отпустил.

– Так, значит, вас не... – пролепетал Жан-Батист.

– Не обрили? Нет. Вот, посмотри! – воскликнул Ланье и сильно дернул головой. – Сидит так же крепко, как твоя.

Жан-Батист слегка задрожал и стал озираясь по сторонам, словно стараясь вспомнить, где он находится. Его покровитель воспользовался этим, чтобы запереть дверь на ключ, после чего вернулся к своей кровати и сел на нее.

– Взгляни! – сказал он, показывая на свои рваные башмаки. – Пожалуй, не слишком подходящий наряд для джентльмена. Но нужды нет; увидишь, как скоро я нее это заменю новым. Садись, что стоишь? Займи свое место!

Жан-Батист все с тем же испуганным видом уселся на пол, подле кровати, не сводя глаз со своего покровителя.

– Вот и чудесно! – вскричал Ланье. – Как будто мы в своем распроклятом старом логове. Давно тебя выпустили оттуда?

– Через два дня после вас, патрон.

– А как ты попал сюда?

– Мне было сказано, чтобы я не оставался в Марселе, вот я и пустился куда глаза глядят. Перебивался как придется; побывал в Авиньоне, в Пон-Эспри, в Лионе, на Роне, на Соне. – Его загорелая рука быстро чертила весь этот путь на досках пола.

– А теперь куда направляешься?

– Куда я направляюсь, патрон?

– Да.

Жан-Батисту явно хотелось уклониться от ответа, но он не знал, как это сделать.

– Клянусь Бахусом! – вымолвил он, наконец, словно через силу. – Я думал податься в Париж или, может быть, в Англию.

– Кавалетто! Я тоже – между нами говоря – направляюсь в Париж, может быть в Англию. Будем путешествовать вместе.

Маленький итальянец кивнул головой и изобразил на лице улыбку, однако видно было, что его не столь уж обрадовала эта перспектива.

– Будем путешествовать вместе, – повторил Ланье. – Увидишь, я скоро заставлю всех кругом признавать во мне джентльмена, и тебе тоже будет от этого польза. Значит, уговорились? Отныне действуем заодно?

– Да, да, конечно, – отозвался маленький итальянец.

– В таком случае, прежде чем улечься спать, я расскажу тебе – в двух словах, потому что мне очень хочется спать, – как я очутился здесь – я, Ланье. Запомни – Ланье.

– Altro, Altro! Не Ри... – докончить слова Жан-Батист не успел: собеседник схватил его за подбородок и свирепо сомкнул ему челюсти.

– Проклятье! Что ты делаешь? Хочешь, чтобы меня избили и забросали камнями? Хочешь, чтобы тебя самого избили и забросали камнями? Тебе этого не миновать. Или ты воображаешь, что они набросятся на меня, а моего тюремного дружка и не тронут? Как бы не так!

Сказав это, он отпустил подбородок дружка, но по выражению его лица тот понял, что уж если дойдет до камней и побоев, то господин Ланье позаботится, чтобы дружок получил свою долю сполна. Ведь господин Ланье – джентльмен-космополит и особой щепетильностью не отличается.

– Я – человек, которому общество нанесло незаслуженную обиду, – сказал господин Ланье. – Тебе известно, что я самолюбив и отважен, и, кроме того, у меня природная потребность властвовать. А как отнеслось общество к этим моим свойствам? Меня с улюлюканьем гнали по улицам. Пришлось приставить ко мне стражу для защиты от разъяренной толпы, в особенности от женщин, которые нападали на меня, вооружившись чем попало. Безнаказанности ради я должен был прятаться в тюрьме, причем так, чтобы об этом никто не знал, иначе меня вытащили бы оттуда и растерзали на части. Меня вывезли из Марселя глубокой ночью, на дне воза с соломой, и посадили только когда мы отъехали от города на много лье. Карман мой был почти пуст, но заходить домой было слишком опасно и пришлось мне брести пешком, в грязь и непогоду – посмотри, что случилось с моими ногами! Вот на какие унижения обрекло меня общество – меня, человека, наделенного уже известными тебе качествами. Но общество мне за это заплатит.

Всю эту тираду он произнес своему слушателю на ухо, прикрыв рот рукой.

– И даже здесь, – продолжал он так же, – даже в этом жалком кабаке общество меня преследует. Хозяйка говорит обо мне всякие гадости, посетители на меня клеветают, а я все это слушаю. Я, джентльмен, перед талантами и совершенствами которого они должны были бы преклоняться! Но все обиды, нанесенные мне обществом, хранятся в этой груди!

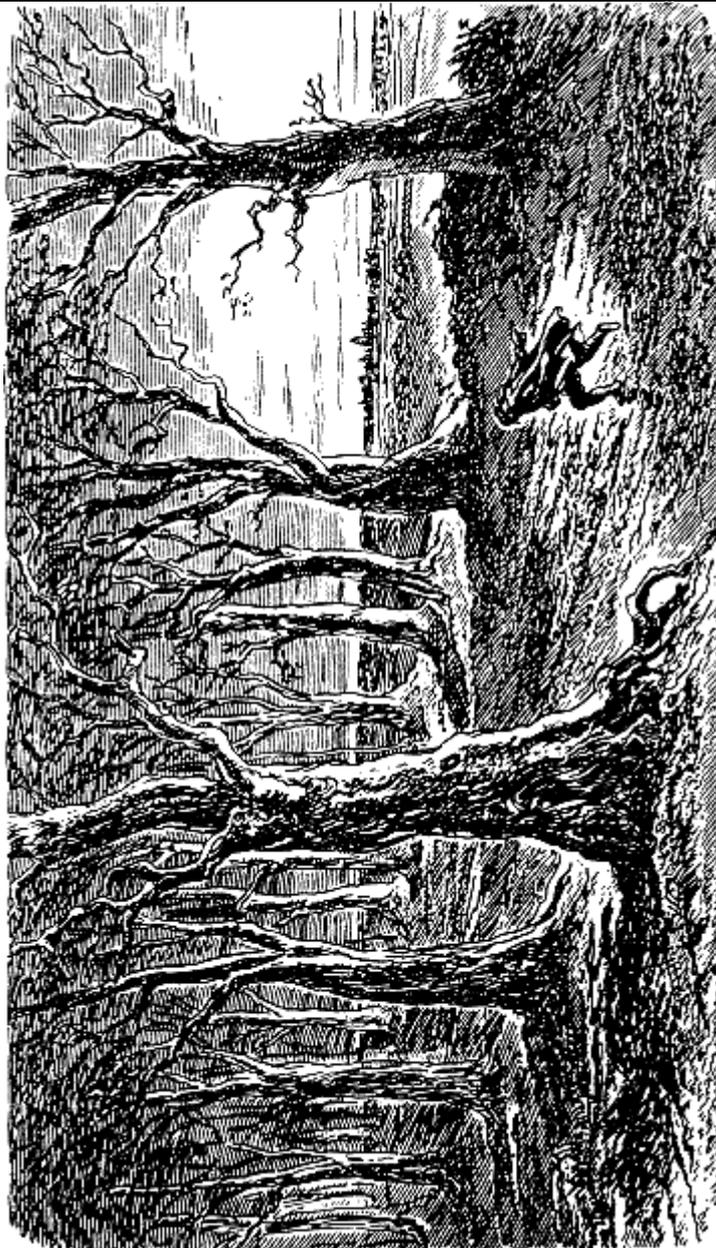
Жан-Батист со вниманием слушал хриплый, сдавленный голос, лившийся ему в ухо, и время от времени поддакивал, кивая головой и закрывая глаза, словно потрясенный столь ярким примером несправедливости общества.

– Поставь мои башмаки под кровать, – сказал Ланье. – Повесь мой плащ у двери, чтобы он просох к утру. Убери мою шляпу. – Все его приказания исполнялись беспрекословно. – И такой постелью я должен удовлетворяться по милости общества! Ха! Ну, хорошо же!

Господин Ланье вытянулся на кровати и завернулся в одеяло по самые плечи, так что лишь голова, повязанная рваным платком, зловеще торчала наружу; и Жан-Батист вдруг очень ясно представил себе то едва не случившееся событие, после которого ему, Жан-Батисту, уже не пришлось бы смотреть, как вздергиваются кверху эти усы и загибается книзу этот нос.

– Итак, слепая прихоть судьбы опять свела нас вместе. Что ж, черт возьми, тем лучше для тебя. Ты от этого только выиграешь. А теперь мне нужно хорошенько выспаться. Не вздумай будить меня утром.

Жан-Батист пообещал, что не станет его беспокоить, и, пожелав ему доброй ночи, задул свечу. Следовало бы ожидать, что после этого он станет раздеваться; однако он сделал как раз обратное: оделся с ног до головы, не надев только башмаков. Затем он лег на свою кровать, натянул одеяло – не развязав даже рукавов куртки, по-прежнему завязанных у подбородка, – и закрыл глаза.



Когда он открыл их снова, утренняя заря уже алела в небе, озаряя свою крестницу и тезку. Маленький итальянец встал, подошел к двери, с величайшей осторожностью повернул ключ в замке и, держа башмаки в руках, тихонько спустился с лестницы. Внизу еще незаметно было никаких признаков жизни; только смешанный запах кофе, вина, табака и сиропов носился в воздухе, и в полутьме причудливо маячила пустынная буфетная стойка. Но Жан-Батисту никто не был нужен; он еще вчера уплатил по своему скромному счету и сейчас хотел только одного: надеть башмаки, вскинуть на спину свою котомку, отворить дверь и бежать без оглядки.

Его желание исполнилось. Ничто не нарушило тишины, когда он отворял дверь; никакой голос его не окликнул: никакая голова, повязанная рваным платком, не высунулась зловеще в окошко мансарды. Когда солнце взошло, наконец, над прямой линией горизонта и даль мощеной дороги, обсаженной чахлыми деревьями, загорелась в его лучах, на этой дороге можно было увидеть черное пятнышко, двигавшееся между полыхающих пламенем дождевых луж, — то Жан-Батист Кавалетто спасался бегством от своего покровителя и друга.

Глава XII *Подворье Кровоточащего Сердца*

Та часть Лондона, где расположено было Подворье Кровоточащего Сердца, находилась в черте города, хотя во времена Вильяма Шекспира, сочинителя пьес и актера, это было предместье, через которое вела дорога к знаменитым королевским охотничьим угодьям; сейчас, правда, дичи тут не осталось, разве что для любителей охоты на людей. И вид и судьба этих мест с той поры изменились, но какой-то слабый отблеск былого величия не исчез и поныне. Над крышами высились два или три ряда мощных дымовых труб, в домах еще уцелели кой-где просторные темные залы, которые каким-то чудом не разгородили и не перестроили до неузнаваемости, и все это придавало Подворью свое особое лицо. Жил здесь бедный люд, приютившийся под сенью обветшалой славы, подобно тому как арабы пустыни разбивают свои шатры среди разрушающихся пирамид; но все обитатели Подворья убеждены были в том, что у него есть свое лицо, и по этому поводу испытывали трогательное чувство семейной гордости.

С течением времени местность вокруг Подворья Кровоточащего Сердца становилась все выше и выше, как будто нетерпение разрастающегося города распирало землю, на которой он стоял; и теперь, чтобы попасть туда, приходилось спускаться на несколько ступенек, в которых прежде никакой надобности не было; чтоб выйти оттуда, нужно было нырнуть в ворота, выходившие в лабиринт кривых и грязных переулков, которые, кружа и петляя, постепенно поднимались на уровень окружающих улиц. Завод Дэниела Дойса помещался в глубине Подворья, над самыми воротами, и оттуда шел порой сотрясавший весь дом металлический перестук, точно билось железное кровоточащее сердце.

По вопросу о том, откуда пошло название Подворья, мнения обитателей разделялись. Люди практического склада склонялись к предположению, что здесь когда-то было совершено убийство. Более чувствительные и наделенные более пылким воображением (в том числе все представительницы прекрасного пола) предпочитали верить легенде о юной деве, которую жестокий отец подверг заточению за то, что она, храня верность своему возлюбленному, противилась браку с избранником отца. По словам легенды, эта юная дева до самой смерти имела обыкновение сидеть у своего забранного решеткой окна и тихонько петь грустную любовную песню с таким припевом: «Раненое сердце, раненое сердце, раненое сердце кровью истечет». Сторонники убийства возражали, что упомянутый припев, как известно всем, сочинен одной вышивальщицей, романтически настроенной старой девицей, и поныне проживающей в Подворье. Тем не менее, поскольку легенда без любви не легенда и поскольку люди значительно чаще влюбляются, нежели совершают убийства – каковой порядок, при всей испорченности человеческой природы, сохранится, будем надеяться, до конца наших дней, – версия о раненом сердце, которое истечет кровью, была принята подавляющим большинством голосов. Ни та, ни другая партия не желала слушать знатоков старины, доказывавших в своих ученых лекциях, что Кровоточащее Сердце можно видеть в гербе древнего рода, чьи владения здесь некогда находились. И если вспомнить, какой грубый, серый песок пересыпался туда и обратно в песочных часах, день за днем и год за годом измерявших существование обитателей Подворья, то вполне понятно, почему так упорно защищали они ту единственную золотую песчинку поэзии, что в нем блестела.

Дэниел Дойс, мистер Миглз и Кленнэм сошли по ступенькам вниз и очутились в Подворье Кровоточащего Сердца. Пройдя между двумя рядами отворенных дверей, у которых толпились тщедушные ребятишки, нянчившие ребятишек отнюдь не тщедушных, они дошли до ворот в дальнем конце. Здесь Артур Кленнэм остановился, чтобы отыскать жилище штукатура Плорниша – о котором Дойс, как истый лондонец, живя рядом, и слыхом не слыхал до этого дня.

А между тем достаточно было повернуть голову, чтобы прочесть его фамилию. Она, как и говорила Крошка Доррит, была написана над входом в крайний флигель, у забрызганного известью закоулка, где стояла принадлежавшая штукатуру лестница-стремянка и две или три бочки. Дом был большой, населенный многими жильцами, но хитроумный Плорниш, в интересах возможных посетителей, поместил под своей фамилией изображение руки, указательный палец которой (по воле живописца украшенный перстнем и наделенный ногтем изящнейшей формы) был обращен в сторону передней квартиры первого этажа.

Уговорившись с мистером Миглзом о встрече, Кленнэм распрощался со своими спутниками, последовал указанию вышеописанной руки и постучал в дверь. Ему отворила женщина с ребенком на руках, торопливо застегивавшая платье на груди. Это была миссис Плорниш, и этот материнский жест говорил о том, чему было посвящено почти все свободное от сна существование миссис Плорниш. Дома ли мистер Плорниш?

– Извините, сэр, – ответила миссис Плорниш, женщина учтивая. – Скажу без обмана, он ушел искать работы.

«Скажу без обмана» было излюбленной поговоркой миссис Плорниш. Не то, чтобы она когда-нибудь кого-нибудь собиралась обманывать, но ее речь неизменно начиналась с этого заверения.

– А он не скоро вернется? Я бы подождал.

– Вот уже полчаса как я сама жду его с минуты на минуту, – сказала миссис Плорниш. – Войдите, сэр.

Артур вошел в довольно темную и душную, несмотря на высокий потолок, комнату и уселся на предложенный ему стул.

– Скажу без обмана, сэр, я все вижу, – заметила миссис Плорниш. – Все вижу и все чувствую.

Не понимая, о чем она, Артур посмотрел на нее с недоумением, которое заставило ее объяснить свои слова.

– Не всякий, войдя к бедным людям, считает нужным снять шляпу, – сказала она. – Но некоторых это трогает больше, чем думают некоторые.

Кленнэм, смущенный тем, что такая пустяковая вежливость принимается как нечто из ряда вон выходящее, пробормотал что-то вроде «Не стоит и говорить» и, нагнувшись, потрепал по щеке ребенка постарше, который сидел на полу и во все глаза смотрел на незнакомца.

– Вон какой крепыш, – сказал он. – Сколько же ему лет?

– Четыре годка, сэр, только что исполнилось, – отвечала миссис Плорниш. – Он и правда крепыш. А вот этот у меня слабенький. – Она с нежностью взглянула на младенца, которого укачивала на руках. – С вашего позволения, сэр, вы не насчет работы ли пришли? – спросила она, после некоторого молчания.

Такая тревога слышалась в голосе, которым был задан этот вопрос, что, будь Артур владельцем хоть какой-нибудь конуры, он бы с радостью заказал покрыть ее слоем штукатурки в фут толщиной, только бы не говорить «Нет». Но пришлось сказать «Нет», и миссис Плорниш, подавив вздох, печально уставилась на догоравший огонь. Лишь теперь Артур разглядел, что миссис Плорниш совсем еще молодая женщина, но несколько опустившаяся из-за бедности, в которой она жила; бедность и дети дружными усилиями состарили ее раньше времени, и на лицо легла сеть мелких морщин.

– И куда только девалась вся работа на свете, – сказала миссис Плорниш. – Как будто сквозь землю провалилась, честное слово. (Замечание миссис Плорниш касалось только штукатурного ремесла и не имело отношения к Полипам и к Министерству Волокиты.)

– Неужели так трудно получить работу? – спросил Артур Кленнэм.

– Плорнишу трудно. Очень уж ему не везет. Правда, не везет.

Да, ему не везло. Попадают такие путники на дорогах жизни, у которых словно от рождения чудовищные мозоли на ногах, мешающие им угнаться даже за хромыми соперниками. Плорниш был одним из таких. Честный мальш, работяга, добряк, хотя немного тугодум, он кротко сносил превратности судьбы, но судьба обходилась с ним сурово. Лишь редко-редко случалось, что кому-нибудь требовались его услуги, лишь в исключительных случаях его знания и опыт находили себе применение, и он никак не мог взять в толк, отчего это происходит. А потому он жил, как жилось, не успев опомниться от одной передрыги, попадал в другую, и из всех этих передрыг выходил с помятыми боками.

– А уж он ли не хлопочет насчет работы, – продолжала миссис Плорниш, округлив брови и пристально вглядываясь в каминную решетку, словно в надежде отыскать там разгадку своих недоумений, – он ли не трудится не за страх, а за совесть, когда работа есть. Что-что, а ленивым моего мужа никто не назовет.

В той или иной мере беда Плорниша была общей бедой всех обитателей Подворья Кровоточащего Сердца. Время от времени в стране начинали звучать голоса, с большим пафосом жаловавшиеся на недостаток рабочих рук – видимо, это обстоятельство крайне раздражало некоторых людей, полагавших, что по их природному, неотъемлемому праву рабочие руки всегда должны быть к их услугам, в любом количестве и на любых, им угодных условиях, – но почему-то этот усиленный спрос на рабочие руки не облегчал положения обитателей Подворья Кровоточащего Сердца, хоть трудно было бы найти в Англии другое подворье, населенное такими трудолюбивыми людьми. Старинной аристократической фамилии Полипов, озабоченной тем, как не делать того, что нужно, недо-

суг было заняться этим вопросом; тем более что этот вопрос никакого касательства не имел к ее неусыпным стараниям оказаться впереди всех других аристократических фамилий, за исключением Чваннингов.

Покуда миссис Плорниш рассуждала так о своем супруге и повелителе, явился он сам. Человек лет тридцати, долговязый, мешковатый, простодушного вида. Круглое лицо, румяные щеки, русые бакенбарды, фланелевая блуза, перепачканная известью.

– Вот и Плорниш, сэр.

– Мне бы хотелось, – сказал Кленнэм, вставая ему навстречу, – побеседовать с вами по одному делу, касающемуся семейства Доррит, если не возражаете.

Плорниш насторожился. Как будто почуял кредитора.

– Вот оно что, – сказал он. Но чем же он-то может быть полезен джентльмену, интересующемуся этим семейством? И о чем, собственно, идет речь?

– Я ведь вас знаю, – с улыбкой сказал Кленнэм, – во всяком случае лучше, чем вы думаете.

Плорниш оставил улыбку без ответа, только заметил, что, кажется, не имел удовольствия встречаться с джентльменом раньше.

– Верно, – сказал Артур. – О ваших добрых поступках мне известно со стороны – но со стороны весьма надежной. От Крошки Доррит – то есть, простите, – поспешил он поправиться, – от мисс Доррит.

– Так вы – мистер Кленнэм? Ну, о вас-то я наслышан, сэр.

– Как и я о вас, – сказал Артур.

– Пожалуйста, садитесь, сэр, мы вам очень рады. Как же, как же, – сказал Плорниш, взяв и себе стул и сажая на колени старшего сынишку, чтобы чувствовать моральную поддержку при разговоре с гостем. – Мне ведь самому пришлось побывать за решеткой Маршалси, там я и познакомился с мисс Доррит. Мы с женой хорошо знаем мисс Доррит.

– Мы ее близкие друзья, – вскричала миссис Плорниш. Надо сказать, она так гордилась этим знакомством, что на зависть всему Подворью преувеличивала до астрономической цифры долг, за который сидел в тюрьме отец мисс Доррит. Кровоточащие сердца не могли простить миссис Плорниш ее близости со столь высокими особами.

– Сперва я познакомился с ее отцом. А познакомившись с ее отцом, я – ну, да – тут уж я познакомился с нею, – тавтологически заметил Плорниш.

– Понимаю.

– Эх, что за манеры! Что за тонкое воспитание! И такой джентльмен должен прозябать в долговой тюрьме! Вы, может, не знаете, сэр, – сказал Плорниш, понизив голос от благоговейного восторга перед тем, что по-настоящему должно было бы вызвать у него жалость или презрение, – вы, может, не знаете, но ведь мисс Доррит и ее сестра не смеют признаться ему, что зарабатывают себе на жизнь. Да, не смеют! – повторил Плорниш, с нелепым торжеством взглянув на жену, а затем по сторонам, – не смеют ему признаться!

– Во мне это не вызывает уважения, – сдержанно заметил Кленнэм, – но я искренне жалею мистера Доррита.

Слова Кленнэма, видно, впервые внушили Плорнишу смутное подозрение, что черта, которой он восторгался, быть может, не столь уж благородна. Он было задумался над этим, но так ни к чему и не пришел.

– А уж со мной-то мистер Доррит так любезен, что большего и желать нельзя, – добавил он все же, – особенно, если принять во внимание, что такое я и что такое он. Впрочем, ведь не о нем сейчас речь, а о мисс Доррит.

– Да, вы правы. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомили ее с моей матерью.

Мистер Плорниш извлек из левой бакенбарды комочек извести, положил его в рот, пососал, словно это был леденен, прикинул в уме, удастся ли ему вразумительно изложить все обстоятельства, и решив, что нет, обратился за помощью к жене.

– Расскажи лучше ты, Салли, как было дело.

– А вот как, – сказала Салли, продолжая укачивать младенца, и подбородком прихватив его ручку, пытавшуюся снова раскрыть ей платье на груди. – Приходит однажды мисс Доррит к нам с бумажкой, на которой написано, что она желала бы получить работу по швейной части, и спрашива-

ет, не будет ли нам неудобства, если она укажет наш адрес. (Плорниш повторил вполголоса, точно в церкви: «Укажет наш адрес».) Мы с Плорнишем сейчас же сказали, что никакого неудобства не будет (Плорниш повторил: «Неудобства не будет».) и она вписала адрес в свою бумажку. Тут мы с Плорнишем говорим ей: «Погодите, мисс Доррит! (Плорниш повторил: „Погодите, мисс Доррит!“) А не лучше ли написать три или четыре бумажки, чтобы их могли прочитать в разных местах?» – «Об этом я не подумала, – говорит мисс Доррит, – но, пожалуй, я так и сделаю». Села она вот за этот стол и переписала все несколько раз своим красивым круглым почерком, а потом Плорниш снес одну бумажку туда, где он работал – у него в то время как раз случилась работа (Плорниш повторил: «Случилась работа».), а другую – к нашему домохозяину; через него-то миссис Кленнэм и узнала про мисс Доррит и прислала за ней. – Плорниш повторил: «Прислала за ней»; а миссис Плорниш, окончив свой рассказ, стала ловить губами маленькие пальчики, делая вид, что хочет укусить их.

– А ваш домохозяин, – сказал Артур, – это...

– Мистер Кэсби, сэр, – ответил Плорниш. – Кэсби его фамилия, а еще есть Панкс, тот собирает квартирную плату. Да, – прибавил мистер Плорниш в задумчивости, которая, казалось, ни из чего не проистекала и ни к чему не вела, – так вот оно и обстоит, хотите верьте, хотите нет, ваша воля.

– А? – тоже в задумчивости отозвался Кленнэм. – Мистер Кэсби, вы сказали? Старый знакомый, очень старый знакомый.

Мистер Плорниш, видимо, не зная, какое мнение высказать по этому поводу, не высказал никакого. Собственно говоря, у него не было ни малейших причин интересоваться упомянутым обстоятельством, а потому Артур Кленнэм перешел к изложению цели своего прихода. Дело было в том, что он решил прибегнуть к посредничеству Плорниша, чтобы освободить из тюрьмы Типа, по возможности не задев его чувства самостоятельности и независимости – если предположить, что хотя бы остатки такого чувства у него имеются, что, впрочем, было весьма сомнительно. Плорниш, которому подробности дела были известны от самого ответчика, объяснил Артуру, что истцом является один маклак, промышленяющий перекупкою лошадей, и что если рассчитаться с ним по десять шиллингов за фунт, то это будет «вполне по-божески», а давать больше – все равно что бросать деньгина ветер. Не теряя времени, доверитель и доверенный тут же отправились на Хай-Холборн, где в одной конюшне продавался по случаю великолепнейший серый мерин; цена ему была самое меньшее семьдесят пять гиней (не считая стоимости спиртного, которое ему подливали в пойло для придания лихого вида), а уступали его всего за двадцать фунтов, только потому, что на днях он едва не сбросил с седла супругу капитана Барбери из Челтнема, и теперь эта дама, не желая признать себя плохой наездницей, нарочно решила продать его за бесценку – просто с досады. Оставив своего доверителя на улице, Плорниш один вошел в конюшню и застал там джентльмена в узких серо-бурых панталонах и сильно потертой шляпе, с голубым платком на шее и тоненькой тросточкой в руках. Это оказался капитан Марун из Глостершира, ближайший друг капитана Барбери; он забрел в конюшню совершенно случайно, но готов был из лучших побуждений сообщать вышеупомянутые подробности о великолепном сером мерине всякому истинному ценителю лошадей, который явится по объявлению, спеша воспользоваться столь редкой удачей. Он и был кредитором Типа, но тут же объявил, что мистеру Плорнишу надлежит обратиться к его поверенному, и что с мистером Плорнишем он разговаривать не станет, к что даже смотреть на мистера Плорниша не желает – вот если бы тот, в доказательство серьезности своих намерений, вручил ему немедленно билет в двадцать фунтов, тогда другое дело, можно бы и поговорить. Мистер Плорниш тут же отправился довести этот намек до сведения Кленнэма, и вручение требуемых верительных грамот состоялось. После чего капитан Марун сказал: «Ну, а как с остальными двадцатью? Хотите, я вам дам месяц сроку?» Когда это было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну тогда сделаем так: на те двадцать вы мне дадите вексель сроком на четыре месяца с переводом на какой-нибудь банк». Когда и это было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну тогда вот вам мое последнее слово: давайте еще десять фунтов наличными, и мы в расчете». Когда и это было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну тогда знаете что: ваш приятель меня здорово нагрел, но чтоб уж покончить с этим делом, давайте пять фунтов и бутылку вина, и я его освобожу. Согласны, так по рукам, а не согласны – скатертью дорога». А когда и это тоже было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну ладно, идет!» И выдал расписку в том, что претензий к должнику больше не имеется.

– Мистер Плорниш, – сказал Артур, – я вас очень прошу сохранить в тайне мою причастность к

этому делу. Если вы возьмете на себя труд сообщить молодому человеку, что вам удалось достигнуть соглашения с его кредитором по поручению лица, пожелавшего остаться неизвестным, вы этим окажете услугу не только мне, но и самому Типу и его сестре.

– Последнего довода вполне достаточно, сэр, – сказал Плорниш. – Все будет исполнено в точности.

– Можете сказать, что долг уплатил друг. Друг, который надеется, что он употребит во благо возвращенную ему свободу, хотя бы ради сестры.

– Все будет исполнено в точности, сэр.

– А если вы, зная лучше меня обстоятельства этой семьи, стали бы без стеснения обращаться ко мне во всех случаях, когда, по вашему мнению, я могу быть полезен Крошке Доррит, не опасаясь задеть ее чувства, я был бы вам чрезвычайно обязан.

– Что вы, сэр, помилуйте, – возразил Плорниш, – да я и сам... да мне и самому... – Не видя возможности благополучно завершить начатую фразу, мистер Плорниш счел за лучшее отказаться от дальнейших попыток. Кленнэм вручил ему свою карточку и некоторое денежное вознаграждение.

Мистеру Плорнишу хотелось поскорей довести свою миссию до конца – желание, вполне разделявшееся его доверителем. Последний поэтому предложил подвезти его до ворот Маршалси, и они поехали туда через Блек-Фрайерский мост. По дороге Артуру удалось заставить своего нового знакомого разговориться, и он услышал несколько сбивчивый, но интересный рассказ о жизни обитателей Подворья Кровоточащего Сердца. Всем им живется нелегко, говорил Плорниш, а верней сказать, и вовсе тяжело живется. Почему оно так, кто его знает – скорей всего, что никто, но только так уж оно есть. Когда у человека пустой карман и пустой желудок, так человек знает, что он беден (тут мистер Плорниш был совершенно непоколебим в своем мнении), и словами его в этом не разуверишь, все равно как словами не вговоришь ему в желудок хорошего бифштекса. А есть ведь люди, незнакомые с нуждой, которые чуть что, начинают кричать, что в Подворье живут «расточительно» – это у них такое любимое словечко (а сами-то, между прочим, не задумываются прожить все, что имеют, а то и больше, так по крайней мере он, Плорниш, слышал). К примеру, позволит себе человек, может раз в году, съездить в Хэмптон-Корт³³ с женой и ребятишками, а они тут как тут: «Эге, приятель! Мы думали, что вы бедняк, а вы вон как расточительствуете!» Ах ты господи, до чего же обидно это слышать! Ведь живешь-то как? От такой жизни и свихнуться недолго; а разве они от этого выиграют, если человек свихнется? По мнению мистера Плорниша, они от этого только проиграют. А между тем они словно даже и рады довести человека до того, чтобы он свихнулся. Только этого и добиваются – не одним манером, так другим. Вы хотите знать, чем занимаются обитатели Подворья? А вы бы зашли поглядели. Увидели бы, как дочери и матери гнут спину над работой, не зная ни дня, ни ночи, шьют, чинят, перекраивают, перешивают, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами, а бывает, что и того не заработаешь. Как мастеровые всех видов ремесла мечутся в поисках работы и не могут найти ее. Как старики, честно трудившиеся всю свою жизнь, вынуждены искать прибежища в работных домах,³⁴ где с ними обращаются хуже, чем с какими-нибудь – мистер Плорниш хотел сказать «злоумышленниками», но сказал «промышленниками». Господи, ведь не знаешь, откуда ждать хоть кроху утешения! Что до того, кто же во всем этом виноват, то мистер Плорниш не знал, кто виноват. Он мог сказать, кто страдает, но не мог сказать, из-за кого приходится страдать. Не ему разбираться в таких вещах, а если б он и разбирался, кто бы стал его слушать? Он только знал, что те, кто берется исправить существующее зло, не исправляют его, а само по себе оно тоже не исправляется. Отсюда следовал нелогичный вывод, что если ему ничем не могут помочь, так пусть уж его оставят в покое; а то от всяческих попыток в этом роде ему только хуже приходится. Так, косноязычно, беззлбно и не слишком вразумительно сетуя на судьбу, Плорниш бродил вокруг сложной загадки своего положения в обществе, словно слепой, старающийся ощупью размотать запутанный клубок. У ворот тюрьмы они расстались, и Кленнэм поехал дальше один, размышляя о том, сколько тысяч

³³ *Хэмптон-Корт* – королевский дворец, резиденция королей в XVI–XVIII веках. Во времена Диккенса в Хэмптон-Корте, окруженном несколькими роскошными парками, жили королевские пенсионеры.

³⁴ *...старики... вынуждены искать прибежища в работных домах...* – Работные дома – дома призрения для бедняков, существовавшие в Англии в середине XIX века и получившие печальную известность своим почти тюремным режимом.

Плорнишей распевают на разные лады ту же самую песню чуть не над самым ухом Министерства Волокиты, без того чтобы это прославленное учреждение хотя бы запомнило ее мотив.

Глава XIII *Под Патриаршим кровом*

Упоминание о Кэсби вновь заставило разгореться в памяти Кленнэма чуть тлевшую искру интереса и любопытства, которую в день его приезда в Лондон раздула было миссис Флинтвинч. Предмет его юношеской любви звали Флора Кэсби, и Флора Кэсби была единственной дочерью Старого Истукана (как непочтительно величали за глаза Кристофера Кэсби кое-какие досужие умы, должно быть в близком знакомстве с ним получившие к тому основания). Мистер Кэсби был владельцем доходных домов, населенных беднотой, и если верить слухам, выжимал вопреки пословице немало масла из камня неприглядных с виду дворов и закоулков.

Потратив несколько дней на розыски и справки, Артур Кленнэм убедился, что в деле Отца Маршалси никаких концов не найти, и с грустью должен был отказаться от мысли помочь ему выйти на свободу. Набрести на какие-то сведения, важные для самой Крошки Доррит, тоже, видимо, нечего было рассчитывать; но он уверял себя, что именно ради нее решил возобновить старое знакомство – а вдруг да окажется это как-нибудь полезным для бедняжки. Нет нужды добавлять, что визит к мистру Кэсби все равно состоялся бы, если бы даже никакой Крошки Доррит и на свете не было; но ведь известно, что всем нам («нам» в смысле человечества; мы лично составляем, разумеется, исключение) свойственно обманывать себя относительно причин, побуждающих нас к тому или иному поступку.

Итак, в один прекрасный вечер Артур Кленнэм подходил к дому мистера Кэсби в приятной и даже по-своему искренней уверенности, что им руководит лишь забота о Крошке Доррит – хотя Крошка Доррит тут была решительно ни при чем. Мистер Кэсби жил близ Грэйс-Инн-роуд, в переулке, который ответвился от этой улицы с твердым намерением одним духом сбежать вниз, к подножью Пентонвиллского холма, и взобраться на его вершину, но, пробежав двадцать ярдов, запыхался и остановился, да так и не сделал больше ни шагу. Теперь этого переулка больше нет, но много лет он просуществовал там, сконфуженно поглядывая на пятна чахлых садилов и прыщики беседок, испещрившие пустырь, который ему так и не удалось пересечь.

«Дом так же мало изменился, как и дом моей матери, – думал Кленнэм, поднимаясь по ступенькам, – и снаружи он такой же мрачный. Но на этом сходство кончается. Я помню чинное спокойствие, которое там царит внутри. Кажется, уже отсюда чувствуется запах сухих лепестков роз и лаванды».

И в самом деле, когда на стук ярко начищенного медного дверного молотка служанка отворила дверь, его встретил знакомый аромат, точно в зимнем холодном воздухе повеяло вдруг слабым дыханием давно прошедшей весны. Он вошел в этот безмолвный, безмятежный, воздухонепроницаемый дом, и дверь, затворившись за ним, словно отрезала его от шума и движения живой жизни. Мебель в доме была солидная, старинная, по-квакерски строгая, но добротная, и выглядела так внушительно, как обычно выглядит все – будь то деревянная табуретка или человеческое существо, – что могло бы приносить много пользы, а не приносит почти никакой.

Где-то наверху торжественно тикали часы, и безголосая птица долбила клювом клетку, тоже как будто тикая. В камине гостиной, потрескивая, тикал огонь. Перед камином сидел человек, и было слышно, как у него в кармане тикает хронометр.

Служанка доложила: «Мистер Кленнэм», но протикала эти слова так тихо, что они не были услышаны, и после ее ухода гость остался стоять у дверей, не замеченный хозяином. Последний, человек почтенных лет, сидел в глубоком кресле, вытянув на каминный коврик ноги в мягких туфлях, и медленно вращал большие пальцы рук один вокруг другого. Отблески огня играли на его лице, и от этого казалось, будто его пушистые седые брови шевелятся в такт тиканью. Старого Кристофера Кэсби – это был он – можно было узнать с первого взгляда; за двадцать с лишком лет он изменился не больше, чем добротная мебель, его окружавшая, и чередование времен года проходило для него так же бесследно, как для сухих лепестков роз и лаванды в фарфоровых вазах.

Быть может, в этом изобилующем трудностями мире не сыскать другого человека, которого так трудно было бы вообразить себе ребенком, как мистера Кэсби. А между тем он почти не менялся на протяжении всей своей жизни. Прямо напротив его кресла висел портрет мальчика, в котором всякий признал бы сразу Кристофера Кэсби в возрасте десяти лет, даром что в руках он держал грабли (предмет столь же любезный и необходимый ему, как водолазный колокол), а сидел, поджав под себя одну ногу, среди цветущих фиалок, с противоестественным в его годы глубокомыслием созерцая шпиль деревенской церкви. То же гладкое лицо и гладкий лоб, те же ясные голубые глаза, то же кроткое выражение. Конечно, ни сияющей лысины, от которой голова казалась такой большой, ни обрамлявших ее седых кудрей, похожих на шелк-сырец или стеклянную пряжу, которые никогда не подстригались и, ниспадая до самых плеч, придавали этой голове такое благообразие – ничего этого на портрете не было. И тем не менее в ангелочке с граблями легко было распознать все приметы патриарха в бархатных туфлях.

Патриарх – так его называли многие. Почтенные старушки из соседних домов говорили, что мистер Кэсби – последний из патриархов. И это название очень к нему подходило: он был такой медлительный, такой седовласый, такой спокойный, такой невозмутимый – чем не патриарх, в самом деле? К нему часто подходили на улице с покорнейшей просьбой послужить моделью для картины или статуи, изображающей патриарха; судя по настойчивости таких просьб, художники и скульпторы решительно не способны припомнить или вообразить черты, из которых складывается образ патриарха. Филантропы обоего пола справлялись, кто этот почтенный старец, и услышав в ответ: «Кристофер Кэсби, бывший управляющий лорда Децимуса Тита Полипа», восклицали разочарованно: «Как, с такой головой, и он не радеть о благе ближнего? Как, с такой головой, и он не покровитель сырых, не защитник беззащитных?» Однако с такой головой он был и остался Стариком Кэсби, одним из самых богатых, если верить молве, домовладельцев округи, и с такой головой он сейчас мирно сидел в кресле в тишине своей гостиной. Впрочем, было бы верхом безрассудства предполагать, что он мог бы сидеть там вовсе без головы, хотя бы и такой.

Чтобы привлечь к себе внимание, Артур Кленнэм сделал шаг или два, и тотчас же на него вскинулись седые брови.

– Прошу прощенья, сэр, – сказал Кленнэм. – Вы, верно, не слышали, как обо мне доложили.

– Не слышал, сэр. Вы ко мне за каким-нибудь делом, сэр?

– Нет, только затем, чтобы принести вам свое почтение.

Мистер Кэсби был как будто чуточку разочарован этим ответом; быть может, он ожидал, что посетитель принес ему что-либо более существенное.

– А позвольте узнать, сэр... – начал он снова, – прошу садиться... позвольте узнать, с кем... Ба, ба, погодите! Если не ошибаюсь, мне знакомы эти черты! Уж не того ли я вижу джентльмена, о возвращении которого в родные края недавно говорил мне мистер Флинтвинч?

– Вы угадали, сэр.

– Неужели! Мистер Кленнэм?

– Он самый, мистер Кэсби.

– Рад вас видеть, мистер Кленнэм. Что новенького у вас за это время?

Полагая бесполезным распространяться о тех незначительных переменах, которые могли произойти в его здоровье и состоянии духа за четверть века, истекшие со дня их последней встречи, Кленнэм ограничился какой-то общей фразой, вроде того, что все обстоит у него как нельзя лучше, и крепко пожал руку обладателю «такой головы», озарявшей его своим патриархальным сиянием.

– Стареем, мистер Кленнэм, – сказал Кристофер Кэсби.

– Да, не молодеем, – отозвался Кленнэм. Отпустив это глубокомысленное замечание, он должен был сознаться себе, что оно не блещет остроумием, и вдруг понял, что волнуется.

– Стало быть, ваш почтенный батюшка приказал долго жить, – продолжал мистер Кэсби. – Весьма прискорбно было услышать об этом, весьма прискорбно.

Артур, как положено в таких случаях, поблагодарил за участие.

– Было время, – сказал мистер Кэсби, – когда отношения между вашими родителями и мною несколько испортились. Тому причиной послужило маленькое семейное недоразумение. Ваша почтенная матушка, пожалуй, несколько ревниво относилась к своему сыну. Я разумею вашу достойную особу, сэр, вашу достойную особу.

Его гладкое лицо своею свежестью напоминало персик. От того, что лицо было таким свежим, глаза такими ясными, голова такой величественной, казалось, что он изрекает необыкновенно мудрые и добродетельные мысли. При этом выражение лица у него было самое благодное. Никто не мог бы сказать, где и в чем заключена его мудрость, добродетель и благодность, но весь он был словно овеян этими качествами.

– Впрочем, – продолжал мистер Кэсби, – это все дело прошлое, дело прошлое. Теперь я время от времени навещаю вашу почтенную матушку и неизменно восхищаюсь, видя, с каким мужеством и силою духа она переносит свои тяжкие испытания, тяжкие испытания.

У него была привычка дважды повторять сказанное, и при этом он кротко улыбался, скрестив руки и склонив голову набок, с таким видом, словно затаил в своих мыслях нечто столь утонченное, что этого не выразишь словами. Казалось, он отказывает себе в удовольствии высказаться до конца, чтобы не воспарить слишком высоко, и из скромности ограничивается простым житейским разговором.

– Я слышал, – заметил Артур, торопясь воспользоваться мелькнувшим случаем, – что в одно из таких посещений вы взяли на себя труд рекомендовать моей матери Крошку Доррит.

– Крошку – какую крошку? Доррит? Ах, это швея, за которую просил меня один из моих жильцов? Да, да. Ее фамилия, точно, Доррит. Как же, как же. А вы ее зовете Крошкой Доррит?

Нет, попытка не удалась. Не стоит двигаться дальше по этой дороге. Она никуда не приведет.

– Моя дочь Флора, как вы, верно, знаете, – сказал мистер Кэсби, – несколько лет назад вышла замуж и зажила своим домом. Но она имела несчастье потерять мужа вскоре после свадьбы. Теперь она снова живет у меня. Она будет очень рада вас видеть, если вы мне позволите известить ее, что вы здесь.

– О, непременно! – воскликнул Артур. – Я сам хотел просить вас об этом, но вы любезно опередили меня.

Получив такой ответ, мистер Кэсби встал с кресла и направился к двери, медленно и грузно ступая в своих бархатных туфлях (он был слоноподобного сложения). На нем был просторный долгополый сюртук бутылочного цвета, бутылочного цвета жилет и бутылочного цвета панталоны. Патриархи не носили сукна бутылочного цвета, однако его одежда выглядела патриархальной.

Только что он вышел из комнаты, и в ней опять воцарилась лишь тиканьем нарушаемая тишина, как снаружи загремел ключ, который чья-то быстрая рука поворачивала в замке, а вслед за этим хлопнула парадная дверь и почти тотчас же какой-то живой, чернявый человечек так стремительно влетел в гостиную, что с разгона едва не наскочил на Кленнэма.

– Здорово! – крикнул он.

Кленнэм решил, что ничто не мешает ему ответить тем же «Здорово!».

– Ну, в чем дело? – спросил чернявый человечек.

– А какое, собственно, дело? – переспросил Кленнэм.

– Где мистер Кэсби? – спросил чернявый человечек, оглядываясь по сторонам.

– Он сейчас вернется – если он вам нужен.

– Мне нужен? – удивился чернявый человечек. – А разве вам он не нужен?

Кленнэму пришлось объяснить положение в нескольких словах, которые чернявый человечек выслушал, сдерживая дыхание и внимательно приглядываясь к говорившему. Он был одет в черное и в серое как бы с налетом ржавчины; его маленькие черные глазки напоминали агатовые бусины; короткий подбородок покрыт был двухдневной черной щетиной; жесткие черные волосы торчали, как зубья вилки или куски проволоки; лицо отличалось необыкновенной смуглотой, то ли искусственной – от грязи, то ли природной; а может быть, тут действовало сочетание природы и искусства. Руки были грязные, с грязными обломанными ногтями, как будто он только что вылез из угольной ямы. Он сопел, храпел, пыхтел и отдувался, точно маленький хлопотливый паровичок.

– Ага! – воскликнул он, когда ему, наконец, стало ясно, кто такой Артур и как здесь очутился. – Ну и чудесно! Превосходно! Так если он будет спрашивать насчет Панкса, вы ему скажите, что Панкс уже пришел, ладно? – И он тотчас же, сопя и пыхтя, выкатился в боковую дверь.

Когда-то давно, еще до своего отъезда из Англии, Артуру случалось ловить обрывки довольно странных слухов, ходивших о последнем Патриархе. Какие-то сомнения и подозрения носились в то время в воздухе; и сквозь туман этих подозрений Кристофер Кэсби рисовался чем-то вроде заманчи-

вой вывески несуществующей гостиницы – призыва отдохнуть и возблагодарить там, где нет ни места для отдыха, ни повода для благодарности. Толковали даже, будто Кристофер Кэсби попросту хитрый обманщик, а под сияющими выпуклостями «такой головы» кроются весьма неблагоприятные замыслы. По другим толкам он выходил тупым, медлительным и себялюбивым ничтожеством, которое долго неуклюже топталось в гуще людской, пока ему не посчастливилось сделать открытие, что для успеха в жизни и доверия окружающих вполне достаточно держать язык за зубами, не стричь волос и заботливо холить лысину; и у него достало ума ухватиться за это открытие и приложить его к делу. Говорили, что лорд Децимус Тит Полип взял его в управляющие не за деловые качества, которых у него и в помине не было, но лишь за то, что от человека с такой ангельской кротостью во взоре трудно ожидать злоупотреблений или подвохов; и по тем же причинам он теперь извлекал из своих обветшалых владений не в пример больше выгоды, чем мог бы извлечь домохозяин, не обладающий столь неотразимой лысиной. Все эти толки сводились к тому (вспоминал Кленнэм, сидя один в тикающей гостинице), что часто люди выбирают себе образец для подражания так же, как описанные выше художники выбирают модель для картины; и подобно тому как на ежегодной выставке Королевской академии непременно увидишь какого-нибудь отвратительного живодера, запечатленного благодаря своим ресницам или икрам, или подбородку, в виде воплощения всех земных добродетелей – так и на великой Выставке жизни наружные приметы нередко принимаются за внутренние качества.

Перебирая в памяти все эти давние слухи и сопоставляя их с впечатлением, которое произвел на него мистер Панкс, Артур все больше (хотя и не окончательно) склонялся к мысли, что последний патриарх и в самом деле – тупое ничтожество, способное лишь холить свою лысину. Бывает порой на Темзе, что громоздкое тяжелое судно неуклюже скользит по течению, поворачиваясь то боком, то кормой, застревая само и мешая всем другим, хоть при этом и кажется, что оно выполняет сложные навигационные маневры; и вдруг откуда-то вывернется маленький закопченный пароходик, возьмет его на буксир и деловито потащит вперед; вот так, должно быть, и грузный Патриарх был взят на буксир пыхтящим Панксом и теперь покорно тащился за этим юрким черномазым суденышком.

Приход мистера Кэсби и его дочери Флоры положил конец размышлениям Кленнэма. Он поднял голову, взглянул на предмет своей былой любви – и в тот же миг все, что еще оставалось от этой любви, дрогнуло и рассыпалось в прах.

Есть много мужчин, которые, всегда оставаясь верны самим себе, остаются верны и своему старому идеалу. И если идеал не выдерживает соприкосновения с действительностью, это отнюдь не говорит о непостоянстве, а скорее доказывает обратное; но крушение идеала – тяжелый удар. Именно это испытал Кленнэм. В юности он горячо любил женщину, которая сейчас вошла в гостиную, щедро расточал ей нерастроченные богатства своих чувств и воображения. В неприветливом отчем доме Кленнэма эти богатства никому не были нужны; подобно денежным сокровищам Робинзона Крузо, они ржавели без пользы, пока он не одарил ими свою избранницу. И хотя он давно уже не отводил ей никакого места ни в настоящем своем, ни в будущем, как если бы она умерла (да у него и не было уверенности, что этого не случилось), все же образ прошлого жил, не меняясь, где-то в заветных тайниках его сердца. И вот теперь входит в гостиную последний из патриархов и тремя короткими словами: «Вот и Флора!» – преспокойно предлагает ему бросить свое сокровище наземь и растоптать.

Флора, когда-то высокая и стройная, растолстела и страдала одышкой, но это было еще ничего. Флора, которую он помнил лилией, превратилась в пион, но это бы еще тоже ничего. Флора, чье каждое слово, каждая мысль когда-то казались ему пленительными, явно стала болтлива и глупа. Это уже было хуже. Флора, которая много лет назад была наивным и балованным ребенком, желала и сейчас остаться наивным и балованным ребенком. И это было самое худшее.

Вот и Флора!

– Ах, ах, – пискнула Флора, откинув голову набок и становясь карикатурой на прежнюю Флору; так выглядело бы ее изображение в погребальной пантомиме, если бы она жила и умерла в классической древности, – ах, мне стыдно показаться на глаза мистеру Кленнэму в моем теперешнем виде, боюсь, он меня не узнает, я ведь стала совсем старухой, это так ужасно, так ужасно.

Кленнэм поспешил заверить, что она изменилась не больше, чем следовало ожидать; в конце концов время есть время, он это на себе видит.

– Ах, но мужчина совсем другое дело, и потом вам грех жаловаться, вы выглядите чудесно, зато

я простонала Флора, – я стала просто урод.

Патриарх, видимо еще не уяснив себе, какова должна быть его роль в разыгрывающемся представлении, на всякий случай безмятежно улыбался.

– Нет. Вот уж кто действительно не меняется, – продолжала Флора, которая, раз начав говорить, никогда не могла добраться до точки, – кто ничуть не меняется, так это папаша, посмотрите, разве он не такой же в точности, как был и до вашего отъезда, я нахожу, что это даже нехорошо с его стороны служить живым упреком собственной дочери, ведь если дальше так пойдет, люди станут принимать меня за папашину мамашу.

До этого, по мнению Артура, было еще далеко.

– Ай-ай-ай, мистер Кленнэм, нельзя быть таким неискренним, – воскликнула Флора, – вы, я вижу, не утратили своей старой привычки говорить комплименты, совсем как, помните, в те времена, когда, ну когда вы утверждали, будто ваши чувства... то есть я не то хотела сказать, я... ах, я сама не знаю, что я хотела сказать! – Тут Флора смущенно хихикнула и подарила ему один из своих прежних томных взглядов.

Патриарх, догадавшись, наконец, что его роль состоит в том, чтобы как можно скорей убраться со сцены, встал и направился к боковой двери, по дороге окликая свой буксир. Тотчас же из какого-то отдаленного дока послышался ответный сигнал, и мистер Кэсби был благополучно отбуксирован из гостиной.

– Как, вы уже собираетесь уходить, – сказала Флора, поймав взгляд, который Кленнэм, не знавший, как выпутаться из смешного и досадного положения, бросил на свою шляпу, – нет, нет, не верю, чтобы вы были таким бессердечным, Артур – то есть я хотела сказать мистер Артур, – даже, пожалуй, следует говорить мистер Кленнэм – ах, боже мой, я сама не знаю, что говорю, – но ведь мы даже ни словом не вспомнили те счастливые дни, которые ушли и никогда не вернуться, а впрочем, может быть, лучше и не вспоминать о них, тем более что вас, вероятно, ожидает более интересное времяпрепровождение, и уж, конечно, я меньше всех на свете хотела бы помешать, хотя было время, когда – но я опять начинаю говорить глупости.

Неужели в те дни, о которых шла речь, Флора была такою же пустышкой болтушкой? Неужели то, что звучало для него тогда чарующей музыкой, было похоже на эту бессвязную трескотню?

– Я, право, не сомневаюсь, – продолжала Флора, сыпля словами с завидной быстротой, и из всех знаков препинания ограничиваясь одними запятыми, и то в небольшом количестве, – что вы там в Китае женились на какой-нибудь китайской красавице, оно и понятно, ведь вы так долго пробыли там, и потом вам нужно было расширять круг знакомств в интересах фирмы, так что ничего нет удивительного, если вы сделали предложение китайской красавице, и смею сказать, ничего нет удивительного, если китайская красавица приняла ваше предложение, и она может считать, что ей очень повезло, надеюсь только, что она не из сектантов, которые молятся в пагодах.

– Вы ошибаетесь, Флора, – сказал Артур, невольно улыбнувшись, – ни на какой красавице я не женился.

– Ах, мой бог, но надеюсь, вы не из-за меня остались холостяком! – воскликнула Флора, – Нет, нет, конечно нет, смешно было бы и думать, и, пожалуйста, не отвечайте мне, я говорю сама не знаю что, вы мне лучше расскажите про китайок, верно ли у них такие узкие и длинные глаза, как на картинках, вроде перламутровых фишек для игры в карты, а на спине висит длинная коса на манер хвоста, или это только мужчины носят косы, а потом вот еще колокольчики, почему это у них такая страсть везде навешивать колокольчики, на мостах, на храмах, на шляпах, хотя, может быть, это все выдумки? – Флора наградила его еще одним прежним взглядом, и тут же понеслась дальше, как будто на все ее вопросы уже был дан обстоятельный ответ.

– Так, значит, это все правда! Боже мой, Артур – ах, простите, я по привычке – мистер Кленнэм, следовало бы сказать – и как вы могли столько времени прожить в такой стране, ведь там, наверно, всегда темно и дождь идет, иначе зачем столько фонарей и зонтиков, ну, конечно, это уж такой климат, вот, должно быть, прибыльное занятие, торговать там фонарями и зонтиками, раз ни один китаец без них не обходится, а какой странный обычай уродовать ноги с детства, чтобы можно было носить маленькие башмачки, а я и не знала, что вы такой любитель путешествий.

Тут Кленнэм, уже готовый впасть в отчаяние, был снова ошарашен прежним взглядом, с которым решительно не знал, что делать.

– Ах, бог мой, – продолжала Флора, – как подумаешь, сколько произошло перемен за время вашего отсутствия, Артур – то есть, конечно, мистер Кленнэм, никак не могу отвыкнуть, как-то само собой получается – пока вы там изучали китайский язык и нравы, я уверена, что вы говорите по-китайски, как настоящий китаец, если не лучше, вы ведь всегда были такой способный и сообразительный, но это все-таки должно быть ужасно трудно, я бы наверно умерла, если бы попыталась прочесть хотя бы что написано на ящиках с чаем, да, многое изменилось, Артур – вот, опять, само собой, хоть и не следовало бы – и главное все такие неожиданные перемены, ну кому бы, например, пришла в голову какая-то миссис Финчинг, когда она и мне-то самой не приходила в голову.

– Это ваша фамилия по мужу, Финчинг? – спросил Артур; его вдруг тронула задушевная нотка, звучавшая в ее голосе, когда она в своей бессвязной болтовне касалась отношений, их некогда связывавших.

– Да, Финчинг, не правда ли ужасная фамилия, но сам мистер Ф. говорил, делая мне предложение, а он мне делал предложение семь раз и после того еще великодушно согласился целый год «жениться», как он это называл, и вот он говорил, что это не его вина, раз такая фамилия и поделать он тут тоже ничего не может, что ж, это и в самом деле так, а вообще он был прекрасный человек, на вас совсем не похож, но прекрасный человек.

Флоре, наконец, потребовалось перевести дух, и она на секунду остановилась. Но ровно на секунду: только поднесла к глазам самый кончик носового платка и, отдав дань памяти усопшего мистера Ф. – тотчас же ринулась дальше.

– Никто ведь не станет отрицать, Артур – то есть мистер Кленнэм, – что если вы теперь ко мне относитесь просто как добрый знакомый, то это вполне понятно, иначе оно и быть не может при изменившихся обстоятельствах, по крайней мере я в этом твердо уверена, так и знайте, но я не могу не вспомнить, что было время, когда все было по-другому.

– Дорогая миссис Финчинг, – начал Артур, вновь растроганный ее тоном.

– Ах, нет, не зовите меня этим гадким, безобразным именем; скажите «Флора».

– Флора. Уверяю вас, Флора, я очень рад вас видеть, и мне очень приятно, что вы, как и я сам, не забыли наивных мечтаний той далекой поры, когда мы с вами были молоды и все нам рисовалось в розовом свете.

– Что-то не похоже, право, – возразила Флора, надув губки, – вы так хладнокровно говорите обо всем этом, впрочем я понимаю ваше разочарование, должно быть тому причиной китайские красавицы – мандаринки, так их, кажется, называют? – а может быть, все дело во мне самой.

– Нет, нет, – запротестовал Кленнэм, – вы напрасно так говорите.

– Вообще не напрасно, – решительно заявила Флора, – отчего же не говорить, если это правда, ведь я знаю, что я совсем не та, какой вы ожидали меня увидеть, я это отлично знаю.

Тараторя без умолку, она, однако же, успела проявить наблюдательность, которая сделала бы честь и более умной женщине. И тем не менее она с бессмысленным упорством по-прежнему старалась приплести к их нынешней встрече давно забытую историю их детской любви, от чего Артуру начало казаться, что все это происходит во сне.

– Еще одно слово, – сказала Флора, к величайшему ужасу Кленнэма ни с того ни с сего придавая вдруг разговору характер любовной ссоры, – одно объяснение, которое вы должны выслушать, когда ваша мамаша явилась к моему папаше и устроила ему сцену, и меня позвали вниз, в маленькую столовую, и они там сидели в креслах друг против друга, точно два бешеных быка с зонтиком вашей мамашы посередине, что, по-вашему, я должна была делать?

– Дорогая миссис Финчинг, – попытался урезонить ее Артур, – все это было так давно и так далеко уже ушло в прошлое, что стоит ли всерьез...

– Но поймите, Артур, – возразила Флора, – я же не могу примириться с тем, что все китайское общество считает меня бессердечной, должна же я оправдаться, раз к тому представился случай, вы ведь прекрасно знаете, что оставались «Поль и Виргиния»,³⁵ которых нужно было вернуть, и я их получила без всякой весточки или знака, я понимаю, что вы не могли писать мне, когда я находилась

³⁵ «Поль и Виргиния» – роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814). В основе сюжета – идиллическая любовь двух молодых людей.

под таким строгим присмотром, но что стоило хоть прилепить к переплету красную облатку, и я бы сразу поняла, что это означает: жду в Пекине, в Нанкине или что-то там еще есть третье, не помню, и я помчалась бы туда хоть пешком.

– Дорогая миссис Финчинг, вы ни в чем не виноваты, и я вас никогда не винил. Оба мы были слишком молоды, слишком незрелы и беспомощны, и нам ничего другого не оставалось, как только согласиться на разлуку. Подумайте, ведь столько лет уже прошло, – мягко убеждал ее Артур.

– Еще одно слово, – неутомимо продолжала Флора, – еще одно объяснение, которое вы должны выслушать, у меня тогда сделался насморк от слез, и я целых пять дней не выходила из угловой гостиной – если вам нужны доказательства, можете посмотреть, эта угловая гостиная и сейчас там, где была, в первом этаже, – а потом, когда эти тяжелые дни миновали, я немного успокоилась, и год за годом проходил, и вот мы у одних наших друзей познакомились с мистером Ф., и он был очень любезен, и на завтра же навестил нас, а потом стал навешать по три раза в неделю и присылать разные деликатесы к ужину, он меня не то что любил, мистер Ф., он меня просто обожал, и когда мистер Ф. сделал мне предложение с папина вето и согласия, как, по-вашему, я должна была поступить?

– Именно так, как поступили, – поторопился ответить Артур. – Позвольте старому другу от всей души заверить вас, что вы поступили вполне правильно.

– И еще одно последнее слово, – продолжала Флора, движением руки отстраняя житейскую прозу, – еще одно, последнее объяснение, ведь задолго до того, как явился мистер Ф. со своими любезностями, в смысле которых не приходилось сомневаться, было время, когда... но этому не суждено было сбыться, а теперь все это в прошлом, дорогой мистер Кленнэм, вы не носите золотых цепей, вы свободны, и надеюсь, еще будете счастливы, ну вот, извольте радоваться, папаша, вечно он сует свой нос, где его не спрашивают!

С этими словами и с торопливым застенчиво-предостерегающим жестом – в свое время так хорошо знакомым Артуру – бедная Флора отпустила в далекое, далекое прошлое прелестный образ самой себя в восемнадцать лет и, наконец, поставила точку.

Или точнее сказать, она отпустила в прошлое одну половину этого прелестного образа, другую же прирастила к особе вдовы усопшего мистера Ф., превратив себя таким способом в некое фантастическое существо вроде сирены, вызывавшее в друге ее юности двойственное чувство: ему было и грустно и смешно.

Вот, например: теща свою душу воображаемыми тревогами и опасениями выдать несуществующую тайну, Флора изощрялась в таинственных знаках и намеках, как будто между нею и Кленнэмом существовал сговор самого волнующего свойства; как будто за углом дожидалась уже первая подставка лошадей для кареты, которая должна была умчать их в Шотландию, обетованную землю всех вступающих в брак без родительского согласия;³⁶ как будто она не могла (и не желала бы) отправиться под руку со своим избранником в приходскую церковь под сенью фамильного зонтика, с благословения Патриарха и при единодушном одобрении всего человечества. Словно во сне – и это ощущение с каждой минутой становилось сильнее – смотрел Кленнэм, как вдова усопшего мистера Ф. безмерно развлекается, воображая себя и своего партнера в тех ролях, которые они исполняли в юности, и разыгрывая весь старый спектакль – хотя сцена покрыта пылью, декорации обветшали и выцвели, актеров уже нет в живых, места для оркестра пусты и огни погашены. Но все же что-то трогательное было для него в этих нелепых попытках оживить то, что когда-то пленяло его своей естественностью; ведь они были вызваны встречей с ним и будили в душе нежные воспоминания.

Патриарх, стал уговаривать Кленнэма остаться к обеду, и Флора знаками подсказала: «Да!». Кленнэму было так совестно за испытанное им разочарование, он так искренне сожалел о том, что Флора не показалась ему такою, какой она была (а может быть, и не была) двадцать лет тому назад, что участие в семейном обеде представилось ему наименьшей из искупительных жертв, на которые он чувствовал себя готовым. А потому он остался.

³⁶ ...в Шотландию, обетованную землю всех вступающих в брак без родительского согласия... – В XIX веке в Шотландии оформление брака совершалось без каких-либо церковных формальностей, исполнение которых было обязательным в Англии, и без родительского благословения. Излюбленным местом оформления английскими молодоженами «шотландских» браков служил городок Гретна-Грин, в пограничной с Англией области Шотландии.

Панкс тоже обедал с ними. Ровно без четверти шесть Панкс выплыл из своего дока где-то в недрах дома и поспешил на помощь к Патриарху, который в это время беспомощно барахтался в мелководье весьма сбивчивых объяснений касательно Подворья Кровоточащего Сердца. Панкс тотчас же взял его на буксир и вывел в главный фарватер.

– Подворье Кровоточащего Сердца? – подхватил Панкс, фыркнув и засопев. – Беспокойное владение. Дает вам неплохой доход, но собирать там квартирную плату тяжелое дело. От этого одного владения вам беспокойств больше, чем от всех остальных вместе взятых.

Подобно тому как неискушенным зрителям всегда кажется, будто большое судно движется независимо от буксира, так и тут могло показаться, будто Патриарх сам произносит все, что за него говорил Панкс.

– В самом деле! – отозвался Артур, в котором это впечатление, созданное сиянием патриаршей лысины, было настолько сильно, что он невольно обращался к судну, а не к буксиру. – Должно быть, там все больше живут бедняки?

– Вам это неизвестно, бедняки они или не бедняки, – пропыхтел Панкс, вскинув бусины-глазки на своего хозяина и вытаскивая из серо-ржавого кармана грязную руку, чтобы погрызть что там еще осталось от ногтей. – Их послушать, так они все бедняки, но ведь это так всегда говорится. Если человек говорит, что он богат, можете быть уверены, что это неправда. Да если они и в самом деле бедняки, вы-то что тут можете поделывать? Вы и сами станете бедняком, если не будете получать арендную плату.

– И это верно, пожалуй, – сказал Артур.

– Вы ведь не возьмете на себя попечение обо всех бедняках Лондона, – продолжал Панкс. – Вы не станете отдавать им комнаты даром. Не раскроете им ворота, приходи, мол, кто хочет, вход бесплатный. Нет, ничего этого вы и не подумаете делать.

Мистер Кэсби покачал головой все с тою же безмятежной и благостной неопределенностью.

– Если человек нанял у вас комнату за полкроны в неделю, а когда неделя пройдет, он эти полкроны не может уплатить, вы что ему скажете? Вы скажете: «А зачем ты нанимал комнату? Если у тебя нет денег, у тебя не должно быть и комнаты. Где твои деньги, куда ты их девал? Что вообще это значит? Что ты воображаешь?» Вот что вы говорите в таких случаях. А не, говорите – тем хуже для вас. – Тут мистер Панкс произвел весьма странное зловещее рокотанье в глубине своего носа, как будто собираясь высморкаться, однако же никакого иного эффекта, кроме звукового, не воспоследовало.

– У вас, кажется, имеются еще подобные владения, к востоку и к северо-востоку отсюда? – спросил Кленнэм, решительно не зная, к кому из двоих адресовать свой вопрос.

– Имеются, как же, – отвечал Панкс. – Только вот к востоку там или к северо-востоку, это для вас роли не играет. Вы с компасом не сверялись. Вам что нужно? Вам нужно, чтобы капитал был помещен надежно и выгодно. Где нашли подходящее место, там и взяли. А насчет его расположения, так тут вы не привередливы, нет. За обедом к обществу присоединилась еще одна, весьма примечательная фигура, также обитавшая под сенью патриаршего шатра. Это была маленькая пучеглазая старушка с лицом дешевой деревянной куклы из тех, которым, сообразно цене, никакого выражения не положено. Желтый парик с тугими буклями криво сидел у нее на макушке, как будто ребенок, обладатель куклы, приколотил его гвоздиком, где пришлось, лишь бы не свалился. Другую особенность удивительной старушки составляли несколько вмятин на лице, словно тот же ребенок исковырял его ложкой или иным тупым орудием, – одно из таких повреждений явственно выделялось на кончике носа. Третья особенность удивительной старушки заключалась в том, что у нее не было своего имени: она звалась тетушкой мистера Ф.

Знакомство с ней Кленнэма произошло при следующих обстоятельствах: когда на стол уже подали первое блюдо, Флора вдруг спросила, слышал ли мистер Кленнэм о наследстве, которое ей оставил мистер Ф. Кленнэм в ответ выразил глубокую уверенность, что мистер Ф. завещал обожаемой супруге если не все свое земное достояние, то, во всяком случае, большую его часть. Ну, разумеется, сказала Флора; в завещании мистера Ф. отразились все прекрасные качества его души, но не об этом сейчас речь; кроме земного достояния он еще оставил ей наследство особого рода: свою тетушку. Она тут же вышла из столовой и спустя несколько минут возвратилась вместе с вышеупомянутым наследством, которое и представила торжественно: «Тетушка мистера Ф.».

Характер тетушки мистера Ф., как это сразу бросалось в глаза постороннему наблюдателю, отличался крайней суровостью и угрюмой молчаливостью; последней она лишь время от времени изменяла, отпуская зловещим низким голосом замечания, которые, не имея ни прямой, ни косвенной связи с предметом общего разговора, огорошивали и пугали собеседников. Возможно, эти замечания представляли собой звенья единой цепи сокровенных размышлений тетушки мистера Ф., возможно, они были остроумны и даже обладали весьма тонким смыслом, но, к несчастью, чтобы понять их, требовался ключ, а ключа не было.

Обед, отменно приготовленный и отлично сервированный (все в обиходе патриаршего дома благоприятствовало хорошему пищеварению), начался с супа, жареной камбалы, картофеля и соуса из креветок. Разговор по-прежнему вертелся вокруг взимания квартирной платы. Тетушка мистера Ф. минут десять молча косилась на всех с угрюмой враждебностью, после чего мрачно изрекла следующее:

– Когда мы жили в Хэнли, медник украл у Барнсов гусака.

Мистер Панкс, не теряя присутствия духа, кивнул головой и сказал: «Совершенно верно, сударыня». Но Кленнэма это загадочное сообщение перепугало не па шутку. Было и еще одно обстоятельство, заставлявшее бояться почтенной дамы. На всех тараща глаза, она, однако же, никого как бы не видела. Допустим, учтивый и предупредительный сосед пожелал бы выяснить ее отношение к картофелю. Его выразительная пантомима не произвела бы никакого впечатления, и что ему тогда было делать? Не мог же он сказать: «Тетушка мистера Ф., не угодно ли?». Оставалось одно: в страхе и растерянности положить ложку – как и поступил Кленнэм.

подавали баранину, бифштекс, яблочный пирог (ничего, что имело хотя бы отдаленную связь с гусаками); обед тянулся, как тянется всякая трапеза, лишенная приправы воображения. Когда-то Артур, сидя за этим самым столом, ни на что не глядел и ничего не замечал, кроме Флоры; теперь, глядя на Флору, он против воли замечал, что она большая охотница до портеру, что чувствительные воспоминания не мешают ей отдавать должное хересу и что нажитая ею дородность не составляет необъяснимого чуда. Что касается последнего из патриархов, то он всегда отличался могучим аппетитом и уминал за обе щеки обильную и плотную пищу с благостной улыбкой добряка, насыщающего голодных. Мистер Панкс, торопясь по обыкновению, то и дело поглядывал в засаленную записную книжку, лежавшую рядом с его прибором (должно быть, в ней значились имена неисправныхплательщиков, посещение которых он припас себе на десерт); он словно не ел, а заправлялся топливом, шумно, суетливо, роняя куски, пыхтя и отфыркиваясь, готовый вот-вот развести пары.

Приобретя вкус к еде и напиткам, Флора, однако же, не потеряла вкуса к романтике, и в течение всего обеда усердно отдавала дань тому и другому, так что под конец Артур уже не поднимал глаз от тарелки из страха встретить очередной выразительный взгляд, предостерегающий или исполненный таинственного значения, словно бы понятного лишь им двоим.



Тетушка мистера Ф. хранила безмолвие и только с уничтожающим презрением смотрела на Кленнэма; но когда убрали со стола и подали десерт, она разразилась новым замечанием, внезапным, словно бой часов, и столь же чуждым течению застольной беседы. Флора только что сказала:

– Мистер Кленнэм, не будете ли вы так добры налить портвейна тетушке мистера Ф.?

– Монуменст у Лондонского моста,³⁷ – тотчас же провозгласила упомянутая дама, – поставлен после Большого лондонского пожара; но Большой лондонский пожар это не тот пожар, когда сгорела фабрика вашего дяди Джорджа.

Мистер Панкс с прежним присутствием духа поспешил отозваться: «Неужели, сударыня! Это очень любопытно!» Но тетушка мистера Ф., должно быть, усмотрела тут возражение или иную обиду и, вместо того чтобы снова застыть в безмолвии, гневно заявила:

– Ненавижу дураков!

Это суждение, само по себе исполненное почти соломоновой мудрости, приняло, однако, столь вызывающий и оскорбительный характер, будучи высказано прямо в лицо гостю, что дальнейшее присутствие тетушки мистера Ф. в столовой сделалось явно неудобным. Флора тут же позаботилась ее вывести, что удалось без всякого труда, так как тетушка мистера Ф. не оказала сопротивления и только с непримиримой враждебностью осведомилась, выходя:

– И чего ему тут нужно?

Вернувшись в столовую, Флора принялась уверять, что ее наследство – премилая старушка и

³⁷ *Монуменст у Лондонского моста.* – Речь идет о колонне, воздвигнутой в 1677 году по проекту архитектора К. Ренна в память о большом пожаре 1666 года, уничтожившем большую часть Лондона. Монуменст стоит на том месте, где пожар удалось остановить.

умница, но со странностями, и подчас у нее бывают «беспричинные антипатии», – впрочем, последним обстоятельством Флора, кажется, даже склонна была гордиться. Тут сказалась природная доброта Флоры, и за то, что тетушка мистера Ф. способствовала проявлению этого качества, Кленнэм готов был отнестись к ней снисходительно, тем более что уже избавился от ее устрашающего присутствия и мог спокойно выпить бокал-другой вина со всем обществом. Но тут ему пришло в голову, что Панкс не замедлит сняться с якоря, а Патриарх того и гляди уснет; сообразив это, он поспешно сослался на необходимость навестить еще мать и спросил у мистера Панкса, в какую сторону тот направляется.

– К Сити, сэр, – сказал Панкс.

– Мы можем пойти вместе, если хотите, – предложил Артур.

– С удовольствием, – сказал Панкс.

Меж тем Флора таинственным полупшепотом, предназначенным лишь для ушей Кленнэма, нанизывала торопливые фразы, в которых говорилось о том, что было время, когда... и что к прошлому возврата нет и что он не носит больше золотых цепей и что она верна памяти усопшего мистера Ф. и что она будет дома завтра в половине второго и что веления судьбы непреложны и что она, разумеется, не предполагает, будто он может прогуливаться по северной аллее Грейс-Иинн-Гарденс ровно в четыре часа пополудни. Прощаясь, он сделал попытку дружески пожать руку нынешней Флоре – не той Флоре, которой уже не было, и не Сирене, но из этого ничего не вышло: Флора не захотела, не смогла, обнаружила полнейшую неспособность отделить себя и его от образов их далекого прошлого. С печальным чувством ушел он из патриаршего дома, и еще целых четверть часа брел словно во сне; так что не будь при нем, по счастью, надежного буксира, кто знает, куда бы занесли его ноги.

Когда, наконец, свежий воздух и отсутствие Флоры помогли Артуру прийти в себя, первое, что он увидел, был Панкс, который на полном ходу, пыхтя и отфыркиваясь, обгладывая последние жалкие остатки ногтей с одной руки. Другая рука была засунута в карман, а выдавшая виды шляпа надета задом наперед, и все это вместе, по-видимому, служило у него признаком усиленной работы мысли.

– Прохладный вечер, – заметил Артур.

– Да, пожалуй, – согласился Панкс. – Вы, как приезжий, должно быть, чувствительней меня к лондонской погоде. Мне-то, сказать по правде, ее и замечать некогда.

– Вы ведете очень хлопотливую жизнь?

– Да, у меня всегда хлопот полон рот, то за тем присмотри, то за этим. Впрочем, я люблю такую жизнь, – сказал Панкс, прибавляя шагу. – Человек для того и создан, чтобы заниматься делом.

– Только для этого? – спросил Кленнэм.

Панкс ответил вопросом на вопрос:

– Для чего же еще?

В этой короткой фразе была выражена вся суть сомнения, которое издавна мучило Кленнэма, и он промолчал в раздумье.

– Вот то же я всегда говорю нашим жильцам, – снова заговорил Панкс. – Есть среди них такие – из тех, что нанимают квартиры понедельно. Как приду, сейчас начнут охать и жаловаться: «Мы бедные люди, сэр, всю жизнь гнем спину, бьемся, трудимся, не зная ни отдыха, ни сроку». А я им на это: «А для чего еще вы на свет созданы?» И разговор окончен. Потому что возразить тут нечего. Для чего еще вы на свет созданы? Вопрос ясный.

– О господи, господи! – вздохнул Артур.

– Вот я, например, – сказал Панкс, продолжая свой спор с воображаемым жильцом. – Как я сам считаю, по-вашему, для чего я создан? Для дела и ни для чего большего. Разбудите меня утром пораньше, дайте наспех проглотить чего-нибудь, и за работу! Да нажимайте на меня хорошенько, а я буду нажимать на вас, а вы еще на кого-нибудь. Вот вам и весь священный долг человека в коммерческой стране.

Некоторое время они шли молча, потом Кленнэм спросил:

– Неужели у вас нет никаких склонностей, мистер Панкс?

– Склонностей? А что это значит? – сухо спросил Панкс.

– Ну, скажем, желаний.

– У меня есть желание разбогатеть, сэр, – сказал Панкс. – Только вот не знаю, как это сделать. –

Тут он снова издал уже известное нам рокотанье, и Артуру впервые пришло в голову, что это он так смеется. Удивительный человек был мистер Панкс. Можно было предположить, что он говорит не вполне серьезно, но сухой, отрывистый, резковатый тон, которым он выпаливал свои суждения, словно это были искры, летевшие из топки, не допускал, казалось, мысли о шутке.

– Вы, надо думать, не любитель чтения? – сказал Артур.

– Ничего не читаю, кроме счетов и деловых писем. Ничего не коллекционирую, кроме объявлений о розыске наследников. Вот если это, по-вашему, склонность, значит одна склонность у меня есть. Вы, кстати, не из Корнуоллских Кленнэмов, мистер Кленнэм?

– Насколько мне известно, нет.

– Да, я это и сам знаю. Я уже беседовал с вашей матушкой, сэр. А она такая женщина, которая своего не упустит.

– А если б я был из Корнуоллских Кленнэмов, что тогда?

– Вы могли бы услышать кое-что приятное для вас.

– Вот как? Давно уже со мной этого не случилось.

– Есть в Корнуолле одно имение, сэр, которое само готово свалиться в руки, но нет там такого Кленнэма, который мог бы эти руки подставить, – сказал Панкс, доставая из кармана записную книжку и тут же снова ее пряча. – Ну, мне сюда. Позвольте пожелать вам доброй ночи.

– Доброй ночи, – отозвался Кленнэм. Но буксир, избавившись от баржи, которую ему приходилось тащить, сразу надал ходу и был уже далеко.

Оставшись один, Кленнэм немного постоял на углу Барбикана (Смитфилд они прошли вместе). У него было тяжело на душе, он чувствовал себя одиноким, как в пустыне, и ему вовсе не хотелось окончить этот вечер в мрачных комнатах материнского дома. Он повернул на Олдерсгейт-стрит и направился в сторону собора св. Павла – его тянуло на людные, шумные улицы, где было много света, где бурлила жизнь. Медленно, в раздумье шагая по тротуару, он вдруг увидел толпу людей, двигающуюся ему навстречу, и отступил к дверям какой-то лавки, чтобы дать дорогу. В центре толпы несколько человек несли на плечах большой темный предмет, и, когда они поравнялись с Кленнэмом, он увидел, что это носилки, наспех сооруженные из створки ставен, а на носилках человеческая фигура. Неподвижность этой фигуры, забрызганный грязью узелок в руках одного из идущих рядом, забрызганная грязью шляпа в руках у другого – все заставляло предположить несчастный случай, и обрывки разговоров, донесшихся до Кленнэма, подтвердили это предположение. Дойдя до фонаря в нескольких шагах от Кленнэма, носильщики остановились – понадобилось что-то приладить; остановились и все остальные, и Кленнэм очутился в гуще толпы.

– Что это, несчастный случай? Кого-нибудь несут в больницу? – спросил он у старика, который стоял рядом, качая головой, и явно не прочь был вступить в беседу.

– Обычное дело, – ответил старик. – С этими дилижансами только того и жди. Под суд бы их да оштрафовать хорошенько, тогда бы знали. А то несутся со скоростью двенадцать миль в час, если не все четырнадцать. Удивительно, что они каждый день людей не убивают, эти дилижансы!

– Но ведь этот человек как будто не убит?

– Не знаю, – проворчал старик. – Если и не убит, так не потому, что дилижансы его пожалели, можете быть уверены.

Обличитель дилижансов скрестил на груди руки, готовый продолжить свою обличительную речь к пользе всех, кто захотел бы ее слушать. Тотчас же нашлись у него и единомышленники, главным образом из сочувствия к пострадавшему. «Сущее бедствие, эти дилижансы, сэр», – сказал чей-то голос, обращаясь к Кленнэму. «Вчера на моих глазах дилижанс чуть-чуть не задавил ребенка», – отозвался другой. «А я видел, как дилижанс переехал кошку, – подхватил третий, – а что, если б это была не кошка, а ваша родная мать?» И все совершенно недвусмысленно намекали на то, что, если Кленнэм пользуется каким-нибудь влиянием в общественных делах, он обязан употребить это влияние на борьбу с дилижансами.

– Уж мы, англичане, народ привычный. – продолжал старик, говоривший первым, – нам каждый вечер приходится спасать свою жизнь от этих дилижансов, мы и знаем, что на перекрестках надо держать ухо востро, не то от тебя только мокренько останется. Но каково бедняге-иностранцу, которому и невдомек, что ему грозит!

– Так этот человек – иностранец? – спросил Кленнэм, вытягивая шею, чтобы лучше видеть.

В ответ со всех сторон послышалось: «Француз, сэр!», «Португалец, сэр!», «Голландец, сэр!», «Пруссак, сэр!», и среди этих противоречивых утверждений Кленнэм с трудом расслышал слабый голос, то по-итальянски, то по-французски просивший пить. Однако его слова были истолкованы по-иному. «Ах, бедняга! – зашумели кругом, – он говорит, что ему уже не оправиться; да оно и не мудрено». Тогда Кленнэм попросил пропустить его поближе к пострадавшему, сказав, что понимает его язык. Толпа тотчас же расступилась, и Кленнэм очутился у самых носилок.

– Прежде всего он просит пить, – сказал Кленнэм, оглянувшись. (Немедленно с десятка добровольцев бросились за водой.) – Вам очень больно, друг мой? – спросил он по-итальянски у человека, лежавшего на носилках.

– Да, синьор, очень, очень. Нога моя, ох, моя нога. Но как мне ни худо, я рад услышать звуки родной речи.

– Вы приезжий? Погодите, вот принесли воду. Дайте я напою вас.

Носилки были поставлены на кучу булыжника, возвышавшуюся у обочины мостовой. Слегка нагнувшись, Артур одной рукой приподнял голову лежавшего, а другой поднес стакан к его губам. Смуглый мускулистый человечек, черные волосы, очень белые зубы. Лицо живое, выразительное. Серьги в ушах.

– Вот и хорошо. А теперь скажите, вы приезжий?

– Да, синьор.

– И вы никого не знаете в этом городе?

– Ни одной живой души, синьор. Только сегодня и попал сюда, в недобрый час.

– А откуда?

– Марсель.

– Какое совпадение! Я тоже совсем недавно прибыл сюда из Марселя, и хоть я родился в Лондоне, чувствую себя здесь почти таким же чужим, как и вы. Не падайте духом. – Он обтер незнакомцу лоб, осторожно поправил куртку, которой было покрыто скорчившееся на носилках тело, и выпрямился, но, поймав обращенный на него умоляющий взгляд, поспешил прибавить: – Я не покину вас, пока вам не окажут необходимую помощь. Мужайтесь! Какие-нибудь полчаса, и вы почувствуете себя гораздо лучше.

– О, altro, altro! – воскликнул бедняга с оттенком недоверия в голосе; и когда носилки снова подняли и понесли, он свесил правую руку вниз и покачал в воздухе указательным пальцем.

Артур Кленнэм шагал рядом с носилками, время от времени ободряя пострадавшего ласковым словом. Вскоре они дошли до больницы св. Варфоломея, находившейся неподалеку, куда, однако, не пустили никого, кроме Кленнэма и людей, несших носилки. Пострадавшего деловито и хладнокровно уложили на стол, и его стал осматривать врач, явившийся молниеносно, как само Несчастье.

– Он почти не понимает по-английски, – сказал врачу Кленнэм. – Как по-вашему, тут что-нибудь опасное?

– А вот мы сначала посмотрим, – ответил врач, продолжая свое дело со вкусом и удовольствием, – а уж потом скажем.

Он шупал ногу одним пальцем и двумя пальцами, одной рукой и обеими руками, так и этак, сверху и снизу, вдоль и поперек, одобрительно кивая и делясь особенно интересными наблюдениями с подоспевшим коллегой; потом, наконец, похлопал пациента по плечу и сказал:

– Ничего, починим. Будет как новенький. Придется повозиться, но на этот раз мы ему ногу оставим.

Кленнэм перевел эти слова пациенту, и тот в избытке благодарности принялся целовать руки и у переводчика и у врача.

– Все-таки дело, по-видимому, серьезное? – снова спросил Кленнэм.

– Да-а, – ответил врач мечтательным тоном художника, погруженного в созерцание своего еще недоконченного шедевра. – Да, пожалуй. Сложный перелом бедра и вывих колена. Первоклассные случаи, и то и другое. – Он снова ласково похлопал пациента по плечу, как бы желая выразить свою признательность этому славному малому, сумевшему сломать ногу таким интересным для науки образом.

– Не говорит ли он по-французски? – спросил врач.

– По-французски говорит.

– А, ну тогда мы с ним столкнемся. Придется вам потерпеть немножко, друг мой, – обратился он к пациенту на этом языке, – но вы утешайтесь тем, что все идет как по маслу и скоро вы у нас сможете хоть в пляс пуститься. Ну-ка, взглянем, не найдется ли еще каких-нибудь непорядков и как наши ребра.

Но никаких непорядков больше не нашлось, и наши ребра были целы. Кленнэм оставался, пока ловкие и умелые руки врача делали все, что возможно было сделать, – бедняга трогательно просил не покидать его, чувствуя себя одиноким и беспомощным среди чужих людей, в чужой стране; затем, когда больного перенесли на кровать, посидел у кровати, пока тот не забылся сном, и лишь тогда ушел из больницы, предварительно написав на своей карточке, что завтра придет снова, и попросив передать эту карточку больному, как только тот проснется.

Все эти события отняли так много времени, что, когда Артур Кленнэм вышел из больничных ворот, пробило уже одиннадцать часов. Квартира, которую он для себя временно нанял, находилась близ Ковент-Гардена; туда он и направился, выбрав самый короткий путь, через Сноу-Хилл и Холборн.

В нем уже успели улечься чувства тревоги и участия, разбуженные последним происшествием этого дня, и не удивительно, что, снова оставшись наедине с собой, он возвратился к своим раздумьям. Точно так же не удивительно, что не прошло и десяти минут, как эти раздумья привели его к воспоминанию о Флоре. А с нею невольно вспомнилась и вся его жизнь, незадавшаяся и обделенная счастьем.

Придя домой, он сел в кресло у догорающего огня, и как в тот вечер, когда он глядел на лес закопченных труб, черневший за окном его старой комнаты, перед его мысленным взором потянулся весь безрадостный путь, который ему пришлось пройти. Долгий, унылый, пустынный путь. Ни детства, ни юности – если не считать одной короткой мечты; но сегодняшний вечер показал, что и эта мечта была призрачной.

Для другого это было бы пустяком, для него послужило тяжелым ударом. В самом деле, все, что по воспоминаниям рисовалось ему мрачным и гнетущим, на поверку таким и оказалось; память ни в чем его не обманула, ничего не прибавила к суровой правде прошлого, и эта правда была зримой и осязаемой в настоящем; лишь единственное светлое воспоминание не выдержало испытания и разлетелось в прах. Он это предчувствовал еще в тот первый вечер, размечтавшись наяву и своей старой комнате; но тогда это было только предчувствие, теперь же оно подтвердилось.

Его сделала мечтателем неискоренимая вера во все светлое и прекрасное, чего он был лишен в жизни. В доме, где царил расчет и корысть, эта вера помогла ему вырасти человеком благородным и щедрым. В доме, где не было места ласке и теплу, эта вера помогла ему сохранить доброе и отзывчивое сердце. В доме, где все было подчинено мрачной и дерзновенной религии, на место бога, создавшего человека по образу и подобию своему, поставившей бога, созданного человеком по его грешному образу и подобию, эта вера научила его не судить других, не ожесточаться в унижении, надеяться и сострадать ближнему.

И она же уберегла его от опасности стать одним из тех жалких нытиков и злобствующих себялюбцев, которые лишь потому, что их собственную узенькую тропку не пересекло ни разу истинное счастье или истинное добро, готовы утверждать, будто ничего такого и нет на божьем свете, а есть только видимость, скрывающая побуждения низкие и мелочные. Он испытал много разочарований, но дух его остался твердым и здоровым, и тлетворные мысли были ему чужды. Сам пребывая в темноте, он умел видеть свет и радоваться за других, кого этот свет озарял.

Вот и сейчас, сидя у догорающего огня, он с грустью вспоминал весь долгий путь, пройденный до этого вечера, однако не пытался отравить ядом зависти чужие пути. Но горько было сознавать в его годы, что в жизни так много не удалось и что не видно кругом никого, кто разделит бы и скрасил остаток его жизненной дороги. Огонь в камине уже не горел, только тускло рдели дотлевающие угли, потом от них остался лишь пепел, потом и пепел рассыпался серой пылью, а он все смотрел и думал: «Вот скоро и я пройду все положенные перемены и перестану существовать».

Перебирая в памяти свою жизнь, он как будто шел издалека к зеленому дереву, которое увядало по мере его приближения – осыпался цвет, облетала листва, а потом и ветки, засыхая, обламывались одна за другой.

«Безрадостное, унылое детство, печальная юность в холодном и неприятном доме, долгие годы

на чужбине, возвращение, встреча с матерью, тоже не принесшая ни тепла, ни радости, а теперь еще сегодняшнее злосчастное свидание с Флорой – к чему все это привело меня? Что у меня есть в жизни?»

Дверь тихонько отворилась, и, вздрогнув от неожиданности, он услышал два слова, прозвучавшие словно в ответ:

– Крошка Доррит.

Глава XIV **Бал Крошки Доррит**

Артур Кленнэм вскочил на ноги и увидел в дверях Знакомую фигурку. Рассказывающий эту историю должен порой смотреть глазами Крошки Доррит, что он и попытается сейчас сделать.

Комната, на пороге которой стояла Крошка Доррит, показалась ей просторной и роскошно обставленной. Знаменитые ковент-гарденские кофейни, где джентльмены в шитых золотом кафтанах и при шпагах затевали ссоры и дрались на дуэлях; живописный ковент-гарденский рынок, где зимой продавались цветы по гинее за штуку, ананасы по гинее за фунт и зеленый горошек по гинее за чашку; великолепный ковент-гарденский театр, где разодетые дамы и кавалеры смотрели увлекательные представления, какие и не снились бедной Фанни и бедному дядюшке; мрачные ковент-гарденские аркады, где оборванные ребятишки жались друг к другу, чтобы согреться, шныряли точно крысы в поисках отбросов и точно крысы разбегались от погони (бойтесь крыс, уважаемые Полипы, бойтесь крыс, молодых и старых, ибо, видит бог, они подгрызают фундамент здания, в котором мы живем, и рано или поздно оно обрушится нам на голову!); Ковент-Гарден, где тайны минувших дней соседствуют с тайнами нового времени, романтика с житейскими буднями, изобилие с нуждой, красота с безобразием, аромат цветников со зловонием сточных канав, – все эти пестрые видения роились в голове Крошки Доррит, затуманивая вид и без того полутемной комнаты, куда она робко заглядывала с порога.

Однако она сразу увидела того, кого искала, – человека с печальным загорелым лицом, который улыбался так ласково, говорил так сердечно и деликатно и все же своей прямой манерой обращения напоминал ей миссис Кленнэм, только у матери прямота шла от суровости, а у сына от благородства души. Когда она вошла, он сидел в кресле перед потухшим камином, но, услышав ее голос, оглянулся и встал, и теперь смотрел на нее тем пытливым, внимательным взглядом, перед которым она всегда опускала глаза – опустила и теперь.

– Мое бедное дитя! Вы здесь, в такой час!

– Я знала, что вы будете удивлены, сэр. Я потому нарочно и сказала: «Крошка Доррит», чтобы предупредить вас.

– Вы одна?

– Нет, сэр; со мной Мэгги.

Услышав свое имя, Мэгги сочла, что ее появление достаточно подготовлено, и ступила на порог, растянув рот до ушей в приветственной улыбке. Впрочем, она тотчас же согнала с лица этот знак веселья и приняла торжественно сосредоточенный вид.

– А у меня уже погас огонь в камине, – сказал Кленнэм, – а вы так... – он хотел сказать «так легко одеты», но спохватился, что это было бы намеком на ее бедность, и сказал. – А вечер такой холодный.

Он усадил ее в свое кресло, придвинув его поближе к камину, потом принес дров, угля и развел огонь.

– У вас ноги совсем ледяные, дитя мое (стоя на коленях и возясь с дровами, он нечаянно коснулся ее ноги), протяните их к огню. – Но Крошка Доррит торопливо поблагодарила и стала уверять, что ей тепло, очень тепло! У Кленнэма сжалось сердце: он понял, что она не хочет показывать свои худые, стоптанные башмаки.

Крошка Доррит не стыдилась своих изношенных башмаков. Кленнэм знал о ней все, и ей не приходилось перед ним стыдиться. Крошку Доррит беспокоило другое: не осудил бы он ее отца, увидя, в каких она башмаках, не подумал бы: «Как может он спокойно есть свой обед в то время, как

это маленькое существо чуть не босиком ходит по холодному камню!» Не то, чтобы ей самой казался справедливым этот упрек; просто она по опыту знала, что подобные нелепые мысли иногда приходят людям в голову – к несчастью для ее отца!

– Прежде всего, – начала Крошка Доррит, греясь у бледного пламени камина и снова подняв глаза на того, чье живое участие, сострадание и покровительство казалось ей непонятной загадкой, – прежде всего мне хотелось сказать вам кое-что.

– Я вас слушаю, дитя мое.

Легкая тень прошла по ее лицу; ее огорчало, что он обращается к ней как к ребенку. Она не ожидала, что он подметит это, но к ее удивлению он тотчас же сказал:

– Я искал ласкового обращения и ничего другого не придумал. Вы сами только что назвали себя именем, которым вас зовут в доме у моей матери; позвольте же и мне называть вас так, тем более что в мыслях я всегда употребляю это имя: Крошка Доррит.

– Благодарю вас, сэр; это имя мне очень нравится.

– Крошка Доррит.

– Никакая не Крошка, а маменька, – наставительно поправила Мэгги, уже совсем было задремавшая.

– Это одно и то же, Мэгги, – успокоила ее Крошка Доррит, – одно и то же.

– Совсем одно и то же, маменька?

– Да, да, совсем.

Мэгги рассмеялась и тотчас же захрапела. Но для Крошки Доррит в этой нелепой фигуре и в этих вульгарных звуках не было ничего безобразного. Маленькая маменька даже как будто гордилась своим неуклюжим ребенком, и глаза ее сияли, когда она вновь посмотрела в печальное, загорелое лицо того, к кому пришла. Ей было любопытно, какие мысли приходят ему в голову, когда он смотрит на нее и на Мэгги. Она думала о том, как счастлива была бы дочь человека, у которого такое лицо, каким бы он был заботливым, любящим отцом.

– Я хотела сказать вам, сэр, – снова начала Крошка Доррит, – что мой брат выпущен на свободу.

Артур был очень рад это слышать и выразил надежду, что теперь все у него пойдет хорошо.

– И еще я хотела сказать вам, сэр, – продолжала Крошка Доррит, с дрожью в голосе и во всем своем маленьком теле, – что мне запрещено знать, кому он обязан своей свободой, запрещено спрашивать об этом, запрещено догадываться, запрещено высказать этому великодушному человеку, как безгранично я ему благодарна!

Ему, верно, не требуется благодарности, заметил Кленнэм. Он, может быть, сам (и с полным основанием) благодарит судьбу, что она дала ему случай и средство оказать маленькую услугу той, которая заслуживает гораздо большего.

– И еще я хочу сказать, сэр, – продолжала Крошка Доррит, дрожа все сильнее и сильнее, – что, если бы я знала его и могла говорить, я бы сказала ему, что никогда, никогда он не сможет представить себе, как глубоко я тронута его добротой и как был бы тронут ею мой добрый отец. И еще я хочу сказать, сэр, что, если бы я знала его и могла говорить – но я его не знаю, и я помню, что должна молчать! – я бы сказала ему, что до конца моей жизни я буду каждый вечер молиться за него. И если бы я знала его, если бы я могла, я стала бы перед ним на колени, и целовала бы ему руку, и умоляла бы не отнимать ее – хоть одно мгновение! – чтобы я могла пролить на нее слезы благодарности, потому что больше мне нечем его отблагодарить!

Крошка Доррит прижалась губами к его руке и хотела было опуститься на колени, но он мягко удержал ее и усадил снова в кресло. Ее взгляд, ее взволнованный голос были для него самой лучшей благодарностью, хоть она не догадывалась об этом. С трудом преодолевая собственное волнение, он сказал:

– Ну, полно, полно, Крошка Доррит! Будем считать, что вы узнали, кто этот человек, и что вы все это имели возможность исполнить и даже исполнили. И теперь забудьте об этом человеке и расскажите мне – не ему, а мне, вашему другу, которым вы всегда можете располагать, – почему вы бродите по улицам в такой поздний час и что завело вас чуть не в полночь так далеко от дома, мое милое... – «дитя», чуть было не сорвалось опять у него с языка, – моя милая маленькая Крошка Доррит?

– Мы с Мэгги нынче были в театре, – сказала она, привычным усилием справившись со своими чувствами, – в театре, где у моей сестры ангажемент.

– Ой, до чего же там хорошо! – неожиданно отозвалась Мэгги, видимо обладавшая способностью засыпать и просыпаться в любую минуту по своему усмотрению. – Не хуже, чем в больнице. Только что курятины не дают.

Она слегка поежилась и снова заснула.

– Мне иногда хочется своими глазами взглянуть, как идут дела у сестры, вот мы туда и отправились, – пояснила Крошка Доррит. – Люблю иногда посмотреть на нее издали, так, чтобы ни она, ни дядя не знали. Правда, мне это редко удается, ведь если я не уйду на работу, так сижу с отцом, а если и уйду, так всегда спешу к нему вернуться. Но сегодня я ему сказала, что иду на бал.

Робко и нерешительно произнесла это признание, она снова подняла глаза на Кленнэма, и так ясно прочитала на его лице вопрос, что поторопилась ответить:

– О нет, что вы! Я ни разу в жизни не была на балу. И немного помедлив под его внимательным взглядом, добавила:

– Я надеюсь, что тут нет большого греха. Приходится иной раз выдумывать немножко, ради их же пользы.

Она боялась, что он мысленно осуждает ее за эти уловки, помогающие ей заботиться о своих родных, думать о них, оберегать их без их ведома и благодарности, быть может, даже навлекая на себя упреки в недостатке внимания. Но у Кленнэма в мыслях было совсем другое – он думал о необыкновенной силе духа, сокрытой в этой слабенькой девушке, об ее стоптанных башмаках и поношенном платьице, об ее несуществующих, выдуманных развлечениях. Где же этот бал, куда она будто бы отправилась, спросил он. В одном доме, где ей часто случается работать, отвечала, покраснев, Крошка Доррит. Она не стала путаться в подробностях перед отцом; просто сказала в двух словах, чтобы он не беспокоился. Отец не должен был думать, что речь идет о каком-то настоящем великосветском бале – да ему это вряд ли и пришло бы в голову. Она покосилась на свою плохонькую шаль.

– Мне еще никогда не случалось уходить из дому на всю ночь, – сказала Крошка Доррит. – Лондон кажется таким большим, таким чужим, таким пустынным.

Крошка Доррит вздрогнула, говоря эти слова; огромный город, раскинувшийся под черным небом, пугал ее.

– Но я не потому решила беспокоить вас, сэр, – продолжала она, снова овладев собою. – Моя сестра свела знакомство с какой-то дамой, и ее рассказы об этом знакомстве встревожили меня, вот я и отправилась сегодня в театр. А проходя мимо вашего дома, я увидела свет в окне, и...

Не в первый раз. Нет, не в первый раз. Уже много вечеров свет в этом окне, точно далекая звездочка, манил Крошку Доррит. И нередко, усталая и измученная, она возвращалась в Маршалси кружным путем, чтоб только пройти мимо дома, где жил вернувшийся из дальних стран человек с печальным, загорелым лицом, который говорил с ней как друг и покровитель.

– И вот я надумала подняться к вам, чтобы поговорить о трех вещах, о которых мне очень нужно вам сказать. Первое, это то, что я уже пыталась, но не могу... не должна...

– Тсс, тсс! Мы ведь уже уговорились, что с этим покончено. Перейдем ко второму, – сказал Кленнэм, успокаивая ее ласковой улыбкой. Он помешал в камине, чтобы пламя разгорелось ярче, и поставил на столик перед ней вино, пирожное и фрукты.

– Второе вот что, сэр, – сказала Крошка Доррит, – мне кажется, миссис Кленнэм узнала мою тайну – узнала, откуда я прихожу и куда возвращаюсь. Иначе говоря, – где я живу.

– Вот как? – живо откликнулся Кленнэм и, немного помолчав, спросил, почему она так думает?

– Мне кажется, мистер Флинтвинч выследил меня, – сказала Крошка Доррит.

Кленнэм помолчал еще немного, сдвинув брови и глядя в огонь; потом снова спросил: а почему она так думает?

– Я два раза повстречала его. Оба раза недалеко от дома. Оба раза вечером, когда возвращалась с работы. Оба раза у него был такой вид, что мне эта встреча показалась не случайной – хоть, может быть, я и ошибаюсь.

– Он вам что-нибудь говорил?

– Нет, только кивнул и прошел мимо, склонив голову набок.

– Черт бы его побрал с его головой, – задумчиво пробормотал Кленнэм, не отводя глаз от ог-

ня, – она у него всегда набок.

Опомнившись, он стал уговаривать ее выпить вина, съесть хоть кусочек чего-нибудь – трудная задача, принимая во внимание ее робость и застенчивость, – потом спросил прежним задумчивым тоном:

– А моя мать не переменялась к вам?

– О нет, ничуть. Она такая же, как всегда. Но я подумала, может быть, рассказать ей всю свою историю. Я подумала, может быть, вы сочли бы это правильным. Я подумала, – Крошка Доррит умоляюще вскинула на него глаза и тотчас же снова опустила их, встретив его взгляд, – может быть, вы посоветуете, что мне делать.

– Крошка Доррит, – сказал Кленнэм; это имя, смотря по тому, как и когда оно произносилось, уже начинало служить им обоим заменой множества ласковых имен, – не делайте ровно ничего. Я попробую поговорить с моим старым другом, миссис Эффери. – Ничего не нужно делать, Крошка Доррит, разве только подкрепить сейчас свои силы тем, что стоит на столе. Вот об этом я вас прошу от всей души.

– Благодарю вас, но мне, право же, совсем не хочется есть. И пить тоже не хочется, – добавила Крошка Доррит, заметив, что он тихонько подвинул к ней стакан. – Вот, может быть, Мэгги...

– Непременно, – сказал Кленнэм. – И я надеюсь, что у нее в карманах найдется место для всего, что она не успеет съесть здесь. Но прежде чем мы ее разбудим – ведь вы собирались сказать мне еще что-то, третье?

– Да. Только вы не обидитесь, сэр?

– Обещаю, о чем бы ни шла речь.

– Вам, верно, это покажется странным. Не знаю, как и сказать. Только не сочтите это прихотью или неблагодарностью с моей стороны, – говорила Крошка Доррит, снова невольно поддаваясь волнению.

– Нет, нет, нет. Я заранее уверен, что все, что вы скажете, будет разумным и справедливым. И я ничуть не опасаясь неверно истолковать ваши слова.

– Благодарю вас, сэр. Вы решили еще раз навестить моего отца?

– Да.

– И вы собираетесь сделать это завтра – по крайней мере вы были так добры и внимательны, что предупредили его об этом запиской.

– Да – но стоит ли говорить о таких пустяках!

– Так вот, я хочу просить вас не делать кое-чего, – сказала Крошка Доррит, крепко сжав свои маленькие ручки и устремив на него взгляд, в который она вложила, казалось, всю свою душу. – Вы не догадываетесь, чего именно?

– Пожалуй, догадываюсь. Но я могу и ошибаться.

– Нет, вы не ошибаетесь, – сказала Крошка Доррит, покачав головой. – Если нам будет так трудно, так трудно, что мы не сможем без этого обойтись, тогда я сама попрошу у вас, хорошо?

– Хорошо. Пусть будет по-вашему.

– Не поощряйте его. А если он станет просить, делайте вид, что вы не понимаете просьб. И не давайте ему ничего. Пощадите его, избавьте от этого унижения и вам тогда легче будет его уважать.

Слезы заблестели в ее полных тревоги глазах, и Кленнэм дрогнувшим голосом поспешил ответить, что ее желание для него священо.

– Вы ведь его не знаете по-настоящему, – сказала она. – Не знаете и не можете знать. Вы только видите, до чего он дошел, бедный мой, дорогой мой отец, но вы не видели всего, что его довело до этого. А я видела и знаю! И оттого, что вы были так добры к нам, отнеслись с таким чутким участием, мне особенно хочется, чтобы вы думали о нем лучше. Для меня нестерпима мысль, – вскричала Крошка Доррит, закрыв лицо руками, – для меня нестерпима мысль, что вы, именно вы, видите его только в минуты его унижения!

– Ну, не надо так убиваться, – сказал Кленнэм. – Право, не надо, Крошка Доррит. Я все понял, уверяю вас.

– Благодарю вас, сэр. Благодарю! Я всячески старалась избежать этого разговора, день и ночь думала, как мне быть; но когда я узнала, что вы обещались прийти к нам завтра, я решилась. Только это не потому, чтобы я стыдилась своего отца, – она быстро вытерла слезы, – а потому, что я знаю

его, как никто не знает, и люблю его и горжусь им.

Высказав то, что камнем лежало у нее на душе, Крошка Доррит заторопилась уходить. У Мэгги сна уже как не бывало; она пожирала глазами пирожное и фрукты, ухмыляясь в приятном ожидании. Кленнэм, желая отвлечь Крошку Доррит от печальных мыслей, налил ее подопечной стакан вина, который та немедленно выпила, причем после каждого глотка громко причмокивала, поглаживая себя по горлу, и приговаривала замирающим голосом, закатив глаза под самый лоб: «Ох, и вкусно! Ну прямо как в больнице!» Когда же с вином и с восторгами было покончено, он просил ее сложить все угощение в свою корзинку (Мэгги никогда не выходила без корзинки), да позаботиться, чтобы на столе ничего не осталось. Радость, с которой Мэгги бросилась исполнять его просьбу, и радость маленькой маменьки при виде радости Мэгги убедили Кленнэма, что лучшего завершения разговора и придумать нельзя было.

– Но ведь ворота уже давным-давно заперты, – вдруг спохватился Кленнэм. – Куда же вы пойдете?

– Я буду ночевать у Мэгги, – ответила Крошка Доррит, – Мне там будет очень хорошо и покойно.

– В таком случае, я провожу вас, – сказал Кленнэм. – Я не могу отпустить вас одних в такой час.

– Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, – взмолилась Крошка Доррит. – Я вас очень, очень прошу!

Она просила так убедительно, что Кленнэм счел неделикатным настаивать – тем более, что ему нетрудно было представить себе убогое жильё Мэгги.

– Пойдем, Мэгги, – весело сказала Крошка Доррит, – мы отлично дойдем одни; дорогу мы знаем, верно, Мэгги?

– Верно, маменька, дорогу мы знаем, – прыснув со смеху, сказала Мэгги.

И они ушли; но прежде чем переступить порог, Крошка Доррит оглянулась и сказала: «Благослови вас бог!» Она сказала это совсем тихо, но как знать! – быть может, там, в вышине, ее слова были слышны не хуже, чем если б их пропел целый соборный хор.

Артур Кленнэм выждал, покуда они завернут за угол, и незаметно последовал за ними. У него не было намерения навязывать свое присутствие Крошке Доррит там, где оно оказалось бы нежелательным, но он хотел убедиться, что она благополучно добралась до знакомого квартала. Такой крохотной, такой хрупкой и беззащитной в сырой холодной мгле казалась ее фигурка, полускрытая колышущейся тенью ее подопечной, что Кленнэму, который привык смотреть на нее как на ребенка, захотелось взять ее на руки и понести.

Но вот они вышли на широкую улицу, в конце которой находилась тюрьма Маршалси, и Кленнэм увидел, как они слегка замедлили шаг, а потом свернули в переулок. Он остановился, чувствуя себя не вправе идти дальше, и, постояв немного, нерешительно повернул назад. Ему и в голову не приходило, что им грозит опасность всю ночь провести на улице; и лишь много, много времени спустя он узнал правду.

Убогий домишко, к которому они подошли, был весь погружен в темноту, и ни звука не доносилось из-за запертой двери. Тогда Крошка Доррит сказала своей подопечной:

– Мэгги, тебе на этой квартире живется хорошо, и поэтому не следует вызывать неудовольствие хозяев. Постучимся тихонько раз и другой; а если нам не откроют, придется ждать до утра.

Крошка Доррит осторожно постучала в дверь и прислушалась. Еще раз осторожно постучала в дверь и еще раз прислушалась. Все было тихо.

– Ничего не поделаешь, милая Мэгги. Запасемся терпением и будем ждать утра.

Ночь была сырая и темная, холодный ветер пронизывал до костей, и когда они вновь очутились на улице, которая вела к Маршалси, где-то рядом часы пробили половину второго. – Еще каких-нибудь пять с половиной часов, – сказала Крошка Доррит, – и можно будет идти домой. – Заговорив о доме, который находился так близко, естественно было пойти взглянуть на него. Они подошли к запертым воротам тюрьмы и заглянули сквозь решетку в наружный дворик. – Надеюсь, отец мирно спит и не тревожится обо мне, – сказала Крошка Доррит, целуя холодное железо.



От ворот, таких привычных и знакомых, словно веяло дружеским теплом. Они поставили в уголок корзинку Мэгги и уселись на нее, тесно прижавшись друг к другу. Тишина и безлюдье ночной улицы не пугали Крошку Доррит, но стоило ей заслышать в отдалении чьи-то шаги или увидеть, как чья-то тень метнулась от фонаря к фонарю, она вздрагивала и шептала: – Мэгги, кто-то идет. Пойдем отсюда! – И Мэгги просыпалась, недовольно сопя, и они уходили в сторону от тюрьмы, но когда все стихало, опять возвращались на прежнее место.

Вначале Мэгги, увлеченная едой, держалась довольно бодро. Но мало-помалу это занятие потеряло для нее прелесть новизны, и тогда она начала хныкать и жаловаться на холод. – Потерпи, моя хорошая, уже немного осталось, – ласково уговаривала ее Крошка Доррит. – Да, вам-то легко, маменька, – возражала Мэгги, – а каково мне, бедненькой, ведь мне всего десять лет.

Наконец, когда все кругом вовсе уж стихло, Крошке Доррит удалось убаюкать свою подопечную, положив ее большую безобразную голову к себе на грудь. Так и сидела она в этот глухой ночной час, все равно что одна, у тюремной решетки, сидела и смотрела на небо, где в бешеном хороводе неслись среди звезд облака – это и были танцы на балу Крошки Доррит.

«А хорошо бы в самом деле быть сейчас на балу! – мелькнуло вдруг у нее в мыслях. – Чтобы вокруг было светло и тепло и красиво, и чтобы бал происходил у нас, в нашем доме, и мой отец, бедный дорогой отец мой был бы хозяином этого дома, а никакой тюрьмы Маршалси и не знавал бы никогда. И чтобы мистер Кленнэм тоже там был, и мы бы с ним танцевали под чудесную музыку, и у всех было бы так легко и весело на душе. Хотелось бы мне знать...» Много чего хотелось бы знать Крошке Доррит, и, глядя на звезды, она забылась в мечтах, но вскоре ее вернуло к действительности

хныканье проснувшейся Мэгги, которая озябла и хотела согреться на ходу.

Три часа, половина четвертого, а они все ходили и ходили. Они миновали Лондонский мост, слушали, как плещется вода, набегая на его устои, со страхом вглядывались в туман испарений, клубившийся над поверхностью реки, и там, где на воду ложились отсветы мостовых фонарей, видели мерцающие блики, точно дьявольские очи, привораживающие грех и нищету. Они убегали от пьяных. Обходили бездомных, приютившихся на ночлег в темных закоулках. Испуганно шарахались в сторону при виде ночных бродяг, которые шныряли по примолкшим улицам, с громким свистом перекликаясь на перекрестках, или же со всех ног удирали от кого-то. Вот когда пригодилась Крошке Доррит ее детская наружность – со стороны казалось, будто Мэгги ведет ее за собой, хотя на самом деле это она и вела и ободряла свою спутницу. Не раз во встречной гурьбе гуляк или подозрительных оборванцев слышался возглас: «Эй, дайте пройти женщине с ребенком».

И женщина с ребенком проходили и шли дальше, и вот уже где-то на колокольне пробило пять часов. Они теперь брели к востоку, всматриваясь, не покажется ли в небе первая бледная полоска рассвета, – как вдруг какая-то женская фигура загородила им дорогу.

– Что ты тут делаешь с ребенком? – спросила женщина у Мэгги.

Говорившая была молода – слишком молода, видит бог, чтобы одной бродить по улицам в такой час! – и лицо ее не было ни безобразным, ни злым. Слова ее прозвучали грубо, но голос вовсе не был груб от природы, напротив, в нем слышались мелодичные нотки.

– А вы что тут делаете? – в свою очередь спросила Мэгги, ничего лучшего не придумав для ответа.

– А ты сама не догадываешься?

– Нет, не догадываюсь, – сказала Мэгги.

– Гублю себя. Вот тебе ответ на твой вопрос, а теперь отвечай на мой. Что ты тут делаешь с ребенком?

Та, кого она приняла за ребенка, не поднимая головы, жалась к Мэгги.

– Бедняжечка! – сказала женщина. – Сердца у тебя, что ли, нет, что ты ее таскаешь ночью по улице в этакую стужу? Глаз, что ли, нет, что ты не видишь, какая она худенькая и слабенькая? Ума, что ли, нет (впрочем, на то похоже), что ты не замечаешь, как дрожит ее озябшая ручонка. – Она шагнула ближе и, взяв руку Крошки Доррит, принялась растирать ее своими ладонями. – Поцелуй несчастную грешницу, милочка, – добавила она, склонив голову, – и скажи, куда эта женщина ведет тебя.

Крошка Доррит подняла лицо к говорившей.

– Боже правый! – воскликнула та, попятившись. – Да это взрослая девушка!

– Не смущайтесь тем, что я не ребенок! – возразила Крошка Доррит, удерживая разжавшиеся руки незнакомки. – Я все равно ничуть не боюсь вас.

– Напрасно! – был сумрачный ответ. – У вас нет матери?

– Нет.

– И отца тоже нет?

– Отец есть, и я горячо люблю его.

– Так возвращайтесь же в отчий дом и бойтесь таких, как я. Пустите, мне недосуг. Прощайте!

– Я прежде хочу поблагодарить вас. Позвольте мне говорить с вами так, как если б я и в самом деле была ребенком.

– Увы, это невозможно, – сказала женщина. – У вас чистая душа и доброе сердце, но вы не можете смотреть на меня детскими глазами. Я никогда не осмелилась бы прикоснуться к вам, если бы не думала, что передо мною ребенок.

Надрывный, болезненный стон вырвался из ее груди, и она исчезла.

Еще в небе не занималась утренняя заря, но утро уже наступило. Оно звонко перекатывалось по камням мостовой, скрипело колесами подвод, экипажей, фургонов, хлопало ставнями отпирающихся лавок, спешило в толпе рабочего люда на фабрики и в мастерские, шумело на рыночных площадях, суетилось у берега реки. Уже по-утреннему тускнели и меркли огни, по-утреннему крепчал холод, и ночь, обессиленная, умирала.

Крошка Доррит со своей спутницей повернула назад, к тюрьме, решив дождаться там, когда отопрут ворота, но стоять на сыром ветру было холодно, и, взяв за руку Мэгги, которая спала на хо-

ду, Крошка Доррит повела ее дальше. Проходя мимо церкви, она увидела в полуотворенной двери свет и решилась заглянуть.

Какой-то тучный старик стоял посреди церкви и надевал на голову ночной колпак, словно собираясь лечь спать в одном из склепов.

– Что нужно? – крикнул он, оглядываясь на дверь.

– Ничего, сэр, – ответила Крошка Доррит, отступив назад.

– Эй! – крикнул старик. – А ну покажись, кто там!

Услышав это, Крошка Доррит, уже спускавшаяся со ступенек, вернулась и вместе со своей подопечной перешагнула порог церкви.

– Так и есть! – сказал старик. – Я ведь вас знаю.

– И я вас знаю, сэр, – ответила Крошка Доррит, узнав старика, который был не то причетником, не то пономарем, не то церковным сторожем. – Мы видимся с вами всякий раз, когда я прихожу в церковь.

– Ну, разумеется, – ведь ваше рождение записано в метрической книге нашего прихода; мало того – вы одна из наших местных достопримечательностей.

– Неужели? – сказала Крошка Доррит.

– А как же! Вы ведь дитя Ма... кстати, каким образом вы так рано очутились на улице?

– Мы вчера опоздали и теперь дожидаемся, когда откроют ворота.

– Слыханное ли дело! Да вам еще добрый час дожидаться! Идемте-ка в ризницу. Там есть огонь, я развел его в ожидании маляров. Кабы не эти маляры, вы бы меня не застали здесь в такой час, можете быть уверены. Ну идемте, идемте. Мы не допустим, чтобы одна из наших достопримечательностей мерзла, когда в наших силах приютить и обогреть ее.

Он был добрейший старик, этот причетник или пономарь, несмотря на свою воркотню. Помешав в печке, он принялся рыться на полках, уставленных приходскими книгами.

– Вот тут мы вас сейчас и разыщем, – сказал он, достав толстый том и листая его страницы. – Ага, вот, пожалуйста, черным по белому: «Эми, дочь Уильяма и Фанни Доррит. Родилась в тюрьме Маршалси, приход св. Георгия». А когда мы кому-нибудь показываем эту запись, то всегда прибавляем: «И с тех пор живет там, не отлучаясь ни на один день, ни на одну ночь». Верно Это?

– Было верно, до вчерашнего вечера.

– Боже ты мой! – Он взглянул на нее с восхищением, но при этом, должно быть, заметил нечто, придавшее его мыслям другой ход. – Какая же вы усталая, да бледная, даже смотреть жалко. Вам надо отдохнуть. Пойду принесу несколько подушек с церковных скамей, и вы с вашей подружкой приляжете у огня. Не бойтесь, домой поспеете вовремя. Я разбужу вас, когда откроют порога.

Он принес подушки и разложил их на полу.

– Ну вот, располагайтесь. Со всеми, можно сказать, удобствами. Нет, нет, пожалуйста, не благодарите. У меня у самого есть дочери. Правда, они не родились в тюрьме, но это легко могло случиться, если бы их отец похож был на вашего. Погодите-ка. Изголовье у вас слишком низко, что бы такое подложить под подушку? А, вот книга погребений, как раз то, что требуется! Здесь у нас записана миссис Бэнгем. Впрочем, когда люди смотрят на такие книги, их обычно интересует не кто в них записан, а кто в них еще не записан. Когда чья, можно сказать, очередь придет – вот самый интересный вопрос.

Он окинул одобрительным взглядом сооруженное ложе и удалился, пожелав им приятного отдыха. Мэгги уже храпела вовсю; вскоре и Крошка Доррит крепко заснула, положив голову на книгу Судьбы, и тайна, которую скрывали незаполненные листы этой книги, не тревожила ее сна.

Таковы были развлечения на балу Крошки Доррит. Зрелище позора, нищеты, неприютности, безобразная изнанка жизни великой столицы; сырость, холод, быстрый бег облаков в небе и томительная медлительность мрачных ночных часов. Таковы были развлечения на балу, с которого Крошка Доррит вернулась, усталая и измученная, в сером туманном свете дождливого утра.

Глава XV

Миссис Флинтвинч снова видит сон

Старый, одетый мантией копоты дом, что стоял на одной из улиц Сити, тяжело опираясь на ко-стыли, вместе с ним обветшавшие и источенные временем, не знал никаких утех в своем унылом су-ществовании калеки. Если солнце порой освещало его, то лишь одним косым лучом, и то не больше чем на полчаса; если озаряла его луна, то в заплатах лунного света его траурная одежда казалась еще печальнее; а звезды, те уж, понятное дело, смотрели на него холодным взглядом, когда ночь была яс-ная и дым не застилал неба. Зато всякая непогода держалась за него с редким постоянством. Дождь, град, мороз, слякоть продолжались здесь, когда в других местах о них и думать забыли; что же каса-ется снега, то он лежал здесь неделями, успев уже из желтого сделаться черным и, медленно исходя грязными слезами, доживал свою неприглядную жизнь. Других завсегдатаев не было у этого дома. Уличный шум почти не проникал в его стены, стук колес проезжавшего мимо экипажа врывался туда лишь на мгновение, и от этого у миссис Эффери постоянно было такое чувство, будто у нее заложило уши и слух возвращается к ней только урывками и ненадолго. Так же было и с голосами прохожих, с пением, свистом, смехом, со всеми звуками жизненного веселья. Они на короткий миг будоражили тишину и тотчас же пролетали дальше.

Пламя свечи и пламя камина поочередно освещали комнату миссис Кленнэм, и только эта сме-на огней нарушала царившее там мертвенное однообразие. Весь день и всю ночь в двух длинных, уз-ких окнах горел неяркий, мрачноватый свет. Случалось, что он вдруг яростно вспыхивал, как то бы-вало и с ней самой; но чаще мерцал уныло и ровно, медленно, как и она, пожирая самое себя. Однако в короткие зимние дни, когда вскоре после полудня начинало смеркаться, на стене противоположно-го дома возникали искаженные тени самой миссис Кленнэм, мистера Флинтвинча с его скривленной шеей, миссис Эффери, которая то появлялась, то исчезала. Они двигались по стене, дрожа и колеб-лясь, словно изображения в гигантском волшебном фонаре. Когда больная укладывалась в постель, тени одна за другой пропадали – исполинская тень миссис Эффери всегда мелькала на стене дольше других, но, наконец, тоже исчезала в воздухе, как будто она отправилась на шабаш ведьм. И только свеча одиноко горела в окне, постепенно бледнея с приближением утра, пока ее не задувала миссис Эффери, чья тень появлялась к этому времени вновь, словно воротясь с шабаша.

А может быть, слабый огонек этой свечи служил маяком кому-то, кто неожиданно-негаданно должен был явиться сюда по зову судьбы? Может быть, слабый огонек этой свечи был сторожевым огнем, которому суждено было зажигаться в комнате больной каждую ночь, до тех пор, пока не про-изойдет назначенное от века событие? Кто же из несметного множества путников, что странствуют при солнце и при звездах, на суше и на море, взбираются на крутые горы и устало бредут по бес-крайным равнинам, сходятся и расходятся в прихотливом скрещении дорог, непостижимо влияя по-рой на свои и чужие судьбы, – кто из них, сам не зная об истинной цели своих странствий, медленно, но верно приближался в то время к дому, где горел этот путеводный огонь?

Время покажет нам. Почетное возвышение и позорный столб, эполеты генерала и палочки ба-рабанчика, памятник в Вестминстерском аббатстве³⁸ и зашитый мешок, спущенный за борт судна, митра и рабочий дом, кресло лорд-канцлера и виселица, трон и гильотина – любой жребий может ожидать того, кто сейчас в пути на большой дороге жизни; но у этой дороги есть неожиданные пово-роты, и только Время покажет нам, куда она приведет того или иного путника.

Однажды в зимние сумерки супруге мистера Флинтвинча, которую весь день одолевала дремо-та, привиделся сон.

Снилось ей, будто она грела на кухне воду для чайника, а заодно сама уселась погреться у оча-га, подоткнув подол юбки и поставив ноги на решетку, где меж двух холодных черных провалов до-горали остатки огня. И будто в то время, когда она так сидела, размышляя о том, что для иных людей жизнь – довольно невеселая выдумка, ее вдруг испугали какие-то звуки, послышавшиеся за ее спи-ной. И будто это случилось не первый раз – точно такие же звуки испугали ее однажды на прошлой неделе, загадочные, непонятные звуки, сперва тихий шорох, а потом топ-топ-топ, словно чьи-то быстрые шаги; и сразу у нее так и захолонуло сердце, как если б от этих шагов пол затрясся под но-гами или чья-то ледяная рука протянулась и схватила ее. И будто тут ожили все ее старые страхи

³⁸ ...памятник в Вестминстерском аббатстве... – В Вестминстерском аббатстве (собор св. Петра) погребены госу-дарственные деятели и выдающиеся граждане Англии; многие надгробия представляют собой памятники-статуи.

насчет того, что в доме нечисто, и она опрометью бросилась по лестнице наверх, сама не зная куда, лишь бы поближе к людям.

Снилось ей дальше, будто, очутившись в сенях, она увидела, что дверь в контору ее супруга и повелителя распахнута настежь и что там никого нет. Во сне она подошла к узкому, точно прореха, окошку маленькой комнатки по соседству с наружною дверью, чтобы хоть через стекло почувствовать бьющимся сердцем близость живых существ, непрichастных к этому населенному привидениями дому. Во сне она увидела на противоположной стене тени обоих умников, судя по всему, занятых оживленной беседой. Во сне она сняла башмаки и на цыпочках поднялась наверх, то ли чтоб быть поближе к этим двоим, которым и нечистая сила не страшна, то ли чтобы услышать, о чем идет у них речь.

– Вы свои фокусы оставьте, – говорил мистер Флинтвинч. – Я это терпеть не намерен.

Миссис Флинтвинч снилось, будто она стояла за полуотворенной дверью и совершенно отчетливо слышала, как ее муж произнес эти дерзкие слова.

– Флинтвинч, – отвечала миссис Кленнэм своим обычным, глухим, но властным голосом. – В вас вселился демон гнева. Не поддавайтесь ему.

– А хоть бы даже и не один, а целая дюжина демонов, – возразил мистер Флинтвинч, тон которого неопровержимо доказывал, что последнее предположение ближе к истине. – Хоть бы даже полсотни, все они вам скажут то же самое: вы свои фокусы оставьте, я это терпеть не намерен. А не скажут, так я их заставлю.

– Да что я такого сделала, злобный вы человек? – спросил властный голос.

– Что сделали? – переспросил мистер Флинтвинч. – Набросились на меня, вот что.

– Если вы хотите сказать, что я упрекнула вас...

– Я хочу сказать именно то, что говорю, – возразил Иеремия, с непреодолимым и непонятным упорством держась за свое фигуральное выражение. – Сказано ясно: набросились на меня!

– Я упрекнула вас. – начала она снова, – потому, что...

– Не желаю слушать! – закричал Иеремия. – Вы набросились на меня.

– Хорошо, сварливый вы человек, я набросилась на вас (Иеремия злорадно хихикнул, услышав, как она повторила-таки это слово) за ваш неуместно многозначительный тон в давешнем разговоре с Артуром. Мне впору было бы усмотреть тут в некотором роде злоупотребление доверием. Я понимаю, вы просто не обдумали...

– Не желаю слушать! – перебил непримиримый Иеремия, отметая эту оговорку. – Я все обдумал.

– Знаете что, вы уж разговаривайте сами с собой, а я лучше помолчу, – сказала миссис Кленнэм после паузы, в которой чувствовалось раздражение. – Бесплезно обращаться к упрямому старому сумасброду, который задался целью перечить мне во всем.

– И этого тоже не желаю слушать, – возразил Иеремия. – Никакой такой целью я не задавался. Я сказал, что все обдумал. Угодно вам знать, почему, обдумавши все, я говорил с Артуром именно так, упрямая вы старая сумасбродка?

– Вы мне решили вернуть мои собственные слова, – сказала миссис Кленнэм, стараясь обуздать свое негодование. – Да, я хочу знать.

– Так я вам скажу. Потому что вы должны были вступить перед сыном за память отца, а вы этого не сделали. Потому что прежде чем распалиться гневом за себя, вы, которая...

– Остановитесь, Флинтвинч! – воскликнула она изменившимся голосом. – Как бы вы не зашли чересчур далеко!

Но старик и сам спохватился. Последовала новая пауза, во время которой он, видимо, перешел на другое место; потом он заговорил опять, уже значительно мягче.

– Я вам начал объяснять, почему я говорил с Артуром так. Потому что, на мой взгляд, прежде чем думать о себе, вам следовало подумать об отце Артура. Отец Артура! Я никогда не питал особого расположения к отцу Артура. Я служил его дяде еще тогда, когда отец Артура значил в этом доме немногим больше меня, денег у него в кармане было меньше, чем у меня, а надежд на дядино наследство ровно столько, сколько у меня. Он голодал в парадных комнатах, а я голодал на кухне; вот и вся почти разница между нами – одна крутая лестница нас разделяла. Я в ту пору относился к нему довольно холодно; впрочем, не помню, чтобы когда-либо я относился к нему иначе. Человек он был

безвольный, слабый, с самого своего сиротского детства запуганный чуть не до полусмерти. И когда он привел в дом вас – жену, выбранную ему дядей, достаточно было один раз взглянуть на вас (а вы тогда были красивая женщина), чтобы понять, кто будет верховодить в семейной жизни. Начиная с тех пор, вы всегда умели сами за себя постоять. Будьте же и теперь такой. Не пытайтесь опираться на мертвых.

– Я вовсе не опираюсь на мертвых – как вы говорите.

– Но были бы не прочь опереться, если бы я не помешал, – пробурчал Иеремия. – За это вы на меня и набросились. Не можете простить мне, что я помешал. Вас, верно, удивляет, с чего это мне вдруг вздумалось заступиться за отца Артура? Ведь так, сознайтесь? А впрочем, хоть и не сознавайтесь, все равно я знаю, что это так, и вы сами знаете, что это так. Ладно, я вам объясню, в чем тут дело. Может, со стороны это покажется странностью, но таков уж у меня характер: не могу стерпеть, чтобы какой-нибудь человек делал все как ему хочется, Вы женщина решительная, умная, если вы поставили перед собой цель, ничто вас не отвратит от нее. Кому и знать это, как не мне.

– Ничто не отвратит меня от поставленной цели, Флинтвинч, если она для меня внутренне оправдана. Вот что надобно прибавить.

– Внутренне оправдана? Я ведь сказал, что вы самая решительная женщина на свете (хотел сказать, во всяком случае), и уж если вы решили добиться какой-то цели, что вам стоит найти для нее внутреннее оправдание?

– Глупец! Мое оправдание – в этой книге! – с грозным пафосом воскликнула она и, судя по раздававшемуся звуку, изо всей силы стукнула рукой по столу.

– Хорошо, хорошо, – невозмутимо отозвался Иеремия. – Мы сейчас не станем в этом разбираться. Так или иначе, но, поставив перед собой цель, вы ее добиваетесь, и при этом вам нужно, чтобы все подчинялось вашему замыслу. Ну, а я подчиняться не намерен. Я много лет был вам преданным и полезным помощником, и я даже привязан к вам. Но стать вашей тенью – на это я не могу согласиться, не хочу согласиться, никогда не соглашался и не соглашусь. Глотайте на здоровье всех кого хотите! А я не дамся – такой уж у меня странный нрав, сударыня, не желаю, чтобы меня глотали живьем.

Не здесь ли следовало искать основу взаимного понимания этих двух людей? Не эта ли недюжинная сила характера, угаданная ею в мистере Флинтвинче, побудила миссис Кленнэм снизить до союза с ним?

– Оставим этот вопрос и не будем больше к нему возвращаться, – сумрачно сказала она.

– Только не вздумайте наброситься на меня опять, – возразил неумолимый Флинтвинч, – иначе нам придется к нему вернуться.

Тут миссис Флинтвинч приснилось, будто ее супруг принялся расхаживать взад и вперед по комнате, чтобы остудить свою злость, а она будто убежала в сени и некоторое время стояла там, в темноте, прислушиваясь и дрожа всем телом; но все было тихо, и вскоре страх перед нечистой силой и любопытство взяли свое, и она снова прокралась на прежнее место за дверью.

– Зажгите, пожалуйста, свечу, Флинтвинч, – говорила миссис Кленнэм, явно желая направить разговор на обыденные предметы. – Время чай пить. Крошка Доррит сейчас придет и застанет меня в потемках.

Мистер Флинтвинч проворно зажег свечу и, ставя ее на стол, заметил:

– Кстати, каковы ваши планы насчет Крошки Доррит? Так она и будет вечно здесь работать? Вечно являться в вашу комнату к чаю? Вечно приходить и уходить, как она сейчас приходит и уходит?

– Разве можно говорить о вечности, обращаясь к бедной калеке? Всех нас косит время, точно траву на лугу; но меня эта жестокая коса подрезала уже много лет назад, и с тех пор я лежу здесь, немощная, недвижимая, в ожидании, когда господь бог приберет меня в свою житницу.

– Так-то так. Но вы здесь лежите живая-живехонькая – а сколько детей, юношей, молодых цветущих женщин и здоровых и крепких мужчин было скошено и прибрано за эти годы, которые для вас прошли почти бесследно – вы даже и переменились очень мало. Вы еще поживете, да и я, надеюсь, тоже. А когда я говорю «вечно», то подразумеваю наш с вами век – хоть я и не поэтического склада.

Все эти соображения мистер Флинтвинч изложил самым невозмутимым тоном и столь же невозмутимо стал ждать ответа.

– Если Крошка Доррит и впредь останется такой же скромной и прилежной и будет нуждаться в той незначительной помощи, которую я в силах ей оказать, она может рассчитывать на эту помощь, пока я жива, – разве только сама от нее откажется.

– И больше ничего? – спросил Флинтвинч, поглаживая свой подбородок.

– А что же еще? Что, по-вашему, должно быть еще? – воскликнула миссис Кленнэм с угрюмым недоумением в голосе.

После этого миссис Флинтвинч приснилось, будто они с минуту или две молча глядели друг на друга поверх пламени свечи, и каким-то образом она почувствовала, что глядели пристально.

– А вы случайно не знаете, миссис Кленнэм, – спросил повелитель Эффери, понизив голос и придав ему выражение, значительность которого вовсе не соответствовала простоте вопроса, – вы случайно не знаете, где она живет?

– Нет.

– А вы не – ну, скажем, не желали бы узнать? – спросил Иеремия таким тоном, словно готовился вцепиться в нее.

– Если бы желала, так давно уже узнала бы. Разве я не могу у нее спросить?

– Стало быть, не желаете знать?

– Не желаю.

Мистер Флинтвинч испустил долгий красноречивый вздох, а затем сказал, все так же многозначительно:

– Дело в том, что я – совершенно случайно, заметьте! – выяснил это.

– Где бы она ни жила, – возразила миссис Кленнэм монотонным скрипучим голосом, отчеканивая слово за словом, как будто все произносимые ею слова были вырезаны на металлических брусочках и она их перебирала по порядку, – это ее секрет, и я на него посягать не намерена.

– Может быть, вы даже предпочли бы не знать о том, что я знаю то, чего вы не знаете? – спросил Иеремия; эта дважды перекрученная фраза вышла удивительно похожей на него самого.

– Флинтвинч, – сказала его госпожа и компаньонша с неожиданной силой, так что Эффери за дверью даже вздрогнула, услышав ее голос, – зачем вы стараетесь вывести меня из терпения? Вы видите эту комнату. Если есть что-либо утешительное в моем долголетнем заточении в ее четырех стенах – не поймите это как жалобу, вам хорошо известно, что я никогда не жалуясь на свою: судьбу, – но если может тут быть что-либо утешительное для меня, так это то, что, лишенная радостей внешнего мира, я в то же время избавлена от знания некоторых вещей, которые мне знать не хотелось бы. Так почему же вы, именно вы хотите отказать мне в этом утешении?

– Ни в чем я вам не хочу отказывать, – возразил Иеремия.

– Тогда ни слова больше – ни слова больше. Пусть Крошка Доррит хранит свой секрет, и вы тоже его храните. Пусть она, как и раньше, приходит и уходит, не встречая любопытных взглядов и не подвергаясь расспросам. И пусть у меня, в моих страданиях будет хоть одно маленькое облегчение. Неужели это так много, что вы готовы терзать меня, точно злой дух, из-за этого?

– Я только задал вам вопрос.

– А я на него ответила. – И ни слова больше – ни слова больше. – Тут скрипнули колеса покачившегося кресла, и тотчас же резко зазвонил колокольчик.

Эффери, в которой страх перед мужем пересилил в эту минуту страх перед нечистой силой, торопливо и бесшумно прокралась в сени, сбегала вниз по кухонной лестнице еще быстрее, чем недавно бежала по ней вверх, уселась на прежнее место у очага, снова подоткнула подол юбки, а затем накинула передник на голову. Колокольчик позвонил опять, потом еще и еще раз, наконец зазвонил без перерыва, но Эффери оставалась глуха к его настойчивому звону; она все сидела, накрывшись передником, и тщетно старалась перевести дыхание. Но вот, наконец, по лестнице, ведущей из верхних комнат в сени, послышалось шарканье тufель мистера Флинтвинча, сопровождаемое невнятной воркотней и возгласами: «Эффери, старуха!». А так как Эффери по-прежнему не шевелилась под своим передником, он со свечою в руке спустился, несколько раз споткнувшись, вниз, подошел к ней вплотную, сдернул с ее головы передник и сильно встряхнул ее за плечо.

– Ох, Иеремия! – разом проснувшись, воскликнула Эффери. – Как ты меня напугал!

– Ты что тут делаешь, а? – грозно спросил Иеремия. – Тебе раз пятьдесят звонили.

– Ох, Иеремия! – сказала миссис Эффери. – Мне снился сон.

Припомнив недавние похождения своей супруги в мире сонных грез, мистер Флинтвинч поднес свечу к самому ее лицу, как бы вознамерившись устроить из нее факел для освещения кухни.

– А ты знаешь, что уже время подавать ей чай? – спросил он, злобно оскалившись и пинком едва не выбив из-под миссис Эффери стул.

– Чай, Иеремия? Ох, я сама не знаю, что со мной такое. Уж очень я напугалась перед тем, как заснула, оттого, должно быть, все так и вышло.

– Эй ты, сонная тетеря! – прикрикнул мистер Флинтвинч. – Что ты там несешь?

– Я слышала какой-то странный шум, Иеремия, и какую-то непонятную возню. Вот здесь – здесь, в кухне.

Иеремия поднял свечу и оглядел закопченный потолок кухни, затем опустил свечу вниз и оглядел сырой каменный пол, затем повернулся со свечой кругом и оглядел разукрашенные подтеками и пятнами стены.

– Крысы, кошки, вода в трубах, – сказал Иеремия. При каждом из этих предположений миссис Эффери отрицательно качала головой.

– Нет, Иеремия, это ведь уж и раньше бывало. И не только в кухне, но и наверху, а один раз ночью, когда я шла по лестнице из ее комнаты в нашу, я услышала шорох прямо у себя за спиной, и даже вроде почувствовала какое-то прикосновение.

– Эффери, старуха, – свирепо произнес мистер Флинтвинч, поведив носом у самых губ своей супруги, чтобы удостовериться, не отдает ли от нее спиртным, – если сию же минуту не будет готов чай, ты у меня почувствуешь такое прикосновение, голубушка, что отлетишь на другой конец кухни.

Это предупреждение расшевелило миссис Флинтвинч и заставило ее поторопиться с чайником наверх, в комнату больной. Но как бы то ни было, она окончательно утвердилась в своем мнении, что в этом мрачном доме творится неладное. С тех пор она никогда не знала покоя после наступления сумерек и, выходя в темноте на лестницу, всякий раз закутывала голову передником из страха, как бы чего не увидеть.

Все эти таинственные тревоги и непонятные сны повергли миссис Флинтвинч в душевное смятение, от которого, как мы увидим в дальнейшем, ей не скоро суждено было оправиться. В зыбком тумане нахлынувших на нее впечатлений и переживаний все вокруг стало казаться ей загадочным, и от этого она сама сделалась загадочной для других, и окружающим было также трудно разбираться в ее словах и поступках, как ей самой разобраться в том, что происходило в доме, где она жила.



Итак, миссис Эффери все еще возилась с приготовлением чая, когда раздался негромкий стук в дверь, каким всегда оповещала о своем приходе Крошка Доррит. Миссис Эффери смотрела, как Крошка Доррит снимает в сенях свою простенькую шляпку, а мистер Флинтвинч безмолвно разглядывает ее издали, поскребывая свой подбородок, и словно ждала, что вот-вот стряется нечто чрезвычайное, от чего она лишится рассудка со страху, а может быть, их всех троих разорвет на куски.

Когда с чаепитием было покончено, снова послышался стук в наружную дверь, на этот раз оповещавший о приходе Артура. Миссис Флинтвинч пошла отворить ему. Не успев переступить порог дома, Артур обратился к ней:

– Очень хорошо, что это вы, Эффери. – Мне нужно вас кое о чем спросить.

Но Эффери торопливо ответила:

– Нет, нет, Артур. Ради бога, не спрашивайте меня ни о чем! У меня наполовину отшибло разум страхом и наполовину – снами. Не спрашивайте меня ни о чем! Не знаю я, что есть, и чего нет, и что было, и чего не было! – С этими словами она убежала от него и больше не показывалась ему на глаза.

Миссис Эффери не была охотницей до книг, а скудное освещение в комнате не позволяло ей заниматься шитьем, даже если бы она того хотела, а потому все свои вечера она просиживала теперь в том темном углу, откуда появилась перед Артуром в день его приезда, и самые невероятные мысли и подозрения, касавшиеся ее мужа, ее госпожи и таинственных звуков старого дома, роились у нее в голове. В то время, когда миссис Кленнэм с неистовым пылом твердила вслух свой религиозный урок, мысли эти нет-нет да и заставляли Эффери оглядываться на дверь, и, пожалуй, ее ничуть бы не удивило, если бы оттуда вдруг вышла какая-то темная фигура и увеличила собой число внимающих благочестивым поучениям.

Вообще же Эффери употребляла все усилия, чтобы ни словом, ни жестом не привлекать к себе внимания двух умников, и лишь в редких случаях (большей частью это бывало в час, когда вечернее бдение уже подходило к концу) она вдруг выскакивала из своего угла и с перекошенным от страха лицом шептала мистеру Флинтвинчу, мирно читавшему газету у столика миссис Кленнэм:

– Вот опять, Иеремия! Слышишь? Что это за шум?

Но шум, если он и был, уже успевал затихнуть, и мистер Флинтвинч рычал на нее с такой яростью, как будто это она против его воли срезала его с веревки:

– Эффери, старуха, ты опять за свое! Ну погоди, вот я тебя сейчас так угощу, что тебе не поздоровится!

Глава XVI *Ничья слабость*

Настало время возобновить знакомство с семейством Миглз, и вот в один субботний полдень, памятуя свой уговор с мистером Миглзом при посещении Подворья Кровоточащего Сердца, Кленнэм отправился в Туикнем, где у мистера Миглза имелся собственный коттедж. День выдался погожий, ясный, и так как Артуру, давно не бывавшему в родных краях, любая сельская дорога Англии судила много интересных впечатлений, он отправил свой багаж, с дилижансом, а сам решил идти пешком. Была тут для него и прелесть новизны – на чужбине ему редко приходилось разнообразить свой досуг долгими пешеходными прогулками.

Он выбрал путь на Фулем и Путин, ради удовольствия пройти через вересковую пустошь. Там солнце светило особенно ярко и радостно; но, еще не успев далеко уйти по дороге, ведущей в Туикнем, он уже блуждал в неведомых далях других дорог, более призрачных и туманных. Они открылись перед ним, как только мерный, бодрящий шаг и прелесть окружающего ландшафта сделали свое дело. Когда бродишь один в сельской тиши, трудно не отдалиться раздумью. А у Кленнэма так много было нерешенных вопросов, что пиши для размышлений ему хватило бы даже, если бы он шел на край света.

Первым был вопрос, который почти не выходил у него из головы в последнее время: что делать дальше, к какому занятию себя приставить и где это занятие искать? Он отнюдь не был богат, и каждый день нерешительности и бездействия увеличивал его тревоги, связанные с отцовским наследством. Стоило ему задуматься о том, как лучше распорядиться этим наследством, чтобы сохранить его в неприкосновенности или приумножить – и тотчас же вновь являлась беспокойная мысль, что где-то есть человек, который вправе требовать исправления причиненного ему зла. Об одном только этом можно было бы размышлять в течение самой длинной прогулки. Но был и другой предмет – его отношения с матерью, которую он аккуратно навещал теперь три-четыре раза в неделю, и на взгляд все шло у них гладко и мирно, однако же взаимное доверие так и не установилось. Неизменным и едва ли не главным предметом его дум и забот оставалась Крошка Доррит; в силу превратности его собственной судьбы и всего того, что ему пришлось узнать о судьбе и жизни этой девушки, она была теперь единственной живой душой, с которой его связывали узы теплых человеческих чувств – уважения, бескорыстного участия, благодарности, сострадания, узы, основанные на невинной доверчивости, с одной стороны, и ласковом покровительстве – с другой. В раздумья Кленнэма о ее будущем невольно вплеталась мысль о том дне, когда всеразрешающая рука смерти даст, наконец, свободу ее отцу; ибо только такой оборот событий позволил бы Артуру на деле проявить свое дружеское участие, переменить всю ее жизнь, убрать тяготы с ее нелегкого пути, предоставить ей домашний кров, которого она никогда не имела; иными словами, он принял решение удочерить это бедное дитя долгой тюрьмы и сделать так, чтобы оно обрело отдых и покой. Быть может, его мысли занимал и еще один предмет, имевший непосредственное отношение к тому месту, куда он направлялся; но тут все очертания были настолько смутны, что скорей даже это был не предмет, а некая призрачная дымка, обволакивающая все прочие раздумья.

Уже пустошь осталась позади, когда он заметил на дороге пешехода, идущего в ту же сторону, и что-то в облике этого пешехода показалось ему знакомым. Где-то он уже видел этот наклон головы, эту сосредоточенно-задумчивую манеру в сочетании с твердым, энергичным шагом. Но вот пешеход остановился и сдвинул шляпу на затылок, как бы рассматривая какую-то вещь, – и Кленнэм узнал Дэниела Дойса.

– Здравствуйте, мистер Дойс, – сказал Кленнэм, поравнявшись с ним. – Рад встретить вас снова, и к тому же в местах, куда более приятных, нежели Министерство Волокиты.

– А, приятель мистера Миглза! – воскликнул опознанный преступник, оторвавшись от выкладок, которые он, видимо, делал в уме, и пожимая руку Артуру. – Очень приятно, сэр. Вы уж извините, запаматовал вашу фамилию.

– Охотно извиняю. Тем более что фамилия ничем не прославленная. Не Полип.

– Знаю, знаю, – засмеялся Дойс. – Я уже вспомнил: Кленнэм. Рад вас видеть, мистер Кленнэм.

– Сдается мне, мистер Дойс, – сказал Артур, когда они зашагали дальше, – что мы с вами держим путь в одно и то же место.

– Значит, и вы в Туикнем? – спросил Дэниел. – Что ж, тем лучше.

Они очень быстро освоились друг с другом, и у них завязался оживленный разговор, за которым время летело незаметно. Злонамеренный изобретатель отличался скромностью и здравым умом; кроме того, он привык сочетать смелый и оригинальный замысел с точным и тщательным исполнением, и одно это, при всей его непритязательности, делало его человеком далеко не заурядным. Нелегко было заставить Дэниела Дойса разговориться о себе; поначалу он отделялся скупыми и уклончивыми ответами: да, он сделал то-то и то-то, такое-то изобретение принадлежит ему, и такое-то усовершенствование – тоже ему; но ведь таково уж его ремесло, знаете ли, таково уж его ремесло. Однако мало-помалу он уверился, что его спрашивают не из праздного любопытства, и это развязало ему язык. Так Артур узнал, что он сын кузнеца, родом с севера; что мать, овдовев, отдала его в ученье к слесарю; что проучившись немного времени, он стал «придумывать разные мелочишки», и это повело к тому, что слесарь освободил его от контракта и отпустил с денежным подарком, благодаря которому он смог осуществить свою заветную мечту – определиться в ученики к опытному механику. В мастерской этого механика он провел семь лет, упорно трудился, упорно учился, упорно недосыпал и недоедал. Когда положенный срок пришел к концу, он не захотел уйти и еще семь или восемь лет работал в мастерской на жаловании; а после того подался на берега Клайда,³⁹ где снова работал и снова учился, сменяя книгу на молоток и сверло, чтобы пополнить свои теоретические и практические знания. Так прошло еще шесть или семь лет. Потом ему предложили поехать в Лион, и он принял это предложение; из Лиона перекочевал в Германию, а находясь в Германии, получил приглашение в Россию, в Санкт-Петербург, где дела у него пошли очень успешно, пожалуй успешней, чем где бы то ни было. Однако вполне естественное чувство влекло его в Англию; ему хотелось добиться успеха на родине, хотелось послужить ей в меру своих сил. И вот он вернулся. Открыл небольшой завод, изобретал, рассчитывал, строил и, наконец, после двенадцати лет неустанных трудов и стараний зачислен в Британский Почетный Легион – Легион Отвергнутых Министерством Волокиты, и удостоился Британского Большого Креста – креста, поставленного на его деле Полипами и Чваннингами.

– Можно только пожалеть, что вы затеяли это дело, мистер Дойс, – сказал Кленнэм.

– Верно, сэр, – но, с другой стороны, как же быть? Если человек имел несчастье изобрести что-то, что может принести пользу его отечеству, он должен добиться толку, чего бы это ни стоило.

– А не лучше ли махнуть рукой? – спросил Кленнэм.

– Невозможно. – Дойс покачал головой, задумчиво улыбаясь. – Мысль дана человеку не для того, чтоб быть похороненной в его голове. Мысль дана ему для того, чтобы создавать вещи, полезные людям. Человек должен бороться за свою жизнь и защищать ее, пока хватит сил. Так же и изобретатель должен бороться за свое изобретение.

– Вы хотите сказать, – отозвался Артур, проникаясь все большим уважением к этому тихому человеку, – что даже и теперь вы не утратили мужества?

– Не имею на это права, – отвечал Дойс. – Ведь идея моя все-таки верна!

Некоторое время они шагали молча, затем Кленнэм, желая переменить разговор и в то же время не желая делать это слишком резко, спросил мистера Дойса, есть ли у него компаньон, который делал бы с ним вес заботы и трудности.

– Нет, – отвечал тот. – Теперь нет. Был у меня компаньон, в то время когда я начинал. Хороший был человек, настоящий друг. Но он несколько лет назад умер; и так как я не мог примириться с мыслью, что кто-то другой займет его место, я выкупил у наследников его долю, и с тех пор управ-

³⁹ Клайд – река в сельской местности в Шотландии.

ляюсь один. Только, знаете что? – добавил он, остановившись и с добродушной усмешкой положив на локоть Кленнэма свою правую руку со странно отогнутым большим пальцем, – изобретатели не годятся для ведения дел.

– Неужели?

– По крайней мере так утверждают деловые люди, – сказал Дойс и, весело расхохотавшись, снова зашагал вперед. – Уж не знаю почему, но принято считать, что мы, горемычные, начисто лишены обыкновенного житейского здравого смысла. Даже милейший хозяин этого дома, – Дойс мотнул головой в сторону Туикнема, – лучший мой друг на земле, почитает своим долгом опекать меня, как существо, неспособное о себе позаботиться.

Артур Кленнэм в свою очередь не удержался от смеха, услышав это справедливое замечание.

– Выходит, нужен мне такой компаньон, который был бы настоящим деловым человеком и никогда не грешил бы по части изобретательства, – снова заговорил Дойс, сняв шляпу и проводя ладонью по лбу. – Хотя бы в угоду ходячему мнению и для того, чтобы поддержать престиж предприятия. Не думаю, чтобы этот новый компаньон – кто бы он ни был – нашел у меня очень уж большие упущения или беспорядок в делах; а впрочем, это ему судить, а не мне.

– Так, значит, вы еще не подыскали себе компаньона?

– Нет, сэръ, еще нет. Я, собственно, только недавно решил, что мне без этого не обойтись. Видите ли, дел все прибавляется, а мне и на заводе работы предовольно, годы-то уже не те. Нужно и переписку вести и книги содержать в порядке, и за границу ездить – там тоже хозяйский глаз требуется, – и меня уже на все не хватает. Вот если удастся улучшить полчаса, думаю потолковать обо всем этом с моим – моим опекуном и покровителем, – сказал Дэниел Дойс, и в глазах у него снова блеснул смех. – Он человек умудренный опытом и хорошо разбирается в подобных материях.

Еще много о чем они беседовали, пока не добрались до цели своего путешествия. Во всех суждениях Дойса чувствовалась спокойная и сдержанная уверенность – уверенность человека, который твердо знает: что верно, то всегда будет верно, вопреки всем Полипам, населяющим родной океан, и останется верным, даже если этот океан пересохнет до последней капли; однако эта величавая уверенность ничем не напоминала величественного апломба чиновных лиц.

Хорошо зная местоположение коттеджа, Дойс повел Артура дорогой, откуда это местоположение казалось особенно живописным. Дом был прелестный (некоторая причудливость архитектуры его не портила); он стоял близ дороги, на речном берегу, и казалось, трудно было подобрать для семейства Миглз более подходящее обиталище. Вокруг дома тянулся сад, должно быть так же прекрасно расцветавший в майскую пору, как сейчас, в майскую пору своей жизни, цвела Бэби; и густо разросшиеся деревья склонялись над домом, оберегая его, как мистер и миссис Миглз оберегали свою любимую дочку. Тут прежде стоял другой, кирпичный дом; часть его снесли совсем, а другую перестроили заново, так что в нынешнем коттедже были и добротные старые стены, словно бы символизировавшие собой мистера и миссис Миглз, и прехорошенькая, легкая новенькая пристройка, словно бы символизировавшая Бэби. К дому еще лепилась оранжерея, выстроенная позднее; в тени ее стекла казались тусклыми и темными, но когда ударяло в них солнце, они то вспыхивали, как пламя пожара, то мирно поблескивали, как прозрачные капли воды. Эту оранжерею можно было бы счесть символом Тэттикорэм. Из окон открывался вид на реку, по которой скользила лодка перевозчика; и мирный этот вид, казалось, назидательно говорил обитателям дома: «Вот вы молоды или стары, запальчивы или кротки, негодуете или смиряетесь, а тихие струи потока всегда неизменны в своем беге. Какие бы бури ни бушевали в сердцах, вода за кормою журчит всегда одну и ту же песню. Год за годом проходит, и все столько же миль в час пробегают речные воды, все на столько же ярдов сносит течением лодку при переправе, все так же здесь белеют кувшинки, а там шелестят камыши, и река свершает свой вечный путь, не ведая перемен и смятений; тогда как ваш путь по реке времени прихотлив и полон неожиданностей».

Не успел прозвонить колокольчик у калитки, как мистер Миглз уже вышел встречать гостей. Не успел выйти мистер Миглз, как вышла миссис Миглз. Не успела выйти миссис Миглз, как вышла Бэби. Не успела выйти Бэби, как вышла Тэттикорэм. Никогда еще не оказывали нигде гостям более радушного приема.

– Вот так мы и живем, мистер Кленнэм, – сказал мистер Миглз. – Сидим себе, как видите, в своей домашней скорлупе и не помышляем о том, чтобы высунуть из нее нос – то бишь отправиться

в путешествии. Не похоже на Марсель, а? Тут уж никаких *аллон-маршон* не услышишь.

– Да, красота этих мест совсем иная, – сказал Кленнэм, осматриваясь кругом.

– А ведь до чего хорошо было в карантине, честное слово! – воскликнул мистер Миглз, весело потирая руки. – Я бы совсем не прочь опять там очутиться. Уж очень приятная у нас подобралась компания.

Таково было неизменное свойство мистера Миглза: путешествуя, он на все ворчал, а приехав домой, хотел опять очутиться там, где путешествовал.

– Жаль, что теперь не лето, – сказал мистер Миглз. – и вы не можете полюбоваться нашим садом во всем его великолепии. Летом вы бы тут сами себя не услышали из-за птичьего гомона. Как люди практические, мы не позволяем распугивать птиц; и птицы – они ведь тоже народ практический – слетаются сюда тучами. Мы от души рады, Кленнэм (с вашего позволения я опущу «мистера»); поверьте, от души рады.

– С тех пор как мы с вами прогуливались по террасе над Средиземным морем, я не слыхал таких сердечных речей, – сказал Кленнэм, но, вспомнив свой ночной разговор с Крошкой Доррит, поспешил честно добавить: – кроме одного раза.

– А какой вид открывался с этой террасы! – воскликнул мистер Миглз. – Я не сторонник военного духа в государстве, но, пожалуй, немножко аллон-маршон – так, самая малость – придало бы жизни здешним местам. А то уж очень у нас тут непробудная тишь.

Сопроводив эту характеристику своего идиллического приюта сомнительным покачиванием головы, мистер Миглз повел гостей в дом.

Дом был просторен, но не слишком велик, выглядел внутри так же привлекательно, как и снаружи, и все в нем было очень хорошо и удобно устроено. Кое-что в обстановке – завешенные картины, чехлы на мебели, свернутые драпировки – напоминало об отсутствии у хозяев склонности к домоседству; но как нетрудно было угадать, одна из причуд мистера Миглза состояла в том, что, пока семейство путешествовало, комнаты должны были всегда содержаться в таком виде, как будто хозяева возвращаются послезавтра. Дом был битком набит всякой всячиной, вывезенной мистером Миглзом из путешествий, и это придавало ему сходство с жильем какого-то добродушного корсара. Были тут древности из Центральной Италии, изготовленные на предприятиях лучших современных фирм, доведших до совершенства эту отрасль промышленности; кусочки мумий из Египта (а может быть, из Бирмингема); модели венецианских гондол; модели швейцарских деревушек; обломки мозаичных плит из Геркуланума и Помпеи,⁴⁰ похожие на окаменелый мясной фарш; пепел из усыпальниц и лава из Везувия; испанские веера, мавританские туфли, тосканские головные шпильки, каррарские статуэтки, трастевринские шарфы, генуэзский бархат и филигрань, неаполитанские кораллы, римские камеи, женевские ювелирные изделия, арабские фонари, четки, освященные самим папой, и еще целые груды всевозможного хлама. На стенах красовались виды множества мест, схожие и несхожие с натурой; а одно небольшое зальце увешано было изображениями каких-то древних святых с жилами, напоминавшими пряди каната, морщинами в виде татуировки и прической, как у Нептуна, причем все это было покрыто столь густым слоем лака, что каждый праведник с успехом заменял клейкую бумагу для ловли мух, в просторечии именуемую липучкой. По поводу своих приобретений мистер Миглз говорил то, что обычно говорится в подобных случаях: он не знаток, он судит только по своему вкусу, эти картины достались ему за бесценок, но многим они нравятся. Во всяком случае, одно лицо, понимающее толк в этих вещах, говорило ему, что «Мудрец за чтением» (завернутый в одеяло старичок с горжеткой из лебяжьего пуха вместо бороды, которому густая сеть трещинок придавала сходство с перепекшимся пирогом) – отличнейший Гверчино.⁴¹ А что касается вон той картины направо, так тут дело ясное для каждого: если уж это не поздний Себастьян дель Пьомбо,⁴² так спрашивается, кто же? Тициан? Может быть, конечно, и Тициан, а может быть, Тициан только кос-

⁴⁰ *Геркуланум и Помпея* – древнеримские города у подножия Везувия, разрушенные и засыпанные лавой во время извержения в 79 г.

⁴¹ *Гверчино* (1591–1666) – итальянский художник, писавший в стиле барокко.

⁴² *Себастьяно дель Пьомбо* (1485–1547) – известный итальянский живописец эпохи Возрождения.

нулся этого шедевра своей кистью. «А может быть, и не касался», – заметил Дойс; но мистер Миглз предпочел пропустить это замечание мимо ушей.

Показав гостям все свои трофеи, мистер Миглз увел их к себе в кабинет. Это была уютная светлая комната окнами на лужайку, меблированная частью как гардеробная, частью как контора. В углу на особом столике можно было заметить весы для взвешивания золота и лопаточку для сгребания денег.

– Вот взгляните, – сказал мистер Миглз. – Ровно тридцать пять лет я простоял за конторкой, на которой покоились эти два предмета (в то время я не больше помышлял о том, чтобы шататься по свету, нежели теперь – о том, чтобы сидеть дома). Когда я навсегда оставил банк, я попросил позволения взять их себе на память. Рассказываю вам это, чтобы вы не подумали, будто я целыми днями сижу тут и считаю свои деньги, точно король из песенки о двадцати четырех дроздах.⁴³ А то послушать Бэби, так на это похоже.

Внимание Кленнэма привлекла висевшая на степс картина, с которой смотрели, обнявшись, две прехорошенькие маленькие девочки.

– Да, Кленнэм, – понизив голос, произнес мистер Миглз. – Обе мои дочки. Этот портрет был писан почти семнадцать лет тому назад. Они тут совсем еще младенцы – как я часто говорю мамочке.

– А как их имена? – спросил Кленнэм.

– Ох, в самом деле! Ведь вы же никогда не слышали другого имени, кроме Бэби. Ее настоящее имя – Минни; а ее сестра звалась Лилли.

– Могли бы вы догадаться, мистер Кленнэм, что одна из этих девочек – я? – раздался голос самой Бэби, появившейся в это время в дверях.

– Об этом догадаться не трудно, гораздо трудней решить, которая именно. Право же, – сказал Кленнэм, переводя взгляд с портрета на прелестный оригинал и обратно, – сходство так велико, что мне и сейчас кажется, будто оба изображения – ваши.

– Слыхала, мамочка? – воскликнул мистер Миглз, обращаясь к жене, которая вслед за дочерью вошла в комнату. – Не вы первый затрудняетесь решением, Кленнэм. Мы уже к этому привыкли. Ну, я вам подскажу: Бэби – та, что слева.

Рядом с портретом висело большое зеркало, и когда Артур снова взглянул в ту сторону, он увидел в нем отражение Тэттикорэм, которая с минуту помедлила у отворенной двери, прислушиваясь к разговору, а затем прошла мимо с презрительной и злобной гримасой, обезобразившей ее красивое лицо.

– Однако, что же это я! – сказал мистер Миглз. – Ведь вы отшагали немало миль и, наверно, не прочь бы переобуться. Вот Дэниел, тот никогда сам до этого не додумается, если ему не сунуть в руки машинку для снятия сапог.

– Отчего ж бы это? – спросил Дэниел, лукаво подмигнув Кленнэму.

– Оттого, что у вас голова слишком занята другими вещами, – сказал мистер Миглз, похлопывая его по плечу с видом человека, который понимает слабости ближнего, но не желает потакать им. – Цифры, колеса, шестерни, болты, гайки, цилиндры – да чего только там нет.

– В моей профессии, помня о большом, нельзя забывать о малом, – смеясь, возразил Дэниел. – Но все равно, все равно. Пусть будет по-вашему.

Поздней, расположившись у огня в отведенной ему комнате, Кленнэм невольно задал себе вопрос: а не сидит ли в милейшем, честнейшем и сердечнейшем мистере Миглзе совсем малюсенькая частица того самого горчичного зернышка, из которого выросло гигантское дерево Министерства Волокиты? Ибо как еще можно было объяснить его нелепое покровительственно-снисходительное отношение к Дэниелу Дойсу, вызванное не какими-нибудь личными особенностями последнего, но лишь тем обстоятельством, что Дойс – создатель, человек, не идущий чужим, проторенным путем. Кленнэм мог бы раздумывать об этом целый час, пока не пришло время спуститься к обеду, не будь его мысли отвлечены другим вопросом, который занимал его еще до марсельского карантина и теперь снова настойчиво встал перед ним. Вопрос этот, весьма важный и существенный, состоял в сле-

⁴³ ...считаю свои деньги, точно король из песенки о двадцати четырех дроздах... – Речь идет о песенке «Пою за грош», вошедшей в популярнейший в Англии детский стихотворный сборник «Матушка Гусыня» (издается с XVIII века).

дующем: позволительно ли ему влюбиться в Бэби?

Он старше ее ровно вдвое. (Кленнэм снял правую ногу с левой и заложил левую на правую, после чего попробовал сосчитать еще раз, но вышло то же самое.) Он старше ее ровно вдвое. Ну, и что же? Он молодо выглядит, молод душой, по-молодому здоров я силен. В сорок лет человек еще не стар, и есть немало мужчин, которые по тем или иным причинам женятся не раньше этого возраста. Но, с другой стороны, дело ведь не в том, как он на это смотрит; дело в том, как посмотрит она.

Он не сомневался в дружеском расположении к нему мистера Миглза, и сам в свою очередь был искренне расположен к мистеру Миглзу и его милой супруге. Он понимал, что для этих родителей, души не чаявших в своей единственной прелестной дочке, необходимость отдать ее мужу явится тяжким испытанием, о котором они, верно, не решаются и думать. Но ведь чем девушка прелестней, милей, красивей, тем неизбежней это испытание. Так почему бы им не решить вопрос в его пользу, раз уж все равно придется его решать?

И тут ему снова пришло в голову: дело ведь не в том, как они на это смотрят, дело в том, как посмотрит она.

Артур Кленнэм был человек по натуре скромный и всегда находил у себя множество недостатков. Он так склонен был преувеличивать в мыслях достоинства Минни и умалять собственные, что чем дольше он раздумывал над этим, тем больше терял надежду. Переодевшись к обеду, он окончательно принял решение, что влюбляться в Бэби ему не следует.

Это был на редкость приятный вечер. Они сидели впятером вокруг обеденного стола, вспоминали места, где им привелось побывать, людей, с которыми встречались в путешествии (Дэниел Дойс с интересом следил за разговором, как следит за карточной игрой не участвующий в ней партнер, и только время от времени вставлял замечания к случаю); и так им было хорошо и весело вместе, как не бывает подчас и после долгих лет знакомства.

– А мисс Уэйд? – спросил мистер Миглз, после того как они перебрали в разговоре с десяток дорожных спутников. – Никто не видел с тех пор мисс Уэйд?

– Я видела, – сказала Тэттикорэм.

Она принесла своей барышне мантилью, за которой та ее посылала, и только что склонилась, чтобы накинуть мантилью на плечи Бэби, как услышала вопрос, побудивший ее сделать это неожиданное заявление.

– Тэтти! – воскликнула молодая девушка. – Ты видела мисс Уэйд? Да где же?

– Здесь, в Туикнеме, мисс.

– Каким образом?

Нетерпеливый взгляд Тэттикорэм ответил, как показалось Кленнэму: «Глазами!» Но вслух она произнесла только:

– Я с ней встретила у церкви.

– Любопытно, что она делала у церкви, – сказал мистер Миглз. – Не шла же молиться.

– Она меня туда вызвала запиской, – сказала Тэтти.

– Ох, Тэтти, убери, пожалуйста, руки, – вполголоса сказала ее молодая госпожа. – Мне чудится, будто меня трогает кто-то чужой.

Она сказала это без всякой злобы или раздражения, с непосредственностью балованного ребенка, у которого что на уме, то и на языке, и гримаса недовольства тут же сменяется веселой улыбкой. Тэттикорэм поджала свои пухлые красные губы и скрестила руки на груди.

– Угодно ли вам знать, сэр, – спросила она, повернувшись к мистеру Миглзу, – о чем мисс Уэйд писала мне?

– Ну раз уж на то пошло, Тэттикорэм, – отвечал мистер Миглз, – мы здесь все люди свои, так что, пожалуй, скажи, если хочешь.

– Она узнала ваш адрес, еще когда мы путешествовали вместе, – сказала Тэттикорэм, – и так как ей случалось видеть меня не совсем... не совсем...

– Не совсем в хорошем расположении духа, Тэттикорэм, – подсказал мистер Миглз и, глядя в черные глаза, предостерегающе покачал головой. – Не торопись, Тэттикорэм, сосчитай до двадцати пяти.

Она снова поджала губы и тяжело перевела дыхание.

– Она и написала мне, что сели меня вдруг кто-нибудь обидит, – Тэттикорэм метнула взгляд на

свою барышню, – или вообще мне станет не по душе здесь, – новый взгляд в ту же сторону, – так она охотно возьмет меня к себе и обещает мне самое хорошее обращение. И чтобы я подумала об этом, а она меня будет ждать в следующее воскресенье у церкви. Вот я и пошла туда, чтобы поблагодарить ее за ее доброту.

– Тэтти, – сказала молодая девушка, протягивая ей через плечо свою руку, – эта мисс Уэйд так напугала меня, когда мы прощались, мне даже неприятно думать, что совсем недавно она была здесь, так близко, а я и не знала. Тэтти, милая!

Тэтти словно застыла на месте.

– Э-э... Тэттикорэм! – воскликнул мистер Миглз. – Сосчитай-ка еще раз до двадцати пяти!

Но, досчитав, должно быть, самое большее до двенадцати, Тэтти нагнулась и поцеловала протянутую руку, коснувшись при этом шелковистых локонов ее обладательницы. Рука ласково погладила склоненную щеку, и Тэттикорэм ушла.

– Вот, извольте видеть, – негромко сказал мистер Миглз, доставая сахарницу с передвижного столика для закусок, стоявшего справа от него. – Не очутись эта девушка среди людей практических, судьба ее могла обернуться самым печальным для нее образом. Но мы с мамочкой, как люди практические, понимаем, что все ее существо бунтует порой при виде той заботы и нежности, которой мы окружаем нашу Бэби. Она-то, бедняжка, никогда не знала родительской заботы и нежности! Страшно подумать, что творится, верно, в душе этой бедной девочки, такой страстной и непокорной, когда во время воскресной службы дело доходит до пятой заповеди.⁴⁴ Мне всегда так и хочется крикнуть ей: «Ты в церкви, Тэттикорэм! Сосчитай-ка до двадцати пяти!»

Кроме закусочного столика мистеру Миглзу помогали справляться с его хозяйскими обязанностями две молоденькие служанки, чьи блестящие глаза и румяные щеки радовали взор не меньше, чем парадное убранство обеденного стола. «А что же тут удивительного? – говаривал по этому поводу мистер Миглз. – Я всегда говорю мамочке: если уж смотришь на что-то, так чем оно красивей, тем на него и смотреть приятнее».

Штат домашней прислуги дополняла некая миссис Тикит – кухарка и домоправительница, когда семейство пребывало дома, и только домоправительница, когда оно отправлялось путешествовать. Мистер Миглз выразил сожаление, что характер обязанностей, которыми эта почтенная особа занята в настоящее время, мешает представить ее новому гостю, но пообещал непременно осуществить это знакомство на следующий день. Миссис Тикит – одна из основ благополучия этого дома, пояснил он, и всем его друзьям она хорошо известна. Вот это ее портрет, на той стене. Как только все семейство отбывает из дому, она облачается в шелковое платье и черные как смоль букли, в которых художник изобразил ее на портрете (когда она хлопочет на кухне, волосы у нее рыжеватые с проседью) и усаживается в гостиной, у окна, положив перед собою «Домашний лечебник» доктора Бухана,⁴⁵ всегда заложенный на одном и том же месте ее очками. Здесь она и проводит целые дни во время их отсутствия, и сколько бы это отсутствие ни длилось, нет такой силы, которая могла бы заставить миссис Тикит покинуть свой пост у окна или расстаться с ученым трудом доктора Бухана – хотя по глубокому убеждению мистера Миглза она в жизни не прочитала ни единого слова из советов этого почтенного эскулапа.

Вечером усадились сыграть роббер-другой, по старинке, а Бэби то следила за игрой, заглядывая в отцовские карты, то напевала что-то вполголоса, подыгрывая себе на фортепьяно. Она была балованным ребенком; но могло ли быть иначе? Кто, постоянно видя перед собой такое прелестное и милое создание, не поддастся бы его нежным чарам? Кто, проведя хоть один вечер в этом доме, не полюбил бы ее за то, что от одного ее присутствия в комнате словно становилось светлей и веселей? Так думал Кленнэм, невзирая на только что принятое решение.

⁴⁴ *Пятая заповедь (библ.)*. – Пятая из так называемых «десяти заповедей», которые бог повелел Моисею написать на двух каменных скрижалях, гласит: «Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил на земле».

⁴⁵ ...«*Домашний лечебник*» доктора Бухана. – «Домашний лечебник, или Семейный врач» (1769) был написан доктором Уильямом Буханом (1729–1805). При жизни автора «Лечебник» выдержал девятнадцать изданий и был переведен на все европейские языки, в том числе русский (Москва, 1790—2).

Занятый этими мыслями, он объявил ренонс, имея масть на руках. – Что же это вы, батенька, о чем думаете? – упрекнул его мистер Миглз, который был его партнером. – Виноват, сэр, ни о чем, – ответил Кленнэм. – Вот то-то и есть, так в другой раз думайте, пожалуйста, – сказал мистер Миглз. Бэби со смехом высказала предположение, что Кленнэм думал о мисс Уэйд. – Почему же о мисс Уэйд. Бэби? – спросил ее отец. – В самом деле, почему о мисс Уэйд? – повторил Артур Кленнэм. Бэби слегка покраснела и отошла к фортепьяно.

Наконец, пожелав друг другу покойной ночи, стали расходиться по спальням, и тут Артур ненароком услышал, как Дойс спрашивал у хозяина дома, не уделит ли тот ему с утра, еще до завтрака, полчаса для беседы. Хозяин пообещал, и Кленнэм решил несколько задержаться в гостиной, чтобы предварить эту беседу кое-какими собственными соображениями.

– Мистер Миглз, – сказал он, когда они остались вдвоем. – Помните, вы мне в свое время посоветовали ехать прямо в Лондон?

– Как же, разумеется.

– Тогда же вы мне дали еще один добрый совет, в котором я весьма нуждался.

– Не помню, о чем именно шла речь, – отвечал мистер Миглз, – но хорошо помню, что разговор у нас был самый душевный.

– Так вот, я воспользовался вашим советом и теперь, освободившись от занятия, по многим причинам весьма для меня тягостного, желал бы найти себе и своим скромным средствам какое-либо иное применение.

– Одобряю! И чем скорей, тем лучше, – сказал мистер Миглз.

– Сегодня по дороге к вам я узнал, что вашему другу мистеру Дойсу нужен компаньон – не механик, как он сам, но человек, который мог бы наладить должным образом деловую сторону его предприятия.

– Именно, – подтвердил мистер Миглз, засунув руки в карманы и придав своему лицу деловито-сосредоточенное выражение эпохи лопатки и весов.

– Мистер Дойс упомянул в разговоре, что намерен посоветоваться с вами относительно выбора такого компаньона. Если вам кажется, что мы с ним могли бы подойти друг другу по взглядам и ресурсам, не будете ли вы так добры назвать ему мое имя? Я, правда, говорю, не зная всех обстоятельств, а среди них могут быть неприемлемые для обеих сторон.

– Бесспорно, бесспорно, – отозвался мистер Миглз с осмотрительностью, достойной лопатки и весов.

– Но это уж вопрос цифр и расчетов...

– Именно, именно, – сказал мистер Миглз с тем уважением к цифрам, которое опять-таки напоминало о лопатке и весах.

– И я охотно занялся бы этим вопросом, заручившись согласием мистера Дойса и вашим одобрением. Словом, если вы возьмете на себя труд передать мое предложение мистеру Дойсу, вы меня крайне обяжете.

– Охотно принимаю ваше поручение, Кленнэм, – сказал мистер Миглз. – И, оставляя в стороне разные частности, которые вы, как деловой человек, сочтете нужным оговорить заранее, хочу сказать вам: я уверен, что из этого выйдет толк. В одном можете не сомневаться: Дэниел честнейший человек.

– Я настолько убежден в этом, что сразу же решил переговорить с вами.

– Им нужно руководить, направлять его, помогать ему; он ведь из породы чудаков, – продолжал мистер Миглз, видимо желая этим сказать, что Дойс делает вещи, которых еще никто не делал, и идет путями, которыми еще никто не ходил, – но честность его выше похвал. Ну а теперь – доброй ночи.

Кленнэм вернулся в свою комнату, сел снова в кресло у камина и стал думать о том, как он рад своему решению не влюбляться в Бэби. Она так хороша, так мила, так чиста душой, так готова откликнуться на зов, обращенный к ее нетронутым еще чувствам, что того, кто сумеет эти чувства пробудить, можно счесть счастливейшим из смертных, а потому он очень рад принятому решению.

Но поскольку те же доводы могли бы сгодиться и для противоположного решения, он еще продолжал размышлять об этом предмете. Для очистки совести, должно быть. «Представим себе человека, – думал он, – который достиг совершеннолетия добрых два десятка лет тому назад; обстоятель-

ства его воспитания сделали его робким и неуверенным в себе; обстоятельства его нынешней жизни делают его угрюмым и замкнутым; он знает, что лишен многих привлекательных черточек, которые так нравятся ему в других, и в этом повинны долгие годы, проведенные на чужбине, в суровом одиночестве; у него нет добрых сестер, которые могли бы встретить и обласкать его жену; нет уютного дома, куда он мог бы ее ввести; он почти чужой в Англии; не обладает и богатством (что хоть отчасти искупило бы все эти недостатки); в нем только и есть хорошего, что любящее сердце и горячее желание поступать по справедливости – и вот такой человек явился бы сюда, в этот дом, и подавшись очарованию прелестной юной девушки, вообразил бы, что может надеяться завоевать ее сердце; ведь это была бы непопозволительная слабость!»

Он встал, тихонько растворил окно и загляделся на реку, мерно текущую внизу. Год за годом проходит, и все столько же миль в час пробегают речные воды, все на столько же ярдов сносит течением лодку при переправе, все так же здесь белеют кувшинки, а там шелестит камыш; никаких перемен, никаких смятений.

Отчего же так тоскливо и тягостно у него на сердце? Он в этой слабости не повинен. Чья же это слабость? Ничья, ничья. Отчего же не забыть об этом? Но забыть он не мог. И невольно закрадывалась мысль (у каждого бывают такие минуты): а не лучше ли быть таким, как эта река, в вечном однообразии катящая свои воды, – жить, не ведая радостей, но не ведая и горя.

Глава XVII *Ничей соперник*

Наутро, перед завтраком, Артур решил побродить по окрестностям. Погода была отменная, до завтрака оставалось не менее часа, и, перебравшись через реку, он пошел по тропинке, извивавшейся среди лугов. Когда тропинка вновь привела его к берегу, он увидел там какого-то путника, который дожидался переправы и криками торопил перевозчика, замешкавшегося на другой стороне.

Это был молодой человек, самое большее лет тридцати. Платье ловко сидело на его ладной фигуре, лицо было смуглое, взгляд живой и веселый. Когда Артур, миновав перелаз, спустился к реке, незнакомец скользнул по нем беглым взглядом, и снова вернулся к своему несложному занятию – он коротал время, сталкивая ногой и воду небольшие голыши. Что-то жестокое почудилось Кленнэму в том, как он каблуком выворачивал камешек из земли и придвигал его к себе, чтобы удобнее было прицелиться. Кому из нас не случалось испытывать подобное чувство, глядя, как человек совершает самый пустяковый поступок: срывает цветок, отбрасывает мешающий ему предмет, наконец просто ломает что-то?

Незнакомец, судя по выражению его лица, был поглощен своими мыслями и не обращал никакого внимания на красавца ньюфаундленда, который настороженным взглядом следил за хозяином, косясь на каждый летящий с берега камень, и готовый по первому знаку броситься за ним в воду. Однако знак так и не был подан, а тем временем перевозчик причалил к берегу, и хозяин, ухватив собаку за ошейник, заставил ее войти в лодку.

– Нельзя, нельзя сегодня, – прикрикнул он при этом. – Как ты покажешься на глаза дамам, если с тебя будет течь вода? Куш!

Вслед за джентльменом и собакой вошел в лодку и Кленнэм. Собака послушно улеглась под скамью, а джентльмен остался стоять, заложив руки в карманы и загораживая Кленнэму перспективу. Как только лодка коснулась берега, и джентльмен и собака легко соскочили на землю и ушли. Кленнэм был очень рад от них избавиться.



Он уже подходил к садовой калитке, когда часы на ближней церкви пробили назначенное для завтрака время. Не успел он дернуть колокольчик, как из-за ограды послышался громкий собачий лай.

«Вчера я тут никаких собак не слышал», – подумал Кленнэм. Одна из румяных служанок отворила калитку, и первое, что представилось его взгляду, были ньюфаундленд и его хозяин.

– Мисс Минни еще не спускалась вниз, джентльмены, – зарумянившись еще больше, сказала привратница, когда все трое вошли в сад. Затем, обращаясь к хозяину собаки, она добавила: – Мистер Кленнэм, сэр, – и убежала.

– Забавно, как мы с вами повстречались, мистер Кленнэм, – сказал молодой человек. Собака тотчас замолчала. – Разрешите представиться: Генри Гоуэн. Не правда ли, чудесный уголок, и сегодня он особенно хорош.

Тон был приветливый, голос приятный; и все же Кленнэм почувствовал, что если бы не принятое решение не влюбляться в Бэби, этот Генри Гоуэн ему бы не понравился.

– Вы как будто не очень хорошо знаете здешние места? – спросил этот Гоуэн после того, как Артур также высказал свое восхищение.

– Совсем не знаю. Я здесь первый раз и только со вчерашнего вечера.

– А-а! Ну, надо сказать, вы попали не в самую лучшую пору. Какая красота была здесь нынеш-

ней весной, перед тем как хозяева отправились в путешествие! Право, жаль, что вы не могли этого видеть.

Если бы не упоминавшееся уже не раз решение, Кленнэм в ответ на эту любезность от души пожелал бы ему провалиться в кратер Этны.

– Я за последние три года имел удовольствие бывать здесь в самое разное время, и смею вам сказать, это – рай!

Бессовестный плут! Он заслужил быть названным так (верней, заслужил бы, если б не то мудрое решение) за то, что произнес слово «рай». Ведь он затем только произнес его, что увидел приближавшуюся Бэби, которая, услышав это слово, должна была заключить, что ее он считает ангелом, черт бы его побрал!

Ах, как она вся сияла, как была довольна! Как ласкала она собаку и как привычно собака кинулась к ней! Как красноречивы были эти зардевшиеся щеки и потупленный взгляд, это смущение, эта несмелая радость! Разве Кленнэм хоть раз видел ее такую? Правда, не было никаких причин к тому, чтобы он хотел, мог или надеялся увидеть ее такую, правда, он никогда даже не мечтал об этом; но все же – разве она когда-нибудь на его памяти бывала такой?

Он стоял один, в стороне от них. Этот Гоуэн, упомянув о рае, поспешил к ней навстречу и взял ее за руку. Собака уперлась в нее своими огромными лапами и положила голову ей на грудь. Она смеялась, здороваясь с гостем, и была явно увлечена возней с собакой – слишком, слишком увлечена, – так по крайней мере могло показаться стороннему наблюдателю, будь это человек влюбленный в нее.

Наконец она освободилась и подошла к Кленнэму, протянула ему свои пальчики, пожелала доброго утра и мило улыбнулась, как бы ожидая, что он предложит ей руку, чтобы вести ее в дом. Этот Гоуэн даже бровью не повел. Видно, знал, что ему нечего опасаться.

Легкая тень пробежала по круглому, добродушному лицу мистера Миглза, когда все трое вошли в столовую (верней сказать, все четверо, считая и собаку, которая была не самой неприятной в этой четверке). От Кленнэма это не укрылось, как не укрылся и беспокойный взгляд, брошенный на мужа хозяйкой дома.

– Ну, Гоуэн, – сказал мистер Миглз, словно бы даже подавив вздох, – что у вас нынче новенького?

– Да все по-старому, сэр. Мы с Львом рано встали и сразу же отправились в путь, чтобы поспеть сюда к завтраку, как уж у нас заведено по воскресеньям. Я ведь теперь поселился в Кингстоне, хочу написать там два или три пейзажа. – Затем он рассказал, как они с Кленнэмом встретились у переезда и вместе явились в дом.

– Как здоровье миссис Гоуэн, Генри? – спросила миссис Миглз. (Кленнэм прислушался.)

– Благодарю вас, матушка здорова. (Кленнэм перестал прислушиваться.) Я взял на себя смелость пригласить к вам еще одного гостя – надеюсь, это не причинит неудобства хозяевам. У меня не было другого выхода, – пояснил он, обращаясь к мистеру Миглзу. – Один мой знакомый напросился сегодня ко мне на обед; а так как он из хорошей семьи, я решил, что вы не рассердитесь, если я предложу ему приехать сюда.

– Кто же этот знакомый? – спросил мистер Миглз с непонятым оживлением.

– Молодой человек по фамилии Полип. Сын Тита Полипа, Клэрэнс, он служит по ведомству своего родителя. Могу поручиться, во всяком случае, что вечер не станет темней от его присутствия. Он с неба звезд не хватает.

– Так, так, – сказал мистер Миглз. – Он, значит, из Полипов? Мы с этим семейством немного знакомы, Дэн, верно? Черт возьми, да ведь оно сейчас у самого, можно сказать, кормила. Позвольте, позвольте. Кем же этот молодой человек доводится лорду Децимусу Полипу? Милорд в тысяча семьсот девяносто седьмом году женился на леди Джемайме Билберри, второй дочери от третьего брака – нет, что я путаю! То вовсе была леди Серафина. Леди Джемайма была первой дочерью от второго брака пятнадцатого баронета Чваннинга, с досточтимой Клементиной Тузеллем. Так, отлично. Отец вашего друга женился на девице из рода Чваннингов, а отец его отца был женат на своей двоюродной сестре, девице Полип. Отец того отца, что женился на девице Полип, был женат на девице Джодлби... Пожалуй, Гоуэн, я забрался слишком далеко. Но мне хочется установить, в каком родстве состоит этот молодой человек с лордом Децимусом.

– Нет ничего проще. Его отец – родной племянник лорда Децимуса.

– Родной – племянник – лорда Децимуса, – с расстановкой повторил мистер Миглз, зажмурившись, чтобы ничто не мешало ему насладиться смакованием этой родословной. – Черт возьми, а вы правы, Гоуэн. Именно так.

– И стало быть, сам он доводится лорду Децимусу внучатым племянником.

– Погодите-ка! – сказал мистер Миглз, широко раскрывая глаза, словно осененный какой-то новой мыслью. – А по материнской линии, выходит, он внучатый племянник леди Чваннинг?

– Совершенно справедливо.

– Так, так, так, – произнес мистер Миглз с живейшим интересом. – Скажите пожалуйста! Что ж, мы будем очень рады вашему другу. Окажем ему самый теплый прием, в меру наших скромных средств, и, во всяком случае, я надеюсь, с голоду он у нас не умрет.

В начале этого диалога Кленнэм приготовился стать свидетелем вспышки безобидного, но бурного гнева со стороны мистера Миглза, вроде той сцены, когда он за шиворот тащил Дэниела Дойса из Министерства Волокиты. Но за добрейшим мистером Миглзом водилась одна маленькая слабость, весьма распространенная среди рода человеческого, и даже тесное соприкосновение с Министерством Волокиты не могло надолго исцелить его от этой слабости. Кленнэм взглянул на Дойса, но Дойсу все это, видимо, было хорошо знакомо, а потому он сидел, уставясь в свою тарелку, и не ответил ни словом, ни жестом.

– Весьма вам признателен, – сказал Гоуэн в заключение разговора. – Клэрэнс изрядный осел, но, в общем, добряк и миляга, каких мало.

К концу завтрака выяснилось, что у Гоуэна что ни знакомый, то либо изрядный осел, либо изрядная бестия, однако в то же время чудеснейший малый, душа-человек, золотое сердце, добряк и миляга, каких мало. Чтобы при любой посылке приходило неизменно к подобному выводу, мистер Генри Гоуэн должен был рассуждать примерно так: «У меня на каждого из людей заведен особый счет, куда наиприятнейшим образом заносится все, что я нахожу в нем хорошего и дурного. Данные этого добросовестного учета позволяют мне с удовольствием отметить, что чем никудашнее человек, тем он, как правило, симпатичней, а также сделать утешительный вывод, что разница между порядочным человеком и прохвостом значительно меньше, нежели вы склонны думать». Вдохновленный этим открытием, он, словно бы стараясь всегда отыскать в человеке хорошее, на самом деле пренебрегал им там, где оно было, и обнаруживал там, где его не было; впрочем, других неприятных или опасных последствий описанный метод не имел.

Но мистеру Миглзу все это явно доставляло меньше удовольствия, чем изучение генеалогического древа Полипов. Снова и снова набегала тень на его лицо, которое Кленнэм всегда привык видеть таким ясным, и всякий раз настороженность и беспокойство отражались во внимательном взгляде его жены. Когда Бэби порой тянулась приласкать собаку, Кленнэм не мог отделаться от впечатления, что мистеру Миглзу это неприятно; а однажды, когда вышло так, что и Гоуэн склонился над собакой в одно время с нею, мистер Миглз поспешно вышел из комнаты, и Артуру показалось, что на глазах у него блеснули слезы. И еще ему показалось – а может быть, и не показалось, – что все эти мелочи не укрылись и от самой Бэби; что она нынче особенно старалась всячески выказывать отцу свою горячую любовь; что для того именно она по дороге в церковь и обратно брала его под руку и шла с ним вместе, поотстав от других. И положительно Артур мог бы поклясться, что поздней, гуляя один по саду, он ненароком видел в окно кабинета, как она нежно обнимала обоих родителей и плакала, уткнувшись в отцовское плечо.

Под вечер пошел дождь, и им пришлось провести остаток дня дома, за рассматриванием коллекций мистера Миглза и за дружеской беседой. Этот Гоуэн был бойким собеседником: говорил он главным образом о себе, весьма непринужденно и остроумно. По роду занятий он, видимо, был художник и некоторое время жил в Риме; что-то, однако, было в нем несерьезное, поверхностное, любительское, какой-то изъян чувствовался в его отношении к искусству и к собственной работе – но в чем тут именно дело, Кленнэм не мог понять.

Он решил обратиться за помощью к Дэниелу Дойсу, который стоял и смотрел в окно.

– Вы хорошо знаете мистера Гоуэна? – спросил он вполголоса, подойдя и став рядом.

– Встречал его здесь. Он является каждое воскресенье, когда семейство дома.

– Насколько я мог понять, он художник?

– Да, в некотором роде, – угрюмо ответил Дойс.

– Как это «в некотором роде»? – спросил Кленнэм, улыбнувшись.

– Он забрел в искусство, как на Пэлл-Мэлл, – гуляючи, мимоходом, – сказал Дойс, – а искусство, мне кажется, не парк для прогулок.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что семейство Гоуэн представляет собой отдаленную ветвь рода Полипов и что родитель мистера Генри Гоуэна некогда состоял при одном из наших посольств за границей, а впоследствии был возвращен за ненадобностью на родину и пристроен где-то в качестве инспектора чего-то, на каковом посту и умер, зажав в руке только что полученное жалование, право на которое он доблестно отстаивал до последнего вздоха. За столь выдающиеся государственные заслуги вдове его по представлению очередного властвующего Полипа определена была пенсия в размере двухсот или трехсот фунтов в год; а преемник этого Полипа присоединил к пенсии тихую и уютную квартиру в Хэмптонкортском дворце, где старушка и доживала свой век, сообщая с другими старушками обоюбого пола, сетуя на дурные времена и порчу нравов. Сына ее, мистера Генри Гоуэна, не имевшего иного подспорья в жизни, кроме весьма скромных средств, доставшихся ему по наследству от папаши-инспектора, оказалось нелегко пристроить к месту – тем более что свободных государственных синекур становилось все меньше, а ни к каким мастерствам молодой человек не проявлял склонности, кроме того, что был великим мастером мотать деньги. В конце концов он объявил о своем намерении стать художником, отчасти потому, что издавна баловался живописью, отчасти же, чтобы насолить главным Полипам, не позаботившимся о его судьбе. Дальше события разворачивались следующим образом: сперва был нанесен жестокий удар щепетильности некоторых дам из высшего круга; затем рисунки мистера Генри Гоуэна стали ходить по рукам в великосветских гостиных, вызывая восторженные восклицания: «Настоящий Клод! Настоящий Кейп!⁴⁶ Настоящий шедевр!» Наконец лорд Децимус купил одну из его картин, и во время званого обеда, на который приглашен был весь Совет с Президентом во главе, изрек с высоты своего величия:

«А знаете, мне и в самом деле кажется, что это очень хорошо написано». Короче говоря, видные особы не щадили усилий, чтобы ввести молодого художника в моду. Однако из этого так ничего и не вышло. Помешали предрассудки, господствовавшие в публике. Люди с непонятным упорством отказывались восхищаться приобретением лорда Децимуса, с непонятным упорством считали, что на любом поприще (кроме того, на котором они сами подвизались) успех может быть достигнут лишь неустанным трудом, неуклонным рвением и непоколебимой преданностью делу. И теперь мистер Гоуэн, подобно тому ветхому ящику, который называют гробом Магомета⁴⁷ (хоть в нем никогда не было ни останков пророка, ни чьих-либо еще), оказался подвешенным в пространстве между двумя сферами, со злобой и завистью взирая и на землю, от которой он оторвался, и на небо, которого так и не достиг.

Вот, в общих чертах, то, что удалось узнать о нем Кленнэму в это дождливое воскресенье и в последующие дни.

Спустя примерно час после обеденного времени прибыл молодой Полип со своим моноклем. Из уважения к родственным связям гостя мистер Миглз дал на этот вечер отставку розовощеким служанкам и поручил их обязанности двум мрачного вида лакеям. При виде Артура молодой Полип до того оторопел и растерялся, что долго не мог прийти в себя и только бормотал в замешательстве: «Э-э... послушайте! Э-э... знаете ли, доложу я вам!»

Немного оправившись, он воспользовался первым удобным случаем, чтобы отвести своего друга в сторону и пропищать тем тонким голоском, который еще усиливал создаваемое им впечатление беспомощности:

– Гоуэн, мне нужно поговорить с вами. Э-э... послушайте. Кто этот субъект?

– Какой-то знакомый хозяев дома. Не мой, во всяком случае.

– Имейте в виду: это ярый радикал, – сказал молодой Полип.

⁴⁶ *Настоящий Клод! Настоящий Кейп!* – Имеются в виду Клод-Лоррен (1600–1682) – французский пейзажист, и известные голландские живописцы Кейпы – Якоб-Герритс (1594–1651), Беньямин (1612–1652), Альберт (1620–1691).

⁴⁷ *Гроб Магомета.* – Магомет (ок. 570–632) – основатель религии ислама. Существует легенда о том, что гроб с останками Магомета покоится в воздухе, повиснув в усыпальнице без всякой опоры.

– Да ну? А вы откуда знаете?

– Черт побери, сэр, он недавно явился в наше министерство и стал приставать ко всем самым нахальным образом. Потом пошел к нам домой и приставал к моему отцу до тех пор, пока его не выставляли за дверь. Потом опять пришел в министерство и стал приставать ко мне. Послушайте, вы не представляете себе, что это за человек.

– А что ему было нужно?

– Черт побери, сэр, – ответил молодой Полип, – он, знаете, хотел бы узнать! Ворвался в министерство – хотя ему даже не был назначен прием – и заявил, что хотел бы узнать!

От изумления и негодования он так тарасил глаза, что рисковал ослепнуть, но тут весьма кстати явился лакей с докладом, что кушать подано. Мистер Миглз, проявив живейший интерес к состоянию здоровья его двоюродного дедушки и двоюродной бабушки, просил его вести к столу миссис Миглз. И глядя на гостя, восседающего по правую руку хозяйки дома, мистер Миглз сиял так, словно все семейство Полипов собралось за его обеденным столом.

От вчерашней милой непринужденности не осталось и следа. Не только обед, но и сами обедающие казались остывшими, безвкусными, пересушенными – и во всем был виноват этот жалкий, скудоумный маленький Полип. Он вообще не отличался красноречием, но сейчас, от присутствия Кленнэма, на него словно столбняк нашел. Повинуясь какой-то настойчивой и непреодолимой потребности, он беспрестанно поглядывал на упомянутого джентльмена, вследствие чего его монокль попадал то к нему в суп, то в бокал с вином, то в тарелку миссис Миглз, то свешивался у него через плечо на манер шнура от сонетки, так что одному из мрачных лакеев несколько раз пришлось водворять его на грудь посрамленного владельца. Расстройство чувств, порождаемое в молодом Полипе частым исчезновением этого оптического прибора, упорно не желавшего держаться в глазу, еще усиливалось при каждом взгляде на загадочного Кленнэма. В своей растерянности он хватал и подносил к глазу ложки, вилки и другие предметы обеденной сервировки, а обнаружив ошибку, смущался еще больше, но все-таки не мог заставить себя не смотреть на Кленнэма. А стоило Кленнэму заговорить, как злополучный юнец весь замирал от страха, что он так или иначе непременно договорится до того, что, знаете, хотел бы узнать.

Таким образом, едва ли кто-нибудь, кроме мистера Миглза, испытывал приятные чувства во время этого обеда. Но уж мистер Миглз наслаждался присутствием молодого Полипа в полной мере. Как склянка золотой воды в сказке, разлившись, превратилась в целый фонтан золота, так и ему казалось, что с появлением этого крошечного Полипчика, над столом словно простерлась тень всего генеалогического древа Полипов. И в этой тени как бы потускнели неоценимые душевные качества самого мистера Миглза. Исчезла его искренность, его непринужденность, он будто гнался за чем-то совсем ему чужим и ненужным; он перестал быть самим собой. Какое редкое, исключительное явление! Не правда ли, случай мистера Миглза – единственный в своем роде?

Наконец сырой промозглый вечер завершился сырой промозглой ночью, и молодой Полип уехал в кабриолете, вяло попыхивая сигарой, а противный Гоуэн ушел пешком вместе со своей противной собакой. Весь день Бэби старалась быть особенно приветливой с Кленнэмом; но Кленнэм с самого завтрака держался несколько замкнуто – верней, держался бы, будь он и правда влюблен в Бэби.

Только что он поднялся к себе в комнату и снова бросился в кресло перед камином, как в дверь постучали и вошел Дойс со свечой в руке, спросить, в котором часу и как он намерен возвращаться завтра в Лондон? Когда этот вопрос был выяснен, Кленнэм невзначай упомянул о Гоуэне – этот Гоуэн не давал бы ему покоя, будь он его соперником.

– Не верится, чтобы из него вышел большой художник, – сказал он.

– Не верится, – отозвался Дойс.

Засунув одну руку в карман и уставясь на пламя свечи, которую он держал в другой руке, мистер Дойс не трогался с места, как будто был уверен, что разговор на этом не кончится.

– Мне кажется, наш добрый друг как-то переменялся и даже помрачнел с приходом мистера Гоуэна, – заметил Кленнэм.

– Да, – промолвил Дойс.

– Но о его дочери нельзя сказать того же.

– Нет, – промолвил Дойс.

Оба помолчали. Затем мистер Дойс, не отрывая глаз от пламени свечи, медленно заговорил снова:

– Дело в том, что он уже два раза увозил дочку за границу в надежде отвлечь ее мысли от мистера Гоуэна. Ему кажется, что она не совсем равнодушна к этому молодому человеку, а на его взгляд (как и на мой, да и вы, верно, с этим согласитесь) такой брак едва ли принес бы ей счастье.

– Я... – Кленнэм поперхнулся, закашлялся и умолк.

– Да вы простудились, – сказал Дэниел Дойс, по-прежнему не глядя на Кленнэма.

– Я полагаю, они помолвлены? – небрежно спросил Кленнэм.

– Нет, нет, это мне доподлинно известно. Молодой человек добивался этого, но не добился. С тех пор как они вернулись из путешествия, он с позволения нашего друга является в гости по воскресеньям, но и только. Обманывать отца и мать Минни не станет. Вы путешествовали вместе с ними и не могли не видеть, какими тесными узами, нерасторжимыми даже в смерти, связаны члены этой семьи. Ничего более того, что все мы видим, между мисс Минни и мистером Гоуэном нет, я в этом не сомневаюсь.

– Ах! Довольно и этого! – воскликнул Кленнэм.

Мистер Дойс пожелал ему доброй ночи тоном человека, услышавшего если не вопль отчаяния, то стон боли, и стремящегося хоть немного подбодрить и утешить того, у кого этот стон или вопль вырвался. Должно быть, это было просто очередное чудачество с его стороны; не мог же он услышать что-либо подобное без того, чтобы и Кленнэм это услышал.

Дождь лил упорно, барабанил по крыше, глухо ударял в размокшую землю, шумел в кустарнике, в оголенных ветвях деревьев. Дождь лил упорно, уныло. Ночь будто плакала.

Если бы Кленнэм не принял решения не влюбляться в Бэби, если бы он проявил ранее упомянутую слабость, если бы мало-помалу убедил себя поставить на эту карту все свои думы, все свои надежды, все богатство своей глубокой и нерастроченной души – а потом увидел, что карта бита, тяжело пришлось бы ему в эту ночь. А так...

А так только дождь лил упорно и уныло.

Глава XVIII ***Поклонник Крошки Доррит***

Не следует думать, будто Крошка Доррит дожила до своего двадцать второго дня рождения, не имея ни одного поклонника. Даже в унылой тюрьме Маршалси вечно юный Стрелок порой натягивал тетиву своего старенького лука, и неоперенная стрела вонзалась в сердце того или иного пансионера.

Впрочем, поклонник Крошки Доррит не принадлежал к числу пансионеров. Это был наделенный чувствительным сердцем сын одного тюремного сторожа. Отец мечтал со временем передать незапятнанный тюремный ключ сыну и потому с самого нежного возраста приучал последнего к обязанностям своей профессии и к честолюбивой надежде, что эта профессия сделается наследственной в семье. А пока что будущий преемник отцовского звания помогал матери, которая держала на углу Хорсмонгер-лейн (не все сторожа жили при тюрьме) небольшую табачную лавочку, пользовавшуюся широкой популярностью среди обитателей Маршалси.

Еще в те далекие времена, когда его дама сердца сидела, бывало, в детском креслице у очага караульни, Юный Джон (Чивери по фамилии), который был годом старше, подолгу не сводил с нее восторженного взгляда. Когда они вместе играли на дворе, его любимая игра состояла в том, что он запирали ее в воображаемую тюрьму, а потом выпускал на волю за настоящий поцелуй. Когда он настолько подрос, что мог дотянуться до замочной скважины тюремных ворот, он не раз оставлял отцовский обед или ужин стынуть на ветру в то время, как сам до рези в глазу любовался на свою возлюбленную при помощи этого нехитрого оптического прибора.

Быть может, в беспечную пору детства, когда не страшна простуда и можно (о счастье!) не думать о своих пищеварительных органах, влечение Юного Джона порой несколько ослабевало; но с годами оно окрепло и превратилось в неугасимый пламень. В девятнадцать лет, по случаю дня рождения Крошки Доррит, он вывел мелом на стене напротив ее дверей: «Привет тебе, волшебное создание!» В двадцать три он научился робко преподносить по воскресеньям сигары Отцу Маршалси,

бывшему в то же время отцом царицы его сердца.

Юный Джон был невелик ростом; тоненькие ножки его часто спотыкались, реденькие белесые волосы разлетались во все стороны. Один глаз (быть может, тот, что глядел в замочную скважину) имел склонность слезиться и казался больше другого, как будто постоянно был вытаращен от удивления. Силою характера Юный Джон не отличался. Но у него была большая душа – возвышенная, открытая, преданная.

Робея перед кумиром своих грез, Юный Джон не мог быть чересчур самонадеянным, но все же в размышлениях об интересующем его предмете он взвешивал все положительные и отрицательные стороны. И при всем своем смирении ему удалось усмотреть здесь кое-какую закономерность, позволяющую верить в счастливое будущее. В самом деле: скажем, все сложится к лучшему, и они поженятся. Она – дитя тюрьмы, он – тюремный сторож. Разве не подходит одно к другому? Теперь дальше: скажем, он получит помещение при тюрьме. И тогда она будет жить бесплатно в той самой комнате, которую столько лет нанимала за деньги. Разве нет в этом заслуженной справедливости? Из окна комнаты, если привстать на цыпочки, можно увидеть, что делается на улице; а если увить окно душистым горошком да еще повесить клетку с канарейкой, получится просто райский приют. Разве не заманчивая перспектива? И потом жизнь в тюрьме имеет даже свою прелесть: по крайней мере принадлежишь только друг другу. Вдали от человечества, оставшегося по ту сторону тюремной стены (не считая той его части, что заперта по эту); лишь понаслышке зная о его горестях и тревогах от пилигримов, идущих на богомолье в Храм Неплательщиков; деля свое время между райским приютом наверху и караульной внизу – так будут они скользить по реке времени в идиллической безмятежности семейного счастья. И со слезами умиления Юный Джон завершал свои мечты картиной надгробного камня на соседнем кладбище, у самой тюремной стены, со следующей трогательной надписью на нем:

Здесь покоится

ДЖОН ЧИВЕРИ

который шестьдесят лет прослужил сторожем и пятьдесят лет главным сторожем в тюрьме Маршалси за этой стеной и окруженный всеобщим почетом и уважением отошел в вечность тридцать первого декабря одна тысяча восемьсот восемьдесят шестого года в возрасте восьмидесяти трех лет
а также его любимая и любящая супруга

ЭМИ урожденная ДОРРИТ

которая пережила свою потерю не более как на двое суток и испустила свой последний вздох в упомянутой тюрьме Маршалси
там она родилась,
там она жила,
там она скончалась.

Для супругов Чивери не составляли тайны сердечные переживания их сына – хотя бы потому, что были случаи, когда, взволнованный этими переживаниями, он проявлял излишнюю раздражительность в обращении с покупателями, чем наносил ущерб торговле. Но оба родителя в свою очередь пришли к убеждению, что вопрос может быть разрешен благополучным образом. Миссис Чивери, женщина мудрая, просила мужа помнить о том, что брак с мисс Доррит, в некотором роде потомственной гражданкой Маршалси, пользующейся у пансионеров большим уважением, несомненно подкрепит виды их Джона на карьеру сторожа. Миссис Чивери также просила мужа не забывать о том, что если их Джон обладает средствами и положением в обществе, то мисс Доррит зато обладает хорошим происхождением, а она (миссис Чивери) держится того мнения, что две половинки составляют целое. Наконец, рассуждая уже как мать, а не как дипломат, миссис Чивери просила мужа подумать и о том, что их Джон всегда был слабеньким, а эта любовь его и вовсе извела, так что если ему будут перечить, он еще чего доброго руки на себя наложит, и очень даже просто. Все эти доводы возымели столь сильное действие на мистера Чивери, что он теперь всякий раз, когда сын

собирался с воскресным визитом в Маршалси, давал ему шлепка «на счастье» – а это у него, человека немногословного, должно было означать, что он желает своему отпрыску, наконец, объясниться и получить благоприятный ответ. Но у Юного Джона не хватало духу на решительное объяснение, и, возвращаясь ни с чем, он тут-то и срывал свою досаду на покупателях табачной лавочки.

В этом деле, как и в других делах, меньше всего думали о самой Крошке Доррит. Ее брат и сестра знали всю историю и пользовались ею, как веревкой, на которой можно было вывесить для просушки жалкие лохмотья старого мифа о благородном происхождении семьи. Фанни подчеркивала благородство своего происхождения тем, что насмехалась над бедным вздыхателем, когда он слонялся около тюрьмы в надежде хоть издали поглядеть на возлюбленную. Тип подчеркивал благородство своего происхождения и своей натуры тем, что на кегельбане корчил из себя охранителя семейной чести, роняя хвастливые намеки относительно хорошей трепки, которую некий джентльмен намерен задать в один прекрасный день некоему молокососу. Но не они одни в семействе Доррит извлекали выгоду из сердечной склонности Юного Джона. Нет, нет. Предполагалось, разумеется, что Отцу Маршалси ничего не известно об этом обстоятельстве; его обветшалое достоинство не позволяло ему даже заметить что-либо подобное. Но он благосклонно принимал воскресные подношения сигар, и порой даже снисходил до того, что прогуливался по двору вместе с подносителем (окрыляя его гордостью и надеждой) и милостиво выкуривал сигару в его обществе. Столь же одобрительно-благосклонный прием находили знаки внимания, оказываемые Чивери-старшим, который всегда спешил уступить свое кресло и свою газету Отцу Маршалси, если тот заходил в караульную в его дежурство, и даже давал понять, что, пожелай мистер Доррит как-нибудь вечером шагнуть за ворота и выглянуть на улицу, к этому бы не встретилось препятствий. И если старик не пользовался последним любезным приглашением, то лишь потому, что уже не находил в нем ничего привлекательного; все прочие любезности он охотно принимал и не раз говаривал при случае: «Весьма приятный человек этот Чивери; любезный и уважительный. И сын у него такой же; умеет даже оценить деликатные особенности положения некоторых лиц. Очень, очень достойные люди. Их поступки радуют меня».

Юный Джон с неизменной почтительностью относился ко всем членам семейства Доррит. Далекий от всякого сомнения в неоспоримости их претензий, он принимал за чистую монету жалкие кривляний, которым был свидетелем. Ему и в голову не приходило ответить на оскорбительные выходы Типа; даже не будь он так кроток и миролюбив от природы, все равно он счел бы кощунством раскрыть рот или поднять руку на священную особу ее брата. Он скорбел, что навлек на себя гнев этой избранной натуры; однако был склонен находить это в порядке вещей и всячески старался смягчить и умилостивить доблестную личность, о которой идет речь. Ее отец – джентльмен, ставший жертвой обстоятельств, но сохранивший и в несчастье тонкий ум и изысканные манеры, – внушал ему глубочайшее уважение. Ее сестра казалась ему несколько тщеславной и высокомерной, но он готов был понять это в девице, наделенной такими совершенствами, и к тому же знававшей лучшие времена. Одной лишь Крошке Доррит бедный малый инстинктивно отдавал должное и выделял ее из всей семейки тем, что любил и уважал попросту такую, какой она и была на самом деле.

Табачная лавочка на углу Хорсмонгер-лейн помешалась в одноэтажном сельского вида домике, где всегда можно было насладиться ароматами тюремных задворков и полюбоваться видом пустынного тротуара, тянущегося вдоль тюремной стены. Фигура шотландского горца в натуральную величину была бы чересчур величественной⁴⁸ для столь скромного заведения, и ее заменял у входа экземпляр поменьше, который сильно смахивал на падшего херувима, приличия ради обрядившегося в шотландскую юбочку.

И вот в одно прекрасное воскресенье, отобедав пораньше, Юный Джон вышел из дверей, осененных херувимом, готовый к своему обычному воскресному визиту. Он шел не с пустыми руками; в кармане у него был запас сигар для очередного приношения. Одет он был скромно, но изящно: сюртук цвета сливы с черным бархатным воротником такой величины, какую только могли выдержать его хрупкие плечи, шелковый жилет в золотистых разводах, аккуратно повязанный галстук самого модного рисунка, с лиловыми фазанами по гороховому полю, панталоны, так щедро разукрашенные

⁴⁸ *Фигура шотландского горца в натуральную величину была бы чересчур величественной...* – Изображение шотландского горца в национальном костюме было традиционной эмблемой табачной лавки.

кантами, что каждая штанина напоминала трехструнную лютню, и, наконец, высоченный твердый цилиндр. Когда мудрая миссис Чивери заметила, что вдобавок ко всему прочему ее Джон прихватил с собой еще белые лайковые перчатки и трость с костяным набалдашником в виде руки, палец которой указывал ему нужное направление, и когда она увидела, что, оснащенный этими боевыми доспехами, он сразу же повернул направо за угол – она сказала мужу, только что сменившемуся с дежурства, что, кажется, догадывается, куда дует ветер.

В Маршалси в это воскресенье было особенно много посетителей, и Отец Маршалси целый день оставался дома, чтобы все желающие могли засвидетельствовать ему свое почтение. Сделав круг по тюремному двору, поклонник Крошки Доррит с замиранием сердца поднялся наверх и постучал в знакомую дверь.

– Войдите, войдите! – откликнулся приветливый голос. Голос Отца – ее отца и Отца Маршалси. Почтенный старец сидел в кресле; черная бархатная ермолка на голове, газета в руках, рядом на столе случайно забытая монетка в полкроны, напротив два стула. Все готово к дворцовому приему.

– А! Джон Чивери! Как поживаете, мой юный друг?

– Хорошо, сэр, благодарю вас. Надеюсь, и вы в добром здравии?

– Да, Джон Чивери, да. Не могу пожаловаться.

– Я взял на себя смелость, сэр, если вам...

– А? – В этом месте разговора Отец Маршалси всегда приподнимал брови и рассеянно улыбался с видом человека, мысли которого далеко.

– ...Несколько сигар, сэр.

– О! (Миг крайнего удивления.) Благодарю вас, мой юный друг, благодарю вас. Но, право, не злоупотребляю ли я... Нет? Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить об этом. Прошу вас, положите их на камин. И садитесь, пожалуйста, садитесь. Вы ведь не чужой здесь, Джон.

– Благодарю вас, вы очень добры, сэр. А мисс... – тут Юный Джон принялся вращать свой цилиндр на пальце левой руки, на манер колеса, в котором бегают белки. – Мисс Эми здорова, сэр?

– Да, Джон, да; вполне здорова. Ее сейчас нет дома.

– Нет дома, сэр?

– Да, Джон. Она пошла прогуляться. Мои дети все много гуляют, Джон. Естественная в их годы потребность, Джон.

– Разумеется, сэр, вполне естественная.

– Прогуляться. Да, прогуляться. – Он тихонько постукивал пальцами по столу, а взгляд его был устремлен в окно. – Она говорила, что пойдет на Железный мост, за последнее время это стало ее любимым местом для прогулок. – Он вернулся к прерванной беседе. – Ваш отец, кажется, сейчас не дежурит, Джон?

– Нет, сэр, он должен заступить с вечера. – Еще несколько оборотов цилиндра, затем Юный Джон встал. – Позвольте пожелать вам всего наилучшего, сэр.

– Уже уходите? Всего наилучшего, Джон. Ничего, ничего (великодушно-снисходительным тоном), – можете не снимать перчатку, Джон. Попрощаемся без церемоний. Ведь вы не чужой под этим кровом. Джон.

Восхищенный оказанным ему сердечным приемом, Джон стал спускаться вниз. На повороте лестницы он столкнулся с компанией пансионеров и их гостей, которые шли представляться Отцу Маршалси; как раз в эту минуту мистер Доррит, перегнувшись через перила, громко и отчетливо крикнул ему вдогонку: «Весьма признателен за ваш маленький подарок, Джон!»

Спустя короткое время, уплатив положенный пенни за переход, поклонник Крошки Доррит уже шагнул по Железному мосту, высматривая знакомую и милую фигурку. Он совсем было отчаялся найти ее, как вдруг увидел – впереди, почти у Мидлсекского конца⁴⁹ моста. Она стояла неподвижно, глядя на воду. Казалось, она глубоко задумалась о чем-то, и ему захотелось отгадать, о чем именно. За мостом уходили вдаль ряды городских крыш и труб, дымивших меньше, чем по будням; чернели в небе верхушки мачт и церковные шпили. Не эта ли картина занимала ее мысли?

Он ждал, не решаясь подойти – довольно долго, как ему казалось, – несколько раз отходил и

⁴⁹ ...у Мидлсекского конца... – Мидлсекс – графство, часть которого на левом берегу Темзы вошла в черту Лондона.

снова возвращался, а Крошка Доррит все стояла на том же месте и, погруженная в раздумье, даже не замечала присутствия своего поклонника. В конце концов он решил сделать вид, будто невзначай заметил ее, проходя мимо, и, обратившись к ней, начать разговор. Вокруг было тихо и пустынно, и упустить сейчас случай для разговора значило бы упустить его навсегда.

Он двинулся вперед, но она не слыхала его шагов, пока он совсем не поравнялся с нею. Когда он окликнул ее по имени, она вздрогнула и отшатнулась, не то с испугом, не то с отвращением, отчего у него болезненно сжалось сердце. Не раз уже он замечал, что она его избегает – сказать по правде, она всегда избегала его последнее время. Слишком уж часто, завидя его издали, она тотчас же сворачивала в сторону и исчезала; трудно было, объяснить это простой случайностью. Но бедняга Джон старался усмотреть тут проявление застенчивости, природную скромность, знак того, что она догадывается о его сердечной тайне – словом, что угодно, только не выражение неприязни. И вот сейчас ее взгляд сказал ему: «Так это вы! Из всех людей на свете вы последний, кого бы мне хотелось видеть!»

Это длилось всего лишь миг. Она тут же овладела собой и сказала своим обычным тихим голосом: «Ах, это вы, мистер Джон!» Но она понимала то, что произошло, так же как понимал это он; и они стояли и смотрели друг на друга, одинаково смущенные.

– Мисс Эми, я, кажется, напугал вас.

– Да, немножко. Я – мне хотелось побыть одной, и я не ожидала, что кто-нибудь меня здесь увидит.

– Мисс Эми, я взял на себя смелость прийти сюда, потому что мистер Доррит, у которого я сейчас только был, сказал, что вы...

Она вдруг жалобно простонала: «Ах, отец, отец!» – и отвернулась. Сердце у него сжалось еще сильнее.

– Мисс Эми, надеюсь, я вас не встревожил, упомянув о мистере Доррите. Уверяю вас, я застал его в добром здоровье и в наилучшем расположении духа, и он был ко мне особенно добр, сказал, что я не чужой под его кровом, и вообще обошелся со мной как нельзя сердечнее.

Тут Крошка Доррит к полному ужасу своего поклонника закрыла лицо руками и стала раскачиваться из стороны в сторону, словно от боли, повторяя: «Ах, отец, ну зачем! Ах, милый мой, дорогой мой отец, зачем же, зачем!»

Бедный малый смотрел на нее во все глаза, изнывая от сочувствия к ее горю, но не зная, как ему помочь. Но вот она, не поворачивая головы, вынула из кармана платок, прижала его к лицу и пустилась бежать. В первое мгновение он оторопел; потом, опомнившись, бросился за нею.

– Мисс Эми, ради бога! Умоляю вас, постоит минутку! Мисс Эми, уж если на то пошло, так позвольте, лучше я уйду. Я просто не могу вынести мысли, что вы убежали из-за меня.

Услышав его дрожащий голос, в котором звучало непритворное отчаяние, Крошка Доррит остановилась.

– Господи, что же мне делать! – воскликнула она. – Я не знаю, что мне делать!

Впервые в жизни Юный Джон видел ее в таком волнении – ее, которую он с детства привык считать образцом спокойствия и уравновешенности; и сознание, что никто как он тому причиной, заставило его содрогнуться с цилиндра до подошв. Ему стало ясно, что объясниться необходимо. Вдруг его неправильно поняли, приписали ему намерения или поступки, которых у него и в мыслях не было. Он стал молить, как о величайшей милости, чтобы она выслушала его.

– Мисс Эми, я очень хорошо сознаю, что не смею равняться с вами происхождением. Напрасно было бы закрывать глаза на это. Никогда в роду Чивери не было джентльменов, и не такой я бесчестный человек, чтобы обманывать вас в столь важном вопросе. Мисс Эми, я очень хорошо сознаю, что ваш благородный брат и ваша достойная сестра относятся ко мне с презрением. Но я могу только почтительно стараться заслужить их дружбу, помня, насколько я ниже их по происхождению, с какой стороны ни взять, хоть со стороны табачной лавки, хоть со стороны караульни, и желать им всяческого добра и благополучия.

Было нечто трогательное в искренности бедного малого и в контрасте между его мягким сердцем и твердой шляпой (а, может быть, и лбом тоже). Крошка Доррит стала уговаривать его, что он не должен принижать себя и свое положение, пуще же всего не должен думать, будто она считает себя выше его. Это придало ему духу.

– Мисс Эми, – начал он, запинаясь, – я давно-давно – целую вечность, кажется, – лелею в своем сердце желание кое-что сказать вам. Можно мне сказать это?

Невольным движением Крошка Доррит снова отстранилась от него, и что-то похожее на давешний испуг мелькнуло в ее взгляде. Но она сразу справилась с собой и быстрым шагом пошла по мосту, ничего не говоря.

– Можно мне – я ведь только спрашиваю, мисс Эми, – можно мне сказать? Я уже имел несчастье огорчить вас, – хотя видит бог, меньше всего желал этого! – и теперь не вымолвлю ни слова иначе как с вашего позволения. Пусть уж я один мучаюсь и страдаю душой; зачем чтобы из-за меня мучилась и страдала та, ради минутного удовольствия которой я охотно бросился бы с этого моста? Правда, не так уж велика была бы заслуга; ведь жизнь для меня немногого стоит.

Столь мрачные мысли при столь щегольском наряде могли бы вызвать смех, но столь возвышенные чувства внушали уважение. Это подсказало Крошке Доррит выход.

– Пожалуйста, Джон Чивери, – произнесла она, стараясь говорить ровным голосом, хоть все еще дрожала от волнения, – если уж вы так деликатны, что спрашиваете меня об этом – пожалуйста, не говорите.

– Никогда, мисс Эми?

– Да, пожалуйста. Никогда.

– Боже мой! – простонал Юный Джон.

– Позвольте лучше мне сказать вам кое-что. Я скажу это от всей души и постараюсь как можно ясней выразить свою мысль. Не нужно, Джон, думать о нас, – о моем брате, сестре, обо мне самой, – будто мы особенные, не такие, как все; ведь если и жили мы когда-то иначе, нежели живем сейчас (а как – сама хорошенько не знаю), то этого давно уже нет, и никогда больше не будет. И потому куда лучше и для вас и для других, если вы запомните это и перестанете относиться к нам как относились до сих пор.

Юный Джон с убитым видом пообещал, что запомнит ее слова, и выразил готовность исполнить все, что она пожелает.

– Что же касается меня, – продолжала Крошка Доррит, – постарайтесь думать обо мне как можно меньше: чем меньше, тем лучше. И если уж вам непременно захочется про меня вспомнить, так пусть я для вас буду просто девочкой, которая вместе с вами выросла в тюрьме, зная всегда одни заботы – слабым, беззащитным и непритязательным существом. Главное, помните, что за воротами тюрьмы я особенно беззащитна и одинока.

Он постарается исполнить все, что она пожелает. Но почему мисс Эми так настаивает, чтобы он помнил именно об этом?

– Потому, – отвечала Крошка Доррит, – что тогда, я убеждена, вы не забудете нынешнего разговора и не сделаете попытки к нему вернуться. Зная ваше великодушие, я могу не сомневаться в этом; я вам доверяю и всегда буду доверять. Сейчас я вам докажу, насколько я вам доверяю. Я очень люблю это место, где мы с вами беседуем сейчас, – тут поклоннику Крошки Доррит показалось, что ее бледное личико слегка порозовело. – Люблю и часто прихожу сюда. Но я знаю: мне достаточно сказать вам об этом, чтоб быть уверенной, что вы никогда больше не станете искать меня здесь. И я – я в самом деле уверена.

Она может положиться на него, сказал Юный Джон. Он самый несчастный человек на свете, но ее слово больше, чем закон для него.

– А теперь прощайте, Джон, – сказала Крошка Доррит. – Я надеюсь, вы себе со временем найдете хорошую жену и будете счастливы с нею. Вы заслуживаете счастья, Джон, и вы непременно будете счастливы.

При виде ее протянутой руки, сердце, бившееся под жилетом с золотистыми разводами (купленным по дешевке, если уж говорить правду), разбухло до размеров сердца настоящего джентльмена, и бедняга, чувствуя, что оно уже не помещается в его неджентльменской груди, разразился рыданиями.

– Ну, не надо плакать, – жалобно сказала Крошка Доррит. – Право же, не надо! Прощайте, Джон. Благослови вас бог!

– Прощайте, мисс Эми. Прощайте.

И он побрел прочь – успев только увидеть, как она присела на край скамейки и, опершись своей

маленькой ручкой о парапет, склонилась головой на холодный камень, словно под тяжестью печальных мыслей.

Поучительный пример тщеты людских чаяний являл собою поклонник Крошки Доррит, когда, надвинув на глаза свой парадный цилиндр, подняв, словно в защиту от дождя, бархатный воротник, застегнув на все пуговицы сюртук цвета сливы, чтоб не видно было шелкового жилета в золотистых разводах, шел он домой, куда властно указывал костяной палец, – шел самыми мрачными и глухими переулками и на ходу сочинял новую эпитафию для надгробной плиты на кладбище св. Георгия:

Здесь покоятся бранные останки

ДЖОНА ЧИВЕРИ

человека ничем не примечательного который умер в конце года одна тысяча восемьсот двадцать шестого от несчастной любви завещав с последним вздохом чтобы над прахом его начертали имя

ЭМИ

что и было исполнено его безутешными родителями.

Глава XIX

Отец Маршалси в разных видах

Когда братья Доррит, Уильям и Фредерик, прогуливались вместе по тюремному двору – разумеется, по аристократической его стороне, мимо колодца, ибо Отец Маршалси, неукоснительно блюдя свое достоинство, избегал показываться на другой стороне, и лишь по воскресеньям и по большим праздникам вроде рождества являлся среди своих беднейших чад и возлагал благословляющую руку на головы юного поколения неисправных должников, совершая эту процедуру с душеочистительным благолепием, – итак, когда братья прогуливались вместе по тюремному двору, это была примечательная в своем роде картина. Свободный Фредерик, понурый, жалкий, сгорбленный, сморщенный, а рядом узник Уильям, обходительный, благосклонный, проникнутый скромным сознанием значительности своей особы – уже по одному этому контрасту братья представляли собой зрелище, на которое стоило посмотреть.

Так они прогуливались и в тот воскресный вечер, когда у Крошки Доррит с ее поклонником состоялся знаменательный разговор на Железном мосту. С делами государственными было на этот день уже покончено. Парадный прием привлек немало посетителей; несколько человек было представлено вновь; к полукроне, нечаянно позабытой на столе, так же нечаянно прибавилось еще десять шиллингов; и теперь Отец Маршалси отдыхал, мирно покуривая сигару. Прогуливаясь взад и вперед по двору, он терпеливо приноравливал свой шаг к заплетающейся походке брата, не только не гордясь своим превосходством, но исполненный сострадания и участия, и каждое колечко дыма, которое слетало с его губ и устремлялось вверх тюремной стены, казалось, говорило о его сочувственном внимании к немощам этого дряхлого горемыки. В ту минуту на него стоило посмотреть.

Его брат Фредерик, согнутый в три погибели, с мутным взглядом, с трясущимися руками, с туманом в мыслях, покорно плелся рядом, принимая безропотно его покровительство, как принимал любое явление этого мира, в лабиринте которого он запутался раз и навсегда. В руке он держал, как обыкновенно, смятый картузик оберточной бумаги и время от времени извлекал из него крохотную щепотку табаку. Нерешительно заправив ее в нос, он не без восхищения поглядывал на брата, потом снова закладывал руки за спину и плелся дальше, до следующей понюшки, или вдруг останавливался в недоумении – быть может, хватившись своего кларнета.



Надвигалась ночь, и гости тюрьмы стали мало-помалу расходиться, но во дворе по-прежнему было людно, каждому из пансионеров хотелось проводить своего гостя до ворот. Братья меж тем продолжали свою прогулку; узник Уильям беспрестанно оглядывался по сторонам, ожидая приветствий, любезно раскланивался в ответ, приподнимая шляпу, и с милой улыбкой оберегал свободного Фредерика от опасности быть сбитым с ног или притиснутым к стене. Пансионеры, как правило, не страдали чрезмерной впечатлительностью, но даже они, судя по их лицам, согласились бы, что это – зрелище, на которое стоит посмотреть.

– Ты сегодня какой-то скучный, Фредерик, – сказал Отец Маршалси. – Что-нибудь случилось?

– Случилось? – Старик воззрился было на спрашивавшего, но тотчас же снова опустил глаза и понурил голову. – Нет, Уильям, нет. Ничего не случилось.

– Как бы мне уговорить тебя немного приодеться, Фредерик...

– Да, да, – поспешно отозвался бедняга. – Но я не могу. Не могу. Не надо об этом. Что прошло, то прошло.

Отец Маршалси взглянул на проходившего мимо пансионера из числа своих приятелей, словно желая сказать: не правда ли, жалкий старик? Но это мой брат, сэр, мой родной брат; а голос природы не заглушить!» – и, потянув брата за ветхий рукав, спас его от столкновения с колодезцем. Каким совершенным образцом братской любви, заботы и мудрости был бы Уильям Доррит, если бы в свое время спас брата от разорения, а не разорил его сам.

– Знаешь что, Уильям, – сказал предмет его нежных попечений, – пожалуй, пойду я домой; устал и спать хочется.

– Мой милый Фредерик, – отвечал Отец Маршалси, – не смею тебя задерживать; ты ни в коем случае не должен жертвовать своими желаниями в угоду мне.

– Что-то я стал сдавать, – сказал Фредерик. – Ложусь поздно, а может, это от духоты или годы сказываются.

– Мой милый Фредерик, – сказал Отец Маршалси, – а достаточно ли ты заботишься о своем здоровье? Так ли ты строг и пунктуален в своих привычках, как – ну хотя бы как я? Помимо той маленькой странности, о которой я только что упомянул, сдается мне, что ты пренебрегаешь моционом и свежим воздухом. Фредерик. Вот здесь к твоим услугам отличное место для прогулок. Ну почему бы тебе не пользоваться им почаще?

– Ох-хо-хо! – вздохнул Фредерик. – Да, да, да, да.

– Что толку говорить «да, да», мой милый Фредерик, и потом продолжать свое, – мягко, но настойчиво возразил Отец Маршалси. – А ведь тебе не нужно далеко ходить за примером. Взгляни на меня. Долгий опыт и необходимость научили меня разумному поведению. Каждый день в одни и те же часы я гуляю и отдыхаю, сижу дома или в караульне, читаю газеты, принимаю гостей, ем и пью. С годами я и Эми приучил к порядку, к тому, например, что еда должна подаваться мне в определенный час. Эми выросла в сознании важности этой системы, и ты знаешь, какая примерная девушка из нее получилась.

Как во сне продолжая передвигать ноги, брат только вздохнул в ответ:

– Ох-хо-хо! Да, да, да, да!

– Друг мой, – сказал Отец Маршалси, положив ему руку на плечо и легонько подтолкнув его (совсем легонько, а то ведь он такой слабый, бедняга!), – ты уже говорил это, и возможно, твои слова имеют глубокий смысл, но, к сожалению, они его не выражают. Хотел бы я помочь тебе встряхнуться, мой милый Фредерик. Тебе необходимо встряхнуться.

– Да, Уильям, да. Ты прав, – ответил старик, подняв на него свой мутный взгляд. – Только где уж мне до тебя.

Отец Маршалси пожал плечами в приливе скромности.

– Ты можешь быть таким же, как я, милый Фредерик, тебе стоит только захотеть! – и с великодушием сильнейшего он оставил своего поверженного брата в покое.

По всему двору шла обычная для воскресного вечера прощальная суета; там и сям можно было увидеть, как плачет какая-нибудь бедная женщина на груди у мужа или сына, только что ставшего обитателем тюрьмы. Было время, когда и Отец Маршалси плакал так в темных закоулках тюремного двора, мешая свои слезы со слезами жены своей. Но с тех пор прошло уже много лет, и теперь он стал подобен морскому путешественнику, который за долгое плаванье успел излечиться от морской болезни и страдания пассажиров, недавно принятых на борт, только раздражают его. Он искренне возмущался, находя, что людям, у которых глаза на мокром месте, нечего здесь делать, и был бы не прочь высказать свое возмущение вслух. Впрочем, он и без слов умел так недвусмысленно выразить протест против подобных нарушений общей гармонии, что нарушители, завидя его, торопились ретироваться.

В это воскресенье он был настроен благодушно и милостиво не замечал ничьих слез, когда с терпеливым и снисходительным видом шел к воротам, провожая Фредерика. В караульне, ярко освещенной пламенем газа, толпились пансионеры – прощались с гостями, а если не с кем было прощаться, просто глазели, как открываются и затворяются двери, болтали между собой или обменивались замечаниями с мистером Чивери. Появление Отца Маршалси было, разумеется, тотчас же замечено всеми; мистер Чивери дотронулся ключом до своей шляпы и выразил надежду (правда, несколько лаконично), что мистер Доррит чувствует себя хорошо.

– Спасибо, Чивери, я вполне здоров. А вы?

Мистер Чивери проворчал вполголоса: «Я всегда здоров!» – обычная его манера отвечать на подобные вопросы, когда он был не в духе.

– Юный Джон навестил меня сегодня, Чивери. Явился таким франтом, прямо хоть куда.

Это для мистера Чивери не новость. И если кому интересно знать его, мистера Чивери, мнение, так мальчик только зря деньги тратит на все эти финтифлюшки. Что ему проку от них? Одно расстройство. А этого и даром где угодно наберешься.

– Почему расстройство, Чивери? – ласково спросил Отец Маршалси.

– А так, нипочему, – ответил мистер Чивери. – Просто к слову пришлось. Что, мистер Фредерик уходит?

– Да, Чивери, мой брат идет домой, спать. Он устал и немного нездоров. Береги себя, Фредерик, береги себя. Спокойной ночи, дорогой Фредерик.

Пожав руку брату и прикосновением к засаленной шляпе простившись с остальными, старик поплелся к выходу. Отец Маршалси с высоты своего величия следил за ним с нежнейшей заботой.

– Будьте добры, Чивери, не запирайте еще минутку, я хочу посмотреть, как он спустится со ступенек. Осторожнее, Фредерик! (Он такой дряхлый!) Не забудь про ступеньки! (Он такой рассеянный!) Смотри по сторонам, когда станешь переходить мостовую. (Никак не могу смириться с мыслью, что он вот так один ходит по улицам, – ну долго ли угодить под колеса!)

Сказав это, он повернулся лицом к обществу, собравшемуся в караульне, и такая печать братских забот и тревог лежала на этом лице – так ясно читалась на нем скорбь о том, что бедный Фредерик лишен всех преимуществ тюремного заключения, что кое-кто из присутствующих тут же выразил эту мысль словами.

Но Отец Маршалси не удовлетворился произведенным впечатлением. Напротив, он сказал: нет, нет, джентльмены; пусть его не поймут превратно. Спору нет, бедный Фредерик сломлен духом и телом, и для него (для Отца Маршалси) было бы куда спокойнее, если бы он знал, что брат его находится в безопасности под надежной зашитой тюремных стен. Но не следует забывать, что длительное пребывание в этих стенах требует от человека соединения известных качеств – он не хотел бы говорить высоких качеств, но, во всяком случае, качеств, – нравственных качеств. А может ли его брат похвалиться наличием этих особых качеств? Джентльмены, это превосходнейший человек, на редкость добрый, мягкий, простодушный, как дитя, и достойный всяческого уважения; но подходящий ли это человек для Маршалси? Со всей решительностью нужно сказать: нет! И не дай ему бог, джентльмены, когда-либо попасть сюда не так, как сейчас – не по своей доброй воле. Всякому, кто переступает порог этого заведения, джентльмены, чтобы провести здесь длительное время, необходимо обладать недюжинной силой характера, ибо он должен пройти через многие испытания и уметь с честью из них выйти. А есть ли такая сила у его горячо любимого брата Фредерика? Нет. Каждому видно: это человек, придавленный обстоятельствами. Несчастное стечение обстоятельств придавило его. В нем нет упругости, нет гибкости, потребной для того, чтобы много лет прожить в таком месте и сохранить свое достоинство, продолжая сознавать себя джентльменом. И, наконец, Фредерику недостает (если позволено будет так выразиться) истинного величия души, которое помогло бы ему в деликатных небольших одолжениях и – кхм – знаках внимания, получаемых иногда, видеть проявление природной человеческой доброты и высокого чувства товарищества, свойственного обитателям этих стен, отнюдь не усматривая тут чего-то унижительного и несовместимого с достоинством джентльмена. Спокойной ночи, господа!

Закончив эту тираду, предназначенную разъяснить слушателям то, что им могло быть не ясно, он вышел из караульни, и со всей своей убогой и жалкой важностью вновь прошествовал по двору, мимо пансионера, ходившего в шлафроке за неимением сюртука, и пансионера, ходившего в купальных туфлях за неимением башмаков, и толстого пансионера-зеленщика, которому не о чем было заботиться, и тощего пансионера-приказчика, которому не на что было надеяться, и, наконец, поднявшись по своей убогой и жалкой лестнице, вошел в свою убогую и жалкую комнатенку.

Там уже ему был накрыт стол к ужину и приготовлен на спинке кресла у огня его старый серый халат. Дочь торопливо встала ему навстречу, спрятав в карман молитвенник, – не за всех ли, кто в плену и заточении, молилась она?

– Дядя, стало быть, ушел домой? – спросила она, подав отцу его черную бархатную ермолку и помогая надеть халат. Да, он ушел домой. Доволен ли отец прогулкой? Нет, не слишком. Нет? Уж не заболел ли он?

Она с заботливой нежностью склонилась над ним из-за спинки кресла, а он сидел и молчал, сумрачно глядя в огонь. Какое-то неприятное чувство, похожее на проблески стыда, одолевало его, и когда он, наконец, заговорил, слова туго шли у него с языка.

– Не знаю – кхм! – не знаю, что такое случилось с Чивери. Он сегодня – кха! – далеко не так вежлив и обходителен, как обыкновенно. Разумеется – кхм! – разумеется, это пустяк, душа моя, но даже такой пустяк меня расстраивает. Ведь нельзя забывать, что – кхм! – (он посмотрел на свои руки,

беспокойно потирая их), что та жизнь, которую я вынужден вести, к несчастью делает меня постоянно, ежечасно зависимым от этих людей.

Ее рука лежала у него на плече, но она не смотрела ему в лицо. Опустив голову, она смотрела в сторону.

– Я – кхм! – я просто ума не приложу, на что мог обидеться Чивери. Он всегда так – так внимателен и вежлив. А сегодня обошелся со мной почти грубо. Да еще при людях! Боже мой, Эми! Ведь если Чивери и другие служители перестанут уважать и поддерживать меня, я – я могу умереть тут с голоду. – Он то сжимал, то разжимал руки наподобие мехов; чувство, похожее на стыд, было так упорно, что он даже самому себе не решался признаться в истинном смысле своих слов.

– Я – кха! – ума не приложу, в чем тут дело. Даже вообразить себе не могу повода для такой перемены. Когда-то в Маршалси был сторож по фамилии Джексон (ты его, верно, не помнишь, милочка, ты была еще совсем маленькой); так вот у этого Джексона был – кхм! – брат – да, младший брат, и он, этот брат, ухаживал – то есть нет, тут не могло быть речи об ухаживании, просто он – оказывал внимание – самое почтительное внимание доч... нет, не дочери, а сестре одного из нас, личности довольно уважаемой к нашему заведению – я бы даже сказал, весьма уважаемой. Это был некий капитан Мартин; помню, он советовался со мной насчет того, есть ли надобность, чтобы его дочь – то есть сестра – рисковала обидеть Джексона-старшего, чересчур! – кха! – чересчур ясно выказывая Джексону-младшему свое отношение к нему. Капитан Мартин был истинным джентльменом, крайне щепетильным в вопросах чести, поэтому я прежде всего спросил, что он сам об этом думает. Капитан Мартин (весьма, кстати сказать, заслуженный офицер) ответил мне без колебаний, что, как ему кажется, его – кхм! – сестре незачем вникать в чувства этого молодого человека и что она могла бы относиться к нему благосклонно – нет, словно бы капитан Мартин не говорил «благосклонно»; кажется, он сказал «терпимо» – да, да: относиться к нему терпимо ради своего отца – то есть я хотел сказать брата. Да, к чему бишь я вдруг вспомнил эту историю? Не к тому ли, что искал причину поведению Чивери; хотя, собственно, какая связь...

Голос его прервался, как будто ей стало невмоготу слушать дальше, и она незаметно прикрыла ему рот рукой. Несколько минут в комнате стояла мертвая тишина; оба молчали и не шевелились; он – съжившись в своем кресле, она – обняв его за шею и положив голову к нему на плечо.

Но вот она встрепенулась и отошла, чтобы подать ему ужин, варившийся в кастрюльке на огне. Он сел на свое место за столом, она на свое, и он принялся за еду. По-прежнему они не смотрели друг на друга. Вскоре, однако, он стал проявлять непонятное раздражение; с шумом бросал на стол вилку и нож, сердито хватался то за солонку, то за перочницу, откусывал хлеб с такой яростью, точно именно хлеб был виной всему. Наконец он оттолкнул от себя тарелку и заговорил со странной непоследовательностью:

– А не все ли равно, сыт я или голоден? Не все ли равно, когда оборвется мое безотрадное существование, сейчас, или через неделю, или через год? Кому я нужен – жалкий арестант, живущий милостыней и чужими объедками; нищий, опустившийся старик!

– Отец, отец! – Видя, что он встал, она бросилась перед ним на колени, протягивая к нему руки.

– Эми! – продолжал он сдавленным голосом, весь дрожа и устремив на нее дикий, как у безумца, взгляд. – Послушай, Эми, если б ты могла увидеть меня таким, каким меня видела твоя мать, ты бы не признала во мне того несчастного, на которого ты всю жизнь смотришь только сквозь прутья этой клетки. Я был молод, красив, образован, я был независим – клянусь тебе, дитя! – и люди искали моего общества и завидовали мне. Завидовали мне!

– Отец, дорогой! – Она пыталась остановить трясущуюся руку, которую он размахивал в воздухе; но он отталкивал ее.

– Если б здесь, в комнате, висел мой портрет, написанный в ту пору, ты бы гордилась им, гордилась, хотя б он был лишь слабым подобием оригинала. Но у меня нет даже портрета. Пусть будет это наукой для других. Пусть каждый, – вскричал он, дико озираясь по сторонам, – хоть эту малость сбережет на память о днях благоденствия и славы. Пусть дети его получают возможность судить о том, каков он был. Мои дети никогда не видели меня – и никогда не увидят; разве только на смертном одре я вновь приму свой прежний, давно утраченный облик – не знаю, говорят, так бывает иногда.

– Отец, отец!

– О, презирай меня, презирай! Отвернись от меня – не слушай меня, не давай мне говорить –

красней за меня, плачь от стыда, что у тебя такой отец – и ты, и ты, Эми! Кори меня, кори – я сам помогу тебе! Я уже очерствел; я пал так низко, что даже это не примет меня!

– Отец, родной, любимый, самый дорогой на свете! – Она цеплялась за него до тех пор, пока ей не удалось усадить его снова в кресло; она поймала его простертую руку и обвила ею свои плечи.

– Не отнимайте у меня своей руки, отец. Взгляните на меня, поцелуйте меня. Подумайте обо мне хоть немножко, хоть одно мгновенье!

Он все не умолкал, но мало-помалу его испуганные выкрики переходили в жалобное причитание.

– И все-таки меня уважают здесь. Я сумел устоять под ударами судьбы. Я не превратился в жалкую тряпку. Спроси, кто тут в Маршалси первое лицо? Тебе скажут: твой отец. Спроси, с кем никто не позволяет себе шуток и все стараются обходиться деликатнее. Тебе скажут: с твоим отцом. Спроси, кого будут дольше всех вспоминать и, быть может, больше всех оплакивать после того, как гроб с его телом вынесут из ворот Маршалси (ибо я умру в Маршалси, я знаю, что иначе не может быть). Тебе скажут: твоего отца. Так что же, Эми, Эми? Неужели твой отец достоин только презрения? Неужели нет ничего, что можно бы поставить ему в заслугу? Неужели тебе нечего будет вспомнить о нем, кроме его позора и падения? Неужели ты о нем не пожалеешь, когда он уйдет из жизни, бедный отверженец, уйдет навсегда?

Слезы хлынули у него из глаз, бессильные слезы жалости к самому себе, и тут он разрешил ей, наконец, обнять его, усадить поудобнее, припал седой головой к ее щеке и скорбно сетовал на свою горькую участь. Потом вдруг предмет его сетований изменился, он крепко прижал ее к себе, восклицая: О Эми, его бедное, не знавшее матери дитя! О, как она всегда преданно и усердно заботилась о своем отце! Но очень скоро он снова заговорил о себе и расслабленным голосом стал рассказывать, как бы она любила его, если бы он был таким, как прежде; и как бы он ее выдал замуж за настоящего джентльмена, который гордился бы ею – дочерью такого отца; и как бы они вместе катались верхом, отец с дочерью, а толпа (подразумевались те самые люди, от которых он получил двенадцать шиллингов, лежавших в его кармане) тащилась бы пешком по пыльной дороге, почтительно приветствуя издали их обоих.

Так, переходя от хвастовства к отчаянию, но при этом неизменно оставаясь арестантом, отравленным нездоровым воздухом тюрьмы, с душой, насквозь пропитавшейся гнилью тюремной жизни, раскрывал он перед беззаветно преданной ему дочерью неприглядные глубины своего существа. Никому, кроме нее, не случалось видеть его и такой откровенной наготы. Его недавние слушатели, которые, разойдясь по своим углам, беззлобно потешались над произнесенной им речью, не могли и вообразить себе, какая мрачная картина пополнила в этот воскресный вечер невеселую коллекцию Маршалси.

История – или легенда – сохранила классический пример дочерней любви:⁵⁰ дочь, которая кормила в тюрьме умирающего с голоду отца так, как ее когда-то кормила мать. Крошка Доррит, хотя не римлянка, а англичанка, и притом нынешнего, отнюдь не героического поколения, сделала для своего отца много больше: в ее невинной груди находил он неиссякаемый источник любви и верности, который все эти долгие годы питал его изголодавшуюся душу.

Она утешала его, умоляла простить, если в чем-нибудь была или казалась недостаточно верной своему долгу; уверяла его – и видит бог, это была правда! – что любит и почитает его не меньше, нежели будь он баловнем фортуны, всеми признанным и уважаемым. Когда его слезы высохли, и всхлипывания утихли, и проблески стыда перестали беспокоить его, и к нему вернулись его обычные повадки, – она разогрела остатки ужина, села рядом и радовалась, глядя, как он ест и пьет. В своей черной бархатной ермолке и старом сером халате он снова был величественным, как всегда, и приди к нему сейчас кто из пансионеров посоветоваться о собственных делах, он держал бы себя с ним как лорд Честерфилд⁵¹ – великий авторитет в вопросах морали, как верховный блюститель нравственно-

⁵⁰ История – или легенда – сохранила классический пример дочерней любви... – Диккенс пересказывает далее древнеримскую легенду, послужившую сюжетом для картины «Отцелюбие римлянки» великого фламандского художника Рубенса.

⁵¹ Лорд Честерфилд (1694–1773) – английский государственный деятель, дипломат; известен как автор назидательных «Писем» (1737–1773) к своему внебрачному сыну.

го этикета Маршалси.

Чтобы развлечь его, она завела беседу о его гардеробе, и он соизволил сказать, что сорочки, которые она хочет ему сшить, придется весьма кстати, так как старые совсем истрепались, да к тому же, будучи куплены готовыми, всегда прескверно сидели. Войдя во вкус предмета, он обратил ее внимание на свой сюртук, висевший за дверью, и рассудительно заметил, что когда Отец ходит с продранными локтями, это едва ли может служить хорошим примером для детей, тем более если они и без того склонны к неряшеству. О своих стоптанных башмаках он упомянул в добродушно шутовском тоне, но, дойдя до галстука, вновь сделался серьезен и пообещал ей, что она купит ему новый, как только сумеет выкроить для этого деньги.

Потом он не спеша выкурил сигару, а она в это время стелила ему постель и прибирала комнату на ночь. Наконец, чувствуя усталость, так как час был поздний, да и недавнее волнение давало себя знать, он встал с кресла, благословил ее на прощанье и пожелал ей покойной ночи. Ни разу за все это время не пришло ему в голову подумать о *ее* платье, *ее* башмаках, о многих и многих вещах, которых у нее не было. Никто на свете не мог быть столь равнодушным к ее нуждам – разве только она сама.

Он несколько раз поцеловал ее, повторяя: «Господь с тобой, дитя мое! Покойной ночи, дружочек!»

Но то, что ей пришлось увидеть и услышать, так больно врезалось в ее нежное сердце, что она не решалась оставить его одного, боясь, как бы не повторился этот приступ горя и отчаяния.

– Отец, дорогой, я ничуть не устала, позвольте, я приду и посижу около вас, когда вы ляжете.

– Ей, верно, тоскливо одной? – спросил он покровительственным тоном.

– Да, да, отец.

– Тогда приходи, дружочек, приходи непременно.

– Я буду сидеть тихонько и не помешаю вам.

– Не думай обо мне, дитя мое, – великодушно подкрепил он свое разрешение. – Приходи непременно.

Он словно бы уже дремал, когда она опять вошла в комнату. Огонь почти потух, и она принялась мешать в камине, тихо-тихо, чтобы не разбудить спящего. Но он услышал и спросил, кто тут.

– Это я, отец, я, Эми.

– Эми, дитя мое, поди сюда. Я кое-что хочу сказать тебе.

Он слегка приподнялся на своем невысоком ложе, а она опустилась на колени, припала лицом к его плечу и взяла его руки в свои. О! Какой прилив отеческих чувств испытывал он в эту минуту – и как отец своих детей и как Отец Маршалси!

– Дитя мое, у тебя здесь нелегкая жизнь. Ни товаров, ни развлечений, да и забот, пожалуй, немало.

– Не думайте об этом, родной. Я никогда не думаю.

– Ты знаешь мое положение, Эми. Немного я мог для тебя сделать, но я сделал все, что мог.

– Да, мой дорогой, – отозвалась она, целуя его. – Знаю, все знаю.

– Вот уже двадцать третий год я живу здесь, – сказал он и не то всхлипнул, не то невольно вздохнул в порыве благородного умиления собственной добродетелью. – Это все, что я мог сделать для своих детей, – и я это сделал. Эми? дружочек, ты самое любимое мое дитя; ты у меня всегда была на первом месте – все, что я делал для тебя, моя девочка, я делал от души и никогда не роптал.

Одна лишь высшая Мудрость, у которой есть ключ ко всем сердцам и ко всем тайнам, знает, верно, до чего может дойти в своем самообольщении человек – особенно человек, впавший в ничтожество, как этот. Но довольно было бы видеть, как он, спокойный, безмятежный, по-своему величавый, лежал, смежив влажные ресницы, перед беззаветно любящей дочерью, которой он не готовил другого приданого, кроме своей жалкой жизни, придавившей ее плечи непосильными тяготами, и которая своей любовью спасла то, что еще было в нем человеческого.

Эта дочь ни в чем не сомневалась, не задавалась никакими вопросами; она рада была видеть его с сиянием вокруг головы. Бедный, милый, родной, голубчик, самый добрый, самый лучший на свете – вот слова, которыми она убаюкивала его; других слов у нее для него не было.

Она так и не ушла в эту ночь. Точно чувствуя за собой вину, которую только нежностью можно было кое-как заглаживать, она до рассвета просидела у его изголовья, порой тихонько целуя его или вполголоса называя ласковыми именами. Иногда она отстранялась так, чтобы отсвет догорающего огня падал на его лицо, и старалась увидеть это лицо таким, каким оно было в дни счастья и благополучия, – и каким, по его словам (глубоко запавшим ей в душу), может снова стать в страшный час кончины. Но тотчас же, отгоняя пугающую мысль, становилась на колени и горячо молилась: «Господи, пощади его дни! Сохрани мне его! Смилуйся, господи, над моим бедным, несчастным, страдавшим отцом – ведь хоть он уж и не тот, что был, но я так люблю, так люблю его!»

Только когда в окно забрезжило утро, защита от мрачных дум и источник надежды, она еще раз на прощанье поцеловала спящего и выскользнула за дверь. Спустившись с лестницы и перебежав пустой двор, она взобралась к себе на чердак и распахнула окошко своей каморки. За тюремной стеной рисовались на чистом утреннем небе городские крыши, над которыми еще не клубился дым, и вершины далеких холмов. Она выглянула из окна; железные острия на восточной стене сперва заалели по краям, потом зловещим пурпурным узором вырезались на огненном фоне встающего солнца. Никогда еще эти острия не казались ей такими колючими и грозными, прутья решетки такими массивными, тюремный двор таким тесным и мрачным. Она попыталась представить себе восход солнца над полноводной рекой, или над морскими просторами, или над ширью полей, или над лесом, полным шелеста деревьев и пения пробуждающихся птиц. Потом снова заглянула в глубь могилы, над которой только что взошло солнце, – могилы, в которой двадцать три года был заживо погребен ее отец; сердце ее содрогнулось от горя и жалости, и она воскликнула:

– Да, да, я никогда в жизни его по-настоящему не видела.

Глава XX **В сферах Общества**

Если бы Юный Джон Чивери возымел желание (и обладал способностями) написать сатиру в осмеяние джентльменской спеси, ему не пришлось бы далеко ходить за живыми примерами. Он нашел бы их без труда в семействе своей возлюбленной, в лице ее доблестного брата и изящной сестрицы, которые, кичась высоким происхождением, не брезговали низкими поступками и всегда были готовы занимать или попрошайничать у тех, кто беднее их, есть чей угодно хлеб, тратить чьи угодно деньги, пить из чьей угодно чашки, да еще и разбить ее потом. Сумей он изобразить все неприглядные дела этих отпрысков благородной фамилии, сделавших из своего благородства некий жупел для устрашения тех, чьей помощью они пользовались, Юный Джон заслужил бы славу сатирика первой величины.

Тип употребил во благо возвращенную ему свободу, поступив маркером в бильярдную. Его так мало интересовало, кому он обязан своей свободой, что все наставления, данные Кленнэмом Плорнишу, оказались совершенно излишними. Ему оказали любезность, он любезно воспользовался этой любезностью, и на том счел дело поконченным. Выйдя за ворота тюрьмы, так легко перед ним распахнувшиеся, он поступил маркером в бильярдную, и теперь время от времени являлся на кегельбане Маршалси в зеленой ньюмаркетской куртке⁵² с блестящими пуговицами (куртка была старая, подержанная, пуговицы новые) и угощался пивом за счет пансионеров.

При всей распушенности натуры этого джентльмена одно было в нем прочно и неизменно: любовь и уважение к сестре Эми. Правда, это ни разу не удержало его от того, чтобы причинить ей огорчение, ни разу не побудило чем-нибудь поступиться или стеснить себя ради нее: но хоть его любовь и носила отпечаток Маршалси, все же это была любовь. Душок Маршалси сказывался еще и в другом: он отлично понимал, что вся жизнь сестры принесена в жертву отцу; но ему в голову не приходило, что она и для него, Типа, делает кое-что.

Когда именно этот достойный молодой человек и его сестрица завели обычай извлекать из могилы скелет своего благородного происхождения и пугать им обитателей Маршалси, автор повествования сказать затрудняется. Должно быть, это случилось в ту пору, когда они впервые стали обедать

⁵² *Ньюмаркетская куртка* – куртка, плотно облегающая фигуру.

на счет сердобольных пансионеров. Достоверно одно: чем более жалким и нищенским становилось их существование, тем надменнее постукивал костями скелет; а когда брату или сестре случалось выкинуть что-нибудь неблаговидное, в стуке костей слышалось зловещее торжество.

В понедельник Крошка Доррит поздно задержалась в тюрьме, потому что отец ее проспал дольше обыкновенного, а ей нужно было накормить его завтраком и прибрать комнату. Но у нее в этот день не было работы в городе, поэтому она с помощью Мэгги управилась со своими обязанностями и терпеливо дождалась, когда почтенный старец отправился в кофейню читать газеты – двадцать ярдов до дома, где помешалась кофейня, составляли его утреннюю прогулку. Проводив отца, она надела шляпку и быстрым шагом пошла к воротам, так как торопилась по одному делу. Как всегда, при ее появлении болтовня в караульне смолкла; и один из старожилок, подтолкнув локтем новичка, поступившего только в субботу, шепнул: «Смотрите, вот она».

Ей нужно было повидать сестру; но когда она пришла к мистеру Крипплзу, оказалось, что сестра и дядя уже ушли. Она еще дорогой решила, что если не застанет их дома, то пойдет в театр, находившийся неподалеку, на этой же стороне реки. Так она и сделала.

Театральные порядки были известны Крошке Доррит не больше, нежели порядки на золотых приисках, и когда ей указали на обшарпанную дверь, у которой был какой-то странный невыспавшийся вид и которая, словно стыдясь самой себя, пряталась в тесном переулке, она не сразу отважилась туда направиться. У двери праздно стояли несколько бритых джентльменов в причудливо заломленных шляпах, чем-то напоминавшие пансионеров Маршалси. Последнее обстоятельство придало ей духу; она подошла и спросила, как ей найти мисс Доррит. Ее пропустили внутрь, и она очутилась в темной прихожей, походившей на огромный закопченный фонарь без огня, куда доносились издали звуки музыки и мерное шарканье ног. В углу этого мрачного помещения сидел, словно паук, какой-то мужчина, весь синий, как будто заплесневевший от недостатка свежего воздуха; он пообещал уведомить мисс Доррит о том, что ее спрашивают, через первого, кто пройдет мимо. Первой прошла мимо дама со свертком нот, до половины засунутым в муфту; у нее был такой помятый вид, что хотелось сделать доброе дело, выгладив ее утюгом. Но она очень любезно предложила: «Пойдемте со мной; я вам живо разыщу мисс Доррит», – и сестра мисс Доррит послушно двинулась за нею в темноту, навстречу музыке и шарканью ног, которые с каждой секундой становились слышнее.

Наконец они попали в какой-то пыльный лабиринт, где со всех сторон торчали балки, громоздились кирпичные стены и деревянные перегородки, свешивались концы веревок, стояли лебедки, и среди всего этого, в свете газовых рожков, причудливо смешивавшемся с дневным светом, сновало множество людей, сталкиваясь и натываясь друг на друга – так, должно быть, выглядит мир, если смотреть на него с изнанки. Крошка Доррит, оставшись одна и ежеминутно рискуя быть сбитой с ног, совсем растерялась, но вдруг она услышала знакомый голос сестры:

– Господи помилуй, Эми, зачем ты пришла сюда?

– Фанни, милая, мне нужно было тебя повидать, но я завтра на весь день уйду, а сегодня я боялась, что ты занята до позднего вечера, вот я и решила...

– Нет, только подумать, Эми – ты за кулисами! Вот уж не ожидала. – В тоне мисс Доррит не слышалось бурного восторга, однако она все же провела сестру в уголок посвободнее, где на составленных в беспорядке позолоченных стульях и столах расселся целый выводок девиц, взапуски трещавших языками. Всех этих девиц тоже не мешало бы прогладить утюгом, и все они пребойко постреливали глазами по сторонам, не умолкая ни на мгновение.

В ту минуту, когда сестры подошли к ним, из-за перегородки слева высунулся какой-то меланхолический юнец в шотландской шапочке и, сказав: «Потише, барышни!» – снова исчез. Тотчас же из-за перегородки справа высунулся жизнерадостный джентльмен с длинной гривой черных волос и, сказав: «Потише, душеньки!» – тоже исчез.

– Ты – здесь, среди актеров, Эми! В жизни бы не могла себе этого представить, – сказала Фанни. – Но как ты сумела попасть за кулисы?

– Не знаю. Дама, которая сказала тебе о моем приходе, была так добра, что вызвала меня проводить.

– Все вы, смиренницы, таковы! Тише воды, ниже травы, а пролезете всюду. Мне бы ни за что не суметь, хоть я куда опытнее тебя.

Так уж было заведено в семье – считать Эми простушкой, которая знает толк лишь в домашних делах и далеко уступает своим родным по части житейского опыта и мудрости. Этот семейный миф служил им оплотом против нее, позволяя не замечать всего, что она делала для семьи.

– Ну, Эми, говори, что тебя привело сюда? Уж, верно, какие-нибудь сомнения на мой счет, – сказала Фанни. Она говорила будто не с сестрой, которая на два или три года моложе ее, а со старой ворчуньей-бабушкой.

– Ничего важного, Фанни; только, помнишь, ты говорила мне про даму, которая тебе подарила браслет... Тут из-за перегородки слева опять высунулся меланхолический юнец, сказал: «Приготовьтесь, барышни!» – и исчез. Немедленно из-за перегородки справа высунулся джентльмен с черной гривой, сказал: «Приготовьтесь, душеньки!» – и тоже исчез. Девушки все встали и принялись отряхивать свои юбки.

– Говори, Эми, – сказала Фанни, занимаясь тем же делом, – говори, я тебя слушаю.

– Так вот, с тех пор как ты показала мне браслет и сказала, что это подарок от одной дамы, у меня что-то беспокойно на душе, Фанни, и мне бы очень хотелось узнать все подробней, если ты согласна рассказать мне.

– На выход, барышни! – крикнул юнец в шотландской шапочке.

– На выход, душеньки! – крикнул джентльмен с черной гривой. В одно мгновение все девушки исчезли, и снова послышались музыка и шарканье ног.

Крошка Доррит присела на позолоченный стул; от этого разговора с перебоями у нее кружилась голова. Ее сестра и прочие девушки долго не возвращались, и все время, что их не было, чей-то голос (похожий на голос джентльмена с черной гривой) считал в такт музыке: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть – хоп! Раз, два, три, четыре, пять, шесть – хоп! Внимательней, душеньки! Раз, два, три, четыре, пять, шесть – хоп!» Наконец голос умолк и девушки воротились, запыхавшись, кто больше, кто меньше; они кутались в шали и, видимо, собирались уходить. «Погоди, Эми, пусть они уйдут раньше», – шепнула Фанни. Ждать пришлось недолго, и за это время не произошло никаких событий, только юнец еще раз высунулся из-за левой перегородки и сказал: «Завтра всем к одиннадцати, барышни», а черногривый джентльмен высунулся из-за правой и сказал: «Завтра всем к одиннадцати, душеньки», – каждый на свой манер.

Когда сестры остались одни, что-то, разостланное на полу, вдруг скатали или отодвинули в сторону и перед ними открылся глубокий темный колодец. Заглянув туда, Фанни крикнула: «Идем, дядя!» – и тут Крошка Доррит, у которой глаза успели по привычке к темноте, разглядела на дне колодца дядюшку Фредерика; он сидел в углу, один-одинешенек, прижимая к себе свой инструмент в потрепанном футляре.



Можно было подумать, что когда-то, в лучшие дни, место этого старика было в вышине галереи, где в узкие оконца под самым потолком виднелась синяя полоска неба; но постепенно он спуускался все ниже и ниже, пока не очутился на дне колодца. Здесь уже много лет просиживал он шесть вечеров в неделю, но никогда не поднимал глаз от пюпитра с нотами, и в театре уверяли, что он не видел ни одного представления. Говорили даже, будто он не знает в лицо популярных героев и героинь, и был однажды такой случай, когда комик на пари передразнивал его пятьдесят вечеров подряд, а он ничего и не заметил. У театральных плотников была в ходу шутка, что он, мол, давно уже умер, только сам этого не знает; а завсегдатаям партера казалось, что он так и живет в оркестре, не выходя ни днем, ни ночью, ни даже по воскресеньям. Пробовали расшевелить его, протягивая через барьер табакерку с приглашением угоститься; в таких случаях он учтиво благодарил, словно в нем оживало на миг какое-то бледное подобие джентльмена; но в остальное время он проявлял себя лишь так, как это было предусмотрено партией кларнета, а поскольку в обыденной жизни партии кларнета нет, то там он не проявлял себя никак. Одни считали его бедняком, другие – богатым скрягой; сам он всегда молчал, что бы про него ни говорили, все так же ходил, понунив голову, все так же волочил ноги, словно не в силах был оторвать их от земли. Хоть он и ожидал сейчас, что племянница позовет его, однако услышал зов только на третий или на четвертый раз; а увидев вместо одной племянницы двух, нимало не удивился, только сказал своим дребезжащим голосом: «Иду, иду!» – и полез в какой-то подземный ход, откуда несло сыростью, как из погреба.

– Итак, Эми, – сказала старшая сестра, когда все трое вышли на улицу через ту самую дверь, которая явно стыдилась, что непохожа на другие двери, и дядя тотчас же оперся на руку Эми, инстинктивно чуя в ней самую надежную опору, – итак, Эми, ты беспокоишься на мой счет?

Она была хороша собой, знала это и любила покрасоваться; но сейчас она снисходительно соглашалась забыть о преимуществах, которые давали ей красота и житейский опыт и обращалась к младшей сестре как к равной, – в этой снисходительности тоже угадывались фамильные черты.

– Мне все интересно и все важно, что тебя касается, Фанни.

– Знаю, знаю; ты у меня хорошая, добрая сестренка. А если я порой бываю запальчива, так ведь ты сама должна понять, каково мне мириться со столь жалким положением, зная, что я достойна гораздо большего. И все бы еще ничего, – продолжала эта истинная дочь Отца Маршалси, – если бы не мои товарки. Ведь все они – из простых. Ни одна даже в прошлом не принадлежала, как мы, к высшему кругу. Все они чем были, тем и остались. Обыкновенные простолюдинки.

Крошка Доррит мягко взглянула на сестру, но не сказала ни слова. Фанни достала платок и сердито вытерла глаза. – Я не родилась там, где ты, Эми, может быть, в этом все дело. Моя милая сестренка, сейчас мы избавимся от дяди и я тебе все расскажу. Мы только доведем его до кухмистерской, где он обедает.

Они прошли еще немного и, наконец, свернув в какой-то грязный переулок, остановились у еще более грязного окна, которое так запотело от горячего пара, поднимавшегося над жаркими, овощами и пудингами, что сделалось почти непрозрачным. Но все же в просветы можно было разглядеть жареный окорок, обливавшийся слезами шалфейно-лукового соуса в металлической посудине, сочный ростбиф или йоркширский пудинг с румяной корочкой, шипевший на сковороде, фаршированную телячью грудинку, от которой то и дело отрезали огромные порции, ветчину, которая исчезала с такой быстротой, что даже взмокла, блюдо рассыпчатого картофеля, овощи в тушеном и жареном виде и разные другие деликатесы. В глубине помещения было отгорожено несколько закутков для тех посетителей, которые предпочитали уносить обед домой не в руках, а в желудке. Полюбовавшись этой картиной, Фанни порылась в своем ридикюле, извлекла оттуда шиллинг и подала дяде. Дядя, некоторое время подержав монетку в руке, догадался, наконец, для чего она предназначена и, пробормотав: «А! Обед! Да, да, да, да!» – неторопливо скрылся в клубах пара, вырвавшегося из двери.

– Ну вот, Эми, – сказала старшая сестра, – теперь, если ты не слишком устала, мы с тобой отправимся на Харли-стрит, Кэвендиш-сквер.

Так небрежно произнесла она этот аристократический адрес и так задорно поправила при этом свою новую шляпку (пожалуй, более нарядную, нежели удобную), что младшая сестра была слегка озадачена, однако выразила готовность идти на Харли-стрит, и они тронулись в путь. Когда, наконец, перед ними потянулся ряд великолепных особняков, Фанни выбрала самый великолепный, постучалась и спросила отворившего дверь лакея, дома ли миссис Мердл. У лакея волосы были и пудре, а по сторонам стояли еще два лакея, тоже в пудре, однако же он не только признал, что миссис Мердл дома, но даже пригласил Фанни войти. Фанни вошла вместе с сестрой, они поднялись по лестнице – одна пудренная голова впереди, две пудренные головы сзади, – и очутились в просторной полукруглой гостиной, открывавшей собой целую анфиладу гостиных; здесь, оставшись одни, они осмотрелись и увидели золоченую клетку и попугая, который лазал по ней, цепляясь за прутья клювом и растопыривая в воздухе чешуйчатые лапки, причем нередко оказывался в самых нелепых позах, подчас даже вниз головой. Впрочем, подобные странности наблюдаются и у птиц другого полета, когда они карабкаются по золотым прутьям.

Даже искусственного ценителя поразили бы роскошь и богатство этих покоев, что же до Крошки Доррит. то она ничего подобного и вообразить себе не могла. Она с изумлением оглянулась на сестру и хотела что-то спросить, но Фанни предостерегающе нахмурилась, указывая взглядом в сторону тяжелой драпировки, скрывававшей вход в соседнюю комнату. В ту же минуту драпировка заколыхалась, унизанная кольцами рука приподняла ее край, и в комнату вошла дама.

Дама уже не была молода и свежа благодаря природе, но была молода и свежа благодаря искусству своей камеристки. У нее были большие бездушно красивые глаза и темные бездушно красивые волосы и пышный бездушно красивый бюст, и все в ее наружности было продумано до мельчайших подробностей. Оттого ли, что она боялась схватить насморк, или оттого, что ей был к лицу такой убор, она повязала голову дорогим кружевным шарфом, затянув его под подбородком. И если бы кто

захотел представить себе подбородок, который никогда не осмелилась бы потрепать ничья рука, ему достаточно было взглянуть на этот бездушно красивый подбородок, подтянутый кружевной уздечкой.

– Миссис Мердл, – сказала Фанни. – Моя сестра, сударыня.

– Рада познакомиться с вашей сестрой, мисс Доррит. Я не знала, что у вас есть сестра.

– Я вам не говорила о ней, – сказала Фанни.

– А-а! – Миссис Мердл оттопырила мизинец левой руки, словно желая сказать: «А-а, попались! Вот то-то и есть, что не говорили!» Все необходимые жесты миссис Мердл делала левой рукой, потому что руки у нее были неодинаковы, левая была гораздо белее и пухлее правой. Затем она пригласила их садиться и сама весьма уютно устроилась в гнездышке из алых с золотом подушек на оттоманке близ клетки попугая.

– Тоже из актрис? – осведомилась миссис Мердл, разглядывая Крошку Доррит в лорнет.

Фанни ответила, что нет, не из актрис.

– Не из актрис, – повторила миссис Мердл, опустив лорнет. – Впрочем, это видно. Очень мила, но на актрису не похожа.

– Моя сестра, сударыня, – сказала Фанни, у которой почтительность странным образом соединялась с развязностью, – просила меня откровенно, как водится между сестрами, рассказать ей, каким образом мне выпала честь познакомиться с вами. А поскольку мы уговорились, что я побываю у вас еще раз, я взяла на себя смелость привести ее с собой, полагая, что вы, может быть, расскажете ей сами. Я хочу, чтобы она знала все, и, пожалуй, лучше, если она узнает от вас.

– Но не находите ли вы, что вашей сестре в ее возрасте... – многозначительно заметила миссис Мердл.

– Она гораздо старше, чем кажется, – возразила Фанни. – Мы с нем почти одних лет.

– В Обществе, – сказала миссис Мердл, снова оттопырив мизинец, – есть много такого, что трудно объяснить юным особам (строго говоря, и не только юным), и потому я очень рада это слышать. Ах, если бы Общество было не столь прихотливо, если бы оно было не столь требовательно... Попка, молчи!

Попугай вдруг так отчаянно заорал, как будто именно он представлял собою Общество и настаивал на своем нраве быть требовательным.

– Но, – продолжала миссис Мердл, – приходится принимать его таким, как оно есть. Мы знаем, сколько в нем фальши, условностей, предрассудков и всяческой скверны, но поскольку мы все же не дикари с тропических островов (о чем я лично очень сожалею: никаких забот и климат, говорят, прекрасный) – приходится считаться с его требованиями. Таков наш общий удел. Мистер Мердл – крупный коммерсант, у него обширнейшее поле деятельности, он очень богат и очень влиятелен, но даже и он... Попка, молчи!

Попугай снова заорал и тем столь выразительно dokonчил фразу, что избавил миссис Мердл от необходимости доканчивать ее.

– Ваша сестра просит, чтобы в завершение нашего с нею знакомства, – начала она снова, обращаясь к Крошке Доррит, – я рассказала вам, при каких обстоятельствах это знакомство возникло (надо сказать, эти обстоятельства делают честь вашей сестре). Что ж, не вижу причин, почему бы мне не удовлетворить ее просьбу. У меня есть сын, которому сейчас двадцать два или двадцать три года (я была совсем юной, когда первый раз выходила замуж).

Фанни поджала губы и бросила на сестру почти торжествующий взгляд.

– Двадцать два или двадцать три года. Он немного ветрен – недостаток, который Общество легко извиняет молодым людям, – и крайне впечатлителен. Должно быть, это у него наследственное. Я сама крайне впечатлительна по натуре. Как всякое слабое создание. Меня растрогать ничего не стоит.

Эти слова (как и все ее слова) были произнесены ледяным голосом, точно не женщина говорила, а снежное чучело; о сестрах она почти позабыла, а обращалась к некоей отвлеченной идее, именуемой Обществом. Для этого же воображаемого собеседника она время от времени расправляла складки своего платья или меняла позу на оттоманке.

– Итак, он крайне впечатлителен. Не такая уж беда для человека в его естественном состоянии, но мы не находимся в естественном состоянии. Весьма прискорбно, разумеется, особенно для меня, ибо я истинное дитя Природы (если бы только я могла дать волю своим склонностям) – но такова

действительность. Все мы подавлены и поработаны Обществом... Попка, молчи!

Попугай, черным языком лизавший прутья клетки, искореженные его крючковатым клювом, вдруг залился резким, пронзительным хохотом.

– Вам, при вашем здравом уме, богатом жизненном опыте и утонченных чувствах, – тут миссис Мердл поднесла к глазам лорнет, чтобы напомнить себе, к кому она, собственно, обращается, – вам едва ли нужно говорить о той притягательной силе, которой для молодых людей подобного склада обладает порой сцена. Говоря «сцена», я имею в виду выступающих на ней особ женского пола. Поэтому, когда до меня дошли слухи, что мой сын увлекся танцовщицей, я, зная, что под этим подразумевается в Обществе, сразу же предположила, что речь идет о танцовщице Оперы, так как молодые люди из Общества обычно находят предмет для своих увлечений именно там.

Глядя теперь уже прямо на сестер, она поглаживала одну свою белую руку другою, отчего кольца терлись друг о друга с неприятным скрежетом.

– Ваша сестра может подтвердить вам, что, когда я узнала, в каком театре она выступает, я была очень удивлена и очень огорчена. Но когда вслед за тем я узнала, что, получив от вашей сестры отказ (должна прибавить, весьма непредвиденный и решительный), он дошел до того, что предложил жениться на ней, мое огорчение сменилось глубочайшей тревогой – мучительной тревогой.

Она провела пальцами по левой брови и пригладила торчавший волосок.

– Обуреваемая чувствами, которые может испытывать только мать, и притом мать, вращающаяся в Обществе, я приняла решение лично отправиться в театр и объясниться с танцовщицей начистоту. Знакомство с вашей сестрой состоялось. К моему удивлению, она оказалась во многих отношениях не такой, как я ожидала, и самым неожиданным было то, что она, со своей стороны, выставила – как бы это сказать? – соображения семейного порядка. – Миссис Мердл улыбнулась.

– Я вам сказала, сударыня, – вспыхнув, перебила Фанни, – что хоть я и занимаю сейчас столь скромное положение, но вы не должны равнять меня с моими товарками, что я из такой же хорошей семьи, как и ваш сын, и что у меня есть брат, который, узнан обо всем, будет того же мнения и едва ли сочтет вашего сына подходящей для меня партией.

– Мисс Доррит, – сказала миссис Мердл, посмотрев на нее в лорнет замораживающим взглядом, – именно это я и собиралась сказать вашей сестре, как вы меня просили. Весьма признательна за то, что вы, не дожидаясь, сказали все сами. В ответ на это, – продолжала она, обращаясь к Крошке Доррит, – я тотчас же (я привыкла действовать под влиянием минуты) сняла с руки браслет и просила разрешения надеть его на руку вашей сестры в знак своей радости, что мы с ней так легко нашли общий язык. (Это была чистая правда: по дороге в театр дама купила дешевенькую, мишурную вещьцу на случай необходимости подкупа.)

– И еще я вам сказала, миссис Мердл, – снова вмешалась Фанни, – что мы люди бедные, но благородные.

– Ваши подлинные слова, мисс Доррит, – подтвердила миссис Мердл.

– И еще я сказала вам, миссис Мердл, – продолжала Фанни, – что раз вы столько говорите о высоком положении, занимаемом вашим сыном в Обществе, значит, вы, по всей вероятности, заблуждаетесь относительно моего происхождения и что мой отец даже в том Обществе, в котором он вращается теперь (а в каком именно, об этом мы говорить не будем), занимает особое положение, что признано всеми.

– Совершенно точно, – согласилась миссис Мердл. – Замечательная память.

– Благодарю нас, сударыня. А теперь будьте так добры, доскажите моей сестре остальное.

– Досказать остается немного, – сказала миссис Мердл, обозревая свой бюст, достаточно обширный для того, чтобы поместить все ее бездушие, – но и это немного делает честь вашей сестре. Я объяснила ей положение вещей, сказала, что Общество, в котором мы вращаемся, не может вступать ни в какие отношения с Обществом, в котором вращается она (хоть, без сомнения, весьма приятным), и что таким образом, она рискует подвергнуться весьма тягостным испытаниям семью, которой так дорожит, ибо мы вынуждены будем с пренебрежением смотреть на эту семью и даже (поскольку дело касается Общества) с отвращением сторониться ее. Одним словом, я обратилась к похвальному чувству гордости, столь развитому у вашей сестры.

– Я бы хотела, чтоб вы сказали моей сестре, миссис Мердл, – вставила Фанни, надув губки и обиженно тряхнув своей нарядной шляпкой, – что я еще прежде имела честь просить вашего сына

оставить меня в покое.

– Вы правы, мисс Доррит, – сказала миссис Мердл. – следовало, пожалуй, упомянуть об этом раньше. Но меня отвлекли воспоминания о моих тревогах; ведь я тогда опасалась, как бы вы не передумали, если, несмотря на вашу просьбу, мой сын все-таки не оставит вас в покое. Я также сообщила вашей сестре (это я опять обращаюсь к той мисс Доррит, которая не выступает на сцене), что к случаю подобного брака мой сын не получит ни шиллинга и останется нищим. (Упоминаю этот факт просто как лишнюю подробность; я, разумеется, не думаю, что он мог повлиять на вашу сестру, разве только в той законной и разумной мере, в какой подобные соображения влияют на любого из нас в нашем далеком от естественности Обществе.) В конце концов после нескольких замечаний, сделанных вашей сестрой в запальчивом и раздраженном тоне, мы с ней согласились, что опасаться нечего; и ваша сестра была столь любезна, что позволила мне отблагодарить ее с помощью моей портнихи.

Крошка Доррит посмотрела на Фанни с печальной укоризной.

– А также, – продолжала миссис Мердл, – пообещала доставить мне удовольствие побеседовать с ней еще раз, чтобы мы могли расстаться в наилучших отношениях, и поскольку это обещание уже исполнено, – заключила миссис Мердл, выбираясь из своего алого с золотом гнездышка и вкладывая что-то в руку Фанни, – я с разрешения мисс Доррит пожелаю ей всяческих благ и прошусь с ней как умею.

Сестры тоже встали и очутились у клетки попугая, который был занят тем, что клевал печенье и сейчас же его выплевывал. Увидя, что на него смотрят, он вдруг задергался всем телом, точно передразнивая кого-то; потом перевернулся вниз головой и запрыгал по стенкам своей золотой клетки, цепляясь за прутья твердым, хищным клювом и высовывая кончик черного языка.

– Прощайте, мисс Доррит, желаю вам всяческих благ, – снова сказала миссис Мердл. – Если бы мы дожили до чего-нибудь вроде золотого века, с какой бы я радостью водила знакомство со множеством особ, совершенствами и талантами которых я сейчас лишена возможности наслаждаться. Первобытная простота нравов – вот о чем я мечтаю! Помню, в детстве я учила одно стихотворение, оно начиналось, кажется, так: «О ты, индеец, чей та-та-та дух!»⁵³ Если бы несколько тысяч людей из Общества могли записаться в индейцы и уехать на острова, я записалась бы первая; но пока мы не индейцы, приходится, увы, жить здесь и вращаться в Обществе... Всего хорошего!

Сестры спустились по лестнице – одна пудренная голова впереди них, две пудренные головы сзади, – и вновь очутились на Харли-стрит, Кэвендиш-сквер, где никаких пудренных голов уже не было. Все это время старшая сестра сохраняла независимое и надменное выражение лица, а младшая – смиренное и робкое.

– Ну, Эми, – сказала Фанни после того, как они некоторое время шли молча. – Что ж ты ничего не говоришь?

– А что я могу сказать, – грустно отозвалась Крошка Доррит. – Ты его совсем не любишь, этого молодого человека?

– Его любить? Да он почти идиот!

– Мне очень жаль, – не обижайся, Фанни, ты ведь сама спросила, – мне очень жаль, что ты согласилась принять что-то от этой дамы.

– Ах ты дурочка! – воскликнула старшая сестра, так дернув ее за руку, что она пошатнулась. – Ну, можно ли быть подобной размазней! Беда с тобой, да и только! У тебя нет ни уважения к себе, ни настоящей гордости. Тебе нипочем, что за тобой таскается какое-то ничтожество, какой-то Чивери, – она выговорила это имя с величайшим презрением, – и точно так же тебе нипочем, если твою семью хотят втоптать в грязь.

– Не говори так, милая Фанни. Я делаю для семьи что могу.

– Ах, ты делаешь что можешь! – подхватила Фанни, ускоряя шаг. – Значит, если вот этакая барыня, лицемерка и нахалка, каких мало (разбирайся ты хоть сколько-нибудь в людях, ты бы это сразу поняла), если она плюет на достоинство твоей семьи, по-твоему, нужно поблагодарить ее за это?

⁵³ ...учила одно стихотворение, оно начиналось, кажется, так: «О, ты индеец, чей та-та-та дух!» – Имеются в виду начальные строки первой части дидактической поэмы «Опыт о человеке» английского поэта-просветителя Александра Попа (1688–1744).

– Нет, Фанни, разумеется, нет.

– А тогда заставь ее платить, несмышлениш! У тебя нет другого способа отомстить за себя – заставь ее платить, глупая девчонка, и употреби ее деньги с пользой для семьи.

На этом разговор у них окончился, и они молча дошли до дома, где квартировали Фанни с дядюшкой. Последний уже успел вернуться, сидел в углу и упражнялся на своем кларнете, выводя самые заунывные мелодии. Фанни предстояло соорудить себе обед из бараньих котлеток, портера и чая, и она сердито принялась делать вид, что занимается этим, тогда как на самом деле все тихо и спокойно приготовила младшая сестра. За столом Фанни вела себя совершенно так же, как накануне ее отец: швыряла нож и вилку, со злостью набрасывалась на хлеб. Кончилось тем, что она ударилась в слезы.

– Ты меня презираешь, потому что я танцовщица, – говорила она между рыданиями, – а кто меня толкнул на этот путь, если не ты? Твоих рук дело. А теперь тебе угодно, чтобы я чуть ли не по земле стлалась перед этой миссис Мердл, а она будет говорить и делать все, что ей вздумается, и презирать нас, и, не стесняясь, выказывать мне свое презрение. Только потому, что я танцовщица!

– Фанни, Фанни!

– А Тип, бедняжка! Пускай, значит, она унижает его без помехи сколько хочет, только потому, что ему пришлось работать в адвокатских конторах и в доках и где-то там еще. Тоже ведь твоих рук дело, Эми. Так ты бы хоть порадовалась, что есть кому за него заступиться.

Все это время дядя уныло дудел в углу на своем кларнете; лишь изредка у него вдруг возникало смутное впечатление, будто кто-то что-то сказал, и тогда он отнимал инструмент от губ и неуверенно поглядывал на племянниц.

– А отец, бедный наш отец, Эми! Если он не свободен и не может сам за себя постоять, когда требуется, так, по-твоему, пусть подобные особы оскорбляют его безнаказанно? Ты сама не страдаешь от таких вещей, но можно бы, кажется, подумать о нем, особенно зная, сколько ему пришлось пережить за все эти годы.

Этот несправедливый упрек больно отозвался в сердце бедной Крошки Доррит, тем более что он растравил в ней воспоминание о вчерашней сцене. Она ничего не ответила сестре, только взяла свой стул и передвинула его к огню. Дядя после очередной паузы извлек из кларнета какой-то замозильный стон и снова взялся за прежнее.

Фанни вымещала свой гнев на хлебе и чайной посуде, покуда он не иссяк, а затем объявила, что она самая несчастная девушка на свете и лучше бы ей умереть. После этого ее слезы превратились в слезы раскаяния, она вскочила и бросилась сестре на шею. Крошка Доррит уговаривала ее не извиняться и не оправдываться, но она не слушала никаких уговоров и твердила: «Прости меня, Эми! Не сердись на меня, Эми!» – с не меньшей горячностью, чем пять минут назад выкрикивала то, за что теперь просила прощения.

– Но, право же, Эми, – начала она снова, когда все успокоилось и сестры, нежно обнявшись, уселись рядышком у огня, – право же, я совершенно уверена, что, если бы ты немножко лучше знала Общество, ты взглянула бы на это по-другому.

– Может быть, Фанни, – кротко согласилась младшая сестра.

– Видишь ли, Эми, ты все больше сидела дома и покорно мирилась со своим затворничеством, – продолжала Фанни, мало-помалу вновь впадая в покровительственный тон, – а я это время жила на воле, чаще вращалась в Обществе, оттого я и вышла такая гордая и смелая – пожалуй, даже чуточку больше, чем нужно.

Крошка Доррит ответила: «Да, Фанни. Да!»

– Ты заботилась о башмаках и об обеде, а я, может быть, в это время заботилась о достоинстве семьи. Ты со мной согласна, Эми?

Крошка Доррит снова кивнула головой и веселым голосом ответила: «Да», но на душе у нее было совсем не весело.

– И к тому же мы знаем, – сказала Фанни, – что у заведения, которому ты так предана, и в самом деле есть свой особый дух, свойственный только ему и отличающий его от всего прочего в Обществе. А поэтому, душенька Эми, поцелуй меня еще раз, и порешим на том, что мы обе правы и что ты моя добрая, тихая, домовитая сестренка.

Этому диалогу аккомпанировали самые жалостные подвывания кларнета, но Фанни положила

им конец, объявив, что время идти; а чтобы помочь дядюшке уразуметь это, она захлопнула раскрытую перед ним нотную тетрадь и выдернула мундштук кларнета у него изо рта.

Крошка Доррит простилась с ними у дверей и поспешила домой, в Маршалси. Вечерний сумрак стужался там раньше, чем в других местах, и сегодня, когда она входила туда, ей показалось, что она опускается в какую-то глубокую яму. Тень тюремных стен лежала на всех предметах. Лежала она и на фигуре в старом сером халате и черной бархатной ермолке, которая повернулась навстречу Крошке Доррит, когда та отворила дверь тускло освещенной комнаты.

«Верно, и на мне лежит эта тень! – подумала Крошка Доррит, медля выпустить ручку двери. – Фании, пожалуй, права».

Глава XXI

Недуг мистера Мердла

На величественный особняк, который представлял собою резиденцию Мердлов на Харли-стрит, Кэвендиш-сквер, тоже падала тень, но то была тень не какой-нибудь там вульгарной стены, а других столь же величественных особняков, высившихся на противоположной стороне улицы. Подобно тому как это бывает в избранном обществе, каждый дом на Харли-стрит весьма хмуро поглядывал на дома, стоявшие напротив. Да и в самом деле дома и их обитатели настолько походили друг на друга в этом отношении, что приглашенные на званых обедах, сидя за столом, где не было иной тени, кроме тени их собственного величия, смотрели на своих визави тем же чопорно-непроницаемым взглядом.

Всякий знает, как разительно напоминают собою улицу два ряда обедающих за парадным столом. Двадцать единообразных, безликих фасадов, все с одинаковыми молотками у дверей, с одинаковыми серыми ступенями перед входом, с одинаковым узором чугунной ограды, с одними и теми же пожарными лестницами, совершенно бесполезными в случае пожара; с одними и теми же водосточными желобами, по которым не стекает в дождь вода, и с таким видом, словно на каждом из них обозначена весьма солидная цена – кому не случалось обедать в подобном обществе? Вот дом, который давно уже нуждается в ремонте, а этот украшен затейливыми башенками, этот только что отштукатурен, у того подновлен фасад, вон в том, угловом, все комнаты словно состоят из одних углов, в этом всегда опущены шторы, а в том всегда поднят шит с гербом, а вот в этом доме не надейся разжиться хоть какой-нибудь мыслишкой, так и уйдешь ни с чем – кому не случалось обедать в подобном обществе? Дом, на который никак не находится нанимателя, и его готовы отдать за полцены – кому не знакома эта картина? Нарядный дом, который взят в бессрочную аренду, хоть совершенно не подходит своему злополучному хозяину – кому не известно, что за ад таится за стенами таких домов?

Харли-стрит, Кэвендиш-сквер охотно признала мистера и миссис Мердл. Среди населения Харли-стрит затесалось несколько самозванцев, которые так и остались непризнанными, но мистер и миссис Мердл были встречены там с распростертыми объятиями. Общество признало мистера и миссис Мердл. Общество сказало: «Это свои; будем любить их и жаловать».

Мистер Мердл был баснословно богат; это был человек неслыханной предприимчивости, царь Мидас, только без ослиных ушей:⁵⁴ все, к чему он ни прикасался, превращалось в золото. Без него не обходилось ни одно начинание, от банков до строительных подрядов. Он, конечно, заседал в парламенте. Он, разумеется, подвизался в Сити. Здесь он был представителем, там директором, тут попечителем. Самые влиятельные люди, когда им предлагали вступить в новое предприятие, спрашивали: «А кто еще будет участвовать? Мердл будет?» – и если оказывалось, что нет, дальше они и слушать не хотели.

Лет пятнадцать тому назад этот великий и удачливый деятель предоставил алое с золотом гнездышко в распоряжение того самого бюста, внушительные размеры которого позволяли вместить столько бездушия. Это не была грудь, на которую муж мог бы склонить свою усталую голову, но это

⁵⁴ ...царь Мидас, только без ослиных ушей... – Согласно античной легенде, бог Дионис наделил царя древней Фригии Мидаса способностью превращать в золото все, к чему он прикасался. Уши того же Мидаса бог Аполлон превратил в ослиные – в наказание за то, что невежественный в музыке Мидас во время музыкального состязания отдал предпочтение перед Аполлоном богу Марсию.

была великолепная витрина для бриллиантов. Мистеру Мердлу требовалось что-нибудь, что могло служить витриной для бриллиантов, вот он и приобрел этот бюст. Сторр и Мортимер⁵⁵ при выборе жены, вероятно, руководствовались бы теми же соображениями.

Как и все его коммерческие операции, покупка вполне оправдала себя. Бриллианты получили фон, на котором они чрезвычайно выигрывали. Бюст с выставленными на нем бриллиантами явился в Общество и вызвал всеобщий восторг. А раз Общество одобрило, мистер Мердл был удовлетворен. Бескорыстнее его не было человека на свете; он делал все только для Общества, сам же от всех своих трудов и доходов получал очень мало.

То есть надо предполагать, у него было все, чего он хотел; если ему чего-нибудь недоставало, то при своем несметном богатстве он с легкостью мог получить это. Но его единственным желанием было всячески ублажать Общество (что бы ни означало это слово) и оплачивать все векселя, которые оно ему предъявляло ко взысканию. Он не блистал в светских гостиных, был не разговорчив, скорее даже замкнут; у него был большой, нависший лоб, зоркий взгляд и тот багровый оттенок щек, который похож не на здоровый румянец, а на синеву удушья; его манжеты всегда как-то беспокойно высовывались из рукавов, точно они были посвящены в его тайны, и, имел на то веские причины, стремились спрятать его руки. И своих немногословных речах он производил впечатление человека довольно приятного: простого, весьма серьезного в вопросах общественного и личного доверия, и лишь неукоснительно требующего от всех и во всем уважения к Обществу. Впрочем, если под Обществом следовало понимать гостей на его званых обедах и на музыкальных вечерах миссис Мердл, то он в этом самом Обществе порядком скучал, и все больше прятался за дверьми или жался к стенке. Когда же ему случалось самому бывать в гостях, Общество быстро утомляло его и внушало ему непреодолимое желание поскорее лечь спать; но тем не менее он постоянно прославлял его, постоянно вращался в нем и самым щедрым образом тратил на него свои деньги.

Первый супруг миссис Мердл был полковник: под его покровительством бюст вступил в состязание со снегами Северной Америки, и если по части белизны потерпел некоторое поражение, то по части холода решительно вышел победителем. От полковника остался у миссис Мердл сын, единственное ее чадо – дюжий, головастый увалень, больше похожий на гигантского младенца, чем на молодого человека. Он был до того туг на соображение, что его сверстники уверяли, будто, когда он родился, в городе Сент-Джоне,⁵⁶ Нью-Брунсуик, где произошло это событие, был лютый мороз и у него замерзли мозги, да так с тех пор и не оттаяли. По другим рассказам он в раннем детстве по недосмотру няньки выпал из окна и стукнулся о мостовую, причем кто-то будто бы слышал своими ушами, как раздался треск. Весьма вероятно, что обе эти версии были сочинены задним числом, после того как у молодого джентльмена, носившего звучную фамилию Спарклер, обнаружилась навязчивая идея, побуждавшая его предлагать руку и сердце самым неподходящим для этого молодым особам, и о каждом очередном предмете своих матримониальных устремлений выражаться так: «Премиленькая канашка – и хорошо воспитана – без разных там фиглей-миглей».

Всякий другой мог бы счесть обременительным пасынка со столь ограниченными умственными способностями; но мистеру Мердлу не нужен был пасынок для себя; он ему был нужен для Общества. А поскольку мистер Спарклер служил в гвардейском полку, посещал все скачки, все гулянья и все балы и пользовался заслуженной известностью, Общество было довольно таким пасынком. За столь приятный факт мистер Мердл готов был заплатить и подороже; хотя, надо сказать, подарок, сделанный им Обществу в лице мистера Спарклера, и так обходился ему недешево.

В тот вечер, когда Крошка Доррит, пристроившись подле отца, кроила ему новые сорочки, в резиденции на Харли-стрит состоялся званый обед со множеством приглашенных. Были там вельможи Двора и магнаты Биржи, государственные мужи из Палаты Общин и государственные мужи из Палаты Лордов, столпы Церкви и столпы Финансов, цвет Магистрата и Адвокатуры, сливки Гвардии и Флота, одним словом – все те, на ком держится установленный в нашем мире порядок и из-за кого он иногда начинает шататься.

⁵⁵ *Сторр и Мортимер* – фешенебельная лондонская ювелирная фирма.

⁵⁶ *Сент-Джон* – порт в заливе Фонза в провинции Нью-Брунсуик на востоке Канады.

– Говорят, – заметил Столп Церкви, обращаясь к Гвардии. – что мистер Мердл только что снова отхватил огромный куш. Будто бы чуть ли не сто тысяч фунтов.

Гвардия слыхала, что двести тысяч.

Финансы слыхали, что триста.

Цвет Адвокатуры, поигрывая своим лорнетом, высказал предположение, что, может быть, и все четыреста. Ведь речь идет об одном из тех ходов, основанных на тонком и обдуманном расчете, счастливый результат которых весьма трудно исчислить. Речь идет о редком в наш век сочетании деловой проницательности с неизменной удачей и природным умением дерзать. Впрочем, вон коллега Беллоуз, он участвовал в знаменитом банковском процессе и, верно, может рассказать больше. Как оценивает коллега Беллоуз последний финансовый успех мистера Мердла?

Коллега Беллоуз в это время направлялся засвидетельствовать свое почтение бюсту и лишь успел обронить на ходу, что, по сведениям, почерпнутым им из надежного источника, тут нужно говорить не менее чем о полумиллионе фунтов.

Флот назвал мистера Мердла великим человеком. Финансы сказали, что он – новая сила, выдвинувшаяся в стране, и скоро сможет купить оптом всю палату общин. Церковь выразила свое удовлетворение тем, что подобные богатства копятя в сундуках джентльмена, который всегда был склонен печься о нуждах Общества.

Сам мистер Мердл появлялся на таких собраниях довольно поздно; вполне понятно, что человек, обремененный столь колоссальными обязанностями, еще бывает занят в тот час, когда простые смертные давно уже освободились от своих пигмейских дел. В этот вечер он прибыл позже всех. Финансы заметили, что мистер Мердл – мученик долга. Церковь выразила свое удовлетворение тем, что подобные богатства копятя в сундуках джентльмена, который принимает их с христианским смирением.

Пудра! Столько пудры было на волосах лакеев, прислуживавших за столом, что весь обед пропал ею. Частицы пудры попадали в тарелки, и Общество глотало кушанья, у которых был привкус отборной лакейщины. Мистер Мердл повел к столу одну графиню, скрытую где-то в недрах пышнейшего платья, в котором она занимала не больше места, чем кочерыжка в кочане капусты; и если позволено будет употребить столь вульгарное сравнение, говоря о графине, платье двигалось по лестнице, точно густой шалаш из зелени, который в день майского карнавала несет на себе какой-нибудь мальчуган,⁵⁷ и никто даже не догадывался, что за тщедушное существо пряталось под пышными складками парчи.

На столе было все, чего Общество могло пожелать и даже чего оно не могло пожелать. Все, что только способно радовать глаз, и все, что только способно усладить вкус, было к его услугам. Будем надеяться, что Общество осталось довольно обедом; что касается мистера Мердла, то он съел не больше чем на полтора шиллинга.

Миссис Мердл была самой блистательной фигурой на этом обеде. После миссис Мердл самой блистательной фигурой был мажордом. Никто из гостей не мог сравниться с ним величием осанки. Он ничего не делал, он только смотрел, но немного сыщется людей, умеющих так смотреть. Это был последний дар мистера Мердла Обществу. Самому мистеру Мердлу мажордом был ни к чему; он даже себя неловко чувствовал под взглядом этой импозантной личности; но неумолимому Обществу понадобился мажордом – и оно его получило.

После десерта невидимая графиня встала и понесла свой шалаш к парадной лестнице, ведущей наверх, в гостиную, а за нею потянулся целый кортеж прекрасных дам, который замыкала хозяйка дома. Юнона, сказали Финансы. Юдифь, сказала Церковь.

Цвет Адвокатуры запел разговор с Гвардией о военных судах. Цвет Магистрата и коллега Беллоуз к ним присоединились. Прочие выдающиеся лица тоже беседовали меж собой по двое, по трое. Мистер Мердл сидел в стороне и молча разглядывал скатерть. Порой какой-нибудь вельможа или магнат обращался к нему, желая втянуть его в беседу, в которой сам принимал участие; но подобные

⁵⁷ ...шалаш из зелени, который в день майского карнавала носит... мальчуган. – Диккенс упоминает здесь персонаж праздничного шествия трубочистов – подростка, которому надевают на голову конусообразную корзину из переплетных обручей, украшенную плющом, остролистом, цветами и лентами – так, что эти украшения покрывают его до ног.

попытки редко встречали отклик у мистера Мердла; и если он отвлекался от расчетов, поглощавших его внимание, то разве только для того, чтобы передать вино соседу.

Когда все поднялись из-за стола, оказалось, что чуть ли не у каждого из сановных гостей есть о чем поговорить с мистером Мердлом отдельно от других, так что ему пришлось встать в углу у буфета и по очереди давать там аудиенцию желающим, перед тем как они покидали столовую.

Столп Финансов попросил позволения поздравить с новой победой одного из крупнейших негоциантов Англии, одного из тех рыцарей капитала, которые сумели стяжать себе мировую славу (этот экспромпт уже несколько раз сослужил его автору службу в палате). Помогать успехам таких людей, значит способствовать успехам и достижениям страны, что является долгом каждого истинного патриота (из этого мистеру Мердлу предоставлялось сделать собственные выводы).

– Благодарю вас, милорд, – сказал мистер Мердл, – благодарю вас. Я с гордостью принимаю ваши поздравления и счастлив, что вы одобряете мою деятельность.

– Но я не безоговорочно одобряю ее, любезный мистер Мердл, – сановный гость с улыбкой взял хозяина под руку и притиснул к буфету, после чего продолжал шутливым тоном: – Разумеется, вам недосуг когда-нибудь прийти к нам и помочь нам в наших делах.

Мистер Мердл ответил, что почел бы величайшей честью...

– Нет, нет, – возразил Столп Финансов, – не так должен ставиться вопрос по отношению к лицу, обладающему столь незаурядным практическим умом и прозорливостью. Если когда-нибудь обстоятельства неожиданно сложатся так, что мы получим счастливую возможность предложить столь выдающемуся лицу – ну, скажем, прийти к нам и подкрепить нас своим талантом, опытом и влиянием, мы не решимся предложить ему это иначе, как в виде обязанности. Почетной обязанности, которую на него налагает Общество.

Мистер Мердл объявил, что Общество для него дороже зеницы ока и что ради его интересов он всегда готов поступиться любыми прочими соображениями. Затем Столп Финансов проследовал к выходу, а его место занял Цвет Адвокатуры.

Цвет Адвокатуры, щелкнув лорнетом и отвесив легкий, вкрадчивый поклон, с каким он привык обращаться к присяжным, выразил надежду, что его не осудят, если он разрешит себе довести до сведения великого мастера превращать источник всяческих бедствий в источник всяческих благ, человека, чья деятельность бросает яркий отблеск даже на скучную летопись нашего одержимого духом коммерции отечества – вполне бескорыстно и, как мы, законники, любим выражаться, *amicus curiae*,⁵⁸ донести до его сведения некое обстоятельство, выяснившееся совершенно случайно. Дело в том, что ему привелось ознакомиться с документами, устанавливающими право собственности на весьма обширное поместье, расположенное в одном из восточных графств; точнее сказать – мистер Мердл знает, что мы, юристы, любим точность, – расположенное на границе двух восточных графств. Документы оказались в полном порядке, и поместье может быть приобретено лицом, располагающим соответственными средствами (лорнет и поклон присяжным) на крайне выгодных условиях. Все это сделалось известным Цвету Адвокатуры не далее, как в это самое утро, и он сразу же сказал себе: «Я нынче обедаю у моего уважаемого друга мистера Мердла и постараюсь вполне конфиденциально довести это до его сведения». Покупатель упомянутого поместья приобретает не только солидное и совершенно официальное политическое влияние, но и право располагать десятком весьма прибыльных церковных приходов. Цвет Адвокатуры отлично знает, что у мистера Мердла нет недостатка в возможностях помещения своего капитала, ровно как и в способах применения своей неистощимой энергии. Но хотелось бы высказать невольно напрашивающуюся мысль: для человека, который заслуженно достиг столь высокого положения, который, можно сказать, известен всей Европе, не является ли моральным долгом – не будем говорить перед самим собой, но перед Обществом – обеспечить себе такого рода влияние, и использовать его – не будем говорить в собственных интересах или интересах своей партии, но в интересах Общества.

Мистер Мердл снова подтвердил свою глубокую преданность этим священным для него интересам, и цвет Адвокатуры со своим лорнетом отбыл в направлении гостиной. И тотчас же около бу-

⁵⁸ ...*amicus curiae* (лат. – буквально: «друг сената») – термин, которым обозначается юрист, консультирующий ведение судебного дела, но не выступающий в судебных заседаниях.

фета совершенно случайно оказался Столп Церкви.

Поистине радости достойно, заметил он (просто так, к слову), когда блага земные стекаются к людям мудрым и многоопытным, людям, которые, зная настоящую цену богатству (тут Столп Церкви состроил такую мину, словно сам всю жизнь обретался в бедности), понимают и его настоящую силу, и справедливым и разумным управлением умеют как по волшебству обратить свой личный достаток на пользу братьям во человечестве.

Мистер Мердл весьма смиренно выразил уверенность, что Столп Церкви не имеет в виду его, мистера Мердла; а затем не весьма последовательно изъявил свою глубокую признательность Столпу Церкви за столь лестное о нем, мистере Мердле, мнение.

Тогда Столп Церкви с вполне светским изяществом выставил несколько вперед округлую и стройную правую ногу, словно желая сказать мистеру Мердлу: «Забудьте о моем облачении; оно лишь для проформы!» – и предложил на рассмотрение своего дорогого друга такой вопрос:

Как полагает его дорогой друг, не вправе ли Общество надеяться, что человек, столь взысканный милостью божией во всех своих предприятиях и тем же Обществом возведенный на пьедестал в качестве поучительного и возвышающего примера, уделит кое-какие крохи на снаряжение одной или двух миссий в Африку?

Мистер Мердл выказал готовность внимательнейшим образом обдумать этот вопрос, и тогда Столп Церкви перешел к следующему:

Интересовался ли когда-нибудь его дорогой друг деятельностью нашего Комитета по Увеличению Доходов Священнослужителей и не приходило ли ему в голову, что уделить кое-какие крохи на помощь этому Комитету поистине значило бы найти благому замыслу достойное осуществление?

Мистер Мердл и на этот раз выказал свою готовность, и Столп Церкви пустился в пространное изложение причин, побудивших его задать упомянутые вопросы.

Общество рассчитывает в подобных случаях на таких людей, как его дорогой друг. Не он лично на них рассчитывает, а Общество. Точно так же, как не Комитет заинтересован в увеличении доходов священнослужителей, а Общество раздражаемо мучительной потребностью увеличить эти доходы. И пусть его дорогой друг не сомневается в том, что его неустанные попечения о благе Общества встречают самую высокую оценку; а он в свою очередь не сомневается в том, что выразит истинные чувства Общества и отразит интересы Общества, пожелав своему дорогому другу новых достижений, новых приобретений и вообще новых успехов на старом пути.

После этого Столп Церкви отправился наверх, в гостиную, и его примеру один за другим последовали прочие сановные гости, так что в конце концов в столовой не осталось никого, кроме мистера Мердла. Названный джентльмен еще довольно долго созерцал скатерть, от чего душа мажордома втайне кипела благородным негодованием, но, наконец, и он вышел и смешался с людским потоком, струившимся по парадной лестнице. Миссис Мердл была на своем месте, самые драгоценные из бриллиантов были выставлены для всеобщего обозрения, Общество получило то, за чем пришло, а мистер Мердл выпил в уголке на два пенни чаю и вполне этим удовлетворился.

Среди сановных гостей был знаменитый врач, который всех знал и которого все знали. Войдя в одну из комнат, он увидел мистера Мердла, пившего в уголке чай, и тронул его за плечо.

Мистер Мердл вздрогнул.

– Ах, это вы!

– Ну как, мы себя сегодня лучше чувствуем?

– Нет, – сказал мистер Мердл. – Не лучше.

– Жаль, я с утра не успел посмотреть вас. Пожалуйста, заезжайте ко мне завтра утром, или, если угодно, я могу заехать к вам.

– Да нет, я, пожалуй, заеду утром, по дороге в контору.

Этот короткий разговор слышали Цвет Адвокатуры и Столп Церкви, стоявшие неподалеку, и когда мистер Мердл, допив свой чай, исчез в толпе, они подошли и заговорили с врачом.

Цвет Адвокатуры заметил, что есть предел напряжению умственных сил человека, и попытка его перешагнуть никому даром не проходит; предел этот не для всех одинаков, будучи зависим от устройства мозга и от особенностей телосложения – как ему не раз случалось наблюдать на примере своих ученых коллег; но так или иначе, за малейшее усилие сверх предела приходится расплачиваться меланхолией и расстройством пищеварения. Он не смеет посягать на священные тайны врачебной

науки, но (лорнет и вкрадчивый поклон) не это ли именно произошло с мистером Мердлом? Столп Церкви рассказал, что в свои молодые годы он одно время завел обыкновение писать каждую субботу по проповеди – обыкновение, коего молодым особам духовного звания надлежит избегать старательнейшим образом, – и вот тогда ему нередко случалось испытывать приступы меланхолии, должно быть вследствие чрезмерного утомления мыслей; в таких случаях поистине чудотворное воздействие оказывало на него питье, которое ему приготовляла его добрая квартирная хозяйка: взбитый желток, мускатный орех и немного сахарной пудры, и все это размешивалось в стакане крепкого хересу. Не отваживаясь предлагать это простое домашнее средство вниманию столь ученого мужа, искушенного в славном искусстве врачевания недугов, он желал бы, однако, спросить, не представляется ли, по-человечески рассуждая, вероятным, что легкий, но в то же время горячительный напиток поможет воспрянуть разуму, изнуренному сложными расчетами?

– Да, – сказал врач. – Да, оба вы нравы. Но скажу вам по совести, я не нахожу у мистера Мердла никакой болезни. У него телосложение носорога, пищеварение страуса и сон устрицы. Что касается нервов, то мистер Мердл не отличается чувствительностью и нелегко приходит в волнение; одним словом, на мой взгляд, он неуязвим, как Ахилл. Казалось бы, трудно ожидать, что такой человек вдруг ни с того ни с сего вообразит себя больным. И однако я не нахожу у него никакой болезни. Быть может, в нем гнездится какой-то глубоко сидящий, трудно распознаваемый недуг. Не знаю. Могу сказать только, что пока я этого не обнаружил.

Если недуг мистера Мердла и существовал в действительности, то его тень нельзя было заметить на бюсте, который успешно соперничал блеском выставленных на нем драгоценностей с другими столь же великолепными ювелирными витринами; нельзя было заметить ее и на молодом Спаркере, который с упорством маниака слонялся из гостиной в гостиную в поисках достаточно приемлемой девицы без так называемых фиглей-миглей: нельзя было заметить ее и на многочисленных Полипах и Чваннингах, которых тут были целые колонии, и ни на ком другом из присутствующих. Даже на нем самом почти не была заметна эта тень, когда он передвигался среди гостей, наперебой спешивших выразить ему свое уважение.

Недуг мистера Мердла! Так неразрывно были связаны между собой во всем мистер Мердл и Общество, что трудно было представить себе этот недуг – если он существовал – только его личным делом. Что ж, существовал ли этот глубоко сидящий, трудно распознаваемый недуг, и нашелся ли врач, которому удалось его обнаружить? Терпение! Пока что мы знаем одно: стены Маршалси существовали, и тень их, густая и черная, была заметна на членах семейства Доррит в любое время ночи и дня.

Глава XXII

Загадка

Нельзя сказать, чтобы расположение Отца Маршалси к мистеру Кленнэму увеличивалось по мере того, как учащались визиты последнего в тюрьму. Недогадливость, проявляемая гостем в важнейшем вопросе о знаках внимания, едва ли должна была вызвать бурю восторга в груди хозяина: скорей она могла задеть его чувствительность, весьма обостренную во всем, что касалось этого пункта, и быть сочтена за доказательство недостаточного благородства натуры. После того как обнаружилось, что мистер Кленнэм не обладает теми деликатными свойствами, которые почтенный старец по своей природной доверчивости готов был заранее предположить в новом знакомом, в его отеческие чувства постепенно вкрался оттенок разочарования. Дошло до того, что в тесном семейном кругу им было высказано сомнение, можно ли считать мистера Кленнэма человеком высокой души. В своем официальном качестве представителя и даже в некотором роде главы заведения (так закончилась его речь) он рад принимать мистера Кленнэма, когда бы тот ни пожелал нанести ему визит; но должен признать, что личного взаимопонимания между ними не установилось; чего-то тут недостает (он сам затрудняется сказать, чего именно). Впрочем, Отец Маршалси никак не давал это почувствовать самому виновнику своего недовольства; напротив, при свиданиях был с ним вежлив, может быть лелея надежду, что, если отсутствие сообразительности и гибкости ума мешает Кленнэму по собственному почину выразить внимание так, как это уже однажды было сделано, он все же достаточно джентль-

мен, чтобы при случае откликнуться на письменное обращение в этом смысле.

Очень скоро Кленнэм завоевал среди тюремных обитателей тройную известность: как гость с воли, которому в первое его посещение пришлось заночевать в тюрьме; как гость с воли, который интересуется делами Отца Маршалси и забрал себе в голову невероятную мысль добиться его освобождения, и, наконец, как гость с воли, который принимает близкое участие в той, кого звали дитя Маршалси. Мистер Чивери особенно ласково приветствовал его в дни своих дежурств; однако это не удивляло Кленнэма, так как для него любезность мистера Чивери ничем не отличалась от любезности других сторожей. Но в один прекрасный вечер мистер Чивери все же сумел удивить его и резко выделиться в его глазах из среды своих собратьев.

Каким-то ловким маневром мистеру Чивери удалось в этот вечер отделаться от пансионеров, обычно околачивавшихся в караульне, так что Кленнэм, выходя из тюрьмы, застал его одного.

– (Конфиденциально.) Прошу прощения, сэр, – сказал мистер Чивери с таинственным видом, – вы в какую сторону держите путь?

– Я иду через Мост.

Мистер Чивери приложил к губам ключ и на глазах у недоумевающего Кленнэма превратился на миг в живую Аллегоррию Молчания.

– (Конфиденциально.) Еще раз прошу прощения, сэр, – сказал мистер Чивери, – но не сочтете ли вы возможным пройти по Хорсмонгер-лейн. Не найдется ли у вас немного времени, чтобы заглянуть вот по этому адресу? – И он протянул Кленнэму небольшую печатную карточку, предназначенную для рассылки клиентам фирмы Чивери и К°, Табак и Табачные Изделия, Сигары Гаванские, Бенгальские, Кубинские, с Гарантией Качества и Аромата, Нюхательный табак Особых Любительских Сорта и пр. и пр.

– (Конфиденциально.) Только табак тут ни при чем, – сказал мистер Чивери. – По совести говоря, это все моя жена, сэр. Втемяшилось ей потолковать с вами насчет – вот именно, сэр, – сказал мистер Чивери, утвердительно кивая головой в ответ на встревоженный взгляд Кленнэма, – насчет нее.

– Я тотчас же отправлюсь к вашей жене.

– Благодарю вас, сэр. Премного обяжете. Это вам не больше как на десять минут выйдет лишку. Спросите, пожалуйста, миссис Чивери! – Последнее наставление мистер Чивери уже послал ему вдогонку через окошечко и двери, открывавшееся изнутри, чтобы сторож мог по желанию рассмотреть посетителя, прежде чем впустить его.

Артур Кленнэм, держа карточку в руках, поспешил по указанному в ней адресу и очень скоро очутился у цели. Он увидел перед собой крохотную лавчонку, где у прилавка сидела за шитьем женщина почтенного вида. Несколько маленьких баночек табаку, несколько маленьких ящичков сигар, несколько курительных трубок, две-три маленьких коробочки с нюхательным табаком и похожая на обувной рожок штучка для его насыпания составляли весь наличный запас товаров.

Артур назвал свое имя и объяснил, что явился по просьбе мистера Чивери. Если он верно понял, с ним как будто хотели поговорить по делу, которое касается мисс Доррит. Миссис Чивери тотчас же отложила свое шитье, встала и сокрушенно покачала головой.

– Можете увидеть его хоть сейчас, – сказала она, – если потрудитесь заглянуть во двор.

Произнеся эти таинственные слова, она повела гостя в маленькую комнатку за лавкой, маленькое оконце которой выходило на маленький голый дворик. Во дворике были протянуты две или три веревки, и на них сушилось белье без всякой надежды когда-либо просохнуть ввиду полного отсутствия воздуха; а среди простынь и скатертей, точно последний матрос на палубе потерпевшего крушение судна, который еще жив, но уже не в силах убрать паруса, сидел маленький человечек печального вида.

– Наш Джон, – сказала миссис Чивери. Чтобы не показаться равнодушным, Кленнэм осведомился, что он здесь делает.

– Это единственное место, куда он выходит подышать воздухом, – сказала миссис Чивери, снова качая головой. – А то и вовсе не выйдет, если на дворе не развешено белье; но когда висящее белье загораживает его от глаз соседей, он может тут сидеть часами. Да, часами. Он говорит, ему тогда кажется, будто он сидит в роще! – Миссис Чивери еще раз покачала головой, вытерла уголком фартука материнскую слезу и повела гостя обратно и хранину коммерции.

– Присядьте, пожалуйста, сэр, – сказала миссис Чивери. – Хотите знать, что такое с нашим

Джоном? Мисс Доррит – вот что с ним такое. У него сердце разрывается от тоски по ней, и я хотела бы взять на себя смелость спросить, что за это будет родителям, если оно совсем разорвется?

Миссис Чивери, благообразная пожилая особа, пользовавшаяся на Хорсмонгер-лейн всеобщим уважением за свои возвышенные чувства и изысканные обороты речи, произнесла эти слова с жестоким спокойствием и тут же снова принялась качать головой и вытирать глаза.

– Сэр, – продолжала она, – вы знакомы с этой семьей, вы принимаете участие в этой семье, вы пользуетесь влиянием у этой семьи. Если вы способны направить свои усилия на то, чтобы содействовать счастью двух молодых людей, умоляю вас, ради нашего Джона, ради них обоих, сделайте это.

– Я настолько не привык, – растерянно ответил Артур, – рассматривать Крошку... я за наше короткое знакомство настолько не привык рассматривать мисс Доррит в том свете, в котором вы мне ее сейчас представляете, что мне положительно трудно собраться с мыслями. Знает ли она вашего сына?

– Вместе выросли, сэр, – сказала миссис Чивери. – Играли вместе.

– А знает ли она, что ваш сын питает к ней нежные чувства?

– Помилуй бог, сэр, – сказала миссис Чивери, и даже голос у нее задрожал, – да ей довольно было хоть раз увидеть его в воскресенье, чтоб в этом не сомневаться. Довольно было взглянуть на его трость, уж не говоря обо всем прочем. Молодые люди вроде нашего Джона не заводят попусту тростей с набалдашниками из слоновой кости. Я-то сама как узнала про это? Вот так и узнала.

– Но, может быть, мисс Доррит менее проницательна, нежели вы?

– Все равно она знает, сэр, – возразила миссис Чивери, – потому что ей так прямо и сказано.

– Вы уверены?

– Сэр, – сказала миссис Чивери, – уверена так же, как в том, что я сейчас нахожусь перед вами. Собственными глазами я видела, как мой сын вышел из этого дома, где я сейчас нахожусь перед вами, и собственными глазами я видела, как мой сын снова вошел в этот дом, где я сейчас нахожусь перед вами, и я поняла, что он говорил с нею. – Обстоятельность и многократные повторения придавали речи миссис Чивери необыкновенную убедительную силу.

– Но могу ли я узнать, почему же все-таки ваш сын пришел в состояние уныния, которое заставляет вас тревожиться о нем?

– Это, – сказала миссис Чивери, – началось в тот самый день, когда на моих глазах Джон в этот дом вернулся. Сам на себя он стал с тех пор непохож. Таким не бывал он ни разу за все семь лет, что мы с его отцом в этом доме, арендную плату по четвертям года внося, проживаем. – Благодаря своеобразному построению фраз, рассказ миссис Чивери приобретал почти ораториальную торжественность.

– Могу ли я спросить, как вы сами это объясняете?

– Можете, – сказала миссис Чивери, – и получите ответ, который так же верен будет, как то, что сейчас здесь я стою. О нашем Джоне никогда худого слова не сказал никто. Детьми с ней вместе в этом самом дворе они играли. Знакомство это тянется с тех пор. И вот однажды в воскресенье, вот здесь, за этим самым столом пообедав, он пошел и встретился с ней, по уговору или без уговора, сказать вам не берусь. Тогда он и сделал ей предложение. Ее брат и сестра много о себе понимают, и они против нашего Джона. Ее отец только о себе думает, и он против того, чтобы делить ее с кем-нибудь. В силу каковых причин она и ответила нашему Джону: «Нет, Джон, я не могу быть вашей женой, и ничьей женой я не могу быть, я вообще не собираюсь выходить замуж, а собираюсь всю жизнь оставаться жертвой, прощайте, найдите себе другую, достойную вас, а меня забудьте!» Вот так она и осуждена быть вечной рабой у них, хотя они вовсе того не стоят, чтобы она была у них вечной рабой. И вот так нашему Джону теперь нет другой радости, кроме как наживать себе насморк среди мокрого белья, надрывая материнское сердце печальным зрелищем, которое вы только что видели. – Тут добрая женщина кивнула на маленькое оконце, за которым ее сын сидел все в той же позе неутешного горя под сенью своих полотняных деревьев; и снова, качая головой и утирая глаза, принялась упрашивать Кленнэма ради общего блага молодых людей поспособствовать тому, чтобы эти грустные события приняли счастливый оборот.

Она говорила с такой уверенностью и так правильно изобразила все, что касалось отношений Крошки Доррит с родными, что Кленнэм не находил оснований сомневаться в ее словах. Но глубокое

и своеобразное участие, которое внушала ему Крошка Доррит, возникнув из жалости к ней, обреченной жить в грубой и вульгарной среде, в то же время заставляло его всегда мысленно отделять ее от этой среды, и ему было обидно, неприятно, даже больно думать, что она может быть влюблена в молодого Чивери, тоскующего на заднем дворе, или в кого-нибудь похожего на него. С другой стороны, он доказывал себе, что влюблена она или не влюблена, она остается той же Крошкой Доррит, преданной, доброй и чистой; делать же из нее какую-то фею в человеческом образе, отказывая ей в праве на сердечную близость с теми немногими, кого она знает, – это просто прихоть его фантазии, и прихоть довольно жестокая. И все-таки ее полудетская, воздушная фигурка, застенчивые манеры, в душу проникающий голос и взгляд, те многие и многие черты ее внутреннего облика, которые привлекли его к ней и которые так резко отличали ее от окружающих – все это не вязалось, упорно не желало вязаться с только что услышанной новостью.

Взвесив в уме все эти соображения (покуда миссис Чивери продолжала свою речь), он заверил достойную женщину, что готов сделать все, что в его силах, для счастья мисс Доррит и для осуществления ее сердечных желаний – если ему удастся их узнать. При этом он предостерег ее от чересчур поспешных выводов и заключений, просил держать все в строжайшей тайне, чтобы не причинить неприятностей мисс Доррит, и настойчиво советовал ей расположить сына к откровенности и еще раз проверить положение вещей. Миссис Чивери сочла последнее излишним, но сказала, что попытается. Затем она снова покачала головой, словно состоявшаяся беседа не оправдала всех ее надежд и ожиданий, но все же поблагодарила мистера Клеинэма за любезность. Расстались они добрыми друзьями, и Артур пошел домой.

Уличная сумятица усиливала сумятицу в его мыслях, и чтобы избежать полного хаоса, он решил не идти через Лондонский мост, а вернуться к более тихому Железному мосту. Не успел он взойти на него, как увидел немного впереди Крошку Доррит. День был погожий, дул легкий ветерок, и, должно быть, она только что пришла сюда подышать свежим воздухом. Он оставил ее в комнате Отца Маршалси какой-нибудь час назад.

Случай давал ему возможность исполнить свое желание – понаблюдать за ней, когда она одна. Он ускорил шаг; но прежде чем он поравнялся с нею, она оглянулась.

– Я вас испугал? – спросил он.

– Мне показалось, что я узнала шаги, – с запинкой ответила она.

– Но это было не так, Крошка Доррит? Ведь вы не ожидали встретить здесь меня.

– Я никого не ожидала встретить. Но когда я слышала шаги, мне показалось, что – что они похожи на ваши.

– Вы куда-нибудь торопитесь?

– Нет, сэр, я просто вышла немного погулять. Они пошли рядом, и вскоре она сказала, уже с прежней доверчивостью глядя ему в лицо:

– Как странно. Вам, может быть, даже покажется непонятным, но когда я тут гуляю, мне иногда приходит в голову: а не бессердечно ли это с моей стороны?

– Бессердечно?

– Я вижу реку и так много неба, и столько всего – разных предметов, суеты, движения. Потом возвращаюсь, а он все сидит там в четырех стенах.

– Пусть так! Но не забывайте, что, возвращаясь, вы приносите с собой частицу всего, что видели, и ему легче от этого.

– Вы думаете? Ах, если бы так! Но боюсь, что вам это только кажется и вы приписываете мне то, что на самом деле не в моей власти. Представьте себе, что вы сидели бы в тюрьме: неужели я могла бы служить для вас утешением?

– О да. Крошка Доррит, уверен, что могли бы.

По тому, как дрогнули ее губы, как лицо на миг омрачилось тенью, выдававшей глубокое внутреннее волнение, он понял, что всеми своими помыслами она там, с отцом. Та Крошка Доррит, что, дрожа, опиралась на его руку, никак не подходила под теорию миссис Чивери; но фантазия вдруг подсказала ему новое, менее невероятное предположение: а не: мечтает ли она о ком-нибудь другом, далеком, и – фантазия продолжала работать – безнадежно недостижимом?

Когда они повернули обратно, Кленнэм вдруг воскликнул: «А вот Мэгги!» Крошка Доррит с удивлением подняла глаза и прямо перед собой увидела Мэгги, которая, признав их, остановилась

как вкопанная. Она куда-то спешила так деловито и сосредоточенно, что не заметила их, покуда не столкнулась с ними лицом к лицу. По-видимому, неожиданная встреча привела ее в крайнее замешательство, и даже ее корзина разделяла это чувство.

– Мэгги, ты ведь обещала мне, что посидишь с отцом.

– А я, и хотела посидеть, маменька, а он мне не дал. Если он мне велит сходить куда-то, должна же я идти! Если он мне говорит: «Ну-ка, Мэгги, живо снеси это письмо и принеси ответ, а если ответ будет хорош, получишь шесть пенсов», должна же я снести! Господи боже, ведь мне, бедненькой, всего десять лет, что же с меня спрашивать, маменька? А если мистер Тип – если он мне попадает по дороге и спрашивает: «Куда идешь, Мэгги?» – а я говорю: «Иду кой-куда», а он говорит: «А не попытаться ли и мне удачи?» – и если он тоже пишет письмо и дает его мне и говорит: «Неси туда же, а если ответ будет хорош, получишь шиллинг», – так я, что ли, виновата, маменька?

Потупленный взор Крошки Доррит достаточно ясно сказал Артуру, что она поняла, кому были адресованы письма.

– Вот я и иду кой-куда. Понятно? Куда мне велело, туда и иду, – продолжала Мэгги. – Иду кой-куда. Вам до этого и дела нет, маменька, – а вот вам-то есть дело, – сказала Мэгги, обращаясь к Артуру, – ступайте-ка и вы кой-куда, чтоб я вам их могла там передать.

– Зачем же непременно ходить туда, Мэгги. Можете мне их и здесь передать, – сказал Кленнэм, понизив голос.

– Ну, тогда хоть перейдем на другую сторону, – зычным шепотом возразила Мэгги. – А то маменька не должна была знать про это, и ничего бы она и не знала, если б вы сразу отправились кой-куда, вместо того чтобы мешкать да разгуливать. Я, что ли, виновата? Мне как сказали, так я и делаю. А вот им должно быть стыдно, зачем они так сказали.

Кленнэм перешел на другую сторону и торопливо вскрыл оба письма. В письме отца говорилось, что внезапные затруднения финансового характера, связанные с непредвиденной задержкой денежного перевода из Сити, на который он твердо рассчитывал, побуждают его взяться за перо – поскольку прискорбный факт его двадцатитрехлетнего заключения (подчеркнуто дважды) лишает его возможности изложить свою просьбу лично, – взяться за перо, чтобы просить мистера Кленнэма ссудить ему три фунта десять шиллингов против прилагаемой расписки. В письме сына сообщалось, что, как мистеру Кленнэму, без сомнения, приятно будет узнать, он, наконец, получил постоянное место, чрезвычайно выгодное и открывающее самые широкие перспективы дальнейших успехов, но его хозяин, временно испытывая недостаток наличных средств, обратился к великодушному своему служащему (которое тот неизменно проявлял и надеется проявлять и впредь по отношению к ближним) и просил его повременить с получением очередного жалования; каковое обстоятельство, в совокупности с недостойным поведением одного вероломного друга, а также с существующей дороговизной, привело его на край гибели, совершенно неизбежной, если сегодня без четверти шесть у него в руках не будет восьми фунтов. Он рад сообщить мистеру Кленнэму, что благодаря отзывчивости нескольких друзей, питающих к нему неограниченное доверие, он уже собрал почти всю необходимую сумму; остается сущая безделица, а именно один фунт семнадцать шиллингов и четыре пенса, каковую безделицу мистер Кленнэм безусловно не откажет дать ему в займы сроком на один месяц под обычные проценты.

Кленнэм тут же ответил на оба письма с помощью карандаша и бумажника: отцу послал то, о чем тот просил, а сыну написал, что, к сожалению, не может удовлетворить его просьбу. Оба ответа были им вручены Мэгги, с прибавлением шиллинга, чтобы разочарование Типа на ней не отразилось.

Потом он вернулся к Крошке Доррит, и они снова пошли было рядом, но вдруг она остановилась и сказала:

– Мне, пожалуй, пора. Пора домой.

– Не надо огорчаться, – сказал Кленнэм. – Я ответил на оба письма. Все это пустяки. Вы знаете, о чем они. Все это пустяки.

– Мне нельзя оставлять его, – ответила она. – Никого из них мне нельзя оставлять. Когда меня нет, они – разумеется, не думая об этом, – совращают даже Мэгги.

– Бедняжка по сути дела взяла на себя самое невинное поручение. И, вероятно, согласилась скрыть его от вас, думая, что этим избавит вас от каких-то лишних тревог.

– Да, наверно, наверно! Но мне все-таки пора домой! Как-то на днях моя сестра заметила мне,

будто я настолько привыкла к тюрьме, что вся пропиталась ее духом. Должно быть, это верно. Мне самой так кажется, когда я смотрю на реку, на небо, на все то, что я вижу здесь. Мое место там. Лучше мне там и оставаться. С моей стороны бессердечно прогуливаться здесь, когда я в это время могла бы что-то делать там. Прощайте. Не надо было мне вовсе выходить из дому.

Все это вылилось у нее с надрывом, с мукой, словно само собой хлынуло наружу из наболевшей души, и Кленнэм, слушая ее, едва удерживал слезы.

– Не называйте тюрьму домом, дитя мое. Мне всегда тяжело слышать, когда вы называете ее своим домом.

– Но ведь это и есть мой дом. Другого дома у меня нет! Зачем же мне хотя бы на миг забывать о нем?

– Вы никогда и не забываете, милая моя Крошка Доррит, и вы служите ему верой и правдой.

– Дай бог, чтобы это было так! Но лучше мне не уходить оттуда без надобности; и лучше, и полезней, и спокойнее для меня. Я вас очень прошу, не провожайте меня, я дойду одна. Прощайте, господь с вами. Благодарю вас, благодарю за все.

Он почувствовал, что не должен настаивать, и, стоя у парапета моста, глядел вслед хрупкой маленькой фигурке, пока она не скрылась из виду. Потом он повернулся к реке лицом и глубоко задумался.

Эти письма все равно огорчили бы ее, когда бы она про них ни узнала; но при других обстоятельствах вызвали бы они такой неудержимый взрыв отчаяния?

Нет.

Когда она видела, как ее отец кланчивается подачки, прикрываясь своей обветшалой личиной, когда она умоляла не давать старику денег, она тоже страдала, но не так, как сейчас. Что-то сделало ее особенно восприимчивой, болезненно чуткой. Может быть, и в самом деле существует эта смутная, безнадежно неосуществимая мечта? Или это лишь потому пришло ему в голову, что, глядя на мутные струи бегущей под мостом реки, он вспоминает одно местечко выше по течению, где вода журчит за кормою всегда одну и ту же песню, где белеют кувшинки и шелестит камыш, и река свершает свой вечный путь, не ведая перемен и смятений.

Долго еще он стоял и думал о Крошке Доррит, бедной своей девочке; думал о ней и по дороге домой, думал о ней и ночью, думал о ней и тогда, когда уже новый день забрезжил в окне. А бедная девочка Крошка Доррит думала о нем – преданно, ах, слишком преданно думала она о нем в тени тюремных стен.

Глава XXIII Машина в действии

Мистер Миглз так энергично повел порученные ему Кленнэмом переговоры с Дэниелом Дойсом, что очень скоро настало время переходить от слов к делу, о чем он и сообщил Кленнэму, явившись к нему однажды в девять часов утра.

– Дойс весьма польщен вашим добрым мнением, – начал он без всяких предисловий, – и желает, чтобы вы немедленно познакомились с делами его предприятия и досконально разобрались в них. Он передал мне ключи от всех своих книг и бумаг – вот они, побрякивают у меня в кармане! – и сказал при этом только одно: «Я хочу, чтобы мистер Кленнэм знал о моих делах все, что знаю я сам, тогда мы действительно сможем беседовать на равных основаниях. Если же у нас с ним ничего не получится, я знаю, что он не злоупотребит моим доверием. Не будь я в этом твердо уверен с самого начала, я бы с ним и разговаривать не стал». Узнаю Дэниела Дойса, – присовокупил мистер Миглз. – Весь он тут, как на ладони.

– Что ж, видно, что благородной души человек.

– Еще бы! На этот счет можете не сомневаться! Чудаковат, но благороден. Хотя чудаковат до крайности. Поверите ли, Кленнэм, – сказал мистер Миглз, чистосердечно забавляясь странностями своего приятеля, – я целое утро проторчал в этом Подворье – как бишь оно называется?

– Подворье Кровоточащего Сердца?

– Вот, вот. Целое утро проторчал в Подворье Кровоточащего Сердца, чтобы убедить его хотя

бы обдумать ваше предложение.

– А почему?

– Вы спрашиваете почему, мой друг? А потому, что не успел я произнести ваше имя, как он тотчас же наотрез отказался.

– Отказался, потому что предложение исходило от меня?

– Не успел я произнести ваше имя, как он закричал: «Об этом не может быть и речи!» – «А по какой такой причине?» – спрашиваю я. «Неважно, по какой причине, Миглз; не может быть речи, и все тут». – «Но отчего же не может быть?» Так вы поверьте, Кленнэм, – продолжал мистер Миглз, посмеиваясь про себя, – оказалось, об этом не может быть и речи оттого, что, когда вы с ним вместе шли в Туикнем, он в разговоре упомянул о своем намерении искать компаньона, полагая в то время, что у вас имеется собственное дело, с которым вы связаны так же нерушимо и прочно, как собор святого Павла с землей, на которой он стоит. «А если, говорит, я теперь соглашусь на его предложение, так мистер Кленнэм может подумать, будто я только прикидывался, что запросто беседую с ним, а на самом деле у меня свое было на уме. А этого, говорит, я не могу допустить, этого, говорит, мне моя гордость не позволяет».

– Да я бы никогда...

– Разумеется, вы бы никогда, – перебил мистер Миглз, – я так ему и сказал. Но у меня целое утро ушло на то, чтобы сбить его с этой позиции; и, пожалуй, никому другому (меня он издавна уважает) это бы и вовсе не удалось. Ладно. Только мы преодолели это важное препятствие, стал он требовать, чтобы прежде чем сводить вас с ним, я бы сам просмотрел его книги и составил себе мнение. Я просмотрел книги и составил мнение. «Ну, как вы, спрашивает, за или против?» – «За», – говорю. «В таком случае, дорогой мой друг, вы, говорит, теперь попросите мистера Кленнэма заняться тем же. А чтобы его не стеснять и не связывать ничем его мнение, я на неделю уеду из города». И уехал-таки, – заключил мистер Миглз. – Ну, что вы на это скажете?

– Что можно только удивляться подобной деликатности, подобному...

– Чудачеству, – подхватил мистер Миглз. – Вполне согласен!

Это было не совсем то, что намеревался сказать Кленнэм, но он не захотел возражать своему добрейшему другу.

– Так что вы можете приступить к делу, когда сочтете удобным, – добавил мистер Миглз. – А я обещал в случае надобности давать вам те или иные пояснения, но совершенно беспристрастно и не больше, чем это действительно будет необходимо.

Знакомство с предприятием в Подворье Кровоточащего Сердца началось в тот же день. Опытный глаз без труда мог обнаружить, что дело здесь велось с некоторыми отклонениями от правил; но каждое отклонение или остроумно упрощало какую-нибудь сложность или позволяло достигнуть цели более коротким путем. Было очевидно, что делопроизводство у мистера Дойса отстает и что ему очень нужен помощник, чтобы придать больший размах его предприятию; но результаты каждой операции за многие годы были в точности указаны в книгах и проверить их не составляло труда. При этом ничто не делалось в расчете на возможную ревизию; все представало в своем честном рабочем виде, и грубоватый, но строгий порядок господствовал во всем. Многочисленные записи и подсчеты, сделанные рукой Дойса, не отличались каллиграфичностью и безукоризненной точностью формы; но все в них было ясно и соответствовало содержанию. Артур невольно подумал, что более разработанная, внешне эффектная система делопроизводства – какая, должно быть, принята в Министерстве Волокиты, – гораздо меньше помогает уяснить сущность дела, ибо на то и рассчитана, чтобы ее запутать.

За три или четыре дня прилежных занятий Кленнэм основательно изучил все то, что ему необходимо было знать. Мистер Миглз это время был к его услугам, неизменно готовый осветить темное место ярким лучом фонарика, в свое время служившего дополнением к лопатке и весам. Вдвоем они определили сумму, которую справедливо было бы предложить за половинную долю в предприятии, а затем мистер Миглз распечатал бумагу, в которой Дэниел Дойс проставил свою цифру; она оказалась даже несколько меньше. Таким образом, когда Дэниел вернулся в город, можно уже было считать вопрос решенным.

– Теперь могу откровенно признаться, мистер Кленнэм, – сказал он, сердечно пожимая тому руку, – обойди я весь свет в поисках компаньона, не нашел бы такого, который был бы мне больше

по сердцу.

– И я могу сказать то же самое, – отозвался Кленнэм.

– А я могу прибавить, что вы отлично подходите друг к другу, – объявил мистер Миглз. – Вы, Кленнэм, держите его в узде, на то вы человек благоразумный, а вы, Дойс, знайте свои машины, на то вы...

– Человек неразумный? – подсказал Дэниел со своей сдержанной улыбкой.

– Если угодно, считайте так – и каждый из вас всегда будет надежной опорой для другого. Ну, а засим пожелаю вам обоим удачи, на то я человек практический.

За месяц были улажены все формальности, и Кленнэм стал полноправным участником дела. Теперь у него оставалось личного капитала всего несколько сот фунтов; но зато перед ним открылось широкое и многообещающее поле деятельности. Трое друзей решили ознаменовать радостное событие обедом; рабочие предприятия, их жены и дети тоже праздновали и тоже обедали; все Подворье Кровоточащего Сердца в этот день обедало и даже ело мясо. Но миновало каких-нибудь два месяца, и все вошло в свою колею: привычно подтягивали ту же пояс обитатели Подворья, позабыв о пиршестве, привычно проходили люди мимо новенькой вывески «Дойс и Кленнэм» (только и осталось тут нового, что сама эта вывеска), привычно занимался делами фирмы Кленнэм, и ему самому порой казалось, что он уже век ими занимается.

Небольшой уголок, отведенный Кленнэму для его занятий, отделялся стеклянной перегородкой от длинного низкого помещения мастерской, сплошь набитого станками, тисками, прессами, приводами, колесами; все это, будучи соединено с паровой машиной, производило такой ляг и грохот, как будто задалось самоубийственной целью разнести предприятие в щепу и стереть в порошок все замыслы его хозяев. В полу и в потолке были устроены люки, через которые мастерская сообщалась с двумя другими, расположенными внизу и наверху, и от люка к люку всегда тянулся столб света, напоминавший Кленнэму страничку из детской библии в картинках, на которой так были изображены лучи, – свидетели убийства Авеля. Перегородка заглушала шум, и в конторку он доносился лишь в виде мерного жужжания, прерывая которое по временам что-то звякало или бухало. Склоненные фигуры рабочих были почти черными от стальных и железных опилок, которые дождем сыпались вокруг каждого станка и выбивались из каждой щели. В мастерскую можно было попасть прямо с наружного двора по лестнице, под которой помешалось точило для инструментов. Кленнэму вся эта непривычная картина казалась фантастической и в то же время полной биения живой жизни, и всякий раз, поднимая глаза от документов и книг, которые он старался привести в образцовый порядок, он смотрел на нее с незнакомым прежде чувством удовлетворенности своим делом.

Однажды, подняв таким образом глаза, он был поражен необыкновенным явлением: по лестнице карабкалась женская шляпка. Следом за ней появилась еще одна. Секунду спустя он установил, что первая шляпка находится на голове тетушки мистера Ф., а вторая – на голове Флоры, которой, видимо, немалых усилий стоило подталкивать свое наследство вверх по крутым ступеням.

Хоть и не слишком обрадовавшись гостям, Кленнэм все же поспешил им навстречу и помог выбраться из мастерской – что пришлось как нельзя более кстати, ибо тетушка мистера Ф. уже успела обо что-то споткнуться и грозила загубить идею парового двигателя каменным ридикюлем, висевшим у нее на руке.

– Ах ты боже мой, Артур, – то есть мне бы следовало сказать мистер, Кленнэм – просто не знаю, как мы сюда влезли, а обратно и не вылезем без пожарной лестницы, а тетушка мистера Ф. провалилась между ступеньками и, наверно, вся в синяках, итак, вы стало быть, занялись машинами и литейным делом, подумать только, и ничего даже нам не сказали.

Тут Флоре пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Тетушка мистера Ф. тем временем потирала концом зонтика свои почтенные щиколотки и свирепо озиралась по сторонам.

– Какой же вы нехороший, что ни разу больше не навестили нас с тех пор, хотя в самом деле, что теперь может привлекать вас в *нашем* доме, и уж, наверно, у вас нашлось более приятное времяпрепровождение, интересно знать, блондинка она или брюнетка, а глаза голубые или черные, впрочем можно не сомневаться, что она полная противоположность мне во всех отношениях, я ведь отлично знаю, как вы разочаровались во мне, и вы правильно сделали, что отдали свое сердце, ах ты боже мой, что это я говорю, не слушайте вы меня, Артур, я сама не знаю толком.

Тем временем он освободил два стула и пододвинул их дамам. Флора тотчас же опустила на

ближайший к ней и подарила Артура прежним взглядом.



– Дойс и Кленнэм, нет, вы только подумайте, и что это за Дойс, хотела бы я знать, – продолжала Флора, – должно быть, приятнейший джентльмен и, верно, женат, или, верно, у него есть дочка, признавайтесь, ведь есть? Тогда понятно, откуда вдруг этот интерес к машинам, все ясно, и не говорите мне ничего больше, я знаю, что не имею права задавать вопросы, золотые узы прошлого разбиты и тем лучше.

Флора нежно накрыла его руку своей и метнула на него еще один взгляд, взятый из арсенала юности.

– Дорогой Артур – сила привычки, мистер Кленнэм и вежливее и больше соответствует положению вещей – я прошу извинить меня за это бесцеремонное вторжение, но мне казалось, память былых дней, что в вечность канули и больше не вернуться, дает нам с тетушкой мистера Ф. право прийти поздравить вас и пожелать успехов, а ведь согласитесь, это куда лучше, чем Китай, и главное ближе, хотя, правда, выше!

– Я очень рад видеть вас, – сказал Кленнэм, – и очень вам признателен за ваше любезное внимание.

– Да, в этом отношении вы счастливее меня. – ответила Флора, – я бы двадцать раз могла умереть и двадцать раз лечь в могилу и не знаю что еще, так и не дождавшись, чтоб вы обо мне хотя бы

вспомнили, но несмотря на это, я все же хочу еще только одно сказать вам, еще только одно объяснить...

– Дорогая миссис Финчинг, – в испуге взмолился Артур.

– Ах, не произносите эту противную фамилию, скажите «Флора»!

– Флора, стоит ли вам опять себя расстраивать? Право же, больше никаких объяснений не требуется. Вы мне уже все объяснили, и я вполне удовлетворен.

Тут ход беседы нарушило безапелляционное и грозное заявление, последовавшее со стороны тетушки мистера Ф.

– На Дуврской дороге стоят путевые столбы!

Этот снаряд был ею выпущен с такой смертельной ненавистью к роду человеческому, что Кленнэм почувствовал себя совершенно незащищенным; тем более что его в первые же минуты озадачил визит этой почтенной дамы, явно питавшей к нему непреодолимое отвращение. Он растерянно покосился на нее, но она не удостоила его взглядом; дыша презрением и злобой, она смотрела куда-то вдаль. Флора, однако, повела себя так, будто услышала нечто в высшей степени тонко и к месту сказанное, и вслух выразила свое восхищение остроумием тетушки мистера Ф. Воодушевленная то ли ее похвалой, то ли собственным бурным негодованием, упомянутая достопримечательная особа добавила:

– А пусть-ка он попробует! – и решительно наставив на Кленнэма свой каменный ридикюль (вещь, размерами напоминавшую чемодан, а видом – археологическую находку), дала понять, что именно он тот несчастный, кому брошен этот вызов.

– Итак, еще только одно я хочу сказать, – продолжала Флора, – еще только одно объяснить, мы с тетушкой мистера Ф. никогда бы не решились беспокоить делового человека, мистер Ф. ведь тоже был деловым человеком, правда, по винной части, но дело всегда дело, как бы оно ни называлось, и у всех деловых людей одни и те же привычки, взять хотя бы самого мистера Ф., бывало как без десяти шесть вечера, так его туфли уже стоят на коврике, а как без десяти восемь утра, так его сапоги уже греются за каминной решеткой, минута в минуту, в любую погоду, зимой и летом – а потому мы никогда бы не решились беспокоить, если б у нас не было доброго намерения, а так как намерение доброе, то я надеюсь, вы нас извините, Артур – мне следовало сказать мистер Кленнэм, или даже Дойс и Кленнэм, как то больше подходит для делового человека.

– Прошу вас, не оправдывайтесь, – сказал Артур. – Я вам рад во всякое время.

– Вы очень любезны, Артур, мистер Кленнэм – всякий раз спохватываюсь слишком поздно, вот что значит привычка, которая идет от давно прошедших дней, и как это верно сказано, что в ночной тишине порой так трудно бывает уснуть человеку, видений минувшего рой терзает усталую грудь человека – очень любезны, но боюсь, не очень искренни, в самом деле заняться какими-то машинами и не написать об этом хотя бы строчку папаше – уж о себе не говорю хотя было время когда но все это в прошлом и суровая действительность ах что же это я опять не обращайте внимания но вы должны согласиться что так добрые друзья не поступают.

На этот раз Флора, видимо, уже махнула рукой и на запястье; ее фразы неслись, обгоняя одна другую, и понять ее было еще труднее, чем в прошлый раз.

– Впрочем, – торопилась она, – другого не приходится и ожидать и с какой стати ожидать а раз не приходится ожидать то и нечего ожидать и я вовсе не виню вас и никого не виню только когда ваша маменька и мой папенька не пощадили нас и разбили золотые вазы – то есть я хочу сказать узы да вы и сами знаете что я хочу сказать а если не знаете то не так уж много потеряли и не так уж это для вас важно позволю себе заметить – когда они разбили золотые узы соединявшие нас и мы покатались на диван в припадке слез по крайней мере я покаталась с тех пор все стало по-другому и отдавая свою руку мистеру Ф. я себя ни в чем не обманывала но он был так несчастен и так безутешен и даже намекал насчет реки или чего-то такого что продается в аптеке, и что же мне оставалось делать?

– Милая Флора, ведь мы уже решили этот вопрос. Вы поступили совершенно правильно.

– Охотно верю, что вы так думаете, – отрезала Флора, – иначе вы бы не отнеслись к этому так прохладно, если б я не знала про Китай, я бы сказала Северный полюс, Впрочем, вы правы, дорогой мистер Кленнэм, и я вас не виню, а про Дойса и Кленнэма мы узнали от Панкса, потому что эти дома все папашины, а иначе мы бы и понятия ни о чем не имели, убеждена и не сомневаюсь.

– Нет, нет, пожалуйста, не говорите так!

– А почему же мне так не говорить, Артур – то есть Дойс и Кленнэм, проще и менее тягостно для меня, чем мистер Кленнэм – ведь я знаю, что это так, и вы знаете, что это так, и не пытайтесь убедить меня, что я ошибаюсь.

– Но вы в самом деле ошибаетесь, Флора. Я собирался навестить вас в самом непродолжительном времени.

– Ах, – сказала Флора, качая головой. – Уж будто! – и снова подарила его прежним взглядом. – Но так или иначе, когда Панкс нам сообщил, я тут же решила заглянуть к вам вместе с тетушкой мистера Ф., потому что, когда папаша, не тогда, а еще раньше – упомянул о ней и сказал, что вы ею интересуетесь, я сразу и говорю, ах, ты боже мой, ведь дело всегда найдется, вот и можно взять ее в дом вместо того, чтобы отдавать на сторону.

– Ее? – переспросил Кленнэм, ничего не понимая, – вы имеете в виду тетушку ми...

– Господь с вами, Артур – нет, лучше, Дойс и Кленнэм, не так бередит старые раны – да кому придет в голову брать тетушку мистера Ф. в дом на поденную работу?

– На поденную работу? Так это вы о Крошке Доррит говорите?

– О ком же еще, – воскликнула Флора, – и что за нелепая фамилия, в жизни такой не слыхала, точно название деревни на столбе у заставы, или кличка пони, или щенка, или птицы, или еще такие семена продаются в лавке, можно посадить на грядке или в цветочном горшке и вырастет крапчатая травка.

– Позвольте, позвольте, Флора, – сказал Артур, почувствовавший вдруг живой интерес к разговору, – стало быть, мистер Кэсби был так добр, что упомянул вам о Крошке Доррит? А что именно он сказал?

– Ах, вы ведь знаете папашу, – отвечала Флора, – до чего он несносен, когда сидит таким красавцем у камина и вертит большими пальцами, так что голова начинает кружиться, если долго смотреть, так вот он и сказал, когда мы говорили о вас, не помню, кто первый начал разговор, Артур – Дойс и Кленнэм – одно могу сказать, что не я, то есть мне кажется, что не я, надеюсь, вы не станете требовать от меня дальнейших признаний?

– Нет, нет, – сказал Артур. – Ни в коем случае.

– Легко же вы соглашаетесь, – заметила Флора, надув губки, и тотчас же потупилась в оборотительном смущении, – но не хочу скрывать, мы говорили о вас, и папаша упомянул про нее, сказав, что вы принимаете в ней большое участие, а я ответила то, что вы уже знаете, и вот и все.

– Все? – переспросил Артур с некоторым разочарованием.

– Если не считать того, что, когда Панкс рассказал нам, что вы вступили компаньоном в это предприятие, и насилу убедил нас, а то мы не хотели верить, я тогда говорю тетушке мистера Ф., пойдемте спросим, не будет ли какого неудобства, если я стану приглашать ее к нам, когда случится надобность, я ведь знаю, она часто ходит работать к вашей мамаше, а у вашей мамашки нрав крутой, мне это хорошо известно, Артур – Дойс и Кленнэм – иначе я не вышла бы за мистера Ф. и, быть может, теперь, но что это я опять говорю!

– Вы очень добры, Флора, что подумали об этом.

Бедная Флора ответила с чистосердечной простотой (которая шла к ней куда больше, нежели самые томные девические взгляды), что рада сделать ему приятное. Она сказала это так искренне, что Кленнэму от души захотелось, чтобы она раз навсегда забыла и о своей девической томности и о взглядах сирены и была бы такой, как сейчас.

– Если у вас найдется работа для Крошки Доррит, Флора, – сказал он, – и если к тому же найдется для нее ласковое слово...

– Непременно найдется, – поспешила вставить Флора.

– Не сомневаюсь... Так вот, вы этим окажете ей большую помощь и поддержку. Я не считаю себя вправе рассказать вам все, что мне о ней известно, ибо это тайна, которую я узнал при обстоятельствах, обязывающих меня к молчанию. Но эта маленькая девушка не только вызывает во мне сочувствие, я ее уважаю поистине безгранично. Вы даже вообразить не можете, какие тяжелые испытания выпали ей на долю и сколько в ней преданности, скромности, доброты. Я не могу думать, а тем более говорить о ней без волнения. Пусть же это волнение заменит собою слова, и позвольте мне с благодарностью поручить ее вашему дружескому участию.

Он протянул руку бедной Флоре, но бедная Флора не могла так же просто принять эту руку, как она была подана. Открытое и непосредственное изъявление чувств было ей не по душе, она непременно хотела таиться и прятаться, как когда-то. К собственному удовольствию и к ужасу Артура, она осторожно прикрыла его руку концом шали и только тогда взяла ее. Затем опасливо оглянулась и вдруг увидела сквозь стеклянную перегородку две приближающиеся фигуры. В полном восторге она воскликнула: «Папаша! Тсс, Артур, ради всего святого, тише!» – и, пошатнувшись, упала на свой стул, с необыкновенной точностью изображая юную деву застигнутую врасплох и готовую лишиться чувств от потрясения.

Между тем к конторке, следуя в кильватере Панкса, подплыл безмятежно сияющий Патриарх, Панкс распахнул перед ним дверь, отбуксировал его к месту, а затем отошел и стал на якорь в уголке.

– Я слышал от Флоры, – сказал Патриарх, благосклонно улыбаясь, – что она собирается побывать у вас, побывать у вас. А я вот шел мимо и думаю, дай тоже зайду, дай тоже зайду.

Это заявление не содержало особо глубокого смысла, но благодаря голубым глазам, сияющей лысине и белоснежным кудрям говорившего казалось, будто он изрек величайшую истину, достойную занять свое место среди благороднейших мыслей, завешанных человечеству лучшими из людей. И точно так же, когда он уселся в пододвинутое ему Кленнэмом кресло и сказал: «Так вы, стало быть, взялись за новое дело, Кленнэм? Ну что ж, в добрый час, в добрый час, сэр!» – то словно бы явил настоящее чудо доброты и благожелательности.

– Миссис Финчинг только что говорила мне, сэр, – сказал Артур, поблагодарив сперва за доброе пожелание и не замечая возмущенного жеста, которым осиротевшая супруга мистера Финчинга протестовала против употребления этой почтенной фамилии, – что она намерена давать иногда работу молодой швее, которую вы рекомендовали моей матери, и я выразил ей свою признательность за это.

Патриарх неуклюже повернулся в сторону Панкса, и тот, оторвавшись от изучения своей записной книжки, поспешил на помощь.

– Вы вовсе ее не рекомендовали, – сказал Панкс. – Как вы могли ее рекомендовать? Вы ведь ничего о ней не знаете, ровно ничего. Просто вам назвали ее имя и вы при случае упомянули его. Вот и все.

– Ну что ж, – сказал Кленнэм. – Она оправдала бы любую рекомендацию, так что это почти тоже самое.

– Вам очень приятно, что ею довольны, – сказал Панкс, – но если б оказалось, что ею недовольны, вы бы за это не отвечали. Не ваша заслуга в том, как оно есть, и не ваша была бы вина, если бы было иначе. Вы никаких ручательств не давали. Вы ничего не знали о ней.

– Стало быть, – наудачу спросил Артур, – вы не знакомы с кем-либо из ее родных?

– С кем-либо из ее родных? – повторил Панкс. – Как вы можете быть знакомы с кем-либо из ее родных? Вы о них и не слыхали никогда. Разве можно быть знакомым с людьми, о которых никогда не слыхал? Едва ли.

Все это время Патриарх сохранял на лице свою ясную улыбку, благодушно кивая или качая головой, смотря по обстоятельствам.

– А что касается поручителей, – продолжал Панкс, – так вам хорошо известно, каково иметь дело с поручителями. Чушь и ерунда, вот что! Взять хотя бы ваших жильцов здесь, в Подворье. Они вам все охотно поручатся один за другого, если вы на это согласитесь. А зачем на это соглашаться? Какая вам выгода от того, что вместо одного вас обманут двое? И одного довольно. Человек, который не может уплатить, ручается за другого, который тоже не может уплатить, что он может уплатить. Все равно что калека на двух деревяшках поручился бы за другого калеку на двух деревяшках, что у него ноги настоящие. От этого ни тот, ни другой наперегонки не побежит. А мороки с двумя парами деревяшек больше, чем с одной, особенно если вам и одна ни к чему. – И мистер Панкс заключил свою речь обычным свистком.

Наступившая затем короткая пауза была прервана тетушкой мистера Ф., которая, отпустив свое последнее замечание, впала в каталепсию и все это время просидела неестественно выпрямившись и не произнося ни звука. Она вдруг подскочила на месте, подвергая серьезному испытанию нервы непосвященных, и с непримиримой злобой объявила:

– Нельзя сделать из пустой медной башки голову с мозгами. Даже при жизни дяди Джорджа

нельзя было; а уж после его смерти и подавно.

Мистер Панкс не замедлил откликнуться, хладнокровно, как всегда:

– Да неужели, сударыня! Помилуй бог! Вот никогда бы не подумал!

Но, несмотря на проявленную им находчивость, речь тетушки мистера Ф. произвела на присутствующих гнетущее впечатление; ибо, во-первых, невозможно было скрыть тот факт, что заключенный в ней обидный намек относился не к чему иному, как к голове злополучного Кленнэма, а во-вторых, никто не знал, кому именно доводится родственником таинственный дядя Джордж и чей замогильный покой тревожат неоднократные упоминания этого имени.

Вследствие чего Флора заметила, впрочем не без гордости за свое наследство, что тетушка мистера Ф. сегодня очень оживлена и, пожалуй, им пора уходить. Однако тетушка мистера Ф., оживляясь все больше, приняла это предложение в штыки и уходить наотрез отказалась; присовокупив, в довольно оскорбительном тоне, что если «Он» (подразумевался все тот же Кленнэм) желает от нее избавиться, так пусть вышвырнет ее в окно, и выразив свое пламенное желание увидеть, как это «Ему» удастся.

Спас положение опять-таки мистер Панкс, не терявший ни при каких обстоятельствах, особенно если эти обстоятельства грозили затруднить патриаршее плавание; он потихоньку нахлобучил шляпу, потихоньку выскользнул за дверь и потихоньку вернулся в контору, успев искусственным образом приобрести такой цветущий вид, словно провел за городом месяц или два. «Помилуй бог, сударыня! – воскликнул мистер Панкс, запустив всю пятерню в волосы, как бы от изумления, – вас ли я вижу? Здравствуйте, здравствуйте! Вы прекрасно выглядите. Какая приятная встреча! Позвольте предложить вам руку, сударыня, и мы с вами немного пройдемся вдвоем; надеюсь, вы мне не откажете в этой чести!» И он галантно, но решительно повел тетушку мистера Ф. к наружной лестнице. Мистер Крсби не спеша поднялся со своего места с таким видом, будто он сам все это проделал, и двинулся следом за ними; Флора же, покидая контору последней, успела с наслаждением шепнуть своему бывшему поклоннику, что чаша жизни допита ими до дна, и дала понять, что покойный мистер Ф. был горьким осадком на дне этой чаши.

Оставшись один, Кленнэм задумался о своей матери и о Крошке Доррит, и тут вновь зашевелились в нем прежние догадки и подозрения. Снова и снова перебирал он все это в уме, в то же время машинально продолжая заниматься своим делом, как вдруг ни бумажки упала тень, и он поднял голову, чтобы посмотреть, в чем причина этого явления. Причина была в мистере Панксе. Сдвинув шляпу на затылок (можно было подумать, что это его жесткие волосы вдруг распрямились, точно пружины, и отбросили ее назад), сверля Кленнэма черными бисеринками глаз, обгрызая ногти на правой руке, а левую держа про запас в кармане, мистер Панкс стоял за стеклянной перегородкой, и тень его ложилась на книги и документы.

Мистер Панкс вопросительно качнул головой, осведомляясь, можно ли снова войти. Кленнэм в ответ утвердительно кивнул. Мистер Панкс вплыл в контору, пришвартовался к письменному столу, облокотился на него, чтоб не снесло течением, и начал разговор с того, что фыркнул и запыхтел.

– Ну как, утихомирилась тетушка мистера Ф.? – спросил Кленнэм.

– Вполне, сэр, – отвечал Панкс.

– Я имел несчастье заслужить весьма неприязненное отношение этой дамы, – сказал Кленнэм. –

Не знаете ли почему?

– А она сама знает?

– Не думаю.

– И я не думаю.

Мистер Панкс достал свою записную книжку, раскрыл ее, снова закрыл, бросил в шляпу, стоявшую рядом на столе, и заглянул туда – посмотреть, как она лежит; все это с выражением крайней сосредоточенности.

– Мистер Кленнэм, – начал он снова. – Я желал бы получить некоторые сведения, сэр.

– О делах фирмы? – спросил Кленнэм.

– Нет, – сказал Панкс.

– Тогда могу ли я спросить, о чем, мистер Панкс? Если, конечно, вы желаете получить эти сведения от меня.

– Да, сэр, от вас, – сказал Панкс. – Вопрос в том, согласитесь ли вы мне их дать. А, Б, В, Г, Д.

Да, Де, Ди. До. В алфавитном порядке. Доррит. Вот вам фамилия, сэр.

Мистер Панкс издал уже знакомый нам звук и принялся за ногти левой руки. Артур смотрел на него выжидательно; он смотрел на Артура так же.

– Я вас не понимаю, мистер Панкс.

– Это фамилия, которая меня интересуется.

– А что именно вас интересуется?

– Все, что вы можете и захотите мне сказать. – Этот исчерпывающий перечень интересов мистера Панкса был подкреплен усиленным действием всего машинного отделения буксира.

– Я должен сказать, вы меня удивляете, мистер Панкс. Весьма странно, что вам пришло в голову обратиться ко мне с таким вопросом.

– Что ж, что странно, – возразил Панкс. – Дело может быть очень странным, но от этого оно не перестает быть делом. Короче говоря, речь идет о деле. Я человек деловой. Что мне еще делать на этом свете, если не заниматься делами? Решительно нечего.

Кленнэм внимательно посмотрел на своего собеседника, словно невольно усомнившись в том, что этот сухой и жесткий человек говорит всерьез. Перед ним была все та же физиономия, как всегда небритая и грязная, как всегда выразительная и подвижная, но он не уловил на ней никаких признаков насмешки, чудившейся ему в голосе.

– Только чтоб не было недоразумений, – сказал Панкс, – заметьте себе сразу: моего хозяина это дело не касается.

– Вы называете своим хозяином мистера Кэсби?

Мистер Панкс кивнул.

– Да, он мой хозяин. Представьте такой случай. Скажем, в доме у хозяина я слышу фамилию – фамилию молодой особы, которой желает помочь мистер Кленнэм. Скажем, эту фамилию называл хозяину Плорниш из Подворья. Скажем, я иду к Плорнишу. Скажем, задаю ему вопрос с деловой целью. Скажем, Плорниш, хоть должен квартирную плату за шесть недель, отвечать не хочет. Скажем, и миссис Плорниш отвечать не хочет. Скажем, оба ссылаются на мистера Кленнэма. Возможен такой случай?

– Дальше.

– А дальше, сэр, – отозвался Панкс, – скажем, я иду к нему. И вот, скажем, я пришел.

Тут деловой человек, пыхтя, отступил на шаг (дал задний ход, сказали бы мы о буксире), словно с тем, чтобы открыть для обозрения свой закопченный корпус, а потом снова пошел на abordаж, попеременно заглядывая то в шляпу, где лежала записная книжка, то в лицо Кленнэму.

– Мистер Панкс, отнюдь не посягая на ваши тайны, мне все же хотелось бы кое-что себе уяснить. Позвольте задать вам два вопроса. Во-первых...

– Стойте! – прервал его Панкс, подняв кверху грязный палец с обкусанным ногтем. – Уже знаю: «Каковы ваши побуждения?»

– Вы угадали.

– Побуждения добрые, – сказал Панкс. – К хозяину отношения не имеют, объяснены пока быть не могут, показались бы сейчас нелепыми, но – добрые. Могут послужить на пользу молодой особе по фамилии Доррит, – продолжал Панкс, не опуская предостерегающе поднятого пальца. – Считайте, что побуждения добрые.

– Тогда второй и последний вопрос: что вы хотите узнать?

Мистер Панкс успел тем временем выудить записную книжку из шляпы, тщательно спрятал ее во внутренний карман, помедлил несколько, глядя прямо в глаза Кленнэму, отфыркнулся и произнес.

– Все что только можно.

Кленнэм не мог удержаться от улыбки, видя, как это маленькое буксирное суденышко, верный поводырь неуклюжего корабля Кэсби, настороженно пыхтит, словно поджидая удобного случая напасть и вырвать все, что ему нужно, раньше, чем противник успеет опомниться. Но было в настойчивости мистера Панкса нечто, приводившее на ум странные мысли. В конце концов Артур решил сообщить мистеру Панксу те сведения, которыми располагал сам, справедливо рассудив, что тот все равно их добудет, не от него, так другим путем.

Попросив предварительно мистера Панкса не забывать собственных слов о том, что им руководят добрые побуждения и что хозяин его к этому делу непричастен (каковые слова черномазый чело-

вечек тут же охотно и с большим жаром повторил), Кленнэм откровенно признался, что о происхождении семьи Доррит и о ее прежнем местожительстве ему ничего не известно, но что, насколько он знает, семья эта в настоящее время состоит из пяти человек: двух братьев, холостого и вдовца, и троих детей последнего. Он также сообщил мистеру Панксу приблизительный возраст каждого из пятерых, а затем изобразил ему положение Отца Маршалси, упомянув, за какой срок и при каких обстоятельствах было заслужено это почетное звание. Мистер Панкс внимательно следил за всеми перипетиями рассказа, сопя и фыркая тем энергичней, чем эти перипетии казались ему интереснее, причем самые грустные места в повествовании, по-видимому, доставляли ему самое большое удовольствие; услышав же, что Уильям Доррит просидел в тюрьме двадцать три года, он просто пришел в восторг.

– Остается добавить лишь одно, мистер Панкс, – сказал Артур. – У меня есть весьма серьезные побудительные причины как можно меньше говорить о семействе Доррит, особенно в доме моей матери (мистер Панкс кивнул головой), и стремиться как можно больше узнать о нем. Настоящий деловой человек, подобный вам... Что такое?

Это относилось к поистине трубному звуку, который мистер Панкс вдруг извлек из своей носоглотки.

– Нет, нет, ничего, – сказал Панкс.

– Настоящий деловой человек, подобный вам, должен хорошо знать, что такое договор на основе взаимности. Я хочу заключить с вами подобный договор, с тем, чтобы вы сообщали мне все, что вам удастся разузнать о семействе Доррит, так же, как я сообщил вам все, что известно мне. Вы, вероятно, будете не слишком лестного мнения о моей деловитости, поскольку я не оговорил своих условий заранее, – продолжал Кленнэм, – но я предпочитаю, чтобы это было сделкой на совесть. Я столько насмотрелся дел, которые велись по всем правилам, что, правду вам сказать, мистер Панкс, я от них устал.

Мистер Панкс рассмеялся.

– Что ж, по рукам, сэр, – сказал он. – Вы можете на меня положиться.

Он еще постоял немного, глядя на Кленнэма и грызя ногти уже на всех десяти пальцах сразу – должно быть проверял, хорошо ли запечатлелось в его памяти все услышанное, и нет ли там какого-нибудь пробела, который сейчас еще возможно было заполнить, и, наконец, сказал:

– Все в порядке. А теперь позвольте откланяться, нынче день сбора квартирной платы в Подворье. Ах, да, кстати. Прихрамывающий иностранец с клюкой.

– Э-э! Стало быть, иногда вы все-таки принимаете поручительство?

– Если поручитель платежеспособен. Берите все, что можете взять, и придерживайте все, чего у вас не могут отнять силой. Это и называется заниматься делами. Прихрамывающий иностранец с клюкой хочет снять мансарду в Подворье. Есть у него чем платить?

– У меня есть. – сказал Кленнэм, – и я беру ответственность на себя.

– Этого достаточно, – сказал Панкс, делая отметку в своей записной книжке. – У меня с Подворьем Кровоточащего Сердца разговор простой. Мне нужна долговая расписка, вот что мне нужно. Плати или отвечай своим имуществом! Таков мой девиз в Подворье. Прихрамывающий иностранец с клюкой утверждал, что это вы дали ему адрес; но точно так же он мог бы утверждать, что ему дал адрес Великий Могол.⁵⁹ Он, кажется, лежал в больнице?

– Да, после несчастного случая. Он только что вышел оттуда.

– Слыхал я, будто из этих больниц человек выходит чуть не нищим, – сказал Панкс. И снова произвел носом тот удивительный звук.

– Я тоже так слыхал, – холодно ответил Кленнэм.

Мистер Панкс, будучи вполне готовым к отплытию, без всяких сигналов мгновенно развел пары, и, кажется, прежде чем он успел выйти из конторы и спуститься по лестнице, его пыхтение уже донеслось снизу, со двора.

До самого вечера в Подворье Кровоточащего Сердца царил переполох. Неумолимый Панкс носился из конца в конец, отчитывал неисправных плательщиков, требовал долговых расписок, грозил

⁵⁹ *Великие Моголы* – название монгольской династии в Индии, правившей с 1526 по 1858 год.

выселением и арестом, бушевал и неистовствовал, сея страх на своем пути. У каждой двери, в которую он входил, тотчас же собиралась толпа, привлеченная роковым любопытством, и с замиранием сердца ловила долетавшие изнутри обрывки его выкриков; а когда лазутчики доносили, что он уже спускается с лестницы, многие не успевали разбежаться вовремя, и он, застигнув их врасплох, тут же чинил суд и расправу и над ними, потому что чуть не за любым из жильцов числились долги. До самого вечера по всему Тупику только и раздавалось: «Да что вы воображаете? Да на что это похоже?». Мистер Панкс не желал слушать никаких отговорок, не желал слушать никаких жалоб, не желал слушать никаких заверений; он желал одного: немедленной уплаты наличными. Пыхтя и отдуваясь, он метался во все стороны, совсем уже черный от пота и грязи и так взбаламутил тихие воды Подворья, что волнение не утихло и через два часа после того, как он, наконец, испарился за уличным горизонтом.

Немало было пересудов в этот вечер в тех уголках Подворья, где Кровоточащие Сердца обычно сходились потолковать о своих делах и невзгодах; и все единодушно сошлись на том, что мистер Панкс – жестокосердый человек, с которым не сговориться; и можно только пожалеть, зачем такой джентльмен, как мистер Кэсби, поручает ему собирать квартирную плату; верно, просто не знает, каков он есть. Вот если бы мистер Кэсби сам стал этим заниматься (говорили Кровоточащие Сердца), совсем другое было бы дело; уж будьте уверены, сударыня, человек с такой головой да с такими глазами никого не стал бы мучить и допекать.

А в тот же самый час и минуту Патриарх – еще задолго до бури с безмятежной улыбкой проследовавший через Подворье, чтобы укрепить доверие, которое его обитателям внушала сияющая лысина и шелковистые кудри, – в тот же самый час и минуту этот первостатейный лицемер и обманщик, прикидывавшийся порядочным кораблем, грузно колыхался на волнах своей домашней заводи и, вертя большими пальцами, говорил усталому маленькому буксиру:

– Неудачный день, Панкс, очень неудачный день. Мне кажется, сэр, – и справедливость заставляет меня сделать вам это замечание, – что вы должны были выжать куда больше денег, куда больше денег.

Глава XXIV ***Предсказатель будущего***

В тот же вечер в тюрьму явился Плорниш и дал понять Крошке Доррит, что желал бы переговорить с нею с глазу на глаз, для чего несколько раз принимался кашлять столь многозначительно, что не заметить этого мог только мистер Доррит, который, когда дело касалось заработков его дочери, являл собою наглядную иллюстрацию истины: тот всех слепцов слепее, кто не хочет видеть. Так или иначе сигналы Плорниша были приняты, и он получил аудиенцию на лестнице за дверью.

– Заходила нынче к нам одна дама, мисс Доррит, – вполголоса начал Плорниш, – а еще с ней была старуха, ну сущая ведьма. Как глянет, так, кажется, сейчас живьем проглотит!

Впечатление, произведенное на кроткого Плорниша тетушкой мистера Ф. было столь сильно, что он никак не мог его позабыть.

– Уж такая, право, вредная старуха, – бормотал он, словно оправдываясь, – откуда только такие берутся.

Наконец, ценой немалых усилий, ему удалось отвлечься от этого предмета, и он продолжал:

– Впрочем, не о ней сейчас разговор. Другая-то дама, она дочка мистера Кэсби, а у мистера Кэсби, если чего не так или там не совсем, уж кто-кто, а Панкс тут не виноват, ну уж нет. Этот уж старается, Панкс-то, так старается, так старается!

Мистер Плорниш, по обыкновению, изъяснялся несколько туманно, но зато с большим пафосом.

– А приходила она вот зачем: просила передать, что пусть мисс Доррит зайдет по этому адресу – вот тут на карточке, это дом, где проживает сам мистер Кэсби, и у Панкса в этом доме есть комнатка окнами во двор, там он и старается, так, что только держись, – у нее для мисс Доррит, дескать, есть работа. Я, говорит, старый и близкий друг мистера Кленнэма и желаю быть полезной друзьям моего друга. Так и сказала, этими самыми словами. И она хотела знать, не может ли мисс Доррит

прийти завтра, так я пообещал, что загляну к вам, мисс, и справлюсь, а потом приду к ней сказать, будете ли вы завтра, а если не завтра, то когда.

– Я схожу завтра, мистер Плорниш, благодарю вас, – сказала Крошка Доррит. – Очень любезно с вашей стороны; да ведь вы всегда любезны и добры.

Мистер Плорниш скромно отказался признать свои заслуги и, отворив дверь, пропустил Крошку Доррит в комнату, а затем и сам вошел, делая вид, будто и вовсе не выходил – причем до того неуклюже, что Отец Маршалси, даже не будучи особо наблюдательным, легко мог бы догадаться, в чем дело. Однако почтенный старец, в своей удобной рассеянности, ничего не заметил. Они побеседовали еще немного; Плорниш, несмотря на превосходство, которое давало ему его нынешнее положение гостя с воли, держался со всей почтительностью бывшего арестанта, к тому же сознающего, что он всего лишь простой штукатур. Вскоре он простился и вышел; но прежде чем покинуть тюрьму, обошел ее кругом, и некоторое время постоял у кегельбана со сложным чувством человека, который совсем недавно был обитателем здешних мест и имеет свои особые причины полагать, что ему еще суждено сюда вернуться.

Ранним утром Крошка Доррит, препоручив свои домашние обязанности Мэгги, вышла из Маршалси и направилась к патриаршему шатру. Она выбрала путь через Железный мост, хоть за переход и пришлось уплатить пенни, и шла так медленно, что эта часть пути оказалась у нее самой долгой. Без пяти восемь она уже бралась за патриарший дверной молоток, привстав на цыпочки, чтобы до него дотянуться.

Она подала карточку миссис Финчинг молодой особе, отворившей дверь, и услышала от нее, что мисс Флора (вернувшись под родительский кров, Флора предпочла вновь принять то имя, под которым жила там раньше) еще не выходила из спальни, но что посетительницу просят пройти в гостиную мисс Флоры. Она послушно прошла в гостиную мисс Флоры, где увидела стол, накрытый к завтраку на два прибора, и еще один прибор на подносе отдельно. Молодая особа куда-то исчезла, однако очень скоро воротилась и сказала, что посетительницу просят расположиться у камина, снять шляпку и чувствовать себя как дома. Но Крошка Доррит, по своей природной застенчивости и потому, что она не привыкла чувствовать себя как дома в подобных случаях, не могла последовать этому приглашению; и когда Флора, запыхавшись от спешки, влетела в гостиную полчаса спустя, посетительница все еще сидела на стульчике у дверей, так и не сняв шляпки.

Флора была в отчаянии, что заставила ее ждать, и господи боже мой, зачем же она мерзнет тут, у дверей, вместо того чтобы сидеть в кресле перед камином и читать газету, разве эта ветрогонка горничная ей не передала, и неужели она так и сидит все время в шляпке, нет, уж теперь Флора сама снимет с нее эту шляпку, сию же минуту. В порыве лучших чувств Флора тут же исполнила свое намерение и была так поражена лицом, которое увидела, что воскликнула: «Да какая же вы прелесть, моя душенька!», и с неподдельной нежностью сжала это лицо ладонями.

Все это длилось ровно одно мгновенье. Прежде чем Крошка Доррит успела подивиться ее доброте, Флора уже бросилась хлопотать у стола, в то же время дав волю своему неутомимому языку.

– Право же, я просто в отчаянии, что так заспалась именно сегодня, ведь я непременно хотела встретить вас сама, как только вы придете, и сказать вам, что всякий, в ком Артур Кленнэм принимает участие, хотя бы и не такое горячее, может рассчитывать на участие и с моей стороны, и что я очень рада вас видеть у себя, и добро пожаловать и милости просим, и вот извольте, никто не догадался меня разбудить, и вы уже здесь, а я еще храплю, если уж говорить всю правду и я не знаю, любите ли вы курицу в холодном виде и ветчину в горячем, многие не любят, между прочим не только евреи, а у евреев это угрызения совести, которые мы должны уважать, хотя очень жаль, что у них нет угрызений совести, когда они нам продают подделки, а деньги берут как за настоящее, но если не любите, это будет просто ужасно, – заключила Флора.

Крошка Доррит поблагодарила и робко заикнулась, что кроме чая и хлеба с маслом она не выкла...

– Вздор, вздор, дитя мое, и слушать не хочу, – перебила Флора, с такой стремительностью наливая кипятком в чайник, что брызги полетели ей в лицо. – Вы не должны стесняться, потому что к вам здесь относятся как к другу и желанной гостье, беру на себя смелость утверждать, что это именно так, и мне стыдно было бы, если бы это было иначе, тем более что Артур Кленнэм говорил в таких выражениях – вы что, устали, душенька?

– Нет, сударыня.

– Вы так поблуднели, должно быть проделали натошак слишком большой путь, вы, верно, очень далеко живете, не надо было вам идти пешком, – сказала Флора, – ах, ах, чего же бы вам дать, чтобы восстановить ваши силы?

– Я ничуть не устала, не беспокойтесь, сударыня. Тысячу раз благодарю вас, но я вовсе не устала.

– В таком случае, выпейте поскорей чаю, – сказала Флора, – и скушайте вот это крылышко и кусочек ветчины, а на меня не обращайтесь внимания и не дожидайтесь меня, я всегда отношу сама поднос в комнату тетюшки мистера Ф., которая завтракает в постели, прелестная старушка и такая остроумная собеседница, вон там за дверью портрет мистера Ф., очень похож, разве что лба многовато, только я никогда не видала, чтобы он стоял у мраморной колонны, опираясь на мраморную балюстраду, да еще с горными вершинами вдаль, он ведь, знаете, был виноторговец, превосходнейший человек, но совершенно не такого склада.

Крошка Доррит глянула на портрет, довольно смутно воспринимая пояснения хозяйки к этому шедевру искусства.

– Он меня до того обожал, мистер Ф., что часу без меня прожить не мог, – сказала Флора, – хоть, разумеется, трудно сказать, как бы дело пошло дальше, если бы смерть не унесла его, когда у нас еще в некотором роде не окончился медовый месяц, достойнейший человек, но без всякой романтической жилки, весьма мужественная проза, но никакой поэзии.

Крошка Доррит снова глянула на портрет. Художник наделил свою модель челом, которое, как показатель богатства мыслей, было бы непомерным даже для Шекспира.

– Впрочем, поэзия, – продолжала Флора, проворно приготавливая гренки для тетюшки мистера Ф., – как я откровенно призналась мистеру Ф., когда он мне сделал предложение, можете себе представить, он мне семь раз делал предложение, раз на пароходе, раз в церкви, раз в наемной карете, раз верхом на осле в Тэнбридж-Уэллс,⁶⁰ и еще три раза просто на коленях, поэзия ушла из моей жизни вместе с Артуром Кленнэмом, когда жестокосердные родители разлучили нас, мы окаменели, и суровая действительность вступила в свои права, но мистер Ф., к его чести, сказал, что он об этом знает и что это его даже больше устраивает, и тогда жребий был брошен, я дала согласие, такова жизнь, душенька моя, однако что бы ни говорили, мы гнемся, но не ломаемся, и я вас очень прошу, завтракайте в свое удовольствие, пока я схожу к тетюшке мистера Ф.

Флора исчезла за дверью, предоставив Крошке Доррит по собственному разумению разбираться в этом беспорядочном потоке слов. Но вскоре она появилась снова и принялась, наконец, сама за еду, не переставая в то же время тараторить.

– Видите ли, душенька, – говорила она, наливая себе в чай одну или две ложки какой-то коричневой жидкости с сильным запахом спиртного, – мой врач требует, чтобы я аккуратнейшим образом выполняла его предписания, хотя это очень невкусно, но что делать, здоровье у меня подорвано с юности, с тех самых пор, когда у меня отняли Артура и я, должно быть, слишком много плакала в соседней комнате на диване, а вы давно его знаете?

Когда Крошка Доррит поняла, что последний вопрос относится к ней – для чего потребовалось некоторое время, так как она решительно не поспевала за галопом своей новой покровительницы, – она ответила, что знает мистера Кленнэма со времени его возвращения в Англию.

– Ясно само собой, что вы не могли знать его до этого времени, – подхватила Флора, – разве только если вы ездили в Китай или состояли с ним в переписке, но на это не похоже, потому что у всех заморских путешественников лица такого цвета, как красное дерево, а вы совсем беленькая, а что касается переписки, то о чем бы вам, собственно, ему писать, разве только просить, чтобы он вам прислал чая, стало быть, вы с ним познакомились у его матери, твердого ума женщина и твердой воли тоже, но сурова, ужас до чего сурова – была бы самая подходящая матушка для Железной Маски.⁶¹

⁶⁰ *Тэнбридж-Уэллс* – английский курорт с железистыми источниками, в 32 милях к юго-востоку от Лондона.

⁶¹ *Железная Маска* – предположительно – незаконный сын французской королевы Анны Австрийской, сводный брат дофина – будущего Людовика XIV, заточенный в 1698–1703 годах в Бастилию во избежание дворцовых интриг. На лицо

– Миссис Кленнэм очень добра ко мне, – сказала Крошка Доррит.

– В самом деле? Очень рада это слышать, мне самой, натурально, приятнее, если я могу изменить к лучшему свое мнение о матери Артура, а вот любопытно, что она обо мне думает, когда я немножко увлекусь разговором, что со мной случается, а она сидит и смотрит на меня выпучив глаза, точно чучело Судьбы в тележке с колесами – нехорошо, правда, так говорить, не виновата же она, что больна – да, любопытно, но я этого не знаю и даже вообразить себе не могу.

– Не пора ли мне приняться за работу, сударыня? – сказала Крошка Доррит, нерешительно оглядываясь по сторонам. – С чего прикажете начинать?

– Ах вы маленькая трудолюбивая фея, – воскликнула Флора, наливая себе еще чаю и добавляя в чашку еще дозу лекарства, предписанного ей врачом, нет никакой нужды торопиться, давайте-ка лучше поговорим по душам про нашего общего друга – как это сухо и холодно звучит для меня, впрочем, что это я, напротив очень даже прилично, наш общий друг – куда приятнее, чем обмениваться учтивыми замечаниями и при этом чувствовать себя (речь, разумеется, обо мне, а не о вас), как тот мальчик из Спарты, которого грызла лисица,⁶² а он молчал, извините, пожалуйста, что я про него вспомнила, из всех несносных мальчишек на свете этот самый несносный.

Крошка Доррит, побледнев еще больше, покорно села на свое место.

– Но я могла бы работать и слушать, сударыня, – предложила она. – Мне работа не мешает. Право же, так будет лучше.

Такая настоящая мольба слышалась в ее голосе, что Флора уступила.

– Ну как хотите, душенька, – сказала она и принесла корзинку с белоснежными носовыми платками. Крошка Доррит радостно пододвинула ее к себе, достала из кармана свой рабочий мешочек, вдела нитку в иголку и принялась подрубать край платка.

– Какие проворные у вас пальчики, – сказала Флора. – Но верно ли вы совсем здоровы?

– Совершенно здорова, уверяю вас!

Флора поставила ноги на каминную решетку, поуютнее устроилась в кресле, готовясь к долгим и обстоятельным излияниям, – и понеслась во весь карьер. Не довольствуясь словами, она то выразительно качала головой, то выпускала красноречивейшие вздохи, усиленно действуя при этом бровями, и лишь изредка поглядывала на кроткое лицо, склонявшееся над работой по другую сторону стола.

– Начну с того, моя душенька, – говорила Флора, – что я, впрочем, вам это обстоятельство должно быть известно, во-первых, я о нем уже вскользь упоминала, а во-вторых, я чувствую, что это написано у меня на лбу огненными не буквами, а как-то иначе, не помню, словом, еще до моего знакомства с мистером Ф. я была невестой Артура Кленнэма – мистер Кленнэм, это на людях, в угоду условности, но здесь он для меня Артур – мы души не чаяли друг в друге, это была весна нашей жизни, это было блаженство, это был экстаз, ну и все такое прочее, так вот, когда нас вынудили расстаться, мы оба окаменели, и в этом виде Артур уехал в Китай, а я вышла за покойного мистера Ф., который, таким образом, получил в жены статую.

Последние слова Флора произнесла глухим низким голосом, видимо испытывая от всего этого необыкновенное удовольствие.

– Не берусь описать переживания того утра, – продолжала она, – когда я чувствовала, что окончательно превратилась в мрамор, а тетушка мистера Ф. ехала за нами в наемной карете, но это видно была какая-то развалюшка, иначе разве она сломалась бы за две улицы от дома, так что тетушку мистера Ф. пришлось нести в плетеном кресле, точно чучело Гая Фокса в день пятого ноября, но скажу только, что унылая церемония завтрака состоялась внизу, в столовой, что папаша переел маринованной лососины и потом целый месяц маялся животом и что мы с мистером Ф. отправились в свадебное путешествие за границу, в Кале,⁶³ где на пристани комиссионеры вступили из-за нас в драку и

узника, имевшего поразительное сходство с дофином, была надета железная маска.

⁶² ...мальчик из Спарты, которого грызла лисица... – В древнегреческой легенде рассказывается о мальчике из города Спарты, который украл лисицу и спрятал ее под свою одежду. Хотя лисица грызла его внутренности, мальчик ни разу не простонал, не выдал себя и не признался в похищении.

⁶³ Кале – французский порт в проливе Па-де-Кале. На противоположной стороне пролива расположен английский порт

даже разлучили нас, но только временно, вечная разлука еще была впереди.

Вдовствующая статуя торопливо перевела дух и затараторила дальше, не слишком заботясь о связности своего рассказа, что, впрочем, бывает и с существами из плоти и крови.

– Опустим завесу над этими неделями, они прошли как во сне, мистер Ф. был в отличном расположении духа, аппетит у него был отменный, французская кухня ему нравилась, вино он находил слабоватым, но недурным на вкус, и мы вернулись в Лондон и поселились на Литл-Гослинг-стрит, дом номер тридцать, по соседству с Лондонскими доками, и мы сразу догадались, что служанка ворует пух из запасной перины и продает, но не успели ее уличить, потому что тут у мистера Ф. случился сильный приступ подагры и он вознесся в лучший мир.

Взглянув на портрет джентльмена, которого постигла эта прискорбная участь, Флора покачала головой и вытерла глаза.

– Я чту память мистера Ф., как достойного человека и заботливейшего мужа, только скажешь слово «спаржа» – и, пожалуйста, уже спаржа на столе, или намекаешь, что, дескать, приятно бы отведать чего-нибудь тонкого, изысканного и, пожалуйста, целая пинта, словно по волшебству, конечно, тут не было блаженства, но было благополучие, и я вернулась к папаше в дом, и жила там тихо и спокойно несколько лет, и вдруг однажды папаша вваливается ко мне, как ни в чем не бывало, и говорит, что внизу сидит Артур Кленнэм и дожидается меня, и я сошла вниз, и не спрашивайте, что я почувствовала, когда увидела, что он все такой же, и узнала, что он не женат.

Непроницаемая таинственность, которой Флора сочла нужным облечь свои чувства, заставила бы дрогнуть любые пальцы, но не те, что проворно водили иголкой по ту сторону стола. Все так же ровно клали они стежок за стежком, и все так же внимательно склонялась над ними аккуратной причесанная головка.

– Не спрашивайте меня, – сказала Флора, – люблю ли я, и любима ли по-прежнему, и чем все это может кончиться и когда, за нами следят со всех сторон и, быть может, нам суждено истаять в тоске друг о друге, так и не соединившись, нам нельзя себя выдать ни словом, ни взглядом, ни движеньем, мы должны быть немые, как могила, поэтому не удивляйтесь, если вам покажется иногда, что я холодна с Артуром, или Артур со мной, к тому есть роковые причины, но мы друг друга понимаем и этого довольно, тсс!

Флора с таким неистовым пылом произнесла эти слова, как будто в самом деле верила тому, что говорила. Впрочем, она не притворялась; роль сирены настолько увлекала ее, что, войдя в эту роль, она уже не отличала правды от вымысла.

– Тсс! – повторила Флора. – Теперь вы знаете все, между нами нет больше тайн, но тсс! никому ни слова, полните, милое мое дитя, ради Артура я всегда готова быть вам другом, и, памятуя об Артуре, вы всегда можете на меня рассчитывать.

Проворные пальчики отложили работу, маленькая фигурка поднялась со своего места, и холодные губы прикоснулись к руке Флоры.

– Да вы совсем озябли! – воскликнула Флора, сразу превратившись из сирены в обыкновенную добрую женщину и значительно выиграв от такого превращения. – Не работайте сегодня, вы и впрямь нездоровы, у вас и впрямь сил нет.

– Нет, нет, я просто немного взволнована вашей добротой и добротой мистера Кленнэма, хлопотавшего за меня перед той, кого он так давно знает и любит.

– Видите ли, душенька, – сказала Флора, которую природная склонность побуждала все же отдавать предпочтение правде, когда было время подумать, – не стоит, пожалуй, сейчас говорить об этом, в конце концов ни за что нельзя поручиться, но это не так уж важно, вы лучше прилягте и отдохните.

– Если я положила себе сделать что-то, у меня всегда достанет сил довести дело до конца, – возразила Крошка Доррит со слабой улыбкой. – Я сейчас оправлюсь. Просто сердце у меня слишком переполнилось благодарностью. Позвольте мне посидеть минутку у окна, и все пройдет.

Флора тотчас же распахнула окно и усадила ее в кресло перед ним, а сама деликатно удалилась на прежнее место у камина. День был ветреный, и свежий воздух, облевавший лицо Крошки Доррит,

Дувр.

быстро привел ее в себя. Спустя несколько минут она вернулась к своей работе, и ее проворные пальцы задвигались еще проворнее прежнего.

Спокойно продолжая подрубать платок, она спросила Флору, говорил ли ей мистер Кленнэм о том, где живет рекомендуемая им швея? Получив отрицательный ответ, Крошка Доррит сказала, что ей понятна деликатность мистера Кленнэма, но что он, верно, отнесся бы одобрительно к ее решению доверить Флоре свою тайну, а потому с позволения Флоры она сейчас же это и сделает. Позволение было дано незамедлительно, и за этим последовал рассказ, в котором истории самой Крошки Доррит уделено было лишь несколько скупых слов, все же остальное представляло собой пространный и пламенный панегирик ее отцу. Флора слушала все это с непритворным участием, время от времени вставляя сочувственные замечания, ничуть не похожие на ее обычную бессвязную болтовню.

Когда настало время обеда, Флора взяла под руку свою новую подопечную, повела ее вниз и представила Патриарху и мистеру Панксу, которые уже сидели в полной готовности за столом. (Тетушка мистера Ф. по нездоровью обедала на этот раз в своей комнате.) Каждый из упомянутых джентльменов встретил новую знакомую по-своему: Патриарх взглянул на нее так, словно оказывал ей неопределимую услугу, и сказал, что рад ее видеть, рад ее видеть; а мистер Панкс в виде приветствия произвел носом свой излюбленный звук.

Застенчивая от природы, Крошка Доррит всегда испытывала неловкость в обществе чужих людей, а тут еще Флора не давала ей опомниться, настойчиво потчует то вином, то каким-нибудь особенно лакомым блюдом. Но больше всего смущал ее своим поведением мистер Панкс. Она сперва решила было, что этот джентльмен – живописец-портретист, и для того так пристально рассматривает ее, поминутно заглядывая в записную книжку, лежащую рядом с его прибором. Но так как он ничего не рисовал, а беседу вел исключительно делового свойства, она мало-помалу пришла к мысли, что это, может быть, поверенный одного из кредиторов ее отца и в его карманном грессбухе представлена сумма долгов. И сразу же ей показалось, будто сопенье мистера Панкса выражает нетерпение и гнев, а громкое фырканье – требование уплаты.

Однако и эта догадка была опровергнута странными и необъяснимыми действиями самого мистера Панкса. Прошло с полчаса с тех пор, как встали из-за стола, Крошка Доррит одна сидела в гостиной за работой. Флора после обеда удалилась «отдохнуть» в соседнюю комнату, откуда минуту спустя разнесся на весь дом запах спиртного. Патриарх мирно спал в столовой, разинув рот и прикрыв желтым носовым платком свою человеколюбивую лысину. В этот-то час тишины и покоя возник на пороге гостиной мистер Панкс и учтиво поклонился Крошке Доррит.

– Скучаете, мисс Доррит? – осведомился он вполголоса.

– Нет, сэр, благодарю вас, – ответила Крошка Доррит.

– Ага, работа не дает скучать, – заметил Панкс, на цыпочках прокрадываясь в комнату. – А это что же такое будет, мисс Доррит?

– Носовые платки.

– Да ну? Вот никогда бы не подумал, – сказал Панкс, совершенно не глядя на платки, но зато в упор глядя на Крошку Доррит. – Вам, должно быть, любопытно, кто я такой. Хотите, скажу? Я предсказатель будущего.

У Крошки Доррит мелькнуло в голове: уж не помешанный ли он?

– Я телом и душой принадлежу хозяину, – сказал Панкс. – Моего хозяина вы видели за обедом. Но случается мне заниматься кой-чем и на собственный страх и риск, – негласно, мисс Доррит, совершенно негласно.

Крошка Доррит смотрела на него растерянно и с некоторой опаской.

– Дайте-ка мне взглянуть на вашу руку. – сказал Панкс. – Интересно, что я там увижу. Надеюсь, я не мешаю вам?

Он очень мешал ей, настолько мешал, что она от души желала бы избавиться от его присутствия, но тем не менее она послушно отложила работу и подала ему левую руку, не сняв наперстка с пальца.

– Так, долгие годы труда, – сказал почти шепотом Панкс, водя толстым пальцем по ее ладони. – А впрочем, для того мы и созданы, чтобы трудиться. Для чего же еще? Э-э... погодите! – Он пристально взгляделся в какую-то линию. – Что это тут такое, с решетками? Да это тюрьма! А кто вот это, в сером халате и черной бархатной ермолке? Чей-то отец! А это кто, с кларнетом под мышкой? Чей-

то дядя! А вот это, в балетных туфельках? Чья-то сестра! А это что за молодчик, слоняющийся туда-сюда? Чей-то брат! А кто же вот это, за всех за них думающий и печалующийся? Ба, да это вы, мисс Доррит!

Ее изумленный взгляд встретился с его взглядом, и она вдруг нашла, что в этих острых сверлящих глазах светится гораздо больше ума и доброты, нежели ей показалось за обедом. Но он тотчас же снова склонился над ее рукой, не дав ей времени убедиться в правильности своего впечатления.

– Вот тебе и раз! – пробормотал Панкс, очеркивая корявым пальцем какую-то линию у нее на ладони. – Разрази меня бог, если это не я своей собственной персоной, вот тут, в уголке! С какой бы стати мне сюда затесаться? Что за этим кроется?

Он медленно довел палец до запястья, потом обвел запястье кругом и при этом повернул ее руку, как будто хотел посмотреть, что же за этим кроется.

– Что-нибудь дурное? – спросила Крошка Доррит, улыбаясь.

– Все нет, разрази меня бог, – сказал Панкс. – Но как вы думаете, что?

– Об этом мне следовало бы спросить у вас. Я ведь не умею предсказывать будущее.

– Верно, – согласился Панкс. – Так вы хотите знать – что? Придет время, узнаете, мисс Доррит.

Медленно, как бы нехотя, выпустив ее руку, он всклокочил пальцами свои вихры, отчего они приняли особенно зловещий вид, и повторил с расстановкой:

– Запомните мои слова, мисс Доррит. Придет время, и вы узнаете.

Она не могла скрыть своего удивления по поводу того, что ему вообще так много о ней известно.

– А, ну вот, конечно! – воскликнул Панкс, указывая на нее пальцем. – Вот этого-то как раз и не надо, мисс Доррит! никогда не надо!

Еще более удивленная и, пожалуй, даже испуганная, она смотрела на него, ожидая объяснения.

– Не надо вот этого, – сказал Панкс и, подражая ей, скорчил гримасу удивления, которая вышла у него необыкновенно смешной, хоть он вовсе не собирался шутить. – Никогда не надо. Где бы вы меня ни увидели, при каких бы обстоятельствах вы меня ни увидели. Я – никто. Не замечайте меня. Не упоминайте обо мне. Не обращайтесь на меня внимания. Обещаете, мисс Доррит?

– Я, право, не знаю, что ответить, – сказала Крошка Доррит, окончательно сбита с толку. – Но почему?

– Потому что я – предсказатель будущего, Панкс-цыган. Я ведь вам еще ничего не сказал о будущем, мисс Доррит, вы еще не знаете, что там дальше видно, на этой маленькой ручке. Но я сказал: узнаете в свое время. Так обещаете, мисс Доррит?

– Я должна обещать – что – что я...

– Что где бы вы меня ни встретили, помимо этого дома, вы не подадите виду, что знаете меня, если только я сам не заговорю с вами. Что вы не будете замечать, пришел я или ушел. Это легче легкого. Да и потеря невелика, я не хорош собой, я не приятный собеседник, я всего лишь хозяйская мотыга. Вам довольно будет подумать при виде меня: «А, вот Панкс-цыган, предсказатель будущего – когда-нибудь он мне скажет то, чего не досказал – придет время и я все узнаю». Ну, мисс Доррит, обещаете?

– Д-да, – с запинкой вымолвила Крошка Доррит, которую сильно смутил этот разговор. – Я надеюсь, что у вас нет на уме ничего дурного.

– Отлично! – Мистер Панкс бросил взгляд на стену соседней комнаты и наклонился к уху Крошки Доррит. – Добрая душа, женщина достойная во многих отношениях, но сумасбродка и болтунья, мисс Доррит. – Он потер руки, видимо довольный результатами беседы, и с пыхтением выкатился из комнаты, несколько раз учтиво кивнув на ходу головой.

Загадочные речи нового знакомого и странный сговор, участницей которого она вдруг оказалась, оставили Крошку Доррит в полном недоумении, и все что последовало затем не только не помогло ей это недоумение рассеять, но скорей, напротив, усугубило его. Мало того, что в доме мистера Кэсби мистер Панкс никогда не упускал случая бросить на нее многозначительный взгляд или издать столь же многозначительное фырканье – это в конце концов были совершенные пустяки по сравнению с прежним, – но постепенно он заполнил всю ее жизнь. Дня не проходило, чтобы он не попался ей навстречу на улице. Когда она работала у мистера Кэсби, он уж непременно вертелся близ нее. Когда она работала у миссис Кленнэм, он всегда находил предлог явиться и туда, как бы для то-

го, чтобы не потерять ее из виду. Спустя какую-нибудь неделю после их первой встречи она, к великому своему удивлению, застала его однажды вечером в караульне, где он запросто, по-приятельски беседовал с дежурным сторожем. А дальше посыпались еще более неожиданные сюрпризы: то она видела, как он под ручку с одним из арестантов прогуливается по тюремному двору, успев уже сделать в тюрьме своим человеком; то узнавала, что он побывал на воскресном приеме у ее отца; то до нее доходила молва о его успехах в высшем тюремном обществе, собиравшемся по вечерам в кофейне, где он произнес речь, спел застольную песню и выставил всем присутствующим угощение – пять галлонов элю (а если верить шальному слуху, так еще и бочонок креветок).

Все эти события сами по себе поразили Крошку Доррит, но лишь немногим меньше поразило ее впечатление, произведенное на мистера Плорниша теми из них, которым он оказался свидетелем. Он был потрясен, оглушен, ошарашен. Он только таращил глаза от изумления, да время от времени растерянно бормотал, что у них в Подворье ни в жизнь бы этакому про Панкса не поверили; но ничего больше не мог прибавить, даже обращаясь к Крошке Доррит. В довершение чудес мистер Панкс ухитрился где-то познакомиться с Типом, и в одно прекрасное воскресенье явился в Маршалси рука об руку с упомянутым джентльменом. Крошку Доррит он при этом словно бы и не замечал, и лишь раз или два улучил минуту, когда поблизости никого не было, чтобы дружелюбно подмигнуть ей и шепнуть, ободряюще засопев носом: «Панкс-цыган, предсказатель будущего!»

Крошка Доррит по-прежнему трудилась и хлопотала изо дня в день, дивясь тому, что видела, но ни с кем не делила своего удивления, как с малых лет привыкла ни с кем не делить и более тяжелое бремя. Но в ее терпеливой душе творилась какая-то перемена. С каждым днем она все больше замыкалась в себе. Незаметно выскользнуть из тюрьмы поутру и так же незаметно воротиться вечером, как можно меньше привлекать к себе внимания где бы то ни было – вот к чему она теперь больше всего стремилась.

Она была рада, если могла, не в ущерб долгу, лишний раз уединиться в своей комнате – жалкой каморке, так не гармонировавшей с ее хрупкой юностью и нежным сердцем. Случалось иной раз, когда у нее не было работы в городе, кто-нибудь заходил в сумерки сыграть с ее отцом партию-другую в карты; он тогда мог обойтись без нее, и, пожалуй, даже ее присутствие стесняло бы игроков. Она торопливо перебежала двор, взбиралась по бесконечной лестнице к себе в комнату и усаживалась у окна. Менялись очертания зубцов над стеной, менялся легкий узор, в который причудливая игра теней заплетала тяжелые железные брусья, менялись оттенки ржавчины, позолоченной закатными лучами, а Крошка Доррит все сидела и думала. Порой слезы застилали ей глаза, и тогда в угрюмом переплете решетки возникали новые изломы; но прикрашенная ли светом, или еще более мрачная в сумеречной мгле, эта решетка всегда была у нее перед глазами, и все, на что она любила смотреть в часы одиночества, представало перед ней с неизгладимым клеймом.

Чердак, самый настоящий чердак, да еще тюремный, вот что такое была комната Крошки Доррит. Опрятность и свежий воздух не могли скрасить безобразие этой комнаты, других же украшений в ней не было, так как всякая вещь, которую Крошке Доррит удавалось купить, шла в комнату ее отца. И тем не менее с некоторых пор она так пристрастилась к этому убогому пристанищу, что не желала лучшего отдыха, нежели сидеть там одной.

Потому-то, когда в один из таких вечеров, сидя у окошка (это было в самый разгар Панксовых чудес), она Заслышала на лестнице знакомые шаги Мэгги, ей даже стало страшно от мысли, что та послана за ней. По мере того как шаги приближались, сердце у Крошки Доррит билось все сильнее, а щеки становились все бледнее, и когда Мэгги, наконец, очутилась в комнате, она едва нашла в себе силы ответить на ее слова.

– Пожалуйста, маменька, – сказала Мэгги, с трудом переводя дух, – идите туда. Он там и ждет вас.

– Кто, Мэгги?

– Да мистер Кленнэм – кто же еще? Он там, у вашего отца, и он меня попросил: «Сходи, говори, Мэгги, будь добра, и просто скажи, что я здесь».

– Я не вполне здорова, Мэгги. Лучше мне не ходить. У меня голова болит, и я сейчас лягу. Видишь, я ложусь! Ты извинись за меня и скажи, что я уже легла и потому не могу прийти.

– Что же вы от меня отвернулись, маменька? – выпучив глаза, сказала Мэгги. – Разве ж это вежливо?

Мэгги была весьма чувствительна к личным обидам, и весьма изобретательна по части их измышления. – Вот, а теперь еще и лицо руками закрыли! – пожаловалась она. – Если вам неприятно смотреть на бедную сиротку, лучше так бы и сказали, чем прятаться от нее за своими ладонями, а то ведь она тоже чувства имеет, и сердце у нее не каменное, хоть ей, бедненькой, всего десять лет.

– Это чтобы голове стало легче, Мэгги.

– А если вы собираетесь заплакать, чтобы голове стало легче, маменька, так и я тоже поплачу с вами. А то что же, все слезы только вам да вам, – укоризненно заметила Мэгги. – Нельзя быть такой жадной. – И она немедленно в голос заревела.

Нелегко было уговорить ее, чтобы она отправилась передать извинение. Пришлось Крошке Доррит пообещать рассказать ей сказку (сказки Мэгги издавна любила без памяти) при условии, если она исправно выполнит поручение и еще на часок оставит свою маленькую покровительницу одну; эта приятная перспектива в совокупности с надеждой найти под лестницей свое хорошее настроение, будто бы оброненное по дороге, наконец, убедили Мэгги. Она удалилась, твердя себе под нос слова, которые ей поручено было передать гостю и точно в назначенное время снова была на месте.

– Он очень расстроился, так и знайте, – объявила она, – и даже хотел послать за доктором. И завтра он опять придет, да, а сегодня, наверно, всю ночь спать не будет из-за вашей головы, маменька. Ай, что это? Вы все-таки плакали?

– Совсем немножко, Мэгги.

– Немножко! Вот так немножко!

– Но теперь уже все прошло – право, прошло, Мэгги. И голова уже не болит и не горит, как раньше, и вообще мне гораздо лучше. Очень хорошо, что я не пошла никуда.

Большое пучеглазое дитя нежно обняло свою маленькую маменьку, смеясь от радости, что видит ее повеселевшей; неуклюжие руки с неожиданной ловкостью пригладили ее растрепавшиеся волосы, смочили глаза и лоб холодной водой, снова сжали ее в объятиях и, наконец, усадили на прежнее место у окошка. Туда же, к окошку, Мэгги с невероятными усилиями, совершенно впрочем излишними, подтащила деревянный сундучок, на котором привыкла сидеть в подобных случаях, уселась, обхватила руками колени и, пожирая Крошку Доррит совсем круглыми от нетерпения глазами, сказала:

– Ну, теперь сказку, маменька, только интересную.

– Какую же тебе рассказать сказку, Мэгги?

– Про принцессу, – сказала Мэгги, – но чтобы про настоящую принцессу. Каких на самом деле не бывает.

Крошка Доррит на минуту задумалась; потом немного грустная улыбка появилась на ее лице, порозовевшем в лучах заката, и она начала:

– Жил-был когда-то славный король, и у него было все, чего только может пожелать душа, и даже еще больше. Было у него золото и серебро, алмазы и рубины, и много-много других сокровищ. Были дворцы, были...

– Больницы, – вставила Мэгги, еще крепче обнимая свои колени. – Пускай у него будут больницы, там ведь так хорошо. Больницы, где дают курятину.

– Да, и больницы тоже были, все было.

– И печеная картошка была, да? – спросила Мэгги.

– Сколько угодно.

– Батюшки! – ахнула Мэгги и прижала колени к груди. – Подумать только!

– И была у этого короля дочь, самая умная и самая красивая принцесса на свете. Когда она была маленькой, то всегда знала свои уроки наперед, до того, как учителя объяснят их, а когда подросла, то все дивились на нее, как на чудо. А неподалеку от дворца стояла хижина, и в этой хижине, одна-одинешенька, жила бедная женщина, маленькая-маленькая, совсем крошечная.

– Старушка, – вставила Мэгги, причмокнув губами от удовольствия.

– Нет, не старушка. Напротив, молоденькая.

– Как же это она не боялась жить одна, – сказала Мэгги. – Ну, рассказывайте, рассказывайте.

– Каждый день принцесса проезжала мимо хижины в своей золотой карете, и когда бы она ни проехала, маленькая женщина всегда сидела за пряткой у окна и глядела на принцессу, а принцесса глядела на нее. И вот однажды принцесса приказала кучеру остановить лошадей, вышла из кареты и

подошла и заглянула в дверь хижины. Маленькая женщина и на этот раз сидела за прялкой и глядела на принцессу, а принцесса глядела на нее.

– Это как в игре: кто кого переглядит, – вставила Мэгги. – Дальше, маменька, дальше.

– Принцесса обладала волшебным даром: она знала все тайны и секреты, и вот она сказала маленькой женщине: «Зачем ты ее тут прячешь?» Тогда маленькая женщина поняла, что принцессе известно, почему она живет в хижине совсем одна со своей прялкой, и она бросилась перед принцессой на колени, умоляя не выдавать ее. Принцесса сказала на это: «Я тебя никогда не выдам. Но ты мне ее покажи». Тогда маленькая женщина, вся дрожа от страха, как бы кто не застал ее врасплох, затворила все ставни, заперла все засовы, открыла тайник и показала принцессе – тень.

– Батюшки! – сказала Мэгги.

– Это была тень Кого-то, кто однажды прошел мимо хижины, но давным-давно скрылся в далеких краях, навсегда и без возврата. Тень была прекрасна, и маленькая женщина показывала ее принцессе с такой гордостью, точно это было дивное, бесценное сокровище. Принцесса посмотрела на тень и спросила: «Так ты и стережешь ее день и ночь?» Маленькая женщина опустила глаза и прошептала: «Да». Тогда принцесса сказала: «Почему ты так дорожишь этой тенью, напомни мне». И маленькая женщина ответила: «Потому что среди проходивших когда-либо по этой дороге не было никого лучше и добрее; с этого началось». И еще она сказала, что никому нет вреда или обиды от того, что она хранит эту тень; ведь Кого-то уже нет здесь, он давно вернулся к ожидавшим его...

– Так этот Кто-то – мужчина? – спросила Мэгги.

Крошка Доррит смущенно сказала: «Да, кажется», – и продолжала рассказывать:

– ...вернулся к ожидавшим его, а воспоминание принадлежит тому, кто это воспоминание хранит, оно ни у кого не украдено и не отнято. На это принцесса сказала: «Да, но когда-нибудь ты умрешь, и после твоей смерти его найдут здесь». Но маленькая женщина ответила, что, когда наступит ее час, оно сойдет в могилу вместе с нею, и никто его не найдет.

– Понятное дело, – сказала Мэгги. – Ну, рассказывайте дальше.

– Ты, верно, догадываешься, Мэгги, что принцесса, услышав это, очень удивилась.

– Еще бы ей не удивиться, – сказала Мэгги.

– Вот она и решила наблюдать за маленькой женщиной, чтобы узнать, чем все это кончится. Каждый день она проезжала мимо хижины в своей золотой карете и всегда маленькая женщина сидела за прялкой одна-одинешенька и глядела на нее, а она глядела на маленькую женщину. Но вот однажды принцесса увидела, что колесо у прялки больше не вертится, а маленькой женщины нигде нет. Она послала своих слуг узнать, отчего не вертится колесо и куда девалась маленькая женщина, и слуги, воротясь, доложили ей: оттого не вертится колесо, что некому больше вертеть его – маленькая женщина умерла.



– Надо было свезти ее в больницу, – сказала Мэгги, – там бы она выздоровела.

– Принцесса всплакнула немножко, самую чуточку, потом вытерла глаза, вышла из кареты на том самом месте, где выходила прошлый раз, и подошла к двери. Теперь уже некому было глядеть на нее, и ей не на кого уже было глядеть, поэтому она вошла в хижину и принялась искать тень. Но сколько она ни искала, так и не нашла ничего; и тогда она поняла, что маленькая женщина говорила правду. Ее воспоминание не грозило смутить ничей покой, оно вместе с нею сошло в могилу, и вместе с нею спит там теперь вечным сном. Вот и вся сказка, Мэгги.

Последние лучи солнца ударили, видно, прямо в глаза Крошки Доррит, так что ей даже пришлось закрыться от них рукой.

– А она была уже старая? – спросила Мэгги.

– Кто – маленькая женщина?

– Угу.

– Не знаю, – ответила Крошка Доррит. – Но даже если бы она была совсем дряхлой старушкой, от этого ничего не изменилось бы.

– Ну, все-таки, – сказала Мэгги. – Хотя, может, и вправду не изменилось бы. – И задумалась, уставясь куда-то в пустоту.

Она так долго сидела неподвижно, с застывшим взглядом, что в конце концов Крошка Доррит, желая вывести ее из оцепенения, встала и выглянула в окошко. По двору в эту минуту проходил Панкс; он поднял голову и подмигнул ей уголком глаза.

– Это кто такой, маменька? – спросила Мэгги, которая уже успела подойти и стояла рядом, опираясь на плечо Крошки Доррит. – Я часто его тут встречаю.

– Говорят, он угадывает будущее, – сказала Крошка Доррит. – Но сомневаюсь, часто ли ему удается угадать даже прошлое или настоящее.

– А прошлое или настоящее принцессы он бы мог угадать? – спросила Мэгги.

Крошка Доррит, задумчиво глядя в темнеющий провал двора, покачала головой.

– А крошечной женщины? – спросила Мэгги.

– Нет, – сказала Крошка Доррит, и лицо ее ярко запылало в лучах заката. – Пойдем, довольно нам стоять у окна.

Глава XXV
Заговорщики и прочие

Местом личного жительства мистера Панкса был Пентонвилл, где он нанимал квартиру в третьем этаже у одного джентльмена, причастного к юридической профессии, но занимавшегося делами не слишком крупного масштаба; в контору этого джентльмена вела дверь, расположенная позади парадной двери и снабженная пружиной, отчего она, отворяясь, хлопала точно дверца капкана; а на фрамуге парадной двери было выведено: Рэгг, ходатай по делам. Поверка счетных книг и взыскание долгов.

Скрижаль, на которой была начертана эта надпись, величественная в своей суровой простоте, осеняла палисадник, отделявший дом от проезжей дороги, крохотный клочок пересохшего грунта, где два-три деревца чахли в придорожной пыли, уныло склоняя долу почти серые листья. Учитель каллиграфии, занимавший второй этаж, украсил ограду палисадника вставленными в рамки под стекло образцами почерка своих учеников до и после шестимесячного курса обучения. (Для большей наглядности в первом случае все младшее поколение учительского семейства дружно трясло стол, а во втором решительно изгонялось из комнаты.) Квартира мистера Панкса состояла из одной просторной комнаты, причем в условиях было предусмотрено право квартиранта в воскресные дни получать у квартирохозяина завтрак, обед, чай и (или) ужин, по заранее разработанному подробному прейскуранту и с обязательством своевременного предупреждения; для осуществления какового права мистер Панкс должен был в соответствующие часы являться к столу, за которым принимали пищу мистер Рэгг и мисс Рэгг (дочь последнего).

Мисс Рэгг была обладательницей небольшого состояния, которое приобрела вместе с почетом в округе благодаря глубокой сердечной ране, нанесенной ей пожилым булочником, проживавшим здесь же по соседству, и при посредстве мистера Рэгга привлеченным ею к суду за нарушение обещания жениться. Булочник, на которого адвокат мисс Рэгг обрушил целую лавину обличительного красноречия общей стоимостью в двадцать гиней (из расчета примерно по полтора шиллинга за эпитет) и которому пришлось уплатить сполна все, что с него требовали, до сих пор подвергался травле со стороны пентонвиллских мальчишек. Зато мисс Рэгг, охраняемая могуществом закона, получив чистогоном за причиненный ей моральный ущерб и поместив полученное в государственные ценные бумаги, пользовалась всеобщим уважением.

В обществе мистера Рэгга, чья круглая физиономия, такая белая, словно она давно уже потеряла способность краснеть, была увенчана всклокоченной желтой шевелюрой, напоминавшей облезлую швабру, и в обществе мисс Рэгг, у которой все лицо было в больших палевых веснушках, а волосы висели жидкими косицами того же соломенного цвета, что и у ее родителя, мистер Панкс уже несколько лет обедал почти каждое воскресенье, а кроме того, еще иной раз и на неделе пропускал вечером стакан-другой портеру, закусывая хлебом и голландским сыром. Мистер Панкс был одним из немногих холостяков, не испытывавших страха перед мисс Рэгг; он успокаивал себя двумя соображениями: во-первых, что «второй раз номер не пройдет», и во-вторых, что он «невелика добыча». Защищенный этой двойной броней мистер Панкс пофыркивал на мисс Рэгг вполне беспечно.

До недавнего времени мистер Панкс только спал на своей пентонвиллской квартире и никакими другими делами не занимался; но, став предсказателем будущего, он теперь часто до глубокой ночи просиживал запершись с мистером Рэггом в его тесной конторе, а потом еще долго жег свечу у себя в комнате. Хотя его обязанности хозяйской мотыги отнюдь не уменьшились – а если их можно было уподобить ложу из роз, то разве только по количеству шипов, – у него, видно, завелась какая-то новая забота, непрестанно требовавшая его внимания. Освободившись вечером от Патриарха, он тотчас же брал на буксир другое, неведомое судно, и пускался в плавание по новым водам.

От знакомства с мистером Чивери-старшим до знакомства с его дражайшей половиной и безутешным наследником оставался один только шаг; и был ли этот шаг коротким или длинным, но мистер Панкс не замедлил его сделать. Полмесяца не прошло со дня его первого посещения Маршалси, как он уже прочно внедрился в табачную лавочку и особые усилия направил на то, чтобы покороче сойтись с Юным Джоном. Дело пошло так успешно, что вскоре под неотразимым влиянием мистера Панкса сей тоскующий пастушок стал все чаще покидать свою мокрую Аркадию, и порой даже исче-

зал на два-три дня, исполняя какие-то поручения нового знакомого. Мудрая миссис Чивери, весьма удивленная такой метаморфозой, быть может, и воспротивилась бы, ввиду возможного ущерба для коммерции деревянного шотландца с вывески, если бы не два существенных обстоятельства: во-первых, ее Джон был явно заинтересован делом, по которому ему приходилось отлучаться – а это она считала полезным для поднятия его духа; а во-вторых, мистер Панкс уговорился с нею, что будет платить за каждую отлучку ее сына из вполне божеского расчета семь с половиной шиллингов в день. Предложение это исходило от самого Панкса и было высказано в краткой, но убедительной форме: «Может, ваш сын по недомыслию и не взял бы денег, сударыня, но у вас-то такой причины нет! Дело есть дело, сударыня, а потому берите и пусть это останется между нами».

Знал ли обо всем этом мистер Чивери и что он думал по этому поводу, неизвестно. Выше уже упоминалось, что человек он был не слишком разговорчивый; сейчас к этому можно добавить, что по роду его занятий у него выработалась привычка держать все на запоре. Собственные мысли он запирает столь же тщательно, как неисправных должников в Маршалси. Даже во время еды он с такой поспешностью отправлял в рот куски, словно и их хотел запереть поскорее; а уж во всех остальных случаях предпочитал держать рот, как и ворота тюрьмы, закрытым. Без крайней надобности он его не раскрывал никогда. Если уж непременно требовалось пропустить что-то наружу, он приоткрывал один уголок, ровно настолько, сколько было необходимо, и тотчас же снова закрывал. И так же как на дежурстве в тюрьме он экономил свой труд и заставлял уходящего посетителя дожидаться, если видел, что подходит другой, чтобы одним поворотом ключа разделаться с обоими, – точно так же он иной раз медлил высказать какое-нибудь замечание, если чувствовал, что на язык просится еще одно, и уж отпускал оба сразу. Пытаться же по выражению его лица найти ключ к его мыслям было бы все равно, что на тюремном ключе надеяться прочесть историю каждого из тех, за кем он запирает ворота.

В анналах Пентонвилла еще не значилось случая, когда бы мистер Панкс пригласил кого-нибудь к себе обедать. Однако Юного Джона он пригласил и даже рискнул подвергнуть его опасным (для кармана) чарам мисс Рэгг. Пиршество было назначено на воскресенье, и ради такого события мисс Рэгг собственноручно фаршировала устрицами баранью ногу и послала ее запечь к булочнику – не к тому булочнику, а к его конкуренту. Был также сделан запас апельсин, яблок, орехов. А в субботу вечером мистер Панкс принес домой бутылку рому, на предмет придания гостю бодрости.

Но не плотские утехы составляли главную часть программы гостеприимства. Гвоздем ее был заранее обдуманная дух теплого, почти родственного сочувствия гостю. Когда Юный Джон ровно в половине второго явился в Пентонвилл – без тросточки с набалдашником слоновой кости, без жилета в золотистых разводах, точно солнце, сияние которого скрыли хмурые облака ненастья, – Панкс представил его желтоволосым Рэггам, пояснив, что это и есть молодой человек, влюбленный в мисс Доррит.

– Весьма рад, сэр, – сказал мистер Рэгг, сразу направляя удар в уязвимое место, – весьма рад, что мне выпал случай совершить столь ценное и приятное знакомство. Ваши чувства делают вам честь, сэр. Вы молоды; дай бог, чтобы вам не пришлось пережить свои чувства. Если мне суждено пережить мои чувства, сэр, – продолжал мистер Рэгг, который, в отличие от мистера Чивери, не скупился на слова и слыл за человека, наделенного незаурядным даром красноречия, – если мне суждено пережить мои чувства, я готов завещать пятьдесят фунтов тому, кто прекратит мое унылое существование.

Мисс Рэгг испустила громкий вздох.

– Моя дочь, сэр, – сказал мистер Рэгг. – Анастасия, тебе должны быть понятны чувства этого молодого человека. Моей дочери тоже достались в удел немалые страдания, сэр (мистер Рэгг мог бы прибавить, что, кроме страданий, ей досталось еще кое-что); никто не поймет вас лучше нее.

Юный Джон, потрясенный сердечностью оказанного ему приема, что-то такое пролепетал в этом смысле.

– Что мне внушает зависть, сэр, – продолжал мистер Рэгг, – позвольте ваш цилиндр; у нас мала вешалка, но я поставлю его в уголок, там на него никто не наступит, – что мне внушает зависть, сэр, это свобода ваших чувств. Для лиц моей профессии такая свобода подчас является недоступной роскошью.

Юный Джон поблагодарил и заметил, что он лишь делает то, что, по его мнению, справедливо

и что доказывает его глубокую преданность мисс Доррит, и надеется преуспеть в этом. Он хотел бы действовать вполне бескорыстно, и надеется, что именно так и действует. Он хотел бы в меру своих сил послужить мисс Доррит, совершенно не думая о себе, и надеется, что это ему удастся. Он не может сделать много, но надеется сделать все, что он может.

– Сэр, – сказал мистер Рэгг, беря его за руку. – Не каждый день посчастливится встретить молодого человека, подобного вам. Если бы молодые люди, подобные вам, почаще появлялись бы на свидетельских местах в суде, это, несомненно, оказало бы облагораживающее влияние на лиц, прикосновенных к судебной процедуре. Надеюсь, вы не оставили дома свой аппетит и сумеете задать работы ножу и вилке?

– Благодарю вас, сэр, – отвечал Юный Джон, – но я последнее время не очень много ем.

Мистер Рэгг увлек его в сторонку.

– В точности, как моя дочь, сэр, – шепнул он. – Я мог бы присягнуть в случае надобности, что в ту пору, когда она, мстя за свои поруганные чувства и за оскорбление, нанесенное в ее лице всему женскому полу, сделалась истицей по делу Рэгг против Боукиса, количество поглощаемой ею твердой пищи не превышало десяти унций в неделю.

– Я, пожалуй, поглощаю несколько больше, сэр, – сказал Юный Джон нерешительно, словно ему стыдно было в этом признаться.

– Но ведь вы же не имеете дела с дьяволом в образе человеческом, – возразил мистер Рэгг, подкрепляя свои слова выразительным жестом и усмешкой. – Заметьте это, мистер Чивери! С дьяволом в образе человеческом!

– Разумеется, нет, сэр, – простодушно согласился Юный Джон. – И я очень рад этому.

– Зная вас, я не ожидал другого ответа, – сказал мистер Рэгг. – Если бы моя дочь слышала наш разговор, он бы глубоко взволновал ее. Но баранина только сейчас появилась на столе; из этого я заключаю, что она не могла его слышать – тем лучше. Мистер Панкс, на этот раз попрошу вас быть моим визави. А ты, душенька, садись напротив мистера Чивери. За дары, ниспосланные нам (и мисс Доррит), возблагодарим создателя!

Если б не лукавое подмигиванье, сопровождавшее эти торжественные слова, можно было бы вообразить, что Крошка Доррит была в числе приглашенных к обеду. Панкс ответил на остроту обычным фырканьем и принялся за еду с обычной энергией. Мисс Рэгг, по всей вероятности желая наверстать упущенное некогда, также уделила баранине должное внимание, и вскоре на блюде осталась одна кость. Хлебный пудинг исчез с не меньшей быстротой и подобным же образом был уничтожен солидный запас сыру и редиски. Затем наступила очередь десерта.

Вслед за десертом, еще до того, как была откупорена бутылка с ромом, на столе появилась записная книжка мистера Панкса. Этим открылась деловая часть программы, которая была краткой, но интригующей и напоминала заговор. Сперва мистер Панкс страничка за страничкой просматривал свою книжку, которая была уже почти вся заполнена, и тут же за столом делал из нее выписки на отдельных листках бумаги; мистер Рэгг, сидя напротив, сосредоточенно следил за всеми его действиями, а у Юного Джона тот глаз, что был больше другого, совсем расплылся в тумане размышлений. Окончив свои выписки, мистер Панкс, как нельзя лучше подходивший для роли главы заговорщиков, еще раз перечитал их, кое-что исправил, спрятал книжку в карман, а листки сложил веером, наподобие игральных карт, и взял в руку.

– Так вот, имеется кладбище в Бедфордшире, – сказал Панкс. – Кто возьмет?

– Я возьму, сэр, – откликнулся мистер Рэгг, – если больше нет желающих.

Мистер Панкс дал ему одну карту и посмотрел в оставшиеся у него на руках.

– Дальше имеется наведение справки в Йорке, – сказал он. – Кто возьмет?

– Что касается Йорка – я пас, – сказал мистер Рэгг.

– Тогда, может быть, вы согласитесь, Джон Чивери? – спросил Панкс, и, получив утвердительный ответ, дал карту Юному Джону, и снова заглянул в оставшиеся па руках.

– Приходская церковь в Лондоне. Это, пожалуй, я сам возьму. Семейная библия. Ну, и это тоже. Стало быть, за мной два. За мной два, – повторил Панкс, шумно переведя дух. – Клерк в Дургаме, это вам, Джон, и старый моряк в Дунстебле – вам, мистер Рэгг. Сколько там за мной, два? Да, за мной два. Вот еще надгробная плита, это будет три. И мертворожденный ребенок, это будет четыре. Вот пока и все.

Покончив, таким образом, с раздачей карт – причем все это делалось очень тихо и спокойно, – мистер Панкс, пыхтя, забрался во внутренний карман своего сюртука и вытащил оттуда холщовый мешочек, из которого бережно отсчитал деньги на дорожные расходы и разложил их на две кучки.

– Деньги просто тают под руками, – с тревогой заметил он, подвигая обе кучки к своим собеседникам. – Просто тают под руками.

– Могу сказать лишь одно, мистер Панкс, – ответил Юный Джон. – Я глубоко скорблю, что мои обстоятельства не позволяют мне ездить на собственный счет, а необходимость торопиться не позволяет проделывать весь путь пешком, хотя для меня не было бы большего счастья, чем шагать, пока я не свалюсь замертво, без всякой платы или вознаграждения.

Это проявление бескорыстия со стороны молодого человека до того насмешило мисс Рэгг, что она принуждена была спешно выбежать из-за стола и спастись на лестницу, где и просидела, пока хорошенько не выдохоталась. Мистер Панкс между тем, не сводя участливого взгляда с Юного Джона, медленно и задумчиво закручивал свой мешочек, точно пытаясь свернуть ему шею. Только что он убрал его в карман, как воротилась хозяйка дома и занялась приготовлением грога для всего общества (в том числе и для собственной особы). Когда всем было налито, мистер Рэгг поднялся и молча протянул над столом руку со стаканом, как бы приглашая остальных заговорщиков сделать то же и дружным чоканьем скрепить свой тайный союз. Церемония, начавшаяся столь торжественно, без сомнения так же и закончилась бы, но на беду мисс Рэгг, поднеся стакан к губам, ненароком глянула на Юного Джона, и вспомнив о его нелепом бескорыстии, не удержалась и прыснула со смеху, обрызгав соседей грогом, после чего ей осталось только со стыдом удалиться.

Так прошел первый званый обед, данный Панксом в Пентонвилле, так проходила его странная, хлопотливая жизнь. Единственные минуты, когда он словно отдыхал от своих забот, позволяя себе что-то делать или говорить не по долгу и без особой цели, были те, которые он проводил у прихрамывающего иностранца с клюкой в Подворье Кровоточащего Сердца.

Иностранец этот – его звали Жан-Батист Кавалетто, а в Подворье называли мистер Баптист – был на диво жизнерадостный, шустрый и неунывающий человек; должно быть, именно эти свойства по контрасту и привлекли к нему Панкса. Одиноким, беспомощным, не знающим и десятка необходимых слов единственного языка, на котором он мог бы сговориться с окружающими, он плыл по течению судьбы с беспечностью, непривычной для Подворья. Есть ему было почти нечего, пить – и вовсе нечего; все его пожитки, не считая того, что было на нем, умещались в малюсеньком узелке, который он с собой принес; и тем не менее с первого же дня он так весело улыбался, ковыляя по Подворью со своей клюкой, как будто дела его находились в самом блестящем состоянии, и своей белозубой улыбкой словно старался расположить к себе всех.

Нелегкая это была задача для иностранца, все равно больного или здорового – заслужить благосклонность Кровоточащих Сердец. Во-первых, все они пребывали в смутной уверенности, что каждый иностранец прячет за пазухой нож; во-вторых, исповедовали здравый и узаконенный национальным общественным мнением принцип: пусть иностранцы убираются восвояси. Они никогда не задавались вопросом, скольким их соотечественникам пришлось бы убраться из разных стран, если бы этот принцип получил всеобщее распространение; они считали, что он применим только к Англии. В-третьих, они склонны были усматривать проявление гнева божия в том обстоятельстве, что человек рожден не англичанином; а различные бедствия, постигавшие его отечество, объясняли тем, что там живут так, как не принято в Англии, и не живут так, как в Англии принято. В подобном убеждении они были воспитаны Полипами и Чваннингами, которые долгое время официально и неофициально вдалбливали им, что страна, уклоняющаяся от подчинения этим двум славным фамилиям, не вправе надеяться на милость провидения, – а вдолбив, сами же за глаза насмеялись над ними, как над народом, более всех других народов закоснелым в предрассудках.

Такова была, так сказать, политическая сторона вопроса; но у Кровоточащих Сердец имелись и другие доводы против того, чтобы допускать в Подворье иностранцев. Они утверждали, что иностранцы все нищие; и хотя сами они жили в такой нищете, что дальше, кажется, уж идти некуда, это не ослабляло убедительности довода. Они утверждали, что иностранцев всех держат в подчинении штыками и саблями; и хотя по их собственным головам немедленно начинала гулять полицейская дубинка при малейшем выражении недовольства, это в счет не шло, потому что дубинка – орудие тупое. Они утверждали, что иностранцы все безнравственны; и хотя в Англии тоже кой-когда быва-

ют судебные разбирательства и случаются бракоразводные процессы, это совершенно другое дело. Они утверждали, что иностранцы лишены духа независимости, поскольку их не водит стадом к избирательным урнам лорд Децимус Тит Полип с развевающимися знаменами, под звуки «Правь, Британия».⁶⁴ Чтоб больше не утомлять читателя, скажем только, что они еще многое утверждали в таком же роде.

Против всех этих доводов должен был бороться, как умел, прихрамывающий иностранец с клюкой. Правда, он был не совсем одинок в этой борьбе – мистер Артур Кленнэм рекомендовал его Плорнишам, жившим по той же лестнице, – но все же шансы складывались далеко не в его пользу. По счастью, Кровоточащие Сердца были добрые сердца, и видя, как этот маленький человечек с приветливым лицом весело ковыляет по двору, никому не делая зла, не хватаясь чуть что за нож, не совершая никаких вопиюще безнравственных поступков; видя, как он живет, перебиваясь с хлеба на молоко, и по вечерам играет с ребятишками миссис Плорниш, они мало-помалу склонились к решению, что, хоть у него нет надежды когда-либо сделаться англичанином, было бы жестоко еще наказывать его за это печальное для него обстоятельство. Они стали снисходительно приноравливаться к его уровню, обходились с ним, как с ребенком, хотя и называли его «мистер Баптист», бесцеремонно хохотали над его привычкой усиленно жестикулировать и его английской речью, напоминаяшей младенческий лепет, – тем более что он нимало не обижался и сам хохотал громче всех. Обращаясь к нему, они не говорили, а кричали, словно он был глухой. Чтобы он лучше усвоил правильный английский язык, они составляли фразы, весьма похожие на те, какими дикари объяснялись с капитаном Куком или Пятница с Робинзоном Крузо. Особенных успехов достигла в этом трудном искусстве миссис Плорниш; ее знаменитая сентенция: «Я надеяться ваш нога скоро здоров» – считалась в Подворье сказанной почти по-итальянски. Миссис Плорниш и сама уже склонна была думать, что у нее врожденные способности к этому языку. Для расширения словаря иностранца, популярность которого все росла, употреблялись в качестве наглядных пособий предметы кухонной утвари; и стоило ему показаться во дворе, как изо всех дверей выскакивали хозяйки и наперебой кричали: «Мистер Баптист – чайник!», «Мистер Баптист – скалка!», «Мистер Баптист – кочерга!», «Мистер Баптист – ситечко!» – размахивая поименованными предметами и внушая ему непреодолимый ужас перед трудностями англосаксонской речи.

Так обстояли его дела, когда – примерно на третьей неделе его проживания в Подворье – он имел счастье возбудить симпатии мистера Панкса. С миссис Плорниш в качестве переводчицы последний явился в упоминавшуюся уже мансарду и застал ее жильца с увлечением вырезающим что-то по дереву при помощи самых нехитрых инструментов. Скучность обстановки, состоящей из стола, стула и жиденького тюфячка на полу, заменявшего кровать, совершенно не мешала ему обраться в самом жизнерадостном расположении духа.

– Ну-с, приятель, – сказал мистер Панкс. – Платите за квартиру.

Жилец тотчас же достал деньги, завернутые в бумажку, и подал ему, улыбаясь во весь рот; затем выставил вперед столько пальцев правой руки, сколько было шиллингов, и еще провел поперек одного пальца рукой, изображая полшиллинга.

– Ишь ты, – сказал мистер Панкс, глядя на него с удивлением. – Вот, значит, как? Платим в срок и сполна? Что ж, тем лучше. Но, признаться, не ожидал.

Тут миссис Плорниш соблаговолила вступить в свои обязанности переводчицы и объяснила мистеру Баптисту:

– Его довольный. Его получал деньги очень хорошо.

Маленький человечек снова улыбнулся и закивал головой. Мистер Панкс вдруг почувствовал что-то неотразимо привлекательное в этой сияющей физиономии.

– Как его больная нога? – спросил он у миссис Плорниш.

– Лучше, сэр, гораздо лучше, – сказала миссис Плорниш. – Мы думаем, дней через пять-шесть он уже сможет ходить без палки. (Такой удобный случай, конечно, нельзя было упустить, и миссис Плорниш блеснула своим искусством, объяснив мистеру Баптисту не без законной гордости: «Его

⁶⁴ «Правь, Британия» – английский патриотический гимн, написанный композитором Т. Арном на слова поэта и драматурга Дж. Томсона: первоначально входил в пьесу-маску «Альфред» (1740).

надеяться ваш нога скоро здоров».)

– Веселый мальй, как я погляжу, – сказал мистер Панкс, с интересом рассматривая его, точно заводную игрушку. – На что он живет?

– А он, видите, цветы вырезает по дереву, – сказала миссис Плорниш, – и такой оказался искусник, просто на диво. (Мистер Баптист, следивший за выражением их лиц, тотчас же протянул свое изделие. Миссис Плорниш поспешила перевести еще невысказанную мысль Панкса: «Его довольный. Еще раз хорошо!»)

– И на это можно прожить?

– Ему очень немного надо, сэр, а со временем он, думается, будет зарабатывать неплохо. Это занятие ему приискал мистер Кленнэм; он и у себя на заводе находит ему всякие поделки – попросту говоря, придумывает, чтоб дать ему заработать.

– А в свободное от работы время что он делает?

– Да почитай что ничего не делает, сэр, – ходить-то ведь ему еще трудно. Бродит по двору, болтает с кем придется, хоть не очень-то они понимают друг друга; то с детишками поиграет, то просто посидит, погрееется на солнышке – он где угодно расположится, точно в кресле – и всегда веселый, поет, смеется.

– Смеяться он, видно, мастер, – отозвался Панкс. – У него каждый зуб во рту смеется.

– А иногда дойдет до выхода на улицу, – продолжала миссис Плорниш, – поднимется по ступенькам, стоит и смотрит. И так чудно смотрит! Кто говорит, это он родину свою высматривает вдалеке, кто говорит – ждет кого-то с опаской, а кто и вовсе не знает, что сказать. Мистер Баптист, по видимому, уловил общий смысл ее слов – быть может, сумел подметить и истолковать мину, с которой она изображала, как он «стоит и смотрит». Во всяком случае, он вдруг закрыл глаза и, тряхнув головой с видом человека, который знает, что делает, произнес на своем родном языке: «Ладно уж!» – «Altro».

– Что значит Altro? – спросил Панкс.

– Гм! Это может значить все что угодно, сэр, – сказала миссис Плорниш.

– Да ну? – сказал Панкс. – Тогда – altro вам, приятель. До свидания. Altro!

Мистер Баптист с обычной для него живостью подхватил это слово и повторил несколько раз подряд; мистер Панкс с обычной для него степенностью повторил его только раз. Но с этого дня у Панкса-цыгана завелась новая привычка: возвращаясь домой после утомительного дня, он часто заходил в Подворье Кровоточащего Сердца, поднимался, не торопясь, по лестнице, приотворял дверь мансарды мистера Баптиста, и если тот оказывался дома, говорил ему с порога: «Здорово, приятель! Altro!» А мистер Баптист весь расплывался в улыбке и, радостно кивая головой, отвечал: «Altro, signore, altro, altro, altro!» После каковой сжатой и лаконической беседы Панкс шел домой довольный, как человек, которому удалось передохнуть и освежиться.

Глава XXVI

Ничьи сомнения и тревоги

Не приди Артур Кленнэм к благоразумному решению ни в коем случае не влюбляться в Бэби, он бы теперь переживал черные дни, будучи вынужден вести нелегкую борьбу с собственными чувствами. Прежде всего в нем бы пыталось одержать верх если не враждебное, то, во всяком случае, неприязненное отношение к мистеру Генри Гоуэну, а тайный голос твердил бы ему, что это недостойно джентльмена. Благородной душе несвойственны резкие антипатии, и она с трудом поддается им, даже когда они вполне беспристрастны; но если раздумье покажет, что в основе недоброго чувства лежит пристрастие – уныние овладевает такой душой.

Вот почему, если бы не упомянутое выше мудрое решение, образ мистера Генри Гоуэна постоянно омрачал бы мысли Кленнэма, отвлекая их от несравненно более приятных лиц и предметов. А так этот образ значительно больше места занимал в мыслях Дэниела Дойса; во всяком случае, не Кленнэм, а Дойс обычно первым называл его имя в дружеских беседах компаньонов между собой. Беседы эти происходили теперь довольно часто, с тех пор как компаньоны наняли сообща часть просторного дома в одной из угрюмых, старых улиц Сити, неподалеку от Английского банка, у самой

Лондон-Уолл.

Мистер Дойс провел день в Туикнеме. Артур Кленнэм не захотел ему сопутствовать. Мистер Дойс только что воротился домой. Он просунул голову в дверь к Артуру Кленнэму, чтобы пожелать ему доброй ночи.

– Входите, входите! – сказал Кленнэм.

– Я увидел, что вы читаете, – ответил Дойс, входя в комнату, – и не захотел мешать.

Если бы не пресловутое решение, Кленнэм, пожалуй, не смог бы назвать книгу, которую читал – пожалуй, даже и не заглянул бы в нее за целый час ни разу, хотя она лежала раскрытой перед его глазами. Сейчас он поторопился ее захлопнуть.

– Ну как там, все здоровы? – спросил он.

– Да, – сказал Дойс, – все здоровы; все совершенно здоровы.

По старой привычке мастерового Дэниел прятал носовой платок в шляпу. Он достал его и принялся вытирать лоб, медленно повторяя:

– Все здоровы; а мисс Минни просто цветет.

– Были какие-нибудь гости?

– Нет, гостей не было.

– Как же вы развлекались вчетвером? – спросил Кленнэм весело.

– Не вчетвером, а впятером, – поправил его компаньон. – Этот тоже был. Ну, этот.

– Кто?

– Мистер Генри Гоуэн.

– Ах, да, разумеется! – воскликнул Кленнэм с необычайной живостью. – Я и забыл о нем.

– Как же, я ведь говорил вам, – сказал Дэниел Дойс. – Он там бывает каждое воскресенье.

– Да, да, – сказал Кленнэм. – Теперь я вспомнил.

Дэниел Дойс, все еще вытирая лоб, повторял с натугой:

– Да, он тоже был, тоже был. И собака его – она тоже была.

– Мисс Миглз питает большую симпатию к – к этой собаке, – заметил Кленнэм.

– Правильно, – подтвердил его компаньон. – Гораздо большую, нежели к – к хозяину собаки.

– Вы хотите сказать – к мистеру...

– К мистеру Гоуэну. Именно это я и хочу сказать.

Последовала пауза в разговоре, которую Кленнэм употребил на то, чтобы завести свои часы.

– Не слишком ли вы торопливы в своих суждениях, – заметил он немного погодя. – Наши суждения – я говорю вообще...

– Я так и понимаю, – сказал Дойс.

– ...зависят от множества соображений, которые подчас неожиданно для нас самих могут оказаться несправедливыми, и потому следует быть очень осмотрительным, когда судишь о людях. Вот хотя бы мистер...

– Гоуэн, – спокойно подсказал Дойс, привыкший уже к тому, что ему всегда выпадает обязанность произносить это имя.

– Он молод, талантлив, хорош собой, у него легкий, веселый нрав, он повидал жизнь. Трудно, пожалуй, не будучи предубежденным, найти что-либо говорящее не в его пользу.

– Для меня вовсе не трудно, – ответил Дэниел Дойс. – Я вижу, что он причиняет беспокойство, а в будущем может причинить и горе семье моего старого друга. Я вижу, что из-за него становятся глубже морщины на лбу моего старого друга, – должно быть оттого, что он все чаще и все упорнее заглядывается на дочь этого друга. Короче говоря, я вижу, что он увлекает в свои сети милую и очаровательную девочку, которая никогда не будет с ним счастлива.

– Мы не можем утверждать, что она не будет с ним счастлива, – сказал Кленнэм сдавленным, точно от боли, голосом.

– Мы не можем утверждать, что наша планета просуществует еще сто лет, – возразил его компаньон, – однако нам это представляется весьма вероятным.

– Полно, полно, – сказал Кленнэм. – Будем надеяться на лучшее и постараемся проявить если не великодушие (о котором в данном случае не может быть речи), то хотя бы справедливость. Нельзя порочить этого молодого человека только потому, что он сумел понравиться прелестной избраннице своего сердца, и нельзя отказать ей самой в праве любить того, кого она считает достойным любви.

– Согласен, друг мой, – сказал Дойс. – Но согласитесь и вы, что она слишком молода и избалована, слишком доверчива и неопытна, чтобы хорошо разбираться в людях.

– Если так, – сказал Кленнэм, – то тут уж мы ничем помочь не можем.

Дэниел Дойс печально покачал головой и ответил:

– Боюсь, что вы правы.

– Словом, так или иначе, – сказал Кленнэм, – мы должны признать, что нам не к лицу осуждать мистера Гоуэна. Потворствовать своим безотчетным антипатиям – удовольствие сомнительное. И я по крайней мере твердо решил не говорить о мистере Гоуэне ни одного худого слова.

– Ну, я в себе не так уверен, и потому оставляю за собой право отзываться о нем неодобительно, – сказал Дойс. – Но если я не уверен в себе, то в вас я уверен, Кленнэм, я знаю вашу прямую натуру и глубоко вас уважаю за эту прямоту. Спокойной ночи, мой добрый друг и компаньон! – Он с чувством пожал ему руку, словно за этим разговором крылось нечто более серьезное, чем могло показаться, и вышел из комнаты.

Компаньонам уже не раз случалось вместе навешать семейство Миглз, и они оба замечали, что даже при мимолетном упоминании имени мистера Генри Гоуэна в его отсутствие на сияющее лицо мистера Миглза набегала тень, как в то утро, когда произошла памятная встреча у переправы. Если бы Кленнэм допустил в свое сердце запретную любовь, все это могло причинить ему немалые страдания; но при существующих обстоятельствах это не значило для него ничего – решительно ничего.

Равным образом, если бы эта непрошенная гостья нашла приют в его груди, можно было бы поставить ему в заслугу молчаливое упорство, с которым он преодолевал все, что в эту пору мучило его. И постоянные старания руководиться в своих поступках лишь высокими принципами чести и великодушия и не впасть в тот грех, который опыт всей его жизни приучил его считать самым тяжким: достижение эгоистических целей с помощью низких и мелочных средств, – это тоже могло быть поставлено ему в заслугу. И решение по-прежнему бывать в доме мистера Миглза, чтобы, эгоистически щадя собственные чувства, не сделать дочь причиной отчуждения, быть может, досадного отцу, и не навлечь на нее этим хотя бы тени недовольства – это тоже могло быть поставлено ему в заслугу. И скромность, с которой он постоянно напоминал себе обо всех преимуществах мистера Гоуэна, более молодых годах, привлекательной наружности и манерах – это тоже могло быть поставлено ему в заслугу. А то, что все это и еще многое другое делалось совершенно естественно и просто, с сохранением мужественного и твердого спокойствия, как ни сильна была внутренняя боль, усугубленная всеми обстоятельствами его прошлой и настоящей жизни, – это, пожалуй, свидетельствовало бы о недюжинной силе характера. Но после принятого им решения ставить ему в заслугу, разумеется, было нечего; ведь тревог и сомнений, которые мы здесь описывали, не испытывал никто – решительно никто.

Мистера Гоуэна нимало не беспокоило, испытывает или не испытывает кто-то подобные сомнения и тревоги.

При встречах он держался всегда с полной непринужденностью, как будто самая мысль о том, что и для Кленнэма может существовать Великий вопрос, показалась бы ему нелепой и смехотворной. Он всегда был с ним мил и любезен, и этого одного было бы достаточно, чтобы еще усложнить душевное состояние Кленнэма – если бы, конечно, он не внял в свое время голосу благоразумия.

– Как жаль, что вас вчера не было в Туикнеме, – сказал мистер Генри Гоуэн, заглянув к Артуру на следующее утро. – Мы провели на редкость приятный день.

Артур ответил, что слышал об этом.

– От вашего компаньона? – спросил Генри Гоуэн. – Милейший человек, кстати сказать.

– Я его чрезвычайно уважаю.

– Черт возьми, да он просто замечательный человек! – сказал Гоуэн. – Такой наивный, такой непосредственный, верит в такие бредни!

Это была одна из тех мелочей, которые при разговоре с ним всегда неприятно царапали слух Кленнэма. Ничего не ответив, он только повторил, что относится к мистери Дойсу с большим уважением.

– Чудо что за человек! Дожить до этих лет, ничего не обретя и ничего не растеряв в жизни, это просто трогательно. Вчуже радуешься, глядя на него. Такая цельная, чистая, неиспорченная душа! Честное слово, мистер Кленнэм, рядом с подобной невинностью начинаешь сам себе казаться незна-

дежно пустым и развращенным. Впрочем, я, разумеется, говорю только о себе. Вы другое дело, вы тоже человек правдивый.

– Благодарю за комплимент, – сказал Кленнэм, испытывая все большую неловкость. – А вы разве нет?

– Как вам сказать, – отвечал его собеседник. – Если уж пошло на откровенность, то не вполне. Впрочем, я и не такой уж бессовестный обманщик. Купите у меня картину – и между нами говоря, вы заплатите за нее больше, чем она стоит. Но купите картину у другого – у какого-нибудь знаменитого маэстро, перед которым я шенок, и можете быть уверены: чем дороже с вас спросят, тем больше обманут. Все так делают.

– Все художники?

– Художники, писатели, произносители патриотических речей, все вообще, кто торгует на общественном рынке. Дайте десять фунтов любому из моих знакомых – и он вас обманет на десять фунтов; дайте тысячу – на тысячу обманет; десять тысяч – на десять тысяч. По деньгам и товар. А хорошо все-таки жить на этом свете, – с воодушевлением воскликнул Гоуэн. – На этом веселом, чудесном, замечательном свете!

– Мне казалось, – сказал Кленнэм, – что принципом, о котором вы говорите, руководствуются главным образом...

– Полипы? – перебил Гоуэн со смехом.

– Политические деятели, которые снизошли до управления Министерством Волокиты.

– Ах, не будьте суровы к Полипам! – сказал Гоуэн, снова засмеявшись. – Они все славные люди. Даже бедняжка Клэрэнс, который родился, чтобы восполнить недостаток идиотов в семье, – хоть и болван, но очень милый и симпатичный болван. И черт побери, вы не поверите, до чего он толково разбирается в некоторых вещах.

– Да, пожалуй, не поверю, – сухо ответил Кленнэм.

– И, наконец, – воскликнул Гоуэн с характерным для него стремлением все на свете мерить одной, очень коротенькой меркой, – я, право, не спорю, что Министерство Волокиты рано или поздно пустит корабль ко дну, но, во-первых, за наш век это еще не успеет случиться, а во-вторых, оно все-таки – отличная школа для джентльменов.

– Очень дурная и опасная школа, которая чересчур дорого обходится тем, кто платит за содержание учеников, – сказал Кленнэм, покачивая головой.

– Вы просто страшный человек! – весело ответил Гоуэн. – Немудрено, что вы чуть не насмерть запугали этого осленка Клэрэнса (он, право же, не худший из дурачков, и я в самом деле люблю его). Но бог с ним и со всеми прочими. Поговорим о другом. Мне очень хотелось бы познакомить вас с моей матерью, мистер Кленнэм. Позвольте мне осуществить это желание.

Если бы Кленнэм испытывал уже упоминавшиеся тревоги и сомнения, он бы, вероятно, больше всего хотел уклониться от предложенного знакомства и меньше всего знал, как это сделать.

– Моя мать живет весьма скромно, в кирпичном узилище, именуемом Хэмптон-Корт, – сказал Гоуэн. – Выберите удобный для вас день, и мы с вами отправимся туда обедать. Вы поскучаете, а старушка порадуется, вот и все.

Что можно было ответить на это? Не слишком общительный по натуре, Кленнэм был прост в лучшем смысле слова и не научился увилывать и хитрить. По простоте своей и скромности он мог сказать только одно: что будет рад предоставить себя с распоряжением мистера Гоуэна. Так он и сказал, и день был тут же назначен. Со страхом ожидал он этого дня и с невеселым чувством встретил его, когда он наступил и нужно было в обществе Гоуэна отправляться в Хэмптон-Корт.

Почтенное население этой почтенной резиденции напоминало в те времена табор цивилизованных цыган. Домашний уклад его обитателей отличался каким-то временным, неустроенным характером, словно они собирались сняться с места, как только им представится что-нибудь получше, а сами они отличались вечно надутым, недовольным видом, словно были весьма обижены, что им до сих пор не представилось что-нибудь получше. За любой дверью нетрудно было на каждом шагу распознать усилия что-то скрыть, что-то приукрасить. Недостаточно высокие ширмы тщетно пытались превратить сводчатый коридор в столовую и замаскировать темный угол, где по вечерам укладывались спать среди ножей и вилок юные лакеи; складки портьер просили вас поверить, что за ними ничего не прячется; надставленные стекла умоляли не замечать их; какая-то неопределенного вида ме-

бель старалась, упаси боже, не выдать своей позорной тайны – что по ночам она служит постелью; задрапированные ниши в стенах явно служили хранилищами запасов угля, а в глубине альковов прятались двери, ведущие в крохотную кухню. На этой почве пышным цветом расцветала фальшь и светское лицедейство. Гости, мило улыбаясь хозяевам, делали вид, будто их ноздри не щекочет запах стряпни, происходящей где-то рядом; наткнувшись на шкаф, впопыхах оставленный раскрытым, притворялись, будто не видят выстроившихся в нем бутылок; а сидя у тоненькой перегородки, за которой шумно выясняли свои отношения поваренок и судомойка, глядели так, словно наслаждались райской тишиной. Можно было бы продолжить до бесконечности описать мелких векселей подобного рода, которые беспрестанно выдавали друг другу, индоссировали и принимали к уплате эти цыгане большого света.

Кое-кто из них отличался природной раздражительностью, которую еще усиливали две неотступные мучительные мысли: во-первых, что им недостаточно удастся выжать из публики, и во-вторых, что публике разрешается беспрепятственно посещать Хэмптон-Корт. Некоторым последнее обстоятельство доставляло неслыханные страдания – особенно по воскресеньям. Одно время они надеялись, что в этот день земля разверзнется и поглотит посетителей дворца; но это желанное событие пока еще не совершилось, должно быть по причине досадной нерадивости тех, на ком лежит ответственность за порядки во вселенной.

Гостям миссис Гоуэн отворял дверь слуга, который уже несколько лет жил в доме и у которого были свои счета с публикой; дело в том, что он уже давно дожидался и никак не мог дожидаться места в почтовом ведомстве. Он отлично знал, что публика не может помочь ему получить это место, но находил какую-то мрачную утеху в предположении, что публика ему мешает его получить. Под влиянием испытанной несправедливости (а быть может, также и кое-каких непорядков в уплате жалованья) у него появилось равнодушие к своему внешнему виду и испортился характер. Заподозрив в Кленнэме лицо, причастное к презренному сообществу его угнетателей, он встретил его довольно недружелюбно.

Миссис Гоуэн, напротив, встретила его довольно благосклонно. Это оказалась элегантная старая дама, которая в молодости была красавицей и еще настолько сохранилась, что вполне могла бы обойтись без пудры на носу и неестественно жаркого румянца на щеках. Держалась она несколько надменно. Также держались и два других ее гостя: седовласый старый джентльмен величественного, хотя несколько хмурого вида, и старая дама с густыми черными бровями и орлиным носом, у которой, если и было что-нибудь не поддельное, – а что-нибудь, верно, было, иначе она не могла бы существовать, – то, во всяком случае, не зубы, не фигура и не цвет лица. Поскольку, впрочем, все трое в свое время состояли при английских посольствах в разных странах, а главным достоинством всякого английского посольства в глазах Министерства Волокиты является умение с уничтожающим презрением относиться к своим соотечественникам (иначе оно бы ничем не отличалось от посольств других стран), то Кленнэм решил, что он еще дешево отделался.

Величественный седовласый джентльмен оказался лордом Ланкастером Чваннингом, которого Министерство Волокиты много лет держало за границей в качестве представителя британской короны. Сей аристократический холодильник переморозил в свое время несколько европейских дворов; и делал это столь успешно, что у иностранцев, четверть века назад удостоившихся чести знакомства с ним, и теперь еще при одном упоминании об англичанах леденела кровь в жилах.

Сейчас он находился в отставке и потому, надев внушительный белый галстук, похожий на снежный сугроб, мог осчастливить званый обед своим расхолаживающим присутствием. Таборный дух, присущий Хэмптон-Корту, накладывал отпечаток на обеденную церемонию; что-то бродячее, кочевое было в сервировке стола, в стремительном появлении и исчезновении блюд; но аристократический холодильник придавал трапезе больше великолепия, чем мог бы придать самый лучший фарфор или серебро. Он расхолаживал обедающих, охлаждал вино, студил подливки и замораживал овощи.

Кроме уже описанных, в комнате находилось еще только одно лицо – микроскопический юный лакей, помогавший мизантропу, отвергнутому почтовым ведомством. Если бы удалось расстегнуть ливрею этого юнца и посмотреть, что делается в его сердце, выяснилось бы, что даже он, всего лишь скромный челядинец семейства Полипов, уже лелеет мечту о казенном местечке.

Миссис Гоуэн с легкой грустью (вполне понятной у дамы, сын которой, низведя себя до поло-

жения служителя муз, вынужден угождать этому животному – публике, вместо того, чтобы, но праву чистокровного Полипа, продеть ей кольцо в нос) завела разговор о невзгодах наших дней. И тут Кленнэму впервые пришлось узнать, вокруг каких крошечных осей вертится наш огромный мир.

– Если бы Джон Полип, – сказала миссис Гоуэн после того, как было неопровержимо установлено, что мы переживаем эпоху величайшего упадка, – если бы Джон Полип отказался от своего нелепого стремления убогатворить чернь, все бы обошлось, и, по моему мнению, страна была бы спасена.

Дама с орлиным носом согласилась; но прибавила, что если бы Август Чваннинг не разменивался на мелочи, а двинул бы в дело кавалерию, то, по ее мнению, страна была бы спасена.

Аристократический холодильник согласился; но прибавил, что если бы Уильям Полип и Тюдор Чваннинг при заключении своей знаменательной коалиции не побоялись бы надеть намордник на прессу и под страхом уголовной ответственности запретили бы газетчикам подвергать критике действия представителей власти как внутри страны, так и за границей, то, по его мнению, страна была бы спасена.

Все были согласны, что страну (понимай: Полипов и Чваннингов) необходимо спасти; правда, оставалось неясным, отчего это она стала нуждаться в спасении. Но зато совершенно ясно было, что все дело тут в Джоне и Полипе, Августе Чваннинге, Уильяме Полипе и Тюдоре Чваннинге, и разных других Полипах и Чваннингах, ибо, кроме них, существует только чернь. Такое направление беседы с непривычки весьма неприятно действовало на Кленнэма; он даже подумал о том, что, пожалуй, нехорошо сидеть и молчать, слушая, как великую нацию сводят к такому тесному кружку. Однако ему тут же вспомнилось, что и в любых парламентских дебатах, чего бы ни касались они, материального благосостояния нации или ее духовной жизни, речь идет всегда только о Джоне Полипе, Августе Чваннинге, Уильяме Полипе и Тюдоре Чваннинге и разных других Полипах и Чваннингах, и только сами они и ведут эти дебаты; и он не стал поднимать голос в защиту черни, решив, что чернь привыкла к такому положению вещей.

Мистеру Генри Гоуэну, как видно, доставляло удовольствие стравливать троих собеседников и видеть, как их разговоры шокируют Кленнэма. Сам он, однако, презирал и тот класс, который его изгнал, и тот, который его не признал, а потому оставался к этим разговорам равнодушен. В силу приятных свойств своей натуры он даже забавлялся замешательством Кленнэма, чувствовавшего себя чужим и одиноким в этой милой компании; и если бы Кленнэм не вышел победителем из той внутренней борьбы, которой, собственно, никто не вел, ему бы не миновать заподозрить мистера Гоуэна в злом умысле, а заподозрив – тут же постараться подавить в себе это недостойное подозрение.

За два часа застойной беседы аристократический холодильник, обычно отстававший от своего времени лет на сто, отстал примерно на пять веков и тоном оракула изрекал политические истины, имевшие хождение в ту отдаленную эпоху. Наконец он выпил чашку чаю, которую заморозил лично для себя и, достигнув самой низкой температуры, отбыл восвояси.

Тогда миссис Гоуэн, в дни своей былой славы привыкшая к тому, что рядом с нею всегда стояло наготове кресло, в котором сменяли друг друга ее верные рабы, в знак особой милости удостоиваемые короткой аудиенции, веером поманила к себе Артура Кленнэма. Он повиновался и занял треножник, с которого только что поднялся лорд Ланкастер Чваннинг.

– Мистер Кленнэм, – сказала миссис Гоуэн, – помимо удовольствия, которое мне доставило знакомство с вами (хоть я и вынуждена принимать вас в столь безобразной, неподобающей обстановке – в этой казарме), я горю нетерпением побеседовать с вами об одном предмете. Если не ошибаюсь, этот предмет имеет непосредственное отношение к обстоятельствам, при которых моему сыну выпала честь стать вашим другом.

Кленнэм слегка наклонил голову, не зная, как еще выразить свое отношение к словам, смысл которых пока оставался для него скрытым.

– Прежде всего скажите мне, – продолжала миссис Гоуэн, – она в самом деле хорошенькая?

В том затруднительном положении, в котором, по счастью, никто не находился, очень нелегко было бы ответить на этот вопрос; очень нелегко было бы улыбнуться и выговорить: «Кто?».

– Ах, вы отлично знаете, о ком я говорю, – возразила его собеседница. – Об этой пассии Генри. Об этом его злополучном увлечении. Если уж вам непременно нужно, чтобы я произнесла ее имя, – извольте! Мисс Пикльс... Микльс...

– Мисс Миглз, – сказал Кленнэм, – очень хороша собой.

– Мужчины часто плохие судьи в этом вопросе, – возразила миссис Гоуэн, качая головой, – так что, признаюсь вам откровенно, вы меня не вполне убедили; но все-таки приятно услышать столь веское и решительное подтверждение восторженных отзывов Генри. Он, кажется, в Риме откопал эту семейку?

При других обстоятельствах такая фраза могла бы показаться неслыханно оскорбительной. Кленнэм ответил:

– Простите, мне не совсем понятно употребленное вами выражение.

– Откопал эту семейку, – повторила миссис Гоуэн, постукивая по столу сложенным веером (в развернутом виде этот большой зеленый веер иногда служил ей ручным экраном). – Ну, нашел, встретил, подобрал.

– Эту семейку?

– Ну да, этих Микльсов.

– Я, право, не знаю, – сказал Кленнэм, – где именно мой друг мистер Миглз представил мистера Гоуэна своей дочери.

– Почему-то мне кажется, что Генри откопал ее в Риме; впрочем, это не так уж важно; где-нибудь да откопал. Теперь скажите (это сугубо между нами): у нее очень плебейские манеры?

– Прошу извинить, сударыня, – ответил Кленнэм, – но мне трудно судить об этом, поскольку я сам – плебей.

– Прелестно! – сказала миссис Гоуэн, хладнокровно раскрывая свой веер. – Очень мило! Иными словами, на ваш взгляд, ее манеры так же хороши, как и ее наружность?

Кленнэм с несколько натянутым видом наклонил голову.

– Что ж, тем лучше, если только вы не преувеличиваете. Генри мне как будто говорил, что вы путешествовали вместе с ними?

– Да, я несколько месяцев путешествовал имеете с моим другом мистером Миглзом, его женой и дочерью. (Хорошо, что ничье сердце не должно было дрогнуть при воспоминании об этом.)

– Тем лучше, тем лучше, вы, стало быть, имели возможность хорошо узнать их. Видите ли, мистер Кленнэм, это увлечение у Генри уже давно, и я пока не замечаю каких-либо признаков утешительной перемены. Вот почему я рада случаю побеседовать с человеком, который хорошо обо всем осведомлен. Это большая удача для меня. Необыкновенная удача.

– Простите, сударыня, – возразил Кленнэм, – но вы ошибаетесь. Мистер Генри Гоуэн не поверяет мне своих тайн, и я вовсе не так осведомлен, как вам представляется. Ваша ошибка ставит меня в чрезвычайно неловкое положение. Мы с мистером Гоуэном никогда ни словом не касались этого предмета.

Миссис Гоуэн бросила взгляд в дальний угол комнаты, где ее сын, сидя на диване, играл в *экарте*⁶⁵ со старой дамой, настаивавшей на том, чтобы в дело была двинута кавалерия.

– Ну, разумеется, он вам не поверяет тайн, – сказала миссис Гоуэн. – Разумеется, вы ни словом не касались этого предмета. Я так и думала. Но иногда тайны поверяются без слов, мистер Кленнэм; а так как вы с ним вместе часто бываете в обществе этих людей, то я не сомневаюсь, что в данном случае происходит нечто подобное. Вам, быть может, известно, что для меня явилось тяжелым ударом решение Генри избрать поприще... – она пожала плечами, – весьма достойное поприще, не спору, и есть художники, которые как художники ставятся очень высоко; но в нашей семье до сих пор бывали только любители, дальше этого мы не заходили.

Миссис Гоуэн тяжело вздохнула, а Кленнэм, несмотря на свое твердое намерение быть великодушным, не мог удержаться от мысли, что их семье и сейчас не грозит опасность зайти дальше этого.

– Генри упрям и своеволен, – продолжала меж тем любящая мать, – а так как эти люди, натурально, не щадят усилий, чтобы заполучить его, у меня почти нет надежды, что дело расстроится. Боюсь, что и состояние у этой девицы очень невелико; Генри мог бы сделать гораздо лучшую партию. Я решительно не вижу ничего, что могло бы явиться вознаграждением за подобный мезальянс; но Генри привык поступать по-своему, и если в ближайшее время я не замечу никаких признаков

⁶⁵ *Экарте* – старинная азартная карточная игра с двумя участниками.

утешительной перемены, мне останется только покориться и скрепя сердце признать этих людей. Премного обязана вам за все, что вы мне рассказали.

Она пожала плечами в знак своего бессилия перед судьбой, а Кленнэм поклонился, все так же натянута. Затем, покраснев и, видимо, преодолевая неловкость, он сказал еще более тихим голосом, чем прежде:

– Миссис Гоуэн, я почитаю себя обязанным выяснить одно обстоятельство, о котором мне весьма нелегко говорить, но тем не менее я попытаюсь и прошу вас оказать мне честь выслушать меня. Происходит недоразумение – осмелюсь сказать, весьма прискорбное недоразумение, – которое необходимо рассеять. Вы полагаете, что мистер Миглз и его семья не щадят усилий – так, кажется, вы выразились...

– Да, не щадят усилий, – с хладнокровным упорством повторила миссис Гоуэн, повернув свой зеленый веер так, чтобы он защищал ее лицо от жара камина.

– Чтобы заполучить мистера Генри Гоуэна?

Миссис Гоуэн невозмутимо кивнула головой.

– Так вот, должен вам заметить, что вы очень далеки от истины, – сказал Артур. – Насколько я знаю, мистер Миглз весьма удручен мыслью об этом союзе и делает все возможное, чтобы ему воспрепятствовать.

Миссис Гоуэн закрыла свой зеленый веер, легонько похлопала им Артура по плечу и, улыbnувшись, так же легонько похлопала себя по губам.

– Ну, разумеется. А о чем же я и говорю?

Артур недоуменно смотрел на нее, ожидая ответа на этот риторический вопрос.

– Вы, верно, шутите, мистер Кленнэм. Неужели вам в самом деле не ясно?

Артуру в самом деле было не ясно, что он и подтвердил.

– Поверьте, я знаю своего сына и знаю, что это самый надежный способ удержать его, – продолжала миссис Гоуэн с презрительной миной. – И поверьте, эти Миглзы успели его изучить и знают это не хуже меня. Хитро придумано, мистер Кленнэм, – сразу чувствуется деловая хватка! Ведь этот Миглз, если не ошибаюсь, имел отношение к какому-то банку? Должно быть, недурно шли дела этого банка, если заправлял ими такой ловкий человек. Тонкая игра, ничего не скажешь.

– Сударыня, умоляю вас, ради бога... – начал было Артур.

– Ах, мистер Кленнэм, ну, можно ли быть таким простодушным!

Возмущенный до глубины души надменным тоном своей собеседницы и презрительным выражением, с которым она продолжала постукивать себя веером по губам, Артур сказал, внушительно и твердо:

– Сударыня, ваши подозрения несправедливы и лишены всякого основания, ручаюсь вам в этом.

– Подозрения? – повторила миссис Гоуэн. – Я не подозреваю, мистер Кленнэм, я уверена. Все разыграно как по нотам, и вы, видимо, тоже дали себя провести. – Она рассмеялась, вздернула голову и снова принялась постукивать веером по губам, как бы говоря: «Не пытайтесь меня разубедить. Я знаю, что такие люди на все пойдут ради столь лестного для них союза».

Тут, весьма кстати, партия экарте пришла к концу, и мистер Генри Гоуэн, поднявшись с дивана, сказал:

– Матушка, отпустите мистера Кленнэма, нам с ним далеко ехать, а время уже позднее.

Мистеру Кленнэму не оставалось ничего другого, как только встать и откланяться, и миссис Гоуэн проводила его все тем же взглядом и тем же похлопываньем веера по сложенным в презрительную усмешку губам.

– Ваша беседа с моей матерью зловеще затянулась, – сказал ему Гоуэн, когда они вышли за дверь. – Надеюсь, она не нагнала на вас скуку?

– Нисколько, – сказал Кленнэм.

Маленький открытый фаэтон дожидался их, и они тотчас же тронулись в обратный путь. Гоуэн, правивший лошадей, закурил сигару; Кленнэм от сигары отказался. Он молчал под напором одолевших его мыслей, и вид у него был такой рассеянный, что Гоуэн снова сказал ему: – Боюсь, моя матушка все же нагнала на вас скуку. – На это он, спохватившись, ответил опять: – Нисколько! – и тотчас же снова впал в раздумье.

Если бы он находился в том состоянии духа, которое было описано выше, мысли его то и дело возвращались бы к человеку, сидящему рядом. Он вспомнил бы, как этот человек выворачивал каблуком камешки из земли в утро их первой встречи, и спросил бы себя: «А не старается ли он и меня убрать с дороги с тою же беззаботной жестокостью?» Он задумался бы над тем, не нарочно ли этот человек свел его со своею матерью, заранее зная, о чем у них пойдет разговор, и рассчитывая таким образом раскрыть перед соперником истинное положение вещей и предостеречь его, не пускаясь ни в какие откровенности. А если не это было у него на уме, быть может он просто хотел позабавиться скрытыми чувствами Кленнэма и помучить его? Порой, прерывая поток тревожных догадок, его бы вдруг охватывал стыд; строгий внутренний голос напоминал бы ему, что подобным подозрениям, пусть даже мимолетным, не может быть места на том пуги доброжелательства и великодушия, которого он положил себе держаться. То были бы для него минуты особенно напряженной борьбы с самим собой; и случись ему в одну из таких минут поднять глаза и встретить взгляд Гоуэна, он вздрогнул бы, словно почувствовав себя виноватым перед ним.

Потом, глядя вдаль, где неясные очертания предметов сливались с темной лентой дороги, он задумался бы снова: «Куда ведет нас обоих еще более темная дорога жизни? Что ждет его, меня и ее тоже в туманной дали?» И при мысли о ней новые болезненные сомнения бередили бы его душу: «Не обижаю ли я ее, поддаваясь своей неприязни к нему, и не становлюсь ли от этого еще менее достойным ее, чем прежде?»

– Я замечаю, вы совсем приуныли, – сказал Гоуэн. – Видно, что ни говорите, а моя матушка нагнала на вас смертельную скуку.

– Нет, нет, уверяю вас, – сказал Кленнэм. – Это пустяки – решительно пустяки.

Глава XXVII **Двадцать пять**

В эту тревожную для Артура Кленнэма пору его все чаще беспокоила мысль, что неожиданный интерес мистера Панкса к семейству Доррит может иметь какое-то отношение к тем смутным догадкам, о которых шел разговор у Артура с матерью в первый вечер его возвращения под отчий кров. Что знает мистер Панкс об этом семействе, что еще хотел бы он узнать, и зачем вообще ему понадобилось ломать над всем этим свою забитую делами голову – вот вопросы, которые снова и снова задавал себе Кленнэм. Такой человек, как мистер Панкс, не стал бы из одного лишь праздного любопытства тратить на розыски время и труд. И если его усердие поможет ему достигнуть цели, неужели попутно вскроются тайные причины, побудившие миссис Кленнэм взять под свое покровительство Крошку Доррит?

Не следует думать, что Артур хоть на миг заколебался в своем желании и решимости исправить зло, совершенное при жизни отца – если это зло откроется и если оно исправимо. Слишком смутной и зыбкой была тень возможной несправедливости, нависшая над ним после смерти отца, и легко могло оказаться, что истина весьма и весьма далека от его предположений. Но когда бы его опасения в самом деле подтвердились, он готов был в любую минуту отдать все, что имел, и начать жизнь сначала. Его душа так и не приняла жестокого и мрачного учения, которое ему навязывали в детстве, и его личный нравственный кодекс начинался с того, что, когда ходишь по земле, нужно глядеть под ноги и что нельзя вознестись на небо на крыльях слов. Земной долг, земное воздаяние, земные дела – вот первые крутые ступени подъема. Узки врата, и тесен путь; куда тесней и уже, нежели столбовая дорога, вымощенная пустыми повторениями пустых заученных прописей, поисками сучков в чужом глазу и угрозами божьего суда, щедро расточаемыми ближним – даровым материалом, который не жаль тратить.

Нет, не страх за себя и не личные сомнения смущали его, но лишь беспокойство, как бы Панкс не пренебрег их взаимным уговором и, доискавшись до чего-нибудь, не стал действовать сам, не посоветовавшись с ним. С другой стороны, перебирая в памяти подробности своего разговора с Панксом, он не находил среди них доказательств, что этот странный маленький человечек на верном следу, и подчас даже удивлялся, зачем он сам придает этому такое значение. Волны сомнений бросали его туда и сюда, как бросают волны лодку в бурном море, и причала нигде не было видно.

А тут еще Крошка Доррит совсем исчезла с его горизонта. Ее то не было дома, то она сидела у себя в комнате и не показывалась, и мало-помалу он обнаружил, что ему без нее словно чего-то недостает. Он ей написал, справляясь о ее здоровье, и получил ответ, в котором она горячо благодарила его и просила не беспокоиться, так как она чувствует себя совсем хорошо; но он не видел ее уже несколько недель – срок, который с непривычки показался ему очень долгим.

Однажды, просидев целый вечер с ее отцом, который сказал ему, что она ушла в гости – обычная его отговорка, когда она трудилась где-то, чтобы заработать ему на ужин, – Кленнэм вернулся домой и застал у себя мистера Миглза, в большом волнении расхаживавшего взад и вперед по комнате. Услышав скрип отворяющейся двери, мистер Миглз круто повернулся на ходу и воскликнул:

– Кленнэм! Тэттикорэм!

– Что случилось?

– Пропала!

– Милосердный боже! – воскликнул Кленнэм с испугом. – Что вы хотите сказать?

– Не пожелала сосчитать до двадцати пяти, сэр; отказалась наотрез. До восьми сосчитала, бросила и ушла.

– Ушла из вашего дома?

– И больше не вернется, – отозвался мистер Миглз, сокрушенно качая головой. – Вы не знаете, сэр, до чего эта девушка горда и упряма. Все замки и запоры Бастилии не удержали бы ее, раз она решила уйти; упряжка лошадей не приволокла бы ее обратно.

– Но как это вышло? Прощу вас, сядьте и расскажите мне.

– Не так-то оно просто; нужно самому обладать бешеным, неукротимым нравом этой несчастной девушки, чтобы понять, как это произошло. Началось вот с чего. Нам за последнее время часто приходилось беседовать втроем, мамочке, Бэби и мне. Не скрою от вас, Кленнэм, что эти беседы были не слишком приятного свойства. Речь шла о новом путешествии, которое я предложил, имея в виду, признаться, особую цель.

Хорошо, что ничье сердце не должно было забиться быстрее при этих словах.

– Какова эта цель, – после короткой паузы продолжал мистер Миглз, – я также от вас не скрою, Кленнэм. У моей дорогой дочурки есть сердечная привязанность, которая очень огорчает меня. Вы, верно, догадываетесь, о ком я говорю. Генри Гоуэн.

– Я ожидал, что услышу это имя.

– Ох, лучше бы мне самому никогда его не слышать, – сказал мистер Миглз, тяжело вздохнув. – Но от правды не уйдешь. Мы с мамочкой делали все, чтобы это переломить, Кленнэм. Уговоры, время, разлука – все пробовали и ничего не помогло. И вот у нас явилась мысль отправиться в долгое путешествие, на год, не меньше; может быть, если они так долго не будут видеться, то окончательно отвыкнут друг от друга. Но Бэби очень огорчена, а стало быть, и мы с мамочкой тоже.

Кленнэм сказал, что этому нетрудно поверить.

– Видите ли, – продолжал мистер Миглз, словно бы оправдываясь, – я, как человек практический, признаю, и мамочка, как женщина практическая, тоже признала бы, что мы, семейные люди, склонны преувеличивать свои огорчения и делать слонов из наших домашних мух, и это может раздражать посторонних – тех, кого это не касается близко. Но ведь счастье или несчастье Бэби, это для нас вопрос жизни и смерти, Кленнэм, и я думаю, нам простительно, если мы принимаем близко к сердцу все, что с ним связано. Уж кто-кто, а Тэттикорэм могла бы простить нам это. Как, по-вашему, прав я или нет?

– Совершенно правы, – ответил Кленнэм, от всей души подтверждая справедливость этого скромного требования.

– Так нет же, – сказал мистер Миглз, грустно качая головой, – она не захотела прощать. Видно было, как она беснуется, эта девушка, как все в ней кипит и клокочет. Желая ей добра, я не раз говорил вполголоса, проходя мимо нее: «Двадцать пять, Тэттикорэм; двадцать пять!» Надо было ей день и ночь считать до двадцати пяти, тогда ничего бы и не случилось.

Мистер Миглз провел рукой по лицу и снова покачал головой с таким сокрушенным видом, который говорил о его доброте красноречивей, чем самые ласковые и приветливые улыбки.

– А мамочке я сказал (впрочем, она и без моих слов думала точно так же): мы с тобой люди практические, душа моя, и мы знаем историю этой бедной девушки. Ведь это в ней бушуют те самые

страсти, которые бушевали в ее матери еще до того, как она, бедняжка, на свет родилась. Будем же к ней снисходительны, мамочка, не станем сейчас ничего замечать, душа моя; мы ей сделаем внушение когда-нибудь потом, когда она успокоится. И мы молчали. Но, видно, суждено было страстись беде: вот она и стряслась вчера вечером.

– Но как и почему?

– Если вы хотите знать, почему, – сказал мистер Миглз, несколько смущенный этим вопросом, ибо он больше заботился о смягчении вины Тэттикорэм, нежели об интересах своего семейства, – я лишь могу повторить еще раз то, что я говорил мамочке и что вы уже слышали. Если вы хотите знать, как – попробую рассказать: мы простились с Бэби на ночь (очень нежно простились, не отрицаю), и Тэттикорэм, которая была при этом, отправилась за ней наверх – вы ведь помните, что она приставлена к Бэби для услуг. Может быть, Бэби, у которой сейчас нелегко на душе, была чуть более обычного требовательна к ней; впрочем, не знаю даже, вправе ли я предполагать это – она всегда так деликатна, так добра.

– Более добрую госпожу трудно себе представить.

– Благодарю вас, Кленнэм, – сказал мистер Миглз, пожимая ему руку, – и самом деле: ведь вы часто видели их вместе. Но вернусь к рассказу. Итак, вдруг мы слышим голос этой несчастной Тэттикорэм, очень громкий и сердитый. Мы уже хотели пойти посмотреть, в чем дело, но тут прибегает Бэби, вся дрожа, и жалуется, что Тэттикорэм ее напугала. А следом за ней в комнату врывается Тэттикорэм, сама не своя от бешенства. «Я вас всех ненавижу! – кричит она, топая ногами. – Весь ваш проклятый дом ненавижу!»

– И что же вы на это?

– Я? – переспросил мистер Миглз с такой непосредственностью, которая могла бы сокрушить недоверие самой миссис Гоуэн. – Я ей сказал: «Тэттикорэм, сосчитай до двадцати пяти!»

Мистер Миглз опять провел рукой по лицу и покачал головой, видимо глубоко огорченный.

– Это уже настолько вошло у нее в привычку, Кленнэм, что даже сейчас, находясь в совершенном иступлении (вы даже вообразить себе не можете, что с ней было), она сразу умолкла, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами и начала считать. Досчитала до восьми (я слышал), но на большее ее не хватило. Ярость снова захлестнула бедняжку и потопила остальные семнадцать. И уж тут пошло! Она нас ненавидит, она у нас несчастна, она так больше не может, она решила уйти и уйдет! Она моложе своей барышни, и ей надоело слушать, как все ахают и охают вокруг той, как будто на свете нет больше молодых и привлекательных девушек, которые заслуживают ласки и любви! Довольно с нее, да, да, да, довольно! Уж не воображаем ли мы, что, если бы с нею, с Тэттикорэм, всю жизнь так носились и нянчились, как с нашей Бэби, она была бы чем-нибудь хуже? Лучше! В пятьдесят раз лучше! Ведь это мы назло ей постоянно выставляем напоказ свои нежные чувства друг к другу – да, да, назло и в насмешку! И не мы одни, но и все в доме. Только завидят ее, так сейчас же и пускаются в разговоры о своих отцах и матерях, братьях и сестрах. Вот еще вчера маленький внучек миссис Тикит пытался назвать ее (то есть Тэттикорэм) дурацким прозвищем, которое мы ей дали, но никак не мог его выговорить, а сама миссис Тикит слушала и хохотала. И всех оно потешает! И кто вообще дал нам право придумывать ей кличку, точно собаке или кошке? Но теперь – конец! Не нужны ей больше наши благодеяния, она бросит нам в лицо эту кличку и уйдет. Сейчас же уйдет, сию минуту, никто ее не удержит, и больше мы ее никогда не увидим.

Все это, видимо, было так живо в памяти мистера Миглза, что, рассказывая, он даже покраснел и разгорячился не меньше героини своего рассказа.

– Что уж тут! – сказал он, вытирая пот с лица. – Было ясно, что никаких доводов рассудка эта несчастная слушать не станет (один бог знает, что только пришлось пережить ее матери!), и я лишь спокойно заметил ей, что сейчас уже ночь, и если она решила уйти, то пусть подождет до утра; потом взял ее за руку и отвел в ее комнату, а наружную дверь запер на ключ. Но утром, когда мы встали, ее уже не было.

– И больше вам ничего о ней не известно?

– Ничего решительно, – ответил мистер Миглз. – Я весь день провел в поисках. Вероятно, она ушла совсем рано, и так тихо, что никто не услышал. В Туикнеме мне так и не удалось напасть на ее след.

– Погодите! – сказал Кленнэм, подумав немного. – Вы, насколько я понимаю, хотели бы сви-

деться с ней?

– Непременно. И сказать, что я ничуть на нее не сержусь. Мамочка и Бэби тоже на нее не сердятся. Да и вы сами, Кленнэм, – прибавил мистер Миглз убедительным тоном, словно лично у него не было никаких поводов для недовольства, – я знаю, что и вы не стали бы сердиться на бедняжку за то, что она не в силах совладать с собою.

– Раз все вы готовы простить ей, было бы странно и жестоко, если бы я не согласился с вами, – ответил Кленнэм. – Но вот о чем я хотел спросить вас: подумали ли вы про мисс Уэйд?

– Подумал. Правда, лишь после того, как обшарил всю округу, и то самому мне это, верно, не пришлось бы в голову, но когда я вернулся, мамочка и Бэби объявили мне, что для них все ясно: Тэттикорэм у мисс Уэйд. И тут я вспомнил, что она говорила за обедом в тот день, когда вы впервые были у нас.

– Известно ли вам, где можно разыскать мисс Уэйд?

– Правду сказать, вы потому и видите меня здесь, – ответил мистер Миглз, – что какое-то смутное представление на этот счет у меня имеется. Почему-то у нас в доме создалось впечатление – знаете, как это иногда происходит, совершенно необъяснимым образом: вроде бы никто ничего твердо не знает, и в то же время все что-то такое краем уха слышали, – так вот у нас создалось впечатление, что она живет или жила где-то здесь. – Мистер Миглз протянул листок бумаги, на котором значилось название одного из самых унылых переулков в районе Гровенор-сквер, близ Парк-лейн.

– Но здесь нет номера, – сказал Артур, глянув на листок.

– Только номера, мой милый Кленнэм? – отозвался его друг. – Здесь ничего нет! Даже название улицы, можно сказать, взято с воздуха; ведь я же вам говорю, никто из моих домашних не может сказать, от кого они его слышали. Но все-таки наведаться туда стоит; только мне не хотелось отправляться одному, а так как эта непроницаемая женщина была и вашей спутницей по путешествию, я подумал, что, может быть... – Кленнэм избавил его от необходимости договаривать, надев шляпу и объявив, что он готов.

Был пыльный, жаркий, удушливый вечер серого лондонского лета. Они доехали до начала Оксфорд-стрит и, отпустив кэб, нырнули в тянущийся до самой Парк-лейн лабиринт, где вокруг больших, величественно скучных улиц вьются маленькие переулки, гораздо менее величественные, но зато еще более скучные. На перекрестках хмурились в вечернем сумраке дома со множеством безобразных портиков и карнизов – уродливые создания безмозглых мастеров безмозглой эпохи, претендующие на то, чтобы все новые поколения слепо восхищались ими, пока время не обратит их в развалины. А рядом, отнюдь не теша взор, теснились маленькие дома-паразиты, у которых точно повело судорогой весь фасад, от парадной двери, представляющей собой карликовый сколок с дворцового подъезда на площади, и до узенького окошка будуара, выходящего на навозные кучи расположенных по соседству конюшен. Рахитичные особняки с потугой на аристократизм, в которых существовать с комфортом мог разве только дурной запах, выглядели точно хилые отпрыски союзов, заключенных между домами-родственниками; у некоторых прилепленные без надобности фонари и балкончики поддерживались тощими железными колоннами, и казалось, будто они бессильно опираются на костыли. Кой-где шит с гербом, вмещавший в себе всю геральдическую премудрость, маячил над улицей, словно архиепископ, который произносит проповедь о суете сует. Немногочисленные лавки обходились без витрин, подчеркивая этим свое равнодушие к мнению толпы. Кондитер знал, чьи имена значатся у него в книгах, и поэтому не считал нужным выставлять в окне что-либо, кроме вазочки с мятными лепешками и двух-трех банок засахарившегося смородинового варенья. Несколько апельсинов были единственной уступкой простонародным вкусам со стороны зеленщика. Корзинка, высланная мхом, где некогда лежали голубиные яйца, выражала все, что мог сказать черни торговец битой птицей. Улица (как всегда в этот час и в это время года) имела такой вид, словно все обитатели отправились в гости, здесь же никто гостей не ждет. У каждого подъезда бездельничали лакеи, которых яркое разноцветное оперение и белые хохолки делали похожими на последние экземпляры вымершей породы птиц. Порой тут же восседал и дворецкий, солидный мужчина мизантропического склада, убежденный в том, что ни одному дворецкому, кроме него, верить нельзя. Фонарщик уже обходил улицу; экипажи все воротились из Парка, и шкодливые маленькие грумы в тесных, в обтяжку, курточках, с кривыми ногами и не менее кривыми мыслями, прогуливались попарно, пожевывая соломинки и рассказывая друг другу о своих каверзах. Иногда посланного с пору-

чением лакея сопровождали пятнистые доги, которые обычно разъезжали с хозяевами в экипаже, и глаз настолько привык видеть их неотъемлемым атрибутом парадного выезда, что казалось, будто они делают кому-то одолжение, соглашаясь ходить пешком. Пивные, попадавшие здесь редко, не мозолили глаза вывесками; содержатели их не нуждались в расширении клиентуры, и джентльмены, не носящие ливреи, не встречали у них радушного приема.

В этом мистер Миглз и Кленнэм убедились на собственном опыте, когда попробовали навести справки в одном из таких заведений. Ни там, ни в других местах на той улице, где они искали, никто и не слыхивал о мисс Уэйд. Это была одна из улиц-паразитов, длинная, узкая, прямая, однообразная и мрачная – точно похоронная процессия кирпичных фасадов. Друзья расспрашивали всюду, не пропустили ни одного подвала, если видели, что над верхней ступенькой крутой деревянной лесенки торчит голова какого-нибудь меланхолического юнца; но так ничего и не узнали. Они прошли всю улицу из конца в конец, сперва по одной стороне, затем по другой, едва не оглохнув от крика двух газетчиков, надсадно горланивших о необычайном происшествии (которое никогда не происходило и никогда не произойдет); но все было напрасно. Наконец они остановились на том углу, откуда начали обход; уже стемнело, а их поиски все еще ни к чему не привели.

Им несколько раз попался на пути запущенный, по всему судя необитаемый дом с билетиками на окнах, возвещавшими, что он отдается внаймы. Эти билетики среди унылого однообразия похоронной процессии воспринимались почти как украшение. Оттого ли, что дом запомнился им по этому признаку, или оттого, что они дважды прошли мимо, дружно порешив, что «здесь она жить не может», Кленнэм вдруг предложил воротиться и сделать напоследок еще одну попытку. Мистер Миглз согласился, и они повернули назад.

Они постучали, потом позвонили – ответа не было. – «Пусто», – сказал мистер Миглз, прислушавшись. «Еще один раз», – сказал Кленнэм и снова постучал. На этот раз в глубине дома послышалось какое-то движение – кто-то шаркающей походкой шел к двери.

В темноте дверного проема они не могли разглядеть человека, отворившего им; видно было только, что это женщина, и должно быть старая.

– Простите за беспокойство, – обратился к ней Кленнэм. – Не скажете ли вы нам, где живет мисс Уэйд?

Голос из темноты неожиданно ответил:

– Здесь живет.

– А она дома?

Так как ответа не было, мистер Миглз повторил вопрос:

– Скажите, она дома?

Ответ опять последовал не сразу.

– Кажется, дома, – буркнул, наконец, голос. – Да вы войдите, а я схожу узнаю.

Хлопнула дверь, и они почувствовали себя запертыми в этом тесном черном доме. Судя по шороху платья, говорившая отошла от них, и в самом деле, минуту спустя ее голос уже донесся откуда-то сверху:

– Извольте идти сюда; не бойтесь, тут зацепиться не за что.

Они ощупью поднялись по лестнице, туда, где виднелся какой-то тусклый свет – оказалось, это свет уличного фонаря проникал в незанавешенное окно. Хлопнула еще одна дверь, и говорившая исчезла, оставив их в комнате, совершенно лишенной воздуха.

– Странно все это, Кленнэм, – заметил мистер Миглз шепотом.

– Очень странно, – тоже шепотом ответил Кленнэм. – Но мы у цели, это главное. А вот и свет!

Свет был от лампы, которую держала в руках неопрятного вида старуха, вся сморщенная и высохшая.

– Дома, – сказал уже знакомый им голос. – Сейчас выйдет. – Поставив лампу на стол, старуха вытерла руки о фартук – отчего они не стали чище, – посмотрела на посетителей своими мутными глазами и бочком выбралась из комнаты.

Если действительно этот дом занимала теперь та, кого они искали, то, видимо, она жила в нем, как живут в восточных караван-сараях. Квадратный коврик посередине, немного мебели, явно случайного происхождения, да нагроможденные в беспорядке сундуки и другие дорожные принадлежности – вот все, что составляло убранство комнаты. От прежних, более оседлых жильцов, остались

позолоченный столик и трюмо, которые могли бы скрасить угрюмый вид этой душной ловушки; но позолота поблекла, как прошлогодние цветы, а зеркало было таким мутным, точно в нем по волшебству застыли все дожди и туманы, когда-либо там отражавшиеся. Впрочем, посетителям не пришлось долго все это рассматривать: дверь отворилась, и вошла мисс Уэйд.

Она была совершенно такая же, какой они ее помнили, – такая же красивая, такая же надменная, такая же замкнутая. Она не обнаружила при виде их ни удивления, ни каких-либо иных чувств. Она предложила им сесть, но сама сесть не пожелала и сразу приступила к делу, исключив необходимость предисловий.

– Думаю, что не ошибусь, – начала она, – если скажу, что мне известна причина, которой я обязана честью вашего посещения. Давайте сразу о ней и говорить.

– Причина, сударыня, – сказал мистер Миглз, – это Тэттикорэм.

– Я так и полагала.

– Мисс Уэйд, – сказал мистер Миглз, – ответьте мне, прошу вас, вы что-нибудь о ней знаете?

– Разумеется. Я знаю, что она здесь, у меня.

– В таком случае, сударыня, – сказал мистер Миглз, – позвольте довести до вашего сведения, что я всей душой желал бы, чтобы она вернулась, и моя жена и дочь тоже всей душой желали бы этого. Она с малых лет жила в нашей семье; мы помним о своем долге перед нею, и уверяю вас, мы многое готовы принять в расчет.

– Многое готовы принять в расчет? – повторила она ровным, бесстрастным голосом. – Что же именно?

– Мой друг имеет в виду, мисс Уэйд, – вступился Артур, видя замешательство мистера Миглза, – то необоснованное чувство обиды, которое порой заставляет эту бедную девушку горячиться, забывая о сделанном ей добре.

Легкая усмешка тронула губы дамы, к которой он обращался.

– Вот как? – только и обронила она в ответ.

Она стояла у столика, такая спокойная и невозмутимая, что мистер Миглз, точно замороженный, не мог отвести от нее глаз, хотя бы для того, чтобы взглядом попросить Кленнэма сделать следующий ход. После некоторого неловкого молчания Артур сказал:

– Может быть, лучше, если мистер Миглз сам поговорит с нею, мисс Уэйд?

– Это легко устроить, – отвечала она. – Идите сюда, дитя мое. – С этими словами она отворила дверь соседней комнаты и за руку вывела оттуда Тэттикорэм. Любопытную картину они собой представляли, стоя рядом, – девушка, нервным движением, в котором были и гнев и нерешительность, теревшая платок на груди, и мисс Уэйд, внимательно наблюдавшая за ней, сохраняя спокойствие, в котором неоспоримо угадывалась (как под покрывалом угадываются формы окутанного им предмета) неукротимая страстность ее собственной природы.

– Посмотрите, моя милая, – сказала она все тем же ровным голосом. – Вот ваш покровитель, ваш хозяин. Он готов снова принять вас к себе, если вы оцените его великодушие и захотите вернуться. Вы можете снова сделаться фоном, выгодно оттеняющим достоинства его прелестной дочери, рабой ее милых прихотей, игрушкой в доме, наглядным доказательством доброты всего семейства. Можете снова откликаться на нелепую кличку, которая под видом шутки клеймит и выделяет вас – и правильно, вы и должны быть заклеены и выделены (ваше происхождение, моя милая, не забывают о своем происхождении!). Можете снова занять свое место при дочери этого джентльмена, Гарриэт, чтобы постоянно напоминать ей, какая она хорошая, добрая и жалостливая. Можете обрести вновь все эти радости и много других в том же роде, которые вы, верно, вспоминаете сейчас, слушая меня, и которых вам не видать больше, если вы останетесь здесь, – все можете обрести вновь, стоит вам только сказать этим джентльменам, что вы смиренно раскаиваетесь и готовы идти с ними туда, где вас ожидает прощение. Так как же, Гарриэт? Пойдете?

Девушка под действием этих слов волновалась все сильнее и краска гнева все ярче заливала ее щеки. Услышав обращенный к ней вопрос, она сверкнула своими черными глазами, судорожно стиснула в пальцах ткань платья и отвечала:

– Лучше мне умереть!

Мисс Уэйд, по-прежнему не выпуская ее руки, посмотрела на своих незваных гостей и со спокойной улыбкой спросила:

– Что вы на это скажете, джентльмены?

Ошеломленный тем, что можно было так чудовищно исказить его побуждения и поступки, бедный мистер Миглз все это время не мог вымолвить ни слова: только теперь дар речи вернулся к нему.

– Тэттикорэм, – сказал он, – да, я продолжаю называть тебя так, дитя мое, потому что ничего кроме ласки и любви это имя не выражает, и ты сама прекрасно знаешь это...

– Нет, не знаю! – вскричала она, снова сверкнув глазами и вцепившись пальцами себе в грудь.

– Да, сейчас, может быть, и не знаешь, – продолжал мистер Миглз, – сейчас, Тэттикорэм, пока ты чувствуешь на себе взгляд этой дамы (она на миг вскинула глаза на ту, о ком шла речь) и пока подчиняешься ее влиянию, как это не трудно видеть. Но потом ты согласишься, что я прав. Тэттикорэм, я не стану спрашивать эту даму, верит ли она собственным словам, сказанным в злобе и раздражении – ни я, ни мой друг мистер Кленнэм в этом не сомневаемся, хоть она и умеет обуздывать свои чувства с самообладанием, которому нельзя не удивляться. Я не стану спрашивать, веришь ли этим словам ты, выросшая в моем доме, в моей семье. Скажу только, что никто из нас не ждет от тебя никаких зарок или просьб о прощении. Об одном прошу тебя, Тэттикорэм: сосчитай до двадцати пяти.

Она посмотрела на него исподлобья и сказала:

– Не буду. Мисс Уэйд, пожалуйста, уведите меня отсюда.

Страсти, расхлывшиеся в ней, уже не знали удержу; трудно сказать, чего тут было больше, гнева или упрямства. Щеки ее пылали, дыхание прерывалось, кровь билась в висках, все ее существо словно восставало против возможности исправить сделанное.

– Не буду! Не буду! Не буду! – твердила она глухим, сдавленным голосом. – Хоть режьте, не буду! Хоть убейте, не буду!

Мисс Уэйд, выпустив руку девушки, обняла ее за плечи, словно в защиту, потом оглянулась и повторила с прежней улыбкой и прежним тоном:

– Что вы на это скажете, джентльмены?

– О Тэттикорэм, Тэттикорэм! – воскликнул мистер Миглз и простер к ней руки, точно заклиная ее. – Вслушайся в голос этой женщины, посмотри на ее лицо, попробуй заглянуть к ней в душу, и подумай, что ждет тебя впереди! Ты сейчас находишься под ее влиянием – нам странно и даже страшно видеть, как оно велико, – но ты не понимаешь, что это – влияние природы еще более страстной, еще более неукротимой, чем твоя. Что может выйти из такого союза? К чему он приведет?

– Я здесь одна, джентльмены, – произнесла мисс Уэйд, не изменив ни голоса, ни тона. – Вы можете говорить все что вам угодно.

– Тут не до вежливости, сударыня, когда речь идет о всей жизни этой бедной, запутавшейся девушки, – сказал мистер Миглз, – но все же я сумею держать себя в границах, даже глядя на то, как вы губите ее. Простите, если я напому вам в ее присутствии – это необходимо, – что в ту пору, когда, на свою беду, она повстречалась с вами, вы были всем нам чужой и для всех нас загадкой. Я и сейчас не знаю, кто вы такая, но злобную душу свою вы не скрыли, не могли скрыть. И если вы одна из тех несчастных, которые бог весть почему испытывают мрачную радость, делая столь же несчастными и своих сестер (слыхал я о таких за свою долгую жизнь), я должен сказать ей: «Берегись этой женщины!», а вам я скажу: «Берегитесь самой себя».

– Джентльмены, – невозмутимо сказала мисс Уэйд, – когда вы кончите – мистер Кленнэм, может быть, вы внушите своему другу...

– Нет, я сделаю еще одну попытку, – твердо возразил мистер Миглз. – Тэттикорэм, дорогая моя, бедная девочка, сосчитай до двадцати пяти.

– Вам протягивают руку помощи и участия, не отвергайте же ее, – сказал Кленнэм негромко, но с глубоким волнением. – Воротитесь к друзьям, чью доброту едва ли вы могли позабыть. Одумайтесь, пока не поздно.

– Ни за что!.. Мисс Уэйд, – сказала девушка, схватившись за грудь и тяжело дыша, – уведите меня, пожалуйста.

– Тэттикорэм, – воскликнул мистер Миглз, – последний раз прошу тебя, дитя мое, – только об одном прошу: сосчитай до двадцати пяти!

Она зажала уши так порывисто, что ее черные, блестящие волосы рассыпались по плечам, и с решительным видом отвернулась к стене. Мисс Уэйд наблюдала за ней, так же многозначительно и

странно усмехаясь и так же приложив руку к груди, как в Марселе, при первой их встрече. Затем она обняла ее, словно навсегда утверждая свою власть над нею, и с нескрываемым торжеством взглянула на обоих мужчин.

– Вы жаловались, что не знаете, кто я такая, и удивлялись моему влиянию на эту девушку, – сказала она. – Так узнайте же на прощанье – ибо я едва ли буду иметь честь встретиться с вами еще, – что это влияние основано на общности наших судеб. Обстоятельства моего рождения такие же, как у вашей разбитой игрушки. У нее нет имени, и у меня его тоже нет. Ее страдания – мои страдания. Больше мне вам нечего сказать.

Последнее относилось к мистеру Миглзу, который ничего не ответил и печально побрел к выходу. Когда Кленнэм повернулся, чтобы последовать за ним, мисс Уэйд заговорила снова, все с тем же внешним бесстрашием, тем же ровным голосом и с той же усмешкой, свойственной лишь жестоким людям – это скорее тень усмешки, которая приподнимает ноздри, почти не раздвигая губ, и не изглаживается постепенно, а сразу пропадает, когда она больше не нужна.

– Я желаю, – сказала мисс Уэйд, – жене вашего дорогого друга, мистера Гоуэна, насладиться всеми преимуществами своего происхождения, столь отличного от происхождения этой девушки и моего, и тем счастьем, которое сулит ей благосклонная судьба.

Глава XXVIII ***Конец ничьей мечты***

Не успокоившись на своей неудаче, мистер Миглз обратился к беглянке и к мисс Уэйд с письменными увещаниями, каждое слово которых дышало добротой. Но оба послания остались без ответа, равно как и третье, которое упрямыце написала ее бывшая барышни и от которого ее сердце неминуемо должно было смягчиться, если еще окончательно не очерствело (все три письма спустя несколько недель были возвращены, как непринятые адресатом). Мистер Миглз, не желая сдаваться, отрядил для личных переговоров миссис Миглз. Но и эта попытка не увенчалась успехом: почтенную даму попросту не впустили в дом. Тогда мистер Миглз стал просить Артура попытаться счастья в последний раз. Артур с готовностью принял на себя эту миссию, но ему только удалось обнаружить, что дом брошен на попечение уже известной им старухи, что мисс Уэйд уехала, что беспризорная мебель вывезена и что старуха с благодарностью принимает полукроны в любом количестве, но не имеет ничего предложить в обмен на эту наличность, кроме инвентарной описи, которую вывесил в сенях клерк агента по недвижимости.



Но даже и это не заставило мистера Миглза отказаться от дальнейших попыток и отрезать неблагодарной путь к возвращению на случай, если доброе начало в ее душе возьмет верх над строптивостью нрава; и шесть дней подряд он помешал в утренних газетах весьма хитро составленное объявление, в котором говорилось, что молодая особа, необдуманно покинувшая свой дом некоторое время тому назад, может обратиться по нижеследующему адресу (указывался коттедж мистера Миглза в Туикнеме), где она будет принята, как будто ничего не случилось, и не услышит ни упреков, ни обвинений. Последствия этого обращения к гласности открыли потрясенному мистеру Миглзу, что число молодых особ, необдуманно покидающих свой дом, очевидно достигает в Англии нескольких сот в день; ибо в Туикнем шли косяки молодых особ, которые, не встретив восторженного приема, обычно настаивали на возмещении морального ущерба плюс стоимость проезда в оба конца. Но это были не единственные неожиданные всходы, принесенные объявлением. В бесчисленных просительных письмах, авторы которых, видимо, только и стерегут, не мелькнет ли где хоть малюсенький крючочек, за который можно зацепиться, говорилось, что такой-то или такой-то, прочитав объявление, позволяет себе обратиться к мистеру Миглзу со скромной просьбой – дальше определялись размеры скромной просьбы, колебавшиеся от десяти шиллингов до пятидесяти фунтов, – он, правда, не располагает никакими сведениями касательно молодой особы, но зато глубоко убежден, что доброхотное даяние облегчит душу мистера Миглза. Несколько изобретателей воспользовались случаем вступить с мистером Миглзом в переписку и уведомляли его, что прослышали об его объявлении через одного знакомого и что если когда-нибудь что-нибудь узнают о молодой особе, то сочтут своим долгом тотчас же поставить его в известность; а пока что ему представляется случай облагодетельствовать человечество, ссудив автора письма средствами, необходимыми для усовершенствования модели насоса самоновейшей системы.

Обескураженные таким множеством неудач, мистер Миглз и его домашние волей-неволей начали мириться с мыслью, что Тэттикорэм не вернуть. Так обстояли дела, когда однажды в суббот-

ний день два джентльмена, недавно объединившие свою деятельность под фирмой «Дойс и Кленпэм», покинули Лондон, чтобы провести конец недели в знакомом нам туикнемском коттедже. Старший компаньон фирмы поехал дилижансом, младший предпочел пойти пешком.

Мирный летний закат озарял приречные луга, через которые ему пришлось проходить, когда он уже приближался к цели. Он шел, наслаждаясь тем чувством отдыха и беззаботной легкости, которое всегда вызывает в душе горожанина сельская тишина. Все, что он видел перед собой, исполнено было тихого очарования. Густая листва деревьев, сочная трава с яркими пятнами полевых цветов, зеленые речные островки, заросли камыша, кувшинки, покачивающиеся на воде, звук голосов, доносимый откуда-то издали ветерком и речными волнами, – все дышало покоем. Взметнется ли рыба в воде, весло ли плеснет, защебечет ли запоздалая пташка, послышится ли собачий лай или мычанье коровы – в каждом звуке он слышал этот покой, вдыхал его с каждым дуновением вечернего воздуха, напоенного ароматами земли. Божественное спокойствие было в багряных и золотых полосах, протянувшихся над горизонтом, в мягких лучах заходящего солнца. Тишина осеняла лиловатые кроны далеких деревьев и зелень ближних холмов, над которыми уже тоже сгустился сумрак. Между ландшафтом и его отражением в воде, казалось, не существовало грани – оба были так безмятежны, так умиротворяюще прекрасны, хоть над ними и тяготела великая тайна жизни и смерти, что душа глядевшего на них исполнялась радостью и надеждой.

Кленнэм остановился – в который уже раз, – чтобы глубже вобрать в себя все впечатления окружающей природы, и несколько минут постоял, глядя, как наползают на реку вечерние тени. Когда он снова тронулся в путь, он вдруг увидел впереди на тропинке фигуру, которая, быть может, и раньше вплеталась в его мечты, навеянные чарующим вечером.

Да, это была Минни, одна, с небольшим букетом роз в руках. Она стояла посреди тропинки, лицом к Кленнэму, как будто шла навстречу и, завидя его, остановилась. Какое-то волнение чувствовалось в ней, которого Кленнэм никогда раньше не замечал; и ему пришло в голову, что она очутилась здесь не случайно, а потому что желала поговорить с ним.

Она подала ему руку и сказала:

– Вы удивлены, видя меня здесь одну? Но вечер такой чудесный, что я увлеклась прогулкой и зашла дальше, чем думала. Кроме того, я предполагала, что встречу вас, и это придало мне уверенности. Ведь вы всегда ходите этой дорогой, правда?

Кленнэм подтвердил, что предпочитает эту дорогу другим; но тут рука, опиравшаяся на его руку, дрогнула, а розы в ней затрепетали.

– Возьмите розу, мистер Кленнэм. Я собрала этот букет в саду, по дороге сюда. В сущности, я его собрала для вас, ведь я ожидала вас встретить. Мистер Дойс приехал час тому назад и сказал, что вы идете пешком.

На этот раз задрожала его рука, принимавшая от нее цветок. Они дошли до начала аллеи, обсаженной густыми деревьями, и свернули туда. Она ли, он ли сделал к тому первое движение, не все ли равно? Он сам не знал, как это случилось.

– Как здесь торжественно, – сказал Кленнэм. – Впрочем, такая торжественность идет к этому вечернему часу. И потом это, пожалуй, самый короткий путь. Проходишь под этими темными сводами и, выйдя снова на свет, оказываешься у переправы, а там до коттеджа уже рукой подать.

В легком платье и простенькой соломенной шляпе на каштановых локонах, оттенявшей ее большие прекрасные глаза, в доверчивом взгляде которых сквозила тень робкой печали, точно ей было жаль его, она была так хороша, что он мог только радоваться – или огорчаться, он сам не знал, что разумнее, – тому героическому решению, о котором ему так часто приходилось вспоминать.

Она помолчала немного, потом спросила, известно ли ему, что папа замыслил новое путешествие. Он сказал, что мистер Миглз упоминал об этом в разговоре. Она опять помолчала, потом, словно бы нерешительно, добавила, что теперь папа уже отказался от этой мысли.

И сразу же у него в голове пронеслось: «Она выходит замуж!»

– Мистер Кленнэм, – начала она снова, еще более нерешительно и смущенно, и так тихо, что он должен был склонить к ней голову, чтобы расслышать. – Мне бы очень хотелось поговорить с вами откровенно, если вы не откажетесь выслушать меня. Мне уже давно этого хочется, потому что – потому что я знаю, что у нас нет лучшего друга, чем вы.

– Я могу лишь гордиться вашим доверием, когда бы вы мне его ни оказали. Прошу вас, говори-

те! Вы можете положиться на меня.

– Я никогда не сомневалась в том, что могу на вас положиться, – отвечала она, подняв на него свой чистый, правдивый взгляд. – И я, верно, давно уже заговорила бы, если бы знала, как начать. Но я и сейчас не знаю, как начать.

– Мистеру Гоуэну, – сказал Артур Кленнэм, – выпало большое счастье. Благослови господь его жену и его самого!

Она хотела поблагодарить его, но внезапные слезы помешали ей. Он стал ее успокаивать, взял остальные розы, все еще трепетавшие у нее в руке, и поднес эту руку к губам. Только в эту минуту угас тоненький луч надежды, так долго сжимавший тревогой и болью ничье сердце; и словно за одно мгновение постарев, он сразу показался себе пожилым человеком, для которого эта сторона жизни уже не существует.

Он спрятал розы у себя на груди и снова предложил ей руку. Некоторое время они медленно и безмолвно шли под сводом густой листвы. Потом он спросил веселым, ласковым тоном, нет ли еще чего, о чем она хотела бы сказать ему, как другу своего отца, который в то же время и ее друг, хоть он и старше ее на много лет, – не может ли он оказать ей какую-нибудь услугу, помочь в чем-нибудь? Ему так отраднo было бы сознавать, что он хоть немного содействовал ее счастью.

Она хотела было ответить, но тут у нее опять подступили к глазам слезы – то ли печали, то ли сострадания, кто знает? – и она воскликнула:

– О мистер Кленнэм! Добрый, великодушный мистер Кленнэм! Скажите, что вы не сердитесь на меня!

– Сердиться на вас? – отозвался Кленнэм. – Дорогая моя девочка! Мне сердиться на вас? Господь с вами!

Она крепко ухватила за его руку обеими руками и, доверчиво заглядывая ему в лицо, торопливо и бессвязно стала говорить о том, что благодарна ему от глубины сердца (и если там, в этой глубине, рождается искренность, то так оно и было). Он то шуткой, то добрым словом старался ее ободрить, и в конце концов она успокоилась, и они медленно и безмолвно пошли дальше под сводом темнеющей листвы.

– Так как же, Минни Гоуэн, – немного спустя сказал Кленнэм с улыбкой, – стало быть, вам не о чем и попросить меня?

– Ах, мне о многом нужно вас просить!

– Тем лучше! А то уж я боялся, что буду разочарован в своих надеждах.

– Вы знаете, как меня любят дома и как я люблю свой родной дом, – взволнованно заговорила она. – Может быть, вы в этом усомнитесь, дорогой мистер Кленнэм, раз я сама, по своей воле ухожу отсюда, но я в самом деле очень, очень люблю его!

– Я в этом совершенно уверен, – сказал Кленнэм. – Неужели вам кажется, что я мог бы думать иначе?

– Нет, нет! Но мне и самой непонятно, как это я решаюсь покинуть родной дом, где меня окружают такой любовью и который я сама так люблю. Когда я об этом думаю, я кажусь себе черствой, неблагодарной.

– Милая моя девочка, – сказал Кленнэм, – это ведь естественный ход событий, перемена, которую время делает неизбежной. Все девушки рано или поздно покидают родной дом.

– Да, верно; но не в каждом доме становится так пусто, как станет здесь после моего отъезда. Я знаю, что есть множество девушек и лучше меня, и добрей, и умнее – я немножого стою сама по себе, но для них я дороже всего на свете.

Любящее сердце Бэби не выдержало нарисованной ею перспективы, и она горько разрыдалась.

– Я знаю, как папе будет первое время тяжело без меня, знаю, что я уже не смогу быть для него тем, чем была до сих пор. И вот моя просьба к вам, мистер Кленнэм: умоляю вас, не забывайте его хотя бы это первое время, навешайте его, когда ваши занятия позволят вам, говорите ему о том, как я его люблю – теперь, расставаясь с ним, быть может, больше, чем когда-либо в жизни. Я прошу об этом именно вас, потому что он ни к кому не питает такого расположения, как к вам – только нынче он мне говорил об этом.

Кленнэм вдруг представил себе, что произошло между отцом и дочерью; от этой мысли сердце дрогнуло у него, как от удара, и на глаза навернулись слезы. Он чеством заверил ее, что все сделает по

ее просьбе, что она может быть совершенно спокойна, и постарался сказать это как можно веселее – но особой веселости не получилось.

– О маме я не говорю, – продолжала Бэби; ее искреннее волнение, ее личико, еще похорошевшее от слез, все это даже сейчас было больше, чем мог вынести Кленнэм, и чтобы не смотреть на нее, он снова и снова прилежно пересчитывал деревья, которые им еще оставалось пройти до светлевшего вдаль выхода из аллеи, – маме легче будет понять меня; она и скучать будет по-другому и о будущем станет думать по-другому. Но вы знаете, какая она преданная, любящая мать, и вы ее тоже не забудете – обещаете?

Минни может положиться на него, сказал Кленнэм; все будет так, как она хочет.

– И еще одно, дорогой мистер Кленнэм, – сказала Минни. – Видите ли, папа и – ну, вы сами знаете кто, еще не успели понять и оценить друг друга по-настоящему; разумеется, со временем это придет; моим первым долгом, гордостью и радостью всей моей новой жизни будет помочь тому, чтобы они оба, так нежно любящие меня, лучше узнали друг друга, полюбили друг друга, научились дорожить и гордиться друг другом. Так помогите же мне, милый, хороший человек, этот долг исполнить! Когда меня не будет здесь (а я уеду очень далеко), постарайтесь расположить папу к нему, представьте его таким, каков он на самом деле; вы можете это сделать, папа так прислушивается к вашему мнению. Обещаете вы мне это, мой добрый, благородный друг?

Бедная Бэби! Какое заблуждение, какая детская наивность! Разве можно искусственно изменить сложившиеся человеческие отношения – разве можно внушить расположение к тому, кого не приемлет душа? Многие дочери до тебя мечтали о том же, Минни, и никогда из этого ничего не выходило; все попытки кончались неудачей.

Так думал Кленнэм. Но вслух он этого не сказал: поздно уже было говорить. Он дал ей слово исполнить все, о чем она просила; и она не сомневалась, что он это слово сдержит.

Они дошли до последних деревьев аллеи. Она остановилась и высвободила свою руку. Подняв на него взгляд, дрожащими пальцами теребя лепестки розы, выглядывавшей из-за борта его сюртука – словно для того, чтобы жест подкрепил мольбу, выраженную словами, – она сказала:

– Дорогой мистер Кленнэм, сейчас, когда я так счастлива, – а я в самом деле счастлива, вы не смотрите на мои слезы, – мне было бы тяжело думать, что между нами осталась хоть тень недомолвки. Может быть, я в чем-нибудь виновата перед вами (намеренно я не могла вас обидеть, но ведь подчас причиняешь обиду, сам того не ведая и не желая) – так простите же меня сегодня от всей широты вашего благородного сердца.

Он наклонился к этому лицу, невинно тянувшемуся ему навстречу. Он поцеловал этот чистый лоб и ответил, что бог свидетель, никакой вины за ней нет. Но когда он еще раз наклонился к ней, она шепнула: «Прощайте!» – И он в ответ повторил то же. Этим коротким словом он простался со всеми своими былыми надеждами – со всеми мучительными сомнениями ничьей души. Еще мгновение, и они вышли из аллеи, рука об руку, так же, как и вошли; и деревья сомкнулись за ними, словно хороня во мгле то, чему не суждено было сбыться.

В саду, недалеко от калитки, слышались голоса мистера Миглза, миссис Миглз и Дойса. Кленнэм уловил имя Бэби, произнесенное кем-то из них, и поторопился крикнуть: «Она здесь, со мной!» В ответ раздались возгласы удивления и смех; но все это утихло, как только они встретились, и Бэби тотчас же ускользнула в дом.

Мистер Миглз, Дойс и Кленнэм молча прошли несколько раз вдоль реки, над которой уже всходила луна. Потом Дойс отстал и вернулся в коттедж, а Кленнэм и мистер Миглз еще несколько раз прошли молча взад и вперед, прежде чем последний, наконец, заговорил:

– Артур, – сказал он, впервые за все время знакомства называя его просто по имени. – Помните то знойное утро, когда мы вот так же прогуливались с вами над марсельской гаванью и я рассказывал вам, что, хотя сестра Бэби умерла ребенком, для меня и для мамочки она словно бы продолжала расти и меняться вместе с Бэби?

– Очень хорошо помню.

– Помните, я вам говорил, что мысленно мы никогда не могли отделить близнецов друг от друга и что в нашем воображении все, что случалось с Бэби, случалось и с ее сестрой?

– И это помню.

– Артур, – произнес мистер Миглз с печалью в голосе, – сегодня у меня снова разыгралось во-

ображение. Мне сегодня кажется, дорогой друг, будто вы всем сердцем любили мою покойную дочку и потеряли ее, когда с нею произошло то, что сейчас происходит с Бэби.

– Благодарю вас, – тихо проговорил Кленнэм, – благодарю! – и он с чувством пожал ему руку.

– Пожалуй, пора домой, – сказал мистер Миглз после небольшой паузы.

– Я скоро приду.

Мистер Миглз повернул к дому, и Артур остался один. Он еще побродил с полчаса над рекой, серебрившейся в мирном сиянии луны, потом заложил руку за борт сюртука и осторожно вытянул спрятанные там розы. Прижал ли он их на миг к сердцу, или, может быть, к губам – кто знает? Достоверно одно: он нагнулся и бережно опустил их в реку. Бледные и призрачные в лунном свете, они закачались на воде, и течение унесло их прочь.

Когда Кленнэм вернулся в дом, там уже горели огни, и в их ярких отсветах все лица, в том числе и его лицо, казались спокойными и радостными. Незаметно скоротали за беседой вечер (старший компаньон был нынче в ударе, и сыпал рассказами, не давая никому скучать) – и разошлись на покой. А меж тем цветы, бледные и призрачные в лунном свете, плыли все дальше, уносимые течением. Так и в жизни многое, чем некогда полна была душа и сердце, уплывает от нас, чтобы затеряться в океане вечности.

Глава XXIX

Миссис Флентвинч продолжает видеть сны

Пока происходили все эти события, ничто не нарушало унылой скуки дома в Сити и ничто не менялось в раз навсегда заведенном повседневном обиходе больной. Утро, полдень, вечер, утро, полдень, вечер чередовались с неуклонным постоянством, точно без конца повторяющийся неторопливый перестук одних и тех же частей часового механизма.

Кресло на колесах хранило, верно, немало воспоминаний и дум, как всякое место, где влачит свои дни человеческое существо. Улицы, дома, люди – сколько их пронеслось, должно быть, перед мысленным взором больной в долгие томительные вечера; и хотя иных улиц давно уже не существовало, дома были перестроены до неузнаваемости, а люди успели состариться, она продолжала видеть их такими, какими они были много лет назад.



Такова слабость многих прикованных к постели инвалидов, болезненное заблуждение почти всех затворников – им кажется, что часы жизни остановились в тот миг, когда сами они перестали принимать в ней деятельное участие, что все человечество замерло на месте, как только они оказались обречены на неподвижность; они не способны судить о переменах, совершающихся за пределами их кругозора, иначе, как по собственному убогому, однообразному существованию.

Какие сцены, какие лица чаще всего оживали в памяти этой суровой женщины среди тишины мрачной комнаты, которой она не покидала ни зимой, ни летом? На этот вопрос никто, кроме нее самой, не мог бы ответить. Быть может, мистер Флинтвинч, изо дня в день сверля ее видом своей скривленной физиономии, и досверлился бы в конце концов до ответа, если б материал был более податлив; но с ней он справиться не мог. Что же до миссис Эффери, то у нее довольно было собственных забот: растерянно таращить глаза на своего повелителя и на свою больную госпожу, кутать голову передником, если нужно пройти по дому после наступления темноты, всегда прислушиваться в ожидании непонятных шумов и шорохов, иногда в самом деле слышать их, и никогда не выходить из странного, смутного, дремотного состояния, похожего на лунатический сон.

Насколько могла судить миссис Эффери, в делах фирмы наступило оживление; по крайней мере ее супруг теперь постоянно корпел в своей тесной конторе над бумагами или принимал посетителей, которых являлось гораздо больше, чем в последние годы (что, впрочем, еще не значит – много, так как в последние годы фирма была совсем заброшена клиентами). Письма, счета, разговоры с людьми – все это занимало у мистера Флинтвинча немало времени. Кроме того, он и сам наведывал-

ся в другие торговые дома, бывал на причалах и в доках, на бирже и в таможне, в кофейне Гэрроуэя и в кофейне «Иерусалим»,⁶⁶ – словом, целый день то приходил, то уходил. А вечерами, если миссис Кленнэм не выражала особого желанья наслаждаться его обществом, он часто захаживал в ближнюю таверну, просматривал списки прибывших судов и биржевые отчеты за день и даже успевал перекинуться дружеским словечком с каким-нибудь шкипером, завсегдаем заведения. Но каждый день он непременно выбирал час-другой для делового разговора с миссис Кленнэм, и Эффери, которая вечно сновала всюду, прислушиваясь и приглядываясь, решила, что умники наживают большие барыши.

Оторопелое состояние, в котором неизменно пребывала теперь благоверная мистера Флинтвинча, сказывалось в каждом ее взгляде, в каждом поступке, и вскоре умники пришли к убеждению, что эта почтенная особа, никогда не отличавшаяся сообразительностью, окончательно выжила из ума, а потому вовсе перестали обращать на нее внимание. Считал ли мистер Флинтвинч, что по своей наружности она не слишком подходит для супруги негоцианта, или он опасался, как бы она не повредила ему в мнении клиентов (раз, мол, человек жену не умел выбрать, так чего от него и ждать), но только ей был дан строжайший приказ: об их супружеских отношениях не заговаривать и при посторонних его Иеремией не называть. А так как она частенько забывала об этом приказе и мистер Флинтвинч в наказание за подобную забывчивость ловил ее на лестнице и тряс изо всех сил, то она всегда находилась в ожидании очередной расправы, и от этого у нее был еще более испуганный вид.

В комнате миссис Кленнэм Крошка Доррит, прилежно трудившаяся с самого утра, подбирала с полу нитки и обрезки материи, прежде чем уйти домой. Мистер Панкс, которого Эффери только что ввела в комнату, справлялся у миссис Кленнэм о ее здоровье от имени своего хозяина, пояснив, что ему «случилось быть неподалеку», вот он и зашел. Миссис Кленнэм смотрела на него, сурово сдвинув брови.

– Мистеру Кэсби известно, что в моем положении перемен не бывает, – сказала она. – Единственная перемена, которой я жду, – великая перемена.

– Неужели, сударыня? – откликнулся Панкс, скосив глаза в сторону маленькой швеи, которая на коленях ползала по ковру, собирая нитки и лоскутки, оставшиеся после ее работы. – Но вы отлично выглядите, сударыня.

– Я несу то, что мне положено нести, – отвечала она. – Делайте и вы то, что вам положено делать.

– Благодарю вас, сударыня, – сказал мистер Панкс. – Я и то стараюсь.

– Вам, видно, часто случается бывать неподалеку, – заметила миссис Кленнэм.

– Да, сударыня, довольно часто, – сказал мистер Панкс. – Последнее время у меня чуть не каждый день дела в этой стороне. То одно, то другое.

– Передайте мистеру Кэсби и его дочери, что я прошу их не затрудняться расспросами о моем здоровье через третьих лиц. Если им угодно меня видеть, они знают, что я всегда дома. Им незачем беспокоить себя и других лиц. И вам самому незачем беспокоиться.

– Помилуйте, сударыня, какое же тут беспокойство, – сказал мистер Панкс. – А выглядите вы в самом деле отлично, сударыня, я бы даже сказал – превосходно.

– Благодарю вас, покойной ночи!

Эти слова и палец протянутой руки, указывавший на дверь, были столь выразительны и недвусмысленны, что мистер Панкс не счел возможным задерживаться долее. Он взъерошил волосы с самым непринужденным видом, еще раз покосился на маленькую фигурку, копошившуюся на полу, сказал:

– Покойной ночи, сударыня. Не трудитесь провожать меня, миссис Эффери; я дорогу знаю, – и на всех парах направился к выходу. Миссис Кленнэм, подперев рукой подбородок, внимательно смотрела ему вслед сумрачным, подозрительным взглядом; а Эффери, точно завороченная, не спускала глаз со своей госпожи.

Но вот миссис Кленнэм медленно и задумчиво отвела взгляд от двери, в которую вышел мистер

⁶⁶ ...в кофейне Гэрроуэя и в кофейне «Иерусалим». – Кофейня Гэрроуэя основана Томасом Гэрроуэем в XVII веке; излюбленное место заключения деловых сделок. В кофейне «Иерусалим» постоянно бывали индийские и австралийские купцы.

Панкс, и устремила его на Крошку Доррит, только что поднявшуюся с ковра. Слегка нахмурясь, вдавлив подбородок в ладонь, больная пристально смотрела на нее до тех пор, пока не заставила оглянуться. Под ее зорким, испытующим взглядом Крошка Доррит смешалась, покраснела и опустила глаза. Миссис Кленнэм продолжала смотреть на нее по-прежнему.

– Крошка Доррит, – сказала она, наконец. – Что вы знаете об этом человеке?

– Очень немного, сударыня. Я видела его несколько раз, и однажды он заговорил со мной, вот, пожалуй, и все.

– Что же он вам сказал?

– Я не слишком хорошо поняла его, он говорил так странно. Но ничего грубого или неприятного в его словах не было.

– Зачем он старается увидеть вас здесь?

– Не знаю, сударыня, – чистосердечно отвечала Крошка Доррит.

– Но вы понимаете, что это из-за вас он является сюда?

– Мне это приходило в голову, – сказала Крошка Доррит. – Только я ума не приложу, зачем ему нужно меня видеть, здесь или где бы то ни было.

Миссис Кленнэм вперила глаза в пол и задумалась о чем-то с той же напряженной сосредоточенностью, с какой минуту назад разглядывала тоненькую фигурку, которую сейчас, видимо, перестала замечать. Несколько минут прошло, прежде чем она очнулась от раздумья и приняла свой обычный сурово-непроницаемый вид.

Крошке Доррит пора было уходить, но она медлила, опасаясь потревожить миссис Кленнэм в ее задумчивости. Наконец она отважилась сойти со своего места и тихонько направилась к двери. Поравнявшись с креслом на колесах, она остановилась, чтобы пожелать больной покойной ночи.

Миссис Кленнэм протянула руку и положила ей на плечо. Крошка Доррит невольно вздрогнула, смущенная этим неожиданным жестом. Быть может, ей вспомнилась на миг сказка о Принцессе.

– Скажите мне, Крошка Доррит, – спросила миссис Кленнэм. – Много у вас друзей?

– Очень мало, сударыня. Кроме вас, только мисс Флора и – и еще один человек.

– Этот? – спросила миссис Кленнэм, снова указывая негнуцимым пальцем на дверь.

– О нет, сударыня!

– В таком случае, кто-нибудь из его знакомых?

– Нет, что вы, сударыня. – Крошка Доррит решительно покачала головой. – Нет, нет! Тот человек совсем не похож на него и не имеет с ним ничего общего.

– Ну, бог с ним, – сказала миссис Кленнэм, почти улыбаясь. – Это не мое дело. Я только потому спрашиваю, что отношусь к вам с участием; и если не ошибаюсь, я была вашим другом тогда, когда у вас других друзей не было. Разве это не так?

– Так, сударыня; именно так. Не раз бывало время, когда, если бы не вы и не работа, которую я у вас получала, мы должны были бы отказывать себе решительно во всем.

– Мы? – повторила миссис Кленнэм, взглянув на часы своего покойного мужа, всегда лежавшие перед нею на столе. – А много ли вас?

– Сейчас остались только мы с отцом – я хочу сказать, нам с отцом приходится содержать только самих себя.

– А что, вы испытали много лишений – вы, ваш отец и кто там еще у вас есть? – спросила миссис Кленнэм с рассчитанной небрежностью, задумчиво вертя часы в руках.

– Иногда нам приходилось нелегко, – сказала Крошка Доррит своим тихим, робким голосом, и как всегда без тени жалобы, – но я думаю, не тяжелее, чем приходится многим.

– Хорошо сказано! – живо откликнулась миссис Кленнэм. – Совершенно справедливо! Вы хорошая, разумная девушка. И вы умеете быть благодарной, если я не обманываюсь в вас.

– Это вполне естественно и никакой заслуги тут нет, – сказала Крошка Доррит. – Как же мне не быть благодарной вам?

Миссис Кленнэм с ласковостью, на каковую сновидица Эффери даже во сне не могла бы счесть ее способной, притянула к себе маленькую швею и поцеловала в лоб.

– Ну, ступайте, Крошка Доррит! – сказала она. – Не то опоздаете, бедное мое дитя.

Ни в одном из снов, смущавших покой миссис Эффери с тех пор, как за нею стала водиться эта особенность, не видела она ничего более удивительного. Этак ей чего доброго следующий раз

приснится, как и другой умник целует Крошку Доррит, а потом – как оба умника бросаются друг другу в объятия и дружно льют слезы любви к человечеству. От такого предположения у миссис Эффери закружилась голова, и она едва не скатилась с лестницы, провожая Крошку Доррит к выходу, чтобы запереть за ней на все засовы дверь.

Выпуская Крошку Доррит из этой двери, она вдруг обнаружила, что мистер Панкс вовсе не ушел – как следовало бы ожидать в менее таинственном месте и при менее таинственных обстоятельствах, – а нетерпеливо снует взад и вперед по палисаднику перед домом. Как-только он завидел Крошку Доррит, он повернул ей наперерез и, поравнявшись с нею, пробормотал, приложив палец к носу: «Панкс-цыган, предсказатель будущего!» – после чего немедленно скрылся из виду.

– Господи твоя воля, вот теперь еще цыгане и предсказатели будущего, – воскликнула миссис Эффери, явственно расслышавшая его слова. – Только этого тут недоставало!

Эта новая загадка совсем ошеломила ее, и она медлила в дверях, несмотря на разыгравшееся ненастье. Дождь лил все сильнее, тучи стремглав неслись по небу, ветер налетал порывами, хлопал где-то оторванными ставнями, вертел ржавыми флюгерами и колпаками печных труб, и так бесновался на соседнем маленьком кладбище, как будто задумал выдуть всех покойников из могил. А глухие раскаты грома, сотрясавшие небо, точно грозили возмездием за подобное святотатство, упорно твердя: «Мертвых не тревожь! Мертвых не тревожь!»

В миссис Эффери страх перед громом и молниями боролся со страхом перед сверхъестественными силами, притаившимися во мраке зловеще притихшего дома, и она стояла на пороге, колеблясь, входить в дом или нет – как вдруг резкий порыв ветра положил конец ее колебаниям, захлопнув за нею дверь.

– Что теперь делать, что теперь делать! – вскричала миссис Эффери, в ужасе ломая руки: сон на этот раз принимал и вовсе дурной оборот. – Ведь в доме никого нет, кроме нее, а ей так же невозможно выйти из своей комнаты, как мертвецу из могилы!

Накинув передник на голову в защиту от дождя, миссис Эффери с плачем металась по узкой мощеной дорожке, не зная, что предпринять. Наконец она снова подбежала к двери и, нагнувшись, прильнула глазом к замочной скважине. Зачем, трудно сказать – едва ли она надеялась, что от ее взгляда ключ повернется в замке: однако точно так же поступили бы на ее месте многие.

Вдруг она вскрикнула и выпрямилась, почувствовав, как что-то тяжелое легло на ее плечо. Это была рука – мужская рука.

Человек, которому принадлежала эта рука, был одет по-дорожному, в картуз с меховой опушкой и широченный плащ. По виду он походил на иностранца. У него была густая, черная как смоль шевелюра, такие же усы, только на концах отливавшие рыжиной, и большой крючковатый нос. Он засмеялся, видя испуг миссис Эффери; и при этом усы его вздернулись вверх, к носу, а нос загнулся вниз, к усам.

– Что с вами? – спросил он на чистейшем английском языке. – Чего вы испугались?

– Вас, – с трудом выговорила Эффери.

– Меня, сударыня?

– Да, вас, и грозы – и всего вообще, – отвечала Эффери. – А тут еще ветер – налетел и захлопнул дверь, и я теперь не могу войти.

– Вот как, – сказал незнакомец, довольно, впрочем, равнодушно. – Какая досада. А скажите, не знаете ли вы, где тут, на этой улице, дом миссис Кленнэм?

– Господи милостивый, еще бы мне не знать, еще бы мне не знать! – воскликнула миссис Эффери и, растревоженная вопросом, снова принялась ломать руки.

– Где же именно?

– Где? – повторила миссис Эффери, опять зачем-то припадая к замочной скважине. – Так ведь это он самый и есть. И она там теперь одна-одинешенька в своей комнате, и не может ни встать, ни дверь отворить: ноги-то у нее не ходят! А другого умника дома нет. Ах ты боже мой! – вскричала Эффери, под напором всех этих мыслей закружившись в какой-то дикой пляске. – Я, кажется, сейчас с ума сойду!

На этот раз незнакомец отнесся к ее беде с большим участием, поскольку выяснилось, что дело некоторым образом касается и его. Он отступил на несколько шагов назад, чтобы окинуть дом взглядом, и его внимание привлекло узкое окошко, приходившееся почти у самого входа.

– Где расположена комната больной, сударыня? – спросил он с прежней улыбкой, которая произвела такое впечатление на миссис Эффери, что та не могла отвести от него глаз.

– В верхнем этаже, – сказала Эффери. – Вон те два окна слева, это ее.

– Гм! Хоть я и высокого роста, но без помощи лестницы мне, пожалуй, не удастся засвидетельствовать ей свое почтение через окно. Вот что, сударыня, будем говорить откровенно; откровенность – мое природное свойство; желаете вы, чтобы я отпер эту дверь?

– Помилуй бог, сэр, да я вам по гроб жизни обязана буду, только сделайте это поскорее! – воскликнула Эффери. – А то вдруг она там зовет меня, или вдруг на ней платье занялось и она горит живьем, да мало ли что еще могло стрястись, от одних догадок с ума сойдешь!

– Одну минуту, сударыня! – Он слегка отстранил ее своей белой, гладкой рукой, словно призывая не торопиться. – Как я понимаю, приемные часы уже окончены?

– Да, да, да! – воскликнула Эффери. – Давно окончены!

– В таком случае, давайте уговоримся по справедливости; справедливость – мое природное свойство. Как вы могли заметить, я только что с пакетбота. – Он указал на свой промокший плащ и башмаки, в которых хлюпала вода; да ей еще раньше бросилось в глаза, что волосы у него в беспорядке, цвет лица желтый, как от морской болезни, и, кроме того, он, должно быть, сильно озяб, так как даже стучал зубами. – Я только что с пакетбота, сударыня, да еще погода меня задержала – дьявольская погода! Вследствие этих причин, сударыня, я не успел сюда вовремя, чтобы уладить одно неотложное дело (потому неотложное, что оно связано с деньгами). Так вот, если вы беретесь привести сюда кого-нибудь, с кем бы я мог его уладить, несмотря на поздний час, я вам отпущу эту дверь. Если же такое условие вам не подходит, я... – тут он снова улыбнулся своей странной улыбкой и сделал вид, будто собирался уходить.

Миссис Эффери поспешила выразить свое полное согласие, и уговор состоялся. Незнакомец учтиво попросил ее подержать его плащ, разбежался, подпрыгнул и, уцепившись за подоконник, взобрался на узкое окошко. Теперь для него было делом одной минуты поднять раму. Уже сидя верхом на отворенном окне, он оглянулся на миссис Эффери, и глаза его сверкнули так зловеще, что она невольно подумала, вся похолодев: а вдруг он прямехонько отправится наверх в комнату больной и убьет ее? Ведь и помешать ему нельзя.

К счастью, у него, видимо, не было таких кровавых намерений, ибо минуту спустя дверь отворилась, и он показался на пороге. – Ну, сударыня, – сказал он, взяв у нее свой плащ и закутываясь в него поплотнее, – а теперь будьте-ка любезны... Что за черт?

Странный, непонятный шум. Словно бы где-то совсем близко, судя по сотрясению воздуха, и в то же время такой глухой, как будто доносился издалека. Шорох, стук, и потом словно посыпалось на пол что-то сухое и легкое.

– Это еще что такое?

– Не знаю, что, только я уж это не первый раз слышу, – сказала Эффери, в страхе ухватившаяся за его руку.

Впрочем, как ни велик был ее испуг, она все же заметила, что у незнакомца побелели и затряслись губы, и решила, что он, должно быть, не из больших смельчаков. Несколько секунд он прислушивался, потом небрежно пожал плечами.

– Ба! Пустое! Так вот, уважаемая, вы как будто упоминали про какого-то умника. Не угодно ли вам будет свести меня с этим светочем мысли? – Он взялся за ручку двери, как бы приготовившись снова захлопнуть ее, если Эффери не выполнит свою часть уговора.

– Только вы ничего не говорите про дверь, ладно? – шепотом сказала Эффери.

– Ни слова.

– А пока я сбегая (это тут, за углом) не трогайтесь с места, и если она будет звать, не откликайтесь, ладно?

– Сударыня, я уже обратился в камень.

Эффери мучил страх, что не успеет она отвернуться, как он прокрадется по лестнице наверх; одержимая этим страшным подозрением, она добежала почти до угла, вернулась назад и осторожно заглянула во двор. Но незнакомец по-прежнему стоял на пороге, верней даже у порога, как будто боялся темноты и не имел никакого желания проникать в ее тайны; и Эффери, успокоившись, поспешила к таверне, находившейся на соседней улице, и через слугу вызвала оттуда мистера Флинтвинча.

Вдвоем они пустились в обратный путь – супруга впереди, а супруг петушком за нею, предвкушая тряску, которую он успеет задать ей, прежде чем она укроется в доме, – и, вбежав во двор, увидели силуэт незнакомца, маячивший в тени дверного навеса, а сверху доносились до них резкие окрики миссис Кленнэм: «Кто там? Что там? Отчего никто не отвечает? Кто там внизу?»

Глава XXX Слово джентльмена

Когда супруги Флинтвинч, запыхавшись, добежали до крыльца старого дома (Иеремия на секунду позже Эффери), незнакомец вздрогнул и попятился.

– Громы и молнии! – воскликнул он. – Вы-то как сюда попали?

Мистер Флинтвинч, к которому относился последний вопрос, был удивлен, пожалуй, не меньше того, кто этот вопрос задал. Он в недоумении уставился на незнакомца; потом оглянулся посмотреть, не стоит ли кто позади него; снова молча уставился на незнакомца, силясь понять, что означали его слова; и, наконец, перевел глаза на жену, ожидая объяснений. Но так как объяснений не последовало, он схватил ее за плечи и принялся трясти с таким остервенением, что у нее чепец свалился с головы; при этом он злобно шипел сквозь зубы:

– Вот я тебе сейчас вкачу порцию, Эффери, старуха! Это все твои штуки! Опять изволишь сна наяну видеть, голубушка моя! В чем тут дело? Кто это такой? Что это все значит? Говори или задуш! Выбирай одно из двух!

Если предположить, что миссис Эффери обладала в Это время возможностью выбора, то, очевидно, она выбрала второе; ибо она ни звука не произнесла в ответ на обращенный к ней грозный призыв и безропотно покорилась пытке, от которой ее непокрытая голова все сильнее моталась из стороны в сторону. Но тут незнакомец, галантно подобрав с полу упавший чепец, пришел к ней на помощь.

– Позвольте, – сказал он, кладя руку на плечо Иеремии, и когда тот, опешив, выпустил свою жертву, продолжал: – Благодарю вас. Прошу извинить. Муж и жена, разумеется? Ваши милые супружеские забавы не оставляют в том сомнения. Ха-ха. Всегда отрадно видеть супругов, которые умеют развлекать друг друга. Однако послушайте! С вашего разрешения я хотел бы напомнить, что кто-то там, наверху, изъявляет все более настойчивое желание узнать, что здесь происходит.

Спохватившись при этих словах, мистер Флинтвинч переступил порог и, подняв голову, крикнул наверх, в темноту:

– Я здесь, не беспокойтесь! Сейчас Эффери принесет вам лампу! – Затем, взглянув на упомянутую особу, которая, тщетно стараясь отдышаться, надевала свой чепец, он прикрикнул: – Ну, марш наверх, живо! – после чего обратился к незнакомцу и сказал: – Итак, сэр, что вам угодно?

– Прежде всего, – сказал тот, – простите, что затрудняю вас, но, мне кажется, недурно бы зажечь свечу.

– Верно, – согласился Иеремия. – Я это и собирался сделать. Сейчас схожу за свечой, а вы пока постоитесь тут.

Незнакомец все еще стоял у порога, но как только мистер Флинтвинч отвернулся, он подался немного вперед и глазами проводил его в полутьме сеней до двери каморки, куда тот пошел искать спички. Немного спустя спички были обнаружены, но, должно быть, фосфор отсырел, и сколько Иеремия ни чиркал спичками, они лишь на мгновение озаряли тусклым светом его склоненное лицо и мелкими бледными искрами осыпали руки, зажечь же от них свечу не удалось. Посетитель старался воспользоваться этим неверным освещением, чтобы получше разглядеть черты своего нового знакомого. Это не укрылось от Иеремии, который, засветив, наконец, свечу, успел поймать на его лице тень пытливой сосредоточенности, прежде чем она уступила место двусмысленной улыбке, чаще всего определявшей собою выражение этого лица.



– Сделайте милость, сэр, – сказал Иеремия, запирая дверь и в свою очередь внимательно приглядываясь к улыбочивому посетителю, – пройдемте ко мне в контору... Да ничего не случилось! – рявкнул он в ответ на настойчивые окрики, все еще несшиеся сверху, хотя Эффери была уже в комнате больной и, судя по голосу, старалась ее успокоить. – Сказано же вам, все в порядке! Вот женщина, заладила свое, так и не втолкуешь!

– Боится, – заметил незнакомец.

– Она боится? – Мистер Флинтвинч оглянулся на ходу, прикрывая свечу ладонью. – Да она храбрей девяноста мужчин из сотни, если хотите знать.

– Хоть и парализована?

– Хоть и парализована уже много лет. Миссис Кленнэм. Единственная теперь участница дела, носящая эту фамилию. Мой компаньон.

Проворчав в виде извинения, что тут не привыкли принимать клиентов в такой поздний час и что обыкновенно у них в это время уже давно закрыто, мистер Флинтвинч провел посетителя в свою контору, которая ничем не отличалась от конторы любого другого дельца. Здесь он поставил свечу на стол и, скособочившись как-то особенно сильно, спросил:

– Чем могу служить?

– Моя фамилия Бландуа.

– Бландуа? Не слышал, – сказал Иеремия.

– Насколько мне известно, – продолжал посетитель, – вы должны были получить официальное

уведомление из Парижа...

– Никаких уведомлений из Парижа касательно лица по фамилии Бландуа мы не получали, – сказал Иеремия.

– Нет?

– Нет.

Иеремия продолжал стоять в своей излюбленной позе. Улыбчивый мистер Бландуа распахнул плащ на груди и сунул было руку в нагрудный карман, но остановился и сказал, глядя на мистера Флинтвинча с насмешливым огоньком в глазах (только сейчас мистер Флинтвинч обратил внимание на то, как близко эти глаза посажены).

– Удивительно, до чего вы похожи на одного моего знакомого! Правда, не настолько, как мне показалось в первую минуту – тогда, в полутьме, я попросту принял вас за него, в чем и приношу свои извинения; да, да, я должен это сделать; готовность чистосердечно сознаваться в своих ошибках – одно из моих природных свойств; но все же сходство необыкновенное.

– Весьма любопытно, – угрюмо буркнул Иеремия. – Однако же повторяю, что я не получал никаких уведомлений касательно лица по фамилии Бландуа.

– Вот как, – сказал посетитель.

– Именно так, – сказал Иеремия.

Но мистера Бландуа не заставила растеряться подобная неаккуратность корреспондентов торгового дома Кленнэм и К^о; он тут же вытащил из кармана бумажник, достал оттуда сложенную бумагу и подал мистеру Флинтвинчу.

– Почерк вам, вероятно, знаком. Может быть, это письмо послужит достаточной рекомендацией. Не сомневаюсь, что вы лучше меня разбираетесь в этих вещах. Я, нужно сознаться, не столько деловой человек, сколько то, что в свете именуется джентльменом.

Мистер Флинтвинч развернул письмо, на котором сверху стояла пометка «Париж», и прочел: «Настоящим имеем честь от имени одного высокоуважаемого клиента нашей фирмы рекомендовать вам г-на Бландуа из города Парижа и т. д. и т. п. Любое содействие, в котором он будет нуждаться и которое вы сочтете возможным ему оказать и т. д. и т. п. ... В заключение сообщаем, что если вы откроете г-ну Бландуа кредит в размере, допустим, пятидесяти (50) фунтов стерлингов и т. д. и т. п. ...»

– Отлично, сэр, – сказал мистер Флинтвинч. – Прошу вас, садитесь. Мы будем рады служить вам в той мере, в какой это доступно нашей фирме – мы ведем дело по старинке, скромно, без большого размаха. Что касается упомянутого вами официального уведомления, то, судя по дате, которую я здесь вижу, мы еще и не могли его получить. Оно, очевидно, прибыло с тем же запоздавшим пакетботом, на котором совершили переезд вы сами.

– Моя голова и желудок до сих пор помнят этот переезд, сэр, – ответил мистер Бландуа, белой рукой поглаживая свой крючковатый нос. – Обоим досталось от чудовищной, нестерпимой погоды. Как видите, я и сейчас еще не вполне оправился, хотя сошел с пакетбота полчаса тому назад. Если бы не опоздание, я попал бы сюда значительно раньше, и мне не пришлось бы приносить извинения – а я приношу извинения – за то, что затрудняю вас в неурочное время, и за то, что напугал – впрочем, вы сказали, не напугал, еще раз приношу извинения, – за то, что обеспокоил почтеннейшую миссис Кленнэм в ее уединении.

Апломб и известная доля наглости всегда производят впечатление, и мистеру Флинтвинчу самому стало казаться, что перед ним весьма изысканная особа. Впрочем, он от этого не стал более покладист и, почесав свой подбородок, спросил, какой услуги ждет от него мистер Бландуа сегодня, когда деловой день уже окончен?

– Черт возьми! – отозвался спрошенный, передернув под плащом плечами. – Мне нужно переодеться, поесть, выпить и приютиться где-нибудь на ночь. Я здесь никого не знаю, поэтому не откажите в любезности указать мне, где бы я мог получить ночлег. Цена роли не играет. И чем ближе отсюда, тем лучше. Хоть в соседнем доме.

Мистер Флинтвинч начал было с запинкой:

– У нас тут поблизости нет гостиницы, которая соответствовала бы привычкам такого джентльмена, как... – но мистер Бландуа перебил его.

– Не будем говорить о привычках, дорогой сэр, – сказал он, прищелкнув пальцами. – У гражда-

нина мира нет привычек. Да, я джентльмен; при всей своей скромности не стану отрицать это – но я не обременен предрассудками. Чистая комната, горячий обед и бутылка вина, которое можно пить, не рискуя отравиться, – вот все, что мне сегодня нужно. Но я желал бы получить это, не сделав ни одного лишнего шага.

– Есть тут неподалеку одна таверна, – сказал мистер Флинтвинч (беспокойный блеск в глазах гостя побуждал его быть еще осторожнее обычного), – есть одна таверна, которую я могу, пожалуй, рекомендовать, да только там не очень-то шикарно.

– Обойдемся без шику! – вскричал мистер Бландуа, махнув рукой. – Сделайте милость, проводите меня в эту вашу таверну и представьте хозяину, если это вас не очень затруднит. Буду премного обязан.

Мистер Флинтвинч взял свою шляпу и со свечой в руке снова повел мистера Бландуа через сени. Поставив свечу на консоль у стены, где резьба потемневшей от времени панели почти скрыла ее слабый огонек, он сказал, что пойдет предупредить больную о том, что должен ненадолго отлучиться.

– Окажите мне еще одну услугу, – сказал в ответ на это гость. – Передайте миссис Кленнэм мою карточку и скажите, что если бы я не опасался утомить ее, то был бы счастлив лично засвидетельствовать свое почтение и извиниться за то, что потревожил покой этой тихой обители – разумеется, после того, как переменю мокрое платье и подкреплю свои силы за обеденным столом.

Иеремия выполнил поручение со всей быстротой, на какую был способен, и, вернувшись, сказал.

– Она готова принять вас, сэр, но, зная, как мало привлекательного в обществе больной, просила передать, что не будет в обиде, если вы передумаете.

– Передумать, – возразил галантный Бландуа, – значило бы невежливо обойтись с дамой; невежливо обойтись с дамой значило бы обнаружить отсутствие рыцарского отношения к прекрасному полу; а рыцарское отношение к прекрасному полу – одно из моих природных свойств! – Изъяснив таким образом свои чувства, он перекинул через плечо край забрызганного грязью плаща и направился вслед за мистером Флинтвинчем в таверну, захватив по дороге носильщика, ожидавшего на улице с его чемоданом.

Таверна и в самом деле оказалась весьма скромным заведением, но снисходительность мистера Бландуа была беспредельна. Она не уместилась в маленьком зальце со стойкой, где вдова-хозяйка и две ее дочери оказали ему самый радушный прием; ей оказалось тесно в комнатке с деревянными панелями и с безделушками на полочках, поначалу отведенной ему для ночлега; она совершенно заполнила собой небольшую хозяйскую гостиную, которую ему в конце концов уступили. И когда, переодевшись и причесавшись, надушенный и напомаженный, с перстнями на обоих указательных пальцах и массивной часовой цепочкой через весь живот, мистер Бландуа развалился на диванчике под окном в ожидании обеда, он удивительным и зловещим образом напоминал (словно тот же брильянт, но в другой оправе) некоего мсье Риго, развалившегося в ожидании завтрака на зарешеченном окошке в камере омерзительной марсельской тюрьмы.

И на обед он накинута так же жадно, как упомянутый мсье Риго накидывался на свой завтрак. Та же хищная алчность сквозила в его манере придвигать к себе все кушанья сразу, чтобы, пока желудок поглощает одни, глаза могли пожирать другие. Тот же звериный эгоизм лежал в основе его бесцеремонного отношения к прочим людям, позволявшего ему грубо швырять хрупкие вещицы, украшавшие эту женскую комнату, класть ноги на шелковые подушки, мять накрахмаленные чехлы своим грузным телом и большой черной головой. В мягких белых руках, проворно орудовавших вилкой и ножом, чувствовалась та же хватка, что и в руках, цеплявшихся за прутья тюремной решетки. А когда, наевшись до отвала, он поочередно обсасывал и вытирал свои тонкие пальцы, казалось, стоит только заменить салфетку виноградными листьями – и сходство будет полным.

На этом человеке с его коварной улыбкой, подтягивавшей усы к носу и нос к усам, с глазами, лишенными глубины, словно они были крашенные, как и волосы, и в процессе окраски потеряли способность отражать свет, сама природа, всегда честная и предусмотрительная, четко написала: «Остерегайтесь!». Не ее вина, если люди подчас оказываются глухи к подобным предупреждениям. Пусть в таких случаях пеняют на себя!

Окончив обед и дочиста облизав пальцы, мистер Бландуа вынул из кармана сигару, снова при-

лег на диванчик и мирно покуривал, время от времени обращаясь к тонким струйкам дыма, тянувшимся из его тонких губ:

– Бландуа, мой мальчик, ты еще сведешь с обществом счеты. Ха-ха! Клянусь небом, ты недурно начал, Бландуа! На худой конец можешь стать учителем английского или французского языка – неограниченное приобретение для хорошего дома! Ты сметлив, находчив, остер на язык, у тебя приятные манеры, подкупающая наружность – словом, ты настоящий джентльмен. Джентльменом ты будешь жить, мой мальчик, и джентльменом умрешь. Как бы ни сложились твои шансы вначале, все равно ты выиграешь игру. Все признают твои заслуги, Бландуа. Общество, нанесшее тебе жестокую обиду, должно будет подчиниться твоему гордому духу. Громы и молнии! Ты горд, мой Бландуа, но природа тебе дала право быть гордым!

Под это samozабвенное воркование наш джентльмен докурил сигару и допил оставшееся вино. Когда и с тем и с другим было покончено, он спустил ноги с дивана и, заключив свой монолог вододушевленным призывом к самому себе: – Ну, Бландуа, хитрец Бландуа! Ступай и покажи, чего ты стоишь! – снова отправился в дом фирмы Кленнэм и К°.

Миссис Эффери встретила гостя в сенях, где на этот раз горели две свечи, зажженные ею по приказу супруга и повелителя (третья свеча освещала лестницу), и тотчас же провела его в комнату миссис Кленнэм. Там уже был накрыт к чаю стол и сделаны кое-какие обычные в подобных случаях приготовления. Последние, впрочем, были весьма скромны и даже при самых чрезвычайных обстоятельствах сводились к тому, что из шкафа доставали фарфоровый чайный сервиз, а кровать застилали темным, унылого цвета покрывалом. Все остальное – катафалко-подобный диван с валиком, напоминавшим плаху, фигура во вдовьей одежде, словно приготовившаяся к казни; кучка мокрой золы на дотлевающих углях и кучка сухой золы на решетке; пение чайника и запах черной краски – все было таким же, как все эти пятнадцать лет.

Мистер Флинтвинч представил джентльмена, рекомендованного заботам торгового дома Кленнэм и К°. Миссис Кленнэм, перед которой лежало раскрытое письмо, кивнула головой и пригласила мистера Бландуа сесть. Хозяйка и гость внимательно оглядели друг друга. Вполне понятное любопытство.

– Благодарю вас, сэра, за то, что вспомнили о больной, одинокой женщине. С тех пор как тяжкий недуг обрек меня на затворнический образ жизни, посетители, являющиеся в наш дом по делам, небалуруют меня своим вниманием. Иного, впрочем, и ожидать нельзя. С глаз долой – из сердца вон. Исключение приятно мне, но я не жалуясь на правило.

Мистер Бландуа в самых изысканных выражениях высказал тревогу, что причинил ей неудобство столь несвоевременным визитом. Он уже приносил свои извинения по этому поводу мистеру... виноват, он не имеет чести знать...

– Мистер Флинтвинч связан с нашей фирмой уже много лет.

Мистер Бландуа просит мистера Флинтвинча считать его своим покорнейшим слугой. Он рад заверить мистера Флинтвинча в своем совершенном уважении.

– После того как умер мой муж, – сказала миссис Кленнэм, – а мой сын предпочел избрать иное поприще, мистер Флинтвинч сделался единственным представителем нашей фирмы.

– А вы что ж, не в счет? – ворчливо отозвался упомянутый джентльмен. – У вас голова за двоих работает.

– Как женщина, я не могу играть ответственную роль в делах фирмы, – продолжала она, лишь на миг поведя глазами в сторону Иеремии, – даже если предположить, что эта роль мне была бы по плечу; поэтому мистер Флинтвинч управляет всем, представляя и свои и мои интересы. Дела теперь, конечно, уже не те, но кое-кто из наших старых друзей (и в первую очередь авторы этого письма) по своей доброте не забывают нас, и мы пока в состоянии оправдывать их доверие. Однако вам это вряд ли интересно. Вы англичанин, сэра?

– Строго говоря – нет, сударыня; я родился и воспитывался не в Англии. В сущности, у меня нет родины, – сказал мистер Бландуа, вытянув ногу и похлопывая себя по ней. – На это название могут претендовать с полдюжины стран.

– Вы много путешествовали?

– Очень много. Смеею сказать, сударыня, я объездил весь свет.

– Как видно, вас не связывают никакие узы. Вы не женаты?

– Сударыня! – сказал мистер Бландуа, зловеще нахмутив брови. – Я боготворю прекрасный пол, но я не женат – и никогда не был женат.

Миссис Эффери, разливавшая чай, стояла напротив. В ту минуту, когда он произнес последние слова, она нечаянно взглянула на него; и так как она уже привыкла грезить наяву, ей вдруг померещилось в его глазах что-то такое, что словно бы приковало ее взгляд. Забыв про чайник, оставшийся у нее в руке, она испуганно таращила глаза на мистера Бландуа, и ее беспокойное состояние невольно передалось ему самому, а за ним и миссис Кленнэм и мистеру Флинтвинчу. Последовало несколько минут всеобщего оцепенения, когда все четверо, вытаращив глаза, смотрели друг на друга, сами не зная почему.

– Что с вами такое, Эффери? – спросила, наконец, миссис Кленнэм, опомнившись раньше других.

– Не знаю, – сказала миссис Эффери и, протянув вперед свободную левую руку, прибавила: – Это не со мной; это с ним.

– Что хочет сказать эта почтенная женщина? – вскричал, поднимаясь со своего места, мистер Бландуа, который сперва побледнел, затем побагровел, и лицо его исказила свирепая злоба, никак не вязавшаяся с безобидным содержанием его слов. – Я не понимаю эту добрую женщину!

– А вы не пытайтесь ее понять, – сказал мистер Флинтвинч, бочком подбираясь к особе, о которой шла речь. – Она сама не знает, что говорит. Она у нас дурочка, слабоумная. Вот я задам ей порцию, такую, чтобы она почувствовала!.. Марш отсюда, старуха! – прохрипел он в самое ухо Эффери. – Марш отсюда, не то я так тебя тряхну, что от тебя только мокро останется.

Миссис Эффери показалось до того страшной перспектива перейти в жидкое состояние, что она выпустила из рук чайник (супруг едва успел подхватить его), накинула передник на голову, и в одно мгновение была такова. Лицо гостя постепенно разгладилось в улыбку, и он уселся на прежнее место.

– Уж вы ей простите, мистер Бландуа, – сказал Иеремия, сам принимаясь за разливание чая. – Она последнее время не в себе – из ума выживать стала. Вам с сахаром?

– Благодарю вас; я чай не пью... Простите мою нескромность сударыня, но – какие оригинальные часы!

Чайный стол был пододвинут к дивану и стоял почти рядом с низеньким столиком миссис Кленнэм. Мистер Бландуа, как галантный кавалер, встал, чтобы передать чашку даме (тарелка с сухариками уже стояла на своем месте), и тут-то его внимание привлекли часы покойного главы дома, всегда лежавшие перед его вдовой. Миссис Кленнэм метнула на гостя быстрый взгляд.

– Вы позволите? Благодарю вас. Великолепные старинные часы, – сказал он, взяв часы в руку. – Тяжеловаты, чтобы носить их в кармане, но зато это настоящая вещь, не подделка какая-нибудь. Я презираю все поддельное, фальшивое. Я сам чужд всякой фальши. Ага! Часы с двойной крышкой, как было модно в старину. Можно открыть? Благодарю вас. А, и шелковая прокладочка, вышитая бисером! Мне не раз приходилось видеть такие у стариков в Голландии и в Бельгии. Забавная штучка!

– Тоже старинная мода, – сказала миссис Кленнэм.

– Бесспорно. Но мне кажется, эта прокладка новей, чем сами часы.

– Пожалуй.

– Удивительно, как в старину любили затейливые вензеля! – заметил мистер Бландуа, взглянув на собеседницу со своей обычной улыбкой. – Ну вот, что это за буквы? Похоже на Н. З. – а может быть, и все что угодно.

– Нет, это именно Н. З.

Мистер Флинтвинч, который поднес было чашку к открытому рту, да замешкался, внимательно прислушиваясь к этому разговору, теперь принялся пить чай огромными глотками, всякий раз острожно примериваясь, прежде чем глотнуть.

– Прелестное создание была, верно, эта Н. З., полное неги, кротости, очарования, – сказал мистер Бландуа, захлопывая крышку часов. – Я уже влюблен в ее память. На беду я очень легко влюбляюсь, и оттого мой душевный покой всегда находится под угрозой. Не знаю, порок это или добродетель, сударыня, но любовь к женской красоте и женским достоинствам – мое главное природное свойство.

Мистер Флинтвинч успел налить себе еще чашку чаю и пил его такими же большими глотками,

по-прежнему не сводя глаз с больной.

– На этот раз вашему душевному покою ничего не грозит, сэръ, – сказала миссис Кленнэм. – Сколько я знаю, эти буквы – не инициалы какого-нибудь имени.

– Так, стало быть, девиз, – небрежно заметил мистер Бландуа.

– Скорей напоминание. Н. З. сколько я знаю, обычно означает: «Не забывай!»

– И само собой разумеется, – сказал мистер Бландуа, кладя часы на стол и возвращаясь на свое прежнее место, – вы не забываете.

Мистер Флинтвинч, допивая свой чай, сделал последний глоток, еще больший, чем все предыдущие, и очередную паузу выдержал с некоторым изменением, а именно: запрокинув голову и не отнимая чашки от губ, но по-прежнему не сводя глаз с больной. В лице последней еще резче обозначились жесткие черточки, составлявшие то сосредоточенное выражение твердости или упорства, которое заменяло ей жесты, и она отвечала веско и внушительно, как всегда:

– Да, сэръ, не забываю. Кто живет в таком томительном однообразии, в каком уже много лет живу я, тот не забывает. Кто живет, думая лишь об исправлении своих недостатков, тот не забывает. Кто сознает, что у него, как у каждого из нас, у всех детей Адамовых, есть грехи, требующие искупления, тот не стремится забыть. А потому я давно уже свободна от этого; я не забываю и не стремлюсь забыть.

Мистер Флинтвинч, взболтав опивки чая, оставшиеся на доньшке, опрокинул их себе в рот и поставил чашку на поднос, поскольку больше уже ничего из нее извлечь нельзя было; после чего повернулся к мистеру Бландуа, как бы спрашивая: «Ну-с, что вы на это скажете?»

– Все это я и имел в виду, сударыня, – сказал Бландуа, отвесив учтивейший поклон и прижав свою белую руку к груди, – когда употребил выражение «само собой разумеется», и я горжусь тем, что так удачно и метко подобрал выражение – впрочем, иначе я не был бы Бландуа.

– Простите, сэръ, – возразила больная, – но я сомневаюсь в том, чтобы такой джентльмен, как вы, любитель светской жизни, полной разнообразия, перемен, удовольствий, привыкший искать приятного общества и сам быть приятным обществом для других...

– Помилуйте, сударыня! Вы мне льстите!

– ...сомневаюсь, чтобы подобный джентльмен мог понять и правильно оценить все особенности моего существования. Не буду вам навязывать учение, которым я руководствуюсь в жизни, – она взглянула на стопку книг в твердых пожелтевших переплетах, висившуюся перед нею на столике, – у вас своя дорога, и ошибки ваши падут на вашу голову; скажу лишь, что путь мне указывают кормчие, испытанные надежные кормчие, с которыми я никогда не потерплю – не могу потерпеть кораблекрушение; и что я слишком сурово наказана за свои грехи, чтобы пренебрегать напоминанием, заключенным в этих двух буквах.

Любопытно было ее стремление при каждом удобном случае вступать в спор с каким-то невидимым противником. Быть может – с собственным разумом, пытавшимся бунтовать против самообмана.

– Если бы я забыла заблуждения тех дней, когда я была здорова и свободна, я могла бы роптать на жизнь, которую обречена вести теперь, – но я не ропщу, и никогда не роптала. Если б я забыла, что наш грешный мир создан, чтобы служить юдолью скорби, лишений и тяжких мук для существ, сотворенных из праха земного, я могла бы сожалеть об утраченных мирских радостях. Но мне чужды такие сожаления. Если бы я не знала, что все мы, люди, взысканы (и по заслугам) божьим гневом, который должен быть утолен и против которого все наши попытки бессильны, я могла бы сетовать на несправедливость судьбы, столь суровой ко мне и снисходительной к другим. Я же полагаю, что небо явило мне величайшую милость и благодеяние, избрав меня для той жизни, которую я здесь веду, для тех жертв, которыми я здесь искупаю свои грехи, для тех раздумий, которым мне здесь ничто не мешает предаваться. В этом – смысл моих страданий для меня. Вот почему я ничего не забыла и ничего не хочу забывать. Вот почему я не жалуюсь на свою участь и утверждаю, что многие и многие могли бы ей позавидовать.

С этими словами она протянула руку к часам, взяла их и переложила на то место, которое они постоянно занимали на ее столике; и еще несколько минут сидела, не отнимая руки и глядя на них твердым взглядом, в котором отчасти даже чувствовался вызов.

Мистер Бландуа выслушал ее речь с неослабным вниманием, все время пристально на нее глядя

и в задумчивости поглаживая обеими руками свои усы. Мистер Флинтвинч то и дело проявлял признаки некоторого беспокойства и, наконец, вмешался в разговор.

– Ну, ну, ну, – сказал он. – Все это ясно и понятно, миссис Кленнэм, и вы изложили это с большим воодушевлением, как и подобает верующей христианке. Но мистер Бландуа, думается мне, не из породы ревнителей веры.

– Ошибаетесь, сэр! – воскликнул названный джентльмен, прищелкнув пальцами. – Прошу прощения! Напротив, это – одно из моих природных свойств. Я чувствителен, пылок, совестлив и одарен воображением. А чувствительный, пылкий, совестливый и одаренный воображением человек должен быть верующим, иначе грош ему цена.

Судя по тени, скользнувшей по лицу мистера Флинтвинча, у него мелькнула мысль, что гость, пожалуй, большей цены и не заслуживает – особенно когда он увидел, как тот поднялся с кресла и в картинной позе склонился перед хозяйкой дома (для этого человека, как и для всех ему подобных, характерным было отсутствие чувства меры: нет-нет, да и переиграет свою роль).

– Я несколько увлеклась разговором о себе и о своих немощах, сэр, – сказала миссис Кленнэм, – и вы вправе увидеть тут эгоизм больной старухи – хотя если бы не ваш случайный намек, этого бы не произошло. Вы были так добры, что навести меня; будьте же добры и далее, не поставьте мне в вину мою слабость. Нет, нет, пожалуйста, без комплиментов. (Она правильно отгадала его намерение.) Мистер Флинтвинч сочтет за честь оказать вам любую услугу, и надеюсь, пребывание в Лондоне будет благоприятно для ваших дел.

Мистер Бландуа поблагодарил, целуя кончики своих пальцев, и направился к выходу. У самых дверей он остановился и с неожиданным интересом обвел глазами комнату.

– Какая прекрасная старинная комната! – сказал он. – Я был настолько поглощен приятной беседой, что ничего не замечал вокруг себя. Но теперь я вижу, что тут у вас – настоящая старина.

– В этом доме все – настоящая старина, – откликнулась миссис Кленнэм со своей ледяной усмешкой. – Дом простой, без претензий, но очень старинный.

– Клянусь небом! – вскричал гость. – Если бы мистеру Флинтвинчу угодно было показать мне и остальные комнаты, он бы меня весьма разодолжил. Старинные дома – моя слабость. У меня много слабостей, но эта едва ли не самая большая. Обожаю все романтическое и очень живо интересуюсь им во всех областях жизни! Меня самого находят романтической личностью. Тут нет особой заслуги – у меня, несомненно, найдутся более ценные качества. – но, пожалуй, во мне и в самом деле есть что-то романтическое. Совпадение – хотя, может быть, и не случайное.

– Предупреждаю вас, мистер Бландуа, в комнатах очень много грязи и очень мало чего-нибудь еще, – сказал Иеремия, взяв свою свечу. – Ничего вы там не увидите.

Но мистер Бландуа только рассмеялся, дружески хлопнув его по спине; после чего еще раз, целуя кончики своих пальцев, поклонился миссис Кленнэм и вместе со своим провожатым вышел из комнаты.

– Наверх вы, верно, не захотите подниматься? – сказал Иеремия, остановившись на площадке лестницы.

– Напротив, мистер Флинтвинч, если это не затруднительно для вас, я буду в восторге.

Пришлось мистеру Флинтвинчу ползти вверх по лестнице, а мистер Бландуа следовал за ним. Так они добрались до просторной мансарды, где Артур провел первую ночь после возвращения домой.

– Вот извольте, мистер Бландуа! – сказал Иеремия, отворяя дверь. – может, по-вашему, и стоило лезть на чердак, чтобы любоваться этим. Я, по правде сказать, думаю иначе.

Но мистер Бландуа выразил свое полное восхищение и не пожелал спускаться вниз, пока они не обошли все чердачные помещения и переходы. За это время мистер Флинтвинч успел убедиться, что гость и не думает осматривать комнаты, ограничиваясь лишь беглым взглядом с порога по сторонам, но зато усиленно рассматривает его, мистера Флинтвинча. Желая проверить это обстоятельство, Иеремия внезапно обернулся назад, когда они уже шли по лестнице вниз – и точно: взгляды их встретились, и в то же мгновение (уже не в первый раз с тех пор, как они вышли из комнаты больной) усы и нос гостя пришли в движение, и дьявольская гримаса беззвучного смеха обезобразила его черты.

Будучи значительно меньше гостя ростом, мистер Флинтвинч всякий раз оказывался в непри-

ятном положении человека, на которого смотрят сверху вниз; на лестнице это еще усугублялось тем, что он шел первым и все время находился на две-три ступеньки ниже своего спутника. Поэтому он решил не оглядываться больше до тех пор, пока они не спустятся с лестницы и это дополнительное неравенство не исчезнет. Но когда, войдя в комнату покойного мистера Кленнэма, он снова круто повернулся и очутился лицом к лицу с гостем, его встретил все тот же насмешливый взгляд.

– Этот старый дом – просто прелесть, – улыбнулся мистер Бландуа. – В нем все так таинственно. Вы никогда не слышите здесь каких-нибудь необъяснимых звуков?

– Звуков? – переспросил мистер Флинтвинч. – Нет.

– И черти вам никогда не явятся?

– Нет, – повторил мистер Флинтвинч, мрачно скособочившись в сторону вопрошавшего. – Во всяком случае, под своим именем и в своем обличье – нет.

– Ха-ха! А это что – портрет? – Смотрел он, однако, на мистера Флинтвинча, как будто тот именно и был портрет.

– Портрет, сэр, как вы сами видите.

– А можно узнать чей, мистер Флинтвинч?

– Покойного мистера Кленнэма. Ее мужа.

– И должно быть, прежнего владельца замечательных часов? – спросил гость.

Мистер Флинтвинч, поворотившийся было к портрету, снова извернулся кругом – и снова встретил все тот же взгляд и улыбку.

– Да, мистер Бландуа, – колко ответил он. – Это были его часы, они ему достались от дяди, а дяде – бог весть от кого, и это все, что я могу сообщить об их родословной.

– Весьма энергичный характер у нашей больной, не правда ли, мистер Флинтвинч?

– Да, сэр, – сказал Иеремия, опять извернувшись лицом к гостю, что он проделывал несколько раз в течение разговора, напоминая собой винт, который никак не удается ввинтить куда следует; ибо поймать мистера Бландуа врасплох оказывалось решительно невозможно и ему всякий раз приходилось отступать назад. – Это необыкновенная женщина. Редкое мужество – редкая сила души.

– Я полагаю, они были очень счастливы? – заметил Бландуа.

– Кто? – спросил мистер Флинтвинч, делая очередную попытку ввинтиться в нужное место.

Мистер Бландуа ткнул правым указательным пальцем в сторону комнаты больной, а левым указательным пальцем – в сторону портрета, затем подбоченился, широко расставил ноги и улыбнулся мистеру Флинтвинчу, опустив нос и приподняв усы.

– Как большинство супружеских пар, надо думать, – отвечал мистер Флинтвинч. – Ручаться не могу. Не знаю. В каждой семье есть свои тайны.

– Тайны! – живо подхватил мистер Бландуа. – Повторите-ка, милейший, что вы сказали.

– Я сказал, – отвечал мистер Флинтвинч, чуть подавшись назад, потому что гость вдруг так выпятил грудь, что мистер Флинтвинч едва не уперся в нее носом. – Я сказал, что в каждой семье есть свои тайны.

– Есть, милейший, есть! – воскликнул Бландуа, схватив его за плечи и раскачивая взад и вперед. – Ха-ха! Вы правы. В каждой семье они есть! Тайны! Клянусь небом! И в некоторые семейные тайны замешан сам дьявол, мистер Флинтвинч! – Он дружески похлопал мистера Флинтвинча по плечам, словно восхищаясь остроумием отпущенной им шутки, потом вскинул руки кверху, откинул голову назад, переплел пальцы на затылке и разразился громовым хохотом. Новый оборот винта не принес мистеру Флинтвинчу успеха. Мистер Бландуа хохотал до тех пор, пока не улегся его приступ веселости. – Дайте-ка мне на миг свечу, – сказал он, успокоившись наконец. – Поглядим на супруга этой необыкновенной женщины поближе. Ага! – Он поднял свечу к портрету. – Тоже, видно, недюжинной силы характер, хотя несколько в ином роде. Почтенный джентльмен как будто говорит – как это, а? – Не Забывай! Не правда ли, мистер Флинтвинч? Клянусь небом, сэр, мне кажется, я слышу эти слова!

Он вернул свечу мистеру Флинтвинчу, не упустив случая снова пристально на него поглядеть, и небрежной походкой направился вместе с ним в сени, не переставая восхищаться старинной прелестью дома и твердя, что получил удовольствие, от которого не отказался бы и за сто фунтов.

С этой неожиданной развязностью тона изменилось и поведение мистера Бландуа; он стал грубее, резче, в нем появилось нахальство и дерзость, которых прежде не было; мистер Флинтвинч за-

мечал все это, но его пергаментная физиономия, не подверженная никаким переменам, сохраняла свое обычное бесстрашие. Могло разве показаться, что он чуть-чуть лишнего повисел в петле, прежде чем дружеская рука перерезала веревку; в остальном же он оставался таким, как всегда, невозмутимым и хладнокровным. Осмотр дома закончился в маленькой комнатке, смежной с сенями. Здесь они остановились, и мистер Флинтвинч посмотрел на мистера Бландуа.

– Очень рад, что вы получили удовольствие, сэр, – спокойно заметил он. – Признаюсь, никак не ожидал. Вы даже словно бы повеселели.

– Мало сказать, повеселел, – ответил Бландуа. – Честное слово, я отдохнул и набрался свежих сил. Скажите, мистер Флинтвинч, у вас бывают предчувствия?

– Не знаю, что вы под этим подразумеваете, сэр, – был ответ.

– Предчувствие, это когда вам смутно кажется, что должно произойти нечто – в данном случае нечто приятное.

– Пока что мне ничего такого не кажется, – отвечал мистер Флинтвинч самым серьезным тоном. – Если начнет казаться, я вам сообщу.

– Мне, например, кажется, – продолжал Бландуа, – что нам с вами предстоит познакомиться поближе, милейший. А вам не кажется?

– Н-нет, – с осторожностью отвечал мистер Флинтвинч. – Пока, нет.

– Я предчувствую, что мы с вами станем близкими друзьями. Неужели у вас не появилось такое предчувствие?

– Пока не появилось, – сказал мистер Флинтвинч.

Мистер Бландуа снова ухватил его за плечи и несколько раз тряхнул в виде дружеской шутки; затем взял его под руку и высказал надежду, что любезнейший старый плут не откажется распить с ним бутылочку вина.

Мистер Флинтвинч, не колеблясь, принял приглашение, и они тут же отправились в знакомую нам таверну, не смущаясь дождем, который неугомонно стучал по оконным стеклам, крышам и тротуарам. Гроза миновала, уже не гремел гром, не сверкали молнии, но дождь лил как из ведра. Добравшись до своей комнаты, Бландуа в качестве любезного хозяина тут же приказал подать портвейну и уютно свернулся на диванчике у окна (для удобства подмяв под себя все хорошенькие подушечки), а мистер Флинтвинч расположился в кресле по другую сторону стола. Мистер Бландуа предложил пить большими стаканами, на что мистер Флинтвинч охотно согласился. Когда стаканы были принесены и вино налито, мистер Бландуа, окончательно разошедшись, чокнулся со своим гостем и предложил тост за дружбу, которая согласно его предчувствию должна была связать их в самом недалеком будущем. Мистер Флинтвинч не разделял бурного веселья своего хозяина, но тосты принимал любые, и исправно, хоть и молча, пил сколько бы ему ни налили. Он с готовностью протягивал свой стакан, когда мистер Бландуа изъявлял желание чокнуться (а он его изъявлял всякий раз, вновь наполнив стаканы), и с не меньшей готовностью осушал бы не только свой стакан, но и стакан Бландуа тоже, ибо от винной бочки его отличало лишь то, что бочка не ощущает вкуса вина.

Короче говоря, мистеру Бландуа пришлось убедиться, что лить вино в Флинтвинча совершенно бесполезно, ибо от этого язык у него не развязывается, а еще больше прилипает к гортани. Более того, он, видимо, готов был продолжать это занятие всю ночь, а там, если доведется, весь следующий день и следующую ночь; тогда как мистер Бландуа смутно чувствовал, что его собственный язык начинает болтаться чересчур уж усердно. А потому он после третьей бутылки прекратил развлечение.

– Вы завтра зайдете к нам за деньгами? – деловито спросил мистер Флинтвинч, прощаясь.

– Не беспокойтесь, моя прелесть, деньги я с вас получу, – отвечал мистер Бландуа, хватая собутельника за ворот. – До свидания, Флинтвинчик! – Тут он с истинно южным пылом сжал его в объятиях и звучно облобызал в обе щеки. – Мы еще увидимся, громы и молнии! Слово джентльмена!

Но на следующий день он так и не появился, хотя рекомендательное письмо из Парижа было получено с утренней почтой. А вечером, зайдя в таверну, мистер Флинтвинч к немалому своему удивлению узнал, что он еще утром полностью расплатился и отбыл на континент. Однако же Иеремия до тех пор скреб свой подбородок, пока не выскреб из него твердую умеренность, что мистер Бландуа сдержит свое слово и им еще придется увидеться.

Глава XXXI
Достоинство

Кому не доводилось встречать на людных улицах столицы тщедушного, желтого, сморщенного старичка, словно бы свалившегося с неба (если предположить, что какое-либо из небесных светил может ронять такие слабенькие тусклые искры), который, оробев от шума и суеты, с испуганным видом жметя поближе к стенам. Это всегда именно старичок, а не старик. Если он когда-нибудь был стариком, то с годами усох и превратился в старичка; если и раньше был старичком, то в конце концов съежился в маленького старичонку. На нем сюртук никогда и нигде не виданного цвета и покроя, к тому же сшитый явно не на него, да и ни на кого из смертных в частности. Какой-то оптовый поставщик изготовил пять тысяч таких сюртуков по мерке Судьбы, и Судьба наделила одним из них этого старичка, как могла бы наделив любого другого. Сюртук украшают большие тусклые оловянные пуговицы, также ни на что не похожие. На голове у старичка шляпа – потертая шляпа с захватанными полями, которую даже время не могло сделать мягче и приспособить к форме его многострадального черепа. Под стать сюртуку и шляпе рубашка из грубого холста, и грубой ткани галстук; они тоже лишены всяких личных примет, они тоже словно бы не его и ничьи. И все же видно, что даже этот скромный костюм непривычен для старичка и стесняет его, как будто он принарядился, собираясь идти на люди, а то все больше ходит в халате и ночном колпаке. И бредет он по улице, этот старичок, точно полевая мышь, которая в голодный год собралась к городской в гости и пугливо крадется через город, населенный котами.

Иногда, если вы встретите его в праздничный вечер, вам может показаться, что идет он особенно нетвердым шагом, а в старческих глазах мерцает тусклый болотный огонек. Это значит, что старичок пьян. Ему для этого многого не требуется; полпинты довольно, чтобы он начал спотыкаться на своих слабых ногах. Какой-нибудь сердобольный знакомый – скорей всего случайный – угостил его кружкой пива, чтобы он мог согреть свои старые кости; а приведет это к тому, что он теперь долго не появится на улице. Ведь наш старичок возвращается в работный дом; там он живет, и оттуда его даже при хорошем поведении редко отпускают прогуляться (можно бы и почаще, если подумать, много ли ему вообще осталось гулять на этом свете); а уж раз он проштрафился, то его и вовсе запрут в четырех стенах, среди полусотни таких же старичков, пропахших одним общим смешанным запахом.

Отец миссис Плорниш, щуплый маленький старичок с пискливым надтреснутым голоском, похожий на облезлую птицу, когда-то, по его собственному выражению, занимался музыкой, а точнее сказать, был переплетчиком нот.

Но с течением времени на него с разных сторон стали сыпаться удары, от которых он не умел ни уберечься, ни отмахнуться, ни оправиться, так что в конце концов на нем живого места не осталось; и после того как было улажено дело, приведшее его зятя за решетку Маршалси, он сам попросился в работный дом, заведение, которому закон предназначил быть добрым самаритянином⁶⁷ местных бедняков (во всем, кроме динариев, ибо такие затраты были бы неразумны с точки зрения политической экономии). До того, как с мистером Плорнишем приключилась упомянутая беда, старый Нэнди (так его звали в его официальном прибежище, но для Кровоточащих Сердец он по-прежнему был старым мистером Нэнди) грелся у плорнишевского камелька и ел за плорнишевским столом. Он не терял надежды вернуться под семейный кров, как только его зятю улыбнется судьба; но пока ее лик сохранял хмурое выражение, твердо намерен был оставаться одним из полусотни старичков с общим ароматом.

Но ни его нищета, ни сюртук несусветного покроя, ни запах работного дома не могли умерить дочерних восторгов миссис Плорниш. Она так гордилась талантами отца, как если бы они доставили ему титул лорд-канцлера. Она так свято верила в безупречную изысканность его манер, как если бы он был лорд-камергером. Бедный старичок знал несколько наивных и простеньких песенок, из тех,

⁶⁷ ...закон предназначил быть добрым самаритянином... – Имеется в виду евангельская притча о добром самаритянине (жителе Самарии, области в древней Палестине), который, увидев на дороге раздетого и израненного разбойниками человека, перевязал ему раны, «возливая масло и вино», перевез в гостиницу и дал там на его содержание два динария.

что были в моде у наших прабабушек – о Хлое, Филлис, Стрефоне,⁶⁸ раненных стрелами Амура; и когда он принимался их петь, никакие фиоритуры оперных примадонн не могли сравниться для миссис Плорниш с этим слабым чириканьем, похожим на звук старой испорченной шарманки, ручку которой вертит ребенок. Так уж было заведено в его «отпускные» дни (эти редкие просветы, позволявшие ему отдохнуть от унылого созерцания сорока девяти одинаково стриженных седых голов), что, когда мистер Нэнди съест свою порцию мяса и выпьет свой стакан портеру, его дочь, замирая от сладкой тоски, говорила ему: «Спой нам песенку, отец!» И он пел про Хлою, а если был в настроении, то и про Филлис тоже (до Стрефона он со времени своего добровольного изгнания не добирался ни разу); а миссис Плорниш, утирая слезы, говорила, что таких певцов, как отец, нет и не бывало.

Будь он вельможей, заглянувшим к ним по дороге из дворца – будь он даже самым аристократическим холодильником, торжественно прибывшим из дальних стран за наградами и почестями по случаю своего последнего дипломатического провала, – миссис Плорниш не могла бы более горделиво прогуливаться с ним по Подворью Кровоточащего Сердца.

– Вот и отец, – говорила она повстречавшемуся соседу. – Отец скоро опять поселится с нами. Правда, отец хорошо выглядит? Отец стал петь еще лучше, чем прежде; жаль, вы не слышали, как он только что исполнил нам романс о Хлое, – вы бы этого век не забыли.

Что касается мистера Плорниша, то деля супружеское ложе с дочерью мистера Приди, он делил с нею и все ее мнения и только удивлялся тому, что столь редкостный талант не принес его обладателю богатства. После долгих раздумий он нашел причину в том, что почтенный джентльмен смолоду пренебрегал своим музыкальным образованием.

– Чем переплетать ноты, – рассуждал мистер Плорниш, – он бы лучше учился петь по ним. То-то и оно.

У старого Нэнди был покровитель – единственный в своем роде. Этот покровитель относился к нему с большой добротой, в которой было нечто величественное и снисходительное, словно он постоянно оправдывался перед своими почитателями в том, что не по заслугам обласкал этого беднягу из сострадания к его беспомощности и нищете. Старый Нэнди несколько раз приходил в Маршалси за то время, что там находился его зять, и ему посчастливилось снискать благосклонность старейшины этого славного государственного учреждения.

Мистер Доррит принимал старичка у себя, подобно феодальному властителю, принимающему своего верного вассала. Он приказывал угостить его и напоить чаем, словно это был ходок из каких-нибудь дальних владений, где люди живут еще в первобытной простоте нравов. Бывали минуты, когда ему самому начинало казаться, что этот старичок – его преданный старый слуга, и в беде сохранивший верность господам. Если случалось упомянуть о нем в разговоре, он называл его не иначе, как своим старым протеже. Ему доставляло особое удовольствие смотреть на него, а когда он уйдет, сокрушаться о его дряхлости. Ему, впрочем, казалось удивительным, как он вообще еще держится, несчастный. «В работном доме, сэр, представляете? Ни своей комнаты, ни посетителей, ни почета, ни уважения, на одной доске со всеми! Ужасно!»

Был день рождения старого Нэнди, и его отпустили в город. Он благоразумно умолчал про день рождения, а то может, и не отпустили бы: таким старикам рождаться незачем. Он отправился своей обычной дорогой в Подворье Кровоточащего Сердца, пообедал с дочерью и зятем и спел им про Филлис. Не успел он пропеть последний куплет, как в дверь постучали: это Крошка Доррит зашла проведать своих друзей.

– Мисс Доррит! – сказала миссис Плорниш. – Вот и отец! Правда, он чудесно выглядит? А как у него сегодня звучит голос!

Крошка Доррит подала старичку руку и с улыбкой заметила, что давно уже его не видела.

– Да, бедный отец, нелегко ему с тамошними порядками, – сказала миссис Плорниш, и лицо у нее вытянулось. – Ни погулять, ни свежим воздухом подышать сколько ему требуется. Но ничего, теперь уж он скоро опять поселится с нами. Верно, отец?

– Да, доченька, с божьей помощью. Я и сам на это надеюсь.

⁶⁸ ...знал несколько наивных и простеньких песенок, из тех, что были в моде у наших прабабушек, – о Хлое, Филлис, Стрефоне... – Хлоя, Филлис и Стрефон – ставшие нарицательными имена пасторальных персонажей.

Тут мистер Плорниш разразился тирадой, которую неизменно, слово в слово повторял при таком обороте разговора. Вот эта тирада:

– Джон Эдвард Нэнди! Сэр! Пока под этим кровом есть хоть глоток еды или питья, мы рады разделить его с вами. Пока под этим кровом есть хоть капелька угля и кусочек постели, мы рады разделить их с вами. Если под этим кровом ничего не будет, мы и это рады разделить с вами, все равно как если бы было много или мало. Вот как я разумею и говорю вам так от чистого сердца, и раз, стало быть, такое дело, то и надо сделать так, как вас просят, и вот, стало быть, чего ж дожидаться?

Выслушав эту доходчивую речь, которую мистер Плорниш всегда произносил так, как будто сочинял ее с величайшей натугой (что, вероятно, соответствовало истине), родитель миссис Плорниш отвечал своим надтреснутым голоском:

– Спасибо тебе, Томас, на добром слове, я знаю, что ты желаешь мне добра, за то и благодарю. Но только сейчас нельзя, Томас. Ведь это значило бы вырывать кусок изо рта у детишек, да, да, что там ни говори, оно так именно и получится, а потому подождем до лучших времен, когда я тут никому не буду в тягость. Будем надеяться, что такие времена не за горами, а пока что нельзя, Томас, никак нельзя.

Тут в разговор снова вступила миссис Плорниш, которая отвернулась было в сторону, забрав зачем-то в руку уголок передника. Она сообщила мисс Доррит, что отец желал бы нынче засвидетельствовать свое почтение мистеру Дорриту, если в том нет никакого неудобства.

– Я как раз иду отсюда домой, – был ответ, – и если мистер Нэнди ничего не имеет против, с удовольствием провожу – с удовольствием пройду вместе с ним, – сказала Крошка Доррит, всегда заботившаяся о чувствах слабых.

– Слышишь, отец! – воскликнула миссис Плорниш. – Вот ты какой у нас завидный кавалер, даже мисс Доррит лестно с тобой прогуляться. Дай-ка я тебе повяжу галстук бантом, чтобы ты был совсем франтом – ишь как складно вышло!

Полюбовавшись на результат своих усилий, миссис Плорниш нежно обняла отца на прощанье и, став у дверей с младшим, слабеньким ребенком на руках (старший, крепыш, в это время бодро скатывался со ступенек крыльца), еще долго смотрела, как ее старенький отец ковыляет по тротуару под руку с Крошкой Доррит.

Они шли не торопясь. Крошка Доррит повела его через Железный мост, и там они присели отдохнуть и, глядя на реку, усеянную судами, большими и маленькими, гадали, откуда и куда эти суда идут, и старичок говорил о том, что бы он стал делать, если бы на его имя пришел вдруг корабль с грузом золота – у него на этот случай припасен был вполне определенный план: нанять для Плорнишей и для себя хорошую квартиру окнами в какой-нибудь увеселительный сад и жить там без забот, пользуясь услугами официантов упомянутого заведения; словом, давно уже старый Нэнди не проводил свой день рождения так приятно. Им оставалось не больше пяти минут ходу до ворот тюрьмы, как вдруг из своего переулка вынырнула Фанни в новой шляпке, как видно державшая курс на ту же гавань.

– Милосердый боже, Эми! – воскликнула эта бойкая молодая особа, отшатнувшись. – Только этого еще не доставало!

– Чего «этого», милая Фанни?

– Ну, знаешь ли, от тебя, кажется, всего можно ожидать, – отвечала старшая сестра, кипя гневом, – но такого даже я, даже от тебя не ожидала!

– Фанни! – воскликнула Крошка Доррит с обидой и недоумением.

– Пожалуйста, не повторяй мое имя без толку, бессовестная девчонка! Подумать только: среди бела дня, на глазах у всех идет по улице под руку с нищим! (Последнее слово она выпалила, точно выстрелила им из духового ружья.)

– Фанни!

– Сказано тебе, не смей повторять мое имя! Слыхано ли что-нибудь подобное! Ты просто задалась целью унижать и позорить нас где только можно. Дрянная девчонка!

– Разве я позорю кого-нибудь тем, что взялась проводить этого бедного старичка? – очень тихо спросила Крошка Доррит.

– Да, мисс, – отвечала Фаздни, – и вам самой следовало бы понимать это. Впрочем, вы отлично понимаете; оттого и делаете, что понимаете. Для вас нет большего удовольствия, чем унижить свою

семью напоминанием о ее несчастьях. А второе ваше удовольствие – якшаться с подонками общества. Но если вы не считаетесь с приличиями, то я пока еще с ними считаюсь. Так что позвольте мне перейти на другую сторону улицы и продолжать путь отдельно от вас.

И она упорхнула на противоположный тротуар. Старенький виновник позора, который почтительно держался в некотором отдалении (Крошка Доррит, растерявшись от бурного наскока сестры, выпустила его руку) и которого нетерпеливо толкали и бранили те, кому он загораживал дорогу, снова подошел к своей спутнице и спросил:

– Не приключилось ли чего с вашим уважаемым батюшкой, мисс? Не заболел ли кто из вашего уважаемого семейства?

– Нет, нет, – поторопилась ответить Крошка Доррит. – Ничего не случилось, благодарю вас. Дайте я вас опять возьму под руку, мистер Нэнди.

Так, продолжая прерванный появлением Фанни разговор, она дошла с ним до тюрьмы и, поздоровавшись с мистером Чивери, дежурившим у ворот, прошла через караульную. Случаю угодно было, чтобы в ту самую минуту, когда они под руку выходили из караульной, к ней приближался совершавший свою дневную прогулку Отец Маршалси. Вид этой пары сильно подействовал на его чувства; крайне взволнованный, даже потрясенный – не обращая внимания на старого Нэнди, который, низко поклонившись, замер со шляпой в руке, как всегда в присутствии столь высокой особы, – он круто повернул назад и чуть не бегом бросился к себе домой.

Оставив злополучного старичка, в недобрый час взятого ею под покровительство, и наспех пообещав ему, что сейчас вернется, Крошка Доррит побежала за отцом и на лестнице столкнулась с Фанни, которая с видом оскорбленного величия тоже поднималась вверх. Все трое вошли в комнату почти одновременно; Отец Маршалси сразу же опустил в свое кресло, закрыв лицо руками, и испустил глухой стон.

– Еще бы, – сказала Фанни. – Ничего удивительного. Бедный папочка, как ему тяжело! Теперь, надеюсь, вы убедились в моей правоте, мисс?

– Что с вами, отец? – воскликнула Крошка Доррит, склоняясь над ним. – Неужели это я вас огорчила, отец? Нет, нет, не может быть!

– Вот как, не может быть? Скажите пожалуйста! Ах ты... – Фанни остановилась в поисках достаточно энергичного определения, – ах ты маленькая простолюдинка! Истинное дитя тюрьмы!

Отец Маршалси движением руки прекратил эти злые упреки и горестно прошептал, качая головой:

– Эми, я знаю, ты поступила так без дурного умысла. Но ты ранила меня в самое сердце!

– Без дурного умысла! – вмешалась непримиримая Фанни. – С гнусным умыслом! С отвратительным умыслом! С умыслом унижить семью.

– Отец! – воскликнула Крошка Доррит, побледнев и вся дрожа. – Простите меня! Не сердитесь на меня! Только скажите, в чем моя вина, чтобы это никогда не повторилось!

– Ах ты маленькая лицемерка! – вскричала Фанни. – Ты прекрасно знаешь, в чем твоя вина. Я сама сказала тебе. И не вздумай отпираться, только лишний грех на душу возьмешь.

– Тсс! – остановил ее отец и продолжал, обращаясь к младшей дочери: – Эми! – Тут он несколько раз провел по лицу носовым платком, а затем, судорожно сжав его в кулаке, уронил руку на колени. – Эми! Я делал все, чтобы удержать тебя здесь на некоторой высоте. Я делал все, чтобы сохранить тебе здесь известное положение. Может быть, мне это удалось, может быть, нет. Может быть, ты это оценила, может быть, нет. Не берусь судить. Мне через многое пришлось здесь пройти, кроме одного – унижения. От унижения я был, по счастью, избавлен – до этого дня.

Тут судорожно сжатый кулак разжался, и платок снова пропутешествовал к глазам. Крошка Доррит, опустившись перед отцом на колени, смотрела на него с мольбой и раскаянием. Когда очередной приступ горя миновал, почтенный старец снова стиснул платок в руке.

– От унижения я был, по счастью, избавлен до этого дня. Во всех моих испытаниях меня поддерживало присущее мне – кха – чувство собственного достоинства, и – и уменье окружающих, так сказать, уважать во мне это чувство. Вот почему я был избавлен от – кха – унижения. Но сегодня, сейчас мне впервые пришлось испытать его в полной мере.

– Еще бы! Иначе и быть не могло! – подхватила неугомонная Фанни. – Если уж тут красуются перед всеми под ручку с нищим! (Снова выстрел из духового ружья.)

– Отец, дорогой! – вскричала Крошка Доррит. – Я не хочу оправдываться в том, что нанесла вам такой жестокий удар – нет, нет, видит бог, не хочу! – Она заломила руки в безысходном отчаянии. – Я только прошу вас, умоляю вас успокоиться и забыть об этом. Но я бы не привела с собой этого старичка, если б не знала, что вы сами всегда так добры к нему, так ласково и приветливо его встречаете – поверьте мне, отец, я бы никогда этого не сделала. Пусть я виновата, но это вина невольная. Ни за какие блага мира я бы не захотела, чтобы хоть одна слезинка пролилась из ваших глаз, любимый мой, дорогой мой отец! – Сердце у Крошки Доррит готово было разорваться от горя.

Тут Фанни громко всхлипнула, то ли от злости, то ли от раскаяния, и тоже ударилась в слезы, твердя, что хотела бы умереть – пожелание, постоянно высказывавшееся этой молодой особой, когда ее гнев начинал утихать, а досада на других сменялась досадой на себя.

Между тем Отец Маршалси привлек младшую дочь к себе на грудь и стал гладить ее по голове.

– Ну, ну. Полно, Эми, полно, дитя мое. Я постараюсь забыть об этом как можно скорее. Я (с истерическим смешком) – я заставлю себя забыть. Ты совершенно права, мой ангел, я всегда ласково встречаю своего старого протеже и всегда рад его видеть – кхм – как своего старого протеже, – я даже стараюсь, насколько позволяют мои обстоятельства, оказать покровительство и поддержку этому – кхм – надломленному тростнику – пожалуй, уместно будет дать ему такое название. Все это так, ты совершенно права, дорогое дитя мое. Но при всем том я сохраняю – позволю себе употребить это выражение, – я неизменно сохраняю чувство достоинства, собственного достоинства. Так вот, видишь ли, есть вещи, которые несовместимы с этим чувством и ранят (он всхлипнул), да, болезненно ранят его. Не то огорчает меня, что моя добрая Эми внимательна и – кхм – снисходительна к моему старому протеже. Но я не могу видеть – буду говорить прямо, чтобы скорее покончить с этим тягостным разговором, – как мое дитя, моя дочь, моя родная дочь входит в это заведение с людной улицы – улыбаясь! улыбаясь! под руку с – о боже, боже! – с человеком в ливрее!

Это обозначение внеисторического сютука удрученный старец произнес сдавленным голосом, воздев к небу руку с зажатым в ней платком. Он, верно, нашел бы и другие горькие слова для выражения своей душевной муки, но тут в дверь постучали (уже не первый раз), и Фанни, к этому времени изъяснившая не только желание умереть, но и готовность лечь в могилу, крикнула:

– Войдите!

– А, Юный Джон! – произнес Отец Маршалси мгновенно изменившимся, спокойным тоном. – Что скажете, Юный Джон?

– Вам просили передать письмо, сэр, и еще кое-что на словах, а так как я случайно был в караульне, когда туда явился посланный, то и взял это поручение на себя. – Говоря, он с беспокойством косился на Крошку Доррит, скорбно поникшую на полу, у ног отца.

– Очень мило с вашей стороны, Джон. Благодарю вас.

– Письмо от мистера Кленнэма, сэр, это ответ; а на словах ведено передать, что мистер Кленнэм шлет поклон и сам зайдет попозже засвидетельствовать свое почтение вам, и (с возрастающим беспокойством) – мисс Эми.

– Превосходно! – взяв письмо и обнаружив в нем банковый билет, Отец Маршалси слегка покраснел и снова погладил Эми по голове. – Благодарю, Юный Джон. Весьма признателен за услугу. Посланный дожидается?

– Нет, сэр, ушел.

– Благодарю еще раз. Как поживает ваша матушка, Юный Джон?

– Благодарю вас, сэр. Здоровье у нее немного расстроено – да по правде сказать, и у всех в семье, кроме разве отца, – но, в общем, ничего, сэр.

– Передайте ей от нас привет, Джон. Самый сердечный привет, так и скажите.

– Благодарю вас, сэр, передам непременно. – И мистер Чивери-младший пошел восвояси, мысленно повторяя только что сочиненную новую эпитафию, которая гласила:

Здесь Покоится Прах

ДЖОНА ЧИВЕРИ,

Который такого-то числа,

Увидев Владычицу Своего Сердца в Горе и Слезах,

Не в Силах Был Вынести Это Душераздирающее
Зрелище
и Воротившись Под Кров Безутешных Родителей,
Собственной Рукой
Положил Конец Своему Бренному
Существованию.

– Ну, полно, полно, Эми, – сказал Отец Маршалси, как только за Юным Джоном затворилась дверь. – Забудем о том, что произошло. – В последние несколько минут в его настроении произошла разительная перемена; он почти развеселился. – А где же, однако, мой старый протезе? Нехорошо так долго оставлять его одного; он может подумать, что его приходу не рады, а мне это было бы неприятно. Сходи за ним, дитя мое – или я сам схожу.

– Лучше вы, если вам не трудно, отец, – сказала Крошка Доррит, сиюсь унять все еще душившие ее рыдания.

– Разумеется, мой ангел, разумеется. У тебя глаза красные. Я об этом не подумал. Ну, ладно, успокойся, Эми. Не тревожься обо мне, все уже прошло, душа моя, – видишь, совсем прошло. Ступай приведи себя в порядок к приходу мистера Кленнэма.

– Мне бы не хотелось быть здесь, когда придет мистер Кленнэм, отец, – сказала Крошка Доррит, которой вдруг стало еще трудней справляться со своим волнением. – Я лучше останусь в своей комнате.

– Ну, ну, душа моя! Что за ребячество! Мистер Кленнэм достойнейший человек, настоящий джентльмен. Чересчур замкнутый, пожалуй, но настоящий джентльмен, я на этом настаиваю. Как это можно – не выйти к такому гостю! И слышать об этом не хочу, особенно сегодня. Ступай, Эми, освежи лицо и приведи себя в порядок; ступай, ступай, будь умницей.

Крошке Доррит ничего не осталось, как только послушно исполнить полученное приказание; она лишь на миг задержалась, чтобы в знак примирения поцеловать сестру. Упомянутая молодая особа обреталась в полном смятении чувств, успев утратить вкус к тому печальному исходу, в котором рассчитывала найти облегчение, но ее осенила блестящая мысль, которую она не замедлила высказать вслух: пусть лучше умрет старый Нэнди, по крайней мере перестанет сюда таскаться, мерзкий, нудный старикашка, и сеять раздоры между сестрами.

Между тем Отец Маршалси, – развеселившись до того, что даже сдвинул немного набекрень свою черную бархатную ермолку и что-то напевал себе под нос, – спустился во двор и обнаружил своего старого протезе у караульни, где тот так и простоял все это время со шляпой в руке.

– Что же вы, Нэнди, – сказал почтенный джентльмен с обворожительной улыбкой, – что же вы не поднялись наверх? Ведь вы же знаете дорогу. Ну, пойдете. – Он простер свою благосклонность до того, что даже подал старичку руку и спросил: – Ну как здоровье, Нэнди? Скрипим понемножку? – На это певец Хлои и Филлис отвечал с поклоном: – Благодарствуйте, сэр, я себя чувствую недурно, а как увидел вашу честь, то и вовсе хорошо. – Встретив по дороге одного пансионера из новичков, Отец Маршалси представил ему своего спутника: – Мой давнишний знакомец, сэр, старый мой протезе. – И, обратясь к старичку, прибавил: – Не стойте с непокрытой головой, мой добрый Нэнди, наденьте шляпу, – что было уже верхом снисходительности.

Но этим не исчерпались его милости: придя домой, он велел Мэгги вскипятить чайник, а затем послал ее купить печенья, масла, яиц, ветчины и креветок, для чего дал ей банковый билет в десять фунтов, наказав хорошенько пересчитать сдачу. Когда эти приготовления подходили к концу, а Эми уже сидела с работой в руках в отцовской комнате, явился Кленнэм, которому был оказан самый радужный прием и предложено разделить с ними трапезу.

– Эми, душа моя, ты знаешь мистера Кленнэма лучше, нежели я сам имею удовольствие его знать. Фанни, милочка, ты ведь тоже знакома с мистером Кленнэмом. – Фанни надменно кивнула головой и, как всегда в подобных случаях, поджала губы с таким видом, будто ей доподлинно было известно о существовании заговора против чести и достоинства семьи Доррит и о причастности к этому заговору Кленнэма. – А вот это, позвольте вам представить, мистер Кленнэм, – мой старый протезе по фамилии Нэнди, добрейший, преданнейший старичок. (Он всегда говорил о нем, как о какой-то замшелой древности, хотя сам был двумя или тремя годами старше его.) Позвольте, позвольте. Вам

как будто знаком Плорниш? Помнится, моя дочь Эми говорила мне, что вы знаете все семейство этого бедняги?

– Вы не ошиблись, – подтвердил Артур Кленнэм.

– Так вот, сэр, это – отец миссис Плорниш.

– В самом деле? Очень рад познакомиться.

– Вы бы еще более обрадовались, если бы знали все его многочисленные качества, мистер Кленнэм.

– Лышу себя надеждой узнать их при более близком знакомстве, – сказал Артур, втайне чувствуя сострадание к жалкой сгорбленной фигурке.

– У него сегодня праздник, и он решил навестить своих старых друзей, которые всегда ему рады, – сказал Отец Маршалси и, прикрыв рот рукой, пояснил вполголоса: – Он в работном доме, бедняга. Их иногда отпускают на день.

Тем временем Мэгги с помощью своей маленькой маменьки накрыла на стол и расставила закуску. Погода стояла жаркая, и в тюремных стенах духота казалась особенно нестерпимой, а потому окно было распахнуто настежь. – Пусть Мэгги постелит на подоконник газету, душа моя, – сказал радушный хозяин дочери, – и пока мы пьем чай, мой старый протезе сможет там выпить чашечку.

Так, отделенный от чистой публики пропастью в добрый фут шириной, отец миссис Плорниш мог наслаждаться гостеприимством Отца Маршалси. Поистине неподражаемым было великодушно-покровительственное отношение одного старика к другому; так по крайней мере казалось Кленнэму, и он с живым интересом следил за тем, как оно проявлялось.

Пожалуй, любопытнее всего было слышать, с каким удовольствием почтенный джентльмен толкует о немощах своего старого протезе – ни дать ни взять словоохотливый поводырь, на потеху толпе таскающий по ярмарке большого дряхлого зверя.

– Еще ветчины, Нэнди? Как, вы все жуеете тот первый кусочек? Что-то уж очень долго... Со всем зубов не осталось у бедняги, – пояснял он обществу за столом.

А через несколько минут: – Креветок, Нэнди? – и так как тот чуть замешкался с ответом: – Становится туг на ухо. Скоро и вовсе оглохнет.

Еще через несколько минут: – Скажите, Нэнди, а вы там, у себя, много гуляете по двору?

– Нет, сэр, немного. Не так-то оно приятно, правду сказать.

– Да, да, разумеется, – поспешно согласился вопрошавший. – Вполне понятно. – И вполголоса, оборотясь к столу: – Ноги не держат.

Один раз он вдруг спросил, с озабоченным видом человека, задающего первый попавшийся вопрос, просто чтобы не дать собеседнику заснуть: – Сколько лет вашему младшему внуку, Нэнди?

– Джону Эдварду, сэр? – переспросил старичок, отложив нож и вилку и наморщив лоб. – Сколько лет, вы спрашиваете? Минуточку, сейчас скажу.

Отец Маршалси постучал себя по лбу. – Слабеет память.

– Джону Эдварду, сэр? Вот ведь запомятовал. То ли два года и два месяца, то ли два года и пять месяцев, боюсь сказать точно. Либо одно, либо другое.

– Ну, не мучьте себя, Нэнди, не стоит припоминать, – с бесконечной снисходительностью успокоил его почтенный джентльмен. (Голова уже, видно, плохо работает – и не удивительно, при той жизни, которую ведет бедняга.)

Чем больше признаков дряхлости он якобы обнаруживал в своем протезе, тем больше, видимо, чувствовал к нему симпатии; и когда после чая старик заикнулся, что ему, мол, «пора и честь знать», Отец Маршалси, поднявшись с кресла, чтобы проститься с ним, как-то особенно приосанился и распрямил спину.

– Это не называется шиллинг, Нэнди, – сказал он, вкладывая ему в руку монету. – Это называется табак.

– Чувствительно благодарен, уважаемый сэр. – Я и куплю табаку. Благодарствуйте, мисс Эми и мисс Фанни, желаю вам всего самого лучшего. Покойной ночи, мистер Кленнэм.

– Смотрите же, не забывайте нас, Нэнди, – напутствовал Отец Маршалси гостя. – Непременно приходите, как только вам опять случится быть в городе. Вы должны навешать нас в каждый ваш отпусковой день, иначе мы обидимся. Покойной ночи, Нэнди. Осторожней спускайтесь по лестнице, Нэнди; там много шатких ступеней. – Он еще постоял в дверях, глядя ему вслед, потом воротился в

Чарльз Диккенс «Крошка Доррит. Книга первая»

комнату и со вздохом удовлетворения сказал: – Прискорбное зрелище, мистер Кленнэм. счастье еще, что он сам не сознает, во что превратился. Жалкий старик, настоящий обломок крушения. Главное – никакого чувства собственного достоинства; оно в нем убито, уничтожено, растоптано в прах!

Поскольку посещение Кленнэма имело определенную цель, побуждавшую его не торопиться с уходом, он пробормотал в ответ что-то неопределенное и вместе с хозяином дома отошел к окну, чтобы не мешать Мэгги и ее маленькой маменьке мыть и убирать посуду. От него не укрылось, что Отец Маршалси встал у окна в позе благосклонного и милостивого государя, и жест, которым он отвечал на приветствия проходивших по двору подданных, весьма напоминал собою благословение.

Когда Крошка Доррит снова разложила работу на столе, а Мэгги – на постели, Фанни встала и принялась завязывать ленты своей шляпки, собираясь уходить. Кленнэм ввиду наличия упомянутой цели по-прежнему не торопился. Вдруг дверь распахнулась, на этот раз без стука, и в комнату вошел мистер Тип. Он поцеловал Эми, поспешившую ему навстречу, кивнул Фанни, кивнул отцу, мрачно покосился на гостя и, не говоря ни слова, уселся за стол.



– Тип, дорогой, – мягко заметила ему Крошка Доррит, смущенная его поведением, – разве ты не видишь...

– Вижу, Эми. – Если ты о том, что у вас тут кто-то есть – если ты вот об этом, – сказал Тип, мотнув головой в сторону Кленнэма, – так я вижу.

– И это весь твой ответ?

– Да, это весь мой ответ. И смею думать, – с высокомерным видом прибавил мистер Тип после минутной паузы, – смею думать, вашему гостю понятно, почему это весь мой ответ. Иначе говоря,

вашему гостю понятно, что он поступил со мной так, как с джентльменами не поступают.

– Нет, мне непонятно, – спокойно возразил виновник его благородного гнева.

– Неужели? В таком случае, позвольте разъяснить вам, сэр, что, если я обращаюсь к некоему лицу с деликатной просьбой, с настоятельной просьбой, с вежливо изложенной просьбой о небольшой временной ссуде, которую ему ничуть не трудно – заметьте, ничуть не трудно удовлетворить, и если данное лицо отвечает мне отказом, я нахожу, что оно поступило со мной так, как с джентльменами не поступают.

До сих пор Отец Маршалси молча прислушивался к словам сына, но, услышав последнюю фразу, он тотчас же сердито вскричал:

– Как ты смеешь...

Но сын перебил его:

– А вот так и смею, и не начинайте городить всякий вздор. Что касается тона, который я принял по отношению к данному лицу, так вам бы следовало гордиться тем, что я защищаю семейное достоинство.

– Он прав! – воскликнула Фанни.

– Семейное достоинство? – повторил отец. – Ты говоришь о семейном достоинстве? Так я, стало быть, дожил до того, что мой сын учит меня – меня! – что такое семейное достоинство!

– Слушайте, отец, не стоит нам, право, препираться и заводить скандал из-за этого. Я пришел к заключению, что данное лицо поступило со мной так, как с джентльменами не поступают, и больше тут говорить не о чем.

– Нет, сэр, тут есть о чем говорить, – возразил отец. – Есть о чем говорить. Ты пришел к заключению! Ты пришел к заключению!

– Да, я пришел к заключению. Что толку без конца повторять это?

– А то, – вскричал отец, распаяясь все больше, – что ты не имел права приходить к такому чудовищному, такому – кхм – безнравственному, такому – кха – отцеубийственному заключению. Нет, мистер Кленнэм, прошу вас, не заступайтесь, сэр. Тут речь идет о – кхм, – о принципе, а принцип для меня важнее даже соображений – кха – гостеприимства. Я возражаю против утверждения, высказанного моим сыном. Я – кха, – я отказываюсь его признать.

– Да при чем тут вы, отец? – бросил через плечо сын.

– При чем тут я? При чем тут я? А притом, сэр, что это затрагивает мое собственное – кхм – достоинство. Утверждая нечто подобное, вы, сэр (он снова достал платок и вытер им лицо), оскорбляете мои лучшие чувства. Предположим, что я сам бы обратился к какому-нибудь лицу или – кхм – лицам с просьбой – с деликатной просьбой, с настоятельной просьбой, с вежливо изложенной просьбой о небольшой временной ссуде. Предположим, что упомянутое лицо легко могло бы удовлетворить эту просьбу, однако не пожелало удовлетворить и ответило отказом. Значит ли это, что я должен выслушать из уст родного сына, что со мной поступили не так, как принято поступать с джентльменами, и что я – кха – допустил это?

Эми кротко попыталась успокоить расхордившегося отца, но не тут то было. Он твердил, что его достоинство задето и что он этого не потерпит.

Как, он должен в своем доме, от своего сына выслушивать подобные вещи? Как, он должен терпеть унижения от собственной плоти и крови?

– Да какие там унижения, все это одни ваши выдумки, отец, – возразил молодой человек недобрым тоном. – Мои заключения совершенно вас не касаются. И мои слова тоже совершенно вас не касаются. Нечего принимать все на свой счет.

– А я вам говорю, сэр, это меня весьма даже касается! – воскликнул отец. – И я с глубоким возмущением должен заметить вам, что, если бы у вас была хоть капля, не скажу совести, но хотя бы – кхм, – хотя бы уважения – кха – к щекотливым и деликатным обстоятельствам вашего отца, у вас язык бы не повернулся высказывать такие – кха, – такие противоестественные взгляды. Наконец если уж отец для вас – ничто, если вы пренебрегаете сыновним долгом, то вы ведь все-таки – кхм – христианин. Надеюсь, вы не записались – в – кха, – в атеисты. А в таком случае позвольте вас спросить, разве это по-христиански – бесчестить и хулить некое лицо за то, что оно один раз ответило вам отказом, когда это же лицо – кха – в другой раз может удовлетворить вашу просьбу? Разве истинный христианин не должен – кхм – повторить свою попытку? – Вдохновленный собственными словами,

он пришел в благочестивый раж.

– Ну, я вижу, с вами сегодня не сговоришься. Уберусь-ка я лучше отсюда. Спокойной ночи, Эми. Не сердись на меня. Я сам не рад, что это все вышло при тебе – ей-богу, не рад; но я не могу поступить своим достоинством даже для тебя, старушка.

С этими словами он надел шляпу и удалился вместе с мисс Фанни, которая не преминула на прощанье обдать Кленнэма уничтожающим взглядом, ясно говорившим, что он давно разоблачен ею, как участник заговора против семейного достоинства Дорритов.

После их ухода Отец Маршалси по всем признакам вознамерился снова впасть в уныние, но, по счастью, этому помешал один из пансионеров, явившийся с вестью, что его ждут в Клубе. Это был тот самый джентльмен, который в ночь, проведенную Кленнэмом в тюрьме, жаловался ему на смотрителя, якобы присваивавшего его долю секретной субсидии. Сейчас на него была возложена почетная миссия эскортировать Отца Маршалси к председательскому месту, которое тот пообещал занять в сегодняшнем собрании тюремных любителей музыки.

– Вот, извольте видеть, мистер Кленнэм, – сказал почтенный старец. – Такова оборотная сторона моего положения. Общественные обязанности, ничего не поделаешь. Уверен, что вы лучше, чем кто-либо, поймете это и извините меня.

Кленнэм просил его не тратить времени на извинения.

– Эми, душа моя, если мистер Кленнэм согласится посидеть еще немного, не сомневаюсь, что ты с честью исполнишь роль хозяйки нашего более чем скромного дома и, может быть, сумеешь сгладить впечатление от – кха – прискорбного случая, имевшего место после чая.

Кленнэм поспешил заверить, что упомянутый случай не произвел на него никакого впечатления, так что сглаживать ничего не требуется.

– Дорогой сэр. – сказал Отец Маршалси, приподняв свою бархатную ермолку и выразительным пожатием руки Кленнэма подтверждая получение письма и банкового билета. – Да благословит вас бог.

Таким образом Кленнэму представилась возможность осуществить цель своего посещения и поговорить с Крошкой Доррит так, чтобы никто не слышал. Мэгги, правда, слышала, но это было все равно что никто.

Глава XXXII

Снова предсказатель будущего

Мэгги прилежно шила, повернувшись зрячим глазом к окну, и оборка огромного белого чепца почти скрывала ее профиль (или то небольшое, что заслуживало такого названия). Благодаря этой оборке и незрячему глазу она была как бы отделена завесой от своей маленькой маменьки, сидевшей за столом напротив окна. Со двора теперь почти не доносилось шума и топота ног: музыкальный вечер начался, и поток пансионеров отхлынул к Клубу. Только те, кто не обладал музыкальным ухом или у кого было пусто в кармане, еще слонялись по двору, да по углам – обычная картина! – шло затянувшееся прощанье супругов, лишь недавно разлученных тюрьмой; так в углах прибранной комнаты можно подчас разглядеть обрывки паутины и иные следы беспорядка. То были самые тихие часы в тюрьме, уступавшие только ночи, когда и тюремные обитатели забываются сном. Порой из Клуба слышались взрывы аплодисментов, которые сопровождали успешное завершение очередного номера, или тост, предложенный Отцом и дружно подхваченный детьми. Порой чей-нибудь могучий бас, перекрывая прочие голоса, хвастливо уверял слушателей, что плывет по волнам или скачет в чистом поле, или преследует оленя, или бродит в сердце гор, или вдыхает аромат вереска; но смотритель Маршалси не смутился бы этими уверениями, зная, как прочны тюремные замки.

Когда Артур Кленнэм подошел и сел рядом с Крошкой Доррит, она задрожала так, что иголка едва не выпала у нее из рук. Кленнэм осторожно потянул за край ее работы и сказал:

– Милая Крошка Доррит, позвольте мне отложить это в сторону.

Она не пыталась возражать, и он взял у нее шитье и положил на стол. Она судорожно сцепила руки, но он разнял их и удержал одну маленькую ручку в своей руке.

– Я вас теперь очень редко вижу, Крошка Доррит.

– У меня много работы, сэр.

– Однако же вы сегодня были у моих славных соседей, – продолжал Кленнэм. – Я совершенно случайно узнал об этом. А почему было не зайти ко мне заодно?

– Я – я сама не знаю. Я боялась помешать вам. Ведь вы теперь очень заняты делами.

Он смотрел на эту маленькую дрожашую фигурку, это склоненное личико, эти глаза, пугливо прятавшиеся от его глаз, – и в его взгляде была не только нежность, но и тревога.

– Вы в чем-то переменялись, дитя мое.

Она уже не в силах была унять бившую ее дрожь. Тихонько высвободив руку и переплетя пальцы обеих рук, она сидела перед ним, опустив голову и вся дрожа.

– Добрая моя Крошка Доррит! – сказал Кленнэм с глубоким состраданием в голосе.

Слезы брызнули у нее из глаз. Мэгги оглянулась и по крайней мере с минуту пристально смотрела на нее, но не сказала ни слова. Кленнэм выждал немного, прежде чем снова заговорить.

– Мне тяжело видеть, как вы плачете, – сказал он. – Но я думаю, слезы принесут вам облегчение.

– Да, сэр, – да, разумеется.

– Ну, полно, полно, Крошка Доррит. Ведь это пустяки, право же пустяки. Мне очень жаль, что я невольно послужил причиной вашего волнения. Ну, успокойтесь и забудьте об этой истории. Она вся не стоит одной вашей слезы. Я бы охотно пятьдесят раз на дню выслушивал подобные глупости, если бы мог избавить вас этим хоть от одной горькой минуты.

Она уже справилась с собой и отвечала почти обычным своим тоном:

– Вы очень добры! Но даже если не говорить обо всем прочем, мне больно и стыдно за такую неблагодарность...

– Тсс, тсс! – сказал Кленнэм и, протянув палец, дотронулся до ее губ. – Уж не изменила ли вам память – вам, которая никогда не забывает ни о ком и ни о чем? Неужели я должен напоминать вам, что вы обещали считать меня другом и доверять мне? Нет, нет. Вы этого не забыли, правда?

– Стараюсь помнить, но мне было трудно сдержать свое обещание давеча, когда мой брат так нехорошо повел себя с вами. Не судите его чересчур строго, бедняжку, подумайте о том, что он вырос в тюрьме! – Она подняла на Кленнэма молящий взгляд и, первый раз за весь вечер всмотревшись в его лицо, воскликнула совсем другим тоном: – Вы были больны, мистер Кленнэм?

– У вас что-то случилось? Какое-нибудь горе? – тревожно допытывалась она.

Пришел черед Кленнэма колебаться, не зная, что ответить. Наконец он сказал:

– По правде говоря, было небольшое огорчение, но теперь все уже прошло. Неужели это так бросается в глаза? Видно, я недостаточно хорошо владею собой. Вот не думал. Придется у вас учиться терпению и мужеству, ведь лучшего наставника не придумаешь.

Ему было невдомек, что она видит в нем то, чего никому другому не разглядеть. Ему было невдомек, что нет больше в мире глаз, способных смотреть на него таким лучистым и таким пронзительным взглядом.

– Впрочем, я бы вам все равно рассказал об этом, – продолжал он, – а потому я не в обиде на свое лицо за то, что оно так неосторожно выдает все мои тайны. Мне приятно и лестно довериться моей Крошке Доррит. Вот я и признаюсь вам, что, позабыв о своих летах и о своем скучном характере, позабыв о том, что пора любви давно миновала для меня в унылом однообразии лет, проведенных на чужбине, – позабыв обо всем этом, я вообразил себе, что влюблен в одну особу.

– Я ее знаю, сэр? – спросила Крошка Доррит.

– Нет, дитя мое.

– Это не та дама, что ради вас была так добра ко мне?

– Флора? Нет, нет. Неужели вы могли подумать...

– Да я и не подумала, – сказала Крошка Доррит, обращаясь не столько к нему, сколько к самой себе. – Мне все время как-то не верилось.

– Что ж, – сказал Кленнэм, снова, как в вечер роз, чувствуя себя человеком, чья молодость осталась позади и которому поздно уже мечтать о лучших утехх жизни. – Я понял свою ошибку, а поняв, призадумался кой о чем – верней, даже о многом, – и раздумье меня умудрило. Мудрость же выразилась в том, что я сосчитал свои годы, представил себе, каков я есть на самом деле, оглянулся назад, заглянул вперед – и увидел, что голова моя скоро будет седою. И мне стало ясно, что я уже

поднялся на вершину горы, перевалил через нее и начал спуск, который всегда быстрее подъема.

Если б он знал, какую боль причиняли его слова чуткому сердцу той, к кому они были обращены – и кого должны были подбодрить и утешить!

– Мне стало ясно, что время, когда подобные чувства мне были к лицу, когда они могли сулить счастье мне самому или кому-то другому, – это время прошло и никогда не вернется.

О если б он знал, если б он знал! Если б мог видеть кинжал в своей руке и жестокие раны, от которых истекало кровью преданное сердце Крошки Доррит!

– И я решил выбросить это из головы и никогда не вспоминать больше. Сам не знаю, зачем я рассказываю обо всем этом Крошке Доррит. Зачем указываю вам, дитя мое, на расстояние, которое нас разделяет, напоминаю, что, когда вы впервые взглянули на этот мир, я уже прожил в нем столько лет, сколько вам сейчас.

– Потому, должно быть, что вы верите мне. Потому, что вы знаете, что все, что касается вас, касается и меня, что в своей безграничной благодарности вам я радуюсь вашим радостям и печалюсь вашими печальями.

Он слышал, как звенит ее голос, видел ее сосредоточенное лицо, ее ясный, правдивый взгляд, ее волнующуюся грудь, которую она с восторгом подставила бы под смертельный удар, предназначенный ему, крикнув только: «Люблю!» – и даже тень истины не забрезжила перед ним. Он видел только самоотверженное маленькое существо в стоптанных башмаках, в плохоньком платье, – дитя тюрьмы, не знавшее иного дома, с хрупким телом ребенка, с душой героини; и за ярким подвигом ее повседневной жизни ничего другого не замечал.

– И поэтому тоже, Крошка Доррит, вы правы; но не только поэтому. Чем дальше я от вас по возрасту, по опыту, по душевному складу, тем лучше я гожусь вам в друзья и советчики. Вам легче доверять мне, и вы не должны меня стесняться, как могли бы стесняться кого-нибудь другого. А теперь признавайтесь – почему вы от меня прятались последнее время?

– Мне лучше быть здесь. Мое место здесь, где я могу приносить пользу. Мне лучше всего быть здесь, – сказала Крошка Доррит совсем тихо.

– Это вы мне уже говорили однажды – помните, на мосту. Я потом много думал над вашими словами. Скажите, может быть, у вас есть тайна, которую вы хотели бы мне поверить, нуждаясь в совете и поддержке?

– Тайна? Нет, у меня нет никаких тайн, – сказала Крошка Доррит почти с испугом.

Они говорили вполголоса – не потому, что опасались, как бы Мэгги не услышала их разговора, а просто потому, что сам разговор настраивал на такой лад. Но Мэгги вдруг снова уставилась на них – и на этот раз нарушила молчание:

– Маменька, а маменька!

– Что тебе, Мэгги?

– Если у вас нет тайны, чтобы ему рассказать, так вы расскажите про принцессу. У той ведь была тайна.

– У принцессы была тайна? – спросил удивленный Кленнэм. – А что это за принцесса, Мэгги?

– Господи, и не грех вам дразнить бедную девочку, которой всего десять лет, – сказала Мэгги. – Ну кто вам говорил, что у принцессы была тайна? Уж только не я.

– Простите! Мне показалось, вы так сказали.

– Нет, не сказала. Зачем же я стану говорить, когда вовсе она сама хотела ее узнать. Это у маленькой женщины была тайна. У той, что всегда сидела за прялкой. Вот она ей и говорит: «Зачем вы это прячете?» А та говорит: «Нет, я не прячу». А та говорит: «Нет, прячете». А потом они пошли вместе и открыли шкаф и нашли. А она не захотела в больницу и умерла. Вы же знаете, как было, маменька. Расскажите ему, ведь это очень интересная тайна. Ух, до чего интересная! – воскликнула Мэгги, обхватив, руками колени.

Артур оглянулся на Крошку Доррит, ожидая объяснения, и с удивлением заметил, что она смутилась и покраснела. Но она сказала, что это просто сказка, придуманная ею как-то для Мэгги, а кому-нибудь другому совестно даже рассказывать такие глупости, да она и не помнит ее хорошенько; и Артур не пытался настаивать. Оставив этот предмет, он вернулся к предмету, не в пример более для него важному, и прежде всего горячо просил Крошку Доррит не избегать встреч с ним и твердо помнить, что на свете нет человека, которому ее благополучие было бы так же дорого, как ему, и кото-

рый так же стремился бы его обеспечить. Она отвечала с жаром, что знает это и ни на минуту об этом не забывает, – и тогда Артур перешел ко второму, более деликатному вопросу, касающемуся подзрения, которое у него зародилось.

– Еще одно, Крошка Доррит, – сказал он, снова взяв ее за руку и еще понизив голос, так что даже до Мэгги, несмотря на тесноту комнаты, не долетали его слова. – Я давно уже хотел поговорить с вами об этом, но случая не представлялось. Вы не должны стесняться того, кто по возрасту мог быть вашим отцом или дядей. Смотрите на меня как на старика. Я знаю, что вся ваша любовь и преданность сосредоточены в этой маленькой комнатке и никакой соблазн не заставит вас изменить своему долгу.

Если бы не моя уверенность в этом, я давно просил бы у вас и у вашего отца позволения устроить вас как-нибудь иначе и лучше. Но ведь может прийти время – не хочу сказать, что оно уже пришло, хотя и это возможно, – когда у вас появится другое чувство, не исключаяющее той привязанности, что вас удерживает здесь.

Бледная, без кровинки в лице, она молча покачала головой.

– Это вполне возможно, милая Крошка Доррит.

– Нет – нет – нет. – Она повторяла это слово с расстановкой, всякий раз медленно качая головой, и ему надолго запомнилось тихое отчаяние, которым был полон ее взгляд. Ему суждено было снова припомнить этот взгляд много времени спустя в тех же тюремных стенах – в той же самой комнате.

– Но если когда-нибудь так случится, скажите мне об этом, милое мое дитя. Доверьте мне ваше чувство, укажите того, кто сумел его пробудить, и я от всего сердца, со всем искренним пылом дружбы и уважения к вам постараюсь помочь вам устроить свою жизнь.

– Благодарю вас, благодарю! Но только этого никогда не будет. Никогда! никогда! – Она смотрела на него, прижав к груди огрубевшие от работы руки, и в голосе ее звучала та же безропотная покорность своей доле.

– Я от вас не требую никаких признаний. Я только прошу, чтобы вы не сомневались во мне.

– Как я могу сомневаться, зная вашу доброту?

– Стало быть, я вправе рассчитывать на ваше доверие? Если у вас вдруг явятся какие-нибудь тревоги или огорчения, вы не будете скрывать их от меня?

– Постараюсь.

– И вы ничего такого не скрываете сейчас? Она покачала головой, но ее лицо побледнело еще больше.

– Итак, когда я сегодня лягу спать и мысли мои вернутся к этим мрачным стенам – как они возвращаются каждый вечер, даже если я перед тем не видел вас, – я могу быть покоен, что, кроме забот, связанных с этой комнатой и с теми, кто в ней находится, мою Крошку Доррит не гнетет никакая печаль?

Она как будто ухватила за его слова (это ему тоже суждено было припомнить позднее) и сказала приободрившись:

– Да, мистер Кленнэм; да, можете.

Тут шаткая лестница, всегда спешившая подать весть о каждом, кто по ней поднимался или спускался, закрипела от чьих-то быстрых шагов, и одновременно послышалось странное пыхтенье, точно к комнате приближался паровичок, работавший с перегревом. Чем ближе он подходил, тем усиленнее пыхтел; наконец раздался стук в дверь, а затем такой звук, будто он наклонился и выпустил пар в замочную скважину.

Мэгги пошла отворять, но не успела – дверь распахнулась и из-за плеча Мэгги выглянул мистер Панкс без шляпы, с волосами, торчащими во все стороны. Он держал в руке зажженную сигару и распространял вокруг себя запах эля и табачного дыма.

– Панкс-цыган, – пропыхтел он, еще не отдышавшись, – предсказатель будущего.

Он стоял перед ними, пыхтя и улыбаясь всей своей перемазанной физиономией с таким победоносным видом, словно не ему приходилось исполнять роль хозяйской мотыги, а напротив, он сам был хозяином над тюрьмой, и над ее смотрителем, и над сторожем, и над всеми тюремными, обитателями. В приливе самодовольства он ткнул в рот сигару (явно не будучи курильщиком) и, для верности зажмурил правый глаз, сделал такую лихую затяжку, что поперхнулся и едва не задохся. Но

сквозь судорожный кашель он все же попытался снова выдать из себя свое излюбленное: «Панханкс цхы-ган, предсказатель бху-душего».

– Я сегодня провожу вечер в Клубе, – сказал Панкс. – Пою там. Пел со всеми вместе «На песках зыбучих». Слуха у меня, правда, нет. Но это ерунда; могу петь не хуже других. Главное, было бы громко, а остальное неважно.

Кленнэм сперва подумал было, что он пьян. Но вскоре ему стало ясно, что если эль и подбавил тут малую толику, то главный источник этого веселья ничего общего не имеет с продуктами брожения и перегонки.

– Здравствуйте, мисс Доррит, – сказал Панкс. – Решил вот зайти проведать вас, авось, думаю, не рассердитесь. А что мистер Кленнэм здесь, это я уже знаю от мистера Доррит. Как поживаете, сэр?

Кленнэм поблагодарил и сказал, что рад видеть его в таком хорошем расположении духа.

– Хорошем? – переспросил Панкс. – Скажите лучше превосходном, сэр. Но я только на минутку, иначе меня хватятся, а мне нежелательно, чтобы меня хватились... А, мисс Доррит?

Ему словно доставляло неиссякаемое удовольствие глядеть на нее и обращаться к ней, и при этом он еще яростнее ерошил свои жесткие вихры, становясь похожим на черного какаду.

– Я только с полчаса как пришел сюда. Узнал, что мистер Доррит председателем на нынешнем вечере и решил пойти подсобить ему. Мне, собственно, требуется в Подворье Кровоточащего Сердца; ну да ладно, успею и Завтра потрясти там кой-кого... А, мисс Доррит?

Из его черных глазок словно сыпались искры. Даже из его волос словно сыпались искры, когда он запускал в них свою пятерню. Казалось, он весь заряжен электричеством, и стоит прикоснуться к нему в любом месте, как раздастся треск и полетят искры.

– Отменное у вас тут общество, – сказал Панкс. – А, мисс Доррит?

Она смотрела на него почти с испугом, не зная, что ответить. Он засмеялся и кивнул в сторону Кленнэма.

– Можете не стесняться его, мисс Доррит. Он свой. Вас смущает наше условие – при посторонних не подавать виду, что вы меня знаете. Но мистера Кленнэма это не касается. Он свой. Он с нами заодно. Верно ведь, вы с нами заодно, мистер Кленнэм?... А, мисс Доррит?

Кленнэму точно передалось возбуждение этого странного человечка. Крошка Доррит с удивлением заметила это; от нее даже не укрылось, что они то и дело переглядываются.

– На чем бишь я остановился? – спросил Панкс. – Выскочило из головы. Ах, да, да! Отменное у вас тут общество. Я сегодня всех угощаю... А, мисс Доррит?

– Вы очень щедры, – сказала она и снова увидела, как они переглянулись.

– Ну что там, – отвечал Панкс. – Стоит ли говорить о таких пустяках. Мне денег не жаль. Я, видите ли, собираюсь скоро разбогатеть, – да, да, это факт. Вот тогда уж закачу тут настоящий пир. Столы по всему двору. Хлеба – горы. Трубок – целые штабеля. Табаку – стога. Ростбифу и сливового пудинга – сколько влезет. Портеру – по квартире на брата, самого крепкого. А желающим сверх того по пинте вина, если начальство позволит... А, мисс Доррит?

Совершенно сбита с толку ужимками Панкса – а еще больше, пожалуй, тем, что Кленнэма они ничуть не смущали (она ясно видела это, так как в растерянности оглядывалась на него всякий раз, когда черный какаду кивал ей своим востроухим хохлом), – Крошка Доррит только шевелила губами и не могла выговорить ни слова.

– Да, кстати! – продолжал Панкс. – Я ведь вам обещал, что когда-нибудь вы узнаете, что там еще было на вашей ладошке. Так вот теперь уже скоро, уже скоро, милушка вы моя... А, мисс Доррит?

Он вдруг умолк. Диву даешься, откуда только взялось множество новых тугих вихров, которыми в придачу к прежним ошетилилась его голова – точно фейерверк, который, горя, рассыпается все новыми и новыми огоньками.

– Ну, побегу, а то меня хватятся, – сказал он. – Мне вовсе не желательно, чтобы меня хватились. Мистер Кленнэм, мы с вами как-то заключили договор. Я сказал, что вы можете на меня положиться. Если вам угодно будет выйти со мной на минутку, вы увидите, что на меня и в самом деле можно положиться. Покойной ночи, мисс Доррит! Всего вам наилучшего, мисс Доррит!

Он обеими руками тряхнул ее руку и, пыхтя, выкатился из комнаты. Артур так стремительно

бросился ему вдогонку, что на последнем повороте лестницы наскочил на него и едва не сшиб с ног.

– Ради бога, что все это значит? – воскликнул Артур, когда они оба с разгона вылетели во двор.

– Одну минутку, сэр. Позвольте представить вам мистера Рэгга.

С этими словами он подвел к нему какого-то джентльмена, – тоже без шляпы, тоже с сигарой и тоже благоухающего элем и табачным дымом, – который сам по себе весьма смахивал на пациента Бедлама, но рядом с неистовствующим мистером Панксом казался воплощением здравого смысла.

– Мистер Кленнэм – мистер Рэгг, – представил Панкс. – Одну минутку. Подойдем к колодцу.

Они приблизились к колодцу. Мистер Панкс сразу подставил голову под желоб и попросил мистера Рэгга качнуть хорошенько раз-другой. Мистер Рэгг в точности исполнил просьбу, после чего мистер Панкс выпрямился, сопя и отфыркиваясь, на этот раз не без причины, и стал вытираться носовым платком.

– Для прояснения мозгов, – пояснил он изумленному Кленнэму. – А то, ей-богу, слышать, как ее отец ораторствует за кружкой пива, когда знаешь то, что мы знаем, и видеть ее самое в этой комнате, в этом затрапезном платьишке, когда знаешь то, что мы знаем – тут есть от чего... Мистер Рэгг, подставьте-ка мне спину – повыше, сэр, – так, хорошо.

И недолго думая, мистер Панкс (кто бы мог ожидать!) разбежался по плитам тюремного двора, уже окутанного вечерней мглой, и вмиг перемахнул через голову мистера Рэгга из Пентонвилла, Ходатая по Делах, специалиста по Проверке Счетных Книг и Взысканию Долгов. Очутившись снова на ногах, он ухватил Кленнэма за пуговицу, отвел его в укромный уголок за колодцем и, пыхтя, вытащил из кармана пачку бумаг.

Мистер Рэгг, тоже пыхтя, тоже вытащил из кармана пачку бумаг.

– Стойте! – вырвалось у Кленнэма. – Вам что-нибудь удалось узнать?

Мистер Панкс отвечал с выражением, описать которое слова бессильны:

– Кое-что удалось.

– Тут кто-нибудь замешан?

– Как это замешан, сэр?

– Открылся какой-нибудь обман, злоупотребление доверием?

– Ничуть не бывало!

«Слава создателю!» – сказал себе Кленнэм. – Ну, показывайте.

– Имею честь доложить, сэр, – запыхтел Панкс, лихорадочно листая бумаги и выбрасывая каждую фразу, точно клуб пара под высоким давлением. – Где же родословная? Где документ номер четвертый, мистер Рэгг? Ага! Чудесно! Все в порядке... Имею честь доложить, сэр, что факты уже все у нас в руках. Потребуется еще два-три дня, чтобы их надлежащим образом оформить. Скажем для верности: еще неделя. Мы трудились над этим делом, не зная ни отдыху ни сроку, – не могу даже сказать сколько. Мистер Рэгг, сколько мы над этим делом трудились? Ладно, молчите. Вы меня только собьете. Вы сами объявите ей, мистер Кленнэм, но только тогда, когда мы вам позволим. Где у нас общий итог, мистер Рэгг? Ага! Вот! Читайте, сэр. Вот что вам предстоит объявить ей. Вот кого называют Отцом Маршалси!

Глава XXXIII

Жалобы миссис Мердл

Заставив себя философски отнестись к компромиссу, неизбежность которого она уже предвидела, беседуя с Артуром, миссис Гоуэн покорила судьбе, смирилась скрепя сердце с мыслью об «этих Микльсах» и великодушно решила не препятствовать браку сына. Весьма вероятно, что успешному ходу и завершению предшествовавшей этому внутренней борьбы способствовали не только ее материнские чувства, но и три соображения, так сказать, политического характера.

Во-первых, ее сын не обнаруживал ни малейшего намерения спрашивать у нее согласия и, по видимому, не сомневался в своей способности без одного обойтись. Во-вторых, женившись на единственной и обожаемой дочери весьма состоятельного человека, Генри бесспорно отказался бы от всяких посягательств на пенсию, пожалованную ей благодарным отечеством (и семейством Полипов). В-третьих, по дороге к брачному алтарю были бы уплачены тестем долги Генри. Сопоставив

эти три соображения с тем фактом, что миссис Гоуэн поспешила дать свое согласие, как только мистер Миглз дал свое, и что, собственно говоря, возражения мистера Миглза были единственным препятствием к этому браку, можно с уверенностью предположить, что ни одно из упомянутых обстоятельств не было упущено из виду предусмотрительной вдовой покойного инспектора чего-то.

Однако же, блюдя собственный престиж и престиж рода Полипов, она усердно поддерживала среди друзей и родственников легенду о том, что этот брак представляется ей большим несчастьем, что она совершенно сражена обрушившимся на нее ударом, что Генри просто околдовали, что она противилась сколько могла, но что может поделать мать, и так далее и тому подобное. Она уже испробовала этот прием на Артуре Кленнэме в качестве друга семьи Миглзов, а теперь разыгрывала ту же комедию с ними самими. При первой же аудиенции, данной мистеру Миглзу, она приняла позу матери, которая из любви к сыну с болью душевной сдалась на его неотступные мольбы. Сохраняя отменную учтивость в обхождении, она всем своим поведением изображала, будто это она, а не он, не желала этого брака, но в конце концов вынуждена была уступить; она, а не он, идет на нелегкую жертву. И то же самое она столь же учтиво ухитрилась внушить миссис Миглз, с ловкостью фокусника, заставляющего простодушную зрительницу взять из колоды нужную ему карту. Когда же сын представил ей будущую невестку, она, целуя ее, сказала: «Чем же это вы, душенька, так приворожили моего Генри?» – и при этом пролила несколько слез, которые, смешавшись с пудрой, скатились по ее носу в виде беленьких крупинок – слабый, но трогательный знак, что, хотя она мужественно переносит тяжелое испытание, посланное ей судьбой, под ее напускным спокойствием таится глубокое горе.

Среди приятельниц миссис Гоуэн (которая, претендуя на собственную принадлежность к Обществу, в то же время любила похвалиться своими тесными связями с этой великой державой) одно из первых мест занимала миссис Мердл. Правда, все без исключения цыгане хэмптон-кортского табора задирали нос, произнося имя *высочки* Мердла, но они тотчас же опускали его, как только речь заходила о миллионах этого высочки. Маневренной гибкостью упомянутого органа они весьма напоминали Финансы, Адвокатуру, Церковь и всех прочих.

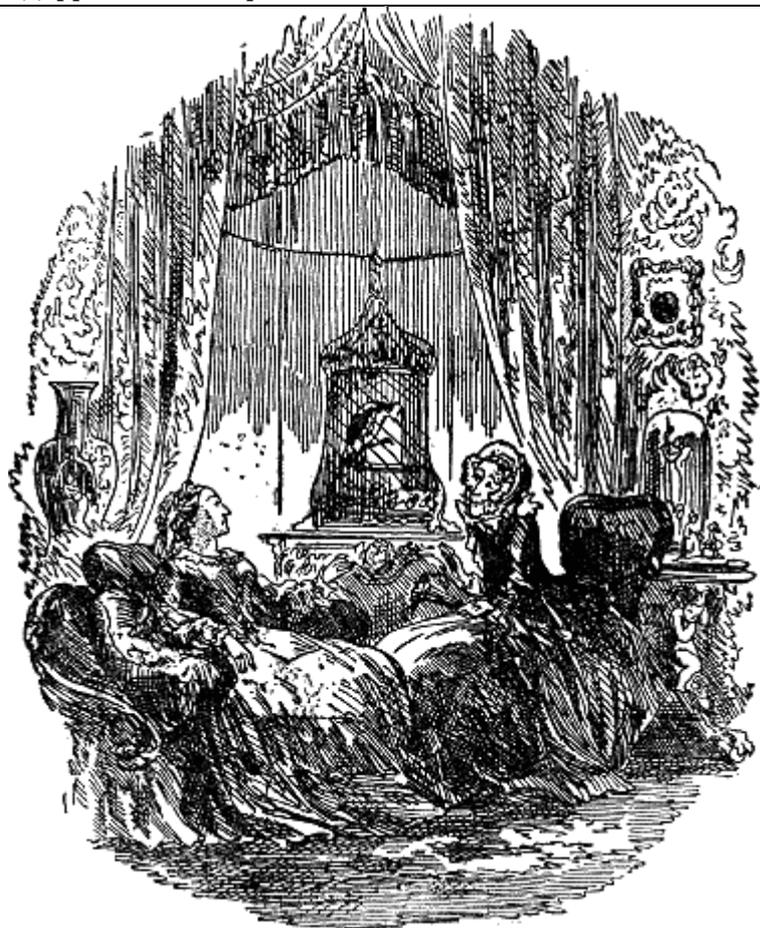
Когда великодушное согласие было уже дано, миссис Гоуэн решила нанести визит миссис Мердл, чтобы выслушать ее соболезнования по поводу случившегося. С каковой целью она и покатилась в город в одноконном экипаже из тех, что в описываемый период английской истории были известны под непочтительным названием «коробочек». Владелец этого экипажа промышлял извозом, и все пожилые обитательницы хэмптон-кортского дворца нанимали его при надобности поденно или по часам; но согласно действовавшему во дворце неписанному закону все его обзаведение считалось как бы собственным выездом того, кто им в данное время пользовался, а сам он должен был делать вид, будто ни о каких других седоках никогда и не слыхивал. Разве не так же и министерские Полипы, которые лучше всех извозчиков на свете умеют соблюдать свою выгоду, всегда делают вид, будто понятия не имеют ни о каких других делах, кроме тех, которыми заняты в настоящее время?

Миссис Мердл была дома и покоилась в своем алом с золотом гнездышке, а рядом в клетке сидел на жердочке попугай и, склонив набок голову, с интересом разглядывал ее, принимая, должно быть, за великолепный образец другой, более крупной породы попугаев. И вот перед ними обоими явилась миссис Гоуэн со своим излюбленным веером, зеленый тон которого слегка умерял яркость роз, цветущих на ее щеках.

– Дорогая моя, – сказала миссис Гоуэн, слегка ударив приятельницу веером по руке после того, как они несколько минут болтали ни о чем. – Только в вас я могу найти утешение. Затея Генри, о которой я вам рассказывала, видимо все же состоится. Что вы об этом думаете? Мне не терпится узнать – ведь вашими устами говорит Общество!

Миссис Мердл окинула взглядом бюст, обычно притягивавший к себе взгляды Общества, и, убедившись, что витрина мистера Мердла и лондонских ювелиров в полном порядке, отвечала:

– Когда мужчина женится, дорогая моя, Общество требует, чтобы он приобрел от этого выгоду. Общество требует, чтобы он поправил женитьбой свое состояние. Общество требует, чтобы он получил возможность жить на широкую ногу. Если этого нет, Общество не видит смысла в его женитьбе. Попка, молчи!



Попугай, взиравший на них с высоты своей клетки, точно судья при исполнении обязанностей (с которым он, кстати сказать, не лишен был сходства), подкрепил это высказывание пронзительным криком.

– Бывают случаи, – сказала миссис Мердл, изящно округлив мизинец своей любимой руки и тем самым как бы округляя значение своих слов, – бывают случаи, когда мужчина не молод и не красив, но богат и живет на достаточно широкую ногу. Тут разговор особый. В таких случаях...

Миссис Мердл пожала своими белоснежными плечами и, прижав руку к витрине с драгоценностями, слегка кашлянула, как бы желая добавить: «Вот что требуется мужчине в таких случаях, моя дорогая». Тут попугай снова закричал, и она, посмотрев на него в лорнет, сказала: «Попка, молчи, говорят тебе!»

– Но молодые люди, – продолжала миссис Мердл, – вы понимаете о ком я говорю, душа моя: о сыновьях людей, обладающих известным положением, – молодые люди обязаны, вступая в брак, заботиться об интересах Общества, а не докучать Обществу разными сумасбродствами. Как, однако, все это прозаично! – сказала миссис Мердл, откинувшись на подушки и снова приложив к глазам лорнет. – Вы не находите?

– Зато как верно! – отвечала миссис Гоуэн, почти набожно закатив глаза.

– Против этого никто не спорит, душа моя, – возразила миссис Мердл. – Общество произнесло свое суждение об этом предмете, и больше говорить нечего. Если бы мы находились в первобытном состоянии – жили бы под древесными кущами и вместо того, чтобы возиться с банковскими счетами, пасли бы коровок, овец и других животных (а это было бы чудесно; меня всегда тянуло к пастушеской жизни, моя дорогая), – тогда другое дело. Но мы не живем под древесными кущами и не пасем коровок, овец и других животных. Вы не поверите, какого мне порой стоит труда втолковать Эдмунду Спарклеру, в чем тут разница.

При упоминании последнего имени миссис Гоуэн выглянула из-за своего зеленого веера и поторопилась заметить:

– Душа моя, вы знаете, до чего довели нашу страну – ах, этот Джон Полип со своими уступка-

ми, – и вам должно быть понятно, почему я бедна, как... ну, как...

– Как церковная мышь? – с улыбкой подсказала миссис Мердл.

– Я имела в виду другой церковный предмет сравнения – Иова, – отвечала миссис Гоуэн. – Но любой из двух подойдет. Так или иначе не стоит закрывать глаза на то, что положение моего сына весьма отличается от положения вашего. Я могла бы еще добавить, что у Генри есть талант...

– Которого у Эдмунда нет – вставила миссис Мердл самым сладким голосом.

– ...и что наличие таланта при отсутствии перспектив побудило его избрать поприще, которое... Ах, бог мой! Вы сами все это знаете, дорогая моя! Вопрос в том, какую степень мезальянса я могу считать допустимой, принимая в расчет положение Генри?

Миссис Мердл была настолько поглощена разглядыванием своих округлых рук (до чего хороши были эти руки – просто созданы для браслетов), что не вдруг отозвалась. Наступившая тишина вернула ее к действительности; она сложила руки на груди и, как ни в чем не бывало взглянув приятельнице прямо в глаза, произнесла вопросительным тоном:

– Вот как? Что же дальше?

– Дальше то, – отвечала уже не столь вкрадчиво миссис Гоуэн, – что я хотела бы услышать ваше мнение, моя дорогая.

Тут попугай, поджавший было одну лапку под себя, визгливо захохотал и словно в насмешку принялся раскачиваться на жердочке вверх и вниз, а затем снова поджал одну лапку и замер в ожидании ответа, так сильно наклонив голову набок, что едва не свернул себе шею.

– Звучит меркантильно, если спросить, сколько невеста должна принести жениху, – сказала миссис Мердл, – но Обществу свойственна некоторая меркантильность, душа моя.

– Судя по тому, что я слышала, – отозвалась миссис Гоуэн, – я не ошибусь, если скажу, что Генри обещана уплата всех его долгов...

– А у него много долгов? – спросила миссис Мердл сквозь свой лорнет.

– Порядочно, надо думать, – отвечала миссис Гоуэн.

– Ну да – это уж как водится – само собой, – заметила миссис Мердл в виде утешения.

– Кроме того, они будут получать ежегодно триста или триста с лишком фунтов содержания – а это для Италии...

– А, они едут в Италию, – сказала миссис Мердл.

– Генри будет там учиться. Вас это не должно удивлять, моя дорогая. Это ужасное искусство...

Да, да, разумеется. Миссис Мердл, щадя чувства своей удрученной приятельницы, поспешила избавить ее от дальнейших объяснений. Она понимает. Не нужно слов!

– И это все! – сказала миссис Гоуэн, скорбно качая головой. – Это все, – повторила она, свернув свой зеленый веер и постукивая им по своему подбородку (который вскорости обещал стать двойным, а пока что его можно было назвать полуторным), – это все! После смерти стариков, вероятно, будет еще что-нибудь; но ведь могут оказаться такие условия и оговорки, что к капиталу и не подступишься. Да и кто поручится, что они не проживут до ста лет. Дорогая моя, от таких людей всего можно ожидать.

Миссис Мердл изучила свое милое Общество вдоль и поперек, и знала, каковы в Обществе матери и каковы в Обществе дочери, что представляет собой брачный рынок Общества, каковы там цены, как заманивают и переманивают выгодных покупателей, какой идет торг и барышничество; а потому подумала про себя, что сыну ее приятельницы изрядно повезло. Понимая, однако, чего от нее ждут и для чего нужна та ложь, которую ей предлагают принять за истину, она бережно взяла эту ложь в руки и навела на нее требуемый глянец.

– Так это все, дорогая моя? – сказала она, сочувственно вздыхая. – Ну что ж поделаешь. Ведь это не ваша вина. Вам решительно не в чем себя упрекнуть. Призовите на помощь всю вашу силу духа и постарайтесь примириться с фактами.

– Родные этой девицы, – сказала миссис Гоуэн, – само собой разумеется, не щадили усилий, чтобы завлечь Генри в ловушку.

– Могу себе представить, душа моя, – сказала миссис Мердл.

– Я спорила, доказывала, день и ночь ломала голову над тем, как мне вырвать Генри из их сетей.

– Нисколько не сомневаюсь, душа моя, – сказала миссис Мердл.

– Но все было напрасно. Все мои старания ни к чему не привели. Скажите же мне, моя дорогая: правильно ли я поступила, в конце концов согласившись, хоть и с величайшей неохотой, на то, чтобы Генри взял жену не из Общества, или же это была непростительная слабость с моей стороны?

В ответ на этот призыв миссис Мердл в качестве верховной жрицы Общества заверила миссис Гоуэн в том, что ее поведение достойно всяческих похвал, что ее переживания заслуживают всяческого сочувствия, что она поступила как героиня и вышла из горнила мук очищенной. И миссис Гоуэн, которая, разумеется, видела сама себя насквозь и знала, что миссис Мердл видит ее насквозь и что Общество тоже увидит ее насквозь, тем не менее довела церемонию до конца так, как и начала – с честью и не без удовольствия.

Встреча происходила в четыре или пять часов пополудни – время, когда по всей Харли-стрит, Кэвендиш-сквер снуют экипажи и раздается стук дверных молотков. Едва беседа приняла описанный выше оборот, воротился домой мистер Мердл, весь день, как обычно, трудившийся над тем, чтобы еще и еще упрочить славу Англии во всех частях цивилизованного мира, где только могут встретить должную оценку всесветный размах коммерческой инициативы и грандиозные порождения деятельности ума в сочетании с капиталом. Ибо хотя никто толком не знал, в чем, собственно, состоит деятельность мистера Мердла (знали только, что она приносит деньги), но именно в таких выражениях принято было характеризовать ее в торжественных случаях, и любезное Общество безоговорочно принимало эту характеристику, совершенно по-новому истолковывая притчу о верблюде и игольном ушке.⁶⁹

Для человека, облеченного столь величественной миссией, мистер Мердл был на вид несколько простоват, как будто, занятый своими торговыми операциями, он второпях поменялся головами с какой-то личностью помельче. В гостиную, где беседовали дамы, он заглянул случайно, уныло скитаясь по всем комнатам с единственной целью укрыться от мажордома.

– Прошу прощения, – сказал он, в замешательстве остановившись на пороге. – Я думал, тут никого нет, кроме попугая.

Услышав, однако, от миссис Мердл «Войдите!», а от миссис Гоуэн уверения, что ей давно пора домой (она и в самом деле уже встала, чтобы распротираться), он вошел и приткнулся у окна в дальнем конце комнаты, сцепив руки под обшлагами сюртука, и так крепко ухватившись одной за другую, как будто он сам себя арестовал и вел в тюрьму. Приняв эту позу, он тут же погрузился в глубокую задумчивость, из которой его вывел голос жены после того, как они уже с четверть часа пробыли одни в гостиной.

– А? Что? – откликнулся мистер Мердл, повернувшись в сторону оттоманки, на которой сидела его супруга. – В чем дело?

– В чем дело? – повторила миссис Мердл. – Прежде всего в том, что я жалуюсь, а вы даже не слушаете.

– Вы жалуетесь, миссис Мердл? – переспросил мистер Мердл. – А я и не знал, что вы больны. На что же вы жалуетесь?

– На вас, – сказала миссис Мердл.

– Ах, на меня! – сказал мистер Мердл. – Что же я – чем же я – почему же вы на меня жалуетесь, миссис Мердл?

Так как мысли его постоянно разбегались и блуждали где-то далеко, ему не сразу удалось подобрать нужные слова. Затем, в смутном желании удостовериться, что он действительно хозяин этого дома, он сунул указательный палец в клетку к попугаю, который выразил свое мнение тем, что немедленно вцепился в него клювом.

– Итак, вы говорили, миссис Мердл, – сказал мистер Мердл, принимаясь сосать пострадавший палец, – что жаловались на меня.

– Да, жаловалась, и не напрасно, – сказала миссис Мердл. – Это видно хотя бы из того, что я принуждена повторять все сначала. С вами говорить все равно что со стенкой. И гораздо хуже, чем с попугаем – тот по крайней мере закричал бы.

⁶⁹ ...совершенно по-новому истолковывая притчу о верблюде и игольном ушке. – Евангельская притча гласит: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное».

– Неужели вам хочется, чтобы я кричал, миссис Мердл? – отозвался мистер Мердл, усаживаясь в кресло.

– А что, пожалуй, это было бы лучше, чем смотреть в пространство отсутствующим взглядом, – отпарировала миссис Мердл. – Хоть было бы ясно, что вы замечаете то, что происходит вокруг вас.

– Можно кричать, и тем не менее не замечать ничего, миссис Мердл, – сумрачно отвечал мистер Мердл.

– А можно и не крича оставаться таким упрямым, как вы, – возразила миссис Мердл. – Что верно, то верно. А если вам угодно знать, что заставляет меня жаловаться на вас, извольте, в двух словах: незачем вам являться в Общество, раз вы не желаете считаться с его требованиями.

Мистер Мердл ухватился за остатки своей шевелюры и вскочил так стремительно, словно таким способом сдернул себя с кресла.

– Во имя всех сил преисподней, миссис Мердл, да кто же старается для Общества больше меня? Взгляните на этот дом, миссис Мердл! Взгляните на эту обстановку, миссис Мердл! Повернитесь к зеркалу и взгляните на самое себя, миссис Мердл! Вам известно, сколько все это стоит? А для кого все это, вам известно? И у вас поворачивается язык сказать, что мне незачем являться в Общество? Когда я буквально засыпаю Общество золотом! Когда я изо дня в день тружусь, как – как – как какторжник, прикованный к тачке, чтобы возить золото для этого самого Общества!

– Нельзя ли поспокойней, мистер Мердл, – сказала миссис Мердл.

– Поспокойней! – вскричал мистер Мердл. – Да с вами никакого спокойствия не хватит! Вы разве знаете, что я делаю, чтобы удовлетворить требования Общества? Вы разве знаете, на какие жертвы я иду ради него?

– Я знаю, – отвечала миссис Мердл, – что на ваших приемах собираются сливки английского Общества. Я знаю, что вы приняты во всех лучших домах Англии. И мне кажется, что я знаю – впрочем, скажу без жеманства: я знаю, что я знаю, кто тут играет далеко не последнюю роль.

– Миссис Мердл, – возразил ее почтенный супруг, вытирая свою унылую сизо-багровую физиономию. – Я это знаю так же хорошо, как и вы. Не будь вы украшением Общества, а я его благодетелем, мы бы никогда с вами не сошлись. Благодетелем Общества я называю того, кто кормит, поит и увеселяет Общество всем, что только есть самого дорогого. Но услышать, что я не подхожу для Общества после всего, что я для него сделал – после всего, что я для него сделал, – повторил мистер Мердл с таким ярким пафосом, что его жена даже приподняла брови от удивления, – после всего – всего! – услышать, что я не достоин возвращаться в Общество – нечего сказать, хорошая награда!

– Смысл моих слов, – хладнокровно отвечала миссис Мердл, – в том, что, являясь в Общество, вы должны придерживаться установленных приличий, быть менее озабоченным, более degage.⁷⁰ Нельзя всюду таскать с собой свои дела, это вульгарно.

– Как это – таскать с собой свои дела? – спросил мистер Мердл.

– Как? – повторила миссис Мердл. – А вы посмотрите в зеркало и увидите, как.

Мистер Мердл невольно повернул голову к ближайшему зеркалу и с минуту разглядывал свое лицо, побуревшее от медленно приливающей к вискам крови, после чего заметил, что человек не виноват, если у него дурное пищеварение.

– У вас есть врач, – возразила миссис Мердл.

– Он мне не помогает, – возразил мистер Мердл. Миссис Мердл переменяла позицию.

– При чем тут вообще пищеварение? – сказала она. – Речь идет не о вашем пищеварении. Речь идет о ваших манерах.

– Миссис Мердл, – отвечал супруг, – это уже касается вас, а не меня. Мое дело – деньги, ваше дело – манеры.

– Я ведь не требую, чтобы вы пленяли сердца, – сказала миссис Мердл, непринужденно откидываясь на подушки. – Я не прошу вас прилагать какие-либо усилия, чтобы нравиться людям. Я хочу только одного: чтобы вы были беззаботны – или притворялись, что вы беззаботны, – как все.

– Разве я когда-нибудь говорю о своих заботах?

– Недоставало еще говорить! Да никто бы и слушать не стал. Но по вас и так все видно.

⁷⁰ непринужденным (франц.)

– Видно? Что по мне видно? – с беспокойством спросил мистер Мердл.

– Я ведь вам уже сказала. Видно, что вы таскаете все свои дела и заботы с собой, вместо того чтобы оставлять их в Сити или вообще там, где они к месту, – сказала миссис Мердл. – Притворяйтесь, если вам это не удастся на самом деле. Хотя бы притворяйтесь; большего мне от вас не нужно. Но нельзя же постоянно что-то на ходу прикидывать и соображать, точно вы какой-нибудь плотник.

– Плотник! – повторил мистер Мердл, подавив нечто похожее на стон. – А я бы не отказался быть плотником, миссис Мердл.

– Вот на что я и жалуюсь, – продолжала его супруга, пропустив мимо ушей это вульгарное признание. – Жалуюсь потому, что в Обществе это не принято, и вы должны отучиться от этого, мистер Мердл. Если мое мнение для вас не убедительно, спросите хоть Эдмунда Спарклера. – Дверь только что приотворилась, и миссис Мердл, приложив к глазам лорнет, заметила голову сына. – Эдмунд, войди, ты нам нужен.

Мистер Спарклер заглянул было в комнату, просунув в дверь одну голову (быть может, он совершал обход дома в поисках девицы без разных там фиглей-миглей); но в ответ на это приглашение вдвинул за головой всю фигуру и послушно предстал перед отчимом и матерью. Последняя тут же изложила ему сущность спора в простой, доступной его пониманию форме.

Молодой джентльмен пощупал свой воротничок с озабоченным видом ипохондрика, щупающего свой пульс, после чего объявил, что слышал, как кто-то что-то говорил об этом.

– Эдмунд Спарклер слышал, как кто-то об этом говорил, – подхватила с томным торжеством миссис Мердл. – Стало быть, об этом говорят уже все! – Каковой вывод не лишен был основания, ибо в любом сборище существ человеческой породы мистеру Спарклеру, вероятно, последним удалось бы заметить, что происходит вокруг.

– Эдмунд Спарклер и скажет вам, – продолжала миссис Мердл, движением своей любимой руки указав на супруга, – что именно об этом говорят.

– Вот, ей-богу, – сказал мистер Спарклер, снова щупая свой пульс, – вот, ей-богу, не помню, как это вдруг зашел разговор – память у меня не того. Был тут один мальчуган – еще у него сестра премиленькая канашка – и отлично воспитана – без разных там фиглей-миглей...

– Хорошо, хорошо, не о сестре речь, – нетерпеливо прервала миссис Мердл. – Что сказал брат?

– А он ничего не говорил, – ответил мистер Спарклер. – Он вообще не из речистых, как и я. Из него клещами слова не вытянешь.

– Ну, не он, так кто-то другой, – сказала миссис Мердл. – Неважно кто, ты об этом не думай.

– Я и не думаю, ей-богу, – сказал мистер Спарклер.

– Ты только скажи нам, что именно ты слышал.

Мистер Спарклер снова схватился за пульс, и прежде чем ответить, заставил себя произвести напряженную умственную работу.

– Так ведь многие говорят про моего старика – это не я его так называю, это они, – очень даже лестно говорят: и что денег у него куча и что вообще он молодец – таких, говорят, банкиров и коммерсантов у нас мало, только вот беда, говорят, он про свою лавочку никогда забыть не может. Таскает и таскает ее с собой, точно старьевщик свой товар.

– Вот вам подтверждение моих слов, – сказала миссис Мердл мужу, вставая и расправляя складки своего пышного платья. – Эдмунд, дай мне руку и проводи меня наверх.

Мистер Мердл, оставленный в одиночестве для размышлений о своей вине перед Обществом, посмотрел поочередно во все девять окон гостиной, но судя по его лицу ни в одном не увидел ничего кроме пустоты. Покончив с этим развлечением, он спустился вниз и подряд стал разглядывать все ковры нижнего этажа; затем снова поднялся наверх и подряд стал разглядывать все ковры верхнего этажа – так сосредоточенно всматриваясь в каждый, словно это были пропасти, мрак которых как нельзя лучше отвечал унынию, царившему в его душе. Он бродил из комнаты в комнату с видом человека, попавшего сюда совершенно случайно. И если миссис Мердл, как гласил текст на ее визитных карточках, бывала дома тогда-то и тогда-то, то мистер Мердл, судя по выражению его лица, никогда не бывал дома.

Кончилось тем, что он повстречался с мажордомом, великолепие которого в один миг доконало его. Чувствуя все свое ничтожество перед этим домашним светилом, он спасся бегством в свою гардеробную и сидел там взаперти до тех пор, пока не настало время усесться в роскошный экипаж мис-

сис Мердл и вместе с ней ехать на званый обед. Там зависть и лесть, как всегда, окружили его со всех сторон – Финансы, Церковь, Адвокатура лебезили и увивались вокруг него; а в час пополуночи он один воротился домой и, точно жалкий огарок свечи угаснув в собственных сенях под величественным взглядом мажордома, со вздохом отправился спать.

Глава XXXIV **Колония полипов**

Мистер Гоуэн и его собака теперь дневали и ночевали в Туикнеме, и уже был назначен день свадьбы. Большое сборище Полипов, ожидавшееся в этот день, должно было придать брачной церемонии столько блеску, сколько такое незначительное событие в состоянии было отразить.

Собрать все семейство Полипов под одной крышей не представлялось возможным по двум причинам. Во-первых, не нашлось бы такой крыши, под которой уместились бы все прямые и побочные отпрыски этого прославленного рода. Во-вторых, на каждом клочке земли в подлунном мире, где только реял британский флаг, если там было казенное местечко, то к этому местечку присосался Полип. Не успевал какой-нибудь бесстрашный мореплаватель ступить на неведомую доселе почву и объявить ее собственностью британской короны, как Министерство Волокиты уже слало туда Полипа с сумкой для денеш. Так что Полипы теперь рассеяны по всему свету, и депеши их несутся во всех направлениях, обозначенных на компасе.

Даже волшебник Просперо⁷¹ не мог бы созвать всех Полипов из всех уголков суши и моря, где они обретались без всякой пользы или даже во вред обществу, но с пользой для собственного кармана; однако, если нельзя было собрать всех, то можно было собрать многих. Эту Задачу и взяла на себя миссис Гоуэн. Она то и дело наведывалась к мистеру Миглзу, чтобы внести новые добавления в список приглашенных, и подолгу совещалась с ним на эту тему, если только он не был занят проверкой и уплатой долгов своего будущего зятя – чему в описываемую пору посвящал он немало времени, удалившись в святилище лопатки и весов.

Существовал человек, который для мистера Миглза был более дорогим и желанным гостем, нежели самый высокопоставленный из приглашенных на свадьбу Полипов – хоть мистер Миглз отнюдь не был равнодушен к почетной перспективе принимать в своем доме столь избранное общество. Этим человеком был Кленнэм. А Кленнэм свято помнил обещание, данное им в тени деревьев однажды летним вечером, и, как истинный рыцарь, готов был исполнить все, к чему почитал себя в силу этого обещания обязанным. Думая не о себе, но лишь о той, кому он стремился служить верой и правдой, он на приглашение мистера Миглза весело ответил: «Разумеется, буду!»

Некоторой заковыкой в раздумьях мистера Миглза был компаньон Кленнэма, Дэниел Дойс: почтенный джентльмен смутно опасался, как бы от соприкосновения Дойса с чиновной полиповщиной не образовалась некая взрывчатая смесь, способная воспламениться даже на свадебном торжестве. Но государственный преступник сам устранил повод для тревоги, явившись в Туикнем и на правах старого друга попросив в виде особого одолжения не приглашать его на свадьбу. «Видите ли, – сказал он, – мы с этими джентльменами не сошлись в намерениях: я желал исполнить свой патриотический долг и оказать услугу отечеству, а они желали помешать мне в этом, вымотав из меня душу; так стоит ли нам пить-есть за одним столом, прикидываясь закадычными друзьями?» Мистер Миглз немало потешался над очередной причудой своего приятеля, но в конце концов сказал еще более покровительственно-снисходительно, чем всегда: «Ладно, ладно, Дэн, хоть это и блажь, но пусть будет по-вашему».

С мистером Генри Гоуэном Кленнэм все это время старался держаться просто и с достоинством, но так, чтобы молодой человек мог почувствовать его искреннее и бескорыстное стремление к дружбе. Мистер Гоуэн принимал это с обычной непринужденностью и обычной непосредственностью, в которой ничего непосредственного не было.

– Видите ли, Кленнэм, – заметил он как-то, когда они гуляли вместе невдалеке от коттеджа (до свадьбы оставалось не больше недели), – я человек разочарованный. Вам это должно быть известно.

⁷¹ *Волшебник Просперо* – герой драмы В. Шекспира «Буря».

– Мне кажется, у вас для этого нет причин, – сказал Кленнэм, несколько смутившись.

– Помилуйте, – возразил Гоуэн, – я принадлежу к семейству, роду, клану, племени, называйте как хотите, которому решительно ничего не стоило обеспечить мою жизненную карьеру, но никто из родичей не пожелал и пальцем для меня шевельнуть. И что же я теперь – бедный художник!

– Да, но зато... – начал было Кленнэм, однако Гоуэн тут же перебил его:

– Знаю, знаю. Мне выпало счастье быть любимым прелестной девушкой, которую я в свою очередь люблю всем сердцем...

(«А есть ли у вас сердце?» – невольно подумал Кленнэм – и тотчас же устыдился своих мыслей.)

– ...да в придачу еще получить тестя, у которого покладистый нрав и щедрая рука. Но не о том пелось в песнях, которыми меня баюкали в детстве, и не о том мечтал я позднее, в школьные годы, когда меня уже никто не баюкал. Песни не сбылись, мечты тоже, как же мне не быть разочарованным?

И снова Кленнэм невольно подумал (а подумав, устыдился своих мыслей), уж не представляется ли мистеру Гоуэну его разочарованность чем-то вроде положения в жизни, которое он намерен предложить своей невесте, и не окажется ли это пагубным для его будущей семьи, как уже оказалось пагубным для его профессии? Да и может ли подобное представление привести к добру в чем бы то ни было?

– Но разочарование все же не сделало вас ипохондриком, – сказал он вслух.

– Нет, черт возьми, нет, – засмеялся Гоуэн. – Этого мои родичи не стоят, хоть они, в общем, милейшие люди и я их всех очень люблю. К тому же приятно показать им, что я и без них не пропаду и могу преспокойно послать их ко всем чертям. В конце концов много ли есть людей, которым бы жизнь не принесла разочарований, не в том, так и другом; и ни для кого это не проходит бесследно. Но все-таки наш добрый старый мир чудесно устроен, и я на него не нарадуюсь!

– Для вас сейчас он особенно прекрасен, – заметил Артур.

– Прекрасен, как эта река в лучах летнего солнца! – с жаром воскликнул его собеседник. – Честное слово, я весь трепещу от восторга перед ним, от нетерпения окунуться в самую его гущу! Право же, это лучший из миров! А моя профессия! Разве она не лучшая из всех существующих профессий?

– Мне кажется, она дает большой простор для воображения и для честолюбия, – сказал Кленнэм.

– И для затуманивания мозгов тоже, – смеясь, добавил Гоуэн, – не будем забывать о затуманивают мозгов. Хотелось бы не сплеховать и в этой части; но боюсь, как бы меня не подвела моя разочарованность. Вдруг у меня пороку не хватит взяться за дело как следует. Я все-таки, между нами говоря, изрядно зол, и это может помешать.

– Чему помешать? – спросил Кленнэм.

– Помешать мне разыгрывать комедию, которую до меня разыгрывали другие. Повторять обветшалые слова о вдохновенном труде, об упорстве, настойчивости, терпении, делать вид, что ты влюблен в свое искусство, не щадишь для него времени и сил, жертвуешь ему уладами жизни и так далее и тому подобное – словом, продолжать игру с соблюдением всех правил.

– Но разве не должен человек уважать свое призвание, в чем бы оно ни состояло; разве не его святая обязанность поддерживать честь своей профессии, добиваться, чтобы и другие уважали ее так же? – возразил Артур. – А ваша профессия, Гоуэн, в самом деле требует и труда и служения. Признаюсь, мне казалось, что Искусство всегда этого требует.

– Что вы за удивительная личность, Кленнэм! – воскликнул Гоуэн и даже остановился, чтобы окинуть его восхищенным взглядом. – Что за светлая личность! Сразу видно, что *вам* не знакомы никакие разочарования!

Было бы чрезмерной жестокостью сказать это намеренно, и потому Кленнэм поспешил уверить себя, что это было сказано без всякой задней мысли. Гоуэн между тем положил ему руку на плечо и продолжал, так же беспечно и весело.

– Кленнэм, мне грустно разрушать ваши прекрасные иллюзии – право, я не пожалел бы никаких денег (если бы у меня они были) за способность смотреть на мир сквозь этикие розовые очки. Но поймите, если я пишу картину, я делаю это для того, чтоб ее продать. И все картины пишутся только

для этого. Если б мы не рассчитывали продавать их, и притом как можно дороже, мы бы их не писали. Это работа, и как всякая работа, она требует некоторых усилий; но не так уж они велики. Все же остальное – для отвода глаз. Вот одна из выгод или невыгод общения с человеком разочарованным. Вам говорят правду.

Правдой или неправдой было то, что говорил Гоуэн, но его слова проникли в самую душу Кленнэма и дали пищу для новых беспокойных размышлений. Неужели же, думал он, Генри Гоуэн навсегда останется для него источником беспокойства, неужели он ничего не выиграл от того, что сумел покончить с ничьими тревогами, сомнениями и противоречиями? Внутренняя борьба в нем продолжалась; он помнил свое обещание представить мистеру Миглзу его будущего зятя с самой лучшей стороны, а в то же время Гоуэн, как нарочно, раскрывался перед ним во все более неприглядном свете. И сколько он ни твердил себе, что отнюдь не стремился к подобным открытиям и всей душой был бы рад их избежать, его невольно мучило опасение, не пристрастен ли он в дурную сторону, не приписывает ли молодому человеку недостатки, которых у него нет на самом деле. Ибо то, что он старался забыть, жило в его памяти, и он хорошо знал, что с первой минуты почувствовал неприязнь к Гоуэну лишь из-за того, что угадал в нем соперника.

Измученный всеми этими мыслями, он уже хотел, чтобы поскорей миновал день свадьбы и новобрачные уехали, а он, оставшись один с мистером и миссис Миглз, мог бы приступить к исполнению деликатной миссии, которую на себя взял. Надо сказать, что последняя неделя для всех в доме была тягостной. Перед дочерью и Гоуэном мистер Миглз всегда сохранял сияющую физиономию; но не раз Кленнэм, заставая его одного, видел, как он сидит, устремив печальный взгляд на весы и лопаточку, или смотрит издали на гуляющих в саду жениха с невестой, и на лице его лежит та самая тень, которая всегда омрачала это лицо в присутствии Гоуэна. Во время приготовлений к торжественному дню пришлось перетряхнуть немало вещей, вывезенных родителями и дочерью из разных путешествий, и даже Бэби не могла удержаться от слез при виде этих немых свидетелей той поры, когда им было так хорошо втроем. Миссис Миглз, самая жизнерадостная и самая хлопотливая из матерей, сновала туда-сюда по дому, весело напевая и подбодряя всех вокруг; но и она, добрейшая душа, подчас укрывалась где-нибудь в кладовой, чтобы там наплакаться досыта, а потом уверяла, что глаза у нее покраснели от маринованного лука, и принималась петь еще веселее прежнего. Миссис Тикит, не обнаружив в Домашнем лечебнике Бухана рецепта на случай душевных ран, бередила эти раны воспоминаниями о детских годах Бэби. Когда ей становилось невольно от этого занятия, она посылала наверх сказать «деточке», что, будучи не в туалете, не может выйти в гостиную и просит ее спуститься на кухню; и тут, мешая слезы с поздравлениями среди плошек, скалок и обрезков теста, принималась целовать и миловать свою «деточку» со всей нежностью старой преданной служанки – а это нежность немалая!

Но все приходит в свой черед. Пришел и день свадьбы, а с ним пожаловали все Полипы, приглашенные на торжество.

Был там мистер Тит Полип из Министерства Волокиты; он явился прямо с Мьюз-стрит, Гровенор-сквер, где была его резиденция, в сопровождении дорогостоящей миссис Тит Полип, нее⁷² Чваннинг, из-за которой срок от жалованья до жалованья казался ему столь затянутым, и трех не менее дорогостоящих мисс Полип, наделенных таким множеством талантов и совершенств, что, казалось бы, их должны с руками отрывать у родителей, но по странной случайности родительские руки до сих пор оставались целы, и все три девицы прочно сидели в домашнем гнезде. Был тут и Полип-младший, также из Министерства Волокиты, для такого случая временно отложивший попечение о судебных сборах (справедливость требует признать, что судебные сборы от этого не пострадали). Был и обходительный молодой Полип из того же Министерства, принадлежавший к менее чопорной ветви рода; он относился к брачной церемонии легко и весело, точно видел в ней один из церковных вариантов великого принципа: не делать того, что нужно. Были еще три молодых Полипа из трех других ведомств, личности весьма пресные, которым явно недоставало приправы; они «отбывали» свадьбу, как отбывали бы путешествие к берегам Нила, красоты Рима, древности Иерусалима или концерт модного певца.

⁷² урожденной (франц.)

Но была там и более крупная дичь. Был не кто иной как лорд Децимус Тит Полип, весь пропитанный ароматом Волокиты – тем самым, которым пахнут сумки для депеш. Да, да, сам лорд Децимус Тит Полип, тот, кого вознесла на высоты чиновного мира одна крылатая фраза, сказанная с негодованием в голосе: «Милорды, я отнюдь не уверен, что министру нашей свободной страны надлежит стеснять филантропию, чинить препоны благотворительной деятельности, гасить общественное рвение, подавлять предприимчивость, сковывать дух самостоятельности и инициативы в народе». Иными словами сей великий государственный муж отнюдь не был уверен, что кормчому корабля надлежит заниматься чем-либо, кроме успешного обделывания собственных дел на берегу, благо экипаж неустанно трудясь у насосов, откачивающих воду, и без него не даст судну пойти ко дну. Этим гениальным открытием в области искусства не делать того, что нужно, лорд Децимус прославился сам и еще более прославил великий род Полипов; и с тех пор, если какой-нибудь член парламента в необходимом стремлении делать то, что нужно, вносил на рассмотрение той или другой палаты соответствующий билль, можно было заранее петь ему отходную, как только лорд Децимус Тит Полип поднимался со своего места и под одобрительные возгласы прочих Волокитчиков начинал исполненным благородного негодования тоном: «Милорды, я отнюдь не убежден, что мне, как министру нашей свободной страны, надлежит стеснять филантропию, чинить препоны благотворительной деятельности, гасить общественное рвение, подавлять предприимчивость, сковывать дух самостоятельности и инициативы в народе». Открытие, сделанное лордом Децимусом, разрешило в политике проблему вечного двигателя. Оно не знало износу, хотя им без конца пользовались во всех государственных учреждениях страны.

Еще был там не отстававший от своего достойного друга и сородича Уильям Полип, тот, что в свое время вступил в знаменательную коалицию с Тюдором Чваннингом. У него имелся собственный рецепт, как не делать того, что нужно: иногда он действовал через спикера, требуя, чтобы последний «сообщил палате, на какой Прецедент ссылается достоуважаемый сочлен, пытаясь совратить нас на путь столь опрометчивых решений»; иногда непосредственно обращался к достоуважаемому сочлену с покорнейшей просьбой изложить сущность упомянутого Прецедента; иногда предупреждал достоуважаемого сочлена, что он, Уильям Полип, сам постарается найти Прецедент; чаще же всего враз укладывал достоуважаемого сочлена на обе лопатки, объявив, что Прецедента не имеется вовсе. Но так или иначе существительное «Прецедент» и глагол «совратить» были той парой боевых коней, на которых маститый Волокитчик уверенно мчал к намеченной цели. Нужды нет, что достоуважаемый сочлен уже двадцать пять лет старался, бедняга, совратить Уильяма Полипа на путь каких-либо решений, и все напрасно; Уильям Полип всякий раз призывал палату, а заодно (так, между прочим) и страну, рассудить, прав ли он, не давая себя совращать. Нужды нет, что по здравому смыслу и логике вещей достоуважаемый сочлен никак не мог, несчастный, подыскать Прецедент для решения, которого добивался; Уильям Полип, нимало не смущаясь, благодарил достоуважаемого сочлена за остроумный ответ, и тут же убивал его наповал заявлением, что Прецедента нет, а коль скоро нет Прецедента, то и говорить не о чем. Можно бы, пожалуй, возразить, что мудрость Уильяма Полипа – сомнительная мудрость; ведь этак и мир, над которым он мудровал, не был бы создан; а если бы и был создан по недосмотру, то не вышел бы из состояния хаоса. Но «Прецедент» и «совратить» звучало так грозно, что желающих возражать не находилось.

Еще был там Полип-непоседа, который за короткое время сменил десятка два должностей, занимая по две, по три зараз, и которому принадлежала честь изобретения остроумной уловки, с успехом применявшейся им во всех учреждениях, где верховодили Полипы. Суть ее сводилась к тому, что на парламентский запрос, касавшийся одного предмета, он давал ответ, касавшийся другого. Этот метод приносил отличные результаты и снискал его изобретателю почет и уважение в Министерстве Волокиты.

Была также горсточка Полипов помельче, из тех, что еще не успели выйти в люди и, так сказать, находились на испытании. Это они всегда околачивались на лестнице и в кулуарах палаты, готовые по команде явиться в зал, если требуется кворум, или попрятаться по углам, если желательно, чтобы кворума не оказалось; они усердно кричали «Внимание!» или «Долой!», аплодировали или свистели по указанию старших в роде; они забивали повестку дня всякой чепухой, не оставляя места для того, что желали бы предложить другие; они оттягивали рассмотрение неприятных вопросов до конца заседания или до конца сессии, а потом со всем пылом добродетельных патриотов принима-

лись вопить, что время упущено; они послушно разъезжали по стране и на всех перекрестках клялись, что лорд Децимус спас торговлю от столбняка, а промышленность от паралича, что он удвоил урожай зерна, и учетверил запасы сена, и предотвратил исчезновение из банковских подвалов несметных количеств золота. Это их старшие в роде Полипов рассылали как попало по общественным сборищам и званым обедам, где они усердствовали в восхвалении своих именитых родственников, подавая их под соусами разнообразнейших заслуг. Они исправно являлись на всевозможные выборы, по первому слову и на любых условиях уступали свои депутатские места, носили поноску, стояли на задних лапках, льстили, хитрили, занимались подкупками, не брезговали никакой грязью, словом, не щадя сил, трудились на благо обществу. И за пятьдесят лет не было случая, чтобы в списках Министерства Волокиты оказалось хоть одно свободное место, от государственного казначея до консула в Китае, а от консула в Китае до генерал-губернатора Индии, на которое уже не числились бы претендентами многие, а то и все эти изголодавшиеся и цепкие Полипы.

Ясно, что из каждой разновидности Полипов присутствовала на свадьбе только горсточка – ведь всего-то их там было с полсотни, а что такое полсотни для тех, кому имя легион! Но и эта горсточка казалась полчищем в туикнемском коттедже, который она заполнила целиком. Полип соединил брачующихся вечными узами, другой Полип помогал при этом, и сам лорд Децимус Тит Полип повел к столу миссис Миглз, уверенный, что так ему и надлежит поступить.

Свадебный завтрак прошел не так гладко и весело, как можно было ожидать. Мистер Миглз, хоть и был польщен присутствием столь высоких и почетных гостей, чувствовал себя несколько принужденно. Миссис Гоуэн чувствовала себя вполне непринужденно, но это отнюдь не улучшало самочувствия мистера Миглза. Жива была легенда о том, что не мистер Миглз, а знатная родня жениха так долго служила помехой браку, но что в конце концов знатная родня пошла на уступки и тем было достигнуто соглашение; никто об этом прямо не говорил, но это как бы подразумевалось всеми сидящими за столом. Полипы, видимо, только ждали, когда окончится торжество, которое они великодушно осчастливили своим присутствием, а дальше они вовсе не собирались знаться с этими Миглзами; а Миглзы испытывали примерно то же по отношению к Полипам. Гоуэн, памятуя разочарование, постигшее его по милости родичей (которых он, может быть, потому и разрешил матери пригласить, что предвкушал возможность доставить им несколько неприятных минут), без конца разглагольствовал о своей бедности, о том, что не теряет надежды как-нибудь своей кистью заработать жене на кусок хлеба, и покорнейше просит своих кузенов (больших, нежели он, баловней судьбы), если бы они пожелали украсить свой дом картинами, не забыть при таком случае о бедном художнике, доводящимся им родней. Лорд Децимус, истинный златоуст на своем парламентском пьедестале, здесь превратился вдруг просто в болтуна – лепетал, поздравляя новобрачных, такие пошлости, от которых у самых верных его адептов волосы встали бы дыбом, и топтался с добродушной тупостью слона в лабиринтах собственных фраз, не умея найти из них прямого выхода. Мистер Тит Полип не мог не заметить присутствия в доме лица, грозившего однажды нарушить (если бы это было возможно) величественную сосредоточенность, с которой он всю свою жизнь позировал сэру Томасу Лоуренсу; а мистер Полип-младший негодуящим шепотом сообщил двум молодым недоумкам из числа своих родственников, что здесь... э-э... послушайте, сидит один тип, так он раз пришел в Министерство, хотя ему не был назначен прием, и заявил, что он, знаете, хотел бы узнать; и... э-э... послушайте, вот будет номер, если он вдруг вскочит из-за стола и закричит, что он, знаете, хотел бы узнать, здесь же, сию же минуту (а что вы думаете, от таких, знаете, невоспитанных радикалов всего можно ожидать).

Самые волнующие минуты этого дня для Кленнэма оказались самыми мучительными. Когда настало время мистеру и миссис Миглз проводить Бэби из дому, зная, что никогда больше она не вернется в этот дом прежнему Бэби, родительской отрадой и утешением, все трое бросились друг другу в объятия (это происходило в комнате с двумя портретами, где не было посторонних), и трудно было вообразить себе более трогательное и безыскусное Зрелище. Даже Гоуэна проняло, и на восклицание мистера Миглза: «Смотрите же, Гоуэн, берегите ее!» – он ответил чистосердечно: «Не нужно так огорчаться, сэр! Даю вам слово, что все будет хорошо».

Последние слезы, последние ласковые слова прощания, последний доверчиво молящий взгляд в сторону Кленнэма – и Бэби откинулась на подушки кареты рядом со своим мужем, махавшим рукой из окошка. Но прежде чем карета скрылась на дороге, которая вела в сторону Дувра, откуда-то из-за

угла вывернулась верная миссис Тикит в шелковом платье и черных как смоль буклях и бросила ей вслед свои башмаки, к немалому изумлению высокопоставленных гостей, бывших свидетелями этого происшествия.

Ничто более не удерживало гостей в Туикнеме; к тому же главных Полипов призывали неотложные обязанности: нужно было позаботиться о том, чтобы пакетботы, покидавшие в этот день Англию, не отправились, чего доброго, прямо по назначению, а пустились бы блуждать по морям на манер Летучего Голландца;⁷³ нужно было вовремя вставить палки в колеса кое-каких немаловажных дел, которым без их присмотра грозила опасность осуществиться. Поэтому они тут же один за другим и распрощались, любезно дав хозяевам почувствовать, какую огромную жертву принесли, удостоив их своего посещения. Именно так они всегда вели себя по отношению к Джону Булли,⁷⁴ снисходя к его убожеству с высот своего чиновного величия.

Пусто и тоскливо сделалось в доме, пусто и тоскливо стало на душе у родителей и у Кленнэма. И только в одной мысли мистеру Миглзу удалось почерпнуть некоторое утешение.

– Приятно все же вспомнить, Артур, – сказал он Кленнэму.

– О прошлом?

– Да – то есть о том, какое было отменное общество.

Это отменное общество заставило его почувствовать себя ничтожным и угнетенным в собственном доме, но сейчас он думал о нем с удовольствием. «Весьма, весьма приятно, – то и дело повторял он в течение вечера. – Такое общество!»

Глава XXXV

Что еще прочитал Панкс на руке Крошки Доррит

В один из этих дней мистер Панкс согласно уговору рассказал Кленнэму до конца историю своего гаданья и поведал ему судьбу Крошки Доррит, которую это гаданье перед ним раскрыло. Ее отец, как выяснилось, был Законным наследником крупного состояния, которому долгие годы не находилось хозяина – а тем временем оно все росло и росло. Сейчас права мистера Доррита были полностью доказаны, ничто не стояло на его пути; стены тюрьмы рушились, ворота были распахнуты настежь; один росчерк пера должен был сделать Отца Маршалси богачом.

В розысках, которые привели к установлению истины, мистер Панкс проявил безошибочное чутье, неистощимое терпение и редкую способность сохранять тайну.

– Помните ли вы, сэр, – сказал Панкс, – тот вечер, когда мы с вами шли по Смитфилду и говорили о моих склонностях – мог ли я тогда думать, что дело обернется подобным образом! Мог ли я думать, сэр, спрашивая вас о корнуоллских Кленнэмах, что когда-нибудь нам придется беседовать о дорсетширских Дорритах!

Он подробно рассказал, как его внимание привлекла фамилия Крошки Доррит, потому что эта фамилия уже стояла в его записной книжке. Как он сперва не придавал этому большого значения, зная по опыту, что совпадение фамилий еще не доказывает наличия какого-либо родства, – даже если однофамильцы к тому же еще и земляки, – но невольно подумал о том, какое чудесное превращение ожидало бы скромную маленькую швею, если бы она вдруг оказалась причастной к богатому наследству. Как эта мысль постепенно завладела им, быть может, потому, что в маленькой швее было что-то необычное, привлекавшее и тревожившее его любопытство. Как он ощупью, вслепую начал поиски («рылся точно крот, сэр»), шаг за шагом, пядь за пядью прокладывая ход к истине. Как на первых порах деятельности, получившей столь образное определение (для пущего сходства с кротом мистер Панкс зажмурился и напустил волосы на лоб), он то и дело переходил от надежды к унынию, от проблесков света к полной тьме и обратно. Как завязал знакомства в тюрьме и сделался ее постоянным и

⁷³ ...пустились бы блуждать по морям на манер Летучего Голландца... – В морской легенде рассказывается о голландском капитане Ван-Стратене, в наказание за грехи обреченном носить по морям и прозванном Летучим Голландцем.

⁷⁴ *Джон Буль* – нарицательное имя, обозначающее типичного англичанина. Первоначально – персонаж серии памфлетов Джона Арбетнота (1667–1735), появившихся в 1726 году.

привычным посетителем, а там уж ему не стоило никакого труда войти в расположение к мистеру Дорриту и его сыну, с которыми он часами болтал о разных пустяках («А сам все рылся, все рылся», – продолжал мистер Панкс), и в конце концов они же, ничего не подозревая, и навели его на след, сообщив кое-какие подробности из прошлого семьи, которые он сопоставил с тем, что уже знал раньше. Как, наконец, мистеру Панксу стало ясно, что он обнаружил законного наследника крупнейшего состояния и теперь остается только подкрепить это открытие формальными доказательствами, чтобы оно получило юридическую силу. Как он решил довериться своему квартирохозяину, мистеру Рэггу, и, взяв с него торжественный обет молчания, предложил разделить с ним дальнейшие труды по рытью ходов к истине. Как, зная сердечную склонность Джона Чивери, они надумали использовать его в качестве своего единственного агента и помощника. И как до этого самого дня, когда видные авторитеты в финансовых и юридических делах подтвердили полный успех их неустанных стараний, они свято хранили тайну.

– Таким образом, сэр, – заключил Панкс, – если бы все провалилось в последнюю минуту, скажем, за день до того, как я показал вам наши документы, или даже еще позднее, никто, кроме нас, не был бы обманут в своих надеждах и не потерпел бы хоть пенни убытку.

Кленнэма, который слушал рассказ, то и дело взволнованно пожимая рассказчику руку, последние слова навели на мысль, до сих пор не приходившую ему в голову, и он с изумлением воскликнул:

– Но, мой милый мистер Панкс, ведь эти розыски должны были стоить вам кучу денег!

– Еще бы, сэр! – отвечал Панкс, сияя торжеством. – Это нам влетело в копеечку, хоть мы экономили, как только могли. И позвольте вам сказать, тут пришлось столкнуться с немалыми затруднениями.

– Могу себе представить! – подхватил Кленнэм. – Но вы так замечательно сумели преодолеть все затруднения, связанные с этим делом! – И он снова пожал ему руку.

– Хотите знать, как я действовал, – сказал Панкс, приводя свои волосы в столь же растрепанное состояние, в каком находились его чувства. – Сперва я потратил все свои личные сбережения. Но их хватило ненадолго.

– Мне совестно это слышать, – сказал Кленнэм, – хотя сейчас это уже значения не имеет. Но что же вы потом стали делать?

– Потом, – отвечал Панкс, – я занял денег у хозяина.

– У мистера Кэсби? – переспросил Кленнэм. – Что за благородный старый джентльмен!

– Еще бы, просто ангел! – отозвался мистер Панкс, издавая целую гамму разнообразных фырканий. – Сама доброта! Воплощенное человеколюбие! Святая душа! Золотое сердце! Он мне их ссудил из двадцати процентов, сэр. Меньше мы никогда не берем.

Артур должен был признаться себе, что несколько поторопился прийти в умиление.

– Я сказал этому образцу христианских добродетелей, – продолжал мистер Панкс, со вкусом отчеканивая каждое слово, – что набрел на одно дельце, на котором можно недурно поживиться – недурно поживиться, так я ему и сказал, – но только для начала нужны кое-какие оборотные средства. И, дескать, не ссудит ли он мне под вексель требуемую сумму. Что ж, он охотно согласился, из двадцати процентов; да, как человек деловой, позаботился включить эти двадцать процентов в общую цифру долга. Если бы моя затея сорвалась, мне бы пришлось семь лет мотыжить для него за половинное жалованье. Но ведь на то он и Патриарх, такому человеку не грех послужить и за полцены – и даже вовсе бесплатно.

Ни за что на свете Артур не взялся бы решить, всерьез он говорит или нет.

– Когда и эти деньги кончились, сэр, – продолжал между тем Панкс, – а они все-таки кончились, хоть я и выжимал их из себя по капле, словно собственную кровь, – мне пришлось обратиться к мистеру Рэггу. Я решил сделать заем у мистера Рэгга (или у мисс Рэгг, что одно и то же; у нее есть небольшой капиталец, доставшийся ей благодаря одной удачной судебной спекуляции). Он с меня спросил десять процентов, и сам считал, что это немало. Но ведь мистер Рэгг обыкновенный человек, сэр. Волосы у него рыжие, и он их коротко стрижет. И шляпу носит самую обыкновенную: с высокой тульей, с узкими полями. И благообразия в нем не больше, чем в деревянной кегле.

– Теперь, однако, мистер Панкс, – сказал Кленнэм, – вы должны быть щедро вознаграждены за все ваши труды и расходы.

– Я на это и рассчитываю, сэр, – сказал Панкс. – Контракта я не заключал, действовал за свой риск. Уговор у меня был разве что только с вами – ну что ж, я его выполнил. Если после возмещения всех издержек и после расчета с мистером Рэггом мне очистится тысяча фунтов, это будет для меня целый капитал. Поручаю вам уладить это дело. А теперь я хочу, чтобы вы сообщили обо всем семейству Доррит, – как, решите сами. Мисс Эми Доррит сегодня с утра будет у миссис Финчинг. Только не надо медлить. Чем скорей они все узнают, тем лучше.

Этот разговор происходил в спальне у Кленнэма, еще лежавшего в постели. Мистер Панкс вошел к нему чуть свет, перебудив весь дом своим стуком, и тут же, с ходу, даже не присев, принялся выкладывать все подробности дела, завалив постель разными бумагами. Под конец он объявил, что торопится к мистеру Рэггу (должно быть, от переполнения чувств хотел, чтобы тот снова подставил ему спину), поспешно собрал свои бумаги, и не успел Кленнэм опомниться, как его пыхтенья уже донеслось откуда-то снизу.

Кленнэм, разумеется, не откладывая, отправился к мистеру Кэсби. Он так спешил, что очутился на углу улицы, где обитал Патриарх, почти за час до того времени, когда обычно приходила на работу Крошка Доррит, но подумал, что так даже лучше: он пройдет не торопясь, и его волнение успеет улечься до встречи с нею.

Когда он вернулся на патриаршую улицу и, постучав блестящим медным молотком, был впущен в дом, ему ответили, что Крошка Доррит уже пришла, и предложили подняться в гостиную Флоры. Крошки Доррит он там, однако, не застал, а застал Флору, которая при виде его вытаращила глаза от изумления.

– Господи боже, Артур – то есть Дойс и Кленнэм! – воскликнула названная дама. – Вот уж кого не ждала сейчас, и ах, пожалуйста, извините, что я в капоте, но разве же мне могло прийти в голову, а он еще к тому же и линялый, но дело в том, что наша маленькая приятельница шьет мне новое... новую... впрочем тут совершенно нечего стесняться, вы отлично знаете, что такое юбка, и мы собирались сразу после завтрака устроить примерку, вот поэтому-то, но хуже всего, что он дурно накрахмален.

– Это мне следует просить извинения, – сказал Артур, – за такой ранний и бесцеремонный визит; но когда я вам объясню, чем он вызван, вы, верно, меня простите.

– В былые дни, Артур, – возразила миссис Финчинг, – то есть, ради бога, простите, Дойс и Кленнэм, которые теперь очень далеко, пусть так, но когда смотришь издали, это придает особое очарование, впрочем тут, должно быть, все зависит от того, на что смотришь, но я отвлеклась и забыла, о чем начала говорить, это вы виноваты.

Она томно глянула на него и продолжала:

– В былые дни, хотела я сказать, Артуру Кленнэму – Дойс и Кленнэм, разумеется, другое дело – не пришло бы в голову просить извинения, в какой бы час он ни явился в этот дом, но что было, то сплыло, как говорил бедный мистер Ф., когда бывал не в духе, а это с ним случалось, стоило ему поест свежих огурцов.

Она заваривала чай в ту минуту, когда Артур вошел в комнату, и теперь торопилась довести эту процедуру до конца.

– Папаша в столовой, – произнесла она таинственным шепотом, закрывая чайник крышкой, – долбит яйцо ложечкой, точно дятел клювом, потому что глаза у него в Биржевом листке, он и не узнает, что вы здесь, а наша маленькая приятельница кроит наверху на большом столе, правда, она сейчас придет, но вы сами знаете, что ей вполне можно довериться.

Тут Артур ответил, что, собственно, затем и пришел так рано, чтобы повидать их маленькую приятельницу, и постарался в немногих словах объяснить, что именно он должен сообщить их маленькой приятельнице. Услышав столь необычайное известие, Флора всплеснула руками и, добрая душа, залилась слезами искренней радости.

– Только, ради бога, дайте мне сначала уйти, – воскликнула она наконец и, зажав руками уши, бросилась к двери, – а то я непременно упаду в обморок и раскричусь и всех переполошу, ах, милая деточка, только недавно пришла такая славная, тихонькая, скромненькая, и такая бедная-бедная, и вдруг состояние, подумать только, но это по заслугам! Пойду расскажу тетушке мистера Ф., можно. Артур, да, да, на этот раз Артур, а не Дойс и Кленнэм, в виде исключения, если конечно вы не возражаете.

Артур в знак согласия молча кивнул, так как слова не проникли бы сквозь плотно прижатые к ушам руки Флоры. Последняя в свою очередь кивнула в знак благодарности и исчезла за дверью.

Каблучки Крошки Доррит уже стучали по лестнице; еще минута, и она показалась на пороге. Все усилия Кленнэма придать своему лицу обыкновенное, будничное выражение ни к чему не привели: стоило ей взглянуть на него, работа выпала у нее из рук, и она с испугом воскликнула:

– Мистер Кленнэм! Что случилось?

– Ничего, ничего! То есть я хочу сказать, ничего дурного. Вы сейчас что-то услышите от меня, но это что-то очень хорошее.

– Очень хорошее?

– Да, большая радость.

Они стояли у окна, и свет отражался в ее глазах, неподвижно устремленных на него. Видя, что она близка к обмороку, он обнял ее одной рукой, и она ухватилась за эту руку, отчасти потому, что нуждалась в опоре, отчасти же, чтобы сохранить эту позу, позволявшую ей так пристально вглядываться в его лицо. Ее губы шевелились, как будто повторяя: «Большая радость». Он снова произнес эти слова вслух и добавил:

– Дорогая моя Крошка Доррит! Ваш отец...

Бледное личико словно оттаяло при этих словах, и на нем заиграли отсветы чувства. Но то было болезненное чувство. Она дышала слабо и прерывисто. Он обнял бы ее крепче, если бы не ее взгляд, в котором явственно читалась мольба не шевелиться.

– Ваш отец будет свободен не позже чем через неделю. Он еще ничего не знает об этом; мы сейчас пойдем и расскажем ему. Ваш отец будет свободен через несколько дней – через несколько часов. Мы должны пойти и рассказать ему, слышите!

Эти слова заставили ее опомниться. Отяжелевшие веки приподнялись.

– Но это еще не все. Мои добрые вести на этом не кончаются, милая Крошка Доррит. Хотите знать остальное?

Одними губами она ответила: «Да».

– Выйдя на свободу, ваш отец не окажется нищим. Он не будет терпеть нужду. Хотите, чтобы я сказал вам все до конца? Но помните, он ничего не знает, и мы сейчас должны пойти рассказать ему.

Она словно просила дать ей собраться с силами. Он помедлил немного, не отнимая руки, потом склонился ниже, чтобы разобрать ее шепот.

– Вы просите, чтобы я продолжал?

– Да.

– Ваш отец будет богат. Он уже богат. Большое состояние лежит и ждет только того, чтобы он официально вступил в права наследства. Отныне вы все богаты. Хвала небу за то, что ваше беспримерное мужество и дочерняя любовь получили, наконец, награду!

Он поцеловал ее. Она прижалась к его плечу головой, сделала движение, словно хотела обнять его за шею, и с криком «Отец! Отец!» лишилась чувств.

Вернувшаяся Флора уложила ее на диван и принялась хлопотать вокруг нее, столь причудливо мешая заботливые уговоры с обрывками рассуждений по поводу случившегося, что ни один здравомыслящий человек не взялся бы судить, настаивает ли она, чтобы тюрьма Маршалси проглотила ложку не востребованных доходов, отчего ей непременно делается лучше; или же поздравляет отца Крошки Доррит с получением в наследство ста тысяч флаконов нюхательной соли; или же она накапала семьдесят пять тысяч лавандовых капель на пятьдесят тысяч кусков сахара и умоляет Крошку Доррит подкрепить этим легким снадобьем свои силы; или хочет смочить уксусом виски Дойса и Кленнэма и отворить окно, чтобы дать побольше воздуха покойному мистеру Ф. Всю эту неразбериху еще усиливали возгласы, несшиеся из соседней комнаты, где тетушка мистера Ф., судя по всему, дожидалась завтрака, находясь еще в горизонтальном положении; скрытая от глаз присутствующих, эта непримиримая дама заполняла редкие паузы в речи Флоры краткими саркастическими выпадами такого рода: «Уж он-то тут ни при чем, будьте уверены!», или: «Пусть не вздумает похваляться, что это его заслуга!», или: «Он бы сам скорей удавился, чем подарил им хоть пенни из своего кармана!» – цель которых заключалась в том, чтобы умалить роль Кленнэма в сделанном открытии и дать выход мрачной ненависти, которую он имел несчастье ей внушить.

Но желание поскорей увидеть отца и сообщить ему радостное известие, чтобы он ни минуты

дольше не оставался в неведении относительно счастливого поворота в его судьбе, лучше всех лекарств и всех дружеских забот помогло Крошке Доррит прийти в себя. «Скорей пойдете к нему! Скорей пойдете к моему милому, дорогому отцу и расскажем ему обо всем!» – были первые слова, которые она произнесла, очнувшись. Ее отец, ее отец! Только о нем она говорила, только о нем думала. И когда, опустившись на колени, она возблагодарила небо, это была благодарность за него, за ее отца.

Доброе сердце Флоры не могло остаться равнодушным к такому трогательному зрелищу, и она проливали потоки слез над чайной посудой.

– Господи боже мой, – всхлипывала она, – никогда я так не расстраивалась с того самого дня, когда ваша мамаша и мой папаша, пожалуйста, Артур, да, на этот раз не Дойс и Кленнэм в виде исключения, передайте бедняжке чашку чаю и присмотрите, сделайте милость, чтобы она хоть пригубила, о болезни мистера Ф. я и не говорю, это другое дело, и подагра совсем не то, что дочерняя привязанность, хотя для окружающих очень тяжело и мистер Ф. был просто мучеником, шутка сказать, держи все время ногу вытянутой, а виноторговля сама по себе очень горячительное занятие, они ведь там все время угощают друг друга, без этого нельзя, ну просто как во сне, еще сегодня утром и в мыслях ничего такого не было, и вдруг целая куча денег, но вы должны себя заставить, моя душенька, иначе у вас сил не хватит рассказать ему все, хотя бы по одной ложечке, а может быть стоит попробовать лекарство, прописанное моим доктором, правда запах не очень приятный, но я себя заставляю и мне очень помогает, что, не хочется, а вы думаете, мне хочется, радость моя, просто раз нужно для здоровья, приходится делать над собой усилие, все теперь вас станут поздравлять, одни от души, другие скрепя сердце, но никто, можете быть уверены, не порадует так искренне, как я радуюсь, хоть я отлично знаю, что говорю много глупостей, вот и Артур вам скажет, на этот раз не Дойс и Кленнэм в виде исключения, ну а теперь я с вами попрощаюсь, моя милочка, благослови вас бог и пошли вам всякого счастья, а что касается платья, так вот вам мое слово, я его не дам дошивать никому другому, а сберегу, как оно есть, на память о вас, и так оно у меня и будет называться, Крошка Доррит, хоть я никогда не понимала, откуда такое странное прозвище и теперь уж, должно быть, и не пойму никогда.

Так Флора прощалась со своей любимицей. Крошка Доррит поблагодарила ее, несколько раз расцеловав в обе щеки; после чего они с Кленнэмом вышли, наконец, из патриаршего дома, наняли экипаж и поехали в Маршалси.

Странно ей было ехать по знакомым убогим улочкам и думать о том, что это больше не ее мир, что для нее теперь должна начаться другая жизнь, полная довольства и роскоши. Когда Артур заметил ей, что скоро все испытания останутся позади, и она будет ездить в собственной карете, и совсем иные картины будут представляться ее взгляду, – это даже испугало ее. Но стоило ему перевести разговор на ее отца и заговорить про то, как он будет разъезжать на собственных лошадях, во всей пышности и блеске своего нового положения – слезы радости и невинной гордости хлынули из глаз Крошки Доррит. Видя, что счастье для нее только в мысли о счастье отца, Артур продолжал рисовать ей эти радужные образы; и так, минуя одну грязную улицу за другой, приближались они к тюрьме, где их ждал тот, кому они везли радостную весть.

Когда мистер Чивери, дежуривший в этот час, отомкнул перед ними тюремные ворота, что-то в выражении их лиц сразу показалось ему странным и удивительным. Он так недоуменно уставился им вслед, как будто явственно видел, что за каждым из них шествует по привидению. Несколько пансионеров, повстречавшиеся им во дворе, тоже оглянулись на них с любопытством, а затем подошли и стали шептаться с мистером Чивери, который все еще стоял у входа в караульню. Здесь, в этом маленьком кружке, и зародился слух о том, что Отец Маршалси выходит на волю. Не прошло и пяти минут, как этот слух облетел всю тюрьму, вплоть до самых отдаленных уголков.

Крошка Доррит толкнула дверь, и они вошли. Отец Маршалси, в своем старом сером халате и черной ермолке, сидел на солнышке у окна и читал газету. Очки он держал в руке; должно быть, только что снял их, когда знакомые шаги на лестнице заставили его оглянуться. Его удивило ее возвращение в неурочный час; удивил и приход вместе с нею Артура Кленнэма. Когда они подошли ближе, ему бросилось в глаза то непривычное выражение их лиц, которое привлекло общее внимание на тюремном дворе. Он не встал, не спросил ничего; только, положив очки на столик, рядом с газетой, всматривался в лица вошедших, и губы его слегка дрожали. Заметив протянутую ему руку Ар-

тура, он пожал ее, но не с обычным величественным видом; потом повернулся к дочери, которая села подле него, обняв его за плечи, и внимательно посмотрел ей в глаза.

– Отец! У меня сегодня большая радость!

– У тебя сегодня радость, дитя мое?

– Да, отец! Мистер Кленнэм принес мне такую прекрасную, такую замечательную весть, и она касается вас. Если бы он по своей доброте не позаботился подготовить меня – подготовить к тому, что мне предстояло услышать, отец, – я бы, верно, не выдержала.

Она вся дрожала от волнения, слезы текли по ее лицу. Он вдруг схватился рукой за сердце и поднял глаза на Кленнэма.

– Не нужно торопиться, сэр, – сказал Кленнэм. – Соберитесь спокойно с мыслями. И пусть это будут мысли о самых радостных, самых счастливых событиях в жизни. Бывает ведь, что человеку вдруг улыбнется счастье. Случалось это раньше, случается и теперь. Редко, но случается.

– Мистер Кленнэм! Вы хотите сказать, – вы хотите сказать, что это может случиться со... – он прижал руку к груди, не решаясь договорить: «со мной».

– Может, – отвечал Кленнэм.

– Каким же образом? – спросил Отец Маршалси, все еще прижимая левую руку к груди, а правой передвигая очки на столе, так, чтобы они лежали вровень с краем газеты, – каким же образом мне может улыбнуться счастье?

– Позвольте ответить вопросом на вопрос. Скажите, мистер Доррит, какое событие в жизни было бы для вас самым неожиданным и самым счастливым? Говорите смело, не бойтесь помечтать вслух.

Отец Маршалси с минуту пристально глядел на Кленнэма, и казалось, за эту минуту он превратился в дряхлого и немощного старика. Солнце ярко освещало стену за окном, золотя железные острия. Он отнял руку от груди и медленно простер ее вперед, указывая на Стену.

– Ее больше нет, – сказал Кленнэм. – Рухнула. Старик все также пристально смотрел на него, не меняя позы.

– А там, где она была, – веско и отчетливо произнес Кленнэм, – вас ждет не только свобода, но и возможность наслаждаться всем тем, что так долго было скрыто от вас этой стеной. Мистер Доррит, я счастлив сказать вам, что через несколько дней вы будете свободным человеком и обладателем большого состояния. От всей души поздравляю вас с этой переменной в вашей судьбе и с началом новой, счастливой жизни, в которую скоро вы сумеете повести ту, что навсегда останется самым ценным из ваших богатств – сокровище, ниспосланное вам в утешение, – дочь, сидящую рядом с вами.

С этими словами он крепко пожал старику руку; а Крошка Доррит приникла щекой к щеке отца и, своими объятиями поддерживая его в этот радостный час, так же как в долгие годы лишений и бедствий она поддерживала его своей преданной и самоотверженной любовью, дала волю чувствам благодарности, надежды, восторга и счастья – за него, все только за него! – переполнившим ее Душу.

– Я теперь увижу своего дорогого отца таким, каким никогда не видала! Увижу его лицо незатуманенным тенью печали! Увижу таким, каким его знала моя бедная мать. О, какое счастье, какое счастье! Мой милый, дорогой мой отец! Слава богу, слава богу!

Он принимал ее ласки и поцелуи, но не отвечал на них, только его рука легла на ее плечи. За все это время он ни слова не произнес и лишь переводил взгляд с одного на другого. Потом он вдруг стал дрожать словно в ознобе. Артур шепнул Крошке Доррит, что надо дать ему вина, и со всех ног бросился в кофейню. Пока слуга ходил за вином в погреб, Кленнэма обступили любопытствующие; но на все вопросы он лишь коротко отвечал, что мистер Доррит получил наследство.

Вернувшись, он увидел, что Крошка Доррит усадила отца в кресло, развязала ему галстук и расстегнула рубашку. Они налили в стакан вина и поднесли к губам старика. Сделав несколько глотков, он взял стакан из их рук и допил до дна. Потом откинулся на спинку кресла, закрыл лицо носовым платком и заплакал.

Кленнэм выждал немного, а затем стал рассказывать те подробности, которые знал, в расчете, что это несколько отвлечет старика и поможет ему оправиться от первого потрясения. Говорил он нарочно медленно и самым непринужденным тоном, причем старался особенно подчеркнуть заслуги Панкса.

– Он – кха, – он получит щедрое вознаграждение, сэр, – сказал Отец Маршалси и, встав с крес-

ла, возбужденно забегал по комнате. – Прошу вас не сомневаться, мистер Кленнэм, что все, кто принимал участие в этом деле, будут – кха, – будут щедро вознаграждены. Никто, дорогой сэр, не сможет пожаловаться, что его услуги остались не оцененными. Мне особенно приятно будет возратить – кхм – те небольшие суммы, которыми вы ссужали меня, сэр. Буду также весьма признателен, если вы, не откладывая, сообщите мне, сколько вам должен мой сын.

Ему никакой надобности не было метаться по комнате, но он не мог устоять на месте.

– Все получают свое, – повторял он. – Я не выйду отсюда, пока на мне будет хоть пенни долга. Каждый, кто – кха – оказывал внимание мне и моему семейству, будет награжден. Чивери будет награжден. Юный Джон будет награжден. Мое искреннее желание и твердое намерение – быть как можно более щедрым, мистер Кленнэм.

– Вам могут срочно понадобиться деньги, мистер Доррит, – сказал Артур, кладя свой кошелек на стол. – Прошу вас располагать моим кошельком. Я нарочно захватил его с собой на этот случай.

– Благодарю вас, сэр. Охотно принимаю сейчас то, что час тому назад совесть не позволила бы мне принять. Крайне вам признателен за эту кратковременную ссуду. Весьма кратковременную, однако пришедшуюся весьма кстати. – Он зажал кошелек в руке и снова принялся бегать из угла в угол. – Будьте столь добры, сэр, присовокупить эту сумму к тем, о которых я только что упоминал; и главное, не забудьте ссуды, данные моему сыну. Общую цифру долга вы мне сообщите на словах, этого будет вполне достаточно – кха, – вполне достаточно.

Тут взгляд его упал на дочь, сидевшую на прежнем месте, и он остановился на миг, чтобы поцеловать ее и погладить по голове.

– Нужно будет найти портниху, дитя мое, и поскорей обновить твой чересчур скромный гардероб. Необходимо также подумать о Мэгги; нельзя ли сделать так, чтобы она выглядела – кха – поприличнее, да, поприличнее. Эми, Эми, а твоя сестра, а твой брат! А мой брат, твой дядя Фредерик – бедняга, может быть, эта новость вдохнет в него немного жизни! Надо тотчас же послать за ними. Должны же они узнать о том, что произошло. Мы сообщим им об этом исподволь, осторожно, но они должны узнать как можно скорее. Наша обязанность перед ними и перед самими собой не допустить, чтобы они – кхм, – чтобы они что-нибудь делали, начиная с этой минуты.

Так он впервые в жизни намекнул на то, что его близкие трудятся ради куска хлеба и ему об этом известно.

Он все еще суетился, сжимая в руке кошелек, как вдруг со двора донесся оживленный гул голов.

– Ну, все узнали, – сказал Кленнэм, выглянув в окошко. – Вы не покажетесь им, мистер Доррит? Они, должно быть, от души радуются за вас и хотели бы вас видеть.

– Я, признаться – кха – кхм, – я бы предпочел прежде переменить платье, Эми, дитя мое, – сказал он, еще пуще засуетившись, – и кроме того – кхм – купить часы с цепочкой. Но что поделаешь, придется – кха, – придется пока обойтись без этого. Поправь мне воротничок, милочка. Мистер Кленнэм, не затруднит ли вас – кхм – протянуть руку и достать из комода синий галстук. Застегни сюртук на все пуговицы, душа моя. Когда он застегнут наглухо, я – кха – кажусь несколько шире в груди.

Дрожащими пальцами он взбил свои седые волосы и, поддерживаемый под руки дочерью и Кленнэмом, появился у окна. Толпа внизу встретила его радостными возгласами, а он в ответ мило стиво раскланивался во все стороны и посылал воздушные поцелуи. Потом, отойдя от окна, он молвил: «Бедняги!» – И тон его был полон глубокого сострадания к их плачевной судьбе.

Крошка Доррит озабоченно твердила, что ему необходимо отдохнуть. Артур выразил было желание сходить за Панксом, чтобы тот пришел уладить последние формальности, нужные для завершения дела, но она шепотом просила его не уходить, пока отец не успокоится и не ляжет. Ей не пришлось повторять эту просьбу дважды. Она приготовила отцу постель и стала упрашивать его лечь. Но он, не слушая никаких уговоров, еще добрых полчаса возбужденно шагал по комнате, сам с собой рассуждая о том, удастся ли получить у смотрителя разрешение всем арестантам собраться в тюремной канцелярии, окнами выходящей на улицу, чтобы видеть, как он и его семейство в карете покинут тюрьму – было бы непростительно лишать их такого зрелища, говорил он. Но мало-помалу усталость взяла свое, и старик, угомонившись, вытянулся на постели.

Она, как всегда, сидела у его изголовья, обмахивая газетой покрытый испариной лоб. Казалось,

он уже задремал (так и не выпустив из рук кошелька), но вдруг встрепенулся и сел на постели.

– Прошу прошенья, мистер Кленнэм, – сказал он. – Я, стало быть, могу сейчас выйти за ворота и – кхм – пойти прогуляться, если мне захочется?

– Сейчас, пожалуй, нет, мистер Доррит, – вынужден был ответить Кленнэм. – Еще не закончены кое-какие формальности; правда, и ваше заключение теперь всего лишь формальность, но придется соблюдать ее еще некоторое время.

Услышав это, старик опять расплакался.

– Каких-нибудь несколько часов, сэр, – бодрым голосом сказал Кленнэм, желая его утешить.

– Несколько часов, сэр! – неожиданно вспылал старик. – Вам это легко говорить, сэр! А знаете ли вы, что такое час для человека, которому нечем дышать?

Но это была его последняя вспышка; поплакав еще немного и пожаловавшись, что ему не хватает воздуха в тюрьме, он вскоре затих. Кленнэм смотрел на спящего отца и на дочь, оберегающую его сон, и у него не было недостатка в пище для размышлений.

Крошка Доррит тоже размышляла в это время. Осторожно отведя в сторону прядь седых волос со лба спящего и коснувшись его губами, она оглянулась на Артура и шепотом спросила, видимо продолжая свои размышления:

– Мистер Кленнэм, а он уплатит все свои долги перед тем, как выйти отсюда?

– Непременно. Все до единого пенни.

– Долги, за которые он так долго просидел здесь – сколько я себя помню и даже дольше?

– Непременно.

Какая-то тень сомнения и укоризны мелькнула в ее глазах; видно было, что она не вполне удовлетворена ответом. Артур, удивленный, спросил:

– Вас это не радует?

– А вас? – задумчиво переспросила она.

– Меня? Я просто счастлив за него!

– Ну, значит, и я должна быть счастлива.

– А это не так?

– Мне кажется несправедливым, – сказала Крошка Доррит, – что, столько выстрадав, отдав столько лет жизни, он все равно должен платить эти долги. Мне кажется несправедливым, что он должен расплачиваться вдвойне – и жизнью и деньгами.

– Милое мое дитя... – начал Кленнэм.

– Да, я знаю, что не права, – смущенно перебила она, – не судите меня слишком строго, это оттого, что я выросла здесь.

Только в этом одном сказалось на Крошке Доррит тлетворное влияние тюремной атмосферы. Ее сомнение, рожденное горячим сочувствием к бедному узнику, ее отцу, было первым и последним следом тюрьмы, который Артуру привелось в ней заметить.

Он промолчал, сохранив свои мысли про себя. Что бы он ни думал, ее чистота и доброта сияли сейчас перед ним ярче, чем когда бы то ни было. Маленькое пятнышко только оттеняло их.

Утомленная пережитым волнением, она мало-помалу поддалась действию царившей в комнате тишины; ее рука выронила газету, голова склонилась на подушку рядом с головой отца. Кленнэм встал, тихонько отворил дверь и вышел из тюрьмы, унося с собой чувство душевного покоя, которое даже среди уличной суеты не покинуло его.

Глава XXXVI

Маршалси остается сиротой

И вот настал день, когда мистер Доррит с семейством должен был навсегда покинуть Маршалси, в последний раз пройдя по исхоженным вдоль и поперек плитам тюремного двора.

Времени истекло немного, но ему срок показался слишком долгим, и он сурово выговаривал мистеру Рэггу за промедление. Он очень высокомерно держался с мистером Рэггом и даже грозил, что возьмет другого поверенного. Он советовал мистеру Рэггу забыть о том, где пока находится его клиент, а помнить свои обязанности, сэр, и выполнять их быстро и аккуратно. Он дал понять мистеру

Рэггу, что ему хорошо известны все повадки адвокатов и ходатаев по делам и он не позволит водить себя за нос. Робкие заверения злополучного стряпчего, что он прилагает все усилия, встретили резкий отпор со стороны мисс Фанни; еще бы ему не прилагать всех усилий, заявила она, когда ему двадцать раз говорилось, что за деньгами остановки не будет, и вообще понимает ли он, с кем разговаривает.

Весьма круто обошелся мистер Доррит со зрителем тюрьмы, который уже много лет занимал этот пост и с которым у него никогда не бывало недоразумений. Явившись лично поздравить мистера Доррита со счастливой переменой в его судьбе, зритель предложил ему на остающееся время две комнаты в своем доме. Мистер Доррит поблагодарил и сказал, что подумает; но не успел зритель уйти, как он сел и написал ему весьма язвительное письмо, в котором, подчеркнув то обстоятельство, что до сих пор ни разу не удостоивался поздравлений с его стороны (что вполне соответствовало истине, поскольку поздравлять до сих пор было не с чем), сообщал, что вынужден от своего имени и от имени своего семейства отклонить это любезное предложение, хотя высоко ценит его бескорыстность и полную свободу от каких-либо мелких житейских соображений.

Брат его выказывал так мало интереса к происшедшему, что можно было усомниться, понял ли он, что произошло; тем не менее мистер Доррит позаботился, чтобы все вызванные к нему портные, шляпочники, чулочники и башмачники сняли мерку также и с Фредерика, а старое его платье приказал отобрать и сжечь. Что касается мисс Фанни и мистера Типа, то им по части моды и шегольства никаких наставлений не требовалось; они тотчас же переехали вместе с дядей в лучшую гостиницу округа – впрочем, по отзыву мисс Фанни, эта лучшая тоже была не бог весть что – и там дожидались завершения формальностей. Мистер Тип не замедлил обзавестись кабриолетом, лошастью и грумом, и его элегантный выезд ежедневно два-три часа подряд простаивал на улице у тюремных ворот. Частенько останавливался там и небольшой, но изящный наемный экипаж парой, откуда выходила мисс Фанни, потрясая смотрительских дочерей сменой умопомрачительных шляпок.

За это время совершено было немало деловых операций. Так, например, мистеры Педдл и Пул, стряпчие из Моньюмент-Ярд, по поручению своего клиента Эдварда Доррита, эсквайра, направили мистеру Артуру Кленнэму письмо со вложением двадцати четыре фунтов девяти шиллингов и восьми пенсов, что, по расчетам упомянутого клиента, равнялось сумме его долга мистеру Кленнэму плюс проценты, считая из пяти годовых. В дополнение мистеры Педдл и Пул уполномочены были напомнить мистеру Кленнэму, что его об этой ссуде никто не просил, и довести до его сведения, что никто ее и не принял бы, будь она открыто предложена от его имени. Затем ему напоминали о необходимости озаботиться распиской установленной формы и образца и просили принять уверения в совершенном почтении. Немало деловых операций пришлось совершить и в стенах Маршалси, той самой Маршалси, которой суждено было вскоре осиротеть с отъездом того, кто столько лет был ее Отцом; сущность таких операций сводилась к удовлетворению мелких денежных просьб, поступающих от пансионеров. Эти просьбы мистер Доррит удовлетворял щедрой рукой, однако же не без некоторого стремления к официальности: сперва он в письменной форме назначал просителю час, когда тот должен был к нему явиться; затем принимал его, сидя за столом, заваленным бумагами, и сопровождал вручаемое пожертвование (он всякий раз не забывал подчеркнуть, что это не ссуда, а пожертвование) пространными поучениями, которые обычно кончались советом надолго сохранить память о нем, Отце Маршалси, своим примером доказавшем, что даже в тюрьме человек может сохранить самоуважение и уважение окружающих.

Пансионеры не испытывали зависти. Не говоря уже о том, что все они, лично и по традиции, относились с глубоким почтением к старейшему из обитателей Маршалси, случившееся подняло престиж заведения и привлекло к нему внимание газет. А может быть, кое-кто из них, порой даже безотчетно, утешал себя мыслью, что ведь и ему мог выпасть счастливый жребий и не исключено, что еще и выпадет когда-нибудь. В общем, все радовались от души. Разумеется, некоторым грустно было сознавать, что для них все осталось по-прежнему: ни свободы, ни денег; но даже и эти не питали злобы к семейству Доррит за привалившее ему счастье. Быть может, в более высоких кругах общества зависть была бы больше. Весьма вероятно, что люди среднего достатка оказались бы менее склонны к великодушию, чем эти бедняки, привыкшие перебиваться со дня на день по принципу: не сходишь к закладчику – не пообедаешь.

Ему поднесли адрес в нарядной рамке под стеклом (впрочем, этому адресу не пришлось потом

украшать собой семейную резиденцию Дорритов или фигурировать в семейных архивах). В ответ он сочинил послание, где с царственным достоинством говорил, что не сомневается в искренности выраженных пансионерами чувств; и далее в общих словах снова призывал их следовать его примеру – что они безусловно охотно бы сделали, по крайней мере в части получения наследства. Послание заканчивалось приглашением на торжественный обед, который будет дан на тюремном дворе и на котором он надеется иметь честь провозгласить прощальный тост за здоровье и счастье всех, кого он здесь покидает.

Мистер Доррит не принимал личного участия в общей трапезе: она состоялась в два часа, а он теперь обедал в шесть (обед ему приносили из соседней гостиницы); но его сын благосклонно согласился занять место во главе центрального стола и очаровал всех своей непринужденной любезностью. Сам же он расхаживал среди приглашенных, отличая кое-кого своим особым вниманием, смотрел за тем, чтобы ничего не было упущено в меню и чтобы каждый получил свою порцию. Казалось, это некий феодальный барон, будучи в отменном расположении духа, потчует своих верных вассалов. Под конец обеда он поднял бокал старой мадеры за всех присутствующих и выразил надежду, что они приятно провели день и не менее приятно проведут вечер; в заключение же пожелал им всего хорошего на будущее. В ответ был провозглашен тост за его здоровье, встреченный дружными аплодисментами; он хотел было поблагодарить, но тут что-то дрогнуло в бароне, и он расплакался, словно простолюдин, у которого в груди бьется обыкновенное человеческое сердце. После этой большой победы (которую он считал поражением) он предложил выпить также «за мистера Чивери и его коллег», которые еще раньше получили от него по десять фунтов каждый и все были в сборе. Мистер Чивери, выступая с ответным тостом, изрек: «Если твоя обязанность запирает, запирай; но помни, что все мы – люди и братья, как сказал негр, закованный в кандалы». Когда с тостами было покончено, мистер Доррит сообразовал сыграть символическую партию в кегли со следующим по старшинству обитателем Маршалси и удалился, предоставив вассалам развлекаться по собственному усмотрению.

Но все это происходило несколько раньше. А теперь настал день, когда мистер Доррит с семейством должен был навсегда покинуть Маршалси, последний раз пройдя по искоженным вдоль и поперек плитам тюремного двора.

Отъезд был назначен на двенадцать часов дня. Задолго до этого времени все заключенные высыпали во двор, все сторожа столпились у ворот. Упомянутые должностные лица надели парадную форму, да и заключенные принарядились кто как мог. Кой-где даже были вывешены флаги, а детям повязали бантики из обрывков лент. Сам мистер Доррит в ожидании торжественной минуты держался с достоинством, но без чопорности. Больше всего его беспокоило поведение брата.

– Дорогой Фредерик, – сказал он. – Обопрись на мою руку, когда мы будем проходить по двору мимо наших друзей. Мне кажется, будет весьма уместно, если мы с тобой выйдем отсюда рука об руку, дорогой Фредерик.

– А? – откликнулся Фредерик. – Да, да, да.

– И потом, дорогой Фредерик, – ты уж извини, пожалуйста, но если б ты мог, не слишком насилуя себя, сделать свои манеры немножко более светскими...

– Уильям, Уильям, – сказал тот, качая головой, – уж этого ты с меня не спрашивай. Ты это умеешь, а я нет. Забыл, все забыл.

– Но, друг мой, – возразил Уильям, – вот именно поэтому и необходимо, чтоб ты теперь подтянулся. Надо понемногу вспоминать то, что ты забыл, дорогой Фредерик. Твое положение...

– А? – отозвался Фредерик.

– Твое положение, дорогой Фредерик.

– Мое? – Он оглядел себя со всех сторон, потом поднял глаза на брата, потом испустил глубокий вздох и, наконец, воскликнул: – А, ну конечно! Да, да, да.

– Ты достиг прекрасного положения, дорогой Фредерик. Ты достиг превосходного положения в качестве моего брата. И, зная твою природную добросовестность, дорогой Фредерик, я не сомневаюсь, что ты постарайся оказаться на высоте этого положения, быть достойным его. Не просто достойным, но достойным во всех отношениях.

– Уильям, – жалобно вздыхая, отвечал тот. – Я для тебя готов сделать все, что в моих силах. Но только сил у меня немного, ты об этом не забывай, брат. Ну чего бы, например, ты от меня хотел се-

годня? Скажи, брат, скажи мне прямо, прошу тебя.

– Нет, нет, ничего, дорогой мой Фредерик. Не стоит тебе ради меня приневоливать свою добрую душу.

– Что ты, Уильям! – возразил тот. – Моя душа только радуется, если я могу сделать что-нибудь приятное тебе.

Уильям провел рукой по глазам и пробормотал тоном растроганного владыки:

– Благослови тебя бог за твою преданность, голубчик! – После чего произнес вслух: – Хорошо, дорогой Фредерик, тогда я попрошу тебя: когда мы будем выходить вместе, постарайся показать, что ты не безучастен к этому событию, что ты думаешь о нем...

– А что я должен о нем думать, подскажи мне, – смиренно попросил брат.

– Ну, дорогой Фредерик, как же тут подсказывать! Я могу только поделиться с тобой теми мыслями, которые меня самого волнуют в час расставанья с этими добрыми людьми.

– Вот, вот! – воскликнул брат. – Именно это мне и нужно.

– Видишь ли, дорогой Фредерик, меня особенно волнует одна мысль, в которой находят отражение многие чувства, но прежде всего чувство глубокого сострадания: что с ними станет без меня – вот о чем я думаю.

– Верно, верно, – сказал брат. – Да, да, да, да. И я буду думать о том же: что с ними станет без моего брата! Бедные! Что с ними станет без него!

Как только пробило двенадцать, мистеру Дорриту доложили, что карета уже у ворот, и братья под руку спустились вниз. За ними, тоже под руку, выступали Эдвард Доррит, эсквайр (в прошлом Тип), и его сестра Фанни; арьергард составляли мистер Плорниш и Мэгги, нагруженные узлами и корзинами – на них была возложена перевозка того, что стоило перевозить.

На дворе уже собралась целая толпа заключенных вместе с тюремными сторожами. Среди толпы были мистер Панкс и мистер Рэгг, пришедшие поглядеть апофеоз, который должен был завершить их труды. Среди толпы был Юный Джон, сочинявший себе новую эпитафию по случаю кончины от разрыва сердца. Среди толпы был Патриарх Кэсби, сиявший такой благостной кротостью, что наиболее восторженные из пансионеров спешили горячо пожать ему руку, а их жены и дочери ловили эту руку и целовали, нимало не сомневаясь, что он-то и есть главный виновник счастливого события. Среди толпы были и все те, кого можно было ожидать здесь встретить. Среди толпы был тот пансионер, которого постоянно мучило подозрение относительно мифической субсидии, будто бы присваиваемой смотрителем тюрьмы; он нынче в пять часов утра встал, чтобы переписать набело документ, заключающий в себе пространное и совершенно невразумительное изложение обстоятельств дела, каковой документ, будучи передан при посредстве мистера Доррита властям, должен был произвести эффект разорвавшейся бомбы и повлечь к немедленной отставке смотрителя. Среди толпы был неисправный должник, который, казалось, только о том и думал, как бы наделать долгов, но ему не меньших трудов стоило попасть в тюрьму, чем другим выбраться из нее, и его всякий раз торопились освободить с любезностями и извинениями; тогда как другой неисправный должник, его сосед – жалкий маленький замухрышка-торговец, умученный бесплодными стараниями не делать долгов, – должен был кровью изойти, куда получит свободу, выслушав при этом немало упреков и суровых предупреждений. Среди толпы был человек, обремененный детьми и заботами, чье банкротство удивило всех; и рядом с ним другой, бездетный и с большими средствами, чье банкротство никого не удивило. Были там люди, которые завтра должны были выйти из тюрьмы, но как-то все задерживались; и были такие, которые только вчера очутились в тюрьме, однако негодовали и роптали на несправедливость судьбы больше тюремных старожилков. Были люди, готовые из низменных побуждений кланяться и лебезить перед разбогатевшим собратом и его семьей; и были другие, поступавшие точно так же, но лишь потому, что яркое солнце чужой удачи слепило им глаза, привыкшие к тюремному мраку. Были многие, на чьи шиллинги он в свое время ел и пил; но никто не пытался фамильярничать с ним теперь, пользуясь этим обстоятельством. Казалось даже, что птицы, запертые в клетке, робеют при виде той, перед которой дверца вдруг так широко распахнулась, и жмутся к прутьям, чтобы не мешать этому триумфальному шествию к свободе.



Медленно подвигаясь в толпе зрителей, маленькая процессия, возглавляемая обоими братьями, пересекала тюремный двор. Раздумья о том, каково придется без него этим беднякам, омрачали чело мистера Доррита, но не поглощали его внимания. Он гладил детские головки, словно сэр Роджер де Коверли⁷⁵ по дороге в церковь, он окликал по имени тех, кто скромно держался позади, он всех ода-рял милостивыми улыбками, и казалось, для их утешения вокруг его головы было написано золотыми буквами: «Мужайтесь, дети мои! Не падайте духом!»

Наконец троекратное «ура!» оповестило, что он вышел за ворота и что Маршалси отныне – сирота. Еще не замерли отголоски в тюремных стенах, а все семейство уже сидело в карете, и грум приготовился убрать подножку.

И только тогда мисс Фанни спохватилась.

– Господи! – воскликнула она. – А где же Эми?

Оказалось, отец думал, что она с сестрой. Сестра думала, что она «где-то здесь». Для всех как-то само собой подразумевалось, по долголетней привычке, что она там, где ей следует быть. Этот отъезд был едва ли не первым случаем в семейной жизни, когда сумели обойтись без нее.

⁷⁵ *Сэр Роджер де Коверли* – имя, которым один из издателей сатирико-нравоучительного журнала «Зритель» (1711–1714) Д. Адисон назвал вымышленного постоянного персонажа своих очерков, добродетельного сельского дворянина. Имя сэра Роджера было позаимствовано из народной английской песенки «Роджер из Коверли».

Пока разбирались, кто что думал, мисс Фанни, которой с ее места в карете было хорошо виден узкий проход, ведущий к караульне, вдруг крикнула, вспыхнув от негодования:

– Ну, знаете ли, папа! Это уже слишком!

– Что именно, Фанни?

– Это просто неслыханно, – кипятилась она. – Просто неприлично! Поневоле захочешь умереть, даже в такой день! Сто раз я просила эту девчонку не надевать больше свое ужасное старое платье, и сто раз она мне в ответ твердила, что, пока она с вами здесь, она его не снимет – какая-то дурацкая сентиментальная чепуха и ничего больше, – но все-таки мне удалось взять с нее слово, что сегодня она наденет новое, и вот извольте, мало того что она нас позорила до последней минуты, эта девчонка, так она еще и в самую последнюю минуту решила опозорить – вон ее несут, и опять на ней это старье! И кто же несет как не ваш Кленнэм!

Обвинение подтвердилось, едва была окончена обвинительная речь. К дверце кареты подошел Кленнэм, на руках у которого безжизненно поникла маленькая фигурка.

– Ее забыли, – сказал он, и в голосе его прозвучала не только жалость, но и укор. – Я побежал за ней (мистер Чивери указал мне ее комнату) и увидел, что дверь открыта, а она, бедняжка, лежит на полу в обмороке. Видно, пошла переодеться, но почувствовала себя дурно. Может быть, это от волнения, а может быть, она просто устала. Осторожно, мисс Доррит, у нее сейчас соскользнет рука. Положите эту бедную холодную ручку поудобней.

– Благодарю за совет, сэр, – отрезала мисс Доррит, залившись слезами. – Только с вашего позволения я уж как-нибудь сама соображу, что нужно. Эми, душенька, открой глазки, посмотри на меня! Ах, Эми, Эми, мне так стыдно, так горько! Ну очнись же, моя милая сестренка! Ах, да почему же мы не едем? Папа, скажите кучеру, пусть трогает!

Грум с бесцеремонным «Па-азвольте, сэр!» оттеснил Кленнэма от дверцы, подножка щелкнула, и карета покатила прочь.